The
NEAR and the FAR

containing

THE ROOT AND THE FLOWER

&

THE POOL OF VISHNU

by

L. H. MYERS

JONATHAN CAPE
THIRTY BEDFORD SQUARE
LONDON

Раджа Амар

Введение

До сих пор раджа Амар не играл очень заметной роли в этой хронике; теперь же, однако, он выходит на авансцену, и я считаю себя счастливцем оттого, что могу продвинуть повествование вперед, цитируя отрывки из его личного дневника. Правда, если судить о нем исключительно как о записи событий, дневник раджи не вполне удовлетворителен. Он пишет лишь для собственного удовольствия и уделяет своим мыслям и чувствам немало места; но поскольку характер этого человека ныне входит как важный фактор в развитие общей ситуации, я полагаю, что есть явное преимущество в том, чтобы позволить радже говорить самому за себя и раскрывать себя по-своему. Даже его многословие в определенном смысле поучительно, а в самой его нравоучительности я часто улавливаю легкую, но приятную едкость, привкус самоиронии. Возможно, я ошибаюсь, но подозреваю, что юмор раджи заключается в том, чтобы делать вид, будто у него нет никакого чувства юмора. Когда его торжественность заставляет меня улыбаться, сам он, сильно подозреваю, тайком усмехается тоже. И когда он внезапно выдает нечто безусловно смехотворное, я не могу поверить, что этот крайне самосознающий и самокритичный джентльмен не осознает того, что сделал. Например, предваряя длинное и довольно скучное рассуждение об особенностях рас, он непринужденно замечает: «Говорят, что человеческие симпатии и антипатии определяются главным образом чувством обоняния... По моему мнению, еще важнее религиозное чувство». А пересказывая беседу с важной персоной, он говорит: «Мой ответ был многословным и слегка напыщенным», и снова: «Я уже начинал давать расплывчатый и довольно пресный ответ, когда...» Что, спрашиваю я, нам с этим делать? Пожалуй, со своей стороны, я приписываю радже, во-первых, чувство юмора, во-вторых, умение замечать, по крайней мере, некоторые из своих собственных слабостей, и в-третьих — склонность к тому, чтобы подшучивать над собой.

Впрочем, об этом достаточно. Я должен остерегаться делать акцент на черте, которая в любом случае несущественна. Мои слова ввели бы в заблуждение, если бы они настроили читателя на легкомыслие. Нет, этот дневник — не что иное, как выражение ума в состоянии высокого напряжения, откровение духа серьезного и искреннего. Раджа охвачен мрачным ощущением критичности времен, и если он озабочен — а так оно, пожалуй, и есть! — трудностями своего собственного особого положения, эта озабоченность не мелка и не эгоистична. В одной из записей своего дневника он говорит: «Акбар все еще занимает Императорский Трон, его фигура все еще гигантски вырисовывается на заднем плане, но он производит впечатление полу-окаменелого; если он — фигура Судьбы, то это Судьба, размышляющая о Предопределении; и пока этот непостижимый колосс не шевелит пальцем и не подает знака, мы, рой тварей помельче, беспомощно плетем свой замысловатый танец у его ног».

Мне, знакомому с ранними главами этого дневника, которые посвящены преимущественно его религиозной жизни, любопытно наблюдать перемену, происходящую не только в тоне его письма, но даже, кажется, и в его личности, как только он погружается в мир людей и дел. Сначала, должен признаться, эта перемена показалась мне довольно тревожной, ибо новый раджа понравился мне меньше прежнего. Мало-помалу, однако, я понял, что произошло: Амар

добросовестно старался быть неверным самому себе. В этом-то и заключалась беда, и я распознал ее начало с тех пор, когда он, будучи еще мальчиком, стал правителем маленького княжества. Рожденный созерцателем, он прекрасно знал, что ничто никогда не сделает его ни принадлежащим миру, ни пригодным для мира — суетность была ему еще более чужда, чем святость, к которой он стремился; — и все же, раз уж он пребывал в мире — и занимал там, по сути, ответственное положение, — ему надлежало должным образом справляться со своей мирской ролью. Воздавать — изящно и в точной мере — кесарю кесарево; вот какой стала его амбиция! Бедный Амар! Его ранние дневники содержат пассажи, показывающие, сколько усилий ушло на эту попытку; и если он добился какого-либо успеха, нам до сих пор остается сомневаться, не были ли эти усилия напрасны. Ведь мы не можем не подозревать его в переоценке качеств, которых ему недостает, в преувеличении достоинств, приобретать которые стоит лишь меньшей ценой.

По странному стечению обстоятельств сохранился портрет раджи. Это работа весьма посредственного персидского художника, работавшего без воображения в рамках строгого канона. Он показывает нам своего царственного натурщика, застывшего навытяжку в парадном мундире, вероятно, в оленьем парке. Парк полон безобидных животных, — мы замечаем в особенности ягненка, резвящегося на небольшом пятачке цветов на заднем плане. Раджа смотрит на нас с видом предельного отрешения, — он кажется, в самом деле, совершенно отсутствующим на земной сцене; и все же в одной руке он держит кусок сахара — или это соль? — который предлагает лани. Этому созданию художнику удалось придать выражение необычайного почтения — настолько, что она, кажется, вот-вот присесть в реверансе. Картина, исполненная с большим мастерством и утонченностью, могла бы оказаться менее откровенной. Канон заставил художника изобразить Амара сверх меры прямостоящим, объемисто опоясанным, огромнотюрбаным и затянутым в тунику, торчащую вокруг него во все стороны, словно тюль балетной пачки; но он не помешал чрезвычайно тщательному и, несомненно, точному воспроизведению черт лица. Мы прямо и честно смотрим в длинное, узкое, чисто выбритое лицо. Подбородок твердый, рот выразительный в своем намерении, глаза глубоко посаженные. Это было бы лицо человека с ограниченным кругозором, если бы глаза не выдавали характера, критически наблюдающего за самим собой.

Часть 1

I

Раджа Амар пересек озеро сразу после рассвета. Он сошел с лодки на причал и запахнул складки своего белого плаща. Свежий ветерок и ровный свет струились вниз по долине, золотя спелые луговые травы и серебря волну. В этот ранний час променад Удовольствий Искусств был пуст, если не считать нескольких подметальщиков, сметавших мусор после праздничной ночи. Пыль, поднимавшаяся от их метел, превращалась солнцем в золото; она поднималась, словно дым благовоний перед закрытыми ставнями увеселительных домов.

И раджа сказал себе: „Многие месяцы я подобен вестнику, который сидит на наружной ступеньке и ждет. Он наблюдает за прохожими, он мечтает, он улыбается про себя. Он ждет.

Когда весной горную реку запруживает ледяная стена, образуется тихое озеро; безмолвная вода все прибывает и прибывает; изо дня в день долина покоится в тишине; но однажды наступает прорыв“.

Обернувшись к северу, к высоким горам, он устремил на окутывавшие их туманы долгий хмурый взгляд; и медленно, пока он смотрел, возникло призрачное мерцание — видение, висевшее так высоко над утренней дымкой, что воображение не могло соединить его с твердой землей. Он смотрел, и казалось, будто дух отплыл из него самого; он плыл подобно облачку среди тех скованных льдом вершин. Закрыв глаза, он вызвал в воображении картину пиков ночью. Его дух витал как пар сквозь черную, мертвую от мороза ночь, среди ледяных склонов, освещенных лишь собственной белизной и мерцанием бесчисленных звезд.

О безмолвная тьма! Холодная, безмолвная, усыпанная бриллиантами тьма! Не та лесная мгла, полная насилия и скрытности; не багровая кровавая тьма жизни; не беспокойная синяя тьма моря; но тьма высот — Нирвана!

(*Здесь раджа продолжает рассказ собственными словами.*)

Звук шагов позади заставил меня обернуться. Ко мне приближался крупный, смуглый, мясистый человек, который приветливо окликнул меня по имени. «Раджа Амар! Какая ранняя встреча! Полагаю, это означает, что вы тревожитесь застать Принца до того, как он отправится в путь. Что ж, спешить некуда. Даниял определенно не тронется раньше полудня».

Я ответил, что пришел повидаться с Шейхом Мобареком, а не с Принцем.

«Но что заставляет вас думать, что он будет готов в такой час?»

«Он часто говорил мне, что просыпается на заре, и что ему нравится принимать посетителей как можно раньше».

«Поразительно! И в его возрасте тоже! Говорят, ему скоро восемьдесят. Замечательный человек». Подошедший прервался, чтобы пристально всмотреться в рябь на воде. «Знаете ли, если бы не этот холодный ветер, думаю, я бы окунулся. Собственно говоря, именно с таким намерением я и спустился сюда».

Наконец ко мне вернулась память о том, что я уже сталкивался с этим человеком — его звали Чураман — два или три раза прежде: однажды в доме моей сестры в Агре, а затем на каком-то придворном мероприятии. При этих встречах он не особенно пришелся мне по душе; его манеры казались мне слишком уж свободными и непринужденными, — словно он пытался восполнить самоуверенностью недостаток воспитания.

«Если хотите, — продолжил Чураман, — я покажу вам дорогу к дому Шейха; и, возможно, вы не будете против, если я войду вместе с вами на минутку. Шейх всегда меня интересует. Злой старик, быть может; но замечательная личность! Последний раз, когда мы встречались, помнится, у него сильно болел зуб; и с головой, замотанной в шаль, он выглядел очень умной, очень зловредной старой матроной — да и говорил он примерно так же».

Чураман усмехнулся во время своей речи, но я не поддержал его. Быть лишенным уважения или притворяться лишенным уважения к тем, кто стоит неизмеримо выше тебя, — значит быть виновным либо в непреднамеренной, либо в преднамеренной глупости.

Пока мы шли вдоль берега озера, мой взгляд блуждал по открывавшейся сцене; я смотрел в своего рода трансе на фантастические фасады домов Данияла, пылающие в косых лучах солнца; я смотрел на наши далекие тени, движущиеся перед нами по истрепанной обочине пошлого променада; я посмотрел вверх и увидел огромные массы белых облаков, гонимых ветром. На несколько секунд вернулись мои старые сомнения; я подумал о Сите, и мое предполагаемое отречение от мира показалось мне одновременно эгоистичным и неоправданным. Но в следующий миг я напомнил себе, что Сита не менее религиозна, чем я. Она вспомнит, что ее собственный пророк сказал: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Я вновь задумался о том, что тот, кто ждет, пока мир освободит его, ждет до самой смерти. Мирские дела тянутся нескончаемо; одна путаница превращается в другую. Как бы долго я ни откладывал, неизбежно должен наступить момент, когда мне придется применить насилие к собственным чувствам и чувствам других людей. Что ж! этот момент настал сейчас. Вот я и моя дорога.

Эти размышления были прерваны странным зрелищем. От одного из причалов поднималась группа мужчин, среди которых был один, казалось, лишенный возможности пользоваться конечностями. Его подталкивали двое лодочников, а другие следовали

позади. Молодой человек, которого таким образом сопровождали, представлял собой жалкое зрелище; вода капала с его одежды, его намокший тюрбан нахлобучили ему на голову кое-как. Лицо его было пепельным, глаза пустыми и дикими. Я остановился, и мое изумление возросло, когда я заметил, что хотя одежда молодого человека указывала на высокий ранг, его спасители обращались с ним без особых церемоний — едва ли даже с обычным вниманием. Когда с него упал тюрбан, те, что шли сзади, принялись пинать его вперед с шутками, и хотя полузахлебнувшийся бедолага умолял об минутной остановке, его сопровождающие продолжали толкать его вперед без малейшей передышки.

Я уже собирался вмешаться, но Чураман положил руку мне на плечо и торопливым шепотом попросил не обращать внимания. С молодым человеком, — заверил он меня, — «все в порядке»; лодочники тоже прекрасно знают, что делают; это не впервые такое происходит. Чураман говорил с таким явным пониманием сути дела, что я подчинился. Но когда молодой человек проходил мимо, я испытал еще одно потрясение. «Несомненно, — сказал я, — это принц Дантават?»

Чураман ответил не сразу, и я видел, как выражение его лица несколько раз изменилось. Когда же слова прозвучали, они были произнесены тем искренним и доверительным тоном голоса, который немедленно внушает недоверие. Бедный принц Дантават, объяснил он, имел «различные неприятности», в результате чего теперь «слегка неуравновешен». Напряженная жизнь в Лагере оказалась для него слишком тяжелой. «Да, такова правда: это печально, очень печально; ведь Дантават действительно славный малый. Немного невротик, конечно; ну и потом... что ж, Даниял в последнее время был довольно бесчувственен к нему, и боюсь, тот принял это слишком близко к сердцу. Однако Дантават скоро поправится, если — если только мы сможем увезти его отсюда. Все, что ему нужно, — это перемена».

«Вы хотите сказать, что принц Дантават бросился в озеро?»

«Ну... да!» Признание было сделано неохотно.

«И это случалось прежде?»

Выражение лица Чурамана снова представило занимательное зрелище. Я видел, что, испытывая подлинную жалость к Дантавату, он забавлялся; и я подозревал, что среди своих друзей он вскоре будет преподносить все происшествие как отличную шутку.

«Что ж, по правде говоря, — ответил он наконец, — Дантават вел себя так и раньше. Видите ли, он хочет привлечь внимание Данияла. Даниял определенно бывает временами довольно черствым».

В этот момент я сдержал себя. Зная, что Чураман прибыл в Лагерь лишь неделю или около того назад, я решил немного ввести его в заблуждение, если смогу. Я начал говорить о Данияле и его друзьях так, словно знаком с ними гораздо ближе, чем это есть на самом деле; и эта тактика увенчалась успехом, ибо вскоре Чураман принялся говорить со

значительной свободой. Ему явно доставляло удовольствие показать мне, что он знал Данияла довольно хорошо в прежние дни. Эта близость возникла из-за обстоятельств, что воспитательница Чурамана и мать принца Салима были сестрами; и трое детей, таким образом сведенных вместе в младенчестве, поддерживали некоторое товарищество во время отрочества. По возрасту Чураман находился посередине между Салимом и Даниялом, и его дружба постепенно перешла от старшего брата к младшему, поскольку Салим вырос грубым, задиристым и неумным, тогда как Даниял был красивым, хорошо воспитанным и чрезвычайно не по годам развитым. Все трое мальчиков, однако, оставались вполне хорошими друзьями, пока Салим в начале своего семнадцатого года внезапно не возненавидел своего брата, которому тогда было около двенадцати. Причину этой ненависти Чураман поначалу заявлял совершенно непонятной, но чуть позже он сказал своим быстрым, небрежным тоном: «О, это была ревность, конечно! Чистая ревность! В то время когда Салим был большим, косматым, грубо выглядящим юношей, Даниял был поистине прекрасен. К тому же вел себя достойно. Такой контраст с Салимом, у которого ничего не было, кроме хвастовства и бахвальства! Даже в возрасте двенадцати лет Даниял был куда более развит, куда больше светским человеком. Салим ни о чем не думал, кроме поло и охоты. Даниял же интересовался — ну, многим».

«Чем именно?» — спросил я.

«О, людьми... и всем прочим. Я хочу сказать, в нем проявилась художественная натура; он был, по сути дела, необычайно развит для своего возраста. Не то чтобы он был особенно разговорчив в те дни. Нет, он был очень молчалив, очень скрытен. Не робок; но — для маленького мальчика — необыкновенно самодостаточен. Как бы то ни было, у него ведь не было матери, вы должны помнить. Не было никого, с кем он был близок. Мать Салима, которая вырастила его, была настолько добра, насколько только можно быть; но он так и не привязался к ней».

Здесь Чураман прервался — довольно резко, как мне показалось. Но я проявил такой лестный интерес к тому, что он говорил, что он снова пустился в рассказ. Даниял, сказал он, в это время стал большим любимцем конюхов и людей из королевских слоновьих стойбищ. «Как ни странно, хотя он вовсе не был наездником, он ладил с людьми гораздо лучше, чем Салим. Это заставило Салима ревновать, и вот тогда-то они имели — ну, это было ужасное дело».

Чураман снова остановился. И я не мог заставить его рассказать мне, что это было за «дело». Я видел, что он обдумывает сказанное и гадает, насколько я могу читать между строк. На самом деле я был совсем в потемках. Возможно, мое выражение лица выдало это, ибо вскоре собственный интерес к тому, что он должен был сказать, понес его дальше.

«Действительно, — воскликнул он, — это было поразительно, отношения между этими двумя мальчиками! Временами жестокость Салима была почти невероятна; тем не менее Даниял, казалось, никогда ее не избегал. Несомненно, он завораживал Салима, и он знал

об этом. Салим не мог забыть его, не мог игнорировать его, как ему того хотелось. Неделями он делал вид, что не подозревает о существовании Данияла, но эта уловка всегда заканчивалась сценой необычайной жестокости. И Даниял, даже когда его колотили, каким-то образом сохранял свой вид превосходства; казалось, будто он знает, что все это время действительно берет верх над Салимом. Но я должен сказать, что когда Салима отправили прочь, Даниял воспринял это как облегчение. За короткое время он совершенно изменился. Он собрал вокруг себя круг друзей, — умных мальчиков, с которыми Салим никогда бы не поладил».

«С тех пор, — заметил я, — он и Салим, конечно, встречались очень редко».

Чураман кивнул. «Я никогда не забуду тот единственный случай, когда я был свидетелем их встречи. Салим вспыхнул и нахмурился и не смог найти ни единого слова. Даниял же улыбался и был само совершенство любезности. В конце концов выглядело так, будто Салим собирается поколотить его».

Немного погодя мы заговорили о нынешней вражде между двумя братьями и вопросе выбора стороны. «Слава небесам! — воскликнул Чураман, — я всего лишь бедный художник. Политика меня просто совершенно не касается».

«Но ваши симпатии, — сказал я, улыбаясь, — очевидно, на стороне Данияла».

«Я художник, — повторил Чураман, — и у меня, естественно, больше общего с Даниялом, для которого искусство что-то значит».

Я сделал паузу; я думал о том, что будь Чураман истинным художником, он испытывал бы особое отвращение к клике Данияла — точно так же, как для меня самовлюбленные и самодовольные люди более одиозны, чем признавшиеся циники.

«Да, — ответил я наконец, — вам повезло, но, тем не менее, я сомневаюсь, найдется ли хоть один человек в Империи, который может сказать, что вопрос престолонаследия ничуть его не интересует».

Чураман улыбнулся и быстро сказал: «Во всяком случае, я не из тех, кто рискует остаться без головы, если окажется на проигравшей стороне».

Я присоединился к его смеху. «И я тоже. По крайней мере, надеюсь. Но теперь скажите мне: какая сторона, по вашему мнению, будет проигравшей?»

Без малейшего колебания Чураман ответил: «Салима».

«Вы так уверены?»

«Да, — и я легко могу объяснить почему».

«Расскажите мне».

«Во-первых, Даниял умнее; во-вторых, у него более умные друзья; и, в-третьих, его друзья имеют доступ к уху Императора. Даниялу благоволят Мобарек и Мабун Дас; уж этого одного должно быть достаточно, чтобы обеспечить ему победу».

Я посмотрел на Чурамана и промолчал.

— Несомненно, — продолжал он раздражённым тоном. — Неужели у Акбара недостаточно здравого смысла, чтобы понять, что лучше для Империи? Конечно, ни Салим, ни Даниял не являются тем, о ком он мог бы мечтать; но он видит, что недостатки Данияла — это его личное дело, тогда как недостатки Салима такого рода, что могут нанести общественный вред.

Я пожал плечами. Я не собирался спорить с Чураманом, который, по моему мнению, совершенно неоправданно упрощал проблему, на эту тему. Возможно ли, что он этого не знал? Был ли он неспособен постичь либо тонкости характера Акбара, либо сложность сил, которые управляют ходом мировой истории? Император сочетает в себе наивность, хитрость и идеализм. Его хитрость наивна, его наивность хитра, а его идеализм является и тем, и другим — а также чем-то большим. Если бы я мог определить это нечто большее, я смог бы определить саму сущность Жизни. Я верю, что идеализм Акбара таков, что никогда не собьёт его с пути, ведущего к мирскому успеху. Это звучит как насмешка над Акбаром, но скорее это комментарий к миру (к тому, как устроен мир). Мне ещё никогда не встречался идеализм, который казался бы мне абсолютно чистым, мне ещё никогда не встречалось сердце, которое казалось бы мне абсолютно честным, но при этом не оказалось помехой для своего обладателя. Если бы не примеры Христа и Будды, я бы сказал, что не бывает в мужчине или женщине величия, щедрости или милосердия, способных завоевать признание в мире исключительно благодаря собственным заслугам. Вообще, добродетели и достоинства, которые известны, содержат разные примеси. Когда Мобарек говорит, что выбор Акбара будет утилитарным, и что целесообразность недвусмысленно указывает на Данияла, он, повторюсь, крайне упрощает проблему. Что касается меня, то я твёрдо уверен, что Акбаром будет руководить его идеализм, однако, когда выбор Акбара будет сделан, я скажу: «Это было в конечном счёте целесообразно. Таков Акбар, и такова природа мира».

Теперь мы приближались к дому довольно важного вида, окруженного оградой. Среди людей, стоявших у ворот, некоторые были одеты в ливрею дома Мобарека. Когда я объявил о себе, меня тотчас впустили, а следом за мной вошёл и Чураман. Через несколько минут появился секретарь, задавший мне пару вопросов, он поклонился, и проводил нас к шейху. Мобарек занимал большую комнату на первом этаже. Оглядевшись, войдя внутрь, я узнал многие гобелены, шторы и ковры как его собственную собственность. Часть мебели тоже принадлежала ему, особенно кровать, похожая на трон, в конце комнаты, с балдахином из вышитого китайского шёлка. На этой кровати сейчас полулежал шейх, обложенный подушками, набросив на плечи меховую пелерину, а на стёганом покрывале были разложены бумаги. По обе стороны стояли секретари и слуги. Мы приблизились, и

широким взмахом руки он отодвинул от себя бумажный беспорядок, а его голос зазвучал в приветствиях — приветствиях, которые моим подозрительным ушам показались слишком любезными, чтобы быть искренними.

II

Изучая Шейха в ясном утреннем свете, я был поражён его свежестью в преклонных годах. Я невольно сравнивал его со своим собственным отцом, которому годы принесли не только немощь тела, но и упадок разума. Годы Мобарека, казалось, лишили его лишь слабостей и непоследовательности юности. Оставшись с телосложением, из которого все тяжёлые соки плоти давно высохли, он заставлял худобу и дряблость старости казаться вовсе не недостатком. На фоне своего балдахина цвета багрянца и золота этот маленький старичок сиял серебристой яркостью; он убеждал вас в том, что располагая лишь сухой сердцевиной да несколькими сухожилиями, которые можно было бы назвать своими, он гораздо лучше вас подготовлен к жизненной борьбе. Его глаза покоились на нас улыбчиво, блестяще, и пока он говорил, его руки, бледные и лёгкие, как пух чертополоха, порхали в воздухе, изящно сопровождая его речь.

— Мои друзья, — воскликнул он. — Вы застаёте меня действительно в полном тупике ума. Как вам известно, принц должен был отправиться в Катхияпур по меньшей мере сорок восемь часов назад. Было крайне важно, чтобы он прибыл туда вовремя для встречи с принцессой Лалитой и её будущим свёкром. Вчера он пообещал мне, что рано отправится в путь этим утром, а теперь я слышу, что он всё ещё в постели — в постели и болтает со своими друзьями! Он даже говорит о проведении ещё одной репетиции сегодня днём.

Хотя Мобарек говорил смеясь, было видно, что он действительно встревожен. Я уселся в кресло, которое пододвинули для меня, тогда как Чураман, хмуря брови, расхаживал взад-вперёд по другую сторону кровати. Мобарек следил за ним глазами и вскоре добавил мягко: «У принца эта его пьеса в голове. Он ни о чём другом думать не может».

Чураман кивнул.

— Ты присутствовал на последней репетиции?

— Присутствовал.

— Мой дорогой Чураман, — сказал Мобарек, и его голос был мягким, как шёлк, — полагаю, принц недавно предложил, чтобы ты проводил репетиции в его отсутствие? У него высочайшее мнение о твоих познаниях в этих вопросах. Ну же, ради всего святого, иди и повидайся с ним немедленно! Внуши ему уверенность! Убеди его, что ты проведёшь эти последние репетиции даже лучше, чем смог бы он сам! Думаешь, у тебя получится это устроить?

На мгновение Чураман выдержал впечатляющее молчание. Затем: — Да! — сказал он. — Я пойду сейчас же.

— Превосходно! — сказал Мобарек с очаровательной улыбкой. — Ты станешь благодетелем общества, если справишься.

— Я сделаю всё, что смогу, — ответил Чураман, и с этими словами он широкими шагами вышел из комнаты.

Как только дверь закрылась за ним, Мобарек повернулся ко мне. — Я приношу тебе тысячу извинений, раджа. Ты ожидал спокойной беседы, а вместо этого... Но ты видишь, в каком затруднительном положении я оказался. Представь себе, Макх Хан и принцесса Лалита час за часом, день за днём ждут Данияла, который не приезжает! Ты знаешь Хана, раджа. Он не тот человек, чтобы терпеливо сносить подобные вещи. Мелочи, скажешь ты? Ах, но такие мелочи говорят сами за себя! Они накапливаются — и они сказываются. Хан находит Данияла весьма неудовлетворительным. Равно как и Император. А что до самой Лалиты — ну, я не скрываю от тебя, что принц довольно плохой любовник. Для него, боюсь, Искусство стоит на первом месте.

Последние слова вылетели из уст старика с эффектом, показавшимся мне странным; тон, в котором они были произнесены, не давал мне подсказки, как их следует понимать. Я пристально посмотрел на Мобарека, но лицо Шейха так часто носит улыбку тихого внутреннего веселья, что его выражение в данный момент совершенно ничего не выдавало. Опустив подбородок на грудь, он, казалось, погрузился в ироничное созерцание своенравной личности Данияла; тем не менее его глаза были настороже; я был уверен, что меня изучают; и мой ответ был осторожным. — Мне говорили, — сказал я, — что Даниял не особо жаждет жениться.

— Возможно, нет. Возможно, нет. Видишь ли, он уже женат на Искусствах.

Нота юмора прозвучала теперь вполне отчётливо, но я всё же счёл мудрым проигнорировать предложенную мне нить. — Принцесса Лалита, — сказал я, — несомненно, проявляет сочувственное понимание его характера.

— Да; к счастью, дорогая принцесса делает скидки. Я ставлю ей это в большую заслугу. Она умная девушка, хотя, как тебе известно, импульсивная.

Моё лицо осталось деревянным. Истина заключается в том, что в тот момент я не уловил смысла, который мог таиться за этими последними словами. Лишь когда я начал обдумывать их впоследствии, мне внезапно вспомнился момент, который я застал в саду. Там в течение четверти часа он должно быть уединялся с Божеством.

Пока он говорил, его лицо внезапно стало очень красным, и через мгновение он оборвал фразу и бросился к двери. Приглушёнными, но властными тонами я слышал, как он отдавал приказы слугам снаружи разогнать группу детей, которые кричали и смеялись у озера.

Когда он вернулся ко мне, краска всё ещё не сошла с его лица. — Гонг, который прозвучал несколько минут назад, был сигналом того, что вокруг дома должна соблюдаться абсолютная тишина. Это одно из повелений Его Величества. Он сказал: «Император — наместник Бога; верховные Жрецы — наместники Императора. Когда возносятся их молитвы, пусть ни один человек не колеблет воздух звуком громче своего естественного дыхания».

Я ответил на это серьёзным кивком и, чувствуя себя освобождённым от дальнейшей беседы, отошёл в сторону, сел и предался собственным мыслям. Они были заняты Мобареком, чей характер чрезвычайно озадачивал и интересовал меня. Главной нотой в нём всегда казалась мне страсть к организации и к дисциплине, которую организация требует и насаждает. Я уважаю эту черту. В личности она свидетельствует о самоуважении, а в расе способствует цивилизации. Но Мобарек слишком зациклен на ранжировании человеческой ценности, и мерило, которое он использует, не является хорошим. Я не говорю, что он оставляет конечные ценности без внимания, моя жалоба заключается в том, что они не принимаются как верховные; им отведено место на шкале, которая по своей сути мирская. Конечно, Император представляет собой фигуру, которая не очень-то удобно вписывается в схему вещей Мобарека. У Акбара много черт, которые тот вынужден рассматривать со снисходительной усмешкой. Но затем я заметил, что время от времени (возможно, чтобы придать своему почтению больше блеска) ему нравится говорить даже о Боге в шутливом тоне; и точно так же, когда он высмеивает Императора, это всегда подразумевает, что в Акбаре даже нелепости становятся величественными. В большом и малом он неспособен на неверность кастовому духу. Столкнувшись с необходимостью оказать поддержку либо Салиму, либо Даниялу, он, полагаю, не колебался ни единого мгновения. Нет! Салима он счёл бы безрассудным и неукротимым грубияном. Даниял может оскорблять его вкус во многих отношениях, но он видит в нём полезный инструмент. В Данияле он находит нрав недостаточно честолюбивый, чтобы быть опасным, и цинизм, которым, как он знает, можно воспользоваться. К этому добавляется внешность, показной блеск которой производит впечатление на вульгарный современный мир.

Полагаю, ему не составило труда убедить Данияла принять новую религию, на которой сосредоточены все его помыслы. Это расплывчатое, бестелесное вероучение — мнимая основа всеобъемлющей иерархической системы, установить которую он стремится. Одержимый идеей слияния светской и духовной власти, он находит в нашей кастовой системе каркас, вокруг которого можно строить. Но ничего нельзя сделать, не примирив брахманов и не побудив их занять своё место в его схеме. Именно это сосредоточило его интерес на Гокале; и здесь — как я теперь начинаю видеть — именно здесь и я заявляю права на его внимание. Гокал — настолько выдающаяся фигура, что его принятие Дин Илахи привлекло бы подавляющее большинство брахманов, которые сейчас, по сути, колеблются. Я обладаю важностью как человек, наиболее способный убедить Гокала подать им пример. Да, я верю, что это то объяснение, которое я искал, мотив, лежащий в основе открытых предложений Мобарека. Возможно, странно, что эта мысль не пришла

мне раньше. Истина, конечно, заключается в том, что последние месяцы мой ум был занят делами совершенно иного порядка, и мне трудно снова привести в движение механизм мирских расчётов.

Но я должен вернуться к своему повествованию. Я задумчиво смотрел в окно, когда мой взгляд упал на Чурамана, который широким шагом быстро шёл по дороге. В следующую минуту я услышал, как он кричит слугам снаружи; и мгновение спустя он ворвался в комнату.

— Новости! — воскликнул он. — У меня есть поистине захватывающие новости!

— Вы поговорили с Даниялом?

— Да.

— И вы преуспели?

— Ну, не совсем. Но — вся ситуация изменилась. — Он сделал паузу, оглядывая комнату. — Где шейх?

— Здесь. — И, обернувшись, я увидел, что Мобарек вернулся и приглашает нас присоединиться к нему в большой комнате.

Чураман нетерпеливо протиснулся мимо меня. — Шейх! — воскликнул он. — У меня великие вести.

Мобарек улыбнулся ему невозмутимо.

— Может быть, вы уже слышали? Принц Салим сделал ход! Началась гражданская война!

Я не воспринял это заявление всерьёз. Что касается Мобарека, он лишь пожал плечами и развёл руками.

— Да, Салим сделал ход, — повторил Чураман, всё ещё с жаром.

— Вы имеете в виду... — начал я.

— Я имею в виду, — перебил Чураман, — что он выступил из Аллахабада во главе своей армии и движется в этом направлении.

— Его армия не расквартирована ни в каком месте поблизости от Аллахабада, — пробормотал я; и Мобарек добавил: — Эти слухи циркулируют по Лагерю последний месяц.

Чураман выпрямился. — Я рассказываю вам то, что только что услышал от самого Данияла, и во что он верит. Говорят, что Салим направляется прямо к этому месту. Он возглавляет семнадцать тысяч всадников, его прямая цель — отрезать нас.

По лицу Мобарека промелькнула тень нетерпения, и он довольно прохладно ответил, что «ход Салима» предвещает очень мало. Это не может быть ничем большим, кроме демонстрации, устроенной в политических целях.

Чураман, почувствовав лёгкую обиду, повернулся ко мне. — Я упомянул Принцу, что вы здесь, и он сказал, что рад это слышать. Были одно-два дела, по поводу которых он особенно хотел вас видеть.

Я почувствовал некоторое удивление, но промолчал. Перспектива встречи с Принцем была мне не особенно приятна, но я старался этого не показывать.

Чураман снова обратился к Мобареку. — Даниял просил передать тебе, что будет здесь примерно через час. Я не мог его переубедить... — Он осёкся, потому что Мобарек подошёл к окну и выглянул наружу с хмурым лицом. Мы присоединились к нему и увидели ссору у внешних ворот. Это был несчастный Дантават, которому грубо отказывали во входе.

Мобарек повернулся к Чураману с довольно холодным благодушием. — Это было бы любезно с вашей стороны, если бы вы вышли и забрали бедного принца Дантавата отсюда. А вы не могли бы прийти сюда снова чуть позже, когда принц будет здесь? Тогда, возможно, удастся договориться о репетициях.

Чураман поклонился и удалился, после чего Мобарек посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Пойдёмте! Мы продолжим нашу беседу».

III

Он провёл меня в маленькую комнату в задней части дома, посреди которой стоял китайский поднос с лёгкими закусками. Его наряд, заметил я, теперь был очень великолепен, а манеры казались более властными; но за этими ужимками я уловил новую дружественность расположения. Положив руку мне на плечо, он улыбнулся мне в лицо — довольно странно, подумал я, — прежде чем предложить сесть.

— Раджа, — произнёс он, усаживаясь напротив, — мы смотрим на жизнь с разных углов, вы и я, но это не означает, что наши ближайшие политические взгляды и цели обязательно должны быть враждебными. Я думаю, вы склонны согласиться со мной по двум важным пунктам: во-первых, что компромисс между брахманами и Дин Илахи должен быть возможен, и, во-вторых, что наследование Даниялом Трона является, в целом, предпочтительнее, чем Салимом. Итак — а эти два вопроса охватывают почти всё поле практической политики на данный момент — мы не расходимся во мнениях.

Наклонившись вперёд через низкий столик, он улыбнулся мне в лицо, и я снова ощутил определённую симпатию между нами. Тем не менее мой ответ получился многословным

и слегка напыщенным. Я принял этот тон потому, что хотел показать Мобареку, что не боюсь показаться педантом; и закончил тем, что совершенно прямо заявил, что горю желанием выяснить, являются ли интеллектуальные и моральные недостатки Данияла такими, которые делают невозможным моё вступление в его партию.

Ответ Мобарека был великолепен своим подразумеваемым самовосхвалением. Главной ошибкой Данияла, сказал он, является безответственность, и это заставит его опираться на своих советников; таким образом, сам его недостаток косвенно послужит благу Империи.

Немного позже я упомянул эгалитарные идеи Данияла, и при этом Мобарек поджал губы и стал поразительно, но отнюдь не неприятно нравоучительным. — Между человеком и человеком, — изрёк он, — существует большая разница в духовной ценности, чем между человеком и зверями полевыми, ибо нам Бог даровал силу сильно возвышать или унижать себя самих. Оглядываясь вокруг, я вижу одних людей, которые подобны животным, других же, приближающихся к ангельству. Теория равенства людей слишком абсурдна, чтобы влиять на практическую политику. Что такое общество, спрашиваю я вас, если не систематизация естественных неравенств между расой и расой, кастой и кастой, и человеком и человеком?

— Возможно, это так, — ответил я, — но всё равно Принц...

— Принц, — сурово перебил Мобарек, — принял Дин Илахи, и такие идеи, которые противоречат этой вере, он должен отбросить. Только на днях я указал ему, что закон общества есть лишь продолжение закона Бога. На этой земле мы видим упорядоченную иерархию существ от низших к высшим, а за пределами нашего зрения существует невероятно сложная и великолепная иерархия Духовных Существ. — Он на мгновение поднял взгляд к небесам, затем медленно продолжил: — Да, и опять же, за ними обитает в ослепительной и непроницаемой тайне непостижимое и возвышенное Могущество, символом которого физически можно считать Солнце.

Я раньше не осознавал, насколько сохранились в этом старике влияния детства. У Мобарека явно присутствует обожание, почтение к солнцу, огню и свету, по зороастрийскому образцу; его суфийские учения окрасили Дин Илахи оттенком, унаследованным от поколений первобытных солнцепоклонников.

— Раджа, — продолжал он, — позвольте напомнить вам стихи, которыми Джалал Уд-Дин Руми четыреста лет назад выразил божественный закон Бога:

Я умер минералом и растением возрос;

Умерши в растении, я принял чувствующий облик;

Умер в животном и надел людское платье;

Когда ж от смерти я хоть раз бывал умален?

Мне должно вновь от человечности скончаться,

Чтоб с крыльями ангелов сквозь небо воспарить.

Как ангел также должен я исчезнуть,

Поскольку сгинет всё, кроме Его Дня.

Пусть буду Ничто! Ведь всё вещает,

Что «к Нему вернёмся мы опять!»

Это эволюция духа при прохождении через материальные и полуматериальные миры. Слова Джалала Уд-Дина вдохновлены свыше. Несомненно, они получат полезное подтверждение в более позднюю эпоху теми, кто передвигается на ногах вместо того, чтобы использовать крылья. Лично я верю, что однажды наука уделит много внимания этому предопределённому Богом прогрессу жизни; — да и наука не пренебрежёт изучением света. Когда я говорю о свете как об источнике и семени жизни, я использую не просто фигуру речи. Лучи солнца можно рассматривать либо как крайне разреженную форму материи, либо как энергию, либо как ангелов из разума Бога. Император божественным внушением мощно проникнут этой истиной.

Он пристально смотрел на меня, и я полагаю, что моё лицо было недостаточно отзывчивым, ибо его взгляд внезапно стал суровым, и он продолжил: «Возможно ли, чтобы вы не знали, что в полдень того дня, когда солнце входит в девятнадцатый градус Овна, весь мир тогда окружён его светом, Император велит выставить Богу круглый кусок белого и блестящего камня? Под ним держат клочок хлопка, который загорается от сфокусированных лучей. Этот небесный огонь передаётся на попечение надлежащих лиц. Светильщики, факельщики и повара королевского двора используют его для своих обязанностей; и когда проходит год, они обновляют огонь». Он сделал паузу, затем добавил: «Солнце — это факел, которым для наших глаз освещается верховная власть Бога».

Я взирал на Мобарека с глубочайшим интересом, и моё сердце потеплело к нему. Пока я обдумывал свой ответ, он снова заговорил — на этот раз другим тоном.

— Думаю, вы критикуете Принца. В его глазах блеснул огонёк веселья. — Что ж, я и сам не чужд критики в его адрес. Я вижу его недостатки так же хорошо, как и любой другой.

— Это недостатки юности? — предположил я.

— Да, но он никогда их не перерастёт.

— Нет?

— Нет.

На мгновение мы замолчали; затем Мобарек пожал плечами. — Мы говорим о недостатках юности так, будто они принадлежат только юности, но на самом деле большинство людей никогда не учится делать больше, чем скрывать их. Эти недостатки, если это действительно недостатки, проистекают из фундаментального принципа, инстинкта к бунту.

Я был немного удивлён и позволил ему это заметить.

— Каждый, — решительно продолжал он, — содержит в себе импульсы мятежника, революционера, врага порядка и дисциплины.

— Инстинкт разрушения? — добавил я.

Мобарек бросил на меня быстрый взгляд. — Возможно. Всякое изменение предполагает разрушение. То, что мы видим в молодых, — это бунт против двух тираний: тирании Прошлого и тирании Природы. Я ожидаю от вас, раджа, как от гораздо более молодого человека, что вы будете более терпимы к недостаткам Данияла, чем я. Мой возраст сковывает меня. Многое из того, что Даниял хочет разрушить, кажется мне лучше всего того, что он может предложить взамен. Однако мы с ним будем уравновешивать друг друга.

— Вы говорите с поразительной отстранённостью, — сказал я.

— Что касается бунта против Природы, — продолжал он, — то и он имеет своё применение. Если он способствует культу стилизованного, условного, искусственного просто ради них самих, то он также, в более широком смысле, способствует цивилизации.

— Цивилизации? — повторил я эхом. — В какой точке между варварством и декадансом царит цивилизация? Если цивилизованное сообщество определяется как такое, где вы находите эстетическую озабоченность, утончённую мысль и изысканное общение, является ли цивилизация обязательно желательной? Эстетическая озабоченность не противоречит совершенно недостаточному представлению о масштабе и силе искусства; мысль может быть утончённой и всё же тривиальной; а изысканное общение может быть на редкость неинтересным.

Мобарек улыбнулся и некоторое время молчал; затем — «Пункт, которую я хочу подчеркнуть, — продолжил он, — заключается в том, что мятежный инстинкт по своей сути созидателен; он лишь кажется разрушительным в своих более наивных и поверхностных проявлениях, — то есть в нападках на то, что молодой человек считает устаревшим, громоздким и ограничивающим. Прошлое — и фактически происходящее — являются точкой опоры, на которую должен давить рычаг молодости. Отношение Данияла к Императору и ко всей старой школе, на мой взгляд, весьма глупо во многих отношениях. Я не особо интересуюсь Искусством, поэтому об этом говорить не буду; но его социальные и политические идеи часто кажутся мне нелепыми».

— Его позиция в настоящее время, — пробормотал я, — не очень-то вам помогает. Я имею в виду в отношении Принцессы и её отца. Могу я спросить, жаждет ли сама Лалита приехать в Лагерь?

Мобарек поджал губы.

— Простите за обескураживающие слова, — продолжил я, — но я задаюсь вопросом, не окажется ли вам трудно устроить этот брак. Собственные склонности Принцессы могут — при данных обстоятельствах — как раз перевесить чашу весов.

— Вы совершенно правы, раджа. В глазах Мобарека промелькнул насмешливый блеск. — Вы совершенно правы. И именно поэтому я только что решил, что должен сам отправиться в Катхияпур. Я выезжаю завтра. Извинения и оправдания, которые я приведу за Принца, будут лучше любых, которые мог бы привести он сам. Не моя вина будет в том, что Лалита не вернётся сюда вместе со мной.

Я восхищался энергией и самоуверенностью старика. — У Принца хорошие друзья, — сказал я. — Надеюсь, он докажет нам всем, что заслуживает их.

Мобарек улыбался; он пристально смотрел на меня. — Я хочу, чтобы вы поехали со мной, раджа.

Это предложение не слишком сильно меня удивило. Мобарек, конечно же, знал, что Амбисса умоляла меня приехать в Катхияпур. — Вы хотите, чтобы я сопровождал вас? — медленно произнёс я. — Что ж, в конце концов, почему бы и нет? Я весьма польщён вашим приглашением.

— Значит, поедете? — быстро спросил Мобарек. — Превосходно!

— И всё же... — заколебался я.

— Думаю, когда сегодня утром вы переправлялись через озеро... — сказал Мобарек, глядя на меня с улыбкой.

Я невольно напрягся. Старик проявлял почти излишнюю проницательность. — У меня не было твёрдых планов, — сказал я.

— Нет. Но вы были полны решимости позволить себе руководствоваться игрой событий. Итак, если я буду настаивать...?

Я рассмеялся. — Да.

Мобарек перегнулся через стол, чтобы положить руку мне на плечо. — Это доставляет мне величайшее удовольствие. А теперь, — он проворно поднялся на ноги, — мы должны присоединиться к нашим друзьям. Принц может появиться в любой момент.

Я последовал за ним в большую приёмную, где обнаружили Чурамана в компании нескольких молодых людей из свиты Принца. Склонив головы друг к другу, они болтали и хихикали, как школьницы; но как только появился Мобарек, тон беседы изменился. Через некоторое время, отделив Чурамана от толпы, я сумел вернуть его к теме Данияла. По мнению Чурамана тот факт, что мать Данияла была рабыней, оказал мощное влияние на характер Принца. Это интересно. Интересно также и то, что Даниял не выносит вида физической боли. Он заявляет, что во время массовой казни Вамачари около шести месяцев назад Принц действительно упал в обморок.

Наконец мы перешли к теме женитьбы Принца; и здесь Чураман зашёл дальше, чем мог намереваться, в плане самораскрытия. Описывая серию проявлений невежливости, которые Лалита получила от рук Данияла, он позволил проявиться значительному удовлетворению. Моим первым предположением было то, что когда-то Принцесса каким-то образом пренебрежительно отнеслась к нему; но когда вскоре выяснилось, что эти двое никогда не встречались, стало ясно, что Чураман использует тон Лагеря — тон, за который Даниял сам, без сомнения, несёт ответственность. Теперь моё собственное мнение о Лалите (сформированное при очень, очень поверхностном знакомстве) нельзя назвать особенно благоприятным; но это не меняет моего суждения о Данияле в этом вопросе, да и не помогло мне терпеть тон Чурамана. Я вернулся к Мобареку и оставался с ним до тех пор, пока не объявили о прибытии Принца.

IV

В тот момент, когда он вошёл в комнату, меня охватило смятение. При наших предыдущих встречах, конечно, я находил его достаточно непривлекательным; но никогда — да, никогда прежде — он не производил на меня такого впечатления. Его внешность, его жесты, интонации голоса — словом, всё проявление и личность этого молодого человека были бесконечно неприятны. С замиранием сердца я спросил себя, смогу ли я когда-нибудь найти возможным при каких-либо обстоятельствах встать на его сторону или предложить Сите сделать то же самое. С недоумением я взглянул на Мобарека. Его лицо с улыбчивой учтивостью послужило мне уроком.

Некоторое время после того, как Даниял совершил свой выход, и пока он разворачивался с удручающим изобилием речи и жестов, мы стояли вокруг него, придворными улыбками провозглашая, что наши глаза и уши очарованы. «О мой дорогой Шейх! Мой возлюбленный Гуру!» — чтобы привести пример его стиля — «Разве это не слишком возмутительно! Дорогой мой, можете ли вы себе представить, — двести моих несчастных гостей уже сбежали! Да, двести из них, включая по меньшей мере полдюжины членов моей труппы! Членов труппы, заметьте себе! И у некоторых из них были довольно важные роли. Скажите мне, что мне делать? Разве это не похоже на Салима — сыграть со мной такую шутку? Слухи,

распространившиеся вчера вечером по Лагерю, все были прослежены до его шпионов. Вы мне не верите! Но, дорогуша, Лагерь кишит ими! Чёрт возьми, многих из них я знаю в лицо! Я подошёл к одному на днях и сказал: „Мой добрый человек, я знаю, вы желаете добра; я знаю, вы хотите сделать всё возможное, чтобы заработать деньги, которые платит вам мой превосходный брат. Молю вас, идите куда хотите и делайте что хотите, и докладывайте что хотите! Только, умоляю вас, не вмешивайтесь в дела моих актёров! Не мешайте моей пьесе!“ — Но Салиму, полагаю, уже сообщили, что я выставляю его комической фигурой. И вот результат! В своей ярости он делает всё возможное, чтобы остановить представление».

Подобного рода вещами Принц одарил нас сполна; и всё это время он вертелся на каблуках, жестикулируя, и заставляя свою бледно-голубую мантию раздуваться позади него. Некоторое время я думал, что он преувеличивает своё обычное легкомыслие из бравады, но немного позже моё впечатление изменилось. Теперь я верю, что лицо растаяло за маской, что позёр поглотил человека. Даниял, клянусь, стал фактически не более чем тем, кем он заставляет себя казаться.

Через некоторое время, когда эффект от его появления прошёл, он сделал вид, что заметил меня впервые. Это придало ему новый импульс, и он приветствовал меня с такой несдержанной, столь очевидно искусственной экспансивностью, что я почувствовал немалое смущение. Я, должен сказать, исключительно неподходящий объект для применения обаяния. Как только я подозреваю кого-то в сознательном усилии в этом направлении, меня охватывает дискомфорт. Несомненно, правильно реагировать на такие манеры, как у Данияла — само по себе искусство — искусство, в котором я, слава богу!, не имел случая много практиковаться. По этой причине, когда я оглядываюсь на эту сцену, меня одолевают дурные предчувствия. Я не могу быть уверен, что успешно скрыл то, что чувствовал. Правда, манера Данияла не изменилась, его вопиющая любезность не уменьшилась, но было бы неразумно черпать в этом успокоение. Даниял вполне мог оказаться слишком проницательным, чтобы не изменить свою манеру хотя бы на йоту, даже если он и увидел, какой эффект она произвела на меня.

Вскоре он снова вернулся к теме Салима. «Этот мой старший брат, раджа, имеет два увлечения: войну и религию. Обе они, видите ли, дают ему повод убивать людей; а именно это доставляет ему наибольшее удовольствие. По политическим причинам его религиозная жизнь тоже становится сейчас очень прекрасной; мне говорили, что он поворачивает лицо к Мекке и поднимает зад в молитве по крайней мере четыре раза в день».

Эта острота была предназначена для всеобщего слуха, и после того, как все должным образом ей похлопали, — «Я думаю, — добавил он, — Салим становится слишком большим мальчиком для таких вещей, не так ли, раджа?»

— Увы! — продолжил он чуть позже, — мирные безмятежные дни миновали. В любой момент Салим может ворваться в мой театр — чтобы застать нас, вероятно, хватающимися за бока над его двойником на сцене! Небеса, какая резня за этим последует! И каким

славным днём это будет для него, милого человека! Одним махом он очистит страну от всех, кто обладает хоть каким-то интеллектом. Да, Индия после этого станет совершенным раем для наших правителей; и все остальные правительства мира позеленеют от зависти.

Это серьёзный недостаток моего характера, что я не могу терпеть подобные вещи с терпением. Но худшее было ещё впереди. Отпустив свою свиту, Принц подозвал меня к себе, просунул руку под мою и вывел в сад позади дома.

— Мой дорогой раджа, — сказал он доверительным тоном, — я хочу перекинуться с вами парой слов — парой слов об Али.

Упоминание Али в этот момент вызвало во мне небольшой толчок удивления. Я думал, что у Принца есть предметы поважнее, о которых стоит поразмыслить. Но нет! Я ошибался, и он доказал это, рассуждая не менее часа о достоинствах Лагеря как учреждения для формирования юношеского характера. — Я хочу, чтобы вы объяснили это Хари Хану, — заключил он. — Было бы так утомительно, если бы он стал возражать против того, чтобы Али оставался со мной. Это могло бы привести ко всяким неприятностям, знаете ли.

Без сомнения, я выглядел довольно сомнительно в отношении своей миссии, ибо после паузы он продолжил: «Это действительно довольно важно, чтобы вы заставили Хари Хана увидеть вещи в их истинном свете — я имею в виду ради его же блага. Было бы прискорбнейшей ошибкой, если бы мелкое недоразумение толкнуло его в объятия моего брата Салима. Никому из нас не хотелось бы это видеть!»

Появление Мобарека теперь положило конец нашей беседе; но, прежде чем удалиться, я получил от Данияла приглашение присоединиться к нему вскоре за обедом. Следуя за слугой, которому было велено показать мне мою комнату, я размышлял над последними словами Принца о Хари. Хотя они были произнесены легкомысленно, этого было более чем достаточно для предупреждения. Тема Али содержала в себе больше, чем я осознал поначалу.

И теперь я должен записать происшествие, которое произвело на мой ум глубоко неприятное впечатление. Когда я шёл по коридору к своей комнате, до моих ушей донёсся странный шум; в следующее мгновение дверь передо мной с огромной силой распахнулась, и девушка головой вперёд бросилась в проход. Она явно убегала, но прежде чем она успела восстановить равновесие, следом за ней выскочил мужчина и сумел схватить её за руки. Пока двое боролись там передо мной, я узнал её: это была Гуневати!

Никакими словами нельзя описать моё изумление. Я стоял, остолбенев, пока происходило запыхавшееся противоборство. Сцена становилась ещё более неприятной из-за того факта, что мужчиной был молодой негр. Он пытался затащить Гуневати обратно в комнату, но она сопротивлялась ему с силой маньячки. За исключением пыхтения, сопения и шарканья ног, ни один из них не издавал ни звука. Затем глаза Гуневати случайно остановились на моём

лице, и на мгновение она прекратила борьбу. Мужчина тоже поднял взгляд; и в этот краткий промежуток времени Гуневати издала странный звук горлом. В смятении я окликнул её по имени; я, собственно, уже собирался вмешаться, когда борьба разгорелась вновь. На этот раз у негра была крепкая хватка. Он подхватил девушку прямо с земли и неуклюже протиснулся через дверной проём в комнату. Я подошёл и заглянул внутрь. У окна, выглядя хмурым и раздражённым, стоял маленький человек, которого я узнал, видев его полчаса назад в свите Принца. Большое, плоское, коричневое лицо на вершине плотного коротконогого тела придавало этому парню вид крупного печёного краба. Я слышал внизу, что его зовут Мансур и что он играет какую-то важную роль в пьесе Данияла; но это не помогло мне понять, что он делает здесь в данный момент. В его руке были письменные принадлежности и нечто похожее на школьную тетрадь. Комната, как я заметил, была пустой, за исключением стола и двух стульев. На один из этих стульев негр теперь попытался усадить Гуневати; но ей удалось опрокинуть его, и сильным пинком она отправила стул лететь через всю комнату. Нервно моргая и с выражением отвращения, Мансур заковылял вслед за стулом и принёс его обратно. Это представление повторилось ещё раз, прежде чем Мансур заметил меня. Выразительно улыбнувшись, он замер, пожал плечами и развёл руками. «Вы видите, каково это! Это нелепо! Что я могу поделать?»

Я молча смотрел на него. Я также посмотрел на Гуневати, которая, всё ещё удерживаемая негром, тяжело дышала и имела тот же безумный взгляд в глазах. Моё безмолвие побудило Мансура сказать кое-что ещё. — Принц сказал мне, что я должен научить её писать. Но как мне научить её писать? Это совершенно нелепо. Как я могу учить девушку, которая так себя ведёт? Она сумасшедшая.

Он говорил с сильным персидским акцентом, и по его тону, который был одновременно наглым и ворчливым, я узнал его типаж. Негру он сказал: — Я умываю руки от всего этого дела. Я скажу Его Королевскому Высочеству, что она опасная сумасшедшая. Есть ли замок на двери?

Он подошёл и осмотрел её. «Да. Вам лучше запереть её — и следить за окном снаружи тоже. Теперь я вас предупредил. Это ваша ответственность, а не моя».

Он присоединился ко мне в проходе снаружи, продолжая ворчать тоном слуги, которого попросили сделать что-то вне его обычных обязанностей. «Я актёр. Не моё дело быть школьным учителем. И уж точно не школьным учителем для сумасшедших». Говоря это, он вытер лоб шёлковым платком с сильным ароматом и поправил свой тюрбан, который, как я подозреваю, Гуневати недавно сбила. Затем, не говоря больше ни слова, он удалился.

Тем временем мой проводник, который исчез, вернулся ко мне и рассыпался в извинениях за то, что повёл меня неверной дорогой. Мы добрались до моей комнаты без дальнейших приключений, и там я сразу же погрузился в тревожные размышления. Откуда взялась Гуневати? Как долго она была в Лагере и что она здесь делала? Её присутствие наполняло меня самыми мрачными подозрениями, — подозрениями, которые относились не только

к Даниялу, но и к Мобареку. Выглядело так, будто Принц приложил усилия, чтобы заполучить Гуневати, дабы использовать её в качестве свидетельницы против Гокала. А Мобарек, который ничего не сказал мне о присутствии Гуневати здесь, похоже, был соучастником этого.

Затем я начал ломать голову над некоторыми странными особенностями сцены, свидетелем которой только что стал. Почему Гуневати была в таком исступлении? И, если в исступлении, почему она боролась молча — не крича? С ней было что-то неладное, чего я не мог понять. И, наконец, зачем Даниялу понадобилось учить её писать?

Часом позже я снова спустился вниз и обнаружил обеденный стол, очень просто накрытый в беседке в конце сада. Мы сели за нашу трапезу без всякой формальности. Во главе стола сидел Принц, по одну сторону от него находился Мобарек, а по другую — я. Слева от меня сидел Чураман (который прибежал, запыхавшись, сразу после того, как мы заняли свои места), а по другую сторону от Мобарека сидел некий принц Джара.

Разговор, который шёл, когда я спустился, показал мне, что Даниял согласился — и очевидно, с величайшим удовлетворением — на предложение Мобарека, чтобы именно тот совершил путешествие в Катхияпур. В остальном у Данияла был вид человека, чувствующего, что он заслужил право расслабиться. Большая часть его беседы была обращена к Чураману, который руководил репетицией, которую ему, бедняге, пришлось пропустить. У меня была возможность наблюдать, насколько тактично Мобарек обращается со своим царственным протеже, ибо в течение трапезы время от времени появлялись сдержанные секретари с бумагами, которые они незаметно вкладывали в руки Мобарека, и Мобареку приходилось убеждать Принца пробежать по ним взглядом, прежде чем поставить свою подпись.

Сначала я вообразил, что трапеза скоро закончится, ибо Даниял ел с небрежной поспешностью, почти создавая впечатление, что в любой момент может встать и уйти. Смеясь, выпивая, едя и разговаривая одновременно, откинувшись на спинку стула и переводя взгляд с одного лица на другое, он производил неприятное впечатление беспокойства. Дважды в следующий час принца Джару вызывали встать и пройтись перед ним, чтобы продемонстрировать какой-нибудь причудливый костюм. Сначала это был плащ, который должен был носить имитатор Салима, а затем — одеяние, которое сам принц Джара разработал для нового ордена младших дьяконов Дин Илахи. Используя этого бедного юношу и Чурамана в качестве своей аудитории, Даниял вскоре выставлял себя в худшем свете. Не довольствуясь тем, что сделал из Салима мишень, он набросился на сановников двора своего отца, высмеивая и принижая их со злобой, которая превосходила всё, что я мог бы себе представить. Группу добросовестных, энергичных и по большей части очень способных людей, занятых неблагодарной и трудной задачей управления, Даниял видит — или делает вид, что видит, — как сборище глупых, жестоких

и нелепых негодяев. Время от времени я поглядывал на Мобарека. Его выражение лица ничего не выдавало, и я проникся чувством его отстранённости и власти. Несомненно, он презирает Данияла, но я должен допустить возможность того, что его презрение смягчается восприятиями, которых мне недостаёт.

Когда наконец Чураман и принц Джара встали и занялись своими делами, атмосфера весьма ощутимо изменилась. Оживление Данияла спало, он стал рассеянным, и я почувствовал, что и его уход неминуем. Не теряя времени даром, я описал сцену, свидетелем которой оказался наверху, и мой тон красноречиво вопрошал.

Даниял и Мобарек обменялись взглядами; затем Даниял запрокинул голову и рассмеялся.

— Даёт ли мне Ваше Высочество разрешение объяснить? — сказал Мобарек с улыбкой.

— Конечно, мой дорогой Шейх, — ответил Даниял и начал нарезать манго у себя на тарелке.

Мобарек соответственно повернулся ко мне, и история, рассказанная им, сняла с моей души немалую тяжесть.

— Принц, — добавил он через мгновение, — раджа без сомнения находит странным, что Гуневати нашла в себе мужество — или скорее наглость — излить свой рассказ в уши Вашего Высочества. Могу я ещё раз получить ваше разрешение объяснить?

Даниял пожал плечами и кивнул.

— Она влюблена в Его Королевское Высочество. — Мобарек объявил об этом с улыбкой. — Её цель в разоблачении своих скандальных отношений с Гокалом заключалась просто в том, чтобы сделать себя интересной.

Даниял откинулся на стуле и деликатно вытер руки салфеткой. Я ждал. Пока ещё ничего не было сказано, чтобы пролить свет на сцену наверху; но я чувствовал, что объяснение вот-вот последует; и я также чувствовал, что оно будет неприятным.

— Раджа, — сказал Принц, — вчера — или это было позавчера? — мне донесли, что язык Гуневати только что отрезали.

Я уставился нахмурившись от ужаса.

— Кто-то отрезал ей язык, — повторил Принц, и он посмотрел мне прямо в глаза.

— Кто-то? Кто?

Лицо Данияла потемнело, а глаза сузились. — Возможно, друзья Гокала.

Я отпрянул в гневе. — Нет, нет! — вмешался Мобарек. — Его Высочество не это имеет в виду.

Даниял издал короткий смешок. — Во всяком случае, её нескромность была быстро наказана, — но кем?

Я молчал.

— Шпионами Салима! — воскликнул Даниял. — Кто ещё мог это сделать? Да, — продолжал он, — рука Салима в этом деле прослеживается совершенно ясно. Салимом двигали ярость из-за поимки девушки и страх, как бы она не выдала его секреты.

Произнеся эти последние слова, он несколько мгновений оставался погружённым в свои мысли, и его выражение показалось мне особенно неприятным. Затем, выйдя из задумчивости с пожатием плеч: «Эта девушка, — воскликнул он, — поистине ужасно глупа, и — что гораздо важнее — очень плохая актриса. В роли Лакшми ей нужно было лишь показаться обнажённой на сцене, и это было ей вполне по силам. В моей новой пьесе я дал ей лучшую роль; у меня были на неё надежды; но увы! — Он покачал головой. — Её невозможно научить».

Мой ответ был невнятным бормотанием. Принц снова вздохнул и продолжил: «До моих ушей дошло, что её подозревают в том, что она была причиной...» Румянец медленно разлился по его лицу. «Фактически, было высказано предположение, что она подсыпала что-то в еду Гокала. Неужели это может быть правдой?»

— Боюсь, в этом нет никаких сомнений, — ответил я.

Выражение лица Данияла снова стало крайне неприятным, и, глядя на него, я вспомнил, что заметил: наш обед был подан таким образом, что отравить его одного было бы невозможно, не отравив при этом всех нас. Мы все брали еду из одного и того же блюда, и он никогда не начинал есть до тех пор, пока мы почти не закончили свои порции.

Через мгновение, бросив салфетку, он начал говорить с большой горячностью и быстротой. — Отравительница! Боже правый, какая гнусная девчонка! Удивительно, как легко женщины, кажется, прибегают к яду. Я нахожу такую бессердечность и дикость действительно непостижимыми. Слово чести, она и Салим очень подходят друг другу. Думаю, лучше всего будет немедленно отправить её обратно к нему.

После этой вспышки он замолчал, хмурясь и барабаня пальцами по столу.

— Шейх, — сказал он наконец, — пожалуйста, пришлите за Мансуром. Мне нужно поговорить с ним. После этого я, возможно, перекинусь парой слов с самой девушкой.

V

Мы ждали Мансура в молчании. Я размышлял о том, что ничего не было сказано о причине, по которой Даниял хотел научить Гуневати писать, ни о причине её отказа; но здесь, во всяком случае, не было никакой тайны. Даниял был явно раздосадован на себя за то, что

не вытянул из девушки больше информации, пока она ещё владела своим языком; а она, бедняжка, была в ужасе от того, что овладение искусством письма может навлечь на неё новые беды.

Вскоре, когда вернулся слуга, он сообщил, что Мансур нигде не найден; казалось, он покинул дом, никому ни слова не сказав. Это был неловкий для всех нас момент: самовольный уход маленького актёра был неслыханной наглостью. На лице Данияла появилось выражение крайнего гнева, но оно почти сразу же сменилось выражением брезгливой скуки. Он полуприкрыл глаза, и в следующую минуту, к моему удивлению, он действительно зевнул.

Как у наркомана внезапно возникает тяга к своему наркотику, так и сейчас он жаждал стимула своей шумной, жестикулирующей толпы. Ни Гуневати, ни Салим — да даже не сам Трон! — не имели для него никакого значения в данный момент.

— Шейх, — небрежно сказал он, — я разберусь с этим делом позже. Прямо сейчас мне действительно...

Он уже собирался встать, как вдруг через лужайку поспешил взволнованный секретарь. «Ваше Высочество, — выдохнул человек, — произошло ужасное несчастье! Утеряно письмо Его Величества! Гонца смыло наводнением! Он утонул. И письмо Вашему Высочеству исчезло вместе с ним».

Бедняга (это был один из секретарей Мобарека, а не Данияла) дрожал от волнения. Его взгляд беспокойно метался от лица Принца к лицу Мобарека; он заламывал руки, чтобы продемонстрировать своё личное сочувствие.

Но эффект этой новости на Принца оказался не таким, какого он ожидал. После того, как Даниял с полминуты смотрел на него с неподвижным лицом, он закрыл глаза и блаженно улыбнулся.

— Несчастье, воистину! — произнёс он наконец. — Боже правый, подумать только, что вдохновенное послание моего августейшего отца было поглощено пошлым горным паводком! Как Всемогущий Бог мог допустить такое!

Мобарек бросил быстрый хмурый взгляд и жестом велел смущённому секретарю убираться. Что касается Данияла, хорошее настроение мгновенно вернулось к нему. Откинувшись на спинку стула, он оглядывал Мобарека с улыбкой злорадного веселья. «Что вы скажете на это, Шейк? Может ли быть что-то более провиденциальное? Не зная наверняка, что содержалось в этом письме, я проницательно подозревал, что там не было ничего хорошего. Но письмо утеряно! Оно утеряно! Так что всё хорошо».

Мобарек снова нахмурился, заставив меня подумать, что мне, пожалуй, лучше удалиться, оставив его свободным упрекать Данияла по своему усмотрению. Но в этот момент на другой стороне лужайки появились какие-то мужчины и женщины, и Принц, увидев их,

вскочил с криком восторга. Новоприбывшим, по крайней мере на данный момент, принадлежал центр сцены, и они взяли свои роли должным образом, пустившись в юмористический рассказ о своём путешествии. В интересах шутливости всякое правдоподобие приносилось в жертву; но это не имело значения, поскольку разговор был лишь демонстрацией искусства создания общественных приличий; — ничто не имело значения, кроме необходимого количества шума и смеха. Эта манера разыгрывать заранее согласованный стандарт элегантности кажется мне очень утомительным занятием. Именно это, в точности, на более низком социальном уровне порождает жеманство. Конечно, в группе Данияла создаётся прямо противоположный эффект. Здесь от жеманства держатся подальше; вам напоминают о нём посредством его противоположности — естественности, слишком хорошей, чтобы быть правдой, преувеличенной непринуждённости, дерзости, которая притворяется неосознающей саму себя. Что это, если не двойная перегонка вульгарности? Действительно, мне кажется, что точно так же, как требуется вся хитрость умного человека, чтобы создать совершенного глупца, так привилегия искушённых состоит в том, что только они способны производить самые богатые и редкие плоды вульгарности.

Но здесь я должен сдержать себя, ибо без сомнения становлюсь недоброжелательным. Дело в том, что после нескольких месяцев жизни в уединении я не в лучшем расположении духа для компании. Мне следует помнить также, что моей натуре недостаёт добродушия. А этот недостаток нелегко исправить. Чтобы быть добродушным, недостаточно быть готовым — более того, стремящимся — не замечать чужих недостатков; важнее не осознавать своих собственных. Ничто не заставляет других сильнее чувствовать себя «не в своей тарелке», чем ощущение того, что их спутник склонен к самокритике. Глупцам многое можно простить.

Но вернёмся к моему повествованию. К нам присоединились принц Джара и Чураман, и компания принялась с большим жаром обсуждать зависть друзей Данияла, которых не пригласили в Лагерь. С этого они перешли к моральному негодованию, которое Лагерь вызывал в рядах ханжей и филистеров; они высмеивали дурной вкус всех, кроме самих себя, — в частности, скверность искусства, получающего официальное покровительство. Даниял остроумно высказался о дороговизне и уродстве Фатехпур-Сикри. «Бог, уничтожая его, — сказал он, — приятно удивил меня, показав, что Его вкус хотя бы немного лучше вкуса моего отца».

От этого было совсем недалеко до письма Императора, и он вовсю использовал его как предмет для юмора, когда секретарь Мобарека — тот самый, что появлялся прежде — снова пересёк лужайку; и опять, бедняга, он выглядел очень несчастным в своей миссии.

— Ваше Высочество... — робко начал он.

— Ну? — сказал Даниял, раздражённый тем, что его прервали.

— Ваше Высочество — письмо...

— Ну! — повторил Даниял.

— Оно... оно найдено. Простите меня, Ваше Высочество, оно у меня здесь.

На этот раз шутка обернулась против Данияла, но он справился с ситуацией не так уж плохо. Бросив письмо на стол, он смерил его взглядом с выразительной гримасой; затем, повернувшись к Мобареку, сказал: — Шейх, — сказал он, — несмотря на все доказательства обратного, это письмо не было найдено! Поверьте мне, то, что вы видите здесь, — всего лишь жалкий призрак! Письмо остаётся утерянным, утерянным! Клянусь небом, меня не так-то просто лишить этого удобного паводка.

Пока компания смеялась в знак одобрения, Даниял снова подобрал письмо, подбросил его в воздух и поймал с ловкостью жонглёра; затем он изучил большую синюю печать. «Полагаю, я вскрою его, — небрежно сказал он, — будет интересно посмотреть...»

Если он наполовину намеревался — а я склонен думать, что так и было, — прочитать письмо вслух, это намерение быстро изменилось. Я заметил, как его лицо потемнело, пока глаза бегали по строчкам; очевидно, письмо Императора содержало дела более серьёзные, чем он ожидал. Через мгновение он сунул его в карман и разразился негодующей тирадой. Что именно вызвало такое возмущение его чувств, нам не сообщили, но сочувствие аудитории от этого не стало менее быстрым, а их возгласы — менее громкими. Ирония и цинизм исчезли, временно поглощённые волной благородного морального негодования. Признаюсь, это застало меня врасплох. Эти люди дали мне понять, что моральное негодование — это глупость, свойственная филистерам. Кроме того, кто бы мог ожидать, что те, кто тратит так много времени, пытаясь задеть чувства других, окажутся настолько неразумными, чтобы кричать, когда задетым оказывается их собственное самолюбие?

Длинные вечерние тени уже тянулись по траве, когда Даниял наконец сдвинулся с места, и лишь для того, чтобы увлечь нас за собой в свой театр. Да, зная, насколько занят Мобарек, он продержал его — и меня — слоняясь без дела в своём театре ещё почти два часа, пока предпринимались прерывистые, путаные попытки отрепетировать некоторые фрагменты его пьесы. Воистину, светская жизнь требует самодисциплины, за возможность избежать которой обычный человек может быть только благодарен. Тем более что эта дисциплина часто мелочна по замыслу и действию. Слишком уж мир похож на театр, где, чтобы выглядеть величественно и держаться с гордостью, приходится отдавать всё своё личное время раскрашиванию лица, переодеванию и позированию перед зеркалом. Вы обязаны научиться думать в первую очередь о внешнем виде; вы должны непрестанно проецировать себя в сознание вашей аудитории; и, узнавая, какими простыми и немногочисленными являются трюки, которые вечно вводят в заблуждение, вы начинаете гордиться своими мелкими хитростями и забываете, насколько они малы. Тем не менее, я не обвиняю Мобарека в том, что он уже расстался со своим достоинством. Безусловно, он циничен, но без низости.

Принц теперь был полностью в своей стихии, попеременно выкрикивая указания актёрам и обмениваясь остротами со своими друзьями. Таково было положение, когда произошёл драматический инцидент.

Человек, которого я узнал как мнимого самоубийцу, принца Дантавата, медленно прошёл через пустой театр и подошёл к Принцу в попытке привлечь его внимание; но Даниял оживлённо разговаривал с кем-то на сцене, и когда он наконец всё же повернулся к бедняге рядом с ним, то сделал это лишь для того, чтобы махнуть ему рукой прочь. Дантават, выглядя воплощением уныния, снова медленно пошёл назад, но, дойдя до меня, остановился. «Мне кажется, я вас знаю», — сказал он.

Я ответил как можно любезнее, ибо он вызывал у меня жалость. В его глазах было выражение, которое заставило меня подумать, что его несчастья, должно быть, повлияли на его рассудок.

— Видите вон того человека? — всё более странно продолжал Дандават и указал на Данияла, стоявшего шагах в пятнадцати. Я повернул голову, и, пока я это делал, малый приложил к моему мечу другую руку, выхватил его из ножен и бросился к Принцу. Но я тоже рванулся вперёд и успел вовремя толкнуть Дандавата в плечо так, что тот пошатнулся в сторону. Даниял, стоявший спиной, не видел этого, как и те, кто был рядом с ним: они тоже смотрели на сцену. Однако многие другие зрители, рассеянные по театру, стали свидетелями всего происшествия, и тут же поднялся страшный шум, а толпа бросилась к Дандавату. Примечательно, что при задержании он не оказал никакого сопротивления, но стоял тихо, словно не осознавая только что содеянного.

Теперь, оставляя в стороне вопрос о здравомыслии Дандавата, возникает следующий пункт: действительно ли он намеревался убить Принца или просто совершал драматический жест, подобный его притворным попыткам утопиться в озере? Это дело напрямую касается меня, поскольку от него зависит вопрос, следует ли считать меня спасителем жизни Данияла. Мое твёрдое убеждение состоит в том, что Дандават разыгрывал, и мне крайне досадно считаться спасителем Данияла. Тем не менее именно эта точка зрения получила общее распространение, и я оказался бессилен её изменить. Ситуация сразу после инцидента полностью вышла из-под моего контроля, да и Данияла тоже. Именно толпа шумных, глупых, безответственных зевак определила значимость произошедшего, и ими, конечно же, руководило только одно желание — сделать это событие как можно более сенсационным. Я краснею от стыда и отвращения, вспоминая нелепую сцену, в которой мы с Даниялом вынуждены были играть главные роли. В оправдание Данияла скажу, что, полагаю, он тайно раздражался почти так же сильно, как и я. Но ему недоставало смелости занять позицию, которая могла бы показаться неблагородной. Будучи вынужден рассматривать себя как чудом избежавшего смерти и приветствовать меня как своего спасителя, он принял предложенную роль. С этой секунды следовало ожидать худшего; и оно действительно произошло. Прежде всего, разумеется, Принц устроил демонстрацию хладнокровия (идеального спокойствия, оживляемого

лёгкими шутливыми выпадами); затем последовало милостивое прощение и сострадательное отношение к своему обидчику; далее — усмирение истерических эмоций своих обожающих друзей; и последнее, но не менее важное — должное признание, щедрая оценка моей славной роли в этом деле. Кульминацией — я содрогаюсь, записывая это — стало то, что он публично наградил меня похвалой, объятием — поцелуем!

Часть 2

I

Не прошло много времени после рассвета следующего дня, как мы с Мобареком отправились в путь. Мы путешествовали с комфортом в двойных носилках-паланкине, которые несли восемь человек. Дорога была мокрой и скользкой, наш шаг — медленным, а холод необычен для этого времени года. Мобарек, однако, был закутан в меха, что до меня, то я уже привык к суровому климату этих гор.

Я воспользовался случаем, чтобы обсудить отношение Гокала к Дин Илахи. Мобарек сказал, что от членов касты браминов Император потребует лишь одного: чтобы они заявили о том, что не выступают против этой веры, и не отговаривали низшие касты присоединяться к ней. Я ответил, что ни один уважающий себя брамин не может поступить иначе, кроме как отговорить человека произносить слова: «Я... полностью и совершенно отрекаюсь от религии... которую я видел и о которой слышал от своих отцов, и принимаю Дин Илахи Акбар-шаха, и принимаю четыре ступени полного посвящения, а именно: жертвую имуществом, жизнью, честью и религией».

Долгий спор мы закончили так и не придя к согласию, но у меня осталось предчувствие, что Мобарек посоветует Императору пойти на очень важные уступки.

Около полудня нам навстречу из Лагеря поднялся вестник, и Мобареку вручили пачку писем. «Ха! — воскликнул он, — это от (Макх) Хана». И мгновение спустя с видом величайшего удовлетворения он повернулся ко мне со словами: «Раджа, у меня хорошие вести. Хан задержался из-за дождей и доберется до Катхияпура только через несколько дней. Это значит, что мы можем расслабиться и не спешить».

Часом позже мы прибыли к нашей первой остановке — павильону в лесу, построенному Даниялом для своих приезжающих и уезжающих гостей. Теперь солнце светило в ясном небе; деревья сверкали дождевыми каплями; а повсюду землю устилали цветы розового рододендрона. Здесь можно было в полной мере насладиться тишиной и свежестью, которых так заметно не хватает в Лагере.

Пока мы обедали, прибежал скороход с торопливой запиской от Данияла. Читая её, Мобарек начал улыбаться. «Принц сообщает мне, что этим утром, вскоре после того как мы уехали, ему пришло еще одно письмо от отца. Чтобы избежать видимости того, что он его получил, он немедленно отправляется на охоту в горы позади Лагеря. Предыдущее письмо Императора, которое мы должны считать утерянным, содержало, как вы, вероятно, догадались, приказ отменить свой предстоящий праздник. Принц подозревает, что это новое письмо повторяет те распоряжения. Итак, он отбывает тотчас же и не вернется до дня накануне запланированных празднеств. „Ибо к тому времени, — пишет он, — будет слишком поздно что-либо останавливать. И потрудитесь, чтобы вы привезли с собой Лалиту; тогда я смогу сказать, что из-за неё было невозможно изменить нашу программу“».

Мы оба рассмеялись.

Немного погодя Мобарек заговорил со мной об одном европейце по имени Смисс или Смит, которого мы, скорее всего, скоро встретим, поскольку он направляется в Лагерь. В отличие от всех западных людей, встреченных мною до сих пор, этот человек — англичанин, а не иезуит. Цель его путешествия — изучение религиозной мысли Востока. Он посетил Китай и Японию и намеревается провести несколько месяцев в Индии на обратном пути в Англию. Своим желанием учиться он составляет приятный контраст иезуитам, которые приезжают сюда исключительно ради преподавания. Смисс, полагаю, должен быть интересным человеком, и я рад возможности поговорить с ним. Он уже провел несколько недель при Императорском дворе, где Мобарек встретил его, но не имел досуга — или, возможно, желания — поддерживать знакомство. У меня сложилось впечатление, что Даниял, который тоже встречался со Смиссом и всегда готов подхватывать новые идеи, мог подпасть под влияние этого европейца в направлениях, которые Мобарек считает нежелательными. Во всяком случае, Мобарек говорит о Смиссе и об интересе Данияла к нему с пренебрежением.

В начале дня после полудня пошел сильный дождь, и мы без малейшего неудовольствия смирились с перспективой провести здесь ночь. Я радуюсь своему отсутствию в Лагере. Одного дня и одной ночи там было достаточно, чтобы наполнить меня усталостью — не телесной и не умственной, но самой души. В разгар ливня прибыли два группы промокших насквозь дам и господ. Несмотря на холод и сырость, они были в приподнятом настроении, ведь приглашение на праздник Принца — это весьма ценимое отличие. Когда мы сказали им, что рассчитывать на встречу с самим Даниялом можно будет лишь через неделю, они слегка приуныли; однако храбро пренебрегая погодой, они двинулись дальше.

Немного погодя появился один-единственный англичанин, Смит (как он сам говорит мне, это правильное прочтение его причудливого европейского имени). Примечательно было видеть, как он бредет пешком, невзирая на дождь и холод. Полагаю, у себя на родине он привык к суровой погоде. Я отдал приказание оказывать ему всяческое внимание; и

немного погодя, когда прибыли его носильщики и он сменил одежду, мы встретились в общей гостевой комнате. Смиту около сорока пяти лет, он явно принадлежит к касте пандитов. У него хрупкое и сутулое телосложение, бегающие глаза и тревожное выражение лица тех людей, чье стремление к знаниям склонно быть неумеренным. Довольно своеобразна его привычка суетиться всё время, пока он говорит. Вместо черной одежды иезуитов на нем серый костюм тонкой выделки, но несколько неуклюжего покроя. В обращении он дружелюбен, неуверен и пытлив; — в целом довольно приятная личность.

Мы были одни в комнате, так как Мобарек по обыкновению диктовал своим секретарям. Сидя по обе стороны от жаровни, мы смотрели друг на друга со взаимным сочувственным любопытством, и очень скоро разговор стал интересным. Смит сразу завоевал мое расположение, сказав, что считает преобладающей нотой Индии религию — черту, добавил он, в которой эта страна разительно отличается от Китая. Чтобы показать ему, на каком я с ним счету, я не замедлил сообщить, что я буддист. Его ответ был таков, что из всех людей он больше всего почитает Будду, Христа и Сократа. Это показало мне, что он не христианин, вывод, который он вскоре сам подтвердил с большой настойчивостью. Я также понял, что он решительно враждебен к иезуитам из-за их нетерпимости и жестокостей, к которым она приводит. Обстоятельства последних месяцев вынудили его к обществу Аквавивы и Монсеррата; и я видел, что оба эти господина вызывают у него неприязнь, но Аквавива в особенности. Вскоре он начал расспрашивать меня о буддизме, и я был счастлив развеять некоторые ошибочные представления, которые он почерпнул из ребяческих форм махаяны этой веры. Он с большим восхищением говорил о красоте ритуалов в Китае и Японии, об уютности храмов и их садов, а также об атмосфере безмятежного благожелательства, которую источало духовенство. Все это очень хорошо, но из вечных истин, содержащихся в учении Просветленного, он, к сожалению, практически ничему не научился.

Пока мы разговаривали, вошел Мобарек. Его манера обращения к Смиту показалась мне лишенной некоторой сердечности; надеюсь только, что Смит этого не заметил. После того как наш гость удалился, Мобарек сказал: «Даниял просил меня убедить этого своего европейского друга вернуться с нами в Катхияпур. У него есть причина не желать, чтобы тот прибывал в Лагерь до его собственного возвращения».

Я выразил свое удовлетворение этим, поскольку Смит показался мне приятным и умным человеком.

— Возможно, — ответил Мобарек, — но он придерживается крайне нежелательных мнений. На своей родине он не пользуется большим уважением.

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— Мне известно это от Аквавивы.

Вот пример предвзятости. Мобарек уважает Аквавиву за древность рода, ибо тот является сыном герцога Атри, одного из самых влиятельных дворян Неаполитанского королевства, тогда как семья Смита, насколько мне известно, не благородна, хотя и многочисленна, и весьма уважаема. Аквавива и Смит не в лучших отношениях, и Мобарек принял версию Аквавивы об этом человеке, большая часть которой, вероятно, неточна. Я не могу поверить, например, что Смит действительно разделяет наставление Настика: «Нет ничего превыше рыбы, мяса, вина, совокупления и ритуала», — хотя в минуту враждебности по отношению к мрачному аскету Аквавиве он мог сказать это в шутку.

Здесь следует поздняя запись перед отходом ко сну. Смит продолжает мне нравиться, но все больше озадачивает. Наш сегодняшний вечерний разговор перед тем, как разойтись по комнатам, шел о греках и их взгляде на жизнь. Тему затронул Смит, проявивший высокую оценку всего грациозного и разумного в этой недолговечной цивилизации. «Греки, — сказал он, — открыли первыми среди людей трудное искусство наслаждаться лучшими вещами жизни. Кажется, они были лишены страха и чувства вины. В сегодняшней Европе чувство вины, осознанное или лишь наполовину осознанное, тяготеет практически над каждым. Что еще дало иезуитам их власть? Однако, — продолжал он, — мрачная религия Игнатия Лойолы определенно не возобладает. Она принципиально чужда духу Европы».

— В Индии, — ответил я, — Природа суровее и страшнее, чем в Греции. Наши первобытные предки были анимистами, как и греки. Они обожествляли силы природы; вы найдете их в нашей Ригведе; но эти боги внушают трепет; они не низведены до человеческого роста. Нашему народу всегда было свойственно меньше счастья, чем мальчуганам-грекам. Но несчастливое детство в некоторых отношениях выгодно. Оно учит взрослеть. Наш народ был вынужден смотреть вверх, в безмерности, и вниз, в глубины, которые грекам удавалось игнорировать.

При этих моих словах Смит, помню, беспокойно заерзал на месте. — Я не думаю, чтобы страх когда-либо приносил добрые плоды, — возразил он. — Я рассматриваю прогресс человеческой расы как постепенное освобождение от ужасов — зачастую воображаемых. Слишком часто религия была носителем суеверия, причиной нетерпимости и предлогом для дьявольских жестокостей. Но благодаря своей религии грек стал добропорядочным гражданином и разумным человеком. Она научила его наслаждаться лучшими вещами в жизни и сделала его дома в этом мире.

— Она заставила его почувствовать себя дома на земле, — ответил я, — ценой пренебрежения универсума. Разве вы не согласитесь со мной, что, спасаясь от страха, греки оставили позади нечто чрезвычайно ценное для человеческого духа? Нечто, что ведет дух вперед, выходя за пределы эстетизма и интеллектуализма к истинной зрелости.

— Полагаю, я не вполне вас понимаю, — сказал Смит, холодно глядя на меня сквозь очки.

— Что ж, позвольте напомнить вам, что один из ваших собственных философов сказал: «Всё знание начинается и заканчивается удивлением; но удивление, порожденное

невежеством, должно быть заменено удивлением, которое порождает благоговение». У греков была живая интеллектуальная любознательность, но мало способности к удивлению или благоговению.

— Если вы имеете в виду, что греки избегали метафизики, — ответил Смит, — то я определенно согласен с вами, но, по моему разумению, поступая так, они проявили мудрость. Грандиозные абстракции, которыми наслаждается индийский ум, не находили у них отклика. И все же вряд ли можно упрекнуть их в поверхностности! Если вы не можете оценить их мастерство в искусстве жить, обратите внимание на их философию и искусство!

Опасаясь, как бы мы не углубились в разногласия, я предпочел промолчать, и вскоре Смит возобновил речь. — Греки отвернулись от метафизики, — повторил он твердо, — и, поступив так, я полагаю, они не были неразумны. Вы, как буддист, наверняка не станете здесь со мной спорить. Будда был прежде всего реалистом и рационалистом. В чистой форме буддизма, которую исповедуете вы, всякое суеверие строго отвергается. Ведь вы сами говорили мне, что почти любые рассуждения на метафизические или космологические темы запрещены как пагубные. — Говоря это, Смит устремил на меня убедительный взгляд поверх очков и, поскольку я продолжал молчать, продолжил: — Руководствуясь врожденным здравым смыслом, греки исключили из своей религии все тщетные и опасные элементы. Так они жили мудро и счастливо, огражденные от бездны.

В этот момент нас прервали, и по мне так и к лучшему, ибо я начал приходить в замешательство от того, что казалось мне умышленной поверхностностью со стороны Смита. Я никак не мог его раскусить. По внешности он походил на пандита; более того, он предпринял утомительное путешествие ради сбора религиозных сведений, а в нашем предыдущем разговоре он проявил то, что выглядело как неподдельное уважение к индийскому уму. «Индус, — говорил он, — действительно верит, я убежден, что истинная жизнь есть духовная жизнь». Но что он сделал с тех пор? Он упорно превозносил склад ума совершенно иной, нежели наш, — более того, противоположный нашему. Похоже, он считает, что лучше быть гуманистом на греческий манер, чем религиозным человеком на индийский лад.

II

Сегодня утром у меня был еще один разговор со Смитом, но он мало что прояснил в моем уме. Мы начали с обсуждения христианства, которое было затронуто моим замечанием о Сите и ее взгляде на буддийскую веру. Как ни странно, прошло совсем немного времени, и я обнаружил себя вовлеченным в защиту религии Ситы — смена сторон для меня, так как моей до сегодняшнего дня всегда была роль возражающего. Но я был сочувствующим возражающим, тогда как Смит — совершенно наоборот. Враждебный блеск, появившийся

в его глазах, когда он осуждал веру своих отцов, поразил меня в тот момент; и я не могу вспомнить об этом сейчас без изумления. Я уверен, что Смит — один из самых благонамеренных людей, однако он вскармливает свои предрассудки молоком ненависти. Дело в том, что за ним стоят шестнадцать веков христианства, не говоря уже о христианском воспитании, и это сделало его неспособным к беспристрастному взгляду или даже к осознанию того, что его взгляд лишен беспристрастности. Точно так же, как он мог бы стать воинствующим фанатиком, он фактически стал воинствующим отступником. Если бы только он смог прочитать Новый Завет тем же духом, каким читает своего Платона, это привело бы его в глубочайшие глубины его существа — точно так же, как это случилось со мной, когда я впервые прочитал его. Если бы только он рассмотрел характер Христа так же, как рассматривал Сократа, он был бы подавлен его красотой. Но это совершенно выше его сил; и если он склонен связывать имена Христа, Сократа и Будды, то делается это, боюсь, не с намерением почтить Христа, а скорее для того, чтобы низвести его с уникального положения, которое христиане ему приписывают. Пока я слушал Смита, я начал лучше понимать его похвалу языческому взгляду на жизнь. Увы, как часто мы не обнаруживаем, что энтузиазм, который на первый взгляд кажется великодушным, является лишь оборотной стороной какого-то частного и мелочного антагонизма. Прошло совсем немного времени, прежде чем Смит стал исподволь внушать мне, что у Сократа и Будды много общего, и то, что их объединяет, делает их гораздо превосходнее Христа. Будда и греки, сказал он, были едины в отвержении догмы и пренебрежении всей метафизической пустопорожностью.

— Несомненно, — ответил я, — что Будда нетерпим к вопросам, которые, стоит лишь постичь истину, оказываются бессмысленными, да я и не хочу отрицать, что его суровый реализм разительно контрастирует со своевольной необузданностью многих спекулятивных индуистских учений. Но разница между самым недисциплинированным индусом и самым дисциплинированным буддистом ничто по сравнению с той пропастью, которая лежит между индийцем и греком. Индиец, будь он неграмотным индусским крестьянином или эрудированным буддийским отшельником, живет в непрестанном сознании окружающих его безмерностей, и это сознание неразрывно связано с убеждением (пользуясь вашими собственными словами), что «истинная жизнь есть духовная жизнь». В отличие от грека, он никогда не стремился «чувствовать себя дома в мире». Буддизм показал, правда, что достигший совершенства Архат может обрести состояние блаженства в этом мире, но это блаженство не от мира сего; оно возникает из чувства освобождения от него. — По моему мнению, — продолжал я, — можно почти сказать, что Христос олицетворяет сердце, Сократ — разум, а Будда — дух в человеке; и хотя сердце само по себе детски наивно, а разум в изоляции ребячлив, дух по самой своей природе движется к зрелости, которая, по сути дела, представляет собой постепенное постижение вечных истин или духовной истины. Я способен воспринимать, но не чувствую очарования греков; оно слишком часто мальчишеское и незрелое; и Платон, признаюсь, порой кажется мне отвратительным, самодовольным и чванливым. Вы сами, — напомнил

я Смиту, — говорили о греках, что благодаря своей религии они были «ограждены от бездны». Ваши слова верны. Греки культивировали крупицу цивилизации, они развили малую, но изысканную культуру, ценой пренебрежения безмерностями посреди которых живут люди. Но игнорировать метафизические проблемы не значит упразднять их; и в некотором смысле можно сказать, что каждый человек, который вообще мыслит, волей-неволей является метафизиком. Я имею в виду, что за каждой из его мыслей кроются метафизические допущения. Греку нравилось думать о себе как о члене городского сообщества, но его город был, тем не менее, точкой на блуждающей земле, а земля — точкой во вселенной, и каждая часть вселенной причастна метафизической тайне своего бытия.

— Однако, возвращаясь к христианству, — продолжал я, — то, что я собираюсь сказать о нем сейчас, может вызвать у вас некоторое удивление, исходя из уст буддиста, но прошу не думать, будто я пытаюсь сгладить противоречие между христианским и буддийским складом ума. Моя мысль скорее в том, что буддизм, христианство и эллинский взгляд на жизнь совершенно различны. Противопоставление Христа и Будды достаточно полно выражено, когда я напоминаю вам, что последний настаивал на абсолютной необходимости изгнать из разума идеи Бога, души и бессмертия. Давайте лучше обратимся к контрасту между фигурами Христа и Сократа. Одно из соображений считать, как это делаю я, что первый возвышается над вторым, таково: грек говорил прежде всего как тот, для кого единственным средством познания истины о мире в целом и месте человека в нем были средства, предоставляемые рассудком человека. Иудей же обращался к интуициям людей и говорил языком вдохновения. Именно это придало речам Христа их неслыханную мощь. Такой властью разум никогда не будет обладать, да и нежелательно, по моему мнению, чтобы он обладал ею.

Пока Смит слушал меня, я мог заметить окоченение всего его существа. — Что ж! — сказал он наконец, боюсь, мы достигли ядра фундаментального разногласия. Я верю в добрую волю, руководимую разумом; интуиции же, считаю я, очень опасные проводники, и обращение к ним нелегко отличить от обращения к слепому предрассудку. Предрассудок означает неразумие, а неразумие ответственно за большинство жестокостей и глупостей человечества.

— Не стану отрицать, — сказал я после паузы, — что христианская мораль требует поддержки со стороны христианской догмы. Но разве всякой системе этики не требуется поддержка либо со стороны интуиций, которым вы не доверяете, либо со стороны метафизики, которой вы избегаете, либо со стороны догмы, которую вы не допускаете?

Поскольку Смит молчал, я продолжил: «Христианское представление о Боге как о любящем Отце, интимно близком каждой человеческой душе, кажется мне прекрасным. Прекрасна также и идея воплощенного Бога, страдающего смертью во искупление человеческого рода — и в качестве примера для него. Христианство дает людям братство и ценность каждой человеческой жизни. Вместо языческого взгляда на ход времени как на вечное повторение,

оно вводит идею совершенного конца в итоге. Спрошу вас: разве не сухость и бесплодность греческой мысли привели к расцвету поздних греческих мистериальных религий? Свежесть, надежда, нежность, мужество христианства — вот что я ценю; но сказав это, я должен добавить: я не христианин; я буддист».

Мне было больно видеть, как Смит замыкается в себе, но я не мог удержаться от таких речей. Мы посмотрели друг на друга в молчании, и лицо моего спутника сказало мне, что он озадачен мной в той же мере, что и я им.

В полдень мы возобновили наше путешествие: Мобарек, Смит и я; и поскольку мы ехали в отдельных паланкинах, у меня было предостаточно времени для размышлений. Вскоре я увидел, что именно больше всего оттолкнуло Смита. Несомненно, слово «разум» имеет для него ассоциации и значение, которых нет для меня. С другой стороны, слово «интуиция» наполняет его недоверием и неприязнью. Разум он считает священным, точно так же, как Даниял считает священным «Искусство». Каждый из нас чтит нечто святое, даже циник, для которого его цинизм свят. Далее, я должен иметь в виду, что европеец вообще проникнут чувством ценности и реальности феноменального мира самого по себе и ради него самого. Для него земные дела имеют важность сами по себе. Ни христианин, ни неверующий ничего не знают о перевоплощении. Для христианина душа индивида каким-то образом зарождается на этой земле и продолжает существовать на небесах, место же ее там на вечность определяется поведением этого индивида в одной-единственной короткой земной жизни. Нам такая доктрина кажется настолько фантастически детской из-за отсутствия перспективы, что трудно держать ее в уме при разговоре с христианами. Для европейца агностического склада ума (а Смит, похоже, таков) индивид как временная психическая единица начинает существовать при рождении и перестает существовать после смерти. Продолжительность жизни индивида на этой земле поэтому является для него высшей важностью сама по себе и ради нее самой, ибо нет более высокого значения, с которым можно было бы ее соотнести. Но если только не считать, что ум есть лишь функция материи, рождение ума необъяснимо как простой процесс развития клеток, так что я начинаю опасаться, что Смит — материалист и страдает всей интеллектуальной и нравственной тупостью материалистов. Тем не менее я уверен, что он не желает, чтобы его рассматривали в таком свете; он говорит о «духовности» и «религии» так, словно эти слова имеют для него идеалистическое значение. Наконец, я должен помнить, что определенные странности Смита находят себе оправдание в вере в то, что для каждого индивида один-единственный жизненный опыт — это всё и вся. Это во многом объясняет его эгалитарные идеи, не говоря уже о его невротической зацикленности на нетерпимости, жестокости и физической боли. Поставить себя в умственное положение такого человека почти невозможно для индийца; более того, я содрогаюсь, когда размышляю о том, каким ужасным должен казаться ему этот мир. Я едва понимаю, как такой добрый и чувствительный человек, как он, вообще сохраняет здравомыслие. Какое жуткое духовное банкротство ожидает тех несчастных христиан, которые теряют веру! Полностью лишенные

истинного понимания морального и духовного порядка вселенной, они подобны детям, выброшенным из детской в дикую пустошь.

Как же я ценю то, что вера Ситы непоколебима — а это поистине так. Я рад и тому, что, хотя я изложил ей свои взгляды и критиковал ее убеждения, я никогда не пытался их подорвать. Ум Ситы определенно европейского склада; она нашла бы в Смите много созвучного себе, несмотря на его отвержение христианства. Даже для Ситы человек находится в центре вселенной; Бог, в конечном счете, постулируется ею как необходимый человеку. Она не может понять индийский способ ставить Абсолют в центр и рассматривать всю историю человечества с начала до конца лишь как рябь на поверхности этого Верховного Разума.

Я печально размышлял о своей неспособности сделать индийскую точку зрения понятной для нее и виню себя в этом. Общение с западным складом ума, представленным Смитом, оказало на меня тревожное воздействие. Оно слишком хорошо показывает мне, как с любой другой точки зрения, кроме той, с которой стоим мы, индийцы, мое нынешнее намерение вскоре удалиться от мира должно казаться эгоистичным, а этот момент — исключительно неудачно выбранным. Индия стоит на пороге гражданской войны; я нужен в своем качестве правителя; моя жена и сын нуждаются в руководстве, а мой лучший друг — человек, на которого я в этом полагаюсь, — рискует впасть в немилость. Разумеется, моя надежда заключается в том, что к концу следующих нескольких недель будет найдена основа для соглашения между Гокалом и Мобареком, и что я определю надлежащий курс для своих преемников в управлении государством. Да, такова моя надежда; но, увы, она уже ослабевает.

III

Легкая враждебность, возникшая вчера между Смитом и мной, исчезла, и это приносит некоторое удовлетворение; хотя я бы хотел, чтобы наше возобновившееся согласие стояло на более прочной основе. Боюсь, что Смит питает ко мне скрытое неодобрение, и лишь в сравнении с Мобареком он находит меня приятным спутником. Всякий раз, когда я наблюдаю за ним и Мобареком вместе, меня не покидает ощущение, что двое людей вряд ли могут быть менее приспособлены ценить хорошие качества друг друга или извинять недостатки.

Мобарек происходит из аристократического рода; в нем пылает личная амбиция, но она подчинена безличному религиозному рвению; он рано приучен к суровости мирской жизни и к отвержению жалости — прежде всего жалости к себе. Его никогда не искушало желание отделить мысль от действия, принять гуманистические ценности или забыть о нечеловеческом божественном. «Я» Мобарека сосредоточено сильной волей, тогда как

«я» Смита расплывчато. У Смита есть чувствительность и восприимчивость, которых недостает Мобареку, и, вероятно, более широкое поле интеллектуальной деятельности. Но его интеллектуальность несамостоятельна, она движется под влиянием натуры, влюбленной в легкость и поверхностность. Таким образом, он склонен слишком высоко оценивать чувствительность и восприимчивость. Правда, общество многим обязано своим наиболее чувствительным членам, которые робко — или, если они осмеливаются, высокомерно — направляют его по пути цивилизации; но именно от них человечество обычно не получает вдохновенных вестей или примера стойкости и доблести. Хорошо, что люди вроде Смита существуют, и, возможно, неизбежно, что они преувеличивают собственную важность; но также хорошо, что общество не должно придавать им даже той важности, которой они заслуживают. Мир, который чтил бы их, был бы миром упадка. Я обязан сказать, однако, что при нынешних обстоятельствах мое сочувствие на стороне Смита, ибо Мобарек, будучи мастером наносить мелкие общественные унижения, никогда не упускает случая уязвить его. Он прибегает даже к довольно потрепанному приему неверного произношения причудливого европейского имени нашего друга. Он произносит его Смисс, тогда как оно должно произноситься Смит, а звук «th» здесь подобен звуку «th» в слове Тиртханкар [*в оригинале: Tirthankar].

Меня удивляет, что Мобарек не довольствуется простым игнорированием этого человека. Возможно, объяснение кроется в том, что Смит был взят под покровительство Даниялом, и Мобарек ожидает увидеть, или уже видит, некоторые из его взглядов отраженными в Принце. Иначе я не могу объяснить раздражение, которое вызывают у него поведение и разговор Смита. Самые пустяковые происшествия приводят к разногласиям между ними, и в этих разногласиях сразу же дает о себе знать вся степень их несовместимости. Например, сегодня утром, чтобы поберечь своих носильщиков, Смит настаивал на том, чтобы выходить из паланкина всякий раз, когда местность слегка поднималась в гору. Это задерживало нас, вызывая порицания со стороны Мобарека; а когда мы остановились для полуденного приема пищи, завязался вежливый, но опасный спор о правах человека.

Худшее было еще впереди. Сегодня вечером, вскоре после того как мы разбили палатки, один из стражников Мобарека вошел с донесением, что в кустарнике неподалеку обнаружен труп. Мобарек пожал плечами, ему было неинтересно; я же пошел расследовать дело, и Смит счел нужным сопровождать меня. Тело принадлежало молодому человеку, которого, очевидно, убили в течение последних двадцати четырех часов. С него была снята одежда, а лицо обезображено, чтобы сделать его неузнаваемым. Зрелище было мучительным, и Смита оно сильно расстроило.

По нашем возвращении Мобарек снова пожал плечами и сказал: — Вероятно, это дело рук магометанина. Массовых убийств пока не было, но религиозные чувства растут с каждым днем. Агенты Салима усердно готовят почву.

— Индусы тоже убивают магометан? — спросил Смит с помрачневшим видом.

— Да, конечно, — ответил Мобарек с безразличием; а затем добавил: — но в целом они ведут себя спокойнее.

Смит сделал вид, что не слышит этого, и какое-то время разговор шел о Салиме. К моему удивлению, я услышал, как Мобарек с нажимом заявил, что религиозная война не только возможна, но и неизбежна. Большинство своих замечаний он обращал ко мне, но я подозревал, что они предназначались Смиту, и что он надеется запугать его, отбив охоту присоединиться к Даниялу в Лагере. Он даже намекнул, что всем иностранцам будет лучше покинуть страну.

Смит, как я уже говорил, был несколько выбит из колеи зрелищем изувеченного трупа, и слова Мобарека заставили его почувствовать себя неловко; но думаю, что эта встревоженность была в основном гневом, вызванным справедливым подозрением относительно цели Мобарека.

— Поскольку я не мусульманин, не индуист, — холодно сказал он, — религиозный фанатизм обойдет меня стороной. Иностранцы, вероятно, находятся в большей безопасности, чем кто-либо другой.

— Вы так думаете? — мягко возразил Мобарек. — Что ж, надеюсь, вы правы.

Смит улыбнулся. — Я даже не христианин. Почему меня должны выделить для убийства?

— Потому что, — ответил Мобарек, — для религиозных людей нет ничего более ненавистного, чем безбожие.

Смит не ответил, и чтобы заполнить неловкое молчание, я заметил, что мусульманам надлежит испытывать меньшую враждебность к христианству, чем к другим религиям, ибо они не только признали Христа Пророком, но и принимают Непорочное зачатие и Второе пришествие. Христиане же, со своей стороны, должны рассматривать ислам скорее как христианскую ересь, нежели как совершенно чуждую религию.

Наш выбор места стоянки этим вечером оказался неудачным, даже если оставить в стороне близость трупа. Место кишит слепнями; и хотя эти твари мало беспокоили Мобарека или меня, они преследовали несчастного Смита. Именно на них я возлагаю ответственность за серьезную оплошность нашего гостя. Упустив из виду тот факт, что Мобарек, хотя и не является магометанином, имеет много привязанностей к исламу, он начал говорить об этой вере без особого почтения. Полагаю, он не был явно виноват, ибо, как он указал мне впоследствии, Мобарек, помимо того, что явно враждовал с этим отважным поборником ислама, принцем Салимом, сам является приемным отцом совершенно другой религии. Но суть дела в том, что, нападая на ислам, Смит дал понять, что он враждебен религии вообще, или — если это сказано чересчур сильно — враждебен всем формам поклонения Богу. Думаю, нет сомнений, что Мобарек не ошибся, найдя этот дух за его пренебрежительными замечаниями. За ними последовало молчание, и я надеялся, что Мобарек их не слышал (ибо у Смита есть привычка бормотать, так сказать, про себя), или что его внимание было

занято другим. Но в следующий миг пламя лагерного костра вспыхнуло ярче, и на лице Мобарека появилось выражение, которое я могу описать только как сатанинское. Оно заставило меня почувствовать, что Смиту, пожалуй, не стоит задерживаться в Индии слишком долго.

Говорят, что человеческие симпатии и антипатии определяются в значительной степени чувством обоняния, хотя сами заинтересованные лица вполне могут об этом не догадываться. По моему мнению, еще важнее религиозное чувство, даже когда различия религиозного склада ощущаются, а не выражаются открыто. В отношениях, господствующих между Мобареком, Смитом и мной, такие различия не остались скрытыми. Они действовали разрушительно между Смитом и Мобареком, тогда как нам со Смитом удалось остаться друзьями лишь благодаря терпимости.

Моя терпимость этим вечером, признаюсь, едва не иссякла, когда Смит вновь принялся восхвалять жизнерадостный, добродушный, приземленный нрав китайцев, которые, по его словам, похожи на его соотечественников тем, что никогда не сомневаются в том, что просвещенная социальность — это всё и вся. Подобным же образом он находит японцев менее чужими для себя, чем мы, и даже намекнул, что негры вызывают больше сочувствия. Он твердо намерен доказать, что между европейцем и индусом существует глубокое различие в духовном мировоззрении. Его довод состоит в том, что европеец верит, будто жизнь в этом мире является или должна являться благом сама по себе, тогда как индиец всегда считал ее злом, от вечного повторения которого он стремится спастись.

Но это лишь взгляд на поверхность вещей. *[Здесь Раджа Амар излагает собственные взгляды, которые, поскольку он использует около трех тысяч слов, я решил сократить.]* Прежде всего индус, подобно всем людям, инстинктивно цепляется за жизнь и инстинктивно ищет удовольствия и счастья при жизни. Лишь в качестве мыслителя он провозглашает жизнь злом; и если бы европеец был способен на равную философскую отрешенность, он неизбежно пришел бы к тому же выводу.

Почему европеец терпит неудачу в отрешенности? Причина кроется в разнице темпераментов — обусловленной отчасти, несомненно, разными географическими условиями. В холодном, да и в умеренном климате телесное напряжение приятнее и естественнее, чем в тропиках, и, в отличие от напряжения в тропиках, оно производит приятное утомление и повышенную способность к усилию. Так устанавливается привычка тела и ума, которая направляет внимание человека вовне и привязывает его мысли к материальным вещам. И поскольку человек — животное, объясняющее себя само и оправдывающее себя само, люди, чьи умы ориентированы таким образом, примут философию или взгляд на жизнь, который делает их поведение правильным и разумным в их собственных глазах. То, что европеец живет так, как он живет, *потому* что считает жизнь хорошей, просто неверно; именно потому, что он живет так, как он живет, он убеждает себя, что жизнь хороша.

Индус не обманывается подобным образом. Он признает, что жизнь есть стремление (аппетенция), а стремление — это беспокойство, тревога, боль и скорбь. Христианство, побуждая стремиться во благо других, многое делает для искупления этого стремления; и именно в христианстве, разумеется, проявился подлинно религиозный дух Европы. Смиту нелепо утверждать, что христианство враждебно духу Европы, когда исторические свидетельства столь подавляюще противоречат ему. Бесполезно выдвигать довод о том, что Европа никогда не принимала христианской практики, хотя исповедовала христианские заповеди. Ни одна раса, ни одно общество еще не преуспело в следовании своим религиозным принципам, — индусы ничуть не меньше европейцев. Разница между нами заключается не в религиозности, а в духовной проницательности.

Я пытался убедить Смита в этом и закончил словами: — Я полагаю, что западный человек заблуждается относительно своих собственных ценностей, своего собственного стимула, своего собственного смысла. Его заблуждение, весьма вероятно, будет иметь немалую ценность для человечества, ибо в своих скитаниях он вполне может найти много полезного для культуры. Важно, пожалуй, чтобы часть сбилась с пути ради блага целого. Я очень готов признать, что ваша сосредоточенность на материальных вещах развила вашу практическую рассудительность далеко за пределы нашей. Христианство также развило ваши сердца. Теперь настало время развить тот дух, который пребывает в вас. Рассудок и сердце говорят на более простом языке, нежели язык духа. В одном из наших прежних разговоров я сказал, что Будда обращался прежде всего к духу в человеке. Как бы мне хотелось убедить вас изучить буддизм, тогда вы увидели бы, что я имею в виду.

IV

Вчера по пути в Лагерь мы встретили две или три группы гостей Данияла, и меня позабавило (а может быть, и слегка раздосадовало) то приветствие, которое я от них получил. Своим поведением эти люди дали мне понять, что до них дошли вести об инциденте с Дантаватом; они вообразили, будто я останавливался вместе с Даниялом в Лагере, что я его близкий друг и что ныне я пользуюсь у него большим расположением. Соответственно этому, они бурно приветствовали меня и обращались со мной как с одним из своих. Мне надлежало вывести их из заблуждения, а сделать это быстро, действенно и не создавая неловкости — задача не всегда лёгкая.

Манера, с которой эти люди приветствовали Смита, пролила интересный свет на него самого и на его отношения с Даниялом. Они были не только очень вежливы, оказывая ему внимание, причитавшееся тому, кого допустил к себе Принц, но и прилагали большие старания выставить себя интеллектуалами. Очевидно, Смит пользуется некоторой репутацией мыслителя, и покровительство Данияла, думается мне, послужило укреплению

собственных притязаний Смита на интеллектуальность, одновременно сделав саму интеллектуальность более модной.

Было интересно также наблюдать отношение Смита к этим молодым и модным друзьям Данияла, чьи попытки вести «интеллектуальную» беседу были немного обескураживающими. Он проявил явное желание думать о них хорошо, и вскоре я начал понимать, какой образ сложился у него в отношении эстетического кружка Принца. Я вспомнил кое-какие вещи, которые он говорил мне при нашей первой встрече, и тогда лишь смутившие меня, теперь же показавшиеся весьма проясняющими. Говоря о празднествах в Древней Греции, когда прекрасные юноши, увенчанные цветами, резвились в палестре, он доверительно сообщил мне, как сильно он предвкушает торжества в Лагере. «Я бы не прочь, — сказал он, — стать свидетелем сценок чуть-чуть разнузданного веселья». Помню, я был в нерешительности, что ответить на это, ибо сам я имел предубеждение насчёт Смита; так что я гадал, не следует ли мне подготовить его к разочарованию — или чему похуже. Что ж, с тех пор моё представление об этом странном европейце изменилось: теперь я вполне готов позволить Смиту взять от Данияла и его друзей всё, что тот сможет. В конце концов, люди видят лишь то, что хотят видеть; и вряд ли Смит будет столь же привередлив — или чрезмерно привередлив — точно таким же образом, как я. Несомненно, та духовная вульгарность, которую я имею в виду, часто проходит незамеченной и даже никого не оскорбляет.

Каков, спрашиваю я себя, врождённый интеллектуальный и нравственный вкус моего друга Смита? Тот факт, что он уже настолько дружелюбно настроен к Даниялу, сбивает меня с толку. Достигнув среднего возраста, люди определённого склада склонны принимать негласное — а порой и почти бессознательное — решение держать свой ум открытым для оценок и восторгов юности. Они жаждут снискать одобрение — возможно, собственное в той же мере, что и чужое, — оставаясь на связи с молодыми. Таким людям недостаёт верности самим себе и своему жизненному опыту. Решимость видеть и чувствовать так же, как младшие, искажает их суждения и открывает дорогу всеобщему интеллектуальному снобизму. Человек должен быть верен собственному вкусу — да, даже если способен представить, что этот вкус ограничен или плох. И эта верность ещё важнее в нравственной сфере, чем в эстетической. Существуют изъяны более серьёзные, чем честная узколобость.

Этот ход мыслей был вызван событиями вчерашнего вечера, когда труппа бродячих актёров дала нам незначительное и безвкусное представление. Их игра в одном отношении была, пожалуй, прямо-таки неприятной, поскольку они исказили и опошлили древнюю и исполненную глубокого смысла мистерию, входившую в их программу. Некоторые друзья Данияла, разбившие лагерь рядом с нами, получили от представления удовольствие, состоявшее главным образом из забавности — того рода удовольствия, какое находят в простоте пресыщенные люди, льстящей их чувству превосходства. Подхватив пример с них, Смит развил такой энтузиазм, который я не могу расценить иначе как напускной. Было бы несправедливо сказать, что этот энтузиазм покоился

исключительно на самообмане и эстетическом снобизме, ведь Смит смотрел на представление глазами несведущего иностранца и не мог разглядеть, в чём именно оно было заурядным и просто скверным; однако присоединяясь к друзьям Данияла в их восхвалении пьесы, он несомненно погрешил против интеллектуальной честности.

Позже, когда снова стало тихо, мы со Смитом спустились по голому отрогу холма к месту, откуда могли смотреть на равнину. Ночь стояла тёмная, но затем вышла луна, почти полная, и повисла над низкими туманами, лежавшими под нами словно море. Это призрачное море отсвечивало багрянцем, словно пыль смешалась с туманом; и оно пенилось о шар краснеющей луны, опускавшейся вниз. Призрачно и зловеще она опустилась, и вся область неба вокруг неё стала сценой безмолвной символической трагедии.

Мы оба молчали; и я воображал, что Смит ощущает красоту этого зрелища ничуть не меньше, чем я. Но через несколько минут, когда мы возвращались обратно, он вновь разразился похвалами пьесе и актёрам.

Я оказался достаточно умен, чтобы не давать определённого ответа, но здесь я вправе выразить свои истинные чувства: меня охватило презрительное раздражение. Пожалуй, мне следовало бы сделать и более общее признание. Позвольте признаться, что у меня нет склонности к Искусству — даже к искусству слова, хотя литературой я баловался с самых ранних лет. Теперь же, когда я пишу, мои слова — простейшее выражение моей мысли, и ничего больше. Если я правлю написанное, то делаю это отнюдь не из тщеславия, а единственно ради устранения избыточностей, придания более чёткого контура расплывчатому и прежде всего — чтобы быть уверенным, что перо моё не отклонилось от истины. Разумеется, чтобы передать смысл своего замысла в объеме, нужно передать и чувство, сопровождающее мысль, — ибо мысль и чувство едины. Если это искусство, то вспомогательное, и вспомогательное искусство — это единственное искусство, которое я знаю. Когда я созерцаю Природу, тогда творения человека — даже величайшие из них — кажутся мне малыми и по замыслу, и по исполнению.

Если бы существовал Творец, Ему я бы страстно поклонялся; но подобно тому, как пустая твердь простирается беспредельно за пределы облаков и красок нашего земного неба, поверх даже чистейших надежд и стремлений человеческого сердца распространяется спокойствие истины. Лицо своё я обращаю вверх, и будь небо светлым или тёмным, лучи истины бьют вниз; из этой пустоты не исходит ни голоса, ни дыхания — нет, но в эту пустоту я вступаю и с ней я примиряюсь.

V

Оглядываясь на свои беседы со Смитом, я теперь вижу, что мы расходились по двум важным вопросам, ни один из которых мы никогда не формулировали с полной ясностью.

Первый таков: что именно составляет религиозный опыт в отличие от эстетического? И во-вторых: возможно и желательно ли сделать так, чтобы эстетический опыт занял место религиозного?

Сегодня утром я поставил эти вопросы перед Смитом и пригласил его высказаться. Он сделал это без особой охоты, но в конце концов мне удалось понять, что под религиозным опытом он обозначает все те состояния, в которых человек испытывает чувство внутреннего просветления, непосредственного осознания Сверхъестественного или общения с Божественным. Эти состояния сознания, продолжал он, не имеют ценности ни для кого, кроме самого субъекта, поскольку они не предлагают никакого содержания, истинность или ложность которого можно было бы проверить. Религиозная или мистическая склонность в целом асоциальна, она склоняет человека к обособлению от себе подобных, однако побуждает его выставлять себя их учителем. Люди религиозного склада всегда были движимы стремлением устанавливать законы в вопросах веры и поведения. Художественный же дар, напротив, не ведет ни к какому такому дидактизму, поскольку художественные творения предоставляют общую почву для оценки ценности эстетического опыта. Следовательно, говорит он, существует братство в искусстве, общение одного человека с другим на эстетической плоскости. Прекрасное встает рядом с Благим и Истинным как идеал, который люди могут преследовать сообща, при общей дисциплине и к своей общей выгоде.

Однако он вовсе не утверждал, что религиозный опыт совершенно иного рода, нежели эстетический: нет, имелись свидетельства того, что первый преобразуется во второй по мере социального и культурного развития общества. Наилучшим мерилом цивилизации любого общества была та ценность, которую оно придавало Искусству. Он просил меня помнить о том, что Разум, являвшийся путеводным светом цивилизации, всегда был в более легких отношениях с искусством, чем с религией, — и этому есть различные причины, самая очевидная из которых заключается в том, что искусство не пытается законодательствовать за пределами собственной области.

Размышляя над этими словами Смита, я ясно понял, что именно через искусство он получил самые ценные свои переживания, и не менее ясным стало то, что его религиозное чувство развито крайне слабо. Далее я осознал, что мое положение при обсуждении этих вопросов с ним осложняется тем, что я буддист, ибо буддизм — это не религия в том смысле, какой обычно вкладывают в это слово европейцы. Это я объяснил Смиту, добавив, что хотя я не верю в Бога, я больше сочувствую тем, кто верит, чем ему самому. Вера в Бога указывает на склад ума, который я не могу не считать более желательным, чем его собственный. «Существует то, — сказал я, — что важнее цивилизации; и подобно тому, как индивид не может жить только ради себя, так и общество не может жить ради себя самого, но должно держать перед собой трансцендентный ему идеал. Общество не является предметом поклонения, равно как и человечество. Поверх имманентного существует трансцендентное».

«Я не вижу причин, почему человек должен чему-либо "поклоняться", — сказал Смит. — Пока люди стремятся к добру, истине и красоте, этого достаточно».

Я помолчал несколько мгновений. Как мог я, не оскорбив Смита, объяснить ему, что добро, истина и красота в его понимании весьма далеки от первостепенной важности? Под добром он подразумевал добродетельное поведение; под истиной — правдивость и стремление к определенным сравнительно неважным видам знания; а под красотой — создание и оценку произведений искусства. Смит — платоник, и влияние Платона в Европе ощущается в той мере, в какой христианин отошел от религии. Христианский богослов сидит не у ног Платона, а у ног Аристотеля; ученик Платона — это литератор, эстет, любитель.

Наконец я сказал: «Посредством своих нравственных, рациональных и эстетических интуиций человек постигает определенные блага; но постижение духовного порядка вселенной осуществляется духовным чувством, и только этим единственным даром».

Смит заерзал в кресле, помедлил, а затем наконец взял быка за рога. «Вы, индийцы, придаете большое значение различию между "духовной" жизнью, которая сосредоточена на незримом, и нашей земной жизнью, которую вы считаете обреченной быть неудовлетворительной. Я не могу отделаться от ощущения, что этот пессимистический взгляд на земную жизнь печальным образом затормозил материальное и социальное развитие вашей страны. Духовность Индии внесла мало или совсем ничего не внесла в благо мира; и то почитание, которое индийцы оказывают этой духовности, на мой взгляд, было ошибкой. Что такое духовный порядок вселенной, если не тот порядок, который находит свое воплощение в лучшей и более счастливой жизни всего человечества?»

«Таковым он и должен являться, — был мой ответ, — но состоит он не в этом. То, что я намерен защищать — это не образ жизни индийца, а его представление о духе и духовном порядке вселенной».

Смит опустил глаза и отвернулся. «Духовность индийца, — пробормотал он, — часто кажется мне не более чем отсутствием здравого смысла».

— Этот недостаток, — ответил я со смехом, — увы, слишком часто сопутствует нашей духовности. Но позвольте мне указать на то, что тот же самый недостаток проявляется, хотя и в противоположной манере, в сосредоточенности европейца на механизме цивилизации и его лихорадочной деятельности, которая не приближает его к счастью. И подобно тому, как вы видите здравый смысл лишь в одном из его аспектов, так и нам кажется, что вы впали в великое заблуждение относительно вопроса о том, что составляет знание, и об относительной ценности разных видов знания. Знание самого низшего разряда — это всего лишь знание номенклатуры. Например, утверждение: «Пекин находится в Китае», демонстрирует знание такого рода. За ним следует частная информация, такая, какая содержится во фразе: «В Агре проживает более миллиона жителей». После этого мы ставим общие сведения, примером которых служат правила арифметики. Знаниям этого разряда

присуща большая важность в их собственной сфере, которой является сфера концептуального; но по мере того, как они становятся более абстрактными, они также становятся менее полезными для понимания. По этой причине индиец придает им меньшую ценность, чем знанию, которое является частью самой фактической ткани человеческого опыта. В обычной речи говорят: «Теперь я *знаю*, что значит быть влюбленным». Для нас такое употребление языка признается философски обоснованным. В самом деле, мы считаем, что подразумеваемый, если не явный отказ признавать чувства и интуиции составляющими «знания» — причина огромного заблуждения в философской мысли Запада. Предположение о том, что опыт подобного рода имеет низший статус, ведет к дальнейшему пагубному предположению о том, что при поиске понимания вселенной его нельзя принимать в расчет. Но разве человек действительно ближе к сердцу вещей, когда решает задачу по алгебре, чем когда читает Священные Книги или слушает великую трагическую пьесу? Нам очевидно, что точно так же, как только знание правил поло, но не понимание игры, можно получить, изучая учебники по игре, так и от вселенной можно получить лишь знание, а не понимание, используя концептуальные или абстрактные термины. Подход к пониманию может быть достигнут только путем постепенного постижения конечных истин посредством упражнения духовного чувства.

— У меня нет знаний, — упрямо возразил Смит, — о духовном чувстве и об особом классе истин, открыть которые является его функцией. Вы только что говорили о трагедии. Во вселенной трагедия толкуется нам искусством; нам нет нужды прибегать к чему-либо за пределами искусства.

— Скажите мне вот что, — ответил я, — если бы духовное чувство было в самом деле тождественно эстетическому, как было бы возможно провести различие между великим искусством и искусством, которое безупречно исполнено родом пониже? А ведь это различие признается. Некоторые из нас сознательно — другие, подобные вам, бессознательно — признают, что искусство становится великим в той мере, в какой оно делает себя носителем духовной истины. Великая литература, великая музыка, великие картины расширяют сознание дыханием, которое не является эстетическим вдохновением и еще меньше связано с моралью или рациональностью; но по существу принадлежит своему собственному роду — духовному. Великая трагедия обладает этим могуществом в высшей степени именно потому, что в трагедии — более прямо, чем в любой другой форме искусства — духовное чувство берет верх и ставит эстетический дар себе на службу. В трагедии мы чувствуем, что до нас доходит голос мудрости; а что есть мудрость, если не постижение конечных истин?

— Я пока не вижу, чтобы вы установили существование духовного чувства. Мудрость порождается гармоничным взаимодействием эстетических, рациональных и этических интуиций.

— В нашей психологии, — ответил я, — мы не допускаем за этими интуициями того главенства, какое отводите им вы. Мы включаем их в общую категорию *рас (rāsa)*, наряду

с чувством комического, возвышенного, мелкого, нелепого, трагического, непристойного, трогательного и так далее. Одной из функций духовного чувства является координация этих других чувств, дабы на людей, обстоятельства и события, представленные ему в жизненном опыте, воистину мудрый человек мог реагировать с безупречным вкусом — который есть также и безупречная мудрость. Духовное чувство, способность духовного различения, должно действовать на плоскости, превосходящей плоскость других чувств или интуиций, поскольку оно является оценщиком тех иных способов оценки. Это координатор суждений по меркам, которые иначе не имеют ничего общего друг с другом. Это судья между высказываниями любых двух или более модусов чувствительности, когда те кажутся несогласованными. При любом конкретном случае он решает, какие элементы красоты, смешного, мелочности, пафоса и тому подобного входят [в суждение], и в какой степени входит каждый из них. В этом аспекте он чаще всего признается как Вкус. Но, делая эти суждения, его можно увидеть и Мудростью, ибо ни один частный случай не может быть оценен без отсылки к универсу в целом. Так мудрец обнаруживает, что обладает более интимным пониманием вселенной, чем другие люди.

С моей стороны было глупо продолжать столь долго, ибо я уже осознал, что моя задача безнадежна, как описание цвета человеку, рожденному слепым. Кроме того, Смит не осознает, что отсутствие у него духовного чувства дисквалифицирует его в достижении хорошей или истинной философии жизни. Что касается меня, то я-то осознаю, что мой эстетический вкус крайне ограничен, и что я должен делать на это скидку; но я не могу поверить, что моя неспособность проявлять большой интерес к произведениям искусства *как таковым* столь же ограничивает, как неспособность Смита.

VI

Рано утром следующего дня, когда я отправлялся на свою обычную прогулку, мне повстречался Смит, который выходил точно так же, и потому было неизбежно, что мы пойдем вместе. По молчаливому уговору мы избегали спорных тем, и наша прогулка прошла бы вполне приятно, если бы не одно досадное происшествие, случившееся прямо перед нашим возвращением. Внимание Смита привлекли какие-то цветы на вьющемся растении немного поодаль от тропинки, и, будучи отчасти ботаником, он углубился в заросли, чтобы их рассмотреть. Однако он сделал лишь несколько шагов, как вдруг остановился и замер. Он стоял неподвижно достаточно долго, чтобы я понял: что-то случилось, а когда наконец он тяжело зашагал обратно ко мне, меня поразила странность выражения его лица. Оно было бледным, жестким и недружелюбным. Мгновение он смотрел мне прямо в глаза, затем — «Еще одно убийство!» — сказал он.

Я был, конечно, ошеломлен; что именно я ответил, не помню, но за этим последовало неприятное молчание, во время которого я все острее ощущал перемену в его отношении ко мне. Затем, вспомнив его разговор с Мобареком об тот другом убийстве, я понял, в чем дело. Он ставил меня на одну доску с Мобареком и уже составил себе мнение, что ни один из нас не является человеком, которому можно доверять в должном разбирательстве этого злодеяния.

Через минуту мы двинулись к месту, где лежало тело. Лицо этой жертвы не имело никаких увечий, и мне показалось, что черты его мне незнакомы, хотя сказать наверняка, чей это был носильщик — мой, Смита или Мобарека — я не мог. Его сразили одним ударом меча в грудь, и одежда была цела.

Пока мы стояли там, послышались голоса, и мгновение спустя появились четверо мужчин со стороны нашего лагеря. Они несли инструменты, показывавшие, что они намеревались предать тело какому-то погребению; но, увидев нас, они смутились и отступили назад. Смит бросил на меня еще один взгляд, куда более многозначительный, чем первый, и пока мы возвращались на нашу тропинку, я коротко произнес: «Можете быть уверены, я расследую это».

Он прочистил горло. — Эти четверо, которые только что появились, — это люди Мобарека.

Я не мог этого отрицать. Более того, Смит знал, что они мусульмане; и они болтали и смеялись между собой, словно погребение убитого человека было для них повседневным занятием.

Мы продолжили свой путь, причем Смит шел позади меня по узкой тропинке, но, завернув за угол, я увидел Махомеда Фазула, капитана телохранителей Мобарека, на небольшом расстоянии впереди. Тропа передо мной разветвилась, и я подчинился внезапному порыву избежать встречи с Фазулом. Однако вместо того, чтобы пойти следом за мной, Смит замешкался, всмотрелся своими близорукими глазами в направлении Фазула, а затем намеренно пошел другой дорогой. Резким движением раздражения и дурного предчувствия я развернулся и последовал за ним. В следующий момент мы достигли Фазула. Он стоял на коленях у небольшого ручья, стирая запачканную кровью одежду, а его обнаженный меч лежал на берегу рядом с ним.

Когда мы подошли, он поднялся и с совершенным спокойствием совершил свое обычное приветствие (салам). Смит никак на него не отреагировал; хмуро он прошел прямо мимо. Что до меня, то я сказал: «Махомед Фазул, я захочу увидеть вас вскоре». И снова Фазул поклонился с невозмутимым лицом.

В течение краткого остатка пути домой не было произнесено ни слова. Я был слишком раздосадован и на себя, и на Смита, чтобы первым нарушить молчание; что касается его, то, не отрывая глаз от земли, он мрачно шагал рядом со мной и, дойдя до своей палатки, нырнул в нее, даже не кивнув мне.

Сильно расстроенный, я сел в своей собственной палатке и стал обдумывать ситуацию. Я видел неизбежным, что теперь Смит окончательно укрепится в своем худшем мнении о Мобареке и обо мне; и это наполняло меня чувством разочарования и неудачи, казалось скверным итогом нашего товарищества.

Да, глядя на вещи глазами Смита, вот что я видел: Мобарек держит на службе дикого и фанатичного араба, который недавно совершил убийство, возможно, два, почти на глазах своего господина; и убийца только что продемонстрировал циничное хладнокровие, которое без сомнения объяснялось главным образом тем фактом, что Мобарек не только высмеивал веротерпимость, но и кичился тем, что он старый мракобес, жаждущий крови. Что до меня, то моя интеллектуальная и нравственная чистота уже некоторое время казалась все более подозрительной, и мой недавний поступок, попытка выгородить Фазула, показал мое истинное лицо в полной мере. Полагаю, мое положение представлялось Смиту особенно презренным. Ведь, будучи цивилизованным человеком (которым Мобарек определенно не являлся), я находил благовидные причины отвергать цивилизованный взгляд на жизнь. Так что Смит ждал, какой оборот примут события — ждал с мрачным предвкушением увидеть Мобарека и меня в нашем худшем проявлении.

Таково было мое прочтение мыслей Смита; а теперь я покажу другую сторону картины. Дело Махомеда Фазула почти целиком основывается на характере самого человека. Он принадлежит к одному из тех племен пустынных арабов, которые проводят время, скитаясь по самым суровым регионам Аравийского полуострова. Пятнадцать лет назад Мобарек, возвращаясь из поездки в Персию, привез этого человека с собой. Несколько лет он служил в Императорской армии, а затем был переведен в личную охрану Мобарека, капитаном которой он сейчас является. За все наше нынешнее путешествие я был весьма впечатлен внешностью и осанкой Фазула, а также уважением, которое питали к нему его люди. В Фазуле я узнал дитя пустыни — того места, где могут жить только храбрецы, и лишь благодаря тому, что они отвечают ее суровости суровостью своей жизни. Я знаю пустыню достаточно, чтобы представить себе, какими были первые двадцать пять лет жизни Фазула. Я знаю эти пустоши из колючего песка, грубого гравия и острых камней, выжженных и выбеленных днем, продуваемых леденящими ветрами ночью. Именно из этой опустошенности, из этой бедной, но великолепной сухости произрастает, подобно дереву ладана, несравнимая вера в Бога. Ниоткуда больше на земле не исходит аромат такой сладости и чистоты. Как описать страсть, столь же незапятнанную, как тот воздух, стальную по силе и раскаленную, как солнце пустыни? Когда я смотрю в лицо Фазулу, я вижу участок пустынной земли, поверхность, закаленную выносливостью, истертую всяческими невзгодами. В нем нет милосердия; да и ровный взгляд этих глаз по иному кроме как пугающим не назовешь. Это лицо — железная дверь, за которой пылает поклонение Аллаху.

Обдумав все как следует, я послал за Фазулом лишь затем, чтобы сообщить ему, что видел труп в лесу и считаю своим долгом доложить об этом деле его хозяину. Затем я допросил своих слуг и узнал, что покойный издевался над Фазулом из-за его молитв.

Прежде чем идти к Мобареку, я разыскал Смита и сделал все возможное, чтобы представить ему характер Фазула в благоприятном свете. Я указал на то, что Мобарек сочтет, что убийство было совершено под воздействием невыносимого оскорбления. В самом деле, мог бы кто-либо , спросил я, ожидать, что Мобарек не примет точку зрения, согласно которой поведение убитого было практически равносильно самоубийству?

Мы сидели у палатки Смита, и яркое утреннее солнце выявляло каждый оттенок выражения, пробегавшего по его лицу. Без сомнения, он считал мои увещевания очень лицемерными и не одобрял склада ума, лежащего в их основе. Порицание читалось в каждой черте его лица, а каменное молчание, с которым он меня слушал, было весьма удручающим. Однако я упорствовал, пока внезапно он уже не смог сдерживаться. В глазах его вспыхнул горячий свет, руки начали сжимать друг друга, и он отрывисто поинтересовался, кто будет судить в этом случае. Мои слова, сказал он, похоже, предполагают, что Мобарек, вероятно, сам возьмет на себя эту должность. Но по какому праву? Пусть Мобарек выступает защитником сколько угодно, но судьей он быть не должен и не может.

Я промолчал, подавленный унынием. После чего Смит продолжил еще более вызывающим тоном: «Так случилось, что на одной из моих последних аудиенций у Императора я обсуждал именно этот вопрос — я имею в виду отправление правосудия — и обнаружил, что его взгляды в точности совпадают с моими. Он сказал мне, что твердо намерен установить стандартную процедуру, при которой ни раса, ни каста, ни религия не должны мешать беспристрастному отправлению закона».

Нота торжествующего удовлетворения в голосе Смита была настолько смехотворна в своей наивности, что я действительно не знал, как ответить. Какой смысл был пытаться объяснить, что абсурдно обращать хоть какое-то внимание на публичные заявления Императора — и уж, конечно, не на такие общие фразы — и произнесенные ради расположения иностранца! Поспешно я попытался уйти от этой темы, но Смит и слышать об этом не хотел; и я понял, что должен дать ему предупреждение. Если он намерен поднять это дело перед Императором на следующей аудиенции, пусть, сказал я, он снова обдумает этот вопрос; кроме того, было бы неразумно — крайне неразумно — упоминать Акбара при обсуждении этого дела с Мобареком.

Принимая во внимание все его принципы, я убежден, что Смит пристрастен сильной личной неприязнью к Мобареку и инстинктивной антипатией к Махомеду Фазулу. Думаю, то, что я рассказал ему о Фазуле, скорее навредило, чем помогло. Такие люди, как Фазул, самим фактом своего существования дают Смиту свидетельство несостоятельности его представления о человеческой природе и пробуждают в нем нескрываемую враждебность.

Нетерпимость Смита к нетерпимости граничит с фанатизмом. Ему не нравится, когда нарушают его удобное убеждение в том, что весь род человеческий, если бы только он немного лучше понимал собственный разум, осознал бы, что хочет ровно того же, чего хочет он, и не любит ровно того же, что не любит он. Все мы склонны объяснять различия во вкусах других людей их заблуждениями.

А Фазул является типичным представителем расы, которой цивилизация не нравится *в любом* из своих реальных проявлений. Араб встречается в двух противоположных типах; он либо великолепен, либо убог; но в обоих случаях он не иллюстрирует человеческую природу так, как Смиту нравится ее воображать. Будь то вождь, выступающий на войну из варварского великолепия мавританского дворца, или карманный воришка в трущобах, им не движут ни рациональный альтруизм, ни рациональная корысть. Истоки его бытия — не те, на которые рассчитывает цивилизация. У него нет склонности делать свою жизнь комфортной в этом мире; то, что он ценит и чем живет, — это как раз то, что апостолы гуманизма вынуждены игнорировать или отрицать.

Закончив свой бесплодный разговор со Смитом, я пошел к Мобареку и застал его одного в палатке за написанием донесения собственной рукой. Его острые маленькие глазки пристально уставились на меня; думаю, он заметил, что я встревожен. В своем кратком изложении фактов я едва упомянул Смита, но, когда я закончил, он сказал со улыбкой: «Уверен, это, должно быть, стало настоящим потрясением для нашего великолепного друга. Но вы, несомненно, смогли его успокоить».

«Не полностью. Но я дал понять, что это дело его не касается».

Мобарек выглядел развеселенным. «Раджа! Как вы могли сказать такое любителю справедливости, другу всего человечества!»

Я рассмеялся, но из-за Смита чувствовал себя неловко. «Почему бы не предложить Императору, чтобы Смиту стоило покинуть Индию?»

Возможно, это было бестактно сказано, ибо Мобарек нахмурился. «Это не так просто. Император проявляет интерес к иностранцам, и он еще не открыл несостоятельность Смита. Даниял тоже взял Смита под свою защиту».

Помолчав, он продолжил: «Смит мало осознает, что для Данияла он представляет лишь интерес новизны. Несколько месяцев назад Принц был занят изучением магии у знахарей Западной Африки; до этого он впитывал мудрость Древнего Египта. Через несколько недель, когда Принцу он надоест, Смита оттеснят на задний план, поместив среди диковинок, которыми кишит Лагерь, — где-то между бесшерстной кошкой с Камчатки и труппой маленьких золотокожих евнухов, которая только что прибыла с Себу».

С этими словами его манера внезапно изменилась, он позвал слугу и послал за Махомедом Фазулом, попросив меня остаться присутствовать, пока он будет его допрашивать. Фазул

вошел в палатку с видом полного спокойствия и, будучи спрошенным, серьезно признался в содеянном.

— Зачем ты убил этого человека? — спросил Мобарек. — Он напал на тебя?

— Нет.

— Он оскорбил тебя?

— Да, но не поэтому я его убил.

— Тогда почему?

— Он насмехался над поклонением Аллаху.

Мобарек молчал, глядя вниз на стол. Когда он поднял голову, его глаза были закрыты, а губы слегка сжаты. Откинувшись на спинку стула, он издал короткий вздох. «Что ж, — выговорил он наконец. — Так было суждено. Иди с миром».

Между нами повисла тишина, которую первым прервал Мобарек. Он бросил на меня взгляд, все еще насмешливый, но дружелюбный, и заговорил о другом. Вскоре я встал и ушел.

Часть 3

I

Мы достигли Катхияпура на закате того же дня и расстались друг с другом на окраине города. Мобарека встретил губернатор; Смита — друзья Данияла, у которых ему предстояло быть гостем; что до меня, то я отклонил приглашение губернатора под предлогом того, что Шрилата уже приготовилась к моему приезду, и побрел прочь в одиночестве.

Это был вечер золотого солнечного света: небо было очень чистым на западе, но испещрено розовыми облаками над головой. В течение дня мы спускались по местности со старыми узловатыми деревьями и обломками скал, где дикие луга были окаймлены красными и желтыми азалиями и перерезаны бурлящими ручьями ледяной воды. Но с каждым шагом становилось все теплее, и постепенно ручьи превратились в потоки, через которые были перекинуты мосты с высокими перилами, а берега их поросли миндальными деревьями и кустами персидской сирени. Большие дома, мимо которых мы проходили, имели глубокие нависающие карнизы из резного кедра с выступающими эркерами и окнами, заполненными решетчатой работой пинджра (pinjra) с арабесковым орнаментом. Это была процветающая долина, наполненная звоном колокольчиков пасущихся стад,

часть мира, где текла безмятежная и размеренная жизнь. Наконец среди листвы показались посеребренные крыши храмов, и перед нами предстал Катхияпур — маленький городок множества садов, где у каждого человека было свое дерево для тени.

Некоторое время я сидел у колодца, глядя ввысь в небо, и мои мысли обратились к Сите. В моем постоянном осознании мимолетности земных вещей есть спокойствие, не радостное и не печальное, но иногда странно пронзительное. В такие моменты я разделяю тоску тех второстепенных поэтов, чьи сердца стремятся запечатлеть в словах аромат, который иначе развеется. Когда я окидываю взглядом сцену как человек, не являющийся ее частью, мысль о Сите, чей дух не призван отказываться от земных радостей, навязчиво возвращалась ко мне. Безгрешно она принадлежит этой земле, эта земля обогащающе — ей; в ее принятии моей иной предназначенности есть великодушие, и я чувствовал благодарность ей за это.

Я не могу надеяться найти подобное понимание ни у Шрилаты, ни у Амбиссы. У каждой будут свои причины для неодобрения, и хотя упреки Амбиссы будут более горячими, именно их мне будет труднее всего игнорировать.

К тому времени, когда я заставил себя очнуться от этих мыслей, опустились сумерки, и мне стоило некоторого труда найти дом, который занимает Шрилата. Это хорошенький маленький домик, стоящий посреди собственного сада в уединенном квартале. Благодаря ей я сам теперь обосновался в доме такой же планировки не далее чем в ста ярдах от её.

Отужинав вместе, мы вышли в ее сад и там расположились для неспешной беседы. Прошло не так много месяцев с тех пор, как я видел ее в последний раз, и тем не менее мое внимание сразу привлекли ее маленькие причуды, словно они не были мне хорошо известны, или будто от нее можно было разумно ожидать, что она их отбросила. Однако я делаю ей комплимент, говоря, что именно провалы в ее рассудительности я всегда замечаю с наибольшим удивлением. Для начала я обнаружил, что она приняла, по-видимому, без вопросов, распространенное убеждение в том, что в Рави мое знакомство с Даниялом переросло в дружбу. «Расскажи мне еще что-нибудь о вашей жизни там, — сказала она. — Должно быть, было весьма забавно иметь Площадку Искусств (Pleasance of the Arts) — такое очаровательное название, кстати, не правда ли? — совсем под рукой. В Агре ты произвел на меня впечатление человека, предубежденного против Данияла. Казалось, тебе даже не нравилось *моя* дружба с ним. Возможно, ты не ставил мне в заслугу то, что я осознавала его недостатки. Но, конечно, я всегда понимала, что временами он бывает очень глуп, и что, пожалуй, в его характере даже есть черта, которая не может совсем нравиться. Тем не менее, я думаю, что у него искренняя любовь к красоте — ну и, конечно, он так остроумен, такая хорошая компания. Я уверена, ты согласен насчет этого».

Эти слова буквально лишили меня дара речи. Затем я понял, что из доброты сердца Шрилата воображала эту перемену во мне. Она всегда оплакивала то, что считает моим эксцентризмом, мою неспособность принимать текущие оценки. Всякий раз, когда я отличаюсь от мира, ей становится жаль; ибо она не может представить себе, чтобы кто-

либо достаточно проницательный, чтобы уловить новейший вкус, мог бы все же предпочесть свой собственный.

Я поспешил объяснить, что моя жизнь в Рави вовсе не была такой, какой она ее представляла; и что я практически не видел Принца. «Боюсь, — сказал я, — что ты обнаружишь меня без новостей какого бы то ни было рода. С другой стороны, я ожидаю всяческих интересных новостей от тебя. Завтра, как ты знаешь, я увижусь с Амбиссой; и я хотел бы казаться настолько сведущим в текущих делах, насколько это возможно; так что постарайся изо всех сил ввести меня в курс дела».

Со своей неизменной любезностью Шрилата поспешила подчиниться, но, увы! в очень короткое время мне напомнили, что люди, живущие в обществе, привыкают цепляться лишь за обрывки вещей, обладающих разговорной ценностью. Разговор состоит в передаче по кругу маленьких блестящих монеток, ценность которых неважна, лишь бы они только что отчеканены.

Политическая информация Шрилаты была бесполезна для меня, разве что показала, что каждый в ее кругу считал, что Салим больше не является фигурой, с которой нужно считаться. Когда я указал ей на то, что у Салима, в конце концов, большая армия за спиной и он пользуется сочувствием всего мусульманского мира, мои слова прошли мимо нее, не произведя ни малейшего эффекта. Возможность третейского суда оружием явно не входила в пределы ее воображения. Все, что она ответила, было: «Ну, дорогой мой, судя по тому, что я слышу, у Салима почти не осталось друзей при Дворе, а что касается Императора, то он нынче оставляет все на усмотрение Мобарека. Все говорят, что он стал разваливаться на куски очень быстро в последние месяцы. Думаю, пройдет немного времени, прежде чем он передаст Трон Даниялу».

«Эти слухи о физическом и умственном состоянии Императора не новы, — ответил я. — Я скорее удивлен, что вы обращаете на них хоть какое-то внимание».

«Что ж, я просто говорю тебе то, что говорят люди. Например, Бабило Туд обедал со мной здесь несколько дней назад, и он уверил меня, что когда он встретил Мабуна Даса, выходящего с последней аудиенции у Императора, Мабун был совершенно удручен. Акбар, сказал Мабун, весь день пил свою обычную смесь вина и опиума и, казалось, был не способен или не желал обсуждать ничего, кроме подавления Тайных Сект. Боюсь, что на этой почве он стал совсем неуравновешенным. Ты слышал, что *еще* три-четыре сотни человек казнили на днях? И Мабун Дас, которому приходится заниматься отлавливанием этих бедняг, был в отчаянии из-за этого. Он сказал, что благодаря вину, опиуму и религии Император становится совершенно недееспособным».

Я пожал плечами. Я думал о том, как странно в светских сплетнях смешиваются проницательность и глупость. К тому же все это было из вторых рук. Но Шрилата могла цитировать Мабуна Даса, Ман Сингха, Абу-ль-Фазла или кого угодно еще по ее желанию, даже ссылаясь на первоисточник, а я бы остался совершенно не впечатлен. Если бы важные

государственные мужи говорили то, что они действительно думают на модных званых обедах, либо эти государственные мужи вскоре перестали бы быть важными, либо сами обеды — модными. Поверхностность — незаменимое требование для вежливой беседы. Шрилата знает так же хорошо, как и я, что уже давно стало модой в определенных кругах либо высмеивать Императора, либо сочувственно качать головой по поводу его предполагаемого упадка.

Чтобы сменить тему, я попросил ее рассказать мне кое-что о людях, с которыми я собираюсь встретиться в Катхияпуре, и она охотно подчинилась со светским оживлением. Ее интерес к скандалам и интригам не ослабевает, но он также легок и отстранен. То, что она была в гуще общественной жизни Катхияпура, подтверждалось количеством записок, которые поступали к ней в течение вечера. Это было очень любезно с ее стороны, размышлял я, посвятить мне все эти часы.

— Макх Хан прибыл несколько дней назад, — говорила она тем временем; — но Мобареку не стоит беспокоиться; старик здесь вполне счастлив; каждый в этом месте был у его ног с момента его приезда; так что Мобарек найдет его в особенно добродушном настроении.

— А как насчет Лалиты? — спросил я.

— Она и ее сестры тоже здесь. Они живут под крылом Амбиссы; а она, как ты знаешь, гостит у губернатора. Губернатор живет в своего рода парке, где есть несколько гостевых домов. Амбисса с тремя девушками занимает один из них. Девушки, боюсь, совсем отбились от рук после смерти матери; и обязанности Амбиссы как дуэньи здесь, в Катхияпуре, особенно тяжелы. Однако... — и Шрилата осеклась.

— Расскажи мне что-нибудь о дочерях Хана, — сказал я. — Единственную, кого я знаю, — это Лалита.

— О, значит, ты *встречался* с ней? — быстро сказала Шрилата. — Когда это было?

Я на мгновение заколебался — меня смутило воспоминание об украденном объятии, которое мне случилось увидеть. — Я встретил ее, — сказал я, — во время моего путешествия из Кханжо в Рави. Она следовала из Лагеря вместе с Мобареком.

Шрилата выглядела заинтересованной. — Хари тогда был с тобой?

— Да.

Наступила пауза, в которой мы оба гадали, сколько другой знает. Затем Шрилата продолжила: — Что ж, как ты сам видел, Лалита очень хороша собой, и, по моему мнению, остальные еще красивее, потому что Лалита немного крупновата на мой вкус. Я знаю, что многие люди — в основном мужчины, думаю, — восхищаются этими ширококостными женщинами с Гор; лично я предпочитаю более изящный типаж. Махил и Парми меньше ростом, чем Лалита, но у всех троих одинаковый прекрасный цвет. Ничто, на мой взгляд, не привлекательнее того золотисто-коричневого эффекта, который получается, когда волосы

на оттенок светлее кожи — особенно если глаза голубые. Некоторым людям не нравятся разноцветные волосы, но я нахожу эти пряди разных оттенков золотистого совершенно очаровательными. Махил, старшей, двадцать два года, и она замужем; но ее муж, который является солдатом, сейчас находится на Северной границе, присматривая за Мохаммедом Али. Думаю, она наименее безрассудная из трех. Парми, младшей, всего шестнадцать, и хотя она гораздо менее зрелая, чем наши девушки в этом возрасте, она уже ведет себя достаточно плохо. Очень жаль, что в семье нет никого, кто держал бы ее в ежовых рукавицах. Та, о ком я беспокоюсь больше всего, однако, — это Лалита — из-за ее особого положения.

— Но, боже правый! — воскликнул я. — Неужели ты хочешь сказать мне, что Лалита окажется настолько глупа, чтобы теперь скомпрометировать себя?

Шрилата рассмеялась и промолчала.

Вскоре, поскольку становилось поздно, я сделал вид, что ухожу, но Шрилата, привыкшая бодрствовать всю ночь, и слышать не хотела о моем уходе. — Несомненно, — сказала она, — тебе следует отплатить мне за все мои нескромности? — И с этим она начала расспрашивать меня о Данияле и Лалите. Каково общее мнение среди друзей Данияла об этой партии? Что думает об этом Мобарек? Слышал ли я когда-нибудь, чтобы Даниял упоминал об этом, и если да, то в каком тоне?

Мои ответы, я нисколько не сомневаюсь, были разочаровывающими, и боюсь, она подумала, что я мог бы быть интереснее, если бы захотел. Но она никогда не настаивает, и вскоре она перевела разговор на Хари, спрашивая, что побудило его вернуться в Рави, и почему по пути из Агры он сделал крюк, чтобы избежать Катхияпура.

— Он вернулся в Рави, — сказал я, — потому что состояние Гогала ухудшилось, и ему особенно хотелось видеть Хари. Ты знаешь, какие они закадычные друзья. Что касается его избегания Катхияпура, я не знал, что он это делал. Хари — необъяснимое существо, как всем нам известно.

Шрилата задумчиво посмотрела на меня.

— Мысль о том, что Хари сейчас в Рави, — большое утешение для меня, — продолжал я. — Мне было бы не по себе оставлять это место без ответственного лица. Лагерь привлек все мыслимые странные характеры в окрестности, и присутствие кого-то вроде Хари почти необходимость. Слуги, какими бы надежными они ни были, никогда не знают, как действовать в чрезвычайной ситуации.

Немного позже, чувствуя себя совершенно уставшим, я встал и отправился спать.

II

Мои часы сна были недолги, и я проснулся с резким отвращением к делу, которое мне предстояло. В памяти всплыли воспоминания о долгих неудовлетворительных спорах с Амбиссой, и я решил остерегаться своих привычных ошибок. Но сразу же после этого я вспомнил, как часто в прошлом вооружался подобными решениями, и все без толку; ибо казалось, что очень мало разницы, какой план действий я приму или насколько твердо буду ему следовать. У Амбиссы всегда есть какая-нибудь затея в голове, в которой она хочет сделать меня соучастником, и даже в ее самых невинных замыслах есть нечто, что мне всегда очень сильно не нравится.

В разительном контрасте со Шрилатой, у которой легкий нрав, Амбисса упорствует; она никогда не освобождает человека от необходимости объяснять себя; а это влечет за собой необходимость объяснять ей её саму; а это невозможно сделать удовлетворительно.

Тот факт, что Амбисса не плохая женщина, только усложняет положение. Хотя ее цели неизменно мирские, стратегия бессовестна, а тактике недостает тонкости, ее мотивы редко, если вообще когда-либо, заслуживают порицания. Продвижение себя и своей семьи — вот что она имеет в виду; а общественные амбиции — особенно те, что действуют от имени других — едва ли можно назвать злыми; так что из меня легко могут сделать слишком привередливого человека за то, что я отказываюсь помогать ей, человека, больше заботящегося о собственной щепетильности, чем о благополучии родных и близких.

Нельзя отрицать, что Амбисса сделала успешную светскую карьеру. Ее положение при Дворе незыблемо, и она подготовила прекрасное будущее для своих сыновей. Если Даниял был для нее занозой, если он забавлялся тем, что вонзал в нее дротики, если он демонстративно отказывался допускать ее в свой ближний круг, никто не сомневается, что это просто шутка и что в любой момент он может передумать. Более того, точно так же, как после определенного возраста старые люди начинают гордиться количеством прожитых лет, так и Амбисса приобрела репутацию, которая позволяет ей кичиться толщиной своей кожи. Таким образом, если я правильно понимаю ее отношения с Даниялом, своего рода товарищество, как между оскорбляющим и оскорбленным, возникло между ними.

Отдавая справедливость Амбиссе, однако, следует отметить ее большую заслугу в том, что она способна думать о Данияле без ненависти. Более того, я думаю, могу сказать о ней, что у нее нет злобы, язвительности или ненависти по отношению к кому бы то ни было. Однажды, когда я указал на это Сите, она ответила, что никто не может служить двум господам, тем более трем; и что Амбисса настолько поглощена Светом, что ни Плоть, ни Дьявол не имеют против нее никаких шансов. Но, без сомнения, Сита склонна быть суровой к Амбиссе, которая обладает многими добродетелями. Она преданная мать и была бы очень хорошей женой согласно своим представлениям, если бы Хари когда-либо дал ей такую возможность.

Солнце уже припекало, когда я прогулялся до Парка Губернатора. Я прошел через ворота беспрепятственно и направился к серым гонтовым крышам, возвышавшимся на фоне высоких деревьев. Стрекозы висели над прудами с лилиями, окаймлявшими дорогу, а лани из тени с любопытством смотрели на меня. Я подошел к группе длинных низких домов, расположенных примерно в ста ярдах друг от друга; и все еще не видел ни единой живой души.

Поднявшись по ступеням к первому из этих домов, я лицом к лицу столкнулся с хорошенькой девушкой, появившейся на веранде. Она внимательно осмотрела меня, прежде чем отступить через открытое окно в комнату позади. Я услышал, как она объявляет о моем присутствии, после чего внутри поднялась заметная суета, и мгновение спустя поспешно вышла Амбисса. Она приветствовала меня с теплотой, которую я счел вполне искренней, хотя выражение этой теплоты было чрезмерно манерным. С этим она ничего не может поделать; кроме того, она подавляла минутное раздражение. — «Мои слуги послали вас сюда? — сказала она. — Потому что им не следовало этого делать. Нет, нет! это не мой дом. Мой вон там. Но неважно. — Надеюсь, вы не ждали долго. Мы...» Внезапно нахмурившись, она осеклась, так как откуда-то из-за спины раздались голоса девушек, вступивших в пререкания. Но лишь на мгновение высокие ноты сменились приглушенным смехом.

— «Пойдем ко мне домой, — продолжала Амбисса, и довольно поспешно повела за собой. — Дорогой Амар, как я рада тебя видеть! Я ужасно боялась, что ты вообще не приедешь, а мне столько нужно тебе рассказать. Кроме того, я хочу, чтобы ты рассказал мне все о себе. Как ты оставил дорогого Принца? Я слышала, он ушел высоко в горы для полного отдыха. Уверена, ему это необходимо. Путешествие вниз сюда должно было быть очень утомительным. Лалита получала от него такие очаровательные письма. — Да, вот мы здесь; а теперь я отведу тебя в свою личную комнату, где нам не помешают».

Она достала откуда-то ключ, отперла дверь, и мы вошли. Большой стол, заваленный ее корреспонденцией, снова напомнил мне о том, что ее жизнь очень насыщенна.

— «Теперь мы можем поговорить долго и неспешно, — продолжила она; — и как приятно думать, что впереди у нас несколько дней. Ты останешься здесь минимум на неделю, не так ли? В Агре никогда не остается времени побыть одному, но здесь...» Пока она говорила, ее глаза беспокойно блуждали, и нельзя было не заметить ее сильного внутреннего волнения. Этот симптом огорчил меня, ибо он был чем-то новым. До сих пор одной из ее сильных сторон было то, что ей удавалось, даже ставя себя в сложные обстоятельства, сохранять видимость покоя.

Вдруг, посреди фразы, она встала, открыла дверь и выглянула в коридор. — «О, дорогая! — воскликнула она. — Вот ты где! Да, Амар со мной. Да, разве это не восхитительно! Итак, ты сейчас возвращаешься? Что ж, передай Хану, что я приду сегодня днем. Прощай, дорогая, прощай».

Закрыв дверь снова быстро и крепко, она подождала мгновение, затем вернулась, вновь приводя свое выражение лица в порядок. Улыбка, которую она надела для дамы снаружи, очевидно, отличалась от той, что она хранит для меня. Со мной она чувствует, что должна проявлять серьезную сторону своего характера, — совершенно ошибочная идея, ведь мне не нужно доказывать, что она серьезно относится к жизни. Нет, нет, разница между нами заключается лишь в нашем выборе того, к чему относиться серьезно.

Было естественно, что она начала говорить о смерти нашей матери; она сокрушалась, что не смогла быть с нами в то время; и опять же, хотя ее слова были шаблонными, я чувствовал, что они не были неискренними. Позволь она себе хоть немного досуга для скорби, она непременно бы горевала; но в ее жизни горе — это потакание собственным слабостям, на которое у нее нет времени. Немногие люди, полагаю, способны на такое суровое подчинение естественных инстинктов, как она; и, если она пролила сейчас несколько слезинок, эти слезы не были признаком действительно испытываемого горя, скорее это была дань уважения горю, от которого она была вынуждена отказаться.

Ее следующей темой был Али. Она беспокоилась о мальчике, ведь он определенно должен был добраться до Катхияпура к этому времени. Но здесь она ограничилась несколькими краткими вопросами, и, как только увидела, что мне нечего ей рассказать, перешла к другому. Очень старательно она принялась оправдывать себя за то, что отправила его в Лагерь; и, слушая ее, я почувствовал, что наконец-то мы добрались до дела. Я знал, что она хочет, чтобы я повторил эти извинения Хари по возвращении в Рави. Когда в конце концов она произнесла имя Хари, что-то в ее поведении заставило меня насторожиться. До сих пор она всегда говорила о нем тоном обиженной, но все же прощающей жены. Сегодня ее интонация звучала жестче — не совсем резко, но твердо, с твердостью человека, которому в конце концов навязали суровое решение. Время от времени она делала паузу, ожидая, судя по всему, какой будет моя реакция.

— «Амар, — сказала она после более долгой паузы, чем обычно, — разговаривал ли ты с Хари перед тем, как приехать сюда?»

— «Ты имеешь в виду, полагаю, на личные темы? Нет. Он прибыл вечером. На следующий день рано утром я отправился в Лагерь».

Она пристально посмотрела на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. — «Его не было несколько дней, не так ли?»

Я смутно удивился тому, что она знает, какими были передвижения Хари; и теперь, имея время обдумать этот вопрос, я удивляюсь еще больше; завтра, возможно, я попрошу ее объяснить. Ответ, который я дал, заключался в том, что возвращение Хари было удачным, ибо вряд ли я смог бы предпринять это путешествие, если бы некому было присматривать за моим домом в мое отсутствие.

— «Ты оставлял их всех одних — без Хари или кого-либо — в Кханжо», — заметила Амбисса; и следующие несколько минут мы говорили о Сите, причем Амбисса явно желала проявить дружеское отношение к ней. Затем ее тон снова изменился, и я почувствовал, что мы возвращаемся к делу.

— «Интересно, осознаешь ли ты, насколько неудачной была эта ссора между Хари и Даниялом? Сейчас это делает все особенно трудным. Фактически, боюсь, это было не что иное, как катастрофа».

— «Ну полно!» — ответил я. — «Уверен, ты преувеличиваешь. Принц говорил со мной о Хари только на днях, и, насколько я могу судить, он вовсе не затаил никакой обиды».

Эти слова должны были быть приятны для слуха, но на лице Амбиссы промелькнула тень досады. — «Мой дорогой Амар, я сильно сомневаюсь, позволил бы ли Принц тебе увидеть, что он на самом деле чувствует. Но я думаю не столько об этом, сколько об отношении Хари к нему».

Я промолчал, а она продолжала нетерпеливо смотреть на меня. — Я хочу, чтобы ты очень тщательно обдумал положение, в которое поставил себя Хари. Ты, возможно, не осознаешь; насколько напряженной сейчас является политическая ситуация, и к тому же ты, вероятно, смотришь на Хари как на безответственного человека, который так долго пренебрегал своими делами, что теперь никто не обращает на него внимания. Уверяю тебя, это большая ошибка. Люди не отмахиваются от Хари так легко и добродушно, как это делаешь ты. Прежде всего они помнят — чего не помнишь ты, — что Хари — вождь Пограничья. Этого одного достаточно, чтобы люди держали его под пристальным наблюдением.

Она снова сделала паузу.

— «Ты к чему-то ведешь, — сказал я. — К чему?»

— «Я определенно к чему-то веду, — медленно ответила Амбисса. — Интересно, знаешь ли ты, что в последнее время Хари ведет крайне опасную интригу?»

— «Интригу?» Уставившись на нее, я гадал, не слышала ли она что-нибудь о флирте Хари с Лалитой.

— «Кажется, Хари затеял интригу с Мохаммедом Али». Амбисса говорила с величайшей серьезностью. — «И не только с Мохаммедом Али, но также, совсем недавно, напрямую с принцем Салимом».

Если я был озадачен, то также был и недоверчив. — «Интересно, кто тебе это сказал?» — был мой ответ.

Амбисса наклонилась вперед, будучи весьма серьезной. — «Ты хочешь знать, кто мне сказал? — Что ж, сам Император!»

— «О!» Тон моего голоса был признанием того, что она произвела должное впечатление. Помню, я уставился на нее в тщетной попытке расшифровать ее особенно ничего не выражающее выражение лица. Была ли ее новость такой же серьезной, какой она хотела заставить меня думать? Я начал задавать вопросы; я настойчиво расспрашивал ее; и, увы, не мог избежать вывода, что у Хари очень серьезные неприятности.

Когда Амбисса увидела, что добилась своего, она собралась с духом и произнесла слова, которые должны были стать кульминацией её речи. С твердым лицом она объявила, что развелась с Хари!

Прошло несколько мгновений, прежде чем я смог точно понять, что она имеет в виду. Еще несколько месяцев назад, когда Хари был полон пустых угроз развестись с ней, она проявляла сильное беспокойство и совершенно неразумную тревогу. Теперь мне нужно было вбить себе в голову, что это она развелась с ним. И тогда, как ей это удалось? Император делает развод очень трудным делом, и для жены развестись с мужем — дело практически беспрецедентное. У меня были все основания для изумления. Но нельзя было отрицать свершившийся факт. Очевидно, Император счел изменническую деятельность Хари достаточным основанием для развода.

Наконец я понял — и слишком ясно, — почему Амбиссе так хотелось меня видеть. Я должен был вернуться в Рави и сообщить Хари, во-первых, о том, что Али состоит при Данияле в Лагере, а во-вторых, о разводе. И это было еще не самое худшее, потому что вскоре выяснилось, что Император собирается приказать ему удалиться на неопределенный срок в свои поместья в Синде; место, где он будет надежно убран с дороги. Ему запрещалось под страхом смерти возвращаться в свое Пограничное княжество, которое должно было быть передано под «временное управление» Макх Хана. Амбисса рассчитывала, что я передам эту новость Хари таким образом, чтобы он осознал мудрость подчинения без всякой бесполезной суеты.

К этому времени я потерял желание спорить или даже комментировать. Мои глаза оставались прикованы к Амбиссе мрачным взглядом; и я обязан сказать, что она встретила мой взгляд с непреклонной твердостью. Воистину, она замечательная женщина. Ее глаза, все ее выражение лица, прямая линия спины — все сообщило мне, что она хорошо подготовлена ко всему, что я могу сказать. Соответственно, я приберег это для другого разговора позже. Я лишь указал на то, что, поскольку Хари таков, каков он есть, скорее всего произойдет убийство.

Амбисса и глазом не моргнула. Она слегка приподняла брови, слегка вздохнула и выглядела слегка огорченной. Смутно и разумно она говорила о возмездии и мудрости склониться перед неизбежным. Тем не менее, по ее словам, ее очень печалит, что дела так повернулись; она провела бессонные ночи. Но все это осталось в прошлом; и теперь оставалось только покориться судьбе.

Я встал, чтобы уйти. Наш разговор длился почти три часа.

— «Когда ты придешь снова?» — быстро спросила она и начала листать свою книгу встреч. — «Было бы так приятно, если бы ты заглянул сегодня вечером. У меня небольшой прием, и я хочу, чтобы ты подружился с этими тремя девушками Хана. Такие душки, все трое».

Я ответил, что не могу обещать прийти. Вполне вероятно, что свой вечер я проведу со Шрилатой.

Она бросила на меня острый взгляд. — «Шрилата знает все, что я рассказала тебе, но — пожалуйста, запомни это, Амар! — для остального мира мой развод пока остается секретом».

III

Из вежливости я намеревался нанести визит губернатору, но теперь отказался от этой мысли. Выйдя из дома, я быстро зашагал прочь; но через мгновение на дороге позади послышались шаги; это был губернатор, который спешил за мной.

— Как поживаете, мой дорогой раджа? — окликнул он меня тоном чрезмерной сердечности. — Я сидел на веранде с юными принцессами и видел, как вы прошли мимо. Вы не возражаете, если я провожу вас до ворот?

Чувствуя некоторую вину, я постарался не уступить моему спутнику в любезности. Тем не менее второе впечатление об этом человеке лишь укрепило меня во мнении, что в нем есть нечто мне неприятное. Он высок, хорошо сложен и красив — довольно заурядным образом; у него вид добродушного человека, он носит улыбку открытую и искреннюю; и все же он не внушает доверия.

Поравнявшись со мной, он принялся болтать о том о сем, но я был уверен, что он что-то замышляет; и через минуту он сказал: — Я надеялся перехватить вас после вашей беседы с Амбиссой Бегум, ибо этот европейский путешественник, Пандит Смит, только что заходил ко мне по поводу двух убийств, случившихся выше по долине. Весьма приятный малый, Смит, — боюсь, однако, порядочный проныра. Похоже, он твердо намерен поднять это дело перед Императором при следующей аудиенции.

Эти слова убедили меня в том, что губернатор уже довольно точно угадал, на каких основаниях мы с Мобареком и Смитом стоим друг к другу. Я ответил, что полагаю, Император не уделит Смиту особого внимания.

— При обычных обстоятельствах, — согласился он, — Его Величество, безусловно, так бы и поступил. Но я опасаюсь, как бы ему не взбрело в голову, что первое убийство было жертвоприношением, совершенным членами какой-нибудь тайной секты. В таком случае поднимется большой переполох. Хотел бы я иметь способ опознать жертву. Сказав это, он

многозначительно посмотрел на меня, но смысл его взгляда остался для меня неясен, и он был вынужден добавить: — Признаться, исчезновение Али начинает весьма сильно меня беспокоить. Разве он не покинул Гамп дня за два до вашего отъезда?

— Думаю, да.

— Что ж, есть ли у вас какая-нибудь теория относительно его исчезновения?

— Мне кажется вполне вероятным, что он сделал крюк, чтобы немного пострелять дичь.

— Это возможно, полагаю. Я остановился. Я заглянул губернатору в лицо и больше не мог избегать идеи, которую он вбрасывал мне в сознание.

— Уж не хотите ли вы сказать, — произнес я, — что обезображенное тело, которое я видел в лесу...

Его серьезный взгляд был достаточным ответом. Когда я заговорил вновь, то дал волю тревожным, мучительным догадкам. Тело, сказал я, показалось мне принадлежащим мальчику покрупнее Али; но мальчишки возраста Али меняются очень быстро, и, увы, я не мог дать себе желанного утешения по этому поводу. Однако, продолжал я, у Али наверняка были сопровождающие; и если бы произошло нападение, некоторые из его людей непременно спаслись бы, чтобы принести известие. Кроме того, оставляя в стороне грабеж, нельзя представить мотив нападения на мальчика, равно как маловероятно, чтобы разбойники сочли Али достойным нападения.

Пока мы разговаривали, мы ходили туда-сюда под палящим солнцем, и физический дискомфорт добавился к моей душевной тревоге. Не могу сказать, что когда-либо питал особую привязанность к Али, которого едва знал, но я преисполнился жалостью к Амбиссе.

— По моему мнению, — сказал я, — совершенно излишне говорить матери мальчика об этих убийствах пока что. В конце концов, Али может появиться здесь живым и невредимым в любой момент.

Мой спутник кивнул. — Я также надеюсь, — добавил он, — что эта загадка будет раскрыта прежде, чем Акбар начнет проявлять к ней интерес — или к прочим тайнам, связанным с Лагерем. Было бы жаль, если имя Али свяжут с именем девушки Гуневати.

Я резко вскинул голову. Упоминание Гуневати застало меня врасплох.

— Из всех тайных сект Акбар, естественно, сильнее всего ненавидит вамачари, — продолжил он, — и когда ему доложат, что Гуневати является членом этой секты...

— Что...? — оборвал я его. — Вы говорите, что Гуневати — вамачари? На каком основании вы так думаете?

Губернатор улыбнулся. — Я знаю это.

— Откуда?

— Мой дорогой раджа, в этом нет ни тени сомнения. Я изучил досье на эту девушку. Мабун Дас оставил его здесь для ознакомления. Позвольте сказать вам, Гуневати не просто член секты, она одна из их йогиннь — понимаете, что я имею в виду? Она воплощает Богиню в их тайных обрядах. Он умолк; его лицо внешне ничего не выражало, однако я очень отчетливо ощутил исходившее от него внутреннее злорадство.

Пару минут мы шли в полном молчании. Я думал, что в свете этой информации связь Гогала с Гуневати, которая и раньше выглядела достаточно дурно, достигла пределов полнейшего скандала. Интересно, давно ли несчастная девушка занимает внимание высокопоставленных особ? Мне казалось это нелепым. Досье, подумать только! И мне совсем не нравилась мысль о том, что это досье находится в руках губернатора.

— Во всяком случае, — сухо сказал я, — Али не имеет никакого отношения к вамачари, и никакого отношения к Гуневати, а следовательно...

— Али, — резко вставил губернатор, — не был — то есть — не является незнакомцем для Гуневати.

— Они оба живут в Лагере, — гневно возразил я. — Более того...

— Их неоднократно видели вместе. И смею предположить, вы знаете, кто свел их?

— Кто?

— Боюсь, это был ваш сын — Джали.

— Джали — вы говорите?

— Да.

Я выдавил из себя улыбку, которая, несомненно, выглядела достаточно натянутой и доставила губернатору немалое удовлетворение. — Пожалуйста, объяснитесь.

— Видите ли, Джали знал Гуневати, ведь вы должны помнить: в Кханжо они были ближайшими соседями, а в Лагере это знакомство возобновилось. — Но разве визиты Джали в Лагерь порой не совершались без вашего ведома?

Я попытался скрыть свое внутреннее смятение. — Да. Но его двоюродный брат находился в Лагере, так что это было вполне естественно...

— Вот именно! — воскликнул губернатор, — вот именно! И я ни на секунду не хочу намекать на то, что Джали делал что-то предосудительное. Произнося эти последние слова, он обернулся посмотреть назад, и, последовав его примеру, я увидел, что Смит спешит нагнать нас. Я решил, что сейчас самое время положить конец нашей беседе.

Распрощавшись с губернатором со всей доступной мне учтивостью, я оставил его наедине со Смитом и быстро зашагал прочь.

IV

Вернувшись домой, я немного поел и бросился на свой диван. Вычеркнув губернатора из мыслей, я обратился к Хари в попытке найти способ помочь ему. Удар, который должен был обрушиться, был суров. Ссылка на его поместье в Синде была равносильна тюремному заключению — причем заключению в ужасных условиях, поскольку те земли приносят очень мало дохода. Что же до доходов с его пограничных княжеств, то они, безусловно, потекут в казну Императора — после того как Хан удержит то, что сочтет причитающимся ему за управление. Да, теперь я видел все ясно: эту администрацию передавали Хану еще одной взяткой за его дальнейшую лояльность. Бедствие, постигшее Хари, можно было, конечно, рассматривать как возмездие; именно так на это смотрела Амбисса; но лично я находил наказание слишком суровым. Кроме того, роль, которую играла Амбисса, была чем-то некрасивым. Я не заходил так далеко, чтобы подозревать ее в том, что она помогла приблизить падение Хари; но мне показалось, что она довольно поспешно ухватилась за этот развод.

Посреди этих размышлений я уснул. Несомненно, этому причиной расслабляющий воздух здешних мест. Когда я проснулся, то увидел стоящего рядом слугу, и по его извиняющемуся лицу понял, что это он меня разбудил. Шрилата Бегум, сказал он, просит меня прийти к ней в дом, как только мне будет удобно.

Не без тревоги я вскочил, и через несколько минут был уже там. Мои уши встретила беспорядочная какофония женских голосов, а в прихожей меня едва не сбили с ног три разодетые женщины, спешившие прочь. В следующий миг мой взгляд упал на фигуру Амбиссы, которая лежала ничком на полу в маленькой комнатке прямо у входа. Лалита обмахивала ее веером, а Шрилата и две девушки, которых я принял за Махил и Парми, хлопотали вокруг со снадобьями. Я осмотрел Амбиссу — она была без сознания, но из-за краски на лице было трудно сказать, насколько серьезно она больна. С моим появлением шум стих, и теперь Шрилата объяснила, что час назад Амбисса была очень расстроена вестью о нескольких убийствах, недавно совершенных на дороге вниз от Лагеря. Полагая, что губернатор находится здесь, и желая допросить его, она поспешила сюда в полуденный зной, но едва переступила порог, как ее настиг приступ дурноты.

В разгар объяснений Шрилаты прибыл врач, и он весьма мудро настоял на том, чтобы Амбиссу оставили в покое; так что мы все гурьбой вышли в большую комнату, выходящую окнами в сад, где мое внимание тотчас же привлекли три дочери Хана. Лалита приветствовала меня почти как старого друга; признаться, я был немного озадачен ее

манерой, предполагавшей существование некой близости. Затем Шрилата представила Махил, чьи ласковые глаза заглянули в мои, словно она сразу увидела, что мы родственные души. Следом появилась маленькая Парми, с пылающими щеками и жадными глазами, словно под давлением волнующих тайн. Эти юные создания распространяли вокруг себя атмосферу, трепещущую от животного жизнелюбия. Поток жизни, струившийся сквозь них, был свежим и чистым. Их оживление совсем не походило на поведение женщин в лагере Данияла.

Однако, взятые все трое вместе, они были решительно подавляющими. У них есть привычка говорить одновременно и отпихивать друг дружку подальше от того, кто бы ни оказался объектом их внимания. Этим объектом в данный момент был я; и я чувствовал себя так, будто меня только что втолкнули в клетку к трем дружелюбным, но чрезмерно резвым тигрятам. «Рыжевато-коричневые» — вот слово, которое употребила Шрилата, описывая их; и рыжевато-коричневыми они мне показались по внутреннему складу ровно так же, как и по наружному цвету. Их разговорчивость была ужасающей; они обрушили на меня поток речей о Смите, губернаторе и Амбиссе. Они досадовали на Смита, ибо это именно он, по-видимому, рассказал Амбиссе об убийствах; они потешались над губернатором (по крайней мере, Махил и Лалита); об Амбиссе выразили подобающее сочувствие. Пока я подвергался этому нападению, Шрилата стояла рядом, выглядя смиренной и беспомощной.

Вскоре вошел врач, и ему удалось развеять наши опасения. Сердце Амбиссы оказалось совершенно здоровым; причин для беспокойства не было; но она слишком усердствовала и по-хорошему должна была взять полный покой на несколько недель. Молодые тигрицы, вновь распаленные волнением, набросились на врача точь-в-точь как на кусок сырого мяса; но спустя некоторое время он укрылся за спиной Шрилаты, и вскоре в ее обществе совершил удачный побег.

Оставшись без защиты, я гадал, чем все это обернется, когда, ко всеобщему удивлению, спустилась приятная тишина. Буря сменилась легким бризом, и прошло совсем немного времени, прежде чем я осознал, что у трех сестер бывает множество других настроений помимо того шумного, которое они только что демонстрировали. Следующая четверть часа прошла достаточно тихо и приятно. И небесполезно тоже, ибо я почерпнул немало впечатлений, которые впоследствии наверняка окажутся ценными.

Нашу беседу прервало внезапное появление губернатора. Я поднял глаза и увидел, что он стоит в дверях с чем-то вроде ухмылки на лице. Пока его взгляды блуждали по моим спутницам, я подверг его еще одному критическому осмотру и должен сказать, что нашел его более непривлекательным, чем когда-либо. В присутствии этих юных женщин его усы словно приобрели дополнительный изгиб, цвет лица — дополнительный румянец, а широкие плечи — дополнительную упругость. Выступив вперед, он начал галантную речь, но не смог продвинуться в ней далеко. Позади него выросла огромная фигура, большая

жирная рука отодвинула его в сторону, и Хан, массивный, красный и самодовольный, шагнул в центр комнаты.

— Приветствую, раджа, приветствую! — воскликнул он, сверкнув на меня из своих выпуклых голубых глаз. — Где твоя сестра, раджа? Что это я слышу об Амбиссе, а? Из-за чего весь переполох?

Поднимаясь в унисон, три сестры одновременно бросились на отца, и он получил сразу три громких и многословных объяснения. Неизбежно, перед напором такого наступления он отступил; он пятился и продолжал пятиться до тех пор, пока мы с губернатором не обнаружили себя одни в комнате.

Но были ли мы одни? Мгновение спустя я обнаружил, что нет. В двери, выходящей в сад, стоял Мабун Дас. Как он там оказался, я не знаю, но теперь он выступил вперед со спокойной самоуверенностью, сердечно поприветствовал меня и предложил побеседовать вместе под манговым деревом в конце лужайки Шрилаты. Я последовал за ним наружу с готовностью; мне было приятно не только избежать дальнейшего разговора с губернатором, но Мабун всегда интересовал меня. Я признаю в нем человека сильного характера и выдающихся способностей; и возможно, если бы я понимал его лучше, то нравился бы он мне больше. Мне известно, что он ведет жизнь «неутомимого общественного служения», гордится эффективностью и предан Императору. И все же он производит на меня впечатление человека, совершенно не заинтересованного в конечных целях и задачах; я подозреваю, что в душе он циник.

Нашей первой темой — отнюдь не редкой в этой стране — был Император. Ключом к характеру Императора, сказал Мабун, была его гордость тем фактом, что в его жилах текла кровь как Чингисхана, так и Тамерлана; и к этому сознанию превосходства по рождению он добавил сознание превосходства благодаря достижениям. Он никогда не встречал никого, кто был бы ему равен, да и при своей наивности не мог помыслить, что такой человек может существовать. Его сознательный разум принадлежал очень простому человеку. Разве не эта простота — можно даже сказать, смирение — заставляла его отождествлять свое величие с божественным? Нужно помнить, что рассуждающее или рационализирующее «я» развито в нем не сильно; он не из тех, кто игнорирует в себе все, что не лежит открыто для их изучения или не поддается их сознательному управлению. Нет, Акбар пошел в другую крайность; он отождествил себя со всей массой тех неведомых сил, из которых черпал свое индивидуальное вдохновение и могущество. Так случилось, что, слепо радуясь потокам энергии, которые устремлялись в его существо из первозданных источников жизни, он постепенно терял способность различать между собой и Богом. В ранние дни военные кампании поглощали его энергию; затем его заняло обустройство завоеванного королевства; но это был труд, к которому у него не было особой склонности, не говоря уже о ограничении, вызванном неумением читать или писать. Немудрено, что в конце концов он уступил своей мистической наклонности и позволил себе поверить, что

является обладателем Абсолютной Истины с миссией просвещать, направлять и освящать народ, которым он правил. Из этого убеждения и возникла Дин Илахи.

В этот момент я заметил некоторую странность в том, что Акбар питает особую ненависть к Тайным сектам, которые хотя бы воздерживались от открытого оспаривания его притязаний на духовную диктатуру.

— На первый взгляд это может показаться противоречивым, — ответил Мабун Дас; — но мы должны помнить, что Акбар — человек интуиции или чувства, а у чувств есть своя логика — логика, которая часто глубже логики разума. Очевидно, что Акбар не может подавить ни индуизм, ни магометанство, поэтому он убедил себя в том, что эти религии, будучи элементарными и частичными аспектами его собственной, безобидны. Таким образом он избавляет себя от необходимости считать массу своих подданных непокорными. Но те, кто следует своим тайным путем, действительно ставят под сомнение его авторитет; более того, они совершают двойное преступление. Они вновь подтверждают существование Великой Тайны, которую он, так сказать, включил в себя, и исключают его из знания о том, чему именно они поклоняются. Как всезнающий, Акбар фанатично нетерпим ко всему тайному. Подобно тому как материалистов приводят в ярость мистики, так и Акбар возмущен любой тайной, которой он не дал своего одобрения и печати. Эти Тайные секты, стоящие вне круга его света, низводят его до мерцания свечи во тьме. Ведь неизвестное, однажды допущенное, охватывает известное и умаляет его.

Слышать, как Мабун говорит такое, было сюрпризом, но не таким большим, каким могло бы быть. С самого начала я подозревал, что внутри него содержится нечто большее, чем он мне пока показал.

— Всех людей в мире, кроме буддистов, — сказал я с улыбкой, — можно разделить на два класса: тех, кто провозглашает и любит тайну, и тех, кто отрицает и ненавидит ее. Буддист отворачивается от тайны. Для него это просто дымка на горизонте, за пределы которой человеческое зрение проникнуть не может.

Мабун бросил на меня особенный взгляд. — Значит, вы отворачиваетесь от тайны, раджа? — Что ж, тайна опасна — но отворачиваться тоже опасно.

Что именно он имел в виду этим, я не стал уточнять.

— Конечно, есть и другая причина, по которой Акбар ненавидит Тайные секты, — продолжал он. — За последний год или около того его личный интерес к женщинам угас — угас довольно ненормально для человека его возраста и темперамента. И с этой переменой в жизни его нравственные воззрения стали соответственно строгими. Не будет преувеличением сказать, что его чувства по определенным вопросам настолько напряжены и обострены, что временами он становится почти безумным. Нужно внимательно изучать его, чтобы понять, какие именно вещи будут раздражать воспаленный нерв.

— Рядовые люди, — сказал я, — принимают гениальность Акбара безоговорочно как нечто находящееся вне пределов их постижения, а с другой стороны, отвергают как столь же непостижимое его причуды, его чрезвычайные отступления от здравого смысла.

Мабун кивнул. — Даже те, кто находится с ним в тесном контакте, совершают эту ошибку. Они смотрят на то, какое у него настрой, никогда не пытаясь понять сам этот настрой. У всех у них свои корыстные интересы, и они рассматривают Императора лишь как неопределенный фактор в своих замыслах. Даже Мобарек смотрит на него не более чем на инструмент. Император *как человек* не интересен ему.

После минутного колебания я высказал то, что было у меня на уме. — Мабун Дас, — сказал я, — мне дали понять, что Хари Хан сейчас не в фаворе у Императора.

На лице моего собеседника появилась улыбка. — Не беспокойтесь об этом слишком сильно. Императору все равно симпатичен Хари Хан. — Он помолчал. — Что касается меня, я хочу, чтобы вы знали: я считаю своими друзьями и Хари Хана, и Гогала, особенно Хари Хана. Я проникся к нему симпатией с первого взгляда, и во время его недавнего заключения в Агре между нами зародилась настоящая дружба.

— Я очень рад это слышать, — ответил я.

Мабун посмотрел вниз на землю и улыбнулся самому себе. — Раджа, — неожиданно сказал он, — до меня дошли слухи, что вы с Шейхом Мобареком теперь закадычные друзья.

Мне не совсем понравился его тон. — Разумеется — я питаю к Мобареку большое уважение и симпатию.

— Шейх, — сказал Мабун, — человек характера — также у него есть религия. Это дает ему влияние на Императора, ибо оба они визионеры. Но Акбар — практичный визионер; он гораздо больше поддерживает связь с действительностью, и он может счесть неразумным позволять Мобареку продолжать вести его за собой. Мобарек прежде всего и только ради Дин Илахи; Император прежде всего и только ради блага Империи; он реалист.

— Вы с Мобареком принадлежите к одной партии, — прямо сказал я, — вы оба поддерживаете принца Данияла.

Мабун отвел взгляд. — Мобарек — визионер, — ровным голосом произнес он. — Я, подобно Императору, реалист.

У меня вертелся на языке еще один вопрос, но задать его было нельзя. К тому же на веранде только что появилась Шрилата, тем самым напомнив нам, что мы непростительно долго владели ее садом. Мы поднялись и присоединились к ней.

V

Было около часа ночи, когда я отложил перо; но хотя и усталый, я мало был расположен ко сну. Воздух был тяжелым и наэлектризованным; недавно прошли два-три коротких, резких ливня; в открытое окно вливалось томное дыхание сырости.

Поднявшись из-за стола, я задул лампу и выглянул в ночь. Деревья, кусты и вьющиеся растения, составлявшие стену вокруг моего маленького газона, невидимо сливались с небом, которое само оставалось невидимым, за исключением тех мгновений, когда вспышки зарниц освещали огромные массы облаков, нависших сверху, и очерчивали неподвижный занавес листвы. Тогда над теплым темным клубком растительности вздымался веерообразный силуэт пальм и тяжелых, рваных банановых листьев. Духовые инструменты из индуистского храма вдали издавали тихий переливчатый звук, который перекрывался стрекотом цикад, жужжанием насекомых и плачем маленьких сов. Воздух был насыщен благоуханием раскрывающихся ночью цветов.

Я отвернулся от окна и при свете зарницы направился в соседнюю комнату, где спал. Когда я шел, фигура моего слуги в белом одеянии блеснула рядом со мной, и он пробормотал что-то, что я принял за его обычный вопрос, нет ли у меня еще каких-либо приказаний. Я ответил: «Все хорошо. Ты можешь идти спать». Мои мысли, по правде говоря, были далеко, и рассеянно я вошел в следующую комнату. Рядом с моей кроватью горела небольшая лампа под красным абажуром. Это противоречило моим указаниям, ибо любой свет привлекает ночных насекомых. Пораженный, я уже собирался снова позвать слугу, как вдруг моему взору предстало нечто гораздо более необъяснимое. Лалита, погруженная, по-видимому, в глубокую и мечтательную задумчивость, возлежала на диване в дальнем конце комнаты. Несколько мгновений, пока я смотрел на нее, она отвечала мне взглядом не двигаясь — сначала без всякого выражения, а затем с нарастающей улыбкой. Когда она наконец вскочила на ноги, то бросилась вперед, повисла у меня на руке и разразилась смехом. — Раджа! — воскликнула она; — ради всего святого, не смотри так неприветливо, или мне придется уйти! Раджа, ты должен простить меня, пожалуйста! Мне нужно было прийти. Я просто должна была прийти! — И она продолжала повторять: «Раджа, я просто должна была прийти!» — наподобие припева, начав расхаживать по комнате взад и вперед.

Не знаю, какой ответ я дал, но она определенно его не слушала. Она была охвачена странной задумчивостью, и ее мысли, казалось, были далеко от слов, которые продолжали слетать с ее губ. — Это почти так каждую ночь, и я просто не могу этого вынести? Разве можно спать, когда ночь жаркая, густая и тяжелая, как эта? Багаван дал мне немного опиума, но это не помогает. Ничего не помогает. И каждая ночь такая — густая, тяжелая и мертвая. Сверкают зарницы, а мотыльки час за часом бьются крыльями о стены. Я не выношу эти зарницы — без всякого грома. Так ужасно это молчание, — тишина, в которой слышно только трепыхание мотыльков о стену. В нашем парке нет сов. Быть может, если бы там были совы...

Она остановилась, посмотрела на меня и снова разразилась смехом. — Я наблюдала за вами через дверной проем. О да, я здесь уже давно. Я сказала вашему слуге не беспокоить вас. Вы выглядите очень сурово, когда пишете. Это книга? Вы разрабатываете новую философию? — Здесь так приятно и спокойно лежать на том диване, я чуть было не уснула. — Она помолчала, но лишь мгновение. — Нет, мне на самом деле не хотелось спать. Я думала. Там, у нас в доме — думать невозможно. Шум, суматоха, и люди входят и выходят все время! У вас нет ни малейшего представления о том, что это за жизнь! Кажется, остальным она нравится, но я схожу с ума. Если только ты не безумен настолько, чтобы наслаждаться этим, тебя непременно сведут с ума. Вы должны понимать, что я имею в виду, ведь вы буддист. Уж вы-то наверняка понимаете, что я имею в виду? Раджа, этого достаточно, чтобы свести кого угодно с ума.

Ее привычка повторять свои фразы снова и снова оказывает своего рода гипнотическое воздействие. Я стоял, уставившись на нее; — мы смотрели друг на друга в упор, и, хотя она действительно была далека от меня, каким-то образом я не чувствовал к ней отчуждения. Подойдя к окну, она встала ко мне спиной, некоторое время молча. Затем подошла совсем близко, и на этот раз ее голос был резким и низким. — Раджа, нас не должны подслушать. Мне нужно вам кое-что сказать. Вы убедитесь, что никто не сможет нас услышать? Загляните в соседнюю комнату, — раджа, прошу! Было бы ужасно, если бы кто-нибудь нас услышал.

Я прошел в соседнюю комнату, которая, разумеется, была пуста; я закрыл дверь в коридор, а затем и свою собственную дверь тоже. — Можете успокоиться. В этом доме спит только один слуга, и он находится далеко отсюда.

Она снова подошла ко мне. — Полагаю, вы считаете меня совершенно безумной. О да, конечно, вы считаете меня безумной. — Откинув волосы назад, она пожала плечами и рассмеялась. Теперь я изучал ее более внимательно, и ей, казалось, нравился мой взгляд. Но днем она нравилась мне больше. Раскрашенная, напудренная, надушенная, украшенная драгоценностями и шуршащими итальянскими шелками, она выглядела столь мало достойной сострадания существом, что мои чувства полетели к противоположному полюсу. Кроме того, театральность ее поведения оттолкнула меня.

Через мгновение, думаю, она догадалась, что происходит у меня в голове. — Я не смогу продолжать, пока вы мне чего-нибудь не скажете, — сказала она.

— Что вы хотите знать?

Низким голосом она ответила: — Я хочу знать, что Амбисса говорила обо мне сегодня утром?

— Она ничего не говорила о вас. Совсем ничего.

— Вы клянетесь в этом? Мне необходимо знать. У меня есть особая причина спрашивать.

— Она даже не упомянула вашего имени.

— Говорила ли она о... — Предложение осталось незаконченным. Опустив глаза и отвернувшись, — О чем же тогда говорила Амбисса? — спросила она.

Я улыбнулся. — Моя дорогая принцесса...

— Лалита, — поправила она меня.

— Моя дорогая Лалита, зачем мне говорить вам, о чем она говорила?

— Сказала ли она вам, что развелась с Хари?

После минутного колебания я сказал: — Да.

Лалита коротко рассмеялась. — Она держала это в строжайшем секрете. Я узнала об этом случайно. Она рассказала вам что-нибудь еще?

— Нет. — По крайней мере... — Я снова замялся.

Она испытующе посмотрела на меня. — Понятно... Ей, вероятно, не пришло в голову рассказать вам, что она собирается выйти замуж за моего отца?

Я вытаращил глаза, нахмурившись. Она снова схватила меня за руку и повисла на ней, смеясь мне в лицо. — «Да, она собирается замуж за отца, и это она скрывает еще тщательнее. Видите, она даже вам не сказала. О, раджа, разве вы не видите всю картину? Какая же я была дура! Амбисса водила меня за нос. Она водила за нос всех. Вас, наверное, в той же степени, что и всех остальных. — И она еще не закончила.»

Подняв голову, она заглянула глубоко мне в глаза. — Вы не сердитесь на меня? Какой смысл сердиться. Я знаю, что она ваша сестра, но — но зачем мне притворяться? Я так устала от всего этого. И, знаете ли, по-своему Амбисса мне очень нравится. То есть раньше нравилась... но право слово, после всего этого...

Она отошла и бросилась на мой диван. В комнате надолго воцарилась тишина. Я пытался собраться с мыслями, но без особого успеха. Глядя в окно, я наблюдал, как сад вспыхивает зловещей видимостью, затем темнеет, а затем снова вспыхивает. Я снял красный абажур с лампы и встал перед Лалитой, задумчиво глядя на нее сверху вниз. Она улыбнулась. — Полагаю, вы хотите посмотреть, не лгу ли я?

— Почему вы так одеты?

— Вы забыли, что у нас вечеринка?

— Ах да, конечно. — Как вам удалось уйти?

— Никто меня не видел. Я ускользнула.

Я все еще был озадачен и твердо решил не поощрять ее к эмоциональной демонстрации.

— Как давно вы узнали о ... обо всем этом?

— О, — совсем недавно.

Она не сказала мне, *как* получила свои сведения, и я воздержался от расспросов. Каким-то способом, подозревал я, которым она отнюдь не гордилась.

После паузы я сказал: — Я могу понять ваше потрясение этим, но не вполне вижу причину, по которой вы должны быть — взволнованы. (На это последнее слово она сердито фыркнула.) Вам самой предстоит вскоре выйти замуж, а это означает, что вы покинете дом отца. Махил тоже имеет мужа; а что касается Парми, то она наверняка тоже скоро выйдет замуж. Кроме того...

Она прервала меня, вскочив на ноги. — Боже мой! — воскликнула она голосом отчаяния, — как мало вы понимаете! О, раджа, вы нисколько не понимаете! — Она снова подошла ко мне; ее глаза горели, лицо застыло. У этих среднеазиатских женщин есть качество независимости, самоутверждения и насилия, которое резко контрастирует с многовековой покорностью индуистов. Сначала она свирепо встретила мой взгляд, затем закрыла глаза и отвернулась. — Ну и что с того? Теперь уже ничего не поможет. Мне придется через это пройти. — Где моя накидка? Пожалуйста, дайте мне мою накидку, раджа. Носильщики паланкина снаружи. Я пойду домой сейчас... — Ее голос был глухим и жестким. Она рыскала по комнате в поисках своей накидки; но тут же вспомнила, что не принесла ее. Внезапно я почувствовал укол жалости. До этого момента моё разумение — или, скорее, мое воображение — не смогло принять во внимание тот факт, что ей предстоит выйти замуж за человека, которого она искренне недолюбливает. Мое оправдание состоит в том, что у меня было только слово Хари, подтверждающее, что она недолюбливает Данияла. Мне оставалось лишь смотреть на нее как на молодую женщину, вполне готовую заводить любовные интриги с женатыми мужчинами ради развлечения и столь же готовую пожертвовать этим развлечением ради мирского честолюбия. Но нет! это не совсем справедливо. Я не вправе предполагать, что она действительно не была влюблена в Хари; и если там, наверху, в той уединенной долине в Холмах, слова Хари были правдой, по крайней мере однажды она была готова пожертвовать честолюбием ради любви — или, по крайней мере, романтического подобия этому. Воспоминание о роли, которую я сыграл в ту ночь, заставило меня теперь почувствовать легкую вину — не за то, что помешал безумному приключению, а за то, что толкнул ее обратно в этот брак без любви.

Инстинктивным движением я встал перед дверью. — Нет, Лалита, — сказал я, — я не позволю вам уйти вот так. Возможно, я был медлителен в понимании вас, — но вы не должны неверно понимать меня. Вы должны подождать еще мгновение.

— Раджа, идет вечеринка. Меня хватятся. Вы должны отпустить меня.

— Что вы имели в виду, говоря: «Разве вы не видите всю картину»? Что вы имели в виду, обвиняя Амбиссу в том, что она водит всех за нос?

Она была упрямой и в то же время поглощенной своими мыслями. — Я должна идти, — продолжала твердить она. — Я должна идти.

Хмурясь, я стоял на своем. С минуту мы смотрели друг другу в глаза; затем — «Вам лучше пойти со мной, — внезапно сказала она. — Мы можем сказать, что вы только что прибыли, и что мы встретились снаружи на веранде — и гуляли вверх-вниз по Парку. Пожалуйста, никогда никому не говорите, что я приходила сюда сегодня ночью. Пожалуйста, пообещайте мне это!»

Нетерпеливо я заверил ее в этом.

— Мы оба поместимся в моем паланкине. Идемте быстрее.

— Хорошо. Но прежде чем мы покинем этот дом, вы должны объясниться.

— Объясниться? — О, раджа! — Она издала короткий фыркающий смешок, взметнула руки и начала маршировать туда-сюда. — Зачем вы спрашиваете меня об этом? Какой в этом смысл? Я достаточно хорошо знаю, что вы обо мне думаете. О да, конечно, я знаю. Вы считаете меня истеричкой. Вы считаете, что я всегда... Но какое это имеет значение? Как я уже говорила, вы не понимаете. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти. Вы не представляете, как ужасно я боюсь... — Ее голос поднялся до вопля, но вдруг она оборвала его. — Боже! Если бы вы только поняли, за что отвечает Амбисса!

Озадаченный и беспомощный, я следил глазами за ее быстрой ходьбой взад-вперед. Ее движения были в точности похожи на движения зверя в клетке. Эта длинноногая, широкоплечая молодая женщина давала мне странное ощущение соприкосновения с животной жизнью; неистовство сдерживаемой жизненной силы в ней было чем-то, с чем приходилось считаться — если говорить о простой эмоции и о ее способности пробуждать простую эмоцию.

Внезапно она снова начала смеяться, но тихо и про себя; она остановилась, прищурив глаза, и положила руку мне на руку. — Подумайте, раджа! — сказала она тихим, быстрым голосом, — Амбисса станет тещей будущего Императора! Тещей Императора! Подумайте об этом! — Она помолчала. — А вы, полагаю, будете дядей по браку. Какое очаровательное семейное сборище у нас будет! Амбисса всех нас загнала в угол! Она даже нашла подходящего мужа для Парми, которая должна выйти замуж за Али. Это создает еще одну связь, видите ли. Разве это не великолепно, раджа! Наши две семьи вместе будут просто править балом. Все достанется нам! Мы будем занимать первые места при Дворе, — мы будем держать все лучшие должности, — деньги и почести сами потекут к нам рекой. — Она бросила на меня косой взгляд и добавила: — Бесполезно пытаться держаться в стороне, раджа. Всё было решено давно для *вас*, как и для всех нас.

Надеюсь, я не позволил ей увидеть эффект, который ее слова произвели на меня. Мне довольно стыдно того, до какой степени они застали меня врасплох. Почему я сам не

заставил свое воображение работать немного эффективнее? — Понимаю, — сказал я себе под нос.

— Но все зависит от моего брака с Даниялом, — продолжала она со странной улыбкой, — а несколько недель назад я решила, что не выйду за него.

— А потом?

— А потом Амбисса убедила меня передумать снова.

— Понятно. — Мои глаза были прикованы к земле. — Спасибо, Лалита, — сказал я наконец. — Теперь, полагаю, нам лучше пойти.

Я вышел из дома первым. Носильщики ее паланкина собрали вокруг себя друзей и при свете своих фонарей играли в азартную игру у обочины дороги. Они встали, плюнули себе в руки и приготовились.

— Возьмите четырех человек вместо двух, — настойчиво сказала Лалита. — И нам не нужен фонарь. Скажите им его погасить. Дайте им много денег. Скажите им бежать.

На сиденье не хватило бы места более чем для одного, поэтому Лалита села ко мне на колени. По дороге я не думаю, что мы обменялись хотя бы единым словом. Но когда мы отъехали от дома ярдов на сто, она велела мужчинам остановиться и высадить нас. Вместе мы пошли пешком в сторону огней и голосов. На веранде никого не было, и после того, как она взбежала по ступеням и заглянула в комнату, она повернулась ко мне и сказала вполголоса: — Идемте!

Из относительного мрака веранды мы изучали вечеринку внутри. На другой стороне комнаты стояла Амбисса, тихо, но серьезно разговаривая с Мобареком, который время от времени кивал головой, а однажды разразился смехом и похлопал ее по руке. Полная прямая спина, посадка головы, медленное покачивание веера — все было необычайно выразительно. Что касается ее лица, то эта жесткая светская маска с непроницаемыми глазами поразила меня определенным холодом. Недалеко отсюда Махил и Парми, только что закончившие петь, принимали поздравления с выступлением от губернатора и двух-трех молодых офицеров. Багаван Рани, сестра Хана, разговаривала со Шрилатой и Смитом. Сам Хан, с кувшином вина под боком, делал вид, что слушает, но, думаю, он был изрядно пьян. Несколько лиц обернулись в нашу сторону, но мое позднее появление в компании Лалиты, казалось, не вызвало замечаний.

К моему великому облегчению, вечеринка очень скоро закончилась, и я смог вернуться домой в постель.

VI

Так закончился мой первый день в Катхияпуре, и он оставил мне множество неприятных поводов для размышления. Неужели все мои дни в этом неприятном маленьком местечке будут столь же богаты осложнениями и запутанными интригами? По мере того как моё пребывание здесь грозит стать более продолжительным, оно становится в равной степени более отвратительным. Но я не должен уезжать до тех пор, пока не удостоверюсь, что мне больше незачем здесь оставаться. Всё это время я не осмелюсь думать — да, я *должен* не думать — о своем собственном будущем. То, что я *потом* удалюсь вскоре от мира, несомненно; а пока я должен вооружиться терпением.

Вышеприведённые строки были написаны в полдень. Сейчас вечер, и мне снова предстоит записать немало событий.

Я навестил Амбиссу рано утром и застал её ожидающей меня в её маленькой личной комнате. У неё был целеустремлённый вид, и с первого взгляда она производила впечатление совершенного здоровья и безмятежности. Её лицо было таким гладким и свежим, каким его могли сделать массаж, краски, пудра и сильная воля. Однако утренний свет также делал заметной своего рода внутреннюю измождённость. Я приписал это главным образом тревоге за Али, так как никаких вестей о нём всё ещё не поступало. Материнский инстинкт в Амбиссе силён. Более того, ее амбиции настолько тесно связаны с Али, что смерть мальчика оставила бы их в подвешенном состоянии. Но верно и то, что ее амбиции сами по себе обладают собственной механической жизненной силой, и какие бы горести ни постигали её, она будет жить мирской жизнью до последнего вздоха. Мне стало очень жаль её, и я был рад иметь возможность честно сказать, что опасения Губернатора кажутся мне совершенно необоснованными. Затем мы заговорили о Лалите; и меня поразило то, что, хотя она не сделала ни малейшей попытки вызвать во мне сострадание по поводу Али, теперь она напустила на себя печальный вид, непрерывно вздыхала и моргала, словно сдерживая слёзы. «Вчера, — сказала она, — я никак не могла заставить себя рассказать тебе, какое испытание эта девушка устроила для меня. Но теперь я действительно должна».

— В чём дело? — спросил я.

— Видишь ли, ей опять взбрело в голову, что она не поедет в Лагерь.

Я сжал губы и отвернулся. Взгляд Амбиссы заставил меня заподозрить, что она пронюхала о полуночном визите Лалиты в мой дом.

—Полагаю, Мобарек сможет её уговорить — сухо ответил я.

— Мне кажется, *ты* мог бы её уговорить.

— Я?

— Да. Я уверена, ты мог бы помочь, Амар. Она питает к тебе большое уважение, и… и она из тех девушек, которые слушают только мужчину. Как бы мне хотелось, чтобы ты использовал своё влияние на неё.

— Но…

— Послушай, Амар! Полагаю, ты слегка удивился, когда неделю назад я написала тебе письмо с предложением, чтобы Лалита осталась с *тобой* в Рави вместо того, чтобы оставаться непосредственно в Лагере. Дело в том, что тогда она жаловалась, что Лагерь слишком утомляет её, что она не может сомкнуть глаз там, и так далее. Моё предложение остаться с тобой выбило почву у неё из-под ног, понимаешь. На самом деле, оно сделало больше: послужило положительным побуждением.

— Моя дорогая Амбисса, где-то здесь кроется ошибка. Мы с Лалитой всего лишь шапочные знакомые. Радость проживания в моём доме просто не может быть достаточно сильной, чтобы преодолеть… не может, я имею в виду, иметь какой-либо вес.

— О, значит, она говорила с тобой о своём замужестве — о Данияле?

— Нет. Все знают, что ей не нравится Даниял.

Амбисса изучающе смотрела на меня.

— Видишь ли, — наконец сказала она, — у этого ребёнка очень трудный характер. Например, она думает, что плохо ладила с Лагерем в свой прошлый визит. Она чрезмерно чувствительна и легко обижается. Нужно сделать всё возможное, чтобы помочь ей, придать ей уверенности в себе. С чуть большей уверенностью в себе она была бы абсолютно счастлива и вполне способна хорошо исполнять свою должность. Я бы хотела, чтобы ты поговорил об этом с Мобареком. Он уверен, что этот брак будет иметь большой успех.

Мое внутреннее раздражение заставило меня ответить резко — Успех, ты имеешь в виду, с политической точки зрения. Но лично я в этом сомневаюсь. Ситуация может стать ещё более затруднительной.

— О? — и Амбисса подняла брови.

— Если Лалита поссорится со своим мужем, последствия будут серьёзными. Я совершенно уверен, что её отец примет её сторону почти при любых обстоятельствах. Из всех своих детей он любит её больше всех, и я слышу со всех сторон, что она может вить из него верёвки.

Это, боюсь, было довольно злобно, но я хотел спровоцировать Амбиссу на большую откровенность. Если она действительно собиралась выйти замуж за Хана, почему она не сказала мне об этом? Мои слова вызвали тёплый прилив крови к её лицу; глаза её засверкали, когда она ответила: «О, Хан — не тот человек, из которого *кто-то* может вить верёвки, уверяю тебя. Ты должен узнать его получше, Амар. Ничуть не преувеличивая,

скажу, что будущее Империи находится в его руках». И её и без того прямая спина напряглась, когда она это произносила.

Я почувствовал укоры совести. Мне пришло в голову, что она, вероятно, убедила себя в том, что любит Хана; и не менее вероятно, что ему казалось, будто он любит её. Глядя на неё глазами этого пожилого влюблённого, я видел в ней очень хорошо сохранившуюся и красивую женщину, всё ещё сравнительно молодую. Она украсит различные дворцы Хана, она станет идеальной хозяйкой дома, партия была в высшей степени подходящей; но кто мог сказать, что это не был союз по любви?

Амбисса сладко улыбнулась мне. «С помощью Хана — и Мобарека — направляющих его и помогающих ему, характер Данияла непременно разовьётся в правильном направлении. Я уверена, что он станет добрым мужем». Она помолчала. «Но я бы хотела, чтобы Принц попал и под *твоё* влияние. Ты можешь дать ему нечто такое, что есть только у тебя».

Вот когда Амбисса говорит подобные вещи, мне с большим трудом удаётся не быть с ней откровенно грубым. Проглотив своё раздражение, я ответил: «Пожалуйста, не истолковывай ничего из того, что я сказал, как нелестное в адрес Хана. Его привязанность к детям иллюстрирует очаровательную сторону его характера; и если он не испытывает большой симпатии к Даниялу — что ж, двух людей, менее подходящих друг другу, я никогда не встречал. Кроме того, Хан — человек огромной гордости, и — если верить Мобареку — Даниял обращался с ним более чем невежливо в нескольких случаях. Я предлагаю тебе подумать: в случае ссоры между Лалитой и Даниялом…»

«Никакой ссоры не будет, и я едва ли могу представить себе девушку, способную на такую глупость…» — прервала меня Амбисса довольно горячо, но ей удалось сдержаться, и она начала заново. «Мой дорогой Амар, разве ты не забываешь, каким великолепным браком он станет для Лалиты, и сколько бы ей пришлось потерять, пытаясь посеять раздор между своим мужем и отцом? Я не хочу сказать, что она думает только о мирском, но, поверь мне, она отнюдь не слепа к преимуществам стать женой будущего Императора. Если она убедила тебя в том, что она…» И Амбисса пожала плечами.

Я рассмеялся. «У неё было не так много возможностей убедить меня в чём-либо, но…»

— Ну же?

— Судя по всему, у неё романтический склад натуры… А Даниял…

Амбисса глубоко вздохнула, и её лицо изменилось. «Ах да, понимаю». Она многозначительно посмотрела на меня. «Амар, давай будем откровенны. Ты думаешь об этой её интрижке с Хари».

Я притворился удивлённым. «С Хари, говоришь?»

«Да, да! — Послушай, Амар!» Она доверительно наклонилась вперёд. «Я знаю всё, что можно знать о прошлых любовных увлечениях Лалиты — реальных и воображаемых. Она

сама рассказала мне обо всех них. О да, мой дорогой, можешь не смотреть так удивлённо. Она часами говорила со мной о Хари. Тебе может показаться странным, что она обратилась за утешением ко мне, жене Хари. Но вот так оно и есть! И я думаю, что это очень хорошо меня характеризует, раз она так поступила».

Я кивнул.

«Хари, конечно, вёл себя очень неправильно. Тот факт, что она уже была помолвлена с Принцем, должен был удержать его — если уж ничто другое не могло. У них был флирт. Это было очень глупо и — при сложившихся обстоятельствах — очень опасно. Не то чтобы это зашло слишком далеко — ох, нет! Но когда ты помолвлена с Королевским Принцем…»

— И этот роман теперь полностью окончен?

Амбисса ответила не сразу. Её взгляд скользнул мимо меня, и, чтобы выиграть время для размышлений, она встала и опустила одну из жалюзи от солнца. «Беда, — сказала она, — в том, что визит Лалиты в Лагерь пару месяцев назад сильно расстроил её. А затем — чтобы восстановить свою уверенность в себе — что она сделала, как не возродила идею о том, что Хари до сих пор влюблён в неё! Какая-то глупая девушка, кажется, сказала ей, что он продолжает чахнуть, — и *этого*, видите ли, оказалось более чем достаточно!»

«Думаю, — продолжала Амбисса, — теперь ты можешь понять одну из причин, по которым я держала свой развод в секрете. Я боялась, что новая свобода Хари побудит Лалиту предаваться бог знает каким нелепым грёзам».

«Но…» — я осёкся, а затем чувство, которое я действительно не могу определить, взяло верх. «Но почему бы ей и Хари не пожениться?» — спросил я.

Во второй раз за этот день Амбисса вспыхнула, затем, подавив гнев, одарила меня натянутой и терпеливой улыбкой. «Не думаю, что ты можешь всерьёз рассматривать Хари как подходящего для неё мужа — совершенно независимо от…»

Я промолчал.

«Что ж! — продолжила она, вновь обретя бодрый тон, — около недели Лалита находилась в ужасном душевном состоянии. Слава Богу, я была рядом, чтобы утешить её — и поговорить с ней разумно. Как и многие избалованные молодые женщины, она любит эмоциональные сцены. Однако в конце концов она отказалась от всей своей ерунды насчёт отказа выходить замуж за Принца. На самом деле, мой дорогой Амар, если бы Даниял сейчас отвернулся и сказал, что *он* не женится на *ней*, я искренне верю, что она умерла бы от унижения».

Пока Амбисса говорила, в моей голове промелькнул вопрос. «Кстати, — сказал я, — когда ты предложила ей остановиться в моём доме, предполагала ли ты, что Хари тоже будет там?»

Амбисса заколебалась, а затем улыбнулась, как человек, признающий правду. «Я не могла быть уверена, будет ли он в Рави или нет, но была убеждена, что если и будет, то никакого вреда это не принесёт. Лалита сама увидит, что он вовсе не умирает от любви к ней».

— Ты ведь шла на немалый риск?

Она отвела взгляд, затем бросила на меня косой взгляд, а потом снова отвернулась. «Я действительно не думала, что он будет в Рави».

— Но ты позволила Лалите думать так?

— Что ж — да.

Я молчал и был раздосадован. Было невозможно понять, что творится в уме Амбиссы. Я раздумывал, какую линию поведения избрать, когда со двора через открытое окно донёсся девичий смех. Мы оба обернулись, и вот они, ярко освещённые солнцем: три дочери Хана стояли группой примерно на полпути между своим домом и нашим. Как обычно, все они говорили очень громко, очень порывисто и одновременно. Я уловил звук собственного имени и уже напряг слух, чтобы расслышать больше, когда Лалита вдруг оглянулась, сказала что-то более тихим тоном, после чего их голоса стихли.

Бросив взгляд на Амбиссу, я заметил в ней внутреннюю дрожь, и должен признаться, что отчасти разделял её опасения, поскольку выглядело так, будто эти молодые женщины собирались нанести совместный удар по нам обоим.

Наконец Лалита отделилась от сестёр и решительно направилась в нашу сторону.

От Амбиссы донёсся тихий возглас досады, и её глаза, пройдя мимо меня, забегали по комнате, словно она желала бы затолкать меня в шкаф или куда-нибудь ещё с глаз долой. Я откинулся на спинку кресла с напускным спокойствием и стал ждать.

— Кажется, она идёт сюда, — сказала Амбисса. — Надеюсь…

Я промолчал.

Амбисса хмурилась. Она снова открыла рот, но закрыла его, не проронив ни слова. Лишь когда девушку уже стало слышно в коридоре снаружи, она торопливо пробормотала: «Амар, прошу тебя, помни! Я абсолютно рассчитываю на то, что ты…»

Лалита стремительно вошла и, закрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной, глядя на нас сверху вниз со слабой улыбкой. Было очевидно, что она очень смутилась; румянец на щеках и блеск её глаз противоречили кажущемуся самообладанию.

— Дорогая, — бодро произнесла Амбисса, — мы как раз говорили о тебе, а теперь ты здесь, чтобы помочь нам. Но сначала скажи мне, лучше ли ты спала прошлой ночью? Боюсь, твои нервы…

— Огромное спасибо, Амбисса. Я прекрасно спала. — Улыбка Лалиты стала откровенно ироничной, а затем угасла. — Вы говорите, что говорили обо мне — да, конечно! Я это уже знала.

У Амбиссы не было готового ответа, и Лалита продолжила: — Но разве вы обсуждали меня недостаточно долго? Мне это довольно неприятно, знаете ли.

— Моя дорогая! — начала Амбисса в упрёке.

— Нет, нет, нет! — И девушка резким страстным жестом отмела прочь слова Амбиссы. — Ради бога, давайте больше не будем продолжать эти разговоры! Я этого не вынесу! Кроме того, Амбисса, сейчас это бесполезно… Видите ли, я всё знаю.

Последние слова Лалита произнесла без всякого ударения, голос её, впрочем, был одновременно хриплым и низким. На несколько мгновений воцарилось неловкое молчание. Амбисса благоразумно ограничилась лишь тем, что подняла взгляд с обиженным и озадаченным видом.

Наконец Лалита повернулась ко мне, глубоко вздохнула и продолжила: — Раджа, я обращаюсь с вами нехорошо, я знаю. То есть я создала вам трудности, вытянув обещание ничего не рассказывать. — Она издала невесёлый смешок и добавила: — Полагаю, она ещё не выложила всю правду, не так ли?

Мой ответ, несомненно, можно было прочесть на моём лице, ибо более жёстким голосом Лалита продолжала: — Нет, очевидно, нет. Но тогда — какая комедия! Вот вы вдвоём сидите здесь часами, и всё это время… — Она снова рассмеялась, но на этот раз свирепо; действительно, я заметил, что она побледнела и дрожит. — Амбисса, я знаю, ты любишь давать людям собственное представление обо мне и моих делах, но я хотела бы, чтобы у тебя хватило смелости рассказать им кое-что и о себе. Почему ты скрываешь от Раджи, что развелась с Хари, чтобы выйти замуж за моего отца?

Амбисса побелела и выпрямилась.

— Видите, — запыхавшись, продолжала девушка. — Я всё знаю. И что более важно, я рассказала об этом Радже прошлой ночью.

Лицо Амбиссы стало очень жёстким. — Моё дорогое дитя, мне кажется, что это далеко от моего участия в твоих делах…

— Но разве это не моё дело тоже?

— Нет, определённо нет! Мои отношения с твоим отцом тебя не касаются. Я имею полное право…

Лалита резко рассмеялась. — Неужели вы всерьёз намерены утверждать, что…

— Лалита, пожалуйста! Сама теперь очень бледная, Амбисса встала со своего кресла.

— Боже мой! — воскликнула Лалита, топнув ногой по полу. — Она говорит, что это не моё дело, хотя последние три месяца она водила меня за нос. Почему она так настаивала на том, чтобы я вышла замуж за самого мерзкого человека на земле? Почему она тратила дни и недели, споря, упрашивая и уговаривая меня? Почему месяц назад, когда я набралась достаточно духа сказать, что не выйду за этого человека, — почему она начала плакать и чуть ли не упала передо мной на колени? Говорю вам, Раджа, она продолжала и продолжала до тех пор, пока мне не стало так тошно от всего этого дела, что я сказала «да» просто ради того, чтобы обрести покой. Зачем она всё это делала? Какое ей дело, за кого я выхожу замуж? Есть только один ответ — и я его знаю, и она знает, и вы тоже знаете, Раджа. Вы знаете потому, что я объяснила вам всё прошлой ночью. Ради бога, давайте наконец будем честны. Я должна выйти за Данияла, потому что брак является частью её замысла. Это абсолютно неотъемлемая часть её замысла, чтобы я вышла замуж за этого подлеца. Я должна выйти за него. Пути назад теперь нет, и это начало и конец всему.

— Дорогая моя, — сухо произнесла Амбисса, — ты говоришь так, будто именно я первой предложила этот союз, но тебе ведь прекрасно известно, что предложение исходило от самого Императора, и я не имела к этому абсолютно никакого отношения. Император обратился к твоему отцу, а твой отец ничего не предпринял, не получив твоего согласия. Ты согласилась на брак — причём довольно охотно, как мне говорили. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Во всей стране не найдётся девушки, которая бы тебе не завидовала.

Лалита проигнорировала это; она продолжала стоять лицом ко мне и, глядя мне прямо в глаза, сказала: «Раджа, я была дурой. Я знаю это не хуже любого другого. Но факт остаётся фактом: Амбисса меня обманывала. Я могу выйти за Данияла, а могу и нет. Посмотрим. Но…» — здесь её голос стал пронзительным от ярости, — «Но пусть она раз и навсегда поймёт, что я больше не поеду в Лагерь. Пожалуйста, заставь её понять это: — я не вернусь в Лагерь».

Я склонил голову, и думаю, она почувствовала, что по крайней мере в этом она получит мою поддержку. Оглянувшись на Амбиссу, я увидел, как она закусила губу. В этот момент она злилась сильнее, чем когда-либо прежде, и вздувшиеся вены у неё на лбу встревожили меня, ибо её нрав, стоит ему лишь выйти из-под контроля, бывает очень буйным. Меня также встревожило то, что Лалита отвечала ей взглядами почти столь же мрачными. Никогда больше, подумал я, этим двум женщинам не удастся наладить между собой даже самое жалкое подобие дружелюбия, и во мне вспыхнула искра сочувствия к бедному Хану. Воцарившееся молчание было опасным; я поспешил первым его нарушить.

— Пойдёмте, Лалита, — сказал я, поднимаясь. — Вы высказались, и этого достаточно.

Встав между двумя женщинами, я повернулся к Амбиссе: — До свидания, я приду снова завтра утром — если только ты не предпочтешь навестить меня в моём собственном доме?

Затем, не дожидаясь ответа, я открыл дверь для Лалиты, взял её под локоть и направил вперёд. На долю секунды она воспротивилась, затем тихо рассмеялась и вышла.

Вместе мы медленно пересекли лужайку, и за всю дорогу не было сказано ни слова. Однако дойдя до своего дома, она подняла лицо и посмотрела мне в глаза с улыбкой неподдельного веселья.

— Мне жаль, Раджа, — сказала она и побежала вверх по ступеням.

VII

Покидая Парк, я наткнулся на Шрилату. Она медленно шла вперёд с опущенными глазами; она была настолько задумчива, что прошла бы мимо не заметив меня, если бы я не стоял прямо на её пути. Однако в тот момент, когда её взгляд упал на меня, она напустила на себя вид весёлого самообладания; — и это несколько вывело меня из себя. Мне часто кажется, что Шрилата заходит в своей осмотрительности слишком далеко.

В последующем коротком разговоре я был близок к тому, чтобы упрекнуть её. Не очень-то лестно, когда с тобой обращаются как с дураком, которому нельзя доверять. Я забыл, как мы начали, но ещё до того, как было произнесено полдюжины фраз, я обнаружил, что говорю: «По крайней мере одну вещь я вижу ясно: вы все единым фронтом стоите за Данияла; вы все разделяете ту же слепую уверенность в его будущем — уверенность, которая во многом зиждется на перспективе его брака с Лалитой. Но мне кажется, вы все проявляете излишнюю самонадеянность и — и…» Я не мог найти нужное слово, поэтому продолжил: «Как бы то ни было, я сильно сомневаюсь, что этот брак вообще состоится. И я не думаю, что он был бы успешным, если бы состоялся, — ни с какой точки зрения».

Я редко говорил более нетерпеливо, и бедная Шрилата выглядела совершенно обескураженной. «Почему ты думаешь, что брак не состоится?» — спросила она.

— Лишь полностью исключив из рассмотрения характеры и Лалиты, и Данияла, вы все верите в то, что он состоится.

Шрилату мой ответ не особо впечатлил; на её лице появилось выражение облегчения, которое, разумеется, ещё больше меня разозлило. Поскольку я молчал, она начала туманно рассуждать о характере Лалиты, хотя было очевидно, что эта тема её не интересует. Молодые девушки как таковые её не интересуют. Лалита занимала её внимание исключительно как невеста Данияла.

Вскоре, поддавшись новому приступу раздражения, я процитировал подлинные слова Лалиты о Данияле. Подлец и самый мерзкий человек на земле — вот, сказал я, как она его назвала.

«Но ведь она несла чепуху, — воскликнула Шрилата, и даже слегка покраснела. — И только очень юная девушка, страдающая уязвленным самолюбием, могла бы говорить в такой манере. У Данияла острый язык, и он иногда несдержан. Возможно, он допустил одно-два обидных высказывания за свою жизнь; но что такого он сделал, чтобы заслужить подобные выражения с её стороны? Нет, нет; Лалита страдает от досады. Видите ли, она на самом деле совсем не того интеллектуального уровня, что Даниял. Я не думаю, что она проявляет малейший интерес к искусству или литературе; а Даниял поглощён ими целиком. Его собственные работы, — добавила она для самозащиты, — возможно, не так уж важны (хотя некоторые из них я считаю весьма очаровательными), но без сомнения у него есть целый ряд представлений и оценок, которые она совершенно не в состоянии разделить».

— Бедная девочка! — сказал я.

Это был не первый раз, когда я замечал, что вкус Шрилаты к людям был испорчен чрезмерным уважением к поверхностному интеллектуализму её круга. Она склонна считать меня самодовольным педантом из-за того, что я не скрываю своего предпочтения характера перед умом. Но разве нам не становится ясно каждый день, что острый ум и эстетическая чувствительность при отсутствии достоинства характера, способного их контролировать, превращают людей в глупцов или подлецов, или в тех и других сразу? Что касается меня, я не могу рассматривать отношение Шрилаты к искусству и литературе иначе как своего рода вывернутое наизнанку лицемерие. Человек рождён почитать; его дух не может не стремиться вверх; и когда ему не удаётся чтить великое, он впадает в нелепость почитания малого. Я знаю людей, которые почитают собственную мелочную циничность. Когда Искусство велико, оно является таковым благодаря чему-то, что лежит вне его самого; будучи объектом поклонения в самом себе и ради самого себя, и оно само, и его поклонники выглядят несколько смехотворными. Впрочем, пререкаться со Шрилатой было последним делом на свете, которым я хотел бы заняться. Если она испытывает моё терпение, я определённо испытываю её. Внезапно почувствовав с обеих сторон, что мы ведём себя как дети, мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Мы расстались добрыми друзьями.

Уже за полночь. Как обычно, атмосфера тяжёлая и наэлектризованная; я смотрю в окно, а мои мысли летучими мышами мечутся туда-сюда. Тридцать минут назад я отложил перо, чтобы вскрыть три послания, которые мне принесли одновременно. Одна — от Мобарека, и она содержит поразительно удовлетворительные новости. Он сообщает, что по всем пунктам, на которых я настаивал в интересах Гокала, Император уступил. Если только Гокала не окажется неожиданно трудно удовлетворить, между Акбаром и брахманами больше не будет разногласий по поводу Дин Илахи. Я больше не буду говорить об этом сейчас. *(Раджа Амар на самом деле продолжает обсуждать этот предмет очень подробно.)* Вторая записка от губернатора, который просит меня прийти к нему завтра днём; третья — от Лалиты. Она пишет, что они с сёстрами снова собираются на верховую

прогулку завтра утром и приглашают меня присоединиться. Сделать ли мне это? — Да. Желательно, чтобы я узнал Лалиту получше.

Наша поездка не состоялась. На следующее утро я проснулся с сильной головной болью и высокой температурой; но поскольку подобный приступ почти всегда настигает меня при первом спуске с Гор, я нисколько не удивился и не встревожился. Я знал, что через двадцать четыре часа, вероятно, снова буду на ногах.

Лалита и её сестры приехали ко мне вскоре после восхода солнца, так как мы условились избегать дневной жары. Я услышал звон удил их лошадей, их смех, а затем их возгласы разочарования и сочувствия, когда Вагир, мой слуга, рассказал им о моём состоянии. Они хотели войти, но я предвидел это и дал ему указания ни под каким видом их не впускать. Лалита передала, что придёт вечером снова узнать, как у меня дела.

Днём меня посетила Шрилата, и мне стало настолько лучше, что я смог пригласить её остаться и поговорить. «То, о чём я собираюсь поговорить, — добавил я, — это я сам».

«Как ты знаешь, — продолжил я, — уже несколько лет я лелею мысль о том, что однажды уйду в монастырь; и теперь — теперь этот момент совсем близок. Мой нынешний визит в Катхияпур является подготовительным. Моя цель — осмотреться в мире людей и дел, подумать, что будет лучше для Ситы и Джали, и поставить их ноги на правильную дорогу».

Шрилата подалась вперёд с испуганным видом. «Но ты не можешь уйти вот так внезапно — тем более именно сейчас. Мой дорогой Амар, как ты можешь думать об этом?»

«Я ухожу не внезапно, и любое выбранное мною время, скорее всего, покажется неудачным».

Об этом неизбежно завязался спор; но быстрее, чем можно было ожидать, Шрилата осознала твёрдость моего решения. Затем я указал ей, что в некоторых отношениях мой уход может всё упростить, потому что Сита, будучи женщиной, вполне сможет сохранять нейтралитет, которого не позволят придерживаться мне.

Что касается моего собственного будущего, тот факт, что через несколько недель или месяцев я стану монахом в жёлтом одеянии, с бритой головой и новым именем, сидящим в монастырском саду на Цейлоне — этот факт ничего не значил тогда ни для неё, ни для меня. Ум не может функционировать одновременно на двух разных уровнях чувств. Для нас обоих в тот момент ничего не значило то, что скоро мы расстанемся навсегда; и Шрилата проявила хороший вкус и здравый смысл, не притворяясь более взволнованной, чем была на самом деле.

Она, однако, указала на то, что я делаю этот шаг необычно рано в жизни. Она также спросила, подумал ли я о том, как молода Сита, чтобы оставить её не вдовой, а без мужа. Её большие тёмные глаза с любопытством смотрели на меня, пока она говорила, и всё же

моему ответу, казалось, она уделила лишь половину своего внимания. Я кратко сказал, что когда духовный зов достаточно неотложен, все мирские соображения отходят на второй план. Эти слова, я знал, мало что донесут до неё; она видела только то, что я оставляю позади, ничего из того, к чему я направляюсь. В её глазах мой уход от мира был таким же плоским и унылым, как самоубийство.

С другой стороны, обсуждая будущее Ситы и Джали, она проявила живой интерес. Хотя она плохо знает Ситу, она расположена к ней симпатизировать; и я искренне верю, что на Джали она могла бы легко перенести большую часть той привязанности, которую подарила бы собственному ребёнку. Мы долго разговаривали, и теперь наконец-то я почувствовал, что получаю лучшее из того, что она может дать. Быстро поняв, насколько глубоко моё беспокойство за тех, кого я оставляю, она погрузилась в глубокое рассмотрение моих проблем. Когда я рассказал ей, что надеюсь, Гокалу удастся занять место главного советника Ситы, она немного недоверчиво спросила, склонит ли он себя к политике, благоприятной для Данияла. Разве он не настроен довольно несочувственно не только к Даниялу, но и ко всей партии Принца? Мне пришлось признать, что это в настоящее время является затруднением; но у Гокала, добавил я, великая способность к отстранённости; более того, он человек поразительной тонкости, и никто не справится лучше со сложным курсом и защитой Ситы от интриг, исходящих от Двора, или от вмешательства со стороны Амбиссы, которая наверняка попытается сунуть нос в дела Ситы, как только я уберусь с дороги.

Шрилата поняла мою точку зрения; но при всём этом она осталась недоверчивой. Её последние слова, произнесённые с большой серьёзностью, сводились к следующему: тот факт, что я собираюсь уехать прежде, чем будет улажен конфликт между Салимом и Даниялом, должен упростить моё решение, потому что теперь мои личные симпатии и антипатии, которым можно было бы придать некоторый вес, останься я на сцене, не должны быть допущены к вмешательству в мои суждения. «И позволь мне добавить вот что, — сказала она. — Тебе следует быть крайне осторожным, чтобы не оттолкнуть от себя Данияла. Принц очень сильно подвержен влиянию своих личных симпатий и антипатий. Если он почувствует по отношению к тебе враждебность, его отношение к Сите и Джали может полностью измениться».

После ухода Шрилаты я встал и принялся ходить туда-сюда по саду. Мои мысли были заняты Ситой; ибо я был слегка встревожен тем, что ещё не получил от неё никакого письма. По мере того как вечер тянулся, я начал думать, что Лалита так и не придёт. Головная боль и лихорадка оставили меня, но я чувствовал усталость и в конце концов — около полуночи — лёг спать.

Немного погодя, когда я уже наполовину спал, я осознал, что в моей гостиной идёт разговор. Голоса были тихими, но один я узнал как голос моего слуги, а другой — как голос

Лалиты. Вагир, предположил я, говорит Лалите, что та пришла слишком поздно и поэтому не может видеть меня. Однако лёжа там, тяжёлый ото сна, я оставался в сознании того, что тихая беседа продолжается. Она продолжалась и продолжалась, пока наконец я не заставил себя очнуться; я надел халат и посмотрел через приоткрытую дверь.

Лалита и Вагир стояли у моего письменного стола, все ящики которого, к моему изумлению, были открыты. Вскоре они перешли в соседнюю комнату, и я услышал, как там один за другим открываются все ящики и шкафы. Войдя в гостиную, я стал ждать их возвращения.

— А! — воскликнула Лалита, вернувшись, — значит, вы всё-таки не спали, Раджа! — В её голосе прозвучало величайшее удовлетворение. — Ужасно жаль, что я пришла так поздно, — добавила она.

Я послал Вагира за чаем и сладостями.

Она указала на мой письменный стол. — Я рада, что вы не держите здесь никаких бумаг, Раджа. Вагир говорит мне, что у вас есть собственные сундуки, запертые, и с потайными ящиками. Вы мудры. В этом городе нет ни одной бумаги или письма, которые не читал бы губернатор.

Она засмеялась. Казалось, она была довольно взволнована. — Знаете, что я делала в другой комнате?

— Что, интересно?

— Я искала кое-что, что могла забыть. Вы знали, что нашу первую ночь в Катхияпуре мы провели в этом доме? И та комната была моей спальней. Комната, в которой спите вы, была занята Махилой и Парми. Парми пролила в кровать флакон духов. Вы чувствуете их запах по ночам?

— Чувствовал. Я велел сменить кровать.

Она засмеялась. — Я нашла одну из оставленных мною вещей. — И она протянула крепко сжатую руку. — Вам любопытно?

— Вы хотите, чтобы я сказал «да».

— Возможно, вам недостаточно любопытно, — ответила она с ноткой злорадства.

Вошёл Вагира с чаем. Пока он расставлял поднос, Лалита сидела напротив, её серо-зелёные глаза задумчиво покоились на мне. Сегодня вечером она была одета проще в ниспадающее от шеи до лодыжек тунику (камиз), но перехваченную поясом жительниц гор, который очерчивает линию бёдер. Одеяние было фиолетового цвета, настолько тёмного, что оно казалось почти чёрным, а пояс из чёрной плетёной конской гривы свисал спереди длинными кистями тёмно-зелёного и золотого цветов. Её ожерелье и серьги были из

нефрита зелёного оттенка. Обычно не замечающий подобных вещей, на этот раз я обратил внимание на её наряд, потому что он делал её другой.

— Вы знаете мою страну, Раджа?

Я покачал головой.

— Ах! Вам следовало бы увидеть мою страну! Вам следовало бы увидеть её весной. Нигде в мире нет такой весны, как весна в высокогорных долинах Туркестана.

Я подумал о весне на Кавказе. Я подумал о Сите.

— Вы верите в наших шаманов, Раджа?

— Конечно, нет.

Она выглядела обиженной. — Вы никогда с ними не встречались.

— Нет.

— Они могут рассказать вам то, что вы хотите узнать. — Разве вам нечего хотеть узнать?

Я рассмеялся.

— Разве вам не хотелось бы знать, чем занимается Сита прямо в эту самую секунду?

— Вообще-то сегодня я много думал о Сите. Я ждал от неё письма.

— Рассказать вам, что делает Сита? И Джали?

Я начал подозревать, к чему она клонит, и нахмурился. Но она не смотрела на меня. Она взяла маленькую чашу со сладостями и, высыпав их на стол, наполнила чашу водой из кувшина.

— Я хочу, чтобы вы подержали это у себя на коленях, — сказала она. — Да, вот так. А теперь… — Она бросилась на пол рядом со мной и, раскрыв ладонь, показала мне то, что лежало на ней. Это был маленький чёрный продолговатый брусок вещества, которое могло быть опиумом. — Высохшая кровь дракона! — смеясь, воскликнула она и, разломив брусок пополам, бросила меньшую часть в воду, которую начала помешивать средним пальцем, при этом бормоча себе под нос какую-то тарабарщину.

— Мне жаль, что вы столь суеверны, — сказал я.

Она подняла на меня серьёзные глаза. — Все, кто знает наших шаманов, верят в них. Если бы они рассказали вам те вещи, которые рассказывали мне, вы бы тоже в них поверили. Вы знаете, какие они? Они карлики, очень весёлые и очень грязные. Их невозможно не любить, хотя иногда они совершают злые поступки. Они не злы, как Даниял.

Я чувствовал, что сейчас не время для споров, да и не мог остановить представление, которое уже началось. Власть шаманизма даже над самыми просвещёнными соотечественниками Лалиты поистине поразительна.

Под помешиванием Лалиты вода в чаше сначала стала розовой, затем мутно-карминовой, и наконец густо-красной, похожей на свежую кровь. — Что вы скажете на это? — спросила она, сначала облизнув палец, а затем вытерев его о платок.

— Это своего рода китайские чернила, смешанные с порошковым мелом. Я бы подумал, что вы могли определить это на вкус.

— О нет, Раджа, кровь дракона! — возбуждённо смеясь, воскликнула она. — Это она, она! Поднявшись, она сделала несколько шагов к окну и встала, глядя наружу. — Как бы то ни было, это не имеет большого значения, не так ли? Вопрос в том: что я увижу в чаше? — Я беспокойно осознал, что она борется с определённым волнением; да и не требовалось большой проницательности, чтобы догадаться, что это волнение вызвано вещами, которые она уже приготовилась сказать.

Наконец она вздрогнула, медленно вернулась обратно и снова опустилась на колени у моих ног. — Я хочу, чтобы вы посмотрели в чашу вместе со мной.

Несколько мгновений я так и сделал, затем отстранился. Оперев руки на мои колени, приблизив лицо почти вплотную к поверхности воды, она молчала две или три минуты; её плечи под тонким шёлком платья заметно вздымались.

— Я вижу озеро, и Али, пересекающего озеро. — Одна из её рук сжалась на моём бедре; она подняла голову и посмотрела на меня затуманенным взглядом. — Это означает, что он не мёртв.

Я промолчал.

— Разве вы не рады?

— Я никогда и не думал, что он мёртв.

Она снова наклонилась вниз, и наступило ещё одно долгое молчание. — Я видела Данияла, — сказала она, не поднимая глаз; — но я не могу рассказать вам всё, что увидела…

— Этого достаточно, — сказал я. Но хотя она больше не смотрела в чашу, она продолжала опираться на меня руками, и я был вынужден оставаться неподвижным.

— Полагаю, вы знаете, как сильно Даниял вас ненавидит? — спросила она, по-прежнему не шевелясь.

— Ненавидит! Чепуха. С чего бы это? Он вовсе не утруждает себя мыслями обо мне.

— Конечно, ненавидит.

— Из-за инцидента с Дантаватом? За то, что я бы как бы спасителем его жизни?

— Он ненавидел вас задолго до этого.

— Думаю, вы, должно быть, ошибаетесь. Мы едва ли когда-нибудь встречались.

— Разве вы не помните тот вечер, когда он заехал в дом вашего отца и обошёл комнату, разглядывая картины и мебель?

— Да как же… — начал было я и осёкся. Очевидно, либо Хари, либо один из придворных Принца потрудились дать Лалите описание того вечера. Но какие пустяки люди порой находят нужным передавать! Удивление в таких случаях всегда пропорционально незначительности сообщаемого факта.

По-прежнему тем же приглушённым голосом Лалита продолжила: — Даниял менее глуп в некоторых вещах, чем вы думаете, Раджа. Неужели вы воображаете, что он не видел, как сильно вы его презираете?

Я снова был совершенно застигнут врасплох. — Вы намекаете на то, что у меня очень плохие манеры. Или что я на редкость неэффективно скрываю свои чувства.

— Я думаю, вы часто не осознаёте, что люди думают о вас. И вы, очевидно, совсем не понимаете Данияла. Он ужасно чувствителен, а также ужасно мелочен, и — в отличие от вас — он также ужасно хитёр. *Он* прекрасно знает, какой вы человек. Помимо того самого вечера, пяти минут в вашем обществе было бы достаточно, чтобы заставить его смертельно возненавидеть вас.

Возможно ли, что Лалита права? Мне придётся об этом подумать.

— Что Рани Сита думает о Данияле? — внезапно осведомилась она.

— Сита его не знает.

— Думаю, теперь она его знает — уже знает.

— Что вы имеете в виду? — Когда я впервые заглянула в чашу, я увидела Али, пересекающего озеро. Он направлялся к вашему дому. А затем я увидела другую лодку, переправлявшуюся через озеро, и в ней были Даниял и несколько его друзей.

— Они шли к моему дому, вы говорите?

— Да.

— Продолжайте.

— Понимаете, Раджа, что я вижу лишь проблески вещей — сцену здесь и там, — а затем чаша снова мутнеет. Я не могу рассказать вам всё, что произошло. Но на одно мгновение я увидела вместе Ситу, Джали, Али и Хари. Затем я увидела только Хари и Али, и Хари начинал

сердиться, — а затем вошла Сита и указала на озеро. И следующее, что я увидела, был Даниял, идущий к дому, и Сита, стоящая в дверях, чтобы встретить его.

— А Хари, где был он?

— Он стоял позади Ситы — с Али.

Лалита была теперь спокойна, но её голос звучал низко и напряжённо. Моё собственное сердце, должен признать, билось чуть чаще обычного. Либо это была полная чепуха, либо Лалита, только что получив письмо из Лагеря, развлекалась тем, что мистифицировала меня. Я почувствовал некоторое раздражение.

— Когда именно состоялся этот визит Данияла?

— Позавчера.

Этот ответ ошеломил меня, потому что, если то, что она говорила, было правдой, невозможно, чтобы она получила известие обычными средствами.

— Думаю, мы обнаружим, что это случилось раньше, если вообще случилось.

— Нет. Это случилось позавчера.

— Вы сказали Амбиссе, что Али жив? — спросил я.

Вопрос заставил её выдать себя. Она едва заметно покачала головой, что показало мне: её знание или мнимое знание о существовании Али датируется не несколькими минутами назад. Однако в следующий момент она быстро сказала:

— Как бы я могла ей сказать? Я видела Али в чаше только сейчас. Точнее, я видела его один раз и прежде, но не была уверена, что узнала его. Как вы думаете, следует ли мне рассказать Амбиссе? Боюсь, она не сочтёт то, что я говорю, достойным веры.

— Ничего не говорите, — коротко ответил я.

Через минуту она выпрямилась, но чаша всё ещё была у меня на коленях, и она по-прежнему крепко прижимала к ним одну руку.

— Я могла бы рассказать вам кое-что ещё, — сказала она, бросив на меня вызывающий взгляд.

— Я услышал достаточно. Я не верю в вашу магию, и вы это знаете, Лалита.

Её лицо не изменилось. — Разве вам не хотелось бы узнать что-нибудь ещё — о Рани Сите? или Джали? или Хари?

Я ничего не ответил, и вдруг она взяла чашу, встала и выплеснула её содержимое за окно. Теперь её выражение лица было выражением глубокой задумчивости, глаза широко открыты, брови слегка нахмурены. Она начала ходить взад-вперёд по комнате.

Спустя некоторое время, остановившись передо мной, «Раджа», — сказала она, — «я рада, что вы не видели лиц Данияла и его друзей, когда они плыли обратно через озеро... Они смеялись, Раджа!»

— Всё это чепуха, — сказал я категорически. — Вы слишком потакаете своим фантазиям, моя дорогая. Я не хочу больше ничего слышать.

Её глаза сузились, когда она посмотрела на меня. — Только ли моё воображение то, что Даниял злой?

Я сделал жест.

— Только ли моё воображение то, что я люблю Хари? — Она помолчала, затем отвернулась. — Я люблю его! Я люблю его! Я люблю его!

Я всё ещё молчал.

Она села на диван и уставилась в пол. За исключением странного подёргивания ноздрей, она была неподвижна.

— Вы любите Ситу? Вы любите её? — спросила она глухим голосом.

— Да.

Она тихо рассмеялась.

— Лалита, — внезапно сказал я. — Что означает всё это? Чего вы хотите?

— Я хочу, чтобы вы отвезли меня в Рави.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

— Но зачем?

— Потому что вы должны — вы должны!

— Но несколько часов назад вы отказывались ехать туда. И если вы поедете в Рави — я имею в виду мой дом — вы будете близки к Лагерю. Вам придётся проводить время в Лагере.

Она не отрывала глаз от пола. — Вы должны отвезти меня туда, — упрямо сказала она. — Должны. Должны.

— Но как я могу сделать это, пока там Хари? Вы сделали это невозможным для меня. Я не знаю, каковы ваши идеи, но в любом случае я не могу быть причастен к этому…

Пока я колебался, она откинула голову назад и рассмеялась.

— У вас есть основания полагать, что Хари всё ещё влюблён в вас? — Я задал этот вопрос совершенно деловым тоном.

— Да, *я знаю*, что он любит меня, — пробормотала она.

— Откуда вы знаете?

— У меня были его письма.

— Письма! Это очень неразумно с вашей стороны.

— Я собиралась принести одно из его писем — чтобы показать вам. Но оно исчезло.

— Боже правый! — воскликнул я. — Разве вы не понимаете, насколько это серьёзно?

— Не знаю… Вероятно, письмо у губернатора, — в таком случае это действительно мало что значит. На самом деле, если бы это помешало тому человеку приставать ко мне, это могло бы быть даже хорошо. — Она снова начала смеяться. — Прошлой ночью мне пришло в голову, что я могла оставить его в одном из ящиков здесь. Я искала его, когда вы только вошли. Но нет! Вряд ли я была настолько небрежна, — задумчиво добавила она. — Совсем этого не понимаю.

Я отвернулся, подошёл к окну и выглянул в ночь. Мне предстояло о многом серьёзно подумать. Истина заключается в следующем: моя память воскресила смутное и мимолётное впечатление, которое я получил накануне в комнате Амбиссы. Мне казалось, что я помню, как, опуская жалюзи, она смахнула какие-то бумаги со своего стола на пол, и уголок одной из потревоженных бумаг обнажил кусочек почерка Хари. Мне показалось, что я сказал себе тогда: «Нет, это не может быть почерк Хари, но он очень на него похож».

— Когда вы потеряли это письмо? — спросил я.

— Я заметила пропажу только сегодня.

— Другие его письма тоже пропали?

Она помедлила, затем сказала: — Нет.

— Когда было написано письмо?

— Из Агры — ближе к концу его пребывания там.

— Было ли это такое письмо, которое — если оно попадёт не в те руки…?

— О да, безусловно! — Она засмеялась. — Оно показало, что он всё ещё любит меня. Именно из-за меня он оскорбил Данияла и попал в тюрьму.

Я больше не задавал вопросов, хотя ответы Лалиты оставили меня далеко от веры в то, что я добрался до истины.

— Вы отвезёте меня в Рави? — Она впала обратно в своё состояние задумчивости и говорила низким, напряжённым, монотонным голосом, который всегда его сопровождал. — Вы отвезёте меня туда, Раджа? Вы отвезёте меня туда немедленно? Пожалуйста, Раджа, немедленно!

— Дитя моё, это невозможно.

— Но если я всё устрою, вы отвезёте меня? — Она встала и положила руки мне на плечи. — Раджа, это ужасно важно. Гораздо важнее, чем вы думаете.

Не могу сказать, что было у меня на уме в те мгновения, пока она продолжала умолять. Мы смотрели прямо друг другу в глаза с любопытным отсутствием самосознания — с любопытной озабоченностью — чем именно, я не могу сказать.

— Я должен увидеться с вами снова, — сказал я, высвободился и отошёл.

— Да. Завтра. — И с этими словами она внезапно стала собираться уходить. — Мы договорились снова поехать верхом завтра утром. Вы должны прийти. Вы будете достаточно здоровы, чтобы прийти? Я хочу кое-что вам показать.

Показать мне кое-что? Я понятия не имел, о чём она говорит; но я сказал, что приду. Она поспешно ушла, оставив после себя половину бруска «драконьей крови».

VIII

На следующее утро я поднялся на рассвете. Ночь моя была полна снов и предчувствий, да я и не удивился, когда прибыл посланник с письмом от Ситы. Я поспешно вскрыл его и обнаружил в нём подтверждение всего того, что рассказала мне Лалита. Я осмотрел печать; она была цела. Я подсчитал часы, которые потратил посланник, и ещё больше озадачился представлением Лалиты вчера вечером.

Но перейду к самой новости. Выясняется, что Али, услышав о том, что его отец прибыл ко мне в дом, переправился через озеро, чтобы получить разрешение сопровождать Данияла до его охотничьего домика, расположенного миль на двадцать дальше вверх по долине. Сначала между ним и Хари всё шло хорошо, но спустя некоторое время Сита услышала, что голос Хари повысился от гнева, и, следуя уже принятому решению, не стала терять времени, присоединясь к ним. Они были на веранде; она шагнула за дверь, и тогда — но я буду использовать её собственные слова: «И вот тут-то я испытала потрясение всей своей жизни, ибо, поднимаясь по садовой дорожке, шёл невероятно изящный молодой человек, одетый в небесно-голубое и серебряное, а позади него шли двое других мужчин в розовом и золотом, и женщина, закутанная в цветастые муслины. Я могла только стоять и глазеть, моё изумление заставило меня совершенно забыть о том, что сама я в одном из своих старейших платьев, волосы мои в беспорядке, а руки покрыты грязью, так как я высаживала новые ирисы в водном саду. Хари пришлось дёрнуть меня за рукав и прошептать на ухо:

"Даниял!", прежде чем я пришла в себя. Почему ты никогда не говорил мне, какой комичной фигурой является Принц? Я не знала, то ли удалиться в тень зенаны, то ли оказать честь дома за тебя. Думаю, я бы развернулась и убежала, будь у меня время; но в следующий момент Принц низко поклонился мне. Затем он повернулся к Хари, и его он приветствовал с совершенно обескураживающей сердечностью. Али он похлопал по плечу. К моему огромному облегчению, Хари вёл себя очень хорошо; он шутил с Принцем и был очень галантен с дамой. На самом деле они с ней почти сразу же пустились во флирт, и вскоре он увёл её смотреть водный сад. Принц сидел со мной на веранде, пил наш домашний щербет (который, как ты знаешь, имеет очень странный вкус) и делал вид, что тот ему нравится. Не могу передать, каким ужасным он был несмотря на свою вежливость. Но, к счастью, Хари и его дама вскоре вернулись, и тогда Принц взял Хари под руку, и они прогулялись к фасаду дома "посмотреть вид на озеро". Что произошло между ними, я не знаю; я могу лишь сказать тебе, что по возвращении они всё ещё выглядели вполне дружелюбными, и что Али было позволено вернуться вместе с Принцем. Если это будет последнее, что Хари и Али когда-либо будут иметь друг с другом — ну что ж, это не моё дело. Во всяком случае, радует, что Али не наш сын. Джали передаёт тебе свою любовь. Последние несколько дней он чувствовал себя не очень хорошо. Но беспокоиться не о чём».

Это письмо немного встревожило меня. Чем больше я думаю о нём, тем сильнее чувствую, что многое осталось несказанным. Кроме того, тон определённо не совсем естественен. Этим утром мне не дали времени прочитать его так внимательно, как мне хотелось бы, поскольку через несколько минут после его прибытия вошёл Вагир сообщить, что Лалита ждёт меня снаружи.

Я нашёл её верхом на лошади на дороге, и мой собственный конь тоже стоял там. Она казалась в наилучшем расположении духа, но я уловил настороженность в её глазах, и через мгновение она сказала: «У Амбиссы рано этим утром были новости об Али. Губернатор передал ей известие, что он в безопасности».

«У меня тоже есть письмо, — сказал я.

— От Ситы?

—Да.

Мы обе замолчали. Махил и Парми спускались по дороге, и не было времени сказать гораздо больше.

Лалита наклонилась над шеей своей лошади. «То, что я тебе говорила — находишь ли ты, что это правда?»

— Да.

— Я произнёс это таким тоном голоса, который заставил её почувствовать себя неловко. «Ты думаешь, здесь какая-то хитрость, — пробормотала она. — И ты сердишься».

— Нет, нет. Мы поговорим об этом позже.

Я сел на лошадь, и в следующий момент мы все рысью выезжали из города. Наш путь пролегал вдоль дамбы под отрогом холма, который круто поднимается на юге Катхияпура и выступает на две-три мили в равнину. Местность перед нами насколько хватало глаз была плоской и зелёной — зелёной нежной окраской молодых посевов. Четверть часа мы ехали так, затем холм резко оборвался, и открывшийся новый вид совершенно застал меня врасплох. В этом направлении равнина превратилась в пустыню. Вплоть до далёкого южного горизонта не было ничего, кроме твёрдого, покрытого галькой песка. И с этого песка дул горячий сухой ветер — ветер, показавшийся мне восхитительным после расслабляющего воздуха Катхияпура. Я тронул коня шпорами и помчался галопом.

Прошло совсем немного времени, прежде чем три девушки поравнялись со мной, и после примерно десяти минут галопа мы постепенно остановились. Уже, насколько можно было судить, мы находились посреди пустыни, так как голубая дымка висела над влажными землями, которые мы покинули, скрывая их из виду. Над головой небо было испещрено тонкими высокими облаками, которые солнце, всё ещё низкое на горизонте, слегка окрасило в розовый и золотой. Тишину нарушало лишь тяжёлое дыхание наших скакунов. Через несколько минут моя лошадь начала принюхиваться к пучкам сладкой травы, которая скудно росла здесь то тут, то там, и я позволил ей увести меня немного в сторону. Мысли о будущем внезапно возникли в моём сознании; с непривычной болью я подумал, что на Цейлоне больше не будет этого: больше не будет поездок через пустыню, больше не будет восторга от физической энергии, никогда больше не почувствуешь жаркого сухого воздуха, проносящегося мимо лица... Я буду обладать более глубокими радостями, но жизнь — жизнь уже станет делом прошлого.

Странно было то, что в этот период моей жизни я вернулся — пусть даже на мгновение — к таким вот эмоциям.

Глядя на своих спутниц, силуэты которых вырисовывались на фоне востока, я изумлялся благородству этих живых форм. На этой голой ровной земле, под этим бледным высоким небом очертания лошадей и всадников имели величественное, хотя и необъяснимое значение. Настоящее было полно для меня красоты — красоты, которая не умалилась, а усилилась, когда я заметил, свернувшуюся кольцами на плоском камне прямо рядом со мной, одну из самых крупных ядовитых змей, каких мне только доводилось видеть.

Оставив сестёр, Лалита подъехала ко мне, и вместе мы медленно направились к каким-то низким скалистым утёсам, под которыми, милях в трёх отсюда, я разглядел полуразрушенный лагерь.

«Ты видел ту змею на камне?» — спросила она, и когда я сказал ей, что да, она продолжила: «Мои братья убили бы её».

— Да. Но они не буддисты.

Она рассмеялась. «У нас нет названия для нашей религии. Но мы верим в Силы Добра и Зла. Мои братья убивали не только змей, но и людей».

На это я ничего не ответил.

— Некоторые люди злее змей, не так ли, раджа?

Я догадывался, что будет дальше, и промолчал.

— А как насчёт убийства Данияла? Вы бы осудили того, кто это сделал? — Она смеялась, говоря это, но в следующий миг резко оборвала себя. — Я правильно сказала, что Ситу навещал Даниял?

Я кивнул.

— И он ей понравился? Скажи мне, он ей понравился? По твоему лицу я вижу, что она о нём думала. О да, тебе необязательно говорить. Я знаю. Знаю.

Мы ехали молча какое-то время. Её взгляд был прикован к лагерю перед нами, и у меня сложилось впечатление, что именно это было её целью. Однако мы отъехали недалеко, прежде чем я остановился и заставил остановиться её тоже. Втянув носом воздух, я сказал: «Надеюсь, вы не собираетесь подводить меня ближе?»

— Но ведь вы буддист. Вам же всё равно…

— Я определённо буддист; но зачем мне оскорблять своё чувство чистоплотности? Зачем мне приближаться к людям, которые едят падаль?

— Это не агхори, — пробормотала она, слегка смутившись.

— Возможно, но они достаточно низки.

С расстояния в пятьсот ярдов лагерь отравлял воздух; мои глаза тоже говорили мне, что там сплошная грязь; дети, выбежавшие посмотреть на нас, были покрыты незаживающими гнойниками.

Я с любопытством посмотрел на Лалиту. — У вас в привычке бывать здесь? И если да, то почему?

К нам присоединились Махил и Парми, и три сестры обменялись взглядами. — Я сюда не прихожу, — сказала Махил и зевнула. Парми загадочно улыбнулась мне в лицо, и её улыбка была детской.

— Я привела вас сюда, чтобы показать кое-что, — воскликнула Лалита раздражённым голосом. — Уходите! — добавила она, повернувшись к сёстрам. — Я хочу остаться наедине с раджой. Идите и ждите вон там.

Несколько минут мы с ней сидели верхом на лошадях в молчании, уставившись на убогие хижины. Наконец из одной вышла взрослая фигура, посмотрела на нас и снова скрылась. Само существование лагеря отверженных в таком месте показалось мне крайне странным. Здесь не просматривалось ни еды, ни воды, ни работы, и тем не менее место показывало признаки того, что его занимают уже некоторое время. Любопытство заставило меня подъехать чуть ближе; и тут из-за шатров вышла старуха и поспешила к нам с широкой улыбкой. В руке под складками своего объёмного и грязного одеяния она с большой осторожностью несла что-то. Лалита поприветствовала её как старую подругу, спешилась и представила меня как человека, от которого нечего скрывать. Успокоившись, старуха достала из-под платья чашку, наполовину наполненную тем, что Лалита назвала драконьей кровью, прочно воткнула её в песок, присела над ней на корточки, натянула капюшон на склонённую голову и совершенно замерла. Лалита присела рядом с ней и стала ждать. Вскоре из складок капюшона донёсся голос, но я не мог расслышать, что говорилось. Чтобы показать, что я не принимаю участия в происходящем, я отошёл немного в сторону.

Я бездумно смотрел перед собой, когда над обрывом появились два голубя, летевшие очень быстро. Сделав круг, они опустились где-то среди шатров, и почти сразу же мне в голову пришла мысль. Это почтовые голуби! Теперь стало понятно второе зрение Лалиты. Пока она явно получала сведения от старухи, теперь столь же очевидно было, что сама старуха получает их от этих птиц. Но тайна лагеря оставалась неразгаданной, и я всё ещё ломал над ней голову, когда мой глаз упал на двух мужчин, прогуливавшихся под обрывами. Одного, высокого, я узнал почти сразу — это был Губернатор; второго я не узнал, пока они не подошли гораздо ближе, и тогда, к моему удивлению, я увидел, что это Мабун Дас. Причина, по которой я не определил его раньше, заключалась в том, что если он и не был замаскирован, то во всяком случае выглядел совсем иначе. Вместо подобающего его должности костюма на нём было одеяние, которое затерялось бы в любой базарной толпе. Видя, что Лалита слишком поглощена разговором со старухой, чтобы заметить их приближение, я окликнул её. Она подняла голову, по её лицу пробежало раздражение, и, сказав что-то своей спутнице, встала и направилась ко мне. Старуха тоже поднялась, собралась с силами и заковыляла к шатрам. Через несколько секунд мы все четверо беседовали вместе, а конюх подъехал забрать наших лошадей. Затем я зашагал в ногу с Мабун Дасом, который повёл меня в направлении обрывов, в то время как Лалита и Губернатор остались позади.

Мы сели на камень в овраге позади лагеря. Здесь, в тени и с подветренной стороны от шатров, воздух был прохладным и свежим. Я ждал с немалым любопытством, что скажет Мабун Дас. Несколько мгновений он размышлял, глядя на меня со слабой улыбкой и нервно постукивая тонкими пальцами по колену. — Раджа, — сказал он наконец, — встреча

с вами здесь не входила в мои планы. Но раз уж это случилось, я не жалею. Нет-нет! — И своим мягким, мурлыкающим голосом он начал рассказывать мне то, что мне следовало знать. — Как вам, вероятно, известно, я отвечаю за безопасность Лагеря; а то, что вы видите здесь, — он махнул рукой в сторону шатров, — часть моих мер для того, чтобы быть хорошо информированным. Эти люди — гонцы, и вместе с ними у меня есть служба почтовых голубей. — Он помолчал. — Мне нравится сохранять существование этого места более или менее в тайне, поэтому я буду рад, если вы никому о нём не скажете — как и о том, что встретили меня здесь.

Я кивнул, и после того, как мы поговорили ещё несколько минут, он, казалось, принял внезапное решение. Положив руку мне на плечо: — Мой дорогой раджа, — сказал он, — позвольте дать вам одно предостережение. Не оставляйте вашу семью в Рави слишком надолго. Салим, как вам известно, уже начал действия на равнине; и возможность набега в том направлении, хотя и отдалённая, отнюдь не является ничтожной.

— Насколько быстро я должен действовать?

— О, большой спешки нет. Но я думаю, вам будет разумно переехать в течение следующих трёх-четырёх недель.

Я посмотрел на него с изумлением; мой взгляд был полон вопросов; но всё, что он сделал — это улыбнулся и добавил: «Ни слова об этом никому, пожалуйста!»

Между нами повисла тишина. Я уставился вдаль на равнину.

Наконец, намеренно резко, я заметил: «Значит, принц вскоре покинет Лагерь?»

Мабун Дас поднял руку и медленно помахал ею перед моим лицом. — Неважно, что делает принц Даниял — или чего он не делает. Послушайте совета друга и не задерживайтесь там наверху слишком долго.

Возможные последствия этой последней фразы были настолько поразительны, что я не мог приступить к их осмыслению. Между нами снова воцарилась тишина, во время которой Мабун Дас не сводил с меня глаз, поглаживал усы и, казалось, что-то взвешивал. Когда он заговорил вновь, его голос звучал деловито и сухо:

— Разумеется, мир считает меня приверженцем Данияла. Я официально поддерживаю его партию — это чистая правда! Я создаю такое впечатление. Да! И если бы — он мягко рассмеялся, — если бы вы вернулись сейчас и сказали миру, что я изменник партии Данияла, никто бы вам не поверил. Никто, кроме разве что… Он оборвал себя. — В любом случае, раджа, я верю, что вы оставите этот разговор между нами. Вы можете поступить так без всяких угрызений совести. Доверьтесь моему здравому смыслу и добрым намерениям, так же как я доверяю вашим.

С этими словами он поднялся, и наш разговор был окончен.

О нашей поездке домой мне нечего сказать. Добравшись до своего дома, я пригласил спутниц войти, так как все мы четверо были разгорячены и испытывали жажду, — а Вагир владеет секретом восхитительного напитка — настоя горных трав, который он подкисляет соком лайма и подслащивает чёрным мёдом. Для меня это возвращение в атмосферу Катхияпура было всё равно что погружение в один из душных лесов Декана; а в моих комнатах тяжесть воздуха усиливалась томным ароматом, которым пользовались три молодые девушки первый раз, — подарком от Губернатора. Их тонкие шелка льнули к тёплым, влажным золотистым телам, они бездельничали и болтали; а я — я наблюдал за ними. Внезапно перенесённый за пределы настоящего, я почувствовал усталость не только от жизни, но и от своих усилий освободиться от неё. Нирвана, я думал, увы, так далека!

И теперь снова, в этой комнате, которая всё ещё слабо благоухает их присутствием, я отстраняюсь, я тянусь к своему прежнему уединению, которое было шагом к одиночеству неизменного.

Даже эти несколько дней соприкосновения с миром оставили на мне свой след. Меня окутывает гнетущее чувство изоляции. Или, пожалуй, следует сказать, что то уединение, в которое я постепенно себя погружал, внезапно превратилось в одиночество. Гокал, мой самый близкий друг, и Сита, моя жена, кажутся бесконечно далёкими — и отчего именно, я едва ли знаю, если только дело не в коренных различиях темперамента, мировоззрения, идеала и надежды. Между мной и остальным человечеством нет потока человеческой симпатии. Я по-прежнему твёрдо держусь своих решений — но с усилием, не без сомнений. Вновь очарование Бытия раскручивается во мне подобно Кундалини. Жизненные энергии и желания завораживают меня — не как соблазны, а как тайны.

Как энергия непостижимой Майи, Лалита, безусловно, самая интересная из трех девушек, ибо именно в эмоциях плоть и дух объединяются, создавая ту красоту, которая является последним соблазном на этой земле. Порой я думаю, что Женщина как Женщина бесповоротно прикована к Колесу. И все же, несомненно, в Сите эмоции никогда не были слепой бурей, а женственность —скрытым, постоянным доминированием. Нет, нет! ветер, пахнущий цветами, дует в лицо путнику — наверняка Сита знает, что любовь — это не более чем любовь? А я, разве я не прошёл через это? Разве я не поднялся в область снегов? Разве я не приближаюсь к темноте? Разве последняя ледяная игла, за которой ничего нет, уже не видна мне?

На этом дневник раджи обрывается, и проходит значительное время, прежде чем он возобновляется. Поэтому в данной точке я продолжаю повествование собственными словами.

Часть 4

I

Луна, почти полная, была затянута редкими облаками, и туман висел белыми слоями над маленьким городом. Запутанные деревья сада раджи неподвижно стояли в молочном сумраке. Издалека — из глубины священной рощи — доносилось постукивание палкой о землю: кто-то пробирался по кишащей змеями тропе к индуистскому храму.

Вокруг дома раджи, то входя через открытую дверь, то выходя из неё, скользил Вагир. Он беспокойно, задумчиво и бесшумно двигался босиком. То он всматривался сквозь сад во тьму за его пределами, то останавливался и прислушивался, то крался вдоль стены дома, чтобы подглядывать за младшими слугами, которые бездельничали у тлеющих углей кухонного костра. Наконец он вышел на дорогу и встал, глядя то вверх, то вниз по улице, словно кого-то ждал. Но всё это было лишь проявлением беспокойства.

Вскоре мимо проплёлся старик, остановился и пожелал Вагиру доброй ночи. Он говорил чуть громче шёпота, и ответ прозвучал тем же тоном. Оба стояли, глядя на луну, которая висела наверху бледным размытым диском.

— У вашего хозяина лихорадка, — сказал старик, — я не сомневаюсь, что она усилилась.

Вагир сделал жест, который мог означать что угодно.

— Катхияпур, — сказал старик, — это место, где люди легко умирают.

— И живут тоже легко, — ответил Вагир.

— Да; это место, где люди живут легко, любят легко и умирают легко.

— Что может быть отраднее этого? — сказал Вагир.

— Это климат, — сказал старик. — И вам повезло, что вас нет здесь в плохой сезон, ибо тогда насекомые, особенно мотыльки и бабочки, наполняют воздух, жирные коровы на пастбищах поворачиваются и бодают друг друга, рыбы всплывают брюхом вверх в прудах, а погребальное кострище похоже на лес — так много столбов дыма поднимается в воздух. Дым поднимается вдвое выше высокого дерева и там расходится крышей, на которой сидят упыри и вампиры разных сортов, которых ночью можно отчётливо увидеть любому, кто посмотрит вниз с того вон склона холма. Я множество ночей наблюдал, как они часами совокупляются. Сегодня луна едва ли достаточно яркая, чтобы подъём стоил усилий.

— То, что вы мне рассказываете, чрезвычайно интересно, — вежливо отозвался Вагир. — Но мои обязанности, боюсь, в любом случае помешали бы мне покинуть дом.

— Как долго махараджа намерен оставаться здесь?

— Недолго, я полагаю.

— Для него это удачно. В этом климате…

— Доброй ночи, — сказал Вагир, отступая обратно в калитку. — Поздравляю вас с тем, что вы пережили этот климат столь почтенные годы.

— Я родился здесь, — просто сказал старик. — А для навозного жука навозная куча — это…

Но Вагир уже ушёл; он проскользнул обратно в дом и теперь подглядывал между занавесок в гостиную, где раджа сидел за своим письменным столом. «Он сидит уже много минут, не написав ни слова, — сказал себе Вагир. — Это опять-таки дурной знак».

Пройдя немного по боковому коридору, он присел на корточки в темноте и продолжил следовать течению тревожных мыслей. Весь вечер раджа был особенно непринуждён в манерах и речи. У него было довольное выражение лица, он передвигался с видом расслабленности, болтал за едой. «Всё это плохо, — подумал Вагир. — Именно так он пытается обмануть не только других, но и себя самого».

Внезапно со стороны дороги раздались голоса, и Вагир вскочил на ноги. Он стоял на крыльце, когда Губернатор поднимался по ступеням, а рядом с ним — отчасти к удивлению Вагира — шёл маленький сморщенный йогин. Вагир низко поклонился, скрыв лицо в поклоне, исполненном презрительной неприязни. После мгновения хорошо скрытого нежелания он провёл обоих посетителей к своему хозяину и удалился — но не дальше другой стороны занавески.

Раджа, Губернатор и йогин сидели вместе и разговаривали. Комната была в полумраке, лампы под красными абажурами давали очень мало света. Все трое обмахивались веерами, и их веера, покачиваясь туда-сюда, били жирных мотыльков, струившихся в окно. Лицо раджи было бледным, а глаза блестели; его тон был любезным, почти игривым, и Вагир слушал его с тревогой.

— Вагир! — позвал раджа; и, прокравшись назад на несколько ярдов, Вагир отчётливо прошлёпал к двери и вошёл.

— Да, — говорил Губернатор, — теперь мы подозреваем, что убитым был принц Дандават. Ему дали датуру. Под воздействием наркотика он мог уйти далеко; он мог совершить любую глупость. Тот, кто намеревался его убить, сначала дал ему зелье, чтобы запутать последующее расследование. Этот трюк, как вам известно, очень распространён.

— Принеси чего-нибудь выпить, — сказал раджа, и Вагир поклонился и вышел.

Скрывать от гостей тот факт, что они совершенно нежеланны, стоило радже усилий, которые казались ему почти непосильными. Голова у него болела, боли в спине были нестерпимыми, но хуже всего было напряжение, необходимое для того, чтобы удерживать разум в контакте с реальностью, вместо того чтобы позволить ему блуждать в бреду.

Вскоре, к своему удивлению, он услышал, как йогин прямо обвиняет Данияла в ответственности за убийство Дандавата. Кто этот маленький человек, и зачем Губернатор привёл его? Никогда прежде он не видел человека, белки глаз которого были бы так ослепительно жёлты. Пока йогин говорил, раджа устремил на него взгляд вежливого интереса; однако любой предмет, на котором его глаза задерживались дольше мгновения, увеличивался до тех пор, пока не занимал всё поле зрения. Результат был кошмарным.

— Ба! — сказал Губернатор, грубо рассмеявшись. — Какое это имеет значение! Принц уже превратил Дандавата из молодого человека доброго здоровья и баснословного богатства в нищего и обезумевшего идиота. Если он закончил своё дело тем, что подстроил его убийство, тем лучше. Дело Дандавата от начала и до конца не имеет никакого значения. Если я осуждаю принца Данияла, то по более веским основаниям.

— По более веским основаниям! — Йогин торжественно кивнул. — И Пандит Гокал тоже — по более веским основаниям.

Раджа подавил движение изумления, но недостаточно быстро, чтобы укрыться от внимания йогина.

— Пандит Гокал — мой старый друг, — сказал он, бросив на раджу кислый взгляд. — Проезжая через Рави, я долго беседовал с ним.

Раджа, учтиво склонив голову, воскликнул про себя: «Старый друг! Никогда!»

—Долго беседовал! — повторил йогин с вызывающим видом. — И Пандит Гокал предложил мне рассказать вам то, о чём мы говорили.

— Мне будет очень интересно.

— Мы говорили на тему религии. Раджа снова наклонил голову. Он думал, что разговор грозит стать совершенно невыносимым, ибо теперь чувствовал полную уверенность в том, что оба его гостя пьяны.

— Мы обнаружили, что по существу согласны друг с другом, — добавил йогин со злорадной ухмылкой. — Та девушка Гуневати многому научила вашего друга.

При этом Губернатор громко расхохотался, затем выпрямился и принял достойный вид.

Наступила пауза. Йогин, казалось, потерял нить своих мыслей. Наконец он сказал: — Как вы, возможно, уже слышали, я смог дать Пандиту кое-какое лекарство, которое непременно его излечит.

Губернатор кивнул. — Это правда. Гокалу уже намного лучше.

— Намного лучше, — эхом отозвался йогин. — Я видел его дважды. В первый раз наедине. Во второй раз там был также Хари Хан. — Он подождал мгновение, затем добавил: — А ещё я видел рани Ситу.

Раджа вежливо улыбнулся. — Удивительно, что вы смогли обнаружить именно то самое правильное лекарство для Гокала.

Йогин принял величественный вид. — Я живу в соприкосновении с реальностью.

— Ах! — сказал раджа.

От Губернатора послышалось хихиканье. Бросив на него ядовитый взгляд, йогин вновь произнес: — Я живу в соприкосновении с реальностью.

Раджа наклонился над подносом. — Позвольте мне налить вам ещё немного щербета?

— Нет, благодарю вас, — кисло отозвался йогин. — Я смог так успешно лечить Пандита Гокала потому, что получил правильное лекарство от женщины, которая поставила яд, — старухи, которая принадлежит к…

— Тс-с, тс-с! — прервал его Губернатор.

— От старухи, которая… которая живет в Кханжо. Хари Хан не мог вытянуть из неё ничего. Вы уж точно… — он поднял дрожащий палец, — вы бы не вытянули из неё ничего. Те, кто не живёт в соприкосновении с реальностью, не могут сделать ничего — ничего для продвижения ни зла, ни добра.

— Это, — сказал Амар, — правда.

— Но вы же этого не имеете в виду, — грубо сказал йогин. — Вы имеете в виду нечто иное.

— Несомненно, — вежливо сказал Амар, — существуют разные уровни реальности. Реальность, к которой я стремлюсь…

— Дух и плоть едины, — сказал йогин, словно провозглашая новую истину. А Губернатор подался вперёд в своём кресле, посмотрел по очереди на каждого из спорщиков и усмехнулся с удовольствием.

— Пандит Гокал и я согласились в этом пункте, — самодовольно сказал йогин.

— Да, они сошлись в этом пункте, — эхом отозвался Губернатор, и снова расхохотался — но на этот раз с дружелюбным намерением.

— Есть только одна истинная религия, — сказал йогин, повышая голос до визга. — Только одна, которая провозглашает духовную истину, которую являет собой действительная жизнь. Когда вы хотите узнать религию человека, вы спрашиваете его, какова она?

— Что ж, это был бы один из способов подхода, — сказал Амар.

Йогин медленно, хитро улыбнулся. — Слова человека — ничто. Я наблюдаю за поведением человека. Я читаю его мысли и его желания. Истинная религия человека — та, которой он живёт, — а той, которой живут все люди, является религия Творения, религия Пола.

Сознательно или бессознательно все люди поклоняются Женщине, а все женщины поклоняются Мужчине. Понять это во всей простоте — значит постичь истину; постичь истину — значит быть в соприкосновении с реальностью; а быть в соприкосновении с реальностью — значит обладать властью.

— Раджа! — внезапно пылко воскликнул Губернатор. — Этот человек, — и он указал ногой на йогина, — этот человек прав.

Наступило молчание, во время которого Амар внутренне застонал. Как ему завершить этот визит, не причинив обиды?

— Раджа! — продолжал Губернатор, — Дин Илахи — вещь пустая и воздушная. И принц Даниял поддерживает её, потому что он сам не более чем скопление газов. Ислам — прекрасная религия по-своему, она ставит секс на первое место. У меня нет вражды ни с исламом, ни с принцем Салимом. Но истинная религия…

— Истинная религия, — перебил йогин, — это та, что текла подобно скрытой золотой жиле сквозь историю этой страны с древнейших времён. Под всеми притворствами и изобретениями ложного стыда, педантизма и лицемерия среди нас, индусов, жила древняя истина о том, что Сексуальность и Религия едины. Вы, раджа, аскет, и вам может быть больно слушать эти слова; тем не менее в своём аскетизме вы признаёте их истинность. Целомудрие — благородный способ признать божественность Пола. Но есть и другие способы.

Здесь Губернатор, который смотрел на йогина с восхищением и одобрением, поднялся и ударил себя в грудь. — Я бы умер за свою религию. Я охотно умру ради Великой Богини. — И, — добавил он со внезапным переходом к горечи, — весьма вероятно, что так и будет.

Мрачно он снова опустился на сиденье, и при этом сломал веер, которым снабдил его Амар. Движения, которые он делал, пытаясь подобрать обломки, показали радже, что он находится под воздействием скорее наркотиков, чем спиртного.

— Я оскорбляю вас, — продолжил он после паузы, — но я оскорбляю вас меньше, чем принц Даниял, — потому что он сам по себе есть порок. Я оскорбляю вас меньше, чем полчища безбожников. — Это существо здесь — прошу прощения, йогин! — этот йогин примечателен больше, чем вы думаете. Вам следовало бы увидеть его… — Он оборвал себя и ухмыльнулся.

Йогин, помедлив мгновение, тоже ухмыльнулся. — Если ему угодно прийти в храм, где есть девушки…

Раджа приложил руку ко лбу. — Увы! — начал он, — сильно опасаюсь…

Йогин выбросил вперед руку. — Знаю, у вас лихорадка. У вас болит голова. Но я вас вылечу.

Пошарив в складках своего одеяния, он извлек маленькую деревянную шкатулку, из которой достал две пилюли. — Проглотите их — если только не боитесь.

Раджа взял их в ладонь. — Вы говорите, они меня вылечат?

— Да.

Раджа запрокинул голову назад и проглотил пилюли.

— Через три минуты, — сказал йогин, — вам станет хорошо.

Наступила молчание. А затем от индуистского храма в роще в комнату поплыла более громкая музыка. Раджа слушал её с интересом; она отличалась от той, что он слышал в другие ночи. Он заметил, как двое гостей обменялись взглядами.

— Нам пора идти, — сказал Губернатор изменившимся голосом. — Думаю, — добавил он, словно поясняя причину, — думаю, принцесса Лалита собирается нанести вам визит.

Раджа лежал с закрытыми глазами. Головная боль оставила его, и казалось, что его лихорадка тоже проходит; однако он не чувствовал себя одурманенным.

— Да, вы меня исцелили. — Он с любопытством посмотрел на йогин. — Это очень замечательно.

— Вот ещё одна пилюля, — сказал йогин. — Она завершит доброе дело.

Раджа взял её, посмотрел на неё и сказал: — Ещё одно лекарство?

— Для Кундалини, — ухмыляясь, ответил йогин.

Раджа проглотил пилюлю. — У меня есть все основания быть вам очень благодарным. Я боялся, что мне предстоит несколько дней болезни. Облегчение временное или постоянное?

— Я не волшебник; я реалист. — Ваша лихорадка вернется, потому что она у вас в крови, но менее тяжело. — Он вложил еще несколько пилюль в руку раджи. — Если вы примете это завтра, то скоро поправитесь.

II

После того как гости покинули его, раджа стоял, глядя на письмо Ситы, лежавшее на письменном столе. Несколько раз за день он брал в руки перо, чтобы ответить на него, но что-то вставало у него на пути. Он перечитал письмо снова, пытаясь найти то, что показалось ему неестественным и искусственным.

Среди деревьев в глубине сада мелькнул свет фонаря, и он услышал постукивание палкой по земле. «Это те люди, идущие к храму, — подумал он. — То, что Вагир рассказал мне об этом храме, очевидно, правда. — Йогин — умелый лекарь. Умелость и подлость слишком часто идут рука об руку. Музыка этого храма прекрасна. Интересно, как далеко он отсюда… Думаю, инструменты должны быть внутри — все, кроме одного, того слабого духового инструмента, который совсем не похож на…»

Прослушав несколько минут, он позвал: — Вагир!

— Милорд?

— Ты спускался к тому храму?

— Днем, милорд — да.

— Сегодня вечером там церемония?

— Да, милорд.

Раджа заходил по комнате взад-вперед. — Мне дали какое-то лекарство, которое меня исцелило — по крайней мере, временно. У меня был легкий приступ лихорадки. — Что я слышу играющим снаружи у храма? В трехстах ярдах отсюда? Что это такое?

— Это флейта, на которой играет прокаженный, сидящий снаружи.

— Почему прокаженный? — сонно сказал раджа.

— Возможно, потому что он уже наполовину животное; его лицо — лицо тигра, как всегда и бывает. Он живет в хижине в роще, и жрецы кормят его.

— Ты входил внутрь храма?

— Боже упаси! Внутри него в этот самый момент играют музыку, запрещенную законом; но у храма очень толстые стены и тройные двери, и музыки изнутри не может быть слышно.

— Тропа к храму лежит в конце этого сада?

— Да, милорд.

— Принеси мне чего-нибудь выпить, хорошо охлажденного снегом.

Вагир удалился.

Раджа внезапно отметил тот факт, что одна часть его мозга была совершенно ясной. «Другая же часть, — подумал он, — видит сны, но я могу наблюдать свои сновидения так, как смотрят пьесу. Последняя пилюля, данная мне йогином, скорее всего, была афродизиаком. Я думал об этом в то время. Бедный глупец! Он наверняка считает себя весьма остроумным малым».

Раджа прошел в соседнюю комнату, а оттуда — в сад.

— Милорд! Милорд! — окликнул Вагир, поспешая следом через лужайку.

— Я иду в конец сада. Музыку внутри храма так приглушает, что отсюда я едва её слышу.

— Но вы не можете слышать её вовсе, милорд — ни отсюда, ни из конца сада. И вам нельзя двигаться дальше, пока я не отгоню змей.

— Я вижу достаточно хорошо, чтобы не наступать на змей. Но поступай как хочешь.

Раджа повернул назад, прислонился к столбу веранды и посмотрел на луну, которая стала больше и желтее. Музыка изнутри храма показалась ему очень любопытной, а маленькая, тихая флейта снаружи обладала сладостью, лишенной меланхолии, ибо была совершенно безличной.

В уме раджи возникло яркое воспоминание о музыке, игравшей в христианской церкви маленького городка в Кавказских горах, где он женился на Сите. Контраст заставил его улыбнуться; а его улыбка углубилась, когда он вспомнил, как был тогда поражен. Какой объем звука! И как просто и варварски! И всё же это доставляло удовольствие людям, которые были вполне культурны по-своему. Он вспомнил звонкие свежие сильные голоса румяных детей; и гулкий рев больших бородатых мужчин. А после, выйдя из темной, пропитанной ладаном, гудящей церкви в тихий, пахнущий чистотой воздух, каким потрясенным он себя почувствовал! Четырнадцать лет назад, а Сите тогда было восемнадцать! Розовощекая, как ребенок, и ясноглазая, и стройная, и с какой нежной жизнерадостностью души. На траве под деревьями был иней. Ниже, в долине, цвел миндаль. Свежесть и блеск…

— Сад теперь безопасен, милорд.

— Спасибо, Вагир.

Раджа очень медленно зашагал взад-вперёд по жёсткой траве, которую недавно общипали овцы. Вскоре, подобрав фонарь, который Вагир оставил на ступенях веранды, он пересёк лужайку и направился вниз по узкой тропинке сквозь деревья. Он достиг сломанной ограды из переплетённых пальмовых листьев, за которой проходила тропа к храму. Поставив свой фонарь, он прислонился к стволу дерева и погрузился в ещё более глубокие размышления. Теперь он совершенно ясно видел, что уже после первых четырёх лет их супружеской жизни он начал отстраняться от Ситы. И этот процесс был неизбежен, ибо он тянулся к чему-то, лежащему за пределами человеческих отношений. Было ли это замужество для её блага? — или для его?

Мелодия прокажённого изменилась. Возможно, также, двери храма были распахнуты, так как через деревья донёсся более полный звук музыки, и раджа тут же потерял нить своих мыслей. «Сита, — пробормотал он, — я любил тебя; пусть этого будет довольно! Никаких

воспоминаний сейчас! Время прошло; юность прошла. Позволь мне держаться за истину — *мою* истину. Но какой может быть та истина, которую ищут женщины?

— Несомненно, в природе женщин есть красота, которая не является красотой мужчин. И разница заключается не просто в цвете, а в сущности. В мире, наполненном жестокостью, суровостью, педантизмом и лицемерием мужчин, разве женщины не являются спасительной благодатью, благоуханием и светом?

Из дома донеслись звуки людских разговоров. Раджа оттолкнулся от ствола дерева, слегка пошатнулся и начал возвращаться назад по туннелеподобной тропе к дому.

Две фигуры виднелись на другой стороне лужайки. — Лалита? — окликнул он.

— Да, раджа. Это я. — И девушка двинулась ему навстречу.

— Хорошо было бы, если бы мы могли остаться здесь снаружи! — сказала она, когда они встали рядом посреди лужайки, глядя на луну.

— Если хочешь…

— Нет. — Её голос стал тише. — Мы не можем быть уверены, что нас не подслушивают.

Вместе они вошли внутрь. Маленькая гостиная была удушающе жарко натоплена. Лалита подошла к подносу.

— Нет пальмового вина? Только щербет и фруктовый сок? Мне хотелось бы пальмового вина. — Она тихо рассмеялась. — А лучше рисовой водки.

Амар подал знак Вагиру, который маячил в дверях, и как только тот ушёл, Лалита подошла к нему и сказала вполголоса: «Когда Вагир вернётся, пожалуйста, отправь его куда-нибудь, где он никак не сможет нас подслушать. — Раджа, отвечай!» И она потянула его за рукав.

— Прошу прощения; я слушал музыку.

— Какую музыку?

— Музыку храма.

Лалита прислушалась на минуту. — Я ничего не слышу.

Вошёл Вагир и поставил на поднос несколько графинов.

— Пожалуйста, закрой наружные двери, — сказал Амар, — а затем поднимись в свою комнату наверху и оставайся там, пока я тебя не позову.

Вагир поклонился и удалился.

— Да. Теперь я слышу, — сказала Лалита. — Но она очень тихая. У вас должен быть необычайно хороший слух.

Амар нахмурил брови. — Вы нанесли больше аромата, чем обычно?

— Нет.

— Сегодня ночью мои чувства очень остры. — Он улыбнулся. — И думаю, я знаю почему.

Лалита не слушала; она подошла к дверному проёму и заглянула по очереди в каждый проход. Тем временем раджа налил немного пальмового вина и протянул ей.

— Благодарю. — Так часто случается, что я забываюсь и начинаю кричать. — Она рассмеялась. — И в любом случае, эта страна полна любителей подслушивать. Вы не можете отрицать это, ведь так, раджа?

Она взяла его под руку и подвела к окну. — Как темно выглядит снаружи. Скорее всего, сад уже полон людей, которые слушают. — И она снова рассмеялась.

Пока они вместе склонялись над подоконником, он почувствовал тепло её тела рядом со своим. Он чувствовал, что она опирается на него всё тяжелее. «Я тоже испытываю жажду, — сказал он, и чтобы найти себе предлог для движения, пошёл и налил себе ещё один бокал пальмового вина.

Лалита осталась у окна. Глядя на неё, раджа подумал: «Как высоко она ценит свою красоту! Как глубоко она живёт в ней, как непрерывно осознаёт её! Но она увянет, и тогда что? Странность в том, что ответ на этот вопрос прямо противоположен тому, чего можно было бы ожидать».

Лалита отошла от окна. — Я совершенно не умею плести интриги, — внезапно сказала она, — но когда сегодня днём Амбисса и мой отец пришли ко мне, чтобы убедить меня подняться в Лагерь, я около часа делала вид, что ничто не заставит меня отправиться туда. Затем, когда Амбисса снова предложила чтобы я остановилась у вас, я дала своё неохотное согласие. Бедный раджа! Скоро у вас будут и мой отец, и Амбисса, оба умоляющие вас принять меня.

Она стояла теперь у его письменного стола. — Что это вы пишете здесь столько часов подряд?

— Мой дневник.

— Вы запишете то, о чём мы говорим сегодня вечером?

— Да.

— Интересно.

— Я запишу всё.

— Ах! Вы говорите это для того, чтобы… — Она отвернулась.

— Вы и свои мысли записываете? — спросила она тихим голосом.

— Некоторые из них.

Она тихо рассмеялась со слегка насмешливой ноткой. — Вы не можете записать их *все*. Я однажды пробовала. Это невозможно.

Она погрузилась в задумчивость. Глядя на неё, он почувствовал волну восхищения. Принимая плоть и дух как единое целое, он находил её по-своему прекрасной; и это несмотря на то, что она была эгоцентрична, тщеславна и поглощена эмоциями, проистекающими из секса.

— Проблема в том, что вы не верите ни единому моему слову. — Она подняла голову и улыбнулась ему. — Для начала позвольте рассказать вам о драконьей крови…

— О, оставьте это! — прервал он её.

— Как хотите. Но когда я бываю со старухой, я действительно вижу вещи в чаше. Глупо не верить во второе зрение. У стольких людей есть этот дар. Парми, например, видит гораздо больше, чем я. — Она помолчала. — Вы знаете почему, раджа?

— Почему?

— Потому что она девственница.

Лицо раджи было лишено всякого выражения. — Старуха получает свои новости от почтовых голубей, — сказал он.

— Часть из них. Знаю. Но не все. И не знание будущего.

Наступила пауза. Он заметил, как поднимается и опускается её грудь. Она налила себе немного рисовой водки и быстро выпила.

— Вы придаёте большое значение целомудрию? — спросила она.

— Я верю, — медленно ответил он, — что существуют определённые духовные переживания, которых невоздержанный человек получить не может.

Внезапно, и словно непроизвольно, она громко, издевательски рассмеялась. — Существуют также определённые духовные переживания, которых целомудренный человек получить не может.

Через мгновение она подошла к нему — так близко, что он увидел выступивший на её висках пот. — Так вы верите в целомудрие, — пробормотала она. — И Сита тоже? — Она смотрела вниз сквозь полузакрытые веки. Раджа не ответил.

— Вы не верите в мою любовь к Хари, — быстро сказала она, — ни в его ко мне.

— Я думаю, вас обоих очень сильно тянуло друг к другу.

— Тянуло? — А знаете ли вы, что я была его любовницей?

— Нет.

— И вы сомневаетесь в этом сейчас. — Тот вечер в Нагорье после того, как вы помешали Хари прийти в мой шатёр — откуда вы знаете, что я не пошла в его?

— Я не думаю, что вы пошли.

— И откуда вы знаете, что я не была его любовницей до этого? — На самом деле была. Задолго до этого.

— Давайте оставим это, Лалита.

— Очень хорошо. — В её голосе прозвучала нотка гнева. — Поговорим о Сите?

— Если хотите.

— Я видела её мельком при дворе — в Агре. Я подумала, что она прекрасна. — Последние слова были произнесены тихим и печальным голосом.

— Вам известно, что её ум устремлён к религии — не менее твёрдо, чем мой?

Лалита одарила раджу странной улыбкой.

— Мое дитя, — сказал раджа после паузы, — я собираюсь рассказать вам кое-что о себе. — Он снова помолчал, его взгляд был задумчивым, и он провёл рукой по лбу. — Короче говоря, дело вот в чём: я собираюсь полностью удалиться от мира. Через несколько недель я отправлюсь на Цейлон, где уйду в монастырь — и так окончу свои дни.

Глаза Лалиты, которые широко раскрылись, уставились на него в ужасном пристальном взгляде. — Через несколько недель? — пробормотала она.

— Через очень немногие недели. — И затем, более чем странно, он поймал себя на том, что говорит: — Возможно, даже через несколько дней.

Лалита сильно побледнела, и её глаза продолжали смотреть на него всё тем же немигающим взглядом. Ему удавалось сохранять свою мягкую, добрую улыбку, хотя сердце теперь тяжело билось.

Лалита внезапно осунулась. — Вы не можете так поступить! Вы не можете так поступить! — пробормотала она.

Раджа ничего не сказал, но сохранил свою мягкую улыбку.

— Вы не понимаете… Как вы можете оставить Ситу? Вы говорили мне, что любите её.

— Да. Люблю. — Мы любим друг друга, но она согласна с тем, что я должен следовать своим путём.

— Она согласна! — Лалита подхватила эти слова со страдальческой гримасой.

Несколько мгновений она хранила зловещую тишину, затем сказала: — Сита влюблена в Хари.

Раджа воспринял это с совершенным спокойствием. — Я боялся, что вы могли вообразить нечто подобное, — мягко сказал он. — Но позвольте мне заверить вас…

— Дурак! — тихо сказала Лалита и быстро отвернулась.

Пока лицо Лалиты было отвернуто, взгляд раджи покоился на ней с холодным, жёстким и расчётливым выражением.

— Хари уже довольно долгое время глубоко привязан к Сите, — сказал он, и его голос был самой нежностью. — Она проявила к нему сочувствие и утешение, когда он чувствовал себя несчастным из-за вас. Но, поверьте мне…

Лалита вскрикнула и снова развернулась.

— Раджа! — сказала она низким, поспешным голосом, — Сита ещё молода — ей немногим больше тридцати, я полагаю? И она прекрасна. И — и уж конечно, она всё ещё хочет быть любимой? Разве вы не понимаете, что я имею в виду, раджа? Как вы можете оставить её именно сейчас? Неужели вы действительно верите, что она…

Раджа, глядя мимо неё, сжал губы. — Люди не все такие, какими вы их считаете, — сухо сказал он, затем помолчал и продолжил более мягким тоном. — Если бы вы знали Ситу так же хорошо, как знаю её я, вы бы лучше понимали, как я могу сделать этот шаг. Путь, которому она следовала — пути, которым она намерена следовать — не так уж сильно отличаются от моих.

Лалита покачала головой.

— Сита, — продолжал раджа, — жаждет святости, жажда которой у вас в вашем нынешнем… Лалита вскинула голову; челюсти сжаты, рот оскален. Она открыла рот, чтобы сказать: — Достаточно. Сита уже некоторое время является любовницей Хари. И я думаю, вам следует об этом знать.

Раджа бросил на неё холодный гневный взгляд и издал звук презрительного неверия.

— Я знаю это! Я знаю это! — воскликнула Лалита; и внезапно, начав ходить взад-вперёд по комнате, она рассмеялась. — Конечно же, она его любовница. Мне следовало бы знать это без того, чтобы они все мне об этом говорили. Это началось в Кханжо; затем был перерыв; а теперь они начали снова. Теперь они наедине друг с другом в вашем доме. А вы — вы остаётесь здесь — разговаривать! Раджа, очень бледный, смотрел на неё всё теми же жёсткими, расчётливыми глазами. Дрожащей рукой Лалита налила себе ещё немного рисовой водки и выпила. — Я не хотела вам говорить, но в конце концов пришлось. Разве

вы не видите, что не можете позволить всему этому продолжаться? Вы ведь не хотите, чтобы я вышла замуж за этого отвратительного подлеца Данияла, когда я люблю Хари, а Хари действительно любит меня. Вы ведь не хотите всерьёз, чтобы Даниял стал императором Индии, вы ведь не хотите всерьёз, чтобы я помогла ему взойти на Трон. Вы ведь не одобряете то, что Амбисса разводится с Хари — просто назло ему, и потому что она хочет стать тёщей будущего императора. Отвечайте мне, раджа! — И, так как Амар молчал, она продолжила: — Хари занимается любовью с Ситой, только потому что меня нет рядом. Вы не можете позволить ему продолжать. Вы не можете оставить всё это происходить! Это мерзко. — Разве вы не видите, что можете остановить всё, помогая мне сбежать с Хари? Возьмите меня в Рави, и тогда вы сами увидите, говорю ли я правду. Ради бога, возьмите меня в Рави, раджа! Хари восхищается Ситой, — он поклоняется ей, если вам угодно; но она не его поля ягода. Вы знаете это, раджа, так же хорошо, как и я. Но мы с Хари — мы одного поля ягоды — одного безнадёжного поля ягоды — и вы должны позволить нам отправиться в погибель нашим собственным путём.

Раджа простоял совершенно неподвижно минуту после того, как она закончила, и выражение его лица было неразборчивым. Затем он начал бесцельно бродить по комнате, словно ища что-то. Она смотрела на него со взглядом ужасной тревоги в глазах.

— Послушайте, моя дорогая Лалита, — сказал он наконец, и его голос был спокоен. — Я не хочу сказать ничего, что могло бы вас ранить, но… — Он остановился. Казалось, он собирал воедино все свои ресурсы. Постепенно на его лице появилось выражение доброты. — Лалита, моё дорогое дитя, — начал он заново. — Простите меня за то, что чувство, которое вы питаете к Хари в данный момент, в значительной степени искусственно. Это реакция на вашу неприязнь к Даниялу. И ваше отношение к Даниялу также претерпело в последнее время в вашем уме сильное преувеличение и искажение. Нет необходимости или неизбежности в том, чтобы вы ненавидели Данияла так сильно, как сейчас воображаете. Вы романтизируете всю эту ситуацию. Это особенно очевидно в том, как вы убеждаете себя, что Хари всё ещё влюблён в вас, а Сита влюблена в него. Всё это чепуха. — Что касается остальной картины, которую вы нарисовали, она настолько экстравагантно раскрашена, настолько грубо искажена, что перестаёт быть хоть сколько-нибудь похожей на истину. Несомненно, Хари ухаживал — и ухаживает сейчас, если вам угодно — за Ситой. Но найдётся ли женщина, которой он не оказывает знаки внимания? Несомненно, бывают времена, когда вы жалеете, что прогнали его, но — ваша любовь к нему, Лалита, никогда не была достаточно глубокой, чтобы заставить вас разорвать помолвку с Даниялом, и… — Здесь раджа сделал паузу — — Я почти уверен, что вы никогда ни в какое время не были любовницей Хари. Во всём, что вы говорили, присутствует серьёзная доля неправды. И вы обманывали себя своими собственными искажениями. В отношении Ситы в частности вы непростительно и умышленно ошибаетесь. У вас абсолютно нет оснований говорить… У вас нет причин верить… что она уступила Хари. И даже если есть сплетни такого рода, сплетня не является доказательством истины. Возможно, та старуха со своей драконьей кровью разжигала ваше воображение дикими сказками; весьма вероятно, она оказалась

достаточно хитрой, чтобы придумать именно то, что скорее всего должно было вас встревожить, и заставить дать ей больше золота. Ваше воображение вышло из-под контроля; пора его обуздать. Взгляните реальности в лицо! Ваш брак с Даниялом не будет идеальным, но вы знали об этом шесть месяцев назад, когда обручились. Несомненно, тогда вы рассуждали, что Даниял не станет навязывать себя вам в качестве мужа, а ваше положение императрицы принесёт компенсации. За это время не произошло ничего сколь-либо важного, что давало бы основания для изменения точки зрения. Неужели Хари действительно присылал вам пылкие любовные письма? Осмелюсь усомниться в этом. Он мог написать однажды, но это мало что значит. В любом случае; он не чахнет, Лалита, вы должны вернуться к реальности.

Во время этой речи раджи Лалита не шелохнулась. Лишь её выражение изменилось. Мало-помалу свет ушёл из её лица, которое теперь выглядело тяжёлым и тусклым — и почти уродливым в своей тусклой тяжести. Она опустила взгляд и стиснула зубы. На мгновение раджа подумал, что она собирается ответить, но слов не последовало, и вскоре она медленно пошла к двери. Раджа последовал за ней. Они вышли, прошли через холл и спустились по ступеням на дорогу.

Когда она ступила в паланкин, он взял её руку и пожал. — Лалита… — начал он; но она перевела дыхание и крикнула носильщикам трогаться. Раджа отступил. Минуту он стоял на дороге, глядя вслед удаляющемуся паланкину, затем вернулся в дом.

III

Два дня спустя раджа был на пути обратно в Рави, и на этот раз он ехал верхом и без компании. Скача впереди своей кавалькады, он мог предаваться размышлениям, которые были настолько глубоки, что спроси он себя внезапно, о чём думает, то едва ли смог бы найти ответ.

Лалиту он больше не видел. В течение всего своего последнего дня в Катхияпуре он оставался в своём доме, но там его по очереди посетили Шрилата, Мобарек и Амбисса. Шрилата почти убедила его в том, что развод Амбиссы с Хари не следует воспринимать как нечто постыдное; а что касается изгнания Хари, то оно, сказала она, несомненно, закончится со свадьбой Лалиты и Данияла, что также положит конец нынешнему кризису. Сначала Амар колебался принять эту точку зрения; но Мобарек, когда пришёл, оказал ей свою поддержку. Наконец, в конце дня, Амбисса ворвалась с вестью о том, что программа торжеств в Лагере была окончательно отменена, и что принц очень скоро присоединится к Лалите в Катхияпуре. Что касается самой девушки, то она «полностью оправилась от нервного приступа» и теперь была «вполне разумна».

Всё это было чрезвычайно удовлетворительно. Раджа смог покинуть Катхияпур с чувством, что более длительное пребывание здесь излишне — возможно, даже нежелательно.

Лес, через который он теперь проезжал, напомнил ему поездку из Кханжо в Рави, которую он совершил вместе с Хари около четырёх месяцев назад. Он хорошо помнил ту влажную, тихую, безветренную тропу под высокими деревьями, и то, как, пока он скакал впереди, погружённый в медитацию, он постепенно начал осознавать устремлённые на его спину глаза Хари. Личность Хари вновь стала для него невероятно яркой. Так же ясно, как если бы Хари был рядом с ним, он увидел эту фигуру, сухощавую и отнюдь не лишённую элегантной крепости, эту хорошо вылепленную голову и довольно скуластое лицо с широко расставленными глазами. Подозревал ли, спрашивал он себя, подозревал ли он уже в те ранние дни, что Хари находится под обаянием Ситы? Было ли это причиной того, что он раскрыл своё намерение удалиться от мира? Это был разговор, полный несказанной борьбы, темперамент молча боролся с темпераментом; и он ощущал в себе холодную, непроницаемую силу и способность смирять и приводить к покою. Да, через некоторое время огонь погас в Хари; ибо, так же как питон бессилен проявить свою силу, если не закреплён за какой-нибудь камень или дерево, так и человек зависит от своей хватки за реальность. У реальности холодное дыхание, которое гасит огонь всех эмоций, не принимающих её должным образом в расчёт. Бедные глупцы, Губернатор и йогин, которые не считали его реалистом! Разве не мог он погасить огонь и в них тоже? Разве не мог он обесцветить и иссушить их тщетные фантазии — точно так же, как он обесцветил и иссушил фантазии Хари — и Лалиты?

Затем, посреди этих мыслей, он вдруг резко натянул поводья, перевёл дух и нахмурился. Он осознал, что его лицо исказила холодная и жестокая улыбка. О благодать Просветлённого! Какой гнев, какая злоба таились в нём? Неужели он действительно наслаждался тем, что сокрушил Лалиту?

Некоторое время он размышлял над этим, а затем воскликнул про себя: «Что стало с моим уединением — моими беседами в огромном небе спокойствия, когда мир виден с такого большого расстояния, что кажется маленьким и безмолвным? Какими роковыми слабостями я пойман? Увы, не только ревностью и гневом, но и сомнением. Я полон смятения и домыслов там, где не должно быть ни смятения, ни домыслов. Навязчивая и настойчивая, убедительная и цепляющаяся, взывающая к жалости, жалкая преходящей красотой и животным порывом Майи — таков женский дух. Отстраняться от женщин — мудрость, но бежать от них — трусость. Разве я не считаю за благо то, что даже для любви нет места в Нирване?»

Это беспокойство вдохновило его жаждой самодостаточности, какой он никогда прежде не знал. Его стремление к уединению, отстранению, покою было всепоглощающим. И всё же ночью, между сном и бодрствованием, он ловил себя на составлении писем Сите, эмоциональный тон которых смущал его всякий раз, когда воспоминание о них проплывало через его сознание днём. «Сита, моя возлюбленная, — говорил он, — как я

могу оставить тебя, не объяснив тебе? Я люблю тебя и должен исчерпать свою любовь как возлияние — до последней капли. Я делаю это сейчас ради тебя, чтобы ты увидела меру моей любви; я должен сделать это ради себя самого, ибо мне предстоит идти своим путём, опустошённым от всех земных страстей. Только неземную любовь я могу сохранить, любовь, которая есть аспект Вечного, созерцающего самоё себя. А ты — хотя ты и не признаёшь Пути, твой Дух тем не менее продвигается к Цели».

Обнаружение в себе скрытой деятельности грез, его смутное сознание того, что он следует подземным потокам мысли, вселяло в него тревогу, которая порой доходила до ужаса. Невежество — одна из самых тяжелых цепей духа; и какое невежество может быть опаснее невежества о собственном скрытом разуме? «Пока мой скрытый разум разворачивается подобно медленной змее, что мне делать? Что я могу осмелиться сделать, кроме как следовать велениям своей воли? А моя воля должна руководствоваться теми знаниями, которые у меня есть. И все же и воля, и знание кажутся мне дающими очень мало подлинной силы».

В день прибытия на последней стадии его пути шел дождь; прошлой ночью по этой части леса пронеслась сильная буря. Гостевой дом Данияла — тот самый, где он впервые встретил Смита, — блестел в лучах послеполуденного солнца; деревья вокруг него все еще роняли капли, а от земли поднимался легкий пар. Исчезли розовые цветы рододендронов, устилавшие землю во время его прошлого визита; более того, всему месту был придан измененный, потрепанный бурей вид. Падение трех больших деревьев расширило просеку и впустило гораздо больше света. От сломанных стволов и оборванных ветвей исходил запах смолы, висевший в теплом влажном воздухе.

Размышляя о том, что теперь он находится всего в пятнадцати милях от собственного дома, он гадал, как поживает его сад, и не провела ли Сита очень беспокойную ночь. Должно быть, она прислушивалась к реву ветра, боясь за безопасность Хари и Гогала, — и все же их палатки, конечно, были разбиты в таком укромном месте, что никакая буря не могла причинить им большого вреда.

У своего лагерного костра накануне вечером он принял решение отправиться — не в свой дом, а в Лагерь. «Оттуда, — сказал он себе, — я пошлю сообщение Гогалу с просьбой прийти ко мне. Мы должны поговорить друг с другом прежде, чем будет сделано что-либо еще».

Но едва приняв это решение, он испытал острое желание пойти прямиком домой. Не сделать этого означало для него почувствовать себя изгоем и изгнанником. Ему даже пришла в голову фантастическая мысль шпионить за домом и угодьями с холма позади них. Оттуда, размышлял он, он сможет смотреть сверху вниз на лежащего на солнце возле своей палатки Гогала, занятую в саду Ситу, Джали и Хари... Он увидит их всех — такими, какими они бывают, когда его нет рядом. И видеть людей в таких условиях — или видеть любого

человека таким, какой он есть, когда считает, что совершенно один, — это нечто большее, чем удовлетворение особого любопытства; это потворство неправедной жажде тайного знания и той власти, которую оно приносит. Мабун Дас, подумал раджа, имел слишком много возможностей для удовлетворения этой жажды и вряд ли мог избежать ее развращающего влияния. На некоторое время его мысли беспокойно остановились на Мабуне Дасе; затем он поднялся и, посетив Вагира, слегшего с лихорадкой, пошел в свою комнату и растянулся на кровати.

Он пробыл там недолго, как гостевой дом пришел в движение из-за новых прибывших, и он узнал голос и смех Чурамана. Острое любопытство узнать от Чурамана, был ли он одним из молодых людей, сопровождавших Данияла в его визите к Сите, сдерживалось столь же острым нежеланием возобновлять знакомство с Чураманом вообще. Он снова поймал себя на мысли о том, над чем смеялся Даниял на обратном пути через озеро; и вновь выпрямился от досады. Голоса, мужские и женские, проникавшие сквозь тонкую перегородку, пробудили яркие воспоминания об утре, проведенном с Даниялом в Лагере; он решил, что ему подадут вечернюю трапезу в его комнате.

Сгустились сумерки, и постепенно, пока он лежал там, его осенило, что он снова оказался в тисках лихорадки. Его мысли становились все более беспорядочными, пока наконец он не погрузился в бредовые сны.

Когда он в следующий раз вернулся к осознанию окружающего, то понял, что прошло значительное количество времени и что он стал очень слаб.

«Это был действительно сильный приступ, — сказал он себе. — Интересно, сколько дней я здесь пролежал».

В комнате вне поля его зрения кто-то находился. «Вагир!» — слабо позвал он.

Ответ прозвучал бодрым, веселым голосом. «Да, я здесь». И массивная фигура Чурамана появилась у кровати.

Амар поднял на него взгляд, полный смятения.

«Вагир еще не поправился, — продолжил Чураман. — Но ты, я вижу, уже на пути к выздоровлению».

— Как долго я здесь?

— Два дня.

Раджа закрыл глаза, выпил то, что Чураман поднес к его губам, и со вздохом усталости снова уснул.

На следующий день, когда он проснулся, то почувствовал себя поистине выздоравливающим. Он послал за Гурманом и сказал: «Меня удивляет, что Вагир не отправил послание моей жене. Разве он все еще так сильно болен?»

Чураман замялся. «К сожалению, должен сказать, что он умер».

Раджа снова закрыл глаза. Между ним и Вагиром никогда не было много разговоров, но узы привязанности от этого были не менее крепкими.

«Раджа, — сказал Чураман, присев на край кровати, — поздравляю вас с быстрым выздоровлением. Вы сможете продолжить свое путешествие через день-два, если погода улучшится. Последние два дня путешествовать было почти невозможно. Вот почему я воздерживался от отправки сообщения рани Сите с известием что вы лежите здесь больным. При сложившихся обстоятельствах я чувствовал, что вы предпочли бы, чтобы я не нарушал ее душевный покой без необходимости. Вы были не настолько больны.»

Раджа прервал его, подняв руку. «Вы были совершенно правы. И я не хочу, чтобы ее звали сейчас».

Лежа в постели, он позволил своим мыслям блуждать. В этой маленькой комнатке было темно и уныло, дождь барабанил по крыше, а в деревьях завывал ветер. Смерть Вагира и чувство отчуждения от дома и родных повергли его дух в глубокое уныние; тем не менее он предавался своему одиночеству с удовлетворением, думая, что если ему суждено умереть, то здесь, в этом постоялом дворе, забытым, без всякого внимания, обычно оказываемого человеку его ранга, без утешения друзей и семьи, без братских забот собратьев-священников в монастыре — если ему суждено умереть вот так, это будет хорошая смерть, предоставляющая ему возможность смирением и стойкостью искупить некоторые из многих ошибок своей прошлой жизни.

На следующий день Чураман пришел нанести ему прощальный визит, поскольку погода настолько улучшилась, что он и его друзья решили возобновить свое путешествие в Катхияпур. В ходе последующей беседы выяснилось, что Чураман сопровождал Данияла в его визите к Сите, а впоследствии был отправлен к ней посланцем с приглашением посетить Лагерь. Это приглашение было принято, и Сита побывала на ланче у принца.

— Днем, — продолжил Чураман, — я имел удовольствие сопровождать рани Ситу обратно через озеро, и она пригласила меня зайти в дом. Там мы застали Хари Хана и Гогала за глубоким разговором с йогином, который спустился из Канджо, где навещал своего брата.

— Я знаю этого человека, — сказал Амар. — Я встречался с ним в Катхияпуре.

Чураман помолчал мгновение, затем сказал: — Знаете ли, раджа, я считаю его довольно опасным человеком.

— Опасным?

— Я хочу сказать — неосмотрительным.

В этот момент, получи он немного поощрения, Чураман мог бы сказать больше; но Амар улыбнулся и сменил тему разговора; и вскоре после этого они попрощались.

Отъезд Чурамана оставил раджу в задумчивости. «За последние три дня, — сказал он себе, — этот человек проявил величайшую сердечную доброту; а то, что он сделал для меня, он сделал бы почти для любого другого с не меньшей природной готовностью. Какие же выводы мне следует сделать?»

На следующий день его понесли в паланкине вверх, в Лагерь, и там он обосновался в доме Мобарека.

IV

Все утро шел дождь; послеобеденное время было тусклым и темным. Закутавшись в плащ, который он накинул на себя, раджа шагнул навстречу бушующему ветру и посмотрел вверх на небо, изрезанное рваными и разорванными тучами. Все было серым, за исключением одного места, где по ту сторону облаков виднелся клочок нежной синевы. Озеро было неспокойным, а противоположный берег казался не более чем размытым пятном в тумане.

Спустившись к воде, он стал ждать, глядя в том направлении, где должна была появиться лодка Гогала. Вскоре он увидел ее — неясную, одинокую точку; и мысль о том, что это Гокал, идущий к нему на его зов, заставила его сердце сжаться от неожиданного волнения. «Пожалуй, — сказал он себе, — я до сих пор никогда не осознавал глубины моей привязанности к этому человеку». Его память обратилась к Гогалу пятнадцатилетней давности: крупному мужчине, склонного к полноте, но бодрому несмотря на свою сидячую жизнь, — человеку, чья голова как выглядела, так и являлась подходящим дополнением к массивному телу под ней. С тех пор прошли многие годы безмятежной дружбы, прежде чем Гокал пал жертвой меланхолии; и Амар вздохнул, думая о том, что именно избавляясь от этой меланхолии его друг в конце концов позволил себе подпасть под чары Гуневати. Как же печально изменился Гокал за последние шесть месяцев! В той маленькой лодке скорчился тяжеловесный мужчина с нездоровым цветом лица, глаза которого хранили взгляд подавленной муки. И все же, даже в нынешнем Гогале жил благородный дух, и его разум, хотя и заброшенный, и плохо используемый, оставался, верил раджа, по сути своей неиспорченным.

Обернувшись, он бросил взгляд на залитую дождем набережную. Она была пустынна, а дома позади выглядели брошенными. Он едва мог заставить себя поверить, что в Лагере все еще находится Даниял и большая часть его свиты.

Несколько минут спустя лодка подошла к пристани, и Амар, тревожно осматривая Гогала, нашел его выглядящим гораздо лучше, чем он смел надеяться. В их приветствиях двое мужчин выказали некоторую неловкость, но внезапно, движимые общим порывом, обнялись — чего не делали уже много лет. Подгоняемые попутным ветром, они поднялись к дому. Обмениваясь поверхностными новостями, они шли медленно, наполовину опасаясь уединения, которое ожидало их в помещении.

Прежде чем войти, Гокал остановился и огляделся вокруг. — Ты слышал местную легенду, касающуюся берегов этого озера?

— Да. Говорят, оно усеяно руинами, которые лежат погребенными под илом.

— Едва ли руины! Скорее, это остовы увеселительных домов вроде этих.

Амар тихо рассмеялся. — Что ж, посмотри вокруг! От Удовольствия Искусств слава тоже уже уходит, как ты можешь видеть.

— Она вернется вновь, — неожиданно ответил Гокал.

Амар помолчал мгновение, затем сказал: — Принц уезжает через несколько дней. Возможно, он вернется в следующем году — возможно, нет. Кто может знать?

Гокал посмотрел вдоль берега озера. — Немного хлипко. Немного хлипко. — Но говорят, что воздух и вода этого места сохраняют все. Оно все медленно оседает под ил, и там лежит нежно сохраненным.

Раджа был озадачен, затем открыл рот, чтобы заговорить, но ветер, пронесшийся яростным порывом за угол дома, послужил предлогом для молчания. Вместе они вошли внутрь.

Большая комната, теперь наполненная сумерками, казалась больше и голее, чем когда-либо. Извиняясь за негостеприимный вид помещения, Амар провел своего гостя к широкому окну с видом на озеро. — Присаживайся! — сказал он и, положив подушку за спину Гогала, повернулся и встал, уставившись на пустую набережную и серую воду.

— Прежде всего, — произнес он наконец, — я собираюсь дать тебе краткий отчет о своих переживаниях с тех пор, как расстался с тобой. И с этим он приступил к рассказу.

К тому времени, как он закончил, сумерки сгустились. Выражение лица Гогала скрывалось во мраке. Пока говорил Амар, тот сидел неподвижно, как скала, и едва открывал губы. Вскоре Амар позвал слугу, и масляные лампы были поставлены по одной на каждом конце комнаты.

— Только что, — сказал раджа, — когда я говорил о Гуневати, ты дал мне понять, что то, что я рассказывал тебе, не ново. Полагаю, ты уже слышал кое-что о ней от Джали?

Гокал нервно разгладил свои одежды. Мерцающая лампа освещала большое овальное лицо, но глазницы были темны; и все же эти глаза казались Амару устремленными на него с тревожной, задумчивой пристальностью.

— Что ж, — неуверенным голосом ответил брахман. — Мы поговорим о Джали, но — это долгий разговор.

Вошел слуга и поставил вино на стол перед ними.

— Где Вагир? — рассеянно спросил Гокал.

— Мертв — как я уже говорил тебе.

— А! — вздохнул Гокал, извинился жестом и прикрыл глаза рукой. — Ты будешь скучать по нему.

Амар промолчал.

— Ты выглядишь больным, — печально сказал Гокал. — Это лихорадка. Тебе нужно быть осторожным.

— Все это в прошлом, — коротко ответил раджа.

Гокал поерзал, а затем с усилием начал говорить: — Прошло всего несколько часов после того, как ты покинул дом, как пришел Джали…

В этот момент лампа у локтя раджи была задута ветром, а дверь в конце комнаты с силой захлопнулась. Раджу позвать слугу, но Гокал жестом остановил его. — Помнишь ли ты? — продолжил он. — То было особенно прекрасное утро. Ты плыл через озеро к этому месту… Что касается меня, то у меня выдалась плохая ночь, и я сидел перед своей палаткой на солнце. Хари еще спал. Сита ушла собирать анемоны на холме позади дома. И тут появился Джали.

Здесь Гокал умолк, разгладил свои одежды и, казалось, испытывал трудности с продолжением речи.

Раджа наконец сказал: — Не могу представить, почему тебе трудно говорить. Уж конечно, ты не полагаешь…

— Нет-нет, — поспешно ответил Гокал. — Моя трудность в том, что я не смогу избежать того, чтобы не показаться вычурным и глупым. И все же мне кажется важным, чтобы ты не спешил делать вывод о том, что плохое здоровье ослабило мой разум, ибо тогда ничто из того, что я скажу, не будет иметь для тебя никакого веса.

— Мой дорогой Гокал! — воскликнул Амар. И добавил: — Во всяком случае, я скажу то, что думаю.

— Накануне вашего отъезда, — продолжал Гокал, — я впал в своего рода транс, и все еще находился в состоянии транса, когда пришел Джали и встал передо мной. Он стоял там, на солнечном свете, выглядя очень бледным и жалким. Мы молча смотрели друг на друга. Я уже знал — отчасти интуитивно, а отчасти… — Здесь он прервался и, издав нечто вроде стона, начал заново. — Амар, я знаю, что вера в сверхъестественное отвратительна тебе, и все же я вынужден заявить о своем убеждении в том, что утром возле вашего дома произошло нечто, выходящее за рамки обычного хода природы. Я был не одинок в этом чувстве. Как я уже сказал, там стоял Джали; и, глядя на него, я увидел, как в его глазах собирается выражение изумления и, наконец, ужаса. Сколько мы продолжали так, я не знаю, потому что случилось нечто, изменившее всю сцену. То было утро самого жаркого, ярчайшего солнечного света, как вы знаете; каждая рябь на озере, каждый лист на деревьях был резким и ясным; лик природы был отчетлив твердым определением очертаний, и все же — и все же этот самый лик природы дрожал и трепетал, словно собственное отражение на поверхности озера. Тонкость корки осязаемых вещей, пустота материи, поверхностность внешнего вида внезапно раскрылись. Говорю тебе, Амар, все колебалось, словно ему угрожала потеря его хлипкой фактической действительности. Думаю, это имело какое-то отношение ко Времени, поскольку Джали впоследствии рассказал мне, что пока я сидел там перед ним, он видел меня с изменившимся лицом и закрытыми глазами, каким он увидит меня однажды, когда я буду мертв. Что касается меня, то мною овладел не столько страх, сколько сильное беспокойство, глубоко укоренившаяся тревога, вызванная, как я полагаю, моим ощущением легкого, но глубокого нарушения основ нашего общего феноменального мира. И пока это происходило, я почувствовал полусладкий-полугнилостный запах водяных лилий, а затем был поражен и глубоко смущен, услышав поблизости трубление слона. Этот звук прозвучал как кульминация; и он вырвал меня из моего транса — если это был транс. Я поднялся, чтобы прийти на помощь Джали, который в тот же самый момент упал в обморок. Мои слуги бросились вперед с растерянными и встревоженными лицами; а Хари выскочил из своей палатки совершенно голым. Хари впоследствии рассказал мне, что он спал и видел страшные сны, когда трубление слона разбудило его. Он вскочил из своей палатки, не зная, что делает, и в следующую минуту, сбитый с толку и раздосадованный собой, вернулся обратно.

— Как ты знаешь, Амар, в то время на сотни миль вокруг Рави не было слонов. Но теперь — этого, я полагаю, ты не знаешь — один есть — слон, который прибыл в Лагерь неделей позже. Его доставили сюда с большим трудом и расходами для Данияла, у которого была какая-то идея, как мне кажется, ввести его в какую-нибудь сцену своей пьесы. Но он одичал — по какой причине, я не знаю — и очень часто трубит от ярости. Однако его трубные звуки до сих пор ни разу не были слышны через всю ширь озера.

— Но вернемся к Джали. Он оставался без сознания некоторое время — возможно, полчаса. Зная, что я именно тот человек, которому он хотел излить душу, я держал его при себе. Его отнесли в мою палатку; я был с ним, когда он пришел в себя, и он остался со мной, деля мою палатку, на следующие несколько дней. За это время он рассказал мне обо всем

своем недавнем опыте пребывания в Лагере, включая все, что он знал о Гуневати. Он рассказал мне также и многие другие вещи… вещи, которые со временем я дам тебе узнать. Мое чувство вины перед ним велико.

Внимательно слушая, раджа не шелохнулся; а после того как Гокал закончил, он все еще молчал. Теперь через комнату прошел слуга, чтобы объявить, что вечерняя трапеза готова.

Они перешли в другую комнату и во время еды говорили о Дин Илахи. По этому вопросу раджа уже написал Гокалу довольно подробно, так что основные черты ситуации были ему известны. Но брахман, казалось, не мог проявить интерес к различным второстепенным пунктам, которые оставалось обсудить. Он был рассеян и ел мало, и трапеза вскоре закончилась.

Когда они снова вернулись в большую комнату и вновь остались одни, Амар, стоя у кресла Гокала, посмотрел на него сверху вниз и сказал: — Вполне естественно, что ваш странный опыт в Рави сбивает меня с толку. — Он помолчал. — Сколько всего человек слышали трубление слона?

— По крайней мере десять человек осознали странное происшествие. Но само трубление слона слышал только один или два человека помимо Джали, Хари и меня самого.

— Связываешь ли ты это в своем сознании…? — Раджа остановился в нерешительности.

— С Гуневати — да. Только те, кто знает Гуневати, слышали трубление.

Раджа помолчал мгновение. — Но какое отношение имеют к этому водяные лилии? И вообще, — нетерпеливо добавил он, — какая связь между слонами и Гуневати?

Гокал положил руку на плечо Амара и издал долгий вздох. — Ты узнаешь все, что знаю я, — но нам нужно время.

Амар улыбнулся. — У нас впереди целая ночь. И весь завтрашний день, если потребуется. Разве у нас нет, по сути, столько времени, сколько мы выберем?

— Я сомневаюсь в этом, — пробормотал Гокал.

Вместе они всматривались в тёплую темноту. Ветер стих до полного штиля. Внезапно Амар сказал: — Водяные лилии, или лотос, символизируют богиню Парвати... а ещё есть демон-слон Гаджасура... Неужели эта старая мифология всё время вертится у тебя в голове?

Гокал рассмеялся. — Во время древней мистериальной пьесы...

— По пути в Катхияпур, — сказал Амар, — я случайно стал свидетелем очень скверной её постановки вместе со Смитом.

— Мне многое нужно сказать о Смите, — пробормотал Гокал.

Амар удивился, но промолчал. Усевшись у большого низкого окна, он посмотрел на озеро, которое начинало слабо светиться от восходящей луны. На берегу озера можно было различить силуэты одного-двух гуляющих. Вдруг до его слуха донёсся слабый трубный звук слона; но он ничего не сказал, так как не был уверен, что Гокал тоже его слышал.

— Что Сита говорила о Лагере? — спросил он. — Её визит, должно быть, позабавил её. Принц произвёл более благоприятное впечатление?

— Она была позабавлена, — медленно произнёс Гокал.

Раджа рассмеялся. — Думаю, что в её глазах Даниял всегда будет прежде всего комической фигурой. И так тому и быть. Я не хочу, чтобы она воспринимала его слишком серьёзно.

Гокал повернул голову, чтобы прямо взглянуть в лицо Радже, при этом сам оказавшись в тени. Его выражение лица было неразборчивым. Он спросил: — Ты уверен, что не закрываешь глаза?..

— На что?

Гокал продолжал смотреть на него.

— Давай будем практичны, — сказал Раджа, меняя тон. — Я полагаю, ты согласен со мной в том, что восхождение Данияла на престол неминуемо. Итак! Будь ты во вражде с Мобареком или неспособен мириться с Дин Илахи, твоё положение оказалось бы неловким, потому что, к несчастью, у твоих врагов есть против тебя зацепка. Но, как я уже объяснил, твой путь, похоже, расчистился сам собой, и это мне очень приятно, причём не только ради тебя, но и потому, как ты знаешь, после моей отставки я хочу видеть тебя главным советником Ситы. Положение дел, как оно обстоит сейчас... На этом месте Гокал внезапно выбросил вперёд руку. — Ты заходишь слишком далеко.

Раджа нахмурился.

— А как насчёт Хари? — спросил Гокал.

— Как раз собирался перейти к этому, — тихо ответил Раджа. — Думаю, те несколько месяцев, которые Хари предстоит провести в Синде, во многом помогут ему прийти к осознанию реальности. В отношениях с женщинами Хари склонен давать волю своим чувствам. Его сентиментальное чувство к Лалите содержало в себе много нереального, как и её нынешнее чувство к нему. К Сите его чувство, несомненно, иного качества, но... — фраза осталась незаконченной. — Надеюсь, — продолжил он после минутной паузы, — надеюсь, что это чувство ляжет в основу настоящей дружбы. Что касается Ситы, то обязанности по управлению государством после моего ухода, долг, наложенный на неё её положением, забота о Джали — эти вещи неизбежно отвлекут её мысли от него. Этот роман, — и Раджа улыбнулся, — приспособится к обстоятельствам. Сентиментальная дружба — я не использую эти слова цинично — вот что принесёт будущее.

Гокал глубоко вздохнул.

— Амар, ты всё ещё полон решимости?

— Да.

— Ты уверен, что внутренне готов?

— Я не так уверен, как раньше. — Голос Раджи звучал горько. — Но, готов я или нет, я твёрдо решил больше не откладывать. Возможно, и ты намерен попытаться отговорить меня? Неужели ты собираешься использовать довод о том, что мои светские обязанности должны стоять на первом месте?

Гокал провёл рукой по лбу. — Не знаю... Начнём с того, что рассмотрим то положение, которое вы отводите мне. Боюсь, я рискую показаться одновременно нелепым и неблагодарным; но, увы, этого нельзя изменить. Амар, я обнаруживаю — к собственному удивлению и досаде, — что, несмотря на все уступки, сделанные Мобареком, я никоим образом не могу солидаризироваться с ним. Хотя у нас с Мобареком много общего, хотя мы оба верим, что Жизнь управляется чем-то внешним по отношению к тому, что мы обычно называем Природой, и трансцендентно устремлена к сверхъестественной цели, между нашими идеалами существует такая разница, что я вынужден считать его антагонистом.

— Эта разница между нами достаточно наглядно проявляется в его отношении к Даниялу. Его совесть позволяет ему вступить в союз с Даниялом ради того, чтобы придать обществу ту окончательную структуру, которую он желает. Я не мог бы так поступить. Считать допустимым связывать себя с Даниялом даже из соображений целесообразности — я полагаю это неправильным. Более того, — задумчиво добавил Гокал, — я считаю политику Мобарека недальновидной.

Казалось, он закончил, но внезапно с внезапным волнением добавил: — Сита тоже никогда не свяжет себя с Даниялом. Не заблуждайся на этот счёт, Амар. Сейчас её забавляет смеяться над ним, — до сих пор у неё не было повода поступать иначе; но если ты попросишь её принять Данияла, оказать ему хотя бы видимость своего содействия или доброй воли, ты столкнёшься с упорным сопротивлением. Ни Ситу, ни меня нельзя оставлять в том положении, которое ты предлагаешь нам отвести. Кроме того, ради тебя самого, я умоляю тебя пока не уходить.

Амар поднялся на ноги и, несколько мгновений молча глядя на Гокала, начал медленно расхаживать по комнате.

— Это, должен признать, обескураживает, — сказал он наконец.

— Мне жаль, что я разочаровал тебя.

Амар продолжал ходить из угла в угол. Гокал сидел со склонённой головой. Через некоторое время Амар остановился и посмотрел на него. — То, что ты говорил, мне кажется, лишь часть того, что у тебя на уме.

Гокал остался безмолвным, и его молчание было упрямым и мрачным. — С тех пор как мы начали говорить, — продолжил Амар, — у меня постепенно сложилось впечатление, что некоторые черты ситуации сильно преувеличены и искажены твоим воображением. — Голос его был холоден и жёсток; Гокал поднял голову, и теперь на его лице отразилось страдание. — Возможно, — продолжил Амар, — тебе станет легче, когда ты услышишь, что я собираюсь сказать Сите, что мой уход оставит её свободной вступать в любые отношения с Хари, какие ей заблагорассудится. Естественно, однако, я скажу всё, что смогу, в виде совета и предостережения. Думаю, чувство, которое до сих пор удерживало её от того, чтобы отдать себя Хари, сложнее, чем она сама знает. Я дам ей понять, что верность собственным идеалам входит в него не менее сильно, чем её чувство верности мне. В глубине души она осознаёт быстротечность всех человеческих страстей. Я объясню, что могу созерцать с совершенным спокойствием — поскольку дело касается меня — её заключение союза — возможно, удастся устроить даже формальный брак — с Хари. Я не буду ревновать, и конечно же, у меня не будет права ревновать. Любовь, которая существовала, и всё ещё существует между ней и мной, не будет унижена и не уменьшится. В Нирване теряются все человеческие жизни и любови; но любовь людей друг к другу — это последнее из звеньев цепи, которые людям суждено сбросить.

Во время этой речи дискомфорт Гокала, достигнув кульминации, казалось, сменился тяжёлой, безжизненной подавленностью. Несколько минут Амар медленно ходил взад-вперёд по комнате. Когда он снова остановился перед Гокалом, то спросил: — Можешь ли ты сомневаться в истинности моих слов?

— Да, — сказал Гокал. Амар отвернулся и подошёл к окну. Луна уже поднялась высоко над озером, посеребрив воду. Амар стоял, глядя на неё, но не видя её.

Наконец он услышал за спиной лёгкое движение и почувствовал руку, положенную ему на плечо. — Пойдём наружу, — тихо сказал Гокал ему на ухо. — Мне нужен воздух.

Амар обернулся. Выражение привязанности, недоумения и страдания на лице Гокала смягчило его. Вместе они вышли из дома и спустились к кромке воды.

V

Стоя у залитого лунным светом озера, Амар вспомнил тот вечер в Королевских охотничьих угодьях близ Агры, когда чувство удивления и трагедии человеческой жизни так глубоко проникло в него, что те несколько мгновений выделились как веха в его жизни. Но,

припомнил он, чуть позже он оказался не в состоянии выразить собственные чувства или облечь в слова сочувствие, которое горе Гокала пробудило в нём. Некий канал общения был перекрыт. «Этого больше не должно повториться», — сказал он теперь себе.

В нескольких шагах от него стоял Гокал, одетый в белое, массивный и неподвижный, с глазами, устремлёнными не на озеро, а на жёлтое свечение, окрасившее небо над театром Данияла. Казалось, он прислушивается к едва уловимым звукам музыки, доносящимся с той стороны.

— Если мы пройдём немного дальше, — сказал Амар, — мы найдём травянистый берег со склонённой над водой ивой; там мы сможем вообразить себя на нашем берегу озера. Едва он закончил говорить, как его уши достигли звуки, отличные от музыки — звук негромкий, но слишком ясный и недвусмысленный, чтобы его можно было проигнорировать. Он сказал: — Когда слоны трубят вот таким особым образом, их следует уничтожить. Это признак безумия у них.

— Я слышал эту трубную дробь с перерывами весь вечер, — ответил Гокал тихим голосом. — Разве ты тоже её не слышал?

— Возможно. Я не уверен.

Когда они подошли к иве и уселись, Амар сказал: — Теперь твоя очередь говорить, и я хочу, чтобы ты прежде всего рассказал о себе, ибо я вижу в тебе большую перемену.

Гокал мягко рассмеялся. — Всё очень просто. Пока я болел в Кханжо, и Сита ухаживала за мной, я продвинулся ещё на один шаг по своему пути.

Амар молча продолжал вопрошать взглядом, после чего Гокал продолжил: — Я свободно признаю, что Сита оказала на меня глубочайшее влияние. Видишь ли, мой ум был подготовлен изучением западной философии и христианства. Фактически эти исследования, открыв мне глаза на ограниченность и недостаточность восточного образа мысли, стали первой прямой причиной моей меланхолии. Я не извлёк из них ничего позитивного. То, что мне было нужно, заключалось в контакте с такой личностью, как Сита.

Амар нахмурил брови.

— Из книг трудно получить что-либо, кроме информации. Западные люди получают мало или совсем ничего из наших Священных Писаний. И со мной случилось то же самое.

— Мой друг, — задумчиво сказал Амар, — подумай, сколько лет мы с Ситой прожили вместе, и всё же...

— О, ты постиг, но отступил.

— А она?

— Не постигла, — сказал Гокал, — но... — он улыбнулся, — зачем ей это?

Амар промолчал, и при свете луны лицо его выглядело озадаченным. По-прежнему хмурясь, он смотрел поверх озера.

Гокал подался вперёд. — Разве не чрезвычайно знаменательно то, что ты влюбился в западную женщину — причём женщину столь своеобразного склада ума? Разве это не означает, что в тебе две натуры? Твой характер, каким я его вижу, и твоя жизнь, которую я обозреваю заново, убеждают меня в том, что твоя философия даёт неверное толкование тебя — вводящее в заблуждение тебя самого. Амар, я считаю тебя человеком с глубокой интуицией божественности и жаждой обратить себя к личностному богу. Свою философию, полагаю я, ты выработал в качестве реакции другой части твоей природы против этой основной склонности. Буддизм, который ты исповедуешь, своим особенным характером удовлетворяет особые требования твоего теоретизирующего «я». Едва ли будет преувеличением сказать, что твой буддизм — твоё собственное изобретение. Энергии и импульсы, давшие ему рождение, носят личный, ревнивый, женский характер, — так что фактически эта холодная безличная философия твоего есть дитя и любимец слишком человеческого сердца. — Амар, отказывая миру в достоинстве арены для высочайшей нравственной и духовной борьбы, ты обесцениваешь жизнь сильнее, чем видишь сам. Это ставит тебя в положение, весьма близкое к позиции такого человека, как Смит, который утверждает, что благодаря терпимости, благожелательности и справедливости — в сочетании с преданностью искусству со стороны *элиты* — мир станет настолько хорош, насколько только может потребоваться. — Нет! Здесь я не заблуждаюсь относительно тебя: я не упускаю из виду разницу между тобой и Смитом. Тогда как для Смита духовное нереально, для тебя оно настолько реально, настолько ценно, что его необходимо поместить вне нашей общей человеческой жизни. Тем не менее остаётся справедливым утверждение, что применительно к земной жизни твой подход наиболее опасно приближается к смитовскому. И я прошу тебя принять это как знак того, что твоя философия в корне неверна.

Наступила пауза, по окончании которой Амар сухо сказал: — Ты выбираешь этот момент, чтобы сказать мне эти вещи, потому что...?

— Потому что я вижу тебя стоящим на распутье. Перед тобой лежат решения первостепенной важности, и я верю, что если ты позволишь руководить собой своей философии вместо интуиции, за этим последует катастрофа.

Амар издал короткий смешок; и когда он заговорил, в его тоне прозвучала перемена. — Давай прекратим спорить общими фразами, которые очень склонны вводить в заблуждение из-за расплывчатости. Я хочу перейти к конкретным вопросам, составляющим предмет спора. Ты полагаешь, как мне кажется, что я должен позволить себе руководствоваться своим инстинктивным отвращением к Даниялу вплоть до того, чтобы по доброй воле не соглашаться с успехом, который, как я убеждён, ему обеспечен.

— Да, это моё мнение; нынешний кризис вынуждает меня высказать чувства, которые накапливались во мне уже некоторое время. Я хочу, чтобы ты повиновался своим инстинктам в отношении Данияла. Но сначала ты должен увидеть их такими, какие они есть. Затем, увидев их такими, какие они есть, ты изменишь своё отношение от холодного и презрительного самоустранения, сопровождаемого внешним согласием, к состоянию горячего гнева и несогласия.

— Это более чем странно! — воскликнул Амар. — Неужели ты так изменился, что отбрасываешь доктрину самоотстранённости, которая лежит в основе всего...

— Остерегайся ошибки здесь! — прервал Гокал. — Не путай самоотстранённость с тем, что греки называли ἀοργήσια (аоргезией) — неспособностью к праведному теплу чувств, которую осуждает сам Панджали.

Раджа коротко рассмеялся. — Так значит, Даниял — подходящий объект для гнева?

— Если ты ненавидишь его, лучше бы тебе...

— Ненавидеть его! — Раджа осёкся. — Мой дорогой Гокал, ты серьёзно предлагаешь мне ненавидеть Данияла — или же заявляешь, что мой долг — ненавидеть его?

Держа голову гордо, полузакрыв глаза, Амар смотрел поверх озера. Гокал всматривался в него из тени ивового дерева и колебался.

— В тебе живёт, — ответил он наконец, — особенно сильное и тонкое чувство духовных ценностей. А почти невозможно представить себе духовные ценности существующими отдельно от личности; таким образом, хотя ты сам можешь этого не осознавать, личности имеют для тебя огромное значение.

— Я не буду оспаривать этот довод. Достаточно будет, если я скажу, что личность Данияла представляется мне совершенно ничтожной.

На это Гокал ответил лишь вздохом.

— Послушай, Гокал! — продолжал Раджа. — С тех пор как я покинул своё Княжество, более полугода назад, я собирал информацию о Данияле, выяснял мнения других людей и выносил суждение. Также, познакомившись с молодым человеком лично, я внимательно изучал его. Я свободно признаю, что он внушает мне сильную личную антипатию, но это не влияет на мой вывод о том, что он абсолютно тривиален. Когда это сказано, тогда всё сказано. Прошу тебя, не возвышай Данияла, называя его порочным. Даниял просто ничтожен — разумеется, за исключением той степени, в какой он предлагает Мобареку весьма полезную подставную фигуру.

Гокал с любопытством посмотрел на Амара. — Я ещё не говорил, что Даниял порочен.

Амар немного помолчал. — Должно быть, мой разум возвращался к беседе, которая у нас состоялась на террасе Дворца Агры около полугода назад.

Гокал склонил голову, затем ответил: — Если тривиальность занимает важное место в мире, если она является главным барьером между людьми и Богом, тогда тривиальность важна.

Амар не ответил.

— Никакая порча не распространяется легче, чем порча легкомыслия, — продолжил Гокал. — Быть невнимательным к добру и злу более преступно, чем говорить: «Да будет Зло моим благом!» Человек, бросающий вызов Богу, тем самым признаёт Его, и для него уготовано спасение; но человек, игнорирующий Бога, человек, неспособный на эмоциональный отклик на универсум в его величественном или божественном аспекте — такой человек действительно находится за чертой.

— У некоторых людей, — сказал Амар, — неспособность реагировать означает лишь...

— Амар, — тихо сказал Гокал, — пожалуйста, не говори без искренности. Отрицаешь ли ты, что та «неспособность», о которой мы говорим, может с равным правом называться отказом? Существует, конечно, то, что люди называют моральным безумием, но этот термин ошибочен. В органически больных мозгах самой последней исчезает способность к моральному различению. Моральное безумие — это разнузданное легкомыслие слабого в остальном интеллекта. В Данияле интеллект не слаб; мало кто из людей в этом Лагере страдает моральным безумием; они легкомысленны, они оскорбляют Бога и производят зло.

Примечание.

Вопрос:

"Не путай самоотстранённость с тем, что греки называли ***ἀοργησία (аоргезия)*** — неспособностью к праведному теплу чувств". Что такое ἀο **ἀοργησία** у греков?

Ответ:

Фраза Гокала — это тонкое философское различение, которое он проводит для защиты своей позиции. Чтобы понять её смысл, нужно разобрать три ключевых понятия: самоотстранённость (восточный идеал), аоргезия (греческий порок) и гнев.

1. Что такое ἀοργησία (аоргезия)? Термин происходит от греческой приставки отрицания *ἀ-* и корня *ὀργή* (*orgē*) — «гнев», «страсть», «праведное негодование». В античной этике **аоргезия — это неспособность к праведному гневу**, эмоциональная холодность, вялость или апатия души.

В отличие от хорошо известных страстей (гнева, страха, вожделения), которые стоики считали болезнями души, требующими искоренения, отсутствие всякого душевного жара осуждалось как

недостаток добродетели. Если человек не способен возмутиться несправедливостью, жестокостью или предательством, его душа считалась нездоровой. Аристотель в «Никомаховой этике» прямо называет крайности — как чрезмерный гнев, так и полную неспособность сердиться (*алогэстию* или *апатию*, близкие по смыслу к аоргезии) — отклонениями от нравственной середины.

2. Различие между самоотстранённостью и аоргезией Гокал упрекает Амара в том, что тот путает эти два состояния:

Понятие	Суть	Отношение к эмоциям
Самоотстранённость (Detachment)	Активный духовный идеал Востока (буддизм, индуизм). Это результат сознательной практики, победы над эго и выхода за пределы личных привязанностей ради высшей истины.	Эмоции осознаются, но не управляют человеком. Душа спокойна не потому, что она пуста, а потому, что она наполнена высшим смыслом и находится над схваткой добра и зла.
Аоргезия (Aorgesia)	Греческий термин для морального изъяна. Это пассивная ущербность, дефект натуры, при котором у человека просто отсутствует орган для восприятия духовного пафоса.	Эмоциональная глухота. Человек не может откликнуться на призывы совести, чести или божественного, потому что внутри него нет «теплоты чувств». Это равнодушие, замаскированное под спокойствие.

Конец примечания

— Я думаю, ты заходишь слишком далеко, — сказал Амар.

Гокал покачал головой. — Легкомыслие отдельных людей или сообществ ответственно практически за всё то, что я подразумеваю под злом. Случайно оно приводит к жестокости и другим порокам, но это лишь признаки того, что зло присутствует. Они не составляют собой зло, а лишь являются его симптомами.

— Это требует объяснения, — сказал Раджа.

— Разумеется. Я начну с объяснения того, что определяю зло как оскорбление Духа Вселенной или Бога. Порочность — это оскорбление человека, а значит, также и оскорбление Бога — но только косвенное. Зло — это свойство определённых положений дел, определённых условий общества; порочность — это свойство определённых личностей. Скверность — это свойство поступков порочных людей; а страдание, душевное или физическое, часто является результатом. Но страдание нельзя путать со злом.

— Давай рассмотрим сначала порочность; в своей простейшей форме она есть слепое, бездумное удовлетворение собственных аппетитов без учёта других. Более высокое качество порочности проявляется в актах мести, несправедливости и злобы, направленных

против конкретных лиц, вызвавших вражду. Дальнейший шаг в порочности отмечен удовольствием от страданий или унижения других без различения между людьми и без особого повода. Это чистая жестокость, и здесь зло начинает проникать внутрь — уже не косвенно, а напрямую. Через жестокость мы приближаемся к понятию неправоты, совершённой не просто людьми по отношению к людям, но *через* людей дьяволом по отношению к Богу. Обрати внимание на качество безличности в жестокости. По своей сути она духовна. Обрати также внимание на сексуальный элемент в жестокости; жестокость, сексуальность и религиозность — родственные проявления духа. Разве мы не находим их связанными во все времена и у всех народов?

— Следует различать три вида порочности: прегрешения против самого себя, прегрешения против других людей и прегрешения против Бога. Последний — высшая и самая тонкая форма порочности, поскольку это удовольствие от чистейшего зла, ищущееся самым прямым путём. Какова будет природа и черты этого, наипорочнейшего типа человека? Он будет, как я уже объяснял, не просто невнимателен к другим людям, он будет не просто несправедлив и жесток; совершенно не обязательно, что он будет получать удовольствие от актов физической жестокости; возможно, он действительно так устроен, что подобные сцены будут ему отвратительны. Но душевные страдания других всегда будут доставлять ему удовольствие. Здесь, однако, нам нужно снова уточнить. Чтобы доставить ему высшее наслаждение, эти душевные страдания должны выпадать на долю определённых людей, причём не в качестве самих личностей, а скорее в качестве творений Божьих, которые не заслуживают этих страданий. То, что порочный человек ищет в человеческих страданиях, — это зрелище осмеяния Бога, уничтоженной праведности, мира, превращённого в место бесцельного зла, торжество дьявольского над благим. — Здесь Гокал умолк; и к своему крайнему изумлению Амар увидел, что тот дрожит.

— Да, — продолжил Гокал, — чего желает порочный человек, так это следующего: чтобы кротким и невинным, добросердечным и мудрым — всем тем, кому дорога добродетель, — было предложено такое зрелище мира, чтобы им становилось дурно на сердце — дурно от ужаса гораздо более страшного, чем любой, который может быть вызван личным несчастьем. Порочному человеку нравится думать, что добрый человек шепчет про себя: «Как такое может быть?» Он хочет, чтобы душе доброго человека было тошно — не ради него самого и не ради других — не ради участи какого-либо существа, а ради нанесённого Творцу оскорбления, ради унижения, причинённого самому Благу. Порочный человек знает Благо только из той странной глубокой радости, которую он получает от мысли о том, что оно осмеивается, и что те, кто доверился ему, повергнуты в отчаяние. — Не дай Бог, — добавил Гокал вполголоса, — чтобы тебе в собственном опыте когда-либо...

Раджа повернул голову и устремил на Гокала глубоко озадаченный и встревоженный взгляд. — Ты хочешь сказать, что боишься, как бы я не стал орудием...

— Нет. — Он заколебался. — Но...

Раджа молчал. Изучая лицо Гокала при лунном свете, он заметил, что оно блестит от пота и носит выражение глубокого истощения.

Через несколько минут мрачной отрешенности он поднялся и помог Гокалу встать на ноги. — На сегодня достаточно, — сказал он.

VI

На следующий день, когда Амар и Гокал встретились, солнце заливало светом большое пыльное окно. Утро было ослепительно ярким — необычным для долины, которую обычно перекрывало небо молочной мглы. Стоя спиной к окну, Амар смотрел сверху вниз на Гокала, сидевшего в кресле, которое он занимал накануне вечером.

Два друга сошлись вместе в изменившемся настроении, и оба это знали. «Он вооружился против меня, — печально подумал Гокал, — и, полагаю, это было неизбежно, ибо как я мог ожидать, что он в одночасье откажется от образа мыслей и замыслов многих лет?» Вскоре, со вздохом и улыбкой, он протянул руку, в которой лежали две золотые монеты. — Вот то, что я тебе должен, — сказал он.

Амар ответил ему улыбкой. — Думаю, ты также должен мне кое-какие объяснения. Мне интересно, что это за встреча была вчера.

Он имел в виду происшествие, случившееся прошлой ночью, когда они возвращались пешком. Из тени возле тропы появилась фигура, подползла к Гокалу подобострастным видом и прошептала что-то ему на ухо. На мгновение Амару показалось, что это нищий, но его следующее впечатление состояло в том, что человек передавал сообщение, и инстинктивно он отошёл подальше, вне пределов слышимости. Минуту спустя Гокал подошёл к нему и попросил взаймы две золотые монеты. Вручив эти деньги, брамин получил что-то взамен, после чего этот человек снова исчез. В тот момент Амар был так глубоко поглощён ходом мысли, ранее заданным Гокалом, что уделил этому делу мало внимания, но в течение бессонной ночи его разум несколько раз к нему возвращался.

— Да, — повторил он теперь, — я определённо заинтригован.

Гокал ответил: — Взамен этих денег я получил пачку писем, адресованных Смиту.

Амар уставился на него в изумлении.

— Это была странная вещь, — продолжил Гокал, — и ещё более странная из-за того, что она произошла именно в данный момент. — Вот письма. — Он помолчал и вытащил пакет из-под складок своего одеяния. — Я хочу, чтобы ты взял их.

— И что же мне с ними делать?

— Тебе придётся решать это самому, после того как я расскажу тебе свою историю. Она начинается с визита йогина ко мне некоторое время назад — визита, о котором ты уже кое-что слышал.

— Да. Йогин рассказал мне, что вы с ним обсуждали религию. Мне было трудно поверить, что он говорит правду.

Гокал улыбнулся. — Уверяю тебя, я нашёл его небезынтересным. Он изложил свои взгляды на шакти с немалой тонкостью.

— Это смешение религии и сексуальности мне особенно отвратительно.

— Думаю, — медленно сказал Гокал, — думаю, следует опасаться проводить слишком большую дистанцию между этими двумя вещами. — На мгновение он умолк, затем добавил: — Йогин говорил также о Данияле.

— При Чурамане!

— Я был осторожен, разумеется. Как и Хари, который тоже присутствовал. Йогин, напротив, проявил поразительную неосмотрительность. Он обрушился с нападками на Данияла. Проведя различие между разными степенями и видами гомосексуальности, он утверждал, что Данияла следует отнести к худшему классу. В Данияле, по его словам, было столь тяжкое отклонение, что весь характер человека непременно должен быть испорчен. Самый мощный из всех человеческих инстинктов не может настолько широко отклониться от своего надлежащего русла без того, чтобы не вызвать искажения и расстройства всей природы.

— Неужели он действительно сказал это в присутствии Чурамана?

— Нет. Когда прибыл Чураман, мы перешли к обсуждению Смита, — но он высказывался точно в таком же духе и против Смита. Он утверждал, что гуманизм и гомосексуализм являются родственными проявлениями задержанной или искажённой духовной жизни. Разве чистой случайностью, спросил он, является то, что Платон был избранным учителем как гуманистов, так и гомосексуалистов?

— Возможно, он находился под действием наркотиков.

— Думаю, он не вполне в своём уме.

— Что он знает о Смите? — спросил Раджа после молчания. — И, помимо того, что я рассказывал тебе, что ты знаешь о нём?

Гокал улыбнулся. — Вообще-то я знаю довольно много. Аквавива и я были посланы Императором, чтобы приветствовать его при первой высадке в Индии. Он прибыл в компании человека по имени Джонс, которого Император вскоре после его прибытия изгнал из страны. Дружба Смита с Джонсом проливает разоблачающий свет на его

характер. Что же касается связи йогина с этими двумя людьми, мне нечего тебе об этом сказать, но на днях он, к моему удивлению, предъявил некие письма, написанные Джонсом Смиту, и прочёл нам вслух несколько отрывков. Это было неразумно делать в присутствии Чурамана, поскольку Смит и Даниял, как ты знаешь, друзья, а эти письма таковы, что попадись они на глаза Императору, Смита непременно изгнали бы из страны, как и Джонса.

Взяв пакет, который лежал на столике рядом с ним, Гокал извлёк письмо и, пробежав его глазами, продолжил: — Вот отрывок, на который я наткнулся прошлой ночью. «Спорить с человеком, который считает себя Наместником Бога на земле — очевидно бесполезная процедура. Пока Индия продолжает лежать под пятой впавшего в детство самодержца, её дело безнадёжно. Чего можно ожидать от человека, позволяющего своему официальному биографу начинать со следующей фразы: „Всесвятейшее рождение Его Величества от величественного покрывала и священной завесы Ее Высочества, купола целомудрия и стержневого корня тенистого древа счастья произошло, когда высота звезды Проциона составляла 38°, а от начала ночи 8-го Адана 464 года прошло восемь часов двадцать минут“. Нет, говорю я! Спасение Индии лежит в Данияле. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об этом молодом человеке, которого я встречал лишь однажды. Ваши рассказы заставляют меня полагать, что он необычайно умён и свободомыслящ. Надеюсь, вы объяснили ему, что единственный способ бороться с религией в Индии — это дезинтегрировать её. Я имею в виду, что политеизм следует поощрять, а религию отделить от философии. Если индиец должен быть метафизиком, пусть жужжит строго в вакууме. Религия должна становиться всё более делом фестивалей, ритуалов и волшебных сказок. Маленькие божки тысячами безвредны. Они становятся, как вы указали, привычными и дружелюбными. Чувство благоговения исчезает; тайна исчезает; то старое рудиментарное чувство божественности угасает. Божки, которых вы одеваете утром, которым даёте завтрак, а затем укладываете спать вечером, — такие не могут причинить никому никакого вреда. Давайте питать благочестивую надежду, что Даниял отбросит эту злую старую тварь Мобарека, как только прочно утвердится у власти».

Раджа рассмеялся. — Всё это лишь подтверждает моё мнение о Смите. Йогин собирался использовать эти письма против него?

— Думаю, что собирался. И если так, он поступил глупо, продемонстрировав их перед Чураманом. А вот что случилось: через двадцать четыре часа его оглушили ударом по голове, и письма были у него взяты. Услышав об этом, я предположил, что они перешли в руки Данияла. Но я ошибался. Ибо, о чудо, вот они!

— Кто тот человек, который продал их тебе прошлой ночью?

— Не имею понятия — равно как и не знаю, почему он подумал, что я могу ими заинтересоваться.

Амар некоторое время размышлял. — Ты ведь не собираешься предложить, чтобы я отнёс эти письма Императору? Вся эта затея крайне неприятна мне.

Гокал улыбнулся. — Даниял тоже крайне неприятен тебе, и всё же...

Раджа сделал нетерпеливый жест. — Довольно о Смите! С чего бы нам с тобой беспокоиться о нём?

— Амар, — серьёзно сказал Гокал, — как фактор нынешней ситуации Смит, полагаю, имеет немаловажное значение. Существует серьёзная опасность того, что Даниял усвоит идеи Смита. Впервые я увидел признаки этого в Агре несколько месяцев назад; несколько слов, обронённых на днях Чураманом, дали мне пищу для серьёзных раздумий; и мои мысли привели меня к убеждению, что гений зла Данияла приведёт его в направлении Смита.

— Уж не фантазируешь ли ты немного? Кроме того, едва ли можно рассматривать Смита и Данияла как способных образовать очень мощный союз. — И Амар рассмеялся.

— В истории бывают эпохи, когда власть и влияние принадлежат не сильным, а хитрым. Мой страх заключается в том, что Даниял, утвердившись на Троне, отвергнет Мобарека в пользу Смита. В конце концов, нынешний союз между Мобареком и Даниялом искусственен, ибо между их образом мыслей нет подлинного соответствия. Союз же Смита и Данияла, напротив, будет покоиться на глубокой внутренней близости. То, что истинную природу этой близости оба игнорируют, несущественно. Неважно, что Смит, по собственному мнению, работал бы на благо Индии в качестве просвещённого советника либерального молодого принца. Неважно, что взгляд Данияла, хотя и не столь простой, вероятно, был бы не очень далёк от этого. Также неважно и то, что принятие идей Смита вполне могло бы привести — в качестве первого непосредственного результата — к общему улучшению материальных условий. Нет; важно то, что лежит под внешностью, под неглубокой поверхностью вещей.

— И в этом случае истиной было бы то, что силы порока одержали победу. Как тебе известно, не механизм цивилизации, а животворящий дух общественного единства поддерживает его жизнь и здоровье. Даже эпоха материального процветания, начатая Смитом, будет недолгой. Добродетели справедливости и альтруизма, на которые он полагается, если они действуют без вдохновения трансцендентным идеалом, работают во зло. Как сказал Лао-цзы: «Если неправый человек использует правые средства, правые средства работают неправильно». Справедливость и альтруизм слишком часто черпают свою энергию из зависти, ревности и замаскированного своекорыстия. Смит этого не понимает. Ещё меньше он понимает того, что любители человечества самого по себе являются прежде всего ненавистниками Бога. Он не понимает, что именно на этих основаниях встречаются он и Даниял. Насколько понимает сам Даниял? Этого я не могу тебе сказать. До сих пор он был достаточно молод, чтобы щеголять легкомысленным, аморальным эстетизмом; но он также достаточно умён, чтобы понимать, что как Император чистый эстет вряд ли избежит участи Нерона. Смит прибыл в нужный момент, чтобы предложить другой путь.

Во время этой речи Амар сидел совершенно неподвижно, сложив руки на груди, и выражение его лица было мрачным. Когда Гокал закончил, он поднял голову; и Гокал встретил его тёмный взгляд, не дрогнув.

— Ну! — сказал наконец Амар, — и если ты прав, что тогда? Могу ли я изменить ход судьбы?

Гокал подался вперёд, лицо его просветлело, но едва он собрался заговорить, как дверь в конце комнаты открылась, и вошёл слуга с письмом.

— От Его Высочества к Махарадже! А посланник ожидает ответа.

Амар взял письмо, прочитал его с бесстрастным лицом и сказал: — Когда я хлопну в ладоши, ответ будет готов. Попроси посланника подождать.

После того как слуга ушёл, он повернулся к Гокалу. — Даниял желает, чтобы я пришёл повидаться с ним как можно скорее.

Лицо Гокала потемнело; теперь оно выражало крайнюю тревогу. — Ты должен найти предлог для отсрочки.

— Но зачем?

— Разве невозможно найти какой-нибудь предлог? Давай рассмотрим.

— Но у меня нет возражений против того, чтобы пойти.

— Ты ещё не видел Ситу. У тебя ещё не было времени...

— Боишься, как бы я не связал себя обязательствами — или её?

Гокал сделал неопределённый жест.

— Успокой свой разум. Как я могу давать обещания за Ситу — или за тебя?

Говоря это, Раджа придвинулся к столу, взял перо и написал. Вскоре слуга снова вошёл, чтобы получить его ответ.

Гокал поднялся со своего кресла, подошёл к окну и уставился невидящими глазами поверх озера. — Что ты сказал? — спросил он.

— Что буду с ним через час или даже раньше.

Гокал издал короткий смешок, и он был настолько горьким, что Амар внутренне поморщился.

— Скажи мне, Гокал! — сказал он, — чего же ты, собственно, хочешь от меня?

Гокал обернулся. — Собственно говоря, — сказал он, — принц Даниял пока ещё не на Троне. Так почему бы не сразиться с ним?

— Ты предлагаешь, чтобы я...

— Да!

— Я собирался спросить: ты предлагаешь, чтобы я вывел своё маленькое войско и присоединился к рядам Салима?

— Именно это я и предлагаю.

— Мой дорогой друг, ты должно быть сошёл с ума.

— Я верю, что это единственно верный курс для тебя.

— Для меня!

— Будучи тем, кто ты есть — да.

— Я озадачен, — сказал Амар, глаза которого теперь горели тёмным огнём.

— Ты сердишься, — сказал Гокал.

Амар сжал губы, затем открыл их, чтобы сказать: — Правильное действие, как я его вижу, всегда требует признания того, что осуществимо, и в данном случае...

— Нет. Вот здесь ты ошибаешься. Мир таков, что ни один человек не имеет права думать, будто знает, что осуществимо.

Амар пожал плечами.

— Человек обязан действовать — подчиняясь психологической необходимости, которая является также духовным долгом. И каким-то образом в своём действии он должен примирить преследование своих собственных малых, определённых и законных целей с исполнением непостижимого замысла. Он не должен отрекаться от своего сокровенного знания о том, что он — главный инструмент сверхъестественной энергии, определяющей всё, что должно произойти во времени.

— Действие, которое лежит передо мной сейчас, — сказал Амар, — это засвидетельствовать моё почтение Даниялу. Сделав это, я вернусь.

VII

Амар вышел на яркий солнечный свет и окинул всё вокруг беглым взглядом. Променад теперь был заполнен пестро одетыми фигурами. Его глаза остановились на них тяжелым, отстраненным взором, в то время как его мысли мрачно покоились на недавнем разговоре с Гокалом и не менее мрачно устремлялись к предстоящей встрече с Принцем. Необычная ясность атмосферы делала противоположный берег озера отчетливо видимым; и вскоре, когда он всматривался в сверкающую воду, его разум наводнили образы Ситы. «Я отрезан

от человечества с одной стороны так же, как я отрезан от бесчеловечности — с другой», — размышлял он с горечью. — «Путь жизни сильно упрощается для тех, кто эмоционален».

С угрюмым, потемневшим лицом он двинулся по променаду, не замечая взглядов, которые бросали на него прохожие. «Да, — говорил он себе, — будь что будет, но я удалюсь, и никто меня не остановит. Сита, Хари, Гокал — пусть они устраивают свою жизнь согласно собственным убеждениям. Если после моего ухода Сита решит примкнуть к делу Салима, пусть так и сделает! Более того, я удалюсь немедленно. Слова Гокала лишь поторопили мои действия».

Он был настолько поглощен этими мыслями, что прошло несколько мгновений, прежде чем он осознал, что рядом с ним вприпрыжку семенит какая-то маленькая фигурка, бросая ему в лицо взгляды со смеющимся вопросом. Он остановился в изумлении. — Принц Дантават? — пролепетал он. — Вы ведь не принц Дантават?

— Разумеется, нет. Я Шанта Шил, Квиетист. — И говоривший кокетливо склонил голову набок.

Раджа был совершенно озадачен. — Тогда мне кажется, мы незнакомы, — сказал он. Всё еще рассеянный и раздосадованный помехой, он хмуро уставился на незнакомца. Несомненно, это был принц Дантават! И все же доносили, что Дантават мертв. Разве не труп Дантавата он обнаружил в лесу? Кроме того, разве мог этот пухлый улыбчивый человечек быть тем самым Дантаватом, который всего три недели назад имел столь жалкий вид?

— О, но мы знакомы, раджа, — действительно знакомы! Только вы не должны говорить со мной о Дантавате: теперь я новый человек. Посмотрите, какие чудесные одежды! И как хорошо я выгляжу, правда ведь? Это всё работа дорогого Принца. Он заботится обо мне.

Ошеломленный раджа теперь быстро шел вперед, но Дантават, к его крайнему конфузу, трусил рядом. — Раджа, помните, почти на этом самом месте вы видели меня тем утром, когда я бросился в озеро. Ох, это было дурно с моей стороны, не так ли? Но довольно смело, вы не находите? Конечно, я всегда выбирал место, где было полно людей, чтобы вытащить меня. Но всё же, когда не умеешь плавать... Ох, каким несчастным я был в те дни! А Даниял был так недобр! Все мои деньги тоже пропали! Ни гроша не осталось, а он ничего не хотел делать, чтобы помочь мне!

Раджа остановился и долго, с ужасом разглядывал стоявшего перед ним человека. Лицо Дантавата, которое всегда было круглым и детским, теперь выглядело странно одутловатым, а щеки были напудрены и нарумянены. Его херувимский облик делался еще комичнее из-за того, что он почти облысел. Тело под туго облегающей яркой одеждой казалось упитанным. Совсем не обижаясь на этот взгляд, Дантават застенчиво опустил глаза к земле, чуть наклонив голову набок, и перенес вес с одного округлого бедра на другое.

Раджа отвел глаза от Дантавата и огляделся в поисках какого-нибудь средства спасения. Как избавиться от этого несчастного безумца? К его неожиданному облегчению, его окликнула дама, которую, как он смутно припоминал, встречал во дворце в Агре. Да, это была рани Джагашри, женщина, которая ему не нравилась, но сейчас он был только рад вступить с ней в разговор, поскольку принимал как должное, что она проигнорирует его спутника, которому тогда придется отстать. Однако в этом он полностью ошибся: рани Джагашри сочла совершенно естественным, что они с Дантаватом прогуливаются вместе по берегу озера, и не только включила Дантавата в свой разговор, но и слушала его болтовню с веселым и сердечным интересом.

— О, смотрите! Вон идут Бабило Туд и Мансур! Бедняжки, они так старались ускользнуть на прошлой неделе, но их поймал Принц. Ему, конечно, очень досадно, когда убегают его актеры; но я им тоже сочувствовал. Я не так храбр, как вы, рани Джагашри. Что бы я делал, если бы всадники Салима вдруг ворвались в Плезенс! Я ночами не сплю, думая об этом. — Но, разумеется, я не могу покинуть дорогого Принца. Посмотрите, как он обращается со мной с тех пор, как я был так грешен, что... но мы не будем об этом говорить! Я хочу сказать лишь одно: любой, кроме Принца, страшно рассердился бы на меня. Большинство людей до сих пор такие варвары. Они не понимают, как следует обращаться с такими несчастными, как я. Но Принц показывает им пример, не так ли, рани Джагашри? На это Дантават не получил ответа, потому что рани, завидев других знакомых, пошла дальше.

Осторожно положив руку на плечо раджи, Дантават пригласил его снова двинуться вперед. — Я знаю, куда вы идете, — сказал он со скрытой усмешкой. — И вам нельзя заставлять Данияла ждать. Пойдемте! Я покажу дорогу.

— Я знаю дорогу и не нуждаюсь в вас.

— Но Даниял не у себя дома. Вы не знаете, где он.

— Где же он?

— Неважно. Я отведу вас к нему. Полагаю, он в своем театре. Из всех искусств я больше всего люблю сцену, разве нет? Конечно, вы ведь знаете, мы все здесь любим искусство. — О, посмотрите! Видели это? Какой великолепный мужчина! Какие мускулы! Ох, как от него замирает сердце! Дантават оглянулся через плечо на огромного негра, члена черной гвардии Данияла.

Мрачный, Амар пошел дальше.

Пританцовывая и подпрыгивая рядом с ним, Дантават продолжал бросать ему в лицо кокетливые взгляды. — Раджа, мне кажется, я разгадал одну вашу тайну — шепнуть ее вам? Мне кажется, вы на самом деле недолюбливаете Принца! Вот! Разве я не прав? Но, право же, раджа, вообразите только: не восхищаться Даниялом. Неужели его прекрасная гладкая кожа вас не привлекает? — Нет, не туда, раджа. Кажется, вы пытаетесь сбежать от меня! Но это бесполезно; без меня вы никогда не найдете Данияла. — Теперь мы пойдем вниз по

этой дороге, и вот театр перед вами, — только войти через главный вход вы не сможете, потому что...

Не обращая внимания, раджа шел вперед. Большие двери были, как и говорил Дантават, закрыты, поэтому он повернул в сторону служебного входа и уже прошел половину переулка, ведущего к нему, когда знакомый голос, раздавшийся прямо над головой, заставил его поднять взгляд.

В одном из окон стоял Даниял и улыбался ему сверху вниз глазами, в которых, как показалось радже, мелькнул огонек злорадства. Он остановился, приветствовал Принца и получил веселое приветствие в ответ. Большое низкое окно открывало почти всю фигуру Данияла до пояса; тот сидел на углу стола, заваленного бумагами. Залитый полуденным солнцем, сверкая драгоценностями, он представлял собой блистательную картину на фоне затененного пространства позади.

«Гладкий и сладострастный вид», — подумал раджа, — «но какая грубость в чертах лица и изгибах фигуры одновременно! Да, он становится всё более отталкивающим день ото дня».

Он смотрел вверх, моргая от яркого солнечного света, и выдавил натянутую улыбку, пока Даниял обрушивал на него непрерывный поток болтовни.

«Его разум, — думал раджа, — кажется беззаботным и отстраненным. Он культивирует легкое опьянение легкомыслием. Он считает, что движется в мире произвольных наклонностей — бесчеловечный с бесчеловечностью тех, у кого нет привязанностей, жалости, — а возможно, и страха. И всё же...»

Даниял отвернулся на минуту, чтобы обратиться с какими-то замечаниями к человеку внутри комнаты. Опустив голову, раджа выбрал этот момент, чтобы бросить хмурый взгляд на Дантавата, который скорчился под окном подобно обезьяне, вне поля зрения Принца. — Уходи, — процедил он сквозь зубы; и Дантават, странно ухмыляясь и гримасничая, быстро поднялся и убежал прочь.

— Так вы только что вернулись из Катхияпура? — спросил Принц, вновь поворачиваясь к нему лицом. — Я хочу, чтобы вы рассказали мне обо всем, что вы там делали. Сегодня утром я получил письмо от Амбиссы Бегум. Она пишет, что вы с Лалитой стали закадычными подругами. Обожаю вашу сестру, раджа. Что за характер! Какая настойчивость! И какая красивая женщина! Знаете, глядя на вас отсюда, сверху, я вижу такое сильное семейное сходство. Подойдите сюда и посмотрите на раджу, Дантават, и скажите, не находите ли вы...

— Лицо пухлощекого херувима Дантавата появилось в окне. Он улыбнулся и кивнул; его щебетание заполняло короткие паузы в потоке речи Принца.

Пока он говорил, глаза Амара покоились на Данияле с необычайной пристальностью. Кожа Данияла сияла золотом, его светло-голубые, слегка навыкате глаза, которые часто бывали

сонными, сейчас светились светом, которого раджа прежде никогда в них не видел. На нем был костюм, подобранный под их цвет.

— Но о чем я думаю, оставляя вас стоять там! — внезапно воскликнул Принц. — Вы должны войти внутрь, раджа. Дантават, проводи раджу ко входу.

С этими словами он встал из-за угла стола, и звук его шагов по доскам показал, что он уходит. Последнюю минуту легкий ветерок играл среди его бумаг, и то движение, которое он только что сделал, было достаточно сильным, чтобы отправить несколько листков порхать вниз на улицу. Раджа подобрал бумаги и, подняв голову, обнаружил свое лицо совсем близко к лицу Дантавата, так как тот вытянулся над подоконником.

— Всё в порядке. Он ушел, — доверительно хихикнул человечек. — Он разговаривает с кем-то в другом конце театра.

Раджа протянул собранные им бумаги, но вместо того, чтобы взять их, Дантават издал смешок и, оглянувшись через плечо, сказал: — Вам следовало бы их прочитать. Они могут оказаться забавными. — Затем, втянувшись обратно в комнату, он быстро перебрал бумаги на столе, отобрал одну или две и бросил их вниз на улицу. — Быстрее! Там будет письмо от рани Ситы.

Раскрасневшись от гнева, раджа наклонился, собрал письма и отошел в направлении сцены. Войдя внутрь, он вскоре заблудился в лабиринте плохо освещенных коридоров, но вскоре к нему присоединился Дантават, который возбужденным голосом сказал: — Следуйте за мной, раджа, следуйте за мной! Амару ничего не оставалось, кроме как подчиниться, и вскоре он вышел на широкое, пыльное пространство пола, которое явно было сценой, так как вплотную к нему свисал опущенный занавес.

Дантават подошел к одному из смотровых отверстий и заглянул в него. — Да, он всё еще разговаривает с тем же человеком, — и дело серьезное.

Отступив назад, он положил руку на плечо раджи, подталкивая его вперед. — Смотрите! — настойчиво сказал он.

Раджа нагнулся и посмотрел. Большой зрительный зал был разделен полосами света и тени, поскольку солнечные лучи падали сквозь высокие верхние окна, которые с южной стороны кое-где оставили незакрытыми ставнями. В одном из лучей солнца, футах в пятидесяти от них, стоял Даниял с выражением крайнего недовольства на лице. Рядом с ним находились двое из числа его обычных приспешников, и оба имели откровенно встревоженные лица. Они, похоже, допрашивали одетого в лохмотья человека, которого Амар заподозрил в принадлежности к Тайной службе Принца. Только одно из нижних окон зала было открыто; и Амар узнал в нем то самое, под которым он недавно стоял.

Едва он отвел глаз от смотрового отверстия, Дантават занял его место.

— О, раджа, у Данияла сейчас очень забавный вид. Он только что отослал остальных и разговаривает совсем один на один со своим шпионом. Подойдите посмотрите еще раз, раджа.

— Нет. — Покажите мне дорогу вокруг...

— Тсс! Дантават, всё еще прилипший глазом к отверстию, предостерегающе поднял руку. — Тсс, тсс! — прошептал он. — Даниял идет сюда. Он ходит туда-сюда. Тише, а то он нас услышит.

Раджа, недовольно хмурясь, молчал. Затем, положив руку на плечо Дантавата, он силой оттащил его от занавеса.

Дантават, поблескивая глазами, снова и снова настойчиво указывал пальцем на смотровое отверстие. «Смотрите!» — шептал он с крайним возбуждением. — «Смотрите!»

Амар круто развернулся и пошел прочь.

— О, раджа, вы упустили кое-что, — запротестовал Дантават, труся следом. — И это такая жалость! Вы знаете, что именно вы упустили?

На небольшом расстоянии перед собой раджа увидел дверь. «Это тот путь?» — спросил он.

— Да, зрительный зал там. — Но подождите минутку. Сказать вам, что вы пропустили? — Он хихикнул. — Вы пропустили необычайное выражение лица Данияла.

Вопреки собственному желанию раджа остановился.

Дантават снова хихикнул. «Вы думаете, Данияла никогда не охватывает страх? Но вы ошибаетесь. Я говорю вам: ему всегда страшно — но так глубоко внутри, что он сам этого не знает».

Раджа по-прежнему стоял неподвижно.

«Я расскажу вам одну очень забавную вещь, — продолжал Дантават, но тон его изменился. — Иногда Даниял меня действительно боится! Вообразите только: бояться такого, как я! Но ведь он считает меня слегка сумасшедшим, понимаете. Он обращается со мной так хорошо, дарит такие красивые одежды, — взгляните на эту тунику! Потрогайте эту тяжелую золотую вышивку! Разве она не прекрасна! — Он всегда держит меня рядом с собой просто потому, что любит выставлять меня напоказ. Все говорят: „Как же ты храбр! Как великодушен и всепрощающ! Ведь любой другой велел бы замучить несчастное создание до смерти!“ И они совершенно правы. Даниял великолепен, правда? У него все самые лучшие современные идеи, знаете ли».

Словно внезапно очнувшись от транса, Амар толкнул дверь перед собой и шагнул в зрительный зал. Принц, всё еще разговаривавший со своим шпионом, стоял поодаль.

Пройдя к окну, на котором стоял стол, раджа положил письма Принца на столешницу и стал ждать.

Вскоре подошел Даниял. «Новые неприятности от дорогого братца Салима», — весело крикнул он. — «Он посылает отряды налетчиков, я слышал. Я собираюсь упаковывать вещи. Знаете, раджа, — и его голос стал серьезным, — здесь находятся некоторые из моих самых ценных вещей, — всевозможные шелка, вышивки и ковры, не говоря уже о драгоценностях. Их нужно упаковать немедленно. Они должны отправиться в Катхияпур до наступления ночи. — Бабило! Мансур! Вы слышите, что я говорю?» И он принялся отдавать подробные распоряжения.

— А! — он снова повернулся к Амару — «но Салим плохо представляет, что я для него припас! Эта милая крошка Гунэвати сделала полное признание. Да, конечно, письменное; и, дорогой мой, более скандального документа я в жизни не видел. Когда мой отец созовет следующий суд для ускоренного рассмотрения дел Вамачари, выйдет мое свидетельство против Салима! Можете себе представить скандал! Но мы ведь должны держать имя Гокала в стороне, не так ли?» — И глаза его блеснули.

Пока он говорил, занавес на сцене был отдернут, и в полумраке замелькали фигуры суетящихся людей; в самом зрительном зале тоже появилось несколько человек. Вдалеке была девушка, похожая на Гунэвати; но раджа не мог быть уверен, что это она. Вскоре вернулись Бабило Туд и Мансур, и внимание Данияла было вновь востребовано. — Простите, — крикнул он через плечо, — я задержусь не более чем на две минуты, — и он направился в глубину сцены.

Как только он ушел, Дантават вынырнул из теней. — Знаете, сейчас к Даниялу хочет попасть еще один человек. Какой прекрасный малый! Кажется, он когда-то служил в армии. — О, вон опять идет этот ужасный слон! Вы ведь знаете, сумасшедших слонов используют для того, чтобы насмерть давить Вамачари. Я не могу выносить шум, который они производят, а вы, раджа?

— Зачем Даниял держит этого?

— О, полагаю, просто чтобы пугать им Гунэвати. Ужасное животное. На днях...

Раджа отошел прочь. Внезапное побуждение овладело им. Неужели это Гунэвати сидит там, в углу зала? Ему хотелось знать; ему хотелось посмотреть на нее; ему хотелось увидеть...

Лицо, поднявшееся при его приближении, обладало такой утонченной и меланхоличной красотой, что признание задержалось. Это не могла быть Гунэвати — и всё же это была она! Девушка без интереса смотрела на него снизу вверх. Ее глаза показывали, что она его узнала, но также показывали, что она живет в отстраненности несчастья столь глубокого, что внешний мир едва ли присутствовал для нее. Степень ее отчужденности стала ясна радже в следующий момент с приближением Данияла. Ее большие темные глаза

бесстрастно покоились на Принце, пока тот, жестикулируя и весело разговаривая с Бабило Тудом, прогуливался к ее углу зала. Из своего понурого положения она лениво поднялась, и, стоя перед ним, никак не проявила на лице никаких чувств. Принц одарил раджу улыбкой и повернулся, чтобы по-отечески похлопать девушку по плечу. — Бедняжка моя! Ты не должна хандрить. Правда, не должна. — Скажите мне, раджа, что мне делать с этим ребенком?

Просунув руку под руку Амара, он мягко увлек его за собой. — Теперь я хочу спросить вас кое о чем, — сказал он. — Действительно ли правда, что вы намереваетесь удалиться от мира? Раджа, я едва могу в это поверить! Я не поверю в это, пока вы сами мне об этом не скажете. — И, отступив назад, он оглядел раджу с выражением веселья.

Амар напрягся и слегка побледнел. — Да, я намереваюсь удалиться.

— Скоро? Как скоро? — Нет, нет, раджа! Я не думаю, что вы действительно имеете это в виду.

Амар молчал.

Даниял шутливо покачал головой. — И оставить эту очаровательную жену? Кто будет заботиться о ней? Гокал? Хари? — Он помолчал мгновение, затем положил руку на руку Амара: — Что ж, я не мог в это поверить, пока не услышал это из ваших собственных уст. Но теперь, когда вы подтвердили новость, позвольте сказать вам, что вы получаете мое благословение. Я не вижу причин, почему бы всему не устроиться превосходно.

Наступила короткая, но многозначительная пауза. Лицо раджи могло быть отлито из металла — настолько оно было неподвижно и безжизненно. Наконец он склонил голову. — Благодарю Ваше Высочество. Раз мои намерения таковы, мне остается лишь препоручить вашему покровительству тех, кого я оставляю позади. — И еще одним, более глубоким поклоном он выразил желание удалиться.

Принц проигнорировал это движение. — Если кто-то и собирается доставить нам неприятности, то это Гокал, не так ли? Скажите мне откровенно, каково отношение Гокала?

— Боюсь...

— Вот именно, — перебил Даниял. — Но это слишком нелепо, не так ли? Ради него самого вы ни в коем случае не должны позволять ему глупостей. И если ваше влияние потерпит неудачу, несомненно, рани Сита сможет его образумить. — О, вы можете со спокойной душой удаляться в свой монастырь! Знаете, рани Сита оказала мне честь отобедать здесь со мной на днях, и мы достигли полного взаимопонимания. Мне пришлось рассказать ей об угрозе изгнания, которая нависла над Хари. Бедная дорогая леди, она, конечно, была довольно расстроена. Но — о, только посмотрите, как они обращаются с этими парчовыми тканями! — Он указал на группу мужчин, которые были заняты упаковкой вещей. — Какие варвары! — Ну, неважно! Что я говорил? Ах да, рани Сита была естественно расстроена. Но

мне удалось ее успокоить. Я сказал: «А теперь послушайте! Если вы сделаете Хари разумным и будете держать его в разумных рамках, он не поедет в Синд. Он останется с вами. Я даю вам свое обещание. Вот!» — И когда она спросила меня, что я подразумеваю под словом «разумный», я ответил: «Только одно: Хари должен прекратить флиртовать с Салимом и моими другими врагами, и он больше не должен вмешиваться между мной и Али». — Она сначала покачала головой и сказала, что Хари довольно упрям; но, разумеется, она может заставить Хари делать всё, что ей угодно. Женщины справляются с такими вещами гораздо лучше нас; и, собственно говоря, я получил от нее письмо только сегодня утром — прелестное письмо, — в котором она пишет, что Хари собирается исправиться. Не беспокойтесь о Гокале, раджа! Она заставит его прислушаться к голосу разума тоже; в этом я почти не сомневаюсь. О да, мы все прекрасно поладим друг с другом. — Но подумать только, вы совсем один на Цейлоне! Раджа, вы уверены, что не передумаете? Я знаю, что для некоторых людей религия — это необходимость. Я не узколоб в этом вопросе. Но, право же, бежать в монастырь в вашем возрасте! — И оставить свою хорошенькую жену! Вы уверены, что хотите зайти так далеко?

Амар, слушавший это без малейшего изменения лица, теперь сделал шаг вперед, чтобы оказаться перед Принцем, отвесил формальный поклон, а затем повернулся в сторону двери.

Но Даниял схватил его за руку. — Видите вон того человека? — Он тихо рассмеялся. — Он ведь не ваш друг, верно?

У входа стоял Губернатор, и Амар с потрясением заметил, что его руки связаны по бокам. Более того, над ним несли стражу два чернокожих солдата. Неподалеку, очевидно, ожидая вызова, находился одетый в лохмотья шпион, который разговаривал с Даниялом ранее. По знаку Принца он теперь поспешил подойти.

— Раджа, я хочу, чтобы вы подождали минуту, — небрежно сказал Даниял. — Возможно, у меня будет что-то интересное вам рассказать.

VIII

Амар отошел в сторону. Около пяти минут Принц и его собеседник совещались вполголоса. Время от времени они оба поглядывали через зал на Губернатора; но тот, не сводя глаз с Гунэвати, казалось, не подозревал об их существовании. Наконец Даниял тихо рассмеялся, и его последние слова, сказанные через плечо при возвращении к Амару, были достаточно громкими, чтобы раджа мог их расслышать: «Очень хорошо, уведите его и заприте пока что».

В течение этих минут Амар стоял неподвижно, и по его выражению было трудно сказать, наблюдает ли он за окружением или нет. Позади него на сцене суетливо бегали люди; за столом у окна сидел Дантават, который, похоже, разбирал бумаги. В своем углу недалеко от главного входа находилась Гунэвати, а глаза Губернатора всё еще были прикованы к ней жадным, чувственным взглядом. Девушка, кажется, осознала это спустя некоторое время, так как она подняла голову, и ее взгляд мимолетно скользнул по нему. Во взгляде не было ни жалости, ни любопытства — только огромное утомление, огромное безразличие. И всё же в следующий момент она улыбнулась; она наклонилась вперед и протянула руку, и лицо ее озарила чарующая улыбка. Большая белая персидская кошка подбежала и прыгнула ей на колени. Она тут же откинулась назад в прежнюю позу, улыбка угасла, и пока ее рука гладила кошку, мысли ее, очевидно, были далеко.

На мгновение Принц остановился, глядя на Амара с улыбкой. — Да, боюсь, в этом нет сомнений. Губернатор — предатель... Он на содержании моего брата Салима. — Его манера держаться была такой же беспечно-добродушной, как обычно, и всё же в нем самом что-то изменилось. — Полагаю, тоже Вамачари! Отвратительное создание в целом! И всё же Мабун Дас часто очень хорошо отзывался о человеке. Разве это не довольно странно, раджа? Скажите мне, что *вы* об этом думаете?

— Ваше Высочество, я очень мало знаком как с Губернатором, так и с Мабуном Дасом.

— Вы имели возможность узнать кое-что о Мабуне в Катхияпуре, — возразил Даниял, улыбаясь, — и я взываю к вам как к знатоку человеческих душ. Ну же, что вы думаете о человеке?

Амар молчал.

— Что ж! Скажите мне хотя бы вот что, — продолжал Даниял, — как вышло, что Мабун и Хари стали такими друзьями в Агре? Что свело их вместе, как вы полагаете? Давайте, раджа, у вас есть дар выведывать чужие секреты. Вы так сочувственны. Амбисса Бегум говорит мне, что Лалита сделала вас своим духовником. Она наверняка рассказала вам всё о своем флирте с Хари. Боже мой, это было так романтично! Удивительно, как Хари переходит из одного романа в другой!

Говоря, Даниял медленно расхаживал по залу, и на одной из разбросанных скамей лежало несколько цветных пробковых шариков, какими пользуются жонглеры; три из них он теперь подобрал и, продолжая говорить, заставлял их танцевать в воздухе. — Знаете, раджа, я часто удивлялся, почему Мабун никогда не докладывал мне, что моя дорогая нареченная строит глазки — думаю, «строит глазки» здесь вполне уместное выражение! — другому мужчине. И не то чтобы Мабун был большим другом Хари в те дни. И всё же он никогда не сказал мне ни слова! — То, что Мабун *знал* обо всем этом, известно мне от Гунэвати, а знает она потому, что сама сообщила ему об этом. Кроме того, ее история о том, что её сподвигло сообщить Мабуну, *весьма* любопытна. Я склонен думать, что она до сих пор не сказала мне всей правды. Возможно, она боится выдать Мабуна? Возможно... Как

бы то ни было, ее история очень странная. Похоже, что однажды вечером, когда Хари и Лалита тайно встречались в Королевских Охотничьих угодьях в Агре, лошадь Лалиты сбила человека — и этим человеком, как оказалось, был не кто иной, как мой дорогой брат Салим! Видите ли, Салим, Гунэвати и некоторые другие Вамачари направлялись к заброшенному павильону, где собирались устроить небольшую оргию. Что ж! в суматохе столкновения бедняжка Лалита выронила свой хлыст, а Гунэвати подняла его, и затем каким-то образом этот хлыст попал в руки Мабуна. Это длинная, запутанная история; и, как видите, некоторые части ее все еще отсутствуют. Но суть в том, что Мабун не был со мной откровенен. На самом деле, мне трудно поверить, что он действительно не потворствовал Салиму.

Едва эти слова слетели с губ Данияла, как вдали послышались крики и вопли, вслед за которыми раздался глухой стук копыт по настилу променада.

Даниял и Амар застыли в неподвижности. Над всем театром повисла глубокая тишина. Постепенно шум замер, стук копыт затих вдали, и повсюду воцарилось глубокое молчание.

Внезапно Даниял отвернулся, повел плечами и окинул всё вокруг беглым взглядом. — Боже мой! — воскликнул он, и снова: — Боже мой! — Его интонация была преувеличенно беспечной. — Это прозвучало как что-то живое и необузданное, не так ли? Я наполовину ожидал появления здесь братца Салима.

Звук его голоса послужил сигналом к всеобщему гвалту. Некоторые бросились к двери, другие высунули головы из окон. Даниял и Амар остались в центре зала; их взгляды встретились, затем каждый отвернулся в сторону.

— Ну же? — крикнул Принц. — Разве никто ничего не доложит?

Ответ последовал почти сразу от Дантавата, который был у окна. — Да! О да! — закричал он высоким возбужденным фальцетом. — Ваше Высочество, там кто-то бежит! О, я заявляю, это Мансур! Бедный Мансур, как испуганно он выглядит! Теперь он проходит через служебную дверь. — И Дантават поспешил к стороне Принца. — Ваше Высочество, он будет здесь сию минуту. Как ужасно! Вы слышали эти крики! — Раджа, почему вы так смотрите? У вас действительно довольно злое выражение лица. Неужели вам не жаль...

Послышался звук шагов в глубине сцены, и Даниял круто развернулся на каблуках. Багровый от стыда и с выражением глубочайшего отвращения, Мансур трусцой подбежал вперед на своих коротких ногах. Подойдя к Принцу, он зажмурился и прижал обе руки к сердцу.

— Ну же? — нетерпеливо произнес Даниял.

— Ваше Высочество... мое сердце! — и Мансур открыл рот, чтобы тяжело дышать, словно собака.

— Чепуха! — сказал Даниял.

— Я гулял с Бабило вдоль берега озера, когда внезапно появилось множество всадников и начало топтать нас, словно мы были стаей — стаей — я не знаю чего. Около мили по променаду они ехали, растаптывая мужчин и женщин без разбору, и делали это намеренно! Я никогда не слышал о таком! — Вашему Высочеству следовало закрыть Плезенс несколько недель назад. Вашему Высочеству небезопасно здесь. Полагаю, было убито около пятидесяти человек. Прошу, могу я пойти упаковать свои вещи?

Даниял рассмеялся, но тоном раздражения. Отвернувшись спиной от тех, кто стоял рядом, он отошел на несколько шагов.

— Раджа! — позвал он, не поворачивая головы.

— Защита Плезенса находится в руках Мабуна Даса. Этот человек — предатель, и я всегда это подозревал. — Несколько мгновений он стоял, глядя прямо перед собой. Амар уставился ему в лицо со своего рода жадной пристальностью; его губы были сжаты таким образом, что казалось, будто он улыбается. Когда Принц начал идти в направлении Гунэвати, он последовал с ним.

Покачиваясь на пятках и носках перед ней, Даниял осмотрел девушку полузакрытыми глазами. Как ни странно, Гунэвати не поднялась при приближении Принца, и даже сейчас она продолжала сидеть. Причина, однако, была очевидна; она смотрела на идущего к ней Принца в оцепенении страха; и теперь в ее глазах застыл чистый ужас.

— Моя дорогая, — небрежно сказал Даниял, — боюсь, что твое признание все-таки было неполным.

Гунэвати молчала.

Даниял слегка пожал плечами, а затем резко посмотрел в сторону главного входа. Статный молодой человек в форме улана подходил к ним. Застыв на месте, он отдал Принцу военный салют и стал ждать разрешения говорить.

— Ну же? — сказал Даниял.

— Ваше Высочество, у меня следующий доклад для оглашения. Полчаса назад шесть всадников въехали в лагерь. После того как их прогнали от военной тюрьмы, из которой они, очевидно, надеялись освободить губернатора этого округа, они скрылись в лесах к юго-западу. Один из их числа был убит снаружи тюрьмы. Наши потери — один убитый и один раненый.

— Где ваш старший офицер? — спросил Даниял после паузы.

— Он идет. Он послал меня вперед с докладом, чтобы Ваше Высочество не оставалось слишком долго без сведений об этом деле.

— Я поговорю с ним снаружи, — сказал Даниял, и он быстро направился к двери, но по пути остановился и обернулся. — Оставайтесь все здесь, — приказал он, и его взгляд скользнул по лицу Амара.

Несколько мгновений после его ухода царило молчание, затем улан подошел к радже и сказал тихим голосом: — Что-то в этом роде должно было случиться рано или поздно. Ради всего святого, почему Принц не покинет это проклятое место? Защищать его от таких набегов — чистейшая невозможность, — если только не выставить частокол; а этого Принц не позволяет.

— Он говорит, что Мабун Дас предает его.

Молодой офицер вспыхнул от гнева. — Его Высочество не имеет права так говорить. Мы все верные люди — Боже, помоги нам!

Эти последние слова, сказанные как бы в сторону, вызвали легкую улыбку на лице Амара.

Улан скрестил руки на груди и, бросив быстрый презрительный взгляд вокруг театра, опустил подбородок на грудь в угрюмой задумчивости. Молча и неподвижно стоял также и раджа. Несколько минут тишина в здании была такой, что довольное мурлыканье кошки на коленях Гунэвати было отчетливо слышно. Пальцы девушки чесали ее за ухом, но выражение ее лица показывало, что мысли ее далеко отсюда.

Мансура и Дантавата эта тишина вскоре стала угнетать. Мансур, вытиравший лоб шелковым платком, теперь громко высморкался несколько раз подряд, в то время как Дантават начал шаркать ногами. — Хотел бы я, чтобы ты убрал этот платок, — сказал он наконец. — Хотел бы я, чтобы ты поговорил со мной. Ты заметил выражение Данияла? О, оно было очень странным! В самом деле! Не думаю, что когда-либо видел его таким раньше. Кого-то, уверен, ждет взбучка!

Поскольку Мансур полностью проигнорировал это, Дантават умоляюще оглядел остальных; но никто не подал вида, что услышал его.

Дергая Мансура за рукав, он продолжал: — Я рад, что я не в чьей-нибудь шкуре, разве нет? Кто-то попадет в беду, клянусь. Как вы думаете, кто это будет?

Мансур отвернулся и, ни к кому конкретно не обращаясь, едко заметил: — Наши потери сообщаются как один убитый и один раненый! Да ведь там, на берегу озера, я скажу, убитых около полудюжины, а уж раненых точно пара десятков. Эти военные все одинаковы! Для них гражданские — не более чем мухи — их смерть не считается.

Дантават хихикнул. — Они могли убить вас. Но я не думаю, что *это* то, что беспокоит Данияла.

— Ни днем дольше я здесь не останусь, — проворчал Мансур. — Ни днем!

—Предательство Мабуна Даса, — весело продолжил Дантават, — *вот что* его заботит. Подумать только, Мабун оказался предателем! Но столько людей бывают предателями, не так ли? Я имею в виду совсем чуть-чуть предателями, — и он застенчиво хихикнул.

— Мансур, иди сюда! — через минуту продолжил он. — Я хочу прошептать секрет.

Оттащив Мансура за руку на несколько шагов в сторону, он зашептал: — Ты посмотрел в лицо радже? Нет? Ну же, посмотри сейчас! Смотри!

Мансур посмотрел и пожал плечами.

— О, вам следовало видеть его и Принца немного назад! Ему не нравится Даниял, знаете ли. Никогда не нравился. Они ходили туда-сюда и разговаривали вместе, и пока они говорили... — Он осекся, так как голос Данияла стал слышен сквозь занавеси, висевшие над дверью.

Следующие две-три минуты никто в зале не произнес ни слова, все прислушивались к звуку разговора между Даниялом и какими-то людьми в вестибюле. Казалось, что Даниял сохраняет свое обычное спокойствие и, более того, пребывает в остроумном настроении, ибо его замечания встречались смехом слушателей. Когда настал момент прощаться с аудиторией, можно было слышать, как он делает это со всей своей обычной помпезностью.

Внезапно занавеси раздвинули два негра, и он появился. Его сопровождал тайный агент, с которым он говорил со звонкой словоохотливостью. Вместо того чтобы выйти вперед, он остался у входа, сделав несколько шагов то вправо, то влево, и вскоре, продолжая говорить, протянул руку одному из негров, который вложил в нее три цветных шарика, которыми Принц снова начал жонглировать.

Наконец кивком он отпустил своего собеседника и, всё еще заставляя шарики танцевать в воздухе, медленно направился к ожидающей группе. Все остались на своих местах; но белая кошка, которая встала с колен Гунэвати, зевала и потягивалась. Теперь она побежала по полу и, добежав до Данияла, потерлась о его ноги, заставив его упустить один из цветных шариков. Затем она бросилась на землю перед ним, перевернулась на спину и мяуканьем пригласила его поиграть с ней. Но Даниял нахмурился, когда шарик упал, и теперь, приподняв подошву правой ноги, поставил ее на голову кошки. Затем быстрым и улыбающимся взглядом обведя зрителей, он медленно нажал ногой вниз. Одна за другой кости в голове кошки захрустели, и, когда раздался этот звук, глаза Принца на одну смеющуюся секунду встретились с глазами Гунэвати. Лапы кошки били по воздуху; ее тело напряженно выгнулось дугой, а затем обмякло в конвульсиях; на полу растеклась небольшая лужица крови.

Очень медленно Гунэвати соскользнула со своего сиденья и упала ничком на землю.

— О, какой стыд! — воскликнул Дантават нервным смешком. — Бедная киска! Такая милая киска!

Яркий голубой взгляд Данияла еще раз скользнул по лицам аудитории, и улыбка вокруг его губ осталась прежней. Молодой улан, внезапно выйдя из своей неподвижности, шагнул вперед, поднял Гунэвати с пола и двинулся к двери. В то же время Даниял поманил к себе двух своих негров, один из которых взял кошку за хвост и унес ее подергивающееся тело; другому он что-то сказал вполголоса, и этот человек остался рядом с ним.

В течение этой сцены раджа стоял совершенно неподвижно, если не считать вздувшихся мышц челюсти и подергивания пальцев правой руки. Вены на его лбу также вздулись; но эти признаки волнения очень скоро исчезли. Его глаза оставались прикованы к Даниялу — мрачно, но без всякого выражения, пока тот теперь неторопливо приближался к нему.

— Мой дорогой раджа, — сказал Принц, — вы проявили огромное терпение. Я знаю, это ужасно — как я заставляю людей ждать. Это один из моих недостатков. Но право же, на этот раз...

Просунув руку под руку Амара, он сделал вид, что собирается вновь начать маршировать вверх-вниз по залу. Но тело Амара осталось непреклонно жестким; так что там, вплотную друг к другу, стояли двое мужчин: Даниял улыбался в лицо радже, а его лицо, приподнятое, постепенно становилось всё ближе и ближе.

— Мой дорогой друг, — пробормотал он, — неужели вы...

Внезапно, движением огромной быстроты, рука Амара легла на рукоять его короткого меча, и лезвие наполовину вышло из ножен, прежде чем негр, расположившийся позади него и следивший за каждым его движением с готовой бдительностью, обрушил ему на макушку металлический слоновый стрекало. Раджа рухнул на землю.

Отступив назад, Даниял обозрел тело на полу со сжатыми губами и поднятыми бровями. Дантавату и Мансуру, которые подбежали, он сказал: — Еще минута, и я действительно верю, что он пронзил бы меня насквозь. Какой вспыльчивый джентльмен! — Надеюсь, ты не убил его? — добавил он, резко поворачиваясь к негру.

— Разве только если у него очень мягкий череп, — ответил мужчина, ухмыляясь.

— Могу ли я получить разрешение Вашего Высочества удалиться? — спросил Мансур плаксивым тоном. — Мне очень нездоровится после того, что случилось сегодня утром на берегу озера.

Даниял рассмеялся.

— Я принимаю как должное, — угрюмо продолжал Мансур, — что мне теперь разрешено упаковать вещи и покинуть Плезенс? С разрешения Вашего Высочества, я получу свое жалованье и уеду сегодня днем.

Даниял покружился на носках, потер руки и снова рассмеялся довольно долго. — Какая чепуха! Но бежать сейчас вы можете. — Только помните! — И он предостерегающе поднял палец. — Сегодня в пять часов репетиция.

— Репетиция? — в ужасе вскричал Мансур. — Но ведь мы все собираем вещи?

— Да, не торопясь. Я вижу, что спешить некуда. Всё не так плохо, как я думал, и я собираюсь остаться здесь еще как минимум на неделю. Я сделаю это хотя бы для того, чтобы досадить моему несчастному братцу. — Легким шагом он двинулся к сцене. — Пойдемте, Дантават, мы должны посмотреть, что делают эти люди. То, как они обращаются с моими вещами, поистине слишком варварски!

Через минуту он бы скрылся, но негр поспешил за ним. — Что мне делать с джентльменом? — спросил он с той же широкой ухмылкой.

— О, пусть его отправят обратно в дом шейха Мобарека. У него там есть друг.

IX

В тот вечер Гокал плыл обратно через озеро, а Амар лежал на матрасе у его ног. Лодка двигалась очень медленно, так как воздух почти не шевелился; нос лодки не издавал звука, рассекая стеклянную воду.

Время от времени Гокал наклонялся, чтобы посмотреть в лицо Амара, и через равные промежутки времени клал ему на голову свежее полотенце, мокрое и холодное от озерной воды. Глаза Амара были закрыты, но на его лице не было того расслабленного выражения, которое обычно бывает во сне. Его брови были слегка нахмурены; он выглядел надменным и отстраненным.

Очень медленно Плезенс Искусств отступал в туман, начинавший заполнять долину. Солнце, только что зашедшее за отрог холмов, делало воздух золотым и расстилало радужную пленку по воде. Лишь когда лодка была уже примерно на полпути, Гокал перестал бросать нервные взгляды назад, ибо его преследовал неразумный страх, что Даниял передумает и пошлет лодку с требованием вернуть Амара.

Что именно произошло, ему пока еще не было известно, но люди, которые принесли бесчувственного Амара к его двери, сказали достаточно, чтобы показать: это то самое, чего он смутно предчувствовал — исполнение судьбы, которая, возможно, была неизбежной. Как кульминация и свершение, эта катастрофа даже принесла с собой определенное умиротворение — точно кризис болезни приветствуется как конец периода неизвестности.

Волна жалости и нежности захлестнула его сердце, когда он наклонился, чтобы всмотреться в суровое, невидящее лицо Амара. «Либо он умрет, либо войдет в состояние

здоровья и силы лучшее, чем любое прежде». Этой мыслью он пытался утешить себя, выжимая другое свежее полотенце в воде озера. Тем не менее, за пределами меланхоличного покоя нынешнего часа, он нигде не видел уверенности. Драмы реальной жизни, думал он, не похожи на сценические, ибо воображение богов бесконечно, и окончательности не существует.

Подняв глаза, он всматривался в линию берега, где стоял дом раджи. Казалось, они едва ли хоть сколько-нибудь приближаются к нему; ибо по мере сокращения расстояния сгущались сумерки, и очертания предметов становились более тусклыми. Но медленное продвижение лодки больше не беспокоило его; там, в одиночестве озера, он был свободен от своих прежних страхов. С летучими мышами, низко парящими над водой, и красками земли и неба, мягко растворяющимися в туманных сумерках, безмятежность земли проникла в него, и ни один из нетерпеливых, укоризненных вопросов, которые люди задают Судьбе, не казался ему требующим ответа. Он заметил, не в первый раз, что есть момент, когда само наступление вечера расширяет его, и великий купол неба нависает с новой пространственностью над темнеющей землей. Тишина вечера также, кажется, обладает этой же пространственностью, так что даже когда звуки нарушают ее, они ничего не значат. «Они поглощаются», — подумал он, — «они теряются — как та стая уток, летящая очень высоко, которая через мгновение исчезнет».

Теперь серое пятно крыши раджи больше не было видно, хотя лодка находилась близко под берегом; да и в окнах не горели огни, отмечающие место, где стоял дом. Гокал посмотрел вниз на человека, который лежал вытянувшись подобно трупу у его ног, и, думая о том, какой вестник печали он есть, его сердце упало внутри. Не подозревая об ожидающем их — ибо Амар просил, чтобы ни Ситу, ни Хари не информировали о его прибытии в Лагерь, — эти двое влюбленных прямо сейчас наслаждались своим счастьем в полной мере. Где-то несомненно среди тех темных деревьев они сидели вместе и разговаривали, или, возможно, они гуляли по травянистой тропинке у озера; может быть, они заметили приближающуюся лодку и будут стоять на пристани, чтобы поприветствовать его.

— Почти четыре недели! — сказал он себе. — У них было почти четыре недели. — И он попытался найти утешение в мысли, что красота личных отношений, сколь бы кратким ни было время, в вечности остается неизменной. Есть моменты, думал он, когда чувство поднимается до такой интенсивности, что оставляет отпечаток на чем-то более долговечном, чем индивидуальные воспоминания. Влюбленные смутно осознают это даже в увлеченности своим личным счастьем. Им следует помнить об этом после...

Размышляя о собственном опыте любви — как его соблазняли, и отвергали, и обманывали, и как он сам себя предавал, — он увидел, что даже в его жалком блуждании была некоторая польза, ибо этим переживаниям он был обязан хотя бы частью своего нынешнего понимания того, чем может быть любовь, — частью также и своей интуиции относительно любви Ситы и Хари. Ему нужно было заверение в том, что они действительно

сильно любят друг друга, чтобы возвысить его над чувством неверности Амару. В эти дни он смог извлечь своего рода ликование из их любви, но в его сердце было также много печали и немало страха.

Странные, тихие дни! Тогда, живя в постоянном обществе Джали, он сидел, разговаривая у своей палатки, или задумчиво бродил вдоль берега озера, или выходил ловить рыбу на озере. Одно за другим сияющие утра расцветали в теплые безветренные полдни, мягкость которых длилась до наступления ночи. И все эти дни он слушал внутренним ухом беззвучную музыку, которую, казалось, влюбленные распространяли вокруг себя.

С легким толчком лодка ударилась о дерево пристани. Гокал почувствовал внезапный удар в сердце и встал. Два лодочника вышли из лодки и присели на берегу, ожидая.

Гокал некоторое время стоял неподвижно, оглядываясь в темноту. Он мог видеть немного поверх озера и немного вдоль тропинки, но везде, где были деревья, тьма была полной. Он снова сел и посмотрел на Амара, чья похожая на труп неподвижность теперь заставляла его чувствовать себя беспомощным и испуганным. Что ему делать? что ему сказать Сите и Хари? Удар, который он собирался им нанести, заставлял его чувствовать себя виноватым и больным. Это было такое внезапное и жестокое завершение их короткого периода счастья. Завершение, да! — но это было также и начало.

Взглянув вниз на Амара, он позавидовал его бессознательности. В голову пришла мысль, что если Амар умрет, не приходя в сознание, это будет хорошим исходом. Но он осудил эту мысль.

Вода не плескалась о борта лодки — стояла абсолютная тишина! В доме не было огней. Никаких огней или звуков нигде. В минуту замешательства и паники он спросил себя, не покинуто ли это место... не сбежали ли Хари и Сита?

Он встал и неуклюже вышел из лодки. «Я пойду к дому», — сказал он двум лодочникам. — «Присматривайте за Махараджей, пока меня не будет».

Когда он поднимался по тропинке под деревьями, он услышал, как Хари, Сита и Джали разговаривают и смеются вместе на веранде.

Пруд Вишну

Часть 1

I

В белом мраморе террасы были устроены три бассейна; вода в них была чёрной, и заходящее солнце бросало блики на их темноту. Сама терраса возвышалась над пустыней в безмятежном и одиноком великолепии, её белизна отливала розовым перламутром морской раковины. Выше раскинулось безветренное небо, усеянное стервятниками; они кружили и парили наискось, а порой камнем падали вниз. Под ними медленно текла тёмная струйка человечества — струйка, пробивавшаяся от горизонта к горизонту сквозь забивающую нос пыль.

Сита сидела на террасе. Перед ней сверкали бассейны; а за ними, в центре мраморной площадки, вздымался в небо замок. Это был сказочный замок. Странно и неуместно построенный из дерева, потрескавшегося и выцветшего на солнце, он высился в серебристом преждевременном запустении над окружающей пустошью. Путники, указывая издалека, говорили: «Это замок безумного Сесодии, единственного выжившего после осады Читора».

Сита смотрела вверх на стервятников, взгляд её был мечтательным и в то же время пристальным. Но при звуке шагов кого-то, вышедшего из дверей замка, она быстро опустила голову, а когда увидела, что это Хари, жизнь вернулась на её лицо. Хари был одет для верховой езды; его военные сапоги гремели по плитам; она заметила, что держится он неестественно прямо — слишком прямо. Это означало, что он устал.

— Я спускался в конюшни с Джали, — окликнул он. — Только что прибыли новые люди с кавалерийского поста — славные ребята с хорошими лошадьми.

— У них есть какие-нибудь новости?

— Нет.

— Он на мгновение замялся, затем добавил: — Их колодец, полагаю, иссякает довольно сильно — как и наш.

Сита нахмурилась и отвернулась. Уставившись несчастными глазами на парапет, она сказала: — Эти люди всё ещё бредут мимо — прямо под нашей стеной. Я только что смотрела. Некоторые, казалось, умирают.

Лицо Хари помрачнело. — У нас нет лишней воды. И ты это знаешь.

— Мы должны поделиться.

— Возможно. Но я не позволю тебе умереть от жажды. — И, так как она молчала, он продолжил: — Кроме того, повторится то, что случилось в прошлый раз. Если мы привлечём к себе внимание, сюда ворвётся толпа. Тогда они выпьют эту воду, — он указал на бассейны, — и ты знаешь, что это значит — очень неприятную смерть.

Голова Ситы осталась опущенной. — Всё равно, — пробормотала она, — мы должны… как-то… поделиться.

— Не сомневаюсь. Но почему только водой? И почему только сейчас? Где-то в Индии каждый год бывает засуха и голод, но мы этого не видим, а потому нам всё равно. — Резко и не дожидаясь ответа, он подошёл к стене террасы. Пока он стоял там, глядя вниз, её глаза печально покоились на нём. «Он устал, — думала она, — и немудрено! Вся ответственность лежит на нём. На его руках калека, женщина и мальчик. Это путешествие было ужасным, ужасным». Откинувшись назад, она закрыла глаза. Зной отнял у неё все силы. Неужели никогда не повеет ветерком? Даже на закате?

Хари вернулся. — Ничего нового, — коротко сказал он.

Она ответила, не поднимая век: — Они проходят мимо так тихо. В их тишине есть что-то жуткое.

Он сел рядом с ней.

— Иногда мне кажется, — продолжала она, — будто всё случившееся за последние несколько недель…

— Да?

— Будто это возмездие.

— Я знал, что ты об этом думаешь.

Она открыла глаза и посмотрела на него. — Можешь ли ты поверить, что прошло всего несколько недель с тех пор, как мы покинули Холмы? Помнишь тот вечер, когда мы сидели на веранде, глядя вниз на озеро?

Он ничего не ответил, и через минуту, отвернувшись от его непроницаемого, застывшего лица, она добавила вполголоса: — Мы ведь всё ещё любим друг друга, правда?

— Да. — Слово прозвучало энергично; затем, со злой иронией в интонации, он добавил: — Увы, да!

Она снова изучила его лицо, но тщетно. — Хари, что такое? Мне кажется, ты кое-что мне не рассказал. Он коротко рассмеялся. — Ты слишком хорошо меня знаешь. Вообще-то

рассказывать нечего, хотя я надеялся, что будет. Я только что заходил к Амару. Я думал, может быть, он наконец согласится поговорить, но я ошибся.

— Ты входил в его комнату? — голос Ситы был тревожным, она беспокойно пошевелилась. — Почему ты не предупредил меня, что собираешься это сделать? Что ты сказал?

— Очень мало. Я говорил об этом проклятом путешествии — о наших шансах скоро двинуться дальше. И время от времени я ждал.

— Но он ничего не сказал?

— Только «да» и «нет». Больше ничего.

На этом наступило молчание. Наконец она глубоко вздохнула: — Мне нужно пойти к нему сейчас и пожелать спокойной ночи.

Она встала, и он тоже встал. Мгновение они стояли неподвижно, глядя прямо перед собой. Фасад замка сиял театральным великолепием, бассейны багрово сверкали, стервятники кружили в небе. Хари взял её руку и поцеловал.

— Что было, то было, — сказал он.

Тень пробежала по её лицу. — Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.

Он снова тихо рассмеялся. — Я не имею в виду ничего такого, на что ты могла бы обидеться.

Вместе они направились к двери замка.

На пороге Хари остановился; они обменялись взглядами, и Сита вошла одна. Она прошла через высокий восьмиугольный зал в маленькую комнату, в конце которой возле занавеса сидел на корточках старый слуга. При её приближении он поднялся и раздвинул занавес. Войдя в соседнюю комнату, она на мгновение замерла у двери, глядя через голое пространство пола на постель Амара. Амар лежал на спине, с мокрой полотняной подушечкой на лбу, глаза его были закрыты. Она всматривалась, так как свет был тусклым; она ничего не видела ясно и не была уверена, слышал ли он, как она вошла.

Внезапное воспоминание о другом часе заката всплыло в её памяти. Она вспомнила, как остановилась на пороге спальни Джали в Старом дворце в Агре, а Амар, стоявший в потоке вечернего света, смотрел на неё глазами, которые казались глазами провидца. Контраст между тем моментом и этим наполнил её сердце печалью и ужасом. О жестокость жизни! О жестокость времени и перемен! Она слегка покачнулась, и слова: «Господи, помилуй!» — непроизвольным шёпотом сорвались с её губ.

Теперь она двинулась к постели, но Амар всё ещё не подавал знака. Его руки были сцеплены за головой, глаза оставались закрытыми, и всё же она была уверена, что он не

спит. Его лицо казалось ей маской, за которой работал деятельный ум. Она тихонько села у кровати, не глядя на него, и подумала: «Как далёк он от меня! Но он был далёк даже до своей травмы. Он отдаляется от меня уже много лет — со дня рождения Джали. Наши религии повели нас в противоположных направлениях. Было ли это неизбежно?» И её грустные мысли текли дальше: «Для меня этот мир, одеяние Бога, с каждым годом становится всё более насыщенным красотой, значением; для него же происходило прямо противоположное. С каждым годом менее значительный, менее реальный. И теперь, о чём он думает — в каком одиночестве дух беседует сам с собою — я не знаю — никогда не узнаю».

Долго и пристально смотрела она в лицо Амара, и когда она сделала это, ею овладел страх, новый и безобразный страх. Нечто внутри неё сказало: «Хотя его глаза кажутся закрытыми, он наблюдает. Откуда тебе знать, что он чувствует или какие страсти вынашивал в своём сердце все эти дни? В эту самую минуту он ненавидит тебя. Он твой враг. Берегись! Берегись!»

Со стыдом она подавила этот голос и послала всю свою любовь к Амару в отчаянном, хотя и безмолвном призыве. Безмолвно она молила его поверить, что её любовь к нему не умерла. Она просила хоть толики того сострадания, которое дарила ему сама.

Но Амар не подал знака, и наконец она произнесла его имя.

— Да, моя дорогая, — ответил он, очень мягко и тихо.

— Ты не спал?

— Нет. Не спал.

— Но ведь тебе не больно, надеюсь?

— Нет. Сейчас мне почти не больно.

Она помолчала. — Амар, разве нет ничего, что я могу для тебя сделать?

— Спасибо, моя дорогая, ничего.

— Ты знаешь… — Её голос дрогнул помимо воли. — Ты знаешь, как я.... — Она начала фразу, не подумав, чем её закончит.

И Амар ответил коротко, но ласково: — Да, я знаю.

Она взяла себя в руки; затем поднялась, взяла его руку и приложила ко лбу. — Я собираюсь написать Евдоксии. Сказать ей что-нибудь от тебя?

— Скажи ей, что у меня всё хорошо.

— Но… правда ли это?

— Да.

Она отошла. В облаке одуряющей грусти она удалилась и медленно поднялась по скрипучим, пыльным ступеням в свою комнату. Как во сне, она стояла у окна, глядя, как гаснет красное небо. Когда она наконец вернулась к действительности, то вздрогнув. Она зажгла лампу, села за стол и приготовилась писать.

Мысль о Евдоксии, её старой няне, принесла ей утешение. Ей страстно хотелось общения с кем-то, кто знал её тогда, когда жизнь была простой — ничем не осложнённой из-за нынешних эмоций. Евдокия была с ней в том путешествии пятнадцать лет назад, когда она покинула свой дом на Кавказе невестой Амара. Евдоксия ухаживала за ней во время рождения Джали и жила с ней с тех пор. Другая женщина могла бы слишком пристально следить за ходом жизни своей юной госпожи; другая могла бы строить догадки и судить; но преданность Евдокии исключала и любопытство, и критику. И именно к ней она обратилась сейчас, находя, что её беды теряют часть своей мучительности, когда она приноравливала их к пониманию этого верного, любящего ума.

Она написала: «Надеюсь, ты не испытывала слишком сильной тревоги. Писать раньше было бесполезно — ни один вестник всё равно не смог бы добраться до тебя, — а теперь я едва знаю, с чего начать. Прошло больше месяца с тех пор, как Хари Хан, Джали и я сидели в сумерках на террасе в Рави, когда внезапно от озера прибежал запыхавшийся Пандит Гокал и сказал нам, что у Раджи случился несчастный случай и он лежит без сознания в лодке внизу. Мы спустились вниз и подняли его в дом; он получил удар по голове, и хотя врачи в Плезенсе сказали, что рана несерьёзна, мы все были очень встревожены. Полный покой был бы для него лучшим средством, но, к несчастью, уже на следующий день пришла новость о том, что всадники Салима совершают рывок вперёд и что район небезопасен. Наше путешествие было трудным с самого начала. По пути вниз, в Катхияпур, нас застигли ливни; и нам приходилось ехать очень медленно, так как Раджу несли в паланкине. Отдохнув всего несколько дней, мы двинулись дальше в Этапур, и там нас настигла внезапная и ужасающая жара. Город был наполовину пуст, ибо засуха и голод гнали людей прочь, а во многих частях Государства вспыхнула холера. И всё же мы были вынуждены оставаться в Этапуре неделю, так как некоторые из наших слуг сбежали, и продолжать путь без вооружённого эскорта было невозможно. Дороги вокруг Этапура кишат разбойниками, а дальше к югу страну наводняют отряды всадников Салима. Было трудно решить, что делать. Раджа оставался — как остаётся и по сей день — вытянувшись в молчании на своей постели — не думаю, что действительно в прострации, но бесконечно далёкий; и никто не может достучаться до него. Наконец мы снова тронулись в путь — и этот этап путешествия был ужасен. Мы постоянно встречали длинные вереницы мужчин, женщин, детей, которые мучительно пробирались через пустыню, пытаясь спастись от моровой язвы и голода. На рассвете третьего дня на нас предприняли нерешительное нападение какие-то голодающие крестьяне. Отогнав их, мы предложили им часть наших припасов, а взамен они предупредили нас, что отряд из трёхсот всадников Салима только что узнал о нашем

местонахождении и планирует перерезать нам путь. Это было моим главным страхом. Ведь тогда Джали непременно взяли бы в заложники. Раджа Чандра и Раджа Бирпал оба потеряли своих сыновей таким образом. Поэтому мы свернули с дороги, и вскоре нам повезло наткнуться на отряд императорских улан; и именно тогда Хари Хан вспомнил, что в нескольких милях от их кавалерийского лагеря находится пустой, полуразрушенный замок Сесодии, и предложил использовать его как временное убежище. Так что вот мы здесь — защищены лагерем как от разбойников, так и от отрядов Салима. И скоро, надеюсь, мы сможем двигаться дальше к дому».

В этом месте Сита остановилась, затем встала и снова подошла к окну. Усыпанная звёздами пустыня имела такой размах, что её сердце сжалось. Неужели они действительно когда-нибудь доберутся домой? А если доберутся, то что потом?

Снова слово возмездие всплыло в её сознании. Но она отвергла его. Прижавшись головой к оконной раме, она закрыла глаза. «Нет, — сказала она себе, — я не могу чувствовать, что моя любовь к Хару грешна — даже несмотря на то, что, будучи христианкой, я знаю, что такие любви неправедны».

Долго стояла она так, воскрешая в памяти счастливые часы в Рави — дни, в которые она предавалась полному и безмятежному наслаждению своей любовью. Она представляла себе склон холма позади дома, где Хари лежал рядом с ней на горном дёрне, а далеко-далеко внизу у их ног мерцало озеро. Она вновь ощутила истому послеполуденного часа, услышала жужжание пчёл и вспомнила тот покой, который владел ею. Она говорила себе: «Как чудесно уметь любить и глубоко заглядывать в свою любовь, не глядя за её пределы». В то время она была вознесена надо всеми заботами — да, даже в те минуты, когда останавливалась, чтобы спросить себя, чем всё это кончится. «Не безумие ли ставить всё на одну такую карту? Нет, никогда нельзя страшиться будущей боли. Нельзя обладать подлинной радостью, если боишься грядущей боли».

И теперь, хотя мысль о том, что она отдаёт своё сердце в залог Судьбе, оставалась с ней, она не могла почувствовать, что Бог против неё; и хотя она смотрела на себя с изумлением, чувства вины в ней не было. Она помнила, что говорила Хару: — Разве ты тоже не удивлён тем, что я сделала? Ты забыл, что я христианка, и что такой образ жизни для меня — грех?

И часто, думая о его жизни и предназначении, она говорила: — Если бы у тебя было христианство, твои силы имели бы основу, от которой можно отталкиваться, и цель, к которой нужно стремиться. — Но осознание ложности своего положения столь же часто заставляло её печально улыбаться и добавлять: — Да, но какое место нашлось бы мне тогда в твоём мире? Что стало бы со мной? Ты не смог бы включить меня, если бы обладал моей верой. Как могли бы мы быть христианами вместе? Я не практикую христианство в собственной жизни просто потому, что люблю тебя. Но вопреки этому я всё ещё верю — да, более чем когда-либо прежде, я верю».

II

Хари проследил глазами за Ситой, пока она не скрылась в сумерках зала. Затем, спустя мгновение, он повернулся, прошёл в угол террасы и застыл там, глядя на песок.

Несколькими минутами позже в дверях появился Гокал. Последние лучи солнца багрово освещали его высокую, массивную фигуру в белых одеждах, и он моргнул от света. Его глаза остановились на Хари; он долго и пристально смотрел на него. В глазах Гокала всегда была задумчивая меланхолия, и сейчас ему казалось, что он видит одинокую фигуру Хари очерченной не просто на фоне пустыни и неба, но на фоне всех глубин времени и пространства за ними.

Наконец, неслышно ступая босыми ногами, он подошёл к Хари на расстояние нескольких ярдов и остановился. Его приближение не было услышано, и тихо, нерешительно он произнёс имя Хари.

Хари резко обернулся.

Поднявшись на ступеньку, Гокал встал рядом с ним, и несколько мгновений оба молча смотрели перед собой; затем Хари сказал: — Я заходил к Амару — около часа назад.

Гокал нахмурился. — Стоило ли тебе это делать?

— Почему нет?

Гокал промолчал.

Плечи Хари дёрнулись. — Он не имеет права так обращаться с Ситой.

— Думаю, он имеет право сам выбирать время.

— Нет. Его поведение жестоко.

Гокал вздохнул, затем пробормотал: — Что ты ему сказал?

— Я говорил о нашем положении здесь. А потом ждал, когда он заговорит. Он прекрасно знал, зачем я пришёл.

— И что же он ответил?

— Ничего.

После паузы Гокал повернул голову. — Было время, когда вы двое понимали друг друга. Но теперь…

— Теперь никто не может понять Амара.

— Ты хочешь сказать — потому что его разум повреждён?

— Нет. Это было бы объяснением. Я злюсь на него именно потому, что он в здравом уме, такой же, как ты или я — возможно, даже более здравомыслящий.

— Злишься, — пробормотал Гокал.

— Да, злюсь.

Гокал снова искоса взглянул на него и увидел, что лицо Хари бледно, а челюсть сжата. Он сделал беспокойный жест и уже собирался что-то сказать, как вдруг Хари продолжил: — Я знаю Амара лучше, чем ты думаешь, но это не значит, что понимаю его. Я зол, но человек, которого я действительно виню — это я сам. Мне следовало отправиться в Плезенс тем же вечером.

Гокал поднял руку в знак протеста. — Хари, ради Бога…

— Дурак был, что послушал тебя. Мне нужно было повиноваться инстинкту. Мне нужно было убить Данияла.

Гокал покачал головой.

— Да. — Но ты упомянул Ситу, и я проявил слабость.

— Тебе пришлось подумать о Сите. И ты это знаешь.

Коротко рассмеявшись, Хари отошёл на несколько шагов, затем, вернувшись, подался вперёд лицом к лицу с Гокалом и посмотрел ему прямо в глаза. — Ты считаешь, что я лгу, когда говорю, что ненависть не даёт мне спать по ночам — ярость из-за того, что я не убил Данияла? В тот вечер всё было иначе. То, что я чувствовал тогда, было не ненавистью, а праведным гневом. То, что я чувствую сейчас — это ярость и ненависть.

Гокал нахмурился и отступил. — Ты не в том состоянии, чтобы ясно мыслить — или правильно чувствовать. Если хочешь, я дам тебе что-нибудь, чтобы ты уснул. — Он помолчал. — Тебе нужно быть осторожнее, Хари. Горцы иногда сходят с ума от жары на равнинах.

Хари снова рассмеялся. — Бог всю жизнь играет со мной шутки. И некоторые из них меня возмущают. Посмотри, как он бросил меня в партнёрство с Даниялом!

— Не понимаю, что ты имеешь в виду.

— Разве мы с Даниялом не были партнёрами в причинении вреда Амару? Можешь ли ты это отрицать? Если Амар поднял руку на Данияла, то что — что, во имя всего святого — могло заставить его сделать это? Лишь одно — и ты знаешь что. Даниял издевался над ним.

Гокал твёрдо встретил взгляд Хари. — Ты сам не свой; и ты признался мне в этом прошлой ночью. Ты также согласился, что твой первый долг — не ранить Ситу.

— Человек должен проживать свою жизнь несмотря ни на что. Он должен следовать своей природе. Если бы я присоединился к Салиму…

— Хари! — перебил его Гокал. — Я хочу дать тебе предостережение. Бывают времена…

— У Ситы не было бы права винить меня, если бы я почувствовал, что должен присоединиться к Салиму.

— Если бы ты сделал это сейчас, это было бы отнюдь не из добрых побуждений.

— Добрые побуждения для добрых людей. А я не добрый человек. И никакими добрыми советами в мире меня не исправить.

Гокал нетерпеливо махнул рукой, затем сухо сказал: — Твоё дело лишь спросить себя, любишь ли ты Ситу — и вести себя соответственно.

Хари рассмеялся. — О, я люблю её! Уж в этом можешь не сомневаться! Но если бы мы с Даниялом оба были мертвы, насколько проще была бы ситуация! Насколько лучше было бы миру — включая, возможно, и Ситу!

Гокал покачал головой.

Внезапно в Хари произошла перемена, его голос стал тихим. — У Ситы глубокая рассудительность и сила. А также глубокий здравый смысл вопреки всему её романтизму. После моей смерти она обратится к Амару, и вместе они достигнут какого-то покоя — какого-то счастья. Они достигнут его вместе. И какого же счастья она может достичь, — он запнулся, — при нынешнем положении дел? — Ты ведь не воображаешь, что мне доставляет удовольствие говорить это, правда?

Голос Гокала, когда он дал свой ответ, был натянутым и холодным. — Человеку очень трудно знать, какое истинное удовольствие он получает.

Хари уставился на него, а затем нетерпеливо воскликнул: — Пожалуйста, не будь загадочным. То, что я сказал, было достаточно просто. И ты не отрицал правдивости этого.

— Я размышляю о твоём мотиве — и о том, доставило ли тебе удовольствие сказать это. — Знаешь, — продолжил он после паузы, — люди находят наслаждение в разрушении так же, как и в созидании, в боли так же, как и в удовольствии. В каждом из нас живёт множество противоречивых импульсов.

Казалось, Хари не слышал, и после долгого молчания он сказал: — Несколько недель назад я думал, что двигаюсь к христианству. На меня повлияла Сита. Тогда я действительно думал, что могу стать христианином.

Гокал ничего не ответил.

— Это было в Рави — до того, как вернулся Амар.

Вздохнув, Гокал сказал: — Есть один вопрос, который я хотел задать тебе уже некоторое время: новости, которые у тебя были в Катхияпуре… я имею в виду известие об измене Амбиссы и приговор Акбара к изгнанию… насколько это ожесточило тебя?

Он смотрел на Хари, говоря это, но тот глядел прямо перед собой, и через несколько мгновений Гокалу стало ясно, что он не услышал ни единого слова. Эта внезапная отрешённость Хари встревожила его. Было слишком темно, чтобы видеть выражение лица Хари, но нечто тревожное передавалось ему от застывшей, неподвижной фигуры рядом с ним.

Наконец Хари поднял руку и положил её ему на плечо. — Если тебе действительно хочется услышать, в чём дело, я скажу. — Его голос был холодным и ироничным, почти презрительным. — Дойдя до этой критической точки в своей жизни, я чувствую себя неспособным соответствовать моменту. Понимаешь?

Ошеломлённый Гокал невнятно пробормотал что-то. Он всё ещё боролся со своим недоумением, когда тишину нарушило ржание лошади откуда-то далеко во тьме.

— Ты кого-нибудь ждёшь? — спросил он.

— Обычный доклад с кавалерийского поста.

Когда Хари говорил, звук позади заставил их обоих обернуться. Кто-то с фонарём шёл из замка. Оказалось, это солдат. Он отсалютовал и передал Хари письмо. Пока он читал, лицо Хари расплылось в удовлетворённой улыбке.

— Ага! — Подняв голову, он улыбнулся солдату. — Наконец-то что-то новое! Что ж, давно пора! — Я присоединюсь к этой маленькой игре.

Солдат ответил новым салютом и ухмылкой, обнажившей его белые зубы.

Отпустив человека дружелюбным кивком, Хари взял Гокала за руку. — Один из отрядов Салима ведёт разведку в этом направлении. Сегодня ночью будет стычка с ними, если нам повезёт!

— Ты намерен принять участие?

— Почему нет?

Гокал ничего не ответил, и вместе они направились к двери замка. Через мгновение Гокал остановился. — Твои симпатии на стороне Салима, — отрывисто сказал он, — однако вот ты здесь, пользуешься этой возможностью, чтобы сражаться против него. Если ты присоединишься к схватке, то лишь ради самого сражения, и ни для чего другого.

— Боже мой! — отозвался Хари. — Чего же ещё от меня ожидать?

III

Хари направился к короткой лестнице, утопленной в пол террасы, и спускаясь, достал из кармана два ключа. Один из них подошёл к замку двери внизу лестницы; за ней был проход, в конце которого сквозь прутья железных ворот виднелись синие глубины ночного неба. Вторым ключом он отпер эти ворота и осторожно толкнул их, проклиная каждый скрип ржавых петель. Пройдя через них, он тщательно запер их за собой и огляделся.

Ничего не было видно ни в каком направлении, кроме юга, где мерцали и светились несколько небольших костров. Огни заката погасли; теперь была глубокая ночь. Воздух наконец обрёл немного свежести, но по-прежнему оставался неподвижным.

Он смотрел и слушал; затем начал тяжело шагать вперёд по густому, мягкому песку. Дойдя до места, где земля спеклась и покрылась гравием, он ступал осторожно, так как песчаные гадюки иногда выползают на камни по ночам. Вскоре перед ним вырисовались очертания каких-то низких, полуразрушенных зданий, и у осыпающихся стен стали видны несколько человеческих фигур. Никто не вышел ему навстречу, но один человек в форме отделился от группы и отсалютовал.

— Ну! — тон Хари был резким, но дружелюбным. — Сегодня ночью придётся хорошенько нести дозор. — И некоторое время двое тихо беседовали стоя вместе.

— Мне нужна лошадь, — сказал наконец Хари. — И не ждите меня обратно до завтрашнего утра.

Человек ушёл, а он теперь подошёл к остальным. Его манера была приветливой. Посыпались шутки и приглушённый смех. Через несколько минут из дверного проёма того, что явно когда-то было конюшнями замка, вывели лошадь. Хари критически осмотрел животное, потянул за седло и изменил длину стремян. Затем с кивком он тронулся в путь.

Сначала его аллюр был неторопливым, но вскоре он пустил лошадь лёгкой рысью, а чуть позже, там, где грунт был хорошим, перешёл в полный галоп. Снова сбавив скорость, он размотал свой тюрбан, вытер лоб и уставился в звёздное небо. Ослабив поводья, он продолжал смотреть вверх. Лишь когда его лошадь споткнулась о крысиную нору и едва не сбросила его, он пришёл в себя.

Примерно в миле отсюда низкая гряда утёсов нарушала плавный изгиб горизонта; он всматривался в неё сквозь темноту, затем повернулся в седле, чтобы осмотреться кругом, и наконец издал особый крик. Ему ответил кто-то, кто, судя по звуку, находился примерно в полумиле справа от него. Он позвал снова, и вскоре подъехал какой-то мужчина. После короткого разговора Хари поехал дальше.

В небольшой ложбине под утёсами стали видны огни, заржала лошадь, и послышался слабый звон амуниции. Ночной воздух донёс запах конюшни. Задумчиво улыбнувшись, Хари думал о своём первом опыте лагерной жизни, когда пятнадцатилетним юношей он

присоединился к кавалеристам своего отца и прошёл суровое послушание. Им внезапно овладело желание выкинуть какую-то шутку; но ничего лучше, чем во весь опор подскакать к двери офицерской палатки и завыть раненой гиеной, он придумать не смог.

Мужчина, всё ещё державший стакан в руке, быстро и сердито шагнул наружу, но, увидев, кто это, отрывисто рассмеялся и сказал: «Заходи, дурак. Ты опоздал».

Передав лошадь груму, Хари шагнул в палатку. На одном её конце стоял стол, за которым лениво развалились полдюжины мужчин. На другом, меньшем столе была приколочена грубая карта, над которой склонились трое младших офицеров.

— Ради Бога, дайте мне выпить, — воскликнул Хари, и кто-то подтолкнул к нему глиняный кувшин. Он поднял его, поднёс к губам и продолжал поднимать всё выше и выше, пока тот не опустел до последней капли.

— Клянусь Бородой Пророка, — воскликнул мужчина, — впервые вижу, чтобы Хари пил воду.

На него смотрели с насмешкой, и Командир отряда, мужчина средних лет с красивым лицом, сильно загоревшим на солнце, прищурился и спросил: «Там, в замке, настолько плохо?»

— Да.

Командир потрогал подбородок и сухо сказал: — Что ж, в таком случае вашей партии скоро придётся сняться с места.

— Не знаю, — отозвался Хари. — Колодец всё ещё наполняется, хотя и довольно медленно. — И, усевшись, принялся есть.

Из сидевших за столом двое оказались старыми знакомыми, а с остальными он был в приятельских отношениях. Разговаривая и рассеянно поедая пищу, он почувствовал, как расслабляются его нервы. В знании того, что скоро предстоит сражение, он нашёл нечто знакомое и приятное. В этой атмосфере чувство бесцельности покинуло его — равно как и чувство ответственности.

Часом позже отряд выступил в путь, и он снова ехал молча под яркими звёздами; но на этот раз он был одним из сорока. Какое же это было отдохновение! Быть обычным уланом, как любой из остальных, человеком, действующим по приказу. Теперь его мысли были свободны блуждать, где им вздумается; и они вернули его к Сите, к первым дням их любви. Те дни были озарены необычайной красотой, и нынешняя красота пустыни под звёздным светом создавала для таких воспоминаний подходящее обрамление.

Этой поездке при звёздах придавало особую ценность то, что он не имел ни малейшего представления о том, где или как она закончится. Его неведение создавало волшебную пустоту, в которой могли раскрыться наслаждение ночью, и звёздами, и его любовью.

Самосознание жило в нём лишь в мысли: «Я не думаю. Какое облегчение!» И когда его глаза скользили по лицам мужчин, трусивших рысью рядом с ним, ему казалось, что повсюду он видит одно и то же отсутствие мыслей, одну и ту же приятную истому — особенную истому, которая приходила к человеку в такие времена. Опасность была ветром, отгонявшим насекомые заботы жизни. Если настоящий момент содержал в себе столько покоя, то только потому, что он плавно скатывался по пологому склону в будущее действия и опасности.

Чуть впереди скакал Командир отряда. Взгляд Хари покоился на нём задумчиво, ибо в нём он видел человека, находившего в жизни так мало счастья, что единственным утешением для него была опасность; а мир опасностей — единственный покой, который он знал. Он был мужем Джагашри Рани и прожил с ней в полном довольстве три года, пока её внезапно не охватило честолюбие, заставившее бросить мужа и ребёнка ради того, чтобы пробить себе дорогу в кружке Данияла, достигнув своей цели ценой доброго имени своего и мужа, и через практику пороков, к которым у неё не было природной склонности. «И теперь, — подумал Хари, — мужчина потерял вкус к жизни. Глупец ли он? Или всякая любовь такова?»

По команде отряд теперь остановился и разделился на две неравные части. Основная группа ускакала прочь, оставив Хари и семерых других ждать там, где они были. Впереди возвышался высокий берег, местами настолько крутой, что казался утёсом; но его рассекал овраг, промытый ручьём, который ныне пересох. В нескольких сотнях ярдов слева длинная бледная полоса отмечала русло другой, более широкой реки. Пока Командир отдавал свои распоряжения, Хари оставался невнимательным, его взгляд был прикован к лицу говорящего. Оно было бесстрастным и вылепленным по канонически красивым меркам. Но сильные светотени, отбрасываемые восходящей луной, делали его драматически значимым. Мужчина говорил отрывисто, словно скучая от собственных слов, но с деловитой резкостью. Закончив, он развернул коня и ускакал в овраг.

Следуя примеру своих товарищей, Хари спешился и потянул члены, пока его лошадь встряхивалась и начала принюхиваться к земле, покрытой здесь короткой ломкой травой, слишком горькой, чтобы её есть. Сквозь ветви искривлённого дерева на вершине утёса луна сияла ослепительно. Глядя на неё, он вспомнил китайскую картину, которую Сита повесила в своей комнате в Рави. Её восторг от этой картины заставил его самого внимательно посмотреть на неё, и в конце концов он получил от неё большое удовольствие. Но ему никогда не удавалось убедить себя в том, что он действительно сильно заботится об искусстве, и сейчас ему пришло в голову, что это дерево и эта луна нравятся ему гораздо больше, чем дерево и луна на картине. Тем не менее, размышлял он, чувство Природы у Ситы тоже было как минимум таким же сильным, как у него. «Она превосходит меня во всём, и Амар, возможно, тоже. То, что я сказал Гокалу, правда, хотя я и сказал это в гневе. Если бы я умер, она могла бы со временем найти в Амаре кого-то более достойного её, чем я». За этим последовала мучительная цепь мыслей; воспоминания, одни старые, другие новые, возникли перед ним, и он наполнился самоотвращением.

Чтобы спастись, он вновь обратил свой ум к Командиру отряда. «Разве все мы, — думал он, — не унижены жизнью в той или иной степени — если не по собственной вине, то из-за злого рока судьбы? Посмотрите на мужа Джагашри! Словно ей самой мало того, что она опозорила и бросила его ради Данияла, теперь он оказался в таком положении, что вынужден сражаться за Данияла и, весьма вероятно, найдёт смерть именно так. Почему храбрые и честные должны постоянно приноситься в жертву коварным и развращённым?» Он отвернулся и плюнул на землю; им овладела смутная всеобъемлющая пессимистичность.

Затем внезапно он снова оказался в седле. Он подражал своим товарищам, которые вскочили на лошадей и теперь торопливо втягивались в овраг, такой узкий, что в нём едва могли ехать двое в ряд. Он обнаружил, что едет последним, и поскольку лошадь впереди лягалась всякий раз, когда он приближался к ней, ему приходилось держаться далеко позади. На протяжении нескольких сотен ярдов земля была так густо усеяна валунами, что ехать быстро было невозможно, но люди были возбуждены, и как только появлялся более гладкий участок, аллюр становился диким. Хари пришпорил свою лошадь; никогда ещё он не испытывал большего желания обменяться ударами. При первой же возможности он обошёл молодого человека со злобным скакуном, но лишь для того, чтобы встретиться с неудачей: кто-то налетел на него сбоку, и его лошадь упала. Ошеломлённый, но невредимый, он вскоре поднялся на ноги и с радостью увидел, что его скакун уже сумел встать на ноги. Запрыгнув в седло, он помчался дальше, но к этому моменту его спутники исчезли, и, завернув за следующий угол, он предстал перед неловким выбором дорог. Это вынудило его спешиться и искать следы копыт; найдя некоторые, он снова пустился галопом.

Двумя минутами позже он нагнал группу из дюжины человек и, хотя смутно осознавал, что они принадлежат врагу, закричал и завопил вместе с ними, в то время как в его сердце вспыхнула ликующая мысль: «Какая шутка! Я всё-таки буду сражаться против Акбара и Данияла!»

Внезапно, вместе с остальными, он выехал на главное речное русло. Перед ним простиралось пространство блестящего белого песка, на котором два отряда всадников уже сошлись в схватке и теперь разворачивались для новой встречи. Не успев подумать о чём-либо ещё, он оказался в самой гуще стычки; он парировал удары и рубил; он уложил одного человека и маневрировал, чтобы добраться до другого, когда пришлось пригнуться, чтобы избежать опускающейся руки. Его лошадь снова упала, и на этот раз удача ему изменила; мир внезапно погрузился во тьму.

Когда он пришел в себя, ему потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить, что происходило, и его следующим открытием стало то, что почти любое движение причиняло ему боль. Он лежал на боку, и слегка приподняв голову, он увидел, что всё ещё находится на том месте, где упал. Его лошадь ушла, все ушли, кроме пяти или шести человек, которые были либо ранены, либо мертвы. Их фигуры чернели на белом песке. Он позволил голове

упасть обратно и решил лежать неподвижно; но вскоре ощущение влаги на руке сказало ему, что он ранен, и страх истечь кровью заставил его сесть. Несколько мужчин тоже сели и пытались остановить кровотечение из своих ран. Пока он боролся со своей туникой, пытаясь расстегнуть её, он услышал голоса и смех — громкие возбуждённые голоса и пустой пьяный смех тех, кто прошёл через опасность невредимым. Друзья это были или враги? И если его законные друзья, заметили ли они, что он сражался против них? Несколько минут ему пришлось терпеть тревожную неопределённость. Затем подошли два офицера, которых он знал, и на их лицах он не увидел ничего, кроме дружелюбия. Ему перевязали рану, которая, хотя и была глубокой, оказалась несерьёзной; она находилась в верхней части руки, и ни одна вена не была задета. Пока это происходило, весь отряд собрался, и прошло совсем немного времени, прежде чем он убедился, что никто не заметил, что он сражался не на той стороне. «Что ж! — подумал он. — Жизнь такова. И ответственность за это не моя».

IV

Сита проснулась на рассвете и сразу подошла к окну. Было ещё слишком рано ожидать возвращения Хари, но она всё равно с тревогой всматривалась вдаль. Вскоре в комнату вошла служанка и передала ей записку. Она была от Хари; он был цел! (Свою рану он описал как пустяковую.) Её облегчение было подобно счастью, но это было счастье, которое продлилось недолго. «Это лишь предвкушение, — думала она. — Сколько часов или дней неизвестности уготовило мне будущее?»

Всё так же глядя на пустыню, она погрузилась в задумчивость. Она осознала, что в первые восторженные дни с Хари её отстранённость от обыденного мира была полной. Это было так, словно они с Хари и Амаром были бесплотными духами, чьи проблемы можно было разрешить в сфере чистого чувства и идеи. Затем, когда поток событий подхватил её, он оказался таким бурным, что её мысли не могли отвлекаться от настоящего момента. Лишь сейчас у неё появилось время для воспоминаний — время понять, что подлинное — по-настоящему испытующее — напряжение жизни ощущается только тогда, когда спадает давление чрезвычайной ситуации. Она сказала себе: «Когда бушует сильный шторм, от тебя требуется лишь одно — держать свой корабль на плаву; тебе позволено идти по ветру. Но в обычную погоду нет оправдания тому, чтобы не определить свой курс и не держаться его».

Какова будет форма, ткань её будущей жизни? Как ей примирить противоречащие друг другу притязания своей любви к Хари и своей любви к Амуру? Эти две любви были такими разными! Одна — зов к жизни, другая — подготовка к смерти.

Через некоторое время стук в дверь возвестил о приходе Гокала, и тотчас же она приняла весёлое выражение лица. В обществе Гокала в наши дни ей требовалась вся её уверенность в себе. Его преданность Амуру, Хари и ей самой была, знала она, искренней и проницательной; именно это придавало вес его суждениям; но она также чувствовала, что хотя он и принял факт того, что она и Хари стали любовниками, он всё же оставался этим недоволен. Он пребывал в облаке дурных предчувствий.

В тот момент, когда он появился, у неё возникло подозрение, что он собирается с силами, чтобы затронуть сложные темы. И она оказалась права. Гокал уже давно желал какого-нибудь обмена мыслями с ней, ведь с тех пор, как Амар стал инвалидом, она ни разу не обсуждала своё положение. Несомненно, стресс, в котором они жили, до некоторой степени объяснял это, но её молчание могло быть, думал он, и признаком страха.

«Мне пришло в голову, — сказала она вскоре, — что эта рана Хари, вероятно, является скрытым благословением. В конце концов, он сражался за Акбара, когда получил её, а это должно чего-то стоить».

«Да, — неохотно ответил Гокал, — но...»

«Но что?» Гокал вздохнул и сказал: «Я сомневаюсь, что Акбар отменит свой приговор об изгнании; и я совершенно уверен, что Хари не намерен ему подчиняться».

«Сейчас он не может подчиниться. Неужели он бросит нас? И мы будем нуждаться в нём почти так же сильно, когда вернёмся домой. Ему придётся остаться с нами — по крайней мере, на какое-то время. Едва ли Акбар станет возражать против этого».

Гокал неуверенно потёр подбородок. «Помнишь, как — давным-давно — я предсказывал гражданскую войну? Только, конечно, я совсем не предвидел, насколько сложным окажется твоё положение».

«Что именно ты имеешь в виду?» И, поскольку Гокал молчал, она продолжила: «Думаю, ты сгущаешь краски. Хари должен добиться аудиенции и объяснить, что он абсолютно лоялен; тогда Акбар скоро смягчится».

«Акбар мог бы. Но действительно ли Хари готов сражаться против Салима?»

«Ну! Он только что делал это!»

На это было нечего возразить, и Гокал признал это чем-то вроде стона, но в следующую минуту он выпрямился и твёрдо сказал: «Сита, всё указывает на то, что Акбар назовёт своим преемником Даниэла; и как только он сделает это, борьба против Салима будет означать борьбу за Даниэла. Я очень сомневаюсь, согласится ли Хари на это».

Она жестом показала нетерпение. «Но Акбар ещё не старик! Зачем ему называть преемника? Я ожидаю, что он продолжит править ещё лет пятнадцать-двадцать. И как

только Салима поставят на место, люди больше не будут беспокоиться о престолонаследии. С чего бы им?»

Гокал медленно покачал головой. «Верно, что Акбар ещё не стар годами, но я чувствую, и он чувствует, и Индия в целом чувствует — что его роль сыграна. Дух эпохи изменился, и Акбар больше не нужен».

«Что ж! — сказала Сита, — если Акбар останется позади, я готова остаться позади вместе с ним. Но, возможно, я тебя на самом деле не понимаю, ибо порой ты даёшь понять, что то, что верно для одной эпохи, неверно для другой. Ты хочешь, чтобы я поверила, что христианство может когда-нибудь устареть? Нет! И если Акбар день за днём приближается к христианству, он приближается, как я верю, к истине. Его карьера солдата может быть закончена; но впереди лежит его карьера духовного лидера. Ты забыл, что сделал Ашока для Индии — не силой, а убеждением и силой своего примера? Разве фантастично верить, что Акбар сможет распространить Евангелие Христа так же широко, так же быстро, если захочет? И однажды принятое христианство никогда не откладывается в сторону».

Гокал снова покачал головой. «Как я вижу положение вещей, Акбар сейчас дальше от истинного христианства, чем когда-либо прежде. Дин Илахи — это всего лишь заменитель. В христианстве ему пришлось бы принять смирение, в Дин Илахи он отождествляет себя с Богом. Что касается Хари, я не знаю, что творится у него в голове, но я был бы очень удивлён...»

Сита на мгновение замолчала, затем сказала: «Я думаю, Хари может стесняться высказываться при вас. Но — но я твёрдо верю, что он недалёк от принятия Евангелия. И если бы Акбар подал ему пример, Хари, я уверена, воспламенился бы энтузиазмом и стал бы его главным лейтенантом. Видите ли, — добавила она после минутного колебания, — его натура гораздо проще вашей. И если бы он однажды ухватил суть истины христианства, он нашёл бы то, чего ему всегда не хватало — путеводную нить и цель».

Её глаза теперь были мягкими от мольбы, на которую Гокал тотчас же ответил: «Не бойтесь, что я буду сдерживающим влиянием».

«Я не думаю, что вы стали бы намеренно...» Она вздохнула. «Но, как я только что сказала, Хари гораздо более простодушен, чем вы».

«Более простодушен (прост умом; simple-minded)? Сомневаюсь. Он определённо менее прост по натуре (simple-natured)». Он посмотрел на неё с сомнением, затем продолжил: «Я не уверен, понимаете ли вы, какая сложность может скрываться под небрежными манерами и видом человека, живущего настоящим моментом. Такие люди скрывают свою сложность даже от самих себя — и иногда страдают из-за этого».

«И как они страдают из-за этого?»

«Многими способами — трудно объяснить».

Она показала, что встревожена. «Но в конце концов, в мире есть простодушные люди».

Гокал улыбнулся. «Полагаю, что да. Кроме того, если бы каждый из нас не создавал для себя весьма упрощённый образ самого себя, которому нужно соответствовать и который нужно иллюстрировать в обычной жизни, он вскоре совершенно выбился бы из сил. Я признаю это. Но... но...» Он прервал сам себя. «Вы должны простить мне, что я говорю так, будто знаю Хари лучше вас! Моё оправдание...»

«О, вам не нужны никакие оправдания!» Она закусила губу и слегка нахмурилась. «Гокал, я думаю, вы порой делаете вещи сложнее, чем они есть на самом деле».

«Мы говорим о человеческом духе, а что во всём мире может быть сложнее этого!»

Она ничего не ответила, и он улыбнулся. Но про себя он печально говорил: «Вы одна из тех людей, которые отказываются позволять нарушать свои упрощённые версии самих себя или других. И это опасно».

Сита пожала плечами. «В конце концов, самое важное в жизни чрезвычайно просто».

Между ними повисло молчание. Оно длилось до тех пор, пока скрип половиц в коридоре не сказал им, что кто-то приближается, и в следующий миг вошёл слуга объявить, что внизу находится офицер из кавалерийского поста и желает говорить с рани.

Лицо Ситы изменилось, и она поднялась на ноги. Затем она повернулась к Гокалу. «Я — нет, я не могу. Пожалуйста — пойдёте ли вы?»

Гокал поспешно вышел из комнаты.

Три минуты спустя слуга вернулся со сложенным листком бумаги, на котором было нацарапано: «Ему нечего сказать о Хари. Хари уже в пути сюда».

Прошёл почти час, прежде чем Гокал вновь вошёл в комнату. Сита сидела всё на том же месте. Пустыня, видимая через окно, была бледной и мерцала от зноя; вдали сверкал мираж озера, окружённого пальмами.

Гокал хмуро смотрел наружу. «Похоже, командир только что получил приказ отступить».

«Но...» На лице Ситы отразилось смятение. «Это ведь не значит, что мы ...?»

«Да. Боюсь, это означает, что здесь мы останемся без защиты».

«Но мы тоже можем отступить. Более того — мы должны».

Гокал покачал головой. «Я предложил, чтобы мы сопровождали их, но человек говорит, что это невозможно. Он был вежлив, но твёрд. Видите ли, отряд — это небольшая мобильная

боевая сила с обязанностями, которые не позволяют им действовать просто как нашему эскорту».

«Но если мы останемся здесь...»

«Боюсь, придётся. У нас как раз достаточно воды, и больше делать нечего». Он остановился, помедлил, затем продолжил. «Люди Салима теперь наступают очень быстро и значительными силами. Может пройти всего несколько часов, прежде чем они будут здесь. И когда это случится — ну что ж, мы окажемся под защитой Салима».

Она резко подалась вперёд. «О! но, Гокал, что вы говорите? Для нас самих это неважно, я знаю; Салим будет обращаться с нами вполне хорошо. Но как же Джали? Его заберут и оставят в заложниках».

Прежде чем он успел ответить, она вскочила и продолжила: «Я не позволю этому несчастному существу заполучить Джали! Мы должны немедленно уехать».

Он протянул руку. «Послушайте, дорогая моя! Вопрос о Джали — это как раз то, что обсуждали капитан и я. Я предложил, чтобы отряд взял его с собой. Но Командир предвидел эту просьбу — и отказал. Перед ним стоит трудная патрульная работа. Он не может брать на себя ответственность за мальчика, некомбатанта. Но у него было предложение. Он думает, что если Хари и Джали отправятся в путь прямо сейчас на хороших лошадях, они смогут уйти. Им придётся держаться в стороне от главных дорог и ехать в основном по ночам. Таким образом они почти наверняка доберутся до безопасной местности. Разбойники, которые являются не более чем голодающими крестьянами, не имеют верховых животных, а люди Салима скоро останутся позади. Кроме того, если их схватит Салим, Хари и Джали будут не в худшем положении, чем если бы их поймали здесь».

Сита отвернулась и сделала несколько шагов вглубь комнаты. Её ответ прозвучал приглушённым голосом: «Если действительно ничего другого не остаётся...»

Гокал посмотрел на неё с состраданием.

Через минуту она снова повернулась лицом к нему. Выражение её лица теперь было спокойным. «Это тяжело. Потерять их обоих вот так... Это случилось так внезапно... но...»

Гокал подошёл к ней и взял обе её руки в свои. Он заметил, что она дрожит с головы до ног. — Давайте подумаем! — мягко сказал он.

Они вернулись к окну, и Сита вновь устремила взгляд на пылающую пустыню. Сидя рядом с ней, Гокал не делал попыток заговорить. Ей нужно было время подумать, ей нужно было прийти в себя после этого нового удара.

Когда они наконец снова заговорили, их беседа, прерываемая долгими задумчивыми паузами, не продвинула их очень далеко. Присутствие Хари было необходимо для

практического обсуждения путешествия. Но Гокал также хотел поговорить о Джали, и наконец он сказал: «Я думаю, Джали будет дико взволнован».

«О да!» И Сита улыбнулась, но печально.

Гокал собрался с духом. «Возможно, кроме того, временная разлука со всеми нами пойдёт ему на пользу».

«Ему нужно что-то, что „пойдёт ему на пользу“?»

«Я думаю, что да. Знаете ли вы, что за последние недели он говорил мне, что ничто не заставит его когда-либо наследовать отцу как раджу? Я ничего не говорил вам об этом, потому что он просил меня не говорить. Но теперь, когда он уезжает...»

Сита нахмурила брови. «Нужно ли придавать большое значение такого рода разговорам? Он часто говорил то же самое и мне, что ему нет дела до политики или чего-либо, связанного с общественной жизнью; но я только смеялась над этим».

«Я не говорю, что его нынешние чувства продлятся. Но пока что они очень сильны. Он хочет быть совершенно независимым какое-то время и умолял меня сделать всё возможное, „когда придёт время“, чтобы убедить вас позволить ему уйти. Я говорю вам это сейчас, потому что время, кажется, действительно пришло».

Сита снова отвернулась, и по выражению её лица он заключил, что она собирается оставить этот вопрос без внимания. Странная женщина, подумал он. Но ведь люди всегда кажутся странными, когда они непохожи на тебя самого!

Наконец, однако, Сита бросила на него взгляд через плечо и сказала: «Вы сказали Джали, что думаете, будто ему будет полезно уехать на некоторое время?»

«Да. Но я не предлагал этого; и добавил, что ему не потребуется много времени, чтобы обрести чувство независимости — после которого он непременно захочет вернуться».

«И будет готов, когда придет время, занять своё положение?»

«Конечно. Я сказал и это тоже».

«Что ж!» Сита выпрямилась, посмотрела Гокалу прямо в лицо и улыбнулась. «Во всём этом вы можете быть правы, но...» Она снова повернулась к окну и тотчас вздрогнула от волнения.

Следуя направлению её взгляда, Гокал увидел одинокого всадника, медленно едущего к замку. Он подался вперёд, заслоняя глаза от блеска.

«Это Хари!» — воскликнула она.

«Может быть».

«Я уверена, что это он».

Они оба встали, и она протянула ему руку. «Правы вы или нет, вы очень хороший друг».

V

Несколько часов спустя Сита, Гокал и Хари собрались вместе в одной из высоких обветшалых комнат на нижнем этаже. Ставни, закрытые от жары, создавали полумрак, через который узкими лучами резкий белый свет прорезался, словно лезвия мечей. Низкий деревянный стол и два длинных дивана были единственной мебелью в комнате. Хари, с рукой на перевязи, сидел вплотную к столу, а перед ним стояли два кувшина — один с вином, другой с водой. Его лицо раскраснелось, широко раскрытые глаза имели одновременно пустой и вызывающий вид. Сита сидела на подушке напротив. Её запрокинутая назад голова и опущенные веки говорили об усталости. Она обмахивалась веером из слоновой кости.

Хари сделал глоток вина и сказал: «Вот бумаги, которые Командующий дал мне посмотреть». Он подтолкнул их через стол к Гокалу, который сидел в оконной нише. «Среди них есть карта, которую я возьму с собой».

Гокал перелистывал страницы, хмурясь на них сквозь очки. «Помимо карты...»

«Там есть последний Указ Акбара. Прочтите его нам вслух».

«Я действительно не думаю...»

«Мой дорогой Гокал, когда Его Императорское Величество берёт на себя труд...»

«О, очень хорошо!» И прервав его, Гокал начал. После беглого рассмотрения экономических и политических трудностей дня, Акбар призвал своих подданных к ответу за недостаток патриотического и религиозного пыла. «Затем он пустился в страстный призыв к Дин Илахи, „истинной религии“. Пышные фразы звучали глухо на фоне голых, выцветших стен этой пустой комнаты. Снаружи доносился крик коршунов; и всякий раз, когда Гокал останавливался перевести дыхание, был слышен громкий жужжащий гул мух. Воздух был полон этих мух, чьи ярко-зелёные тела, мелькающие в полосах света, наполняли комнату непрерывным слабым мерцанием.

Время от времени Хари прерывал чтение смехом; и наконец Гокал остановился и мягко сказал: «Вы правда хотите, чтобы я продолжал?»

Вопрос был встречен Ситой нахмуренным взглядом и покачиванием головы. Повернувшись к Хари, она сказала: «Мы закончили. — И я бы хотела, чтобы вы пошли и немного поспали. — Хари, пожалуйста!»

«Как пожелаете; но спешки нет. Мы отправляемся только в полночь. Где карта?»

Когда она передавала её ему, она бросила Гокалу многозначительный взгляд. Гокал сказал: «Давайте подведём итог; после этого мы все отдохнём».

«Как пожелаете». И, склонившись над картой, Хари продолжил: «Отправляясь в полночь, мы скачем прямо на север шесть часов — до рассвета. Затем мы прячемся, и...»

«Где вы прячетесь?» — вставила Сита.

«О, где угодно! Среди скал, как даманы. Затем с наступлением ночи мы снова едем дальше, слегка отклоняясь к востоку, пока не доберёмся до Калигара, который всё ещё должен быть в руках людей Акбара. Там мы спросим, возможно ли пересечь страну напрямик до Видьяпура, который лежит строго на запад, или лучше нам отказаться от идеи того, что Джали доберётся домой, и двигаться по прямой в направлении Агры». Он поднял взгляд. «Это достаточно просто, не так ли?»

Сита нахмурила брови. «Обдумывая это, мне не слишком нравится идея того, что Джали будет ждать нас в Агре. Могут пройти недели или даже месяцы, прежде чем мы туда доберёмся».

«Я согласен с вами, — сказал Гокал и потёр подбородок. — Почему бы Джали не прибегнуть к гостеприимству одного из раджпутов? Любой из них будет только рад проявить доброту к сыну раджи Амара».

«Как вам будет угодно!» — весело отозвался Хари. — Ранджир, который живёт в той части света, раньше был моим хорошим другом. Да, — оживлённо продолжил он, — я бы с удовольствием повидал старого Ранджира снова, и с ним у Джали будет грандиозное время».

«Но ты должен ехать в Агру», — решительно сказала Сита.

«Да, конечно, я поеду в Агру и помирюсь с Акбаром, а после этого, — он бросил улыбку Сите, — вернусь к вам. Я могу вернуться через три недели».

Наступило молчание, затем Сита вздохнула. «Это маловероятно, и я на это не рассчитываю. Если вы помиритесь с Акбаром, вам, вероятно, придётся доказать свою добросовестность, присоединившись к Армии снова — хотя бы на какое-то время. Моя надежда в том, что мы все скоро встретимся снова в Агре».

«Возвращаясь к вопросу о Джали, — сказал Гокал после паузы, — ему было бы очень хорошо с Ранджиром, Нараяном или Бходжем. Фактически, в той местности...»

«Раджи кишат там как мухи, — перебил Хари. — И когда они увидят этого красивого молодого беглеца, появившегося всего в пыли и следах дороги, они обступят его, оденут в

серебро и золото и женят на одной из своих дочерей». Со смехом он перегнулся через стол и схватил Ситу за руку.

Взгляд, который она устремила на него, был исполнен такого разнообразия чувств, что казался поистине суровым, но в следующий миг она повернулась к Гокалу. — Разве Рандхир не друг Сесодиев? Мне это не нравится.

Гокал поджал губы и слегка улыбнулся. — Рандхир, несомненно, знает его, но — разве есть раджпуты, которые отказываются от знакомства с ним?

— Понимаю. — Она задумалась. — Что ж, полагаю, Джали будет полезно немного побыть в таком великосветском обществе. Но я лишь надеюсь, что когда мы все вернемся домой, он не сочтет Видьяпур слишком для себя мещанским.

— Я думаю, — начал Гокал, — что Бходж из Даулапура…

— Даулапур! — воскликнула Сита, и глаза ее загорелись. — Не там ли живет Святой человек Бхупендра? О, как бы я хотела, чтобы Джали мог остаться с ним. Это возможно?

Гокал покачал головой. — Вряд ли, боюсь. Гуру живет один-одинешенек в маленьком домике за городом. Но Джали может сходить к нему повидаться.

— Да, мы сходим к нему повидаться, — равнодушно произнес Хари.

За этими словами последовала пауза, которая, затягиваясь, показывала, что разговор — внезапно и окончательно — подошел к концу. Сита поднялась на ноги, то же сделал и Хари. Медленно он подошел к ней и положил руки ей на плечи. Они смотрели друг на друга, пока у нее не задрожали губы; затем, отстраняясь, он сказал: «Я буду хорошо заботиться о Джали. Тебе не нужно беспокоиться».

Не оглядываясь, она поспешила вон из комнаты.

Хари снова сел за стол, уставился на столешницу и одним пальцем обвел узор древесного узла. Несколько минут слышалось только жужжание мух.

«Что я могу сделать? Что я могу сказать?» — думал Гокал, и внутри у него всё стонало. — «О, жалкое косноязычие людей! Вот мы здесь — Сита, и Джали, и Хари, и я — вот мы здесь — вместе, живы, и любовь в наших сердцах! Но что-то окутывает нас, и затуманивает, и приглушает. Даже я, видящий, что происходит, ничего не могу поделать. Какое же это будет расставание? Здесь есть любовь, но любовь не понимает. Почему ни Джали, ни Хари не говорят с ней так, как со мной? Почему она этого не хочет? Стали бы они любить ее меньше, если бы она была другой? А она их? Чего они все боятся?»

— Ну что ж! — сказал Хари, поднимаясь, — мне надо пойти поспать. Его лицо раскраснелось, и он тяжело вышел из комнаты.

С террасы Сита смотрела, как Хари и Джали уезжают верхом во тьму. Через несколько мгновений они скрылись из виду, но она продолжала стоять там, глядя им вслед. Гокал, находившийся поодаль, бросил взгляд в ее сторону и затем остался неподвижен.

— Я пойду внутрь, — сказала она наконец и, видя, что она уже быстро уходит, он сдержал движение, чтобы пойти с ней. — Спокойной ночи, дорогая, — крикнул он ей вслед; и ответ донесся до него сдавленным голосом: «Спокойной ночи».

Луч света блеснул из двери замка, когда она открыла ее, а затем вновь стало темно. Гокал начал медленно расхаживать взад-вперед. «Обеих нет! — думал он. — И Амар далеко — далеко».

Через минуту он обошел замок с другой стороны и посмотрел вверх на окно Ситы. Света в нем не было. Нигде в замке не было видно ни единого луча света. «Она молится, — сказал он себе. — Слава Богу, у нее есть вера! Более того, у нее врожденная уверенность, так что тверды не только ее убеждения, но и ее надежды и ожидания. Ее религия переносит ее в мир едва ли менее осязаемый, чем мир повседневной жизни, ибо ее разум наделяет конкретностью даже вечные вещи. В ее видении души воссоединяются со своими воскресшими телами и ступают по небесам цветущих лугов. Там они наслаждаются блаженством, предвкушение которого она уже испытала. Ужасающие бесконечности времени и пространства, подавляющие наше воображение, над ней не властны».

Вспоминая собственные страхи, он вспомнил, как ребенком содрогался, когда ему говорили, что для измерения нынешнего века — этой злой Железной Кальпы — следует представить гранитный столб высотой с Гаури-Шанкар, и ангела, стачивающего его, проводя по нему шелковым шарфом раз в год. Этот век продлится столько же, сколько простоит тот столб.

От подобных образов Ситу защищало более крепкое представление о реальности. Для нее, размышлял он, пробным камнем реальности была постижимость. Это, конечно же, ставило человека в самый центр вещей. Но разве не является это простым здравым смыслом? Какой смысл можно найти в слове "реальность", если оно не означает реальность для людей?

К тому же, в границах ее здравого смысла она находила свободу для своего романтического и художественного воображения. Она умела жить в прошлом — в избранных моментах, которые были вечны. Для нее такие моменты имели жизнь, подобную жизни стихотворения или музыкального произведения; так же как она могла открыть книгу, чтобы найти определенное стихотворение, так же она могла обратиться к отрывку из своей прошлой жизни и прожить его заново.

— Да, — сказал он себе, — и я достаточно хорошо знаю, какие именно часы она сейчас воскрешает. Внутри четырех стен замка было волшебное место, внутри которого Рави — дом, сад, склон холма — лежал раскинувшись под ярким солнцем и в прохладном воздухе.

VI

На следующий день жара стала сильнее прежнего, и в полдень через замок пронеслась пыльная буря, затмившая солнце. Пыль наполнила каждую комнату, и во вздымающемся, удушливом мраке Сита молилась за путников, но даже пока она молилась, перед ее глазами проплывали образы бедствия.

Как только буря прошла, все стало как прежде. Но она была одинока и встревожена, а дни тянулись утомительнее прежнего. К тому же ее угнетало разочарование. У нее зародилась слабая надежда на то, что после отъезда Хари Амар может стать менее неприступным; теперь эта надежда угасала.

Наступило утро, когда несколько офицеров армии Салима подъехали верхом и сообщили обитателям замка, что отныне они должны считать себя пленниками Принца. Но это опять не произвело никакого впечатления. И отправленное Принцу письмо осталось без ответа. Ничего не изменилось. Нельзя было ни идти вперед, ни повернуть назад, и никто не говорил им, сколько еще времени они будут обязаны оставаться там, где находятся.

Затем наконец засуха прервалась. В то утро восходящее солнце было похоже на луну во время жатвы; весь день оно двигалось за тусклой красной дымкой; и когда оно опускалось, с юга взметнулась высокая завеса тьмы. «Это была самая зрелищная из всех бурь, которые Сита видела со своего прибытия в Индию; но какой бы страшной она ни была, она благословила ее приход. Стоя с Гокалом на террасе, она смотрела и ждала. Молния зловеще сверкала узорами, похожими на мох, на надвигающемся сумраке; грохот и треск грома становились громче с каждой минутой; и затем, сразу после того как она отступила в помещение, ветер ударил в замок, и всё смешалось. Здание качнулось; сухие, хрупкие ставни разлетелись на куски и были брошены через комнату; хлынул дождь, огни погасли, двери распахнулись. Она стояла посреди своей комнаты лицом к окну, сквозь которое шторм врывался прямым шквалом. Распустив волосы, с мокрым лицом и телом, она стояла с закрытыми глазами и запрокинутой головой в экстазе облегчения.

Буря бушевала всю ночь, но рассвет занялся над обновленным миром. Воздух, промытый от пыли, был прохладным и ясным; влажный песок пустыни блестел как море. Облокотившись о подоконник, она чувствовала себя слишком усталой, чтобы думать, но не слишком усталой, чтобы испытывать благодарность и покой. Земля и небо явно радовались.

И тогда — страннее всего — они обрели слышимый голос. В воздухе раздалось радостное пение, и за углом замка она мельком увидела прохожих — счастливых людей, совершенно непохожих на тех, что проходили здесь раньше. Эти люди, сообщил ей слуга, были паломниками: они пришли из округа, до которого не дотронулся голод, и неторопливо направлялись к святилищу на юге, чтобы отпраздновать день рождения вечно юного

Индры. Его день рождения был счастливее, чем у смертных, ибо он не приближал бога ни к старости, ни к смерти.

В тот день — к ее удивлению, ведь он никогда этого не делал — Амар послал за ней, и едва войдя, она увидела на его лице выражение, заставившее ее сердце подпрыгнуть. От его суровости не осталось и следа, и в его новой мягкости ему, казалось, не было несчастно. Хотя он по-прежнему держал глаза закрытыми, она больше не ощущала, что его дух отдалился.

На что именно она надеялась в этот момент? Неделями она хотела, чтобы он заговорил, и она хотела, чтобы его слова были добрыми; но как его доброта должна сделать возможным счастье для него, для Хари или для нее — это было выше ее понимания. За те несколько минут, что она пробыла с ним, было сказано немногое; но произошло нечто, трудно объяснимое; чудесным образом она освободилась от своего мучительного чувства отчужденности. Покидая его, она уходила с сердцем, переполненным благодарностью; и тут же, поспешив в свою комнату, она опустилась на колени и заплакала. Это, сказала она себе, лишь начало; это предел того, куда он мог зайти за один шаг; завтра, несомненно, он снова пошлет за ней.

Но она ошибалась. То, что принесло завтрашнее утро, оказалось совсем иным.

Ранним утром Гокала разбудил ее слуга, который дрожащим голосом позвал его в ее комнату. Он нашел ее лежащей в постели, руки вдоль тела, открытое письмо на покрывале. Она смотрела прямо перед собой, и при его появлении почти не шевельнулась.

— Амар ушел, — сказала она.

— Ушел?

— Да. — И она рассказала ему, что старик, личный слуга Амара, пришел к ней около часа назад с известием, что его хозяин исчез ночью.

— Один? Прошлой ночью? — пролепетал Гокал.

— Да. Он присоединился к паломникам. Их путь лежит на юг — как и его.

Гокал издал стон, подошел к окну и застыл там в молчании.

Солнце только поднялось над горизонтом; легкий пар, словно туман, поднимался от влажных участков земли. Тут и там на дороге паломников виднелись небольшие группы путников. Взгляд Гокала остановился на самой дальней, которая казалась крошечной точкой вдали.

— У тебя есть письмо, — сказал он наконец. — Оно от него?

Ответа не последовало, и, обернувшись, он увидел, что рыдания душат ее речь. Но она кивнула, и через минуту поманила его к себе и прошептала: «Это нежное прощание, прекрасное прощание. Послушай!»

Гокал сел рядом с ней, и она, читая отрывки то тут, то там, пересказывала ему содержание письма. Амар начал с напоминания о том, что его намерение удалиться от мира давно продумано; он заверил ее, что его нынешний поступок — не плод недавних событий. Особенно он просил ее не предаваться самообвинениям и не чувствовать упреков в его адрес. Его поведение после ранения должно было быть непонятным для нее, а его отъезд мог показаться тем более недобрым. Он умолял ее не пытаться понять, а просто простить.

Затем, обращаясь к будущему, «Я хочу, — сказал он, — чтобы ты чувствовала себя счастливой в знании того, что, следуя побуждениям своего сердца, ты будешь делать то, чего я желаю тебе. У меня нет советов, которые можно предложить, и нет просьб, которые нужно исполнить. Я уверен, что в устройстве твоей жизни и жизни Джали ты сделаешь то, что сочтешь правильным. Следуй своему свету уверенно, точно так же, как я следую своему. Что-то столь же неизбежное, как смерть, разлучает нас; пусть в этой мысли мы обретем покой. Твоя любовь ко мне не вызывает у меня сомнений, и ты тоже никогда не должна сомневаться в моей любви».

Когда она закончила, Гокал взял ее за руку, и вместе они уставились в пустой клочок неба, видневшийся в окне. В своем воображении они видели под ним ровную пустыню и длинную узкую тропу, по которой ползли те маленькие группы людей. Амар был там. Он нес нищенскую чашу; он был одет как тот, кто просит свою ежедневную пищу. Он больше не был раджой Амаром; он больше не был человеком, которого они знали. Наконец Гокал встал и снова подошел к окну. Стоя там, он сказал: — Я собирался спросить тебя, должен ли я пойти за ним — разумеется, не для того, чтобы умолять его вернуться, а просто попрощаться — и передать любое послание, которое ты могла бы захотеть отправить. Но теперь я не уверен.

— Нет, — ответила она. — Думаю, нам не следует ничего предпринимать. В другой части своего письма он пишет, что пришлет нам обоим вести, когда достигнет Мадуры. И обещает, что время от времени — в грядущие годы — будет писать.

Внезапно она закрыла лицо руками и воскликнула: — О, грядущие годы! Грядущие годы! Что они сулят нам всем?

В медленном течении последующих дней — дней, в которых ничто в их внешней жизни не изменилось — печаль Гокала скорее возросла, чем уменьшилась. Более того, на него снизошло чувство стагнации, изоляции, бессилия. В глубине души он завидовал свободе Амара; Амар телом и духом шел вперед по сознательно избранному пути.

Однажды вечером, охваченный особенно острым беспокойством и желая скрыть свое состояние от Ситы, он удалился в свою комнату раньше обычного. Пока он расхаживал взад-вперед по полу, он полностью погрузился в горестные размышления. Его мысли вернулись ко дню после бури, когда Сита пришла к нему с радостным лицом объявить о перемене, произошедшей с Амаром: как он наконец заговорил, как наконец начался новый период. Тот день казался созданным для радости и благодарения. Временами всё утро над посвежевшим воздухом поднималась песня проходящих мимо паломников, звучавшая, как сказала Сита, почти сверхъестественно — словно небесный хор.

Остановившись у открытого окна, он заметил, что ночь была прохладной и звездной, но созвездия, на которые он смотрел, не посылали ему никакого послания, и хотя он пробормотал несколько стихов из «Гимна Звездам» в Ведах, слова, сорвавшиеся с его губ, не сопровождались никаким чувством или мыслью. «Мой дух погребен под землей, — пробормотал он, — зарывается во тьму собственного беспокойства».

Он все еще расхаживал туда-сюда, когда примерно через час его внимание привлек тихий звук, донесшийся из коридора снаружи. Он перевел глаза в сторону двери и замер. Минуту ничего не происходило, затем дверь начала открываться, пропуская седую голову. Голова повернулась, обнажив морщинистое лицо; и пара скорбных глаз посмотрела на него. Он узнал старика, который днем и ночью следил за Амаром со дня его ранения, и на несколько мгновений его сковало смутное тревожное изумление.

— Нихал! Чего тебе нужно?

Водянистые глаза продолжали моргать, глядя на него.

— Входи и закрой дверь.

Со странными вороватыми движениями Нихал повиновался.

— Чего тебе нужно? Говори!

Ответа все не было, и сердце Гокала сжалось. Нихал стоял в позе унижения, которая разительно контрастировала с его обычной осанкой.

— Тебе есть что мне сказать! — Гокал шагнул к нему. — Говори, человек! Что ты скрывал?

Несколько раз он и Сита, иногда порознь, а иногда вместе, допрашивали старика. Трудно было поверить, что Нихал не мог, если бы захотел, пролить хоть немного света на тайну поведения своего хозяина после его ранения. Но проникнуть сквозь сдержанность Нихала оказалось невозможно.

— О Ученый! — Голос старика был похож на хныканье. — Я болен.

Посмотрев ему в лицо, Гокал увидел, что это может быть правдой; но вся ли это правда?

— Болен? Пожалуй, причиной тому дурная совесть.

Никал вздохнул. — Я всегда хорошо служил своему хозяину. Гордостью моей было служить ему так, как должно служить.

Гокал положил руку на плечо Никала. — В это я верю.

— Гордый то был человек! Человек, подобный полированному мечу! — Никал закрыл лицо рукавом. — Помнишь ли ты, о Ученый, как, когда те свиньи-носильщики поскользнулись и уронили его, он лежал неподвижно, подобно упавшему Будде, в грязи? Он не проронил ни слова.

Гокал нахмурился. Он был свидетелем несчастного случая. Это произошло в штормовой день, когда они спускались через крутой лес от Рави к Катиапуру. Он помнил, каким бледным и похожим на маску было лицо Амара.

Внезапно отвернувшись, он прошелся несколько раз по комнате. — Тебе есть что мне сказать, — произнес он. — Открой свою совесть, и быстро.

Никал, уставившись в пустоту, прошептал слова: — Я безгрешен, и тем не менее демоны пожирают мои силы и мою жизнь.

Гокал ждал.

— Я поклялся, что не буду говорить.

— Кому ты поклялся?

— Магарадже — моему возлюбленному хозяину.

Гокал не подал виду.

— О Ученый! — сказал старик. — Обещаешь ли ты сохранить мою тайну?

— Я ничего не обещаю. Ты должен мне довериться.

Никал посмотрел Гокалу прямо в глаза. — Тогда слушай священную истину! — произнес он. — Магараджа, мой хозяин, слеп.

Гокал несколько мгновений стоял неподвижно, затем отступил назад и с дрожащими членами опустился на свою кровать. — Что? Что ты говоришь? Слеп!

— Магараджа слеп, совершенно слеп. Он был слеп со дня того удара. Он скрыл это ото всех, кроме меня; такова была его воля, чтобы никто об этом не знал.

Гокал сидел там, дрожа. Один или два раза он открыл рот, чтобы заговорить, но слов не последовало.

Старик глубоко вздохнул, выпрямился и встал перед Гокалом во весь рост, воплощение достойной скорби. — Ученый, эти мои слова падают на тебя как удар, лишивший

Магараджу зрения. Я оставлю тебя сейчас, чтобы ты мог горевать в одиночестве. Я буду ждать снаружи. Когда позовешь меня, я услышу. — С этими словами он вышел из комнаты.

Несколько часов спустя, когда занимался рассвет, Гокал, Нихал и его сын Панна отправились на юг через пустыню. Они ехали на верблюдах, ибо лошади были бы бесполезны на участках тяжелого песка, лежавших на их пути; и Гокал рассчитал, что хотя темп должен быть медленным, совершая форсированные переходы, он вполне сможет нагнать Амара примерно за неделю. Он покинул замок, не попрощавшись с Ситой, поскольку чувствовал, что не имеет права выдавать тайну Амара. Чтобы объяснить свое странное поведение, он оставил письмо, в котором говорилось, что невысказанные сомнения и опасения наконец разрешились в ясное решение; он счел правильным позволить себе последнюю беседу с Амаром. Он дал ей слово, что не скажет ничего такого, что могло бы ее задеть, и добавил, что, вероятно, вернется через две недели.

VII

Накануне бури Амар поднялся с постели на рассвете и принялся расхаживать по комнате взад-вперед. Он уже достаточно хорошо знал эту комнату, чтобы свободно передвигаться в ней. Он также знал, что занимается заря, по ощущению воздуха на своем лице. В самом деле, стоя у окна, он мог довольно точно определить, который сейчас час дня или ночи.

Большинство ночей он проводил один-два часа в молчаливом хождении туда-сюда, ибо хотя он и доверял Нихалу, который постоянно дежурил за его дверью, дополнительное чувство секретности и безопасности давало ему знание того, что мир темен, а все погружены в сон.

В то утро он был уверен, что приближается буря. Он знал это по тяжести воздуха, тишине и, прежде всего, жаре. «Молюсь Богу, чтобы она пришла скорее! — пробормотал он. — Скорее, скорее!» И продолжая свое бесшумное движение туда-сюда, он с мучением размышлял о том, что после такой засухи буре может потребоваться двенадцать часов или даже больше, чтобы разразиться.

С каждым днем с момента его прибытия в замок его беспокойство возрастало. Каждый день, пока он заставлял себя лежать неподвижно на кушетке, раскаленный, безмолвный, неподвижный мир, стагнирующий вокруг него, становился более ненавистным — настолько ненавистным, что он стал бояться сойти с ума.

Но этот день был худшим из всех. И все же он держал себя в руках. В свой обычный час вечером вошла Сита, и он не подал виду о терзавшей его муке. Как обычно во время ее визита он страдал от чувства унижения как из-за своей слепоты, так и из-за скрываемой им тайны. После того как она ушла, он конвульсивным движением вскочил с кровати. «Да, —

воскликнул он про себя, — этот день увидел кульминацию моих страданий! Конец определенно близок».

Какой конец? Он стоял там окаменев, сам не зная, почему вскочил, и что значили его собственные слова. Нащупывая путь во тьме своего ума, он продолжал: «Я слеп вот уже почти два месяца. Почти два месяца я задавался вопросами, и трудился, и молился; но какой-то демон держал мой дух в трансе. Развеялось ли злое заклятие? Не настал ли час свободы?»

Немного позже, когда он расхаживал взад-вперед, до его слуха донеслись первые раскаты грома. Он подошел к окну, высунулся наружу и глубоко вдохнул воздух в легкие. Гром прокатился снова, воздух слабо шевельнулся, прохладное дуновение коснулось его лица.

Вернувшись к своей кровати, он позвал Нихала. — Стой у окна, — ликующим голосом крикнул он, — и скажи мне, что ты видишь!

Старик, пораженный его голосом, пристально посмотрел на него, затем интуиция шевельнулась, и ответный свет появился на его собственном морщинистом, утомленном лице. Шаркая ногами к окну, он понюхал воздух. — Она идет, мой хозяин, она идет! — доложил он. — Стена тьмы, какой я никогда не видел прежде! Все выше и выше она поднимается в небо; и молния, пробегающая по ней, подобна начертанному Богом письму. Ха! разве это не прекрасно? Шум, похожий на лязг тысячи мечей! Воистину, мои глаза ослеплены, и теперь я чую запах горящего неба. А теперь я слышу ветер! А теперь капля дождя — капля дождя упала мне на руку.

Час спустя, когда буйство стихии достигло своего апогея, к Амару пришел покой. Лежа на кровати лицом навстречу врывающемуся ветру и дождю, он дивился тому, что с ним произошло. Впервые с тех пор, как он лишился зрения, напряжение его духа ослабло; однако почему — он еще не знал. Час за часом, пока бушевала буря, он размышлял над этой тайной.

Мука, обрушившаяся на него, когда, вернувшись к сознанию, он обнаружил себя слепым — эту муку он теперь видел состоящей в основном из унижения и презрения к себе. Долгое время его главной заботой было скрыть свою инвалидность. Гордость настаивала, чтобы он носил маску. Его страдания за этой маской не имели значения. Мир нужно держать на расстоянии. Это единственное, что имело значение.

Перемешанная с этой гордостью была ревность и гнев — огромный гнев, который он направлял в основном на самого себя. Но теперь со всем этим было покончено. Он поднялся над этими бурями; он отделился от земли и парил в высшей сфере спокойствия.

Его мысли обратились к Сите. Любит ли он ее до сих пор? Любил ли он ее когда-нибудь? Ответ был утвердительным. И теперь, обозрев годы, которые они прожили вместе, он смог

увидеть, что в них было хорошего, а что плохого. Он увидел, что было возможно с каждой стороны, а что лежало за пределами их досягаемости.

Всю ночь продолжались его размышления, и не раз ему на ум приходила его последняя долгая беседа с Гокалом. Он осознал, что закрывал глаза на многие вещи, которые были правдой, потому что не желал их видеть. Но хотя во многом Гокал был прав, в главном он ошибался. Ибо Истина обладала неизменной, определенной формой — формой, раз и навсегда узнанной Благословенным — а этого Гокол понять не мог.

На этом он остановился, и теперь заметил, что ветер стих, но прекратился и монотонный стук дождя. Замок окутывала тишина — освежающая тишина, которую приятно нарушала тяжелая капель с карнизов. Затем, немного погодя, какое-то изменение в качестве воздуха сказало ему, что занялся рассвет; и своим внутренним взором он увидел мокрое лицо пустыни, сверкающее под первыми лучами солнца.

Его зрительное воображение недавно стало острым. Порой он видел мир более живо, чем когда-либо видел его здоровыми глазами. Более того, образы, вставшие перед ним таким образом, были не только картинами знакомых сцен, порой это были откровения новых вещей. Иногда ему являлось видение гималайской вершины, поднимающейся в звездную ночь; и пока его дух, парящий на ровных крыльях, исследовал ее черную скалу и отвесный лед, этот призрак твердо стоял перед ним. Не имело тогда значения, если его тело обливалось потом от зноя пустыни; там, в том звездном холоде, плыл и дивился его дух. Там он познал покой, который был также экстатической алчностью.

Такой покой он чувствовал и сейчас. В окно струился прохладный воздух, воздух такой сладкий, что в сновидении ему чудилось, будто он несет ноты песни. Да, он грезил о далеком пении и слушал в изумлении, как это пение постепенно становилось громче и реальнее. Наконец он понял, что не спит. Он приподнялся на одном локте. «Этот напев! — он узнал и музыку, и слова.

Опустившись обратно через мгновение, он лежал совершенно неподвижно. Идея родилась в его уме уже полностью сформированной, и он смотрел на нее с изумлением и восторгом. Долгожданный момент наконец наступал; и казалось, что именно слепота указывает ему путь. Здесь, проходя мимо самой его двери, шла благочестивая компания, которая примет слепого паломника по-доброму и поможет ему в пути. В эту компанию он скользнет и исчезнет.

Было несколько позднее утро, когда он послал Сите послание. Сказать ей о своих намерениях было невозможно, но он мог произнести слова, которые она запомнит впоследствии и поймет. После того как она оставила его, внезапная грусть охватила его дух. Вся человеческая жизнь от ее начала в непостижимом прошлом до конца в невообразимом будущем казалась ему тусклой и серой. Его небо было затянуто тучами; нигде не было черных теней; вся панорама человеческой жизни простиралась перед ним со своими маленькими отдельными трагедиями света и тени, смешанными в универсальную серость.

Вскоре он принялся писать ей прощальное письмо. Это заняло некоторое время, не потому что он не знал, что сказать, а потому что слепота делала акт письма трудным. Когда он закончил, то уступил своей усталости и уснул.

Остальной день прошел быстро. Исполненный удивления и благодарности, он теперь мог улыбаться муке, в которой так недавно барахтался. Почему бы не быть слепым? Зрение было отвлекающим фактором, которым он вполне мог обойтись; его отсутствие, вероятно, окажется ценнее обладания им. Слепота была туннелем, который должен был вывести его к совершенному дневному свету Нирваны.

Его размышления были неспешны; его разум не был потревожен волнением; и когда пришла ночь, он снова был готов ко сну.

За два часа до рассвета Нихал вошел в комнату. На руке у него была крестьянская одежда, а в руке — старая пара сандалий. Стоя у кровати, он направил свет своей лампы в лицо Амара, но свет не разбудил его. Некоторое время он смотрел вниз, затем протянул руку, и от прикосновения к плечу Амар проснулся. Старик, забыв, что эти открытые глаза все еще незрячи, отвернул лицо. — Пора. Помочь ли мне моему хозяину одеться?

Амар встал, и через несколько минут он был готов, ибо делать нужно было немногое. Стоя посреди комнаты, он провел руками по грубому хлопковому одеянию, в которое теперь был одет; он попробовал сначала одну ногу, затем другую, и наконец наклонился, чтобы снова снять сандалии. — Мы не должны шуметь, — объяснил он. — Пойдем, отправимся в путь!

Нихал закрыл лицо рукавом, и последовала пауза, во время которой Амар стоял ожидая. Наконец, вытянувшись, он нащупал Нихала, положил руку ему на плечо и сказал: — Ты был моим другом и помощником все эти долгие недели. Приди же, друг, ты нужен мне теперь как проводник.

Нихал поднял голову. — Одну минуту, хозяин. Мне нужно взять лампу.

Он достал лампу со стола, снова положил руку Амара себе на плечо, и вместе они вышли из комнаты. Замок был погружен во тьму; большая дверь не издала ни звука, когда Нихал открыл ее, ибо он предварительно смазал петли. Прежде чем выйти на террасу, он погасил лампу.

Несколько минут спустя Амар почувствовал под ногами мягкий песок пустыни. Он глубоко вздохнул.

— Звезды есть? — спросил он.

— Да, хозяин. Звезды все еще ярко светят. Пройдя немного вперед, Нихал остановился, опустился на колени и привязал сандалии к ногам Амара.

Около часа они шли в молчании, затем Амар остановился и, подняв лицо вверх, повернулся туда-сюда и сказал: — Рассвет — где он? Все еще темно — совсем темно?

— Да, хозяин.

— Как далеко до ближайшего лагеря?

— Я вижу огонь примерно в двух милях впереди. Они готовят еду перед тем, как отправиться в путь на рассвете.

Амар боролся с собой. — А замок? Замок еще виден? Видно ли там какие-нибудь огни?

Нихал оглянулся. — Нет, — печально сказал он. — Позади нас всё темно.

VIII

Рассвет застал Амара сидящим среди паломников у их лагерного костра. Время от времени он поворачивал лицо на восток, чтобы ощутить кожей нарастающее тепло солнца. Вокруг него царили суматоха и шум. Дети спотыкались о него, собаки подходили обнюхать чужака, тыкаясь мокрыми носами в его руки и ноги. Кто-то вложил ему в руки миску, и он ел не без охоты. Он был исполнен глубокого покоя, а в самой сердцевине этого покоя светилась тихая радость.

Вскоре лагерь свернули; ему определили место, и начался дневной переход. В полдень наступила передышка для отдыха, затем путешествие возобновилось и продолжалось до наступления ночи. Для Амара усилие брести по тяжелому песку было желанным; он входил в туман равнодушия, который с каждым шагом становился всё гуще.

Но было ли это равнодушие? Не погружался ли он скорее в покой — покой освобождения от напряжения, под которым он страдал почти всю свою жизнь? Некоторая напряженность была снята, некоторое угнетение устранено. Наконец он остался один — не одинок, но блаженно одинок. Самосознание ослабило свою хватку. Эти люди, теснившиеся вокруг, были для него не более чем неодушевленное окружение. Они были обстоятельствами, а не личностями; они ни во что не вторгались и ничего не захватывали; они были подобны ветру, пыли, жаре, тяжести песка, сквозь который он брел. Да и усилия и неудобства дня не были ему неприятны. Утомленно сидя у огня в конце долгого перехода, он глубоко вздыхал и улыбался самому себе, и никто не спрашивал его почему.

Отрекшись от своего тела, он нашел самоуважение в той области, где его дух двигался свободно. Он жил как дух, беседующий сам с собой; маленький дом плоти, в котором этот дух обретался, даже не был домом, это был постоялый двор на дороге.

Через несколько дней послания, приходившие к нему от чувств, казалось, проделали очень долгий путь; звук и запах, прикосновение и вкус достигали его лишь как призраки самих себя. Однажды утром женщина ошпарила ему ногу, опрокинув котелок с кипятком. Боль вернула его на землю, но ненадолго. Её притязание на его внимание было слишком докучным, чтобы обращать на него внимание.

Его дух следовал своим избранным путем, и тем не менее происходило нечто такое, чего он не понимал. Этому не было места в его философии. Сущность, с которой он общался, становилась иной, нежели он сам. Она становилась подобной Богу. Он не пытался понять. Понимание придет к нему позже.

После этих духовных отсутствий он возвращался в мир своих собратьев с удовольствием. Его дух, спускавшийся подобно морской птице, чтобы немного отдохнуть и покачаться на более твердой стихии, находил удовлетворение в товариществе и простоте материальных вещей. Шумная суета, поднимавшаяся каждый вечер при разбивке лагеря, была ему приятна. Он разговаривал со своими соседями у огня в беспечной близости, свободной от предварительных или последующих мыслей. Очень непохожим было это общение на любое из тех, что он знал прежде. В своей прежней жизни, как теперь ему казалось, всегда существовала перекрестная чувствительность, каждое настороженное самосознание излишне осознавало другие. Какая трата драгоценных энергий! Дух, миновав свое несовершеннолетие, должен быть так непринужденно ладен с самим собой, так доволен собственным обществом, так уверен в собственном доме, что, выходя навстречу другим, сияет детской несамосознательностью, дружелюбный и бесстрашный. Да, этим должно стать для него знамение внутреннего освобождения — способность смешиваться с ближними без гордости, без притворства, без сокрытий и без стыда.

Когда он заглядывал в будущее, то делал это с чувством счастливой, тихой уверенности. Пусть это медленное странствие займет недели, месяцы или годы! В конце концов он доберется до цели назначения. И та — его последнее земное жилище, которое он никогда не увидит иначе как мысленным взором — представляла собой небольшую беленую комнату, выходящую окнами на зелень травы, кустарника и пальм. За ней лежало маленькое овальное озеро, отражавшее на закате розовый цвет вечернего неба. А на противоположном берегу, серыми стенами спускаясь прямо в воду, стоял храм — тот самый, который он хорошо узнает.

Что же касается прошлого, однажды в этой тишине он пересмотрит его всё целиком. Сидя в своей келье, он будет перелистывать страницы жизни раджи Амара и почувствует себя искупленным от бремени и греха той жизни.

Проблуждав восемь дней по пустыне, Гокал почти уверился, что нагнал Амара. Он прибывал к небольшому оазису, зная, что паломники достигли его всего несколькими

часами ранее. Теперь был уже день. Изнуренный долгим переходом через весь зной дня, он свалился в заброшенной хижине отдыхать и размышлять.

Снаружи сухой ветер шелестел в жестких листьях пальм. Тело ломило, а в уме тоже присутствовала тупая боль сомнений и неуверенности в себе. Правильно ли он поступил, что пришел? Как Амар примет его? Время от времени поверх шелеста пальм до него долетало отдаленное бормотание; оно доносилось со стороны стоянки паломников, которая находилась по другую сторону пальмовой рощи, всего в нескольких сотнях ярдов.

За час до заката он поднялся и вышел из хижины. Нихал и Панна сидели на корточках в тени стены. Он отвел взгляд и, стыдясь показать нерешительность, пошел прямо в рощу. Под кровлей листьев воздух был прохладен, а снизу, от хрупких мертвых листьев под ногами, поднимался затхлый запах. Скрывшись из виду, он двинулся медленно, и настолько был поглощен своими мыслями, что спотыкался на ходу. Много часов езды на верблюде сделали его негнущимся; голова болела, губы потрескались, глаза саднили. Но он сознавал только одну терзающую тревогу, сопряженную с неспособностью предвидеть то, что ждет впереди. В хижине он надеялся уснуть, надеясь, что сон поможет ему; но он пролежал без сна раздумывая, и эти раздумья были тщетны.

Ни разу — нет! ни разу с того самого дня увечья Амар не подал никакого знака. А с его тайного ухода прошло уже четыре недели. Какие перемены принесли эти четыре недели? Что за человек встретится ему сейчас?

Достигнув края лагеря, он остановился и посмотрел вниз из-за полуразрушенной стены. В низине возле грязной лужи было возведено несколько грубых укрытий, и из дюжины костров дым вертикально поднимался в неподвижный воздух. У каждого костра собралась оборванная группа: женщины хлопотали над горшками, мужчины праздно сидели, дети играли, меж ними бродили собаки и козы сами по себе. Сколько раз глаза Гокала останавливались на сцене точь-в-точь такой же, но никогда еще — не с таким интересом. Теперь же он смотрел с тревожным вниманием, уловленный каждой деталью. Именно здесь, посреди всего этого, Амар проживал свою новую жизнь.

С колотящимся сердцем и прерывистым дыханием Гокаль стоял там, переводя взор с лица на лицо в муке смешанных надежды и страха. Быть может, Нихал все-таки ошибся? Та ли это компания? Или можно представить, что Амар, каким-то образом предупрежденный, скрылся?

Эта последняя догадка так лишила его мужества, что он отступил в тень пальм и там, терзаемый своим замешательством, застыл неподвижно, а пот катился по его лбу. Он напоминал себе, что если на протяжении двадцати лет Амар всегда приближался к нему с доверием и чувствовал себя с ним непринужденно, то это потому, что у обоих были одинаковая сдержанность и одинаковое уважение к сдержанности другого. Он вспомнил, насколько нетерпим был Амар к любому проявлению настойчивости или гнета в чужой

личности. «До сих пор, — думал Гокаль, — я никогда не оскорблял. Неужели я оскорблю наконец?»

В тишине и темноте пальмовой рощи он стоял, прислушиваясь к разнообразным шумам, доносившимся из лагеря. Амар был там — всего в нескольких ярдах от него! Амару, с которым его связывала дружба длиною более чем в двадцать лет! Он знал Амара еще до его женитьбы на Сите, даже до обращения в буддизм; он знал его мальчиком. Возможно ли повернуть назад и позволить ему уйти? Позволить ему уйти вот так? Зная то, что он знает, может ли он отпустить его без единого слова? Это было невозможно. «Несомненно, — подумал он, — робостью, смирением, любовью мое действие можно избавить от обиды?»

С этой мыслью он повернулся и вернулся на свой наблюдательный пункт. Еще раз, и внимательнее прежнего, он стал изучать лица мужчин перед собой, начиная с ближайшего. В этом осмотре он зашел недалеко, прежде чем в его уме зародилось ошеломляющее подозрение — подозрение, которое через минуту превратилось в уверенность. Амар сидел на расстоянии брошенного камня от него. Амаром был тот человек рядом с тем костром напротив! Те дикие глаза, которые время от времени блуждали в его направлении, принадлежали Амару.

Это была минута сбивающего с толку волнения, ибо хотя это и был Амар, но это был совсем не тот, кого он знал. И он не мог приблизиться к этому человеку без изумления и страха. Сама жалость замерла, пока он смотрел на изменившееся лицо. Заходящее солнце светило прямо на него, светило и сверкало на глазах, переносивших этот свет с ужасающей бесчувственностью. Волосы, влажные от пота, были небрежно откинуты со лба, морщины которого въевшаяся грязь сделала серыми. Пыль выбелила брови и прилипла к четырехнедельной щетине на щеках и подбородке. Разорванный хлопковый платок обнажал грудь, покрытую волдырями от солнца. И этот человек сидел скрестив ноги и почесываясь; а на лице его была непостижимая улыбка.

«Он сошел с ума?» — подумал Гокаль. — «Неужели это возможно?»

Дрожа, он продолжал смотреть, и вскоре Амар повернул голову, чтобы заговорить с сидящим рядом мужчиной. В манере его речи не было ничего такого, что наводило бы на мысль о безумии. Он и его сосед обменялись несколькими словами со смехом.

Полчаса или больше, пока солнце не опустилось за горизонт, Гокаль оставался там. Затем во внезапном тропическом мраке он украдкой двинулся прочь. Он спотыкался в пальмовой роще; он налетал на стволы деревьев; он не знал, что делает. По его лицу текли слезы, но этого он тоже не знал. Где-то в глубине сердца он испытывал благодарность, ведь он увидел достаточно, чтобы быть уверенным: Амар нашел покой.

Часть 2

I

Темнота была желанна для Джали, когда он прощался с матерью на террасе, ибо он знал, что в ее глазах стоят слезы, и его собственные глаза тоже наполнились слезами. Но немного погодя, когда он ощутил под ногами песок пустыни, увидел смутные очертания ожидавших лошадей и услышал последние слова, которыми обменивались Хари и конюхи, им овладела радостная взволнованность.

Он нетерпеливо вскочил в седло, но, прежде чем тронуться в путь, посмотрел вверх. Там были силуэты его матери и Гокаля, вырисовывавшиеся на фоне неба. Он помахал им, они помахали в ответ; и вот он уже рысью удалялся прочь.

Звезды над головой казались яркими, однако тьма, лежавшая на пустыне, была глубокой. Безмолвие также было глубоким, отчего дыхание лошадей и скрип переметных сум звучали неестественно громко. Вскоре Хари нарушил это безмолвие, заговорив деловым тоном о расстоянии, которое они надеялись покрыть за ночь.

О чём Хари действительно думал и чувствовал, сказать было невозможно; единственное, что Хари показывал открыто — это свое удовлетворение от бегства из тягостной праздности жизни в этом злом месте. Это чувство разделял и Джали. Опасности путешествия вниз от Рави пришлись ему весьма по вкусу, и приключение, теперь предстоявшее ему, обещало быть еще более захватывающим.

Всю ночь напролет скачка продолжалась по той же ровной пустоши, и когда занялся день, они все еще находились в пустыне, где не было видно ни единой живой души. С северо-востока дул холодный ветер, леденящий кровь и наполняющий глаза пылью. Когда он всматривался вокруг себя в сгущающемся свете, его подавляло бесчеловечность открывшейся сцены; но даже пока он кутался в свой плащ и пытался прикрыть глаза от ветра, сердце его ликовало. «Я рад, что я здесь, часть этого пустынного мира. — думал он. — Завтра нас здесь уже не будет, а пустыня, и ветер, и светлеющее небо останутся такими же, как сейчас. Никто не почувствует этот ветер, никто не взглянет в это небо, и от нас ничего не останется, кроме нескольких следов копыт на песке».

Он все еще был погружен в задумчивость, когда от Хари раздался возглас, чья рука указывала на маленькую темную точку вдали. — Кто бы это ни был, я намерен поговорить с ним, — сказал он.

Спустя совсем недолгое время перед ними стоял оборванный, угрюмого вида юноша и смотрел на них с недоверием. Через плечо у него было перекинуто ружье, а он вел под уздцы свою лошадь, которая захромала. Разговор, который состоялся между ним и Хари, шел на языке, которого Джали не понимал. Однако он заметил, что начался этот разговор зловеще; но после пространной и выразительной речи Хари манера молодого человека

изменилась. В свою очередь он начал говорить многословно и горячо. В конце концов оба остались, казалось, весьма довольны. Хари отвязал от седла бурдюк с водой и немного сушеных манго, которые передал ему в качестве прощального дара.

— Ну! — сказал он, когда они поехали дальше, — редко мне доводилось слышать новости, которые нравились бы мне больше. На его лице появилось выражение мрачного удовлетворения, и, хлопнув Джали по спине, он воскликнул: — «Услада Искусств» сожжена дотла — сожжена вместе со всем своим содержимым! и немало друзей Данияла лишились жизней! К несчастью, сам Даниял спасся. Но это была славная работа, и вся хвала тем, кто ее совершил! Сорвав тюрбан с головы, он замахал им восходящему солнцу. — Вся хвала тем, кто ее совершил! — прокричал он голосом, какого Джали никогда прежде у него не слышал. — Да вознаградит их Аллах в Раю! При уколе шпор его конь рванулся вперед, и Джали последовал за ним вплотную.

Короткая скачка привела их к сухому руслу реки, восточный берег которой давал узкую полоску тени. Здесь они спешились, чтобы поесть и попить, и здесь, подумал Джали, они проведут остаток дневных часов. Ему не терпелось услышать побольше о разрушении «Услады», но Хари внезапно погрузился в задумчивое настроение и, жуя свои манго, уставился прямо перед собой, отказываясь разговаривать. Лишь когда они снова оказались в седлах, он раскрыл то, что было у него на уме. — Послушай, Джали! — сказал он, — я решил сделать небольшой крюк ради того... ну, главным образом ради того, чтобы раздобыть еще немного сведений. Нам придется пойти на некоторый риск, но в мире происходят великие дела, и оставаться в неведении о них может быть опаснее, чем делать то, что я предлагаю сделать. Там, — и он неопределенно указал на северо-запад, — скрываются кое-какие беглецы из «Услады Искусств». Они прячутся. Им удалось бежать из тюрьмы во время пожара. Я не могу заставить себя проехать мимо, не попытавшись связаться с ними.

Джали с энтузиазмом согласился.

Вскоре они проезжали через опустевшую деревню, где высушенные солнцем трупы лежали в гротескных позах у глиняных стен. Затем потянулась полоса полей, так жестоко выжженных солнцем, что их почти невозможно было отличить от окружающей пустыни; но впереди теперь вздымалась линия скалистых холмов, отмеченных глубокими расселинами, обещавшими тень и, возможно, воду. Зной был невыносим, и усталость одолела Джали, но в голове у него сидел вопрос, который он не мог удержать.

— Скажи мне, — произнес он, — ты знаешь, что стало с Гунэвати при пожаре? Ей удалось спастись?

Хари бросил на него быстрый взгляд. — Нет. Она мертва.

— Как она умерла?

Хари поколебался долю секунды, затем сказал: — Я не знаю. Джали был уверен, что тот лжет. Внутренний голос подсказывал ему, что Гунэвати бросили бешеному слону.

Больше ничего не сказав, он немного отстал, и его мысли мучительно блуждали среди сцен прошлого. Пока его тело устало покачивалось в седле, он боролся с проблемами, которые знал, что никогда не решит. Почему о судьбе этой девушки, такой незначительной самой по себе, такой ничтожной в сравнении с другими событиями, происходящими ежечасно, — почему о ней первой возвестило то, что казалось — тем, кто воспринял знамение (тем, кто уловил предзнаменование) — ничем иным, как дрожанием самой ткани материального мира? Но кто может судить о значимости? Разве хоть что-то важно иначе как в отношении к какому-либо разуму? И знает ли кто-нибудь, что важно в разуме Бога? Возможно, судьбы целых народов, возвышение и падение наций и империй были несущественны — были лишь механизмом, посредством которого достигался некий результат, бесконечно малый в глазах людей. Возможно, весь механизм поколений и событий был всего лишь аппаратом, которым приводилась в действительность некая ценность, о которой мы едва имели представление.

Примечание

- *a shivering of the fabric of the material world* — ключевой образ текста. Переведено буквально («дрожание самой ткани материального мира»). Слово *fabric* здесь означает не просто материю, а саму структуру, основу бытия. Герой поражен тому, что личная трагедия стала причиной или первым симптомом метафизической аномалии — вибрации самих основ вселенной.

Смысловой контекст отрывка:

В этом пассаже герой сталкивается с парадоксом масштаба. Его мучает вопрос об относительности важности событий. С рациональной точки зрения, смерть одной безвестной девушки во время пожара и побега из тюрьмы — ничто по сравнению с падением империй или движением армий. Однако вселенная ответила на её гибель не рядовым событием, а катаклизмом космического порядка («дрожанием ткани»).

Отсюда вытекают следующие вопросы, которые задает сам себе Джали:

1. Кто определяет важность? Существует ли объективная шкала ценностей, или нечто важно только потому, что какой-то разум счел это важным?

2. Каков замысел Бога? Если люди не могут судить о значимости, возможно, Богу важна именно эта девушка, а великие империи рушатся лишь как побочные эффекты достижения микроскопических целей?

3. Иллюзия контроля. Герой осознает свою полную затерянность в космосе. Человек оставляет лишь «несколько следов на песке», но при этом может быть центром, ради которого колеблется само мироздание.

Конец примечания

Пылающее солнце заставляло теперь весь ландшафт трепетать и вызывало миражи, отступавшие по мере приближения. У Джали слегка кружилась голова, но линия обрывов была теперь всего в двух-трех милях. Вскоре Хари остановил коня и сказал: — С этого момента я хочу, чтобы ты не спускал глаз с тех скал, и если заметишь там какое-либо человеческое существо, скажи мне. Мы должны дать этим людям понять, что идем не как враги, чтобы выследить их, а как друзья.

Медленно и настороженно они приблизились ко входу в ущелье, где каждая пятачок тени создавал чернильную темноту, способную скрывать человека с направленным ружьем. Поначалу Джали слишком сильно волновался, чтобы нервничать, но когда скалистые стены, испещренные темными пещерами, сомкнулись по обе стороны, он почувствовал, будто они с Хари идут в ловушку. Через несколько минут последний остановился и обернулся, чтобы ухмыльнуться ему. — Думаю, стоит попробовать окликнуть их. Моя надежда состоит в том, что...

Предложение осталось незаконченным; и Джали, последовав за взглядом Хари, обнаружил, что таращится на три пугалообразные фигуры, которые с ружьями в руках поднялись из-за скалы не далее чем в двадцати ярдах. Около минуты они молча обменивались взглядами; затем Хари что-то выкрикнул, напряжение спало, и мужчины со скалы двинулись к ним.

Обмен словами был недолог, но достаточен для установления доверия; один из мужчин взял лошадей под уздцы, а двое других повели путников вверх по усеянному валунами склону к отвесной скале. Вскоре показался вход в скрытую пещеру — отрадное зрелище для Джали, который понял, что наконец-то получит хороший отдых. Но как насчет воды? К его радости, ему предложили ее еще до того, как он успел попросить. В пещере было около дюжины мужчин, все изможденные и в лохмотьях. Это он заметил и больше ничего; ибо, напившись досыта, он растянулся на песчаном полу и уснул.

Его первые мгновения после возвращения к сознанию были полны смятения, и даже открыв глаза, он не сразу осознал, где находится. Солнце, бившее в противоположную стену ущелья, наполняло пещину отраженным блеском. Воздух стал прохладнее; был уже конец дня. Оглядевшись, он увидел, что его спутники либо спят, либо пытаются заснуть. Многие из них мучительно метались во сне, и стоял непрекращающийся кашель. На лицах тех, кто был повернут к нему, он отметил следы лишений, истощения и нервного напряжения.

Неистовый свет падал на массы розовых, белых и желтых скал, вздымавшихся напротив. Это было все равно что смотреть в печь с раскаленными углями. Какой страх должен быть в душах этих преследуемых людей, ищущих убежища в бесчеловечной пустыне лишь потому, что она менее опасна для них, чем их собственный род! Несомненно, они чудом избежали пыток и смерти от рук Данияла — мысль, которая вновь пробудила в его сердце прежнюю ненависть к Принцу.

С тех пор как его отца разбил паралич, он предавался дневным грезам о мести; и знание того, что Хари питает равную ему ненависть, стало еще одной связующей нитью между ними. Он вспомнил улыбку, с которой Хари объявил об уничтожении «Услады Искусств»; но в следующую минуту перед ним предстало видение пустыни такой, какой она казалась в медленно заливающемся краской небе. Месть внезапно показалась ничтожной и мелкой. Но если ненависть мала, то разве любовь — нет? И все чувства, все лихорадки, что заставляют людей заниматься делом жизни? А если ничто не важно, тогда почему бы чему угодно не считаться таковым; и вот ненависть снова берет свое.

Всматриваясь снова в сумрак пещеры, он увидел устремленные на него глаза Хари, поэтому он встал и, осторожно ступая среди разметавшихся спящих, присел на корточки рядом с Хари на песок, который здесь был настолько прохладен, что казался влажным его ногам. Хари начал говорить тихим голосом: — Ну? Ты хорошо поспал, и если ты чувствуешь некоторую скованность, жаловаться не стоит. Вот немного изюма, инжира и маленький кусок козлятины.

Джали принял еду и благодарно съел ее.

— Кто здесь главный — тот человек, которого ты узнал и с которым заговорил, когда мы только пришли?

Хари посмотрел на него с насмешкой. — Ты спрашиваешь, кто это? — Что ж, взгляни еще раз! Он лежит там и спит.

В нескольких ярдах от них лежал навзничь худой человечек, который даже во сне сохранял вид исполненного достоинства самообладания. Его руки были сложены на груди; волосы были аккуратно расчесаны; и хотя одежда была в лохмотьях, а на подбородке росла десятидневная щетина, каким-то образом он производил впечатление опрятности. — Разве ты не узнаешь своего старого друга? — сказал Хари.

Внезапно забрезжил свет. — Да ведь это же Мабун Дас?

— Конечно, это он. Тот самый Мабун, который однажды так радушно принимал нас в Старом дворце в Агре. Что ж! вот он снова — принимает нас опять.

Джали уставился на него в изумленном молчании.

— Если хочешь знать, что привело его сюда, я скажу тебе; но ты должен держать это при себе. — Как подобает доброму человеку, Мабун последние два года или более тайно действовал против Данияла. Даниял обнаружил это, заманил его в «Усладу» и заточил в темницу. Тот пожар спас Мабуну жизнь.

В голосе Хари звучало волнение, и он продолжил: — Не желаешь ли выслушать эту историю?»

Джали кивнул.

— Мабун только что рассказал ее мне. Это было так: однажды вечером, после наступления темноты, с разных сторон «Услады» раздались крики, а в окно камеры Мабуна проник едкий дым. Он узнал запах горящего тростника и вскоре ощутил его действие на глаза и горло, ибо прошло совсем немного времени, прежде чем он почти перестал видеть или дышать. В то же время шум и суматоха снаружи усилились — равно как и зарево в небе. Несомненно, поработали поджигатели; ведь теперь вся «Услада» была охвачена пламенем. Поджигателями должны быть его собственные агенты, подумал он, и поначалу не обеспокоился за собственную безопасность. Но вскоре рев и жар пламени наполнили воздух; и он начал думать, что будет изжарен заживо. Однако, когда он уже смирился со своей участью, в его дверь ударили топором; через несколько минут она рухнула, и перед ним предстал не один из его собственных агентов, а такой же узник, рискующий жизнью ради его спасения. Вместе они бросились наружу, и у них хватило здравого смысла устремиться прямо к воде, вместо того чтобы пытаться бежать по суше. Они погрузились в озеро и, проплыв немного, обернулись посмотреть на пожар. Зрелище было необычайным. Не только вся «Услада» была объята огнем, но и все сухое, поросшее тростником побережье озера; и от этого огромного дымящегося пространства поднимались тяжелые клубы дыма. Именно дым стал причиной столь больших жертв, ибо люди, ослепленные и полузадохнувшиеся, метались в беспомощной растерянности. Они были словно обезумевший скот, они…

На этом месте Хари оборвал рассказ, поскольку Мабун Дас проснулся и оглядывался вокруг с явным намерением присоединиться к ним. Отряхнув песок с одежды и пригладив волосы, он подошел, вежливо улыбаясь. Его приветствия Джали были дружелюбны, но кратки; в них не содержалось ни единого намека на что-либо необычное в обстоятельствах их встречи; а затем, повернувшись к Хари, он деловым тоном сказал: — Я думал о том, что вы только что сказали мне. Мне определенно следовало бы пойти и поговорить с Акбаром, будь я на вашем месте; и сделать это, пока моя рана еще стоит того, чтобы ее показать. Мне также пришло в голову, что раз уж он планирует совершить пешее паломничество к тому, что известно как Священный Колодец (вы знаете это место; оно всего в нескольких милях от Даулатпура), вам лучше всего перехватить его там. Условия, скорее всего, будут благоприятными. Сцена великодушного прощения вполне соответствовала бы случаю. Вы понимаете, что я имею в виду?

— Да. Думаю, ваш совет хорош. Хари задумчиво уставился на Мабуна. — Это паломничество Акбара приходится для меня как нельзя кстати. Мы направимся прямиком в Даулатпур, и я ожидаю, что Бходж будет готов нас принять.

Он снова впал в задумчивость, затем продолжил: — Как бы мне хотелось предложить тебе столь же полезный совет, но всё, что я могу сделать — это отдать тебе свою карту. Она тебе непременно понадобится.

— Спасибо. Пожалуйста, передайте ее мне так, чтобы никто не увидел. Я не доверяю этим людям. Большинство из них, полагаю, собираются стать бандитами. Если бы они знали, кто

я, они убили бы меня на месте. По всей вероятности, к тому же назначена цена за мою голову. Ситуация весьма абсурдна.

— Весьма! — смеясь, сказал Хари.

— Я попытаюсь этой ночью ускользнуть сам. Если повезет, я выйду на связь с одним из отрядов Салима, и, обосновавшись в ставке Принца, я буду хотя бы в безопасности.

Хари кивнул, и на минуту воцарилось молчание; затем: — Послушайте! — сказал он, — скажите честно, у вас действительно нет никаких догадок, кто несет ответственность за сожжение «Услады»?

— Никаких. Это дело — полная загадка.

С этого момента они перешли к разговору о политике, и внимание Джали рассеялось. Только что произошло нечто, пробудившее в нем любопытство. Когда Мабун сказал: «Это дело — загадка», Хари за его спиной ухмыльнулся и подмигнул ему.

Путешествие возобновилось с наступлением ночи с проводником, предоставленным Мабуном. Продвигаться по ущелью, которое было погружено во тьму, было тяжело, но когда они достигли его верховьев, взошла луна, и они оказались на широкой равнине, покрытой белыми скалами. Некоторые из них были похожи на драконов, другие вздымались миниатюрными шпилями, сияющими на фоне неба. Это был известняковый край, голый, если не считать чахлых кустарников и разбросанных кое-где маленьких темных деревьев.

Расставшись с проводником, который повернул назад, как только они достигли равнины, они шесть часов скакали без остановки. В течение этих часов смутные, мечтательные мысли витали в уме Джали; усталость была велика, но действовала на него отнюдь не неприятно. Хари, напротив, был не в духе и ворчал на свою раненую руку, которая начала болеть. До рассвета было еще далеко, когда стало очевидно, что они сбились с пути. Некоторое время они блуждали, пытаясь сначала одной дорогой, потом другой. Наконец, Хари соскочил с лошади, сказав, что не сделает сегодня ночью больше ни шагу; и Джали приветствовал это решение. Всего несколькими минутами позже он спал с подветренной стороны большого камня, защищавшего от резкого ночного ветра.

Уже рассвело, когда он проснулся. Рядом сидел Хари, угрюмо глядя на залитую солнцем пустыню. К своему ужасу, Джали увидел, что Хари выглядит очень больным, и чуть погодя, помогая ему сменить повязку на руке, он при виде раны пришел в новое смятение, ибо она сильно изменила цвет.

Пробездельничав около часа в тени скалы, Хари внезапно преисполнился энергии. — Мы отправляемся немедленно, — сказал он, — и не сделаем больше ни одного привала, пока

не доберемся до Даулатпура. Наши лошади свежи; осталось не более пятидесяти миль. Вперед!

Джали видел, как он положил в рот какие-то пилюли опиума, и был уверен, что тот слегка одурманен. Ему было тревожно думать о том, как Хари едет верхом под палящим полуденным солнцем, не говоря уже о возможности встретить врагов; с другой стороны, чем скорее они доберутся до места назначения — или вообще до какой-нибудь населенной местности — тем лучше.

Верховая езда продолжалась в течение всего того дня. Время от времени они спешивались, делали глоток воды и разминали конечности, но эти привалы были краткими, ибо они знали, что хотя их общее направление было верным, они сильно отклонились с пути. По мере того как долгие часы шли, Джали впадал в оцепенение, но заход солнца принес немалое облегчение. Он мог бы даже наслаждаться этим сонным продвижением по пустыне при ярчающей луне, если бы не тревога за Хари.

Незадолго до полуночи он заметил, что характер местности меняется, так как впереди появились признаки возделывания земли. Хижины крестьян стали виднеться то тут, то там посреди полей зеленых посевов, и вскоре они наткнулись на группу мужчин, сидевших на корточках у обочины. В ответ на их вопросы седобородый старец медленно поднялся на ноги и указал на восток.

— А сколько это займет времени?

— Ваш шаг не быстр, — был ответ, — но примерно через час вы будете там.

Сновидное путешествие продолжалось. Запах зелени и растущих вещей поднимался в прохладном, влажном воздухе. Клубы дыма, где сжигали полевой мусор, висели белыми под луной, и по мере того как ее свет усиливался, миля за милей простирались ровные поля, спокойно раскинувшиеся под ночным небом.

Менее чем через час они добрались до края невысокого утеса высотой не более тридцати футов и обнаружили, что смотрят вниз на участок травы с несколькими тонкими ивами позади него. В центре стоял большой глубокий каменный желоб для воды, который молчаливо переливался через край на богатую траву внизу. В нескольких ярдах по другую сторону ложбины находилось небольшое строение с плоской крышей. Оно напомнило Джали некоторые изображения греческих храмов, которые когда-то показывала ему мать. Это, чувствовал он, был дом Гуру; а вон там Священный Колодец — который вовсе не был колодцем, а бьющим ключом источником.

Пока Хари и он смотрели вниз в эту маленькую раковину тишины, до их ушей донесся тонкий, серебристый звон. Это был неожиданный звук — звяканье стекла, тихо дребезжащего на ветру. Вот только дыхания ветра не было, да и Джали не мог разобрать точно, откуда исходит прерывистый звук. Он струился вверх из лощины настолько призрачно, что поймать его было все равно что ловить нити паутины. Инстинкт подсказывал

связать этот звук каким-то образом с переливающейся водой, ведь это была единственная вещь во всей сцене, которая обладала движением. Небольшой холмик воды поднимался у одного конца желоба, посылая не рябь, а постоянную дрожь по всей яркой поверхности. Повсюду вода беззвучно переливалась через край, цепляясь за широкий закругленный край и поросшие мхом стенки. Это непрерывное движение привлекало глаз, но между этой полной и мягкой текучестью и тонкостью крошечного звука, слишком хрупкого, чтобы держаться даже на воздухе, не было разумной связи, и Джали, одурманенный усталостью, был раздосадован, как во сне.

Вскоре, однако, его глаза, блуждавшие туда-сюда, остановились на слабом мерцании, минутной вспышке лунных оттенков прямо над крышей дома и под рукой ивы, склонившейся через угол. Там, рядом с осколками стекла, свисавшими с дерева, сидела в позе размышления серебристо-серая обезьяна. Через мгновение она подняла руку и вновь произвела лунные искры и стеклянный звон. Ее жест был нерешительным, и воображению Джали показалось, что у обезьяны удрученный вид. Пришедшие не представляли для нее никакого интереса. Изредка поворачивая свое маленькое сморщенное лицо к небу, она хватала пролетающую мимо моль.

Хари наконец пошевелился. Со стоном он спешился и тем же движением тяжело опустился на землю. Спрыгнув с седла, Джали в одно мгновение оказался рядом с ним и, обнаружив, что тот без сознания, побежал вдоль края утеса и крикнул зовя на помощь. Тотчас из дома вышел маленький старичок, посмотрел вверх и быстро направился к нему.

II

Хари никогда не мог вспомнить, как он спустился с утеса в лощину Гуру, и лишь четыре дня спустя к нему вернулось сознание окружающего. Он очнулся и обнаружил, что лежит в постели в небольшой выбеленной комнате. Солнечный свет струился через окно и открытую дверь, а вокруг него веял приятный воздух, пахнущий травой и цветами. Несколько минут он оставался в сознании, затем его разум снова уплыл в грезы.

Ему казалось, что он идет вдоль озера в Королевских Охотничьих Угодьях Агры, и лягушки выпрыгивают у него из-под ног. Они прыгали из длинной влажной травы в воду; и любопытным было то, что от разбитой поверхности воды доносился нежный звенящий звук.

Этот звон своей настойчивостью в конце концов вернул его к реальности. Он открыл глаза и вспомнил обезьяну и маленькие кусочки сверкающего стекла, с которыми она играла. Слабо он позвал: «Гуру!»

Голос, ответивший ему, стал знаком ему в лихорадочных снах. — Да, Хари Хан, — сказал он.

— Я хотел узнать, здесь ли вы.

— Я здесь.

Хари помолчал немного, затем спросил: — Где Джали?

— Он во Дворце в Даулатпуре — гость раджи Бходжа. Он приезжал верхом несколько раз навестить тебя.

— Он уже написал своей матери?

— Да. Посланец отправился сегодня утром.

— Надеюсь, он не сказал, что я, вероятно, умру.

— Конечно нет! Гуру тихонько рассмеялся. — Кроме того, я не думаю, что ты умрешь.

Хари снова улыбнулся. У Гуру был приятный голос; он был добрым, деловитым и чаще всего выражал мягкое веселье. «В конце концов, какое это имеет значение?» — казалось, подразумевал он, и чувствовалось, что это действительно не имеет значения — не потому, что ничто не важно, а потому, что то, что важно, находится в другом месте и в безопасности.

Хотя двигаться было больно, Хари повернулся на кровати и взглянул на своего хозяина, которого он пока почти совсем не видел. Гуру сидел скрестив ноги на циновке, а рядом с ним находились письменные принадлежности. Его одеяние составляла белая дхоти, оставлявшая руки свободными. Он выглядел сильным и жилистым; в нем ощущалась и настороженность, и покой.

Как только он увидел, что глаза Хари открыты, он встал и подошел к кровати. — Вам лучше, — сказал он.

Хари отпил из чашки, которую ему протянули, затем откинулся назад со вздохом. Он чувствовал большую неуверенность в том, выживет ли он, но в данный момент облегчения от боли было достаточно. Кроме того, глаза Гуру — благодаря их необычайной искренности и свету привязанности за ними — утешили его.

Через мгновение он сказал: — Меня клонит в сон. Думаю, я опять отключусь. В душе он думал: «Это хороший человек; мне кажется, будто я знаю его много лет».

— Да, — сказал Гуру. — Спите! — И он вернулся в свой угол.

Некоторое время в комнате стояла полная тишина; затем, стараясь не шуметь, Гуру встал и снова подошел к кровати. Хари спал, но дыхание его было частым, а щеки горели. Гуру долго и пристально смотрел на него; когда же он отошел, то встал в дверях, печально глядя перед собой.

Но Хари не умер. Четыре недели спустя он был достаточно здоров, чтобы, пошатываясь, выйти из дома на кушетку в тени ивы. Теперь он страдал разве что от крайней слабости; но это ощущение, опыта которого у него прежде не было, было крайне неприятно для него. Перемена, кроме того, из комнаты на открытый воздух обернулась большим разочарованием. Яркий свет, солнечный зной, даже легкий ветерок — все причиняло ему дискомфорт. Но он решил не показывать этого; и его попытки скрыть истинные чувства усилили его тайное дурное настроение.

Гуру вынес свои письменные принадлежности и сидел на циновке недалеко от кушетки Хари. Хотя спутник не предъявлял к нему никаких требований, Хари желал бы, чтобы его там не было. Это доброе присутствие доставляло ему не больше удовольствия, чем покой лощины или мысль о собственном спасении от смерти. Ничто не радовало его; ничто, думал он, никогда больше не обрадует его.

Скрывая свои истинные чувства, он начал говорить Гуру приятные вещи, благодарить его за доброту, восхвалять красоту лощины и говорить, как приятно ему снова быть на свежем воздухе. Затем он попросил последние новости о Джали.

Гуру поднял взгляд. — Я получил от него вчера наспех нацарапанную записку. Он сообщил мне, что только что отправился с принцем Моханом в их загородное поместье в горах. Жаль, что ты не смог повидаться с ним в последний раз, когда он был здесь, но тот день как раз выдался для тебя довольно скверным.

— Да. Но это был последний из моих плохих дней. И еще через неделю я буду здоров.

Хари говорил уверенно, словно предвкушая возвращение к нормальной жизни, но на самом деле он его боялся. Ему доставляло мало удовольствия смотреть на свою жизнь — ни на свое прошлое, ни на настоящее, и меньше всего на будущее.

Чтобы отвлечься от этих мыслей, он продолжил: — Акбар, полагаю, отказался от идеи нанести тебе визит? Одно время у меня была мысль, что если он приедет в Даулатпур, я мог бы попросить об аудиенции. Видишь ли… — зевок прервал его речь. — У меня к нему есть счеты. Полагаю, Джали рассказал тебе кое-что об этом.

Гуру одарил его веселой улыбкой. — Император приходил и уходил. Он был здесь около двух недель назад, когда твой жар достиг предела.

— Приходил и уходил!

Гуру кивнул.

— И он действительно навещал тебя здесь — в этой лощине?

— Навещал.

— Ну! — Хари умолк от чистого изумления. — Расскажи же мне об этом.

Все еще улыбаясь, Гуру отложил перо. — О, все прошло вполне хорошо, я думаю. Акбар, знаешь ли, шел сюда пешком босиком из Агры; и я верю, что он действительно проделал таким образом большую часть пути. Последнюю милю я видел собственными глазами. Я вышел встретить его, так как его конюшие были здесь накануне, чтобы сказать мне, что именно так я и должен поступить. Я обнаружил, что дорога была подготовлена — все камни убраны, а в трудных местах насыпано немного песка. Я прибыл в его лагерь рано утром, но он заставил меня ждать недолго. Он вышел из своего шатра, большой, дородный, бодрый — но изменившийся. Прошло несколько лет с тех пор, как я видел его в последний раз. Теперь, кажется, все ожидают его смерти. Возможно, это потому, что он сам уверен, что дни его сочтены.

После молчания Хари сказал: — Вы ожидали, что я умру, не так ли?

— Врач сказал, что да. Но вскоре я усомнился в этом.

— Почему?

— Ну, хотя бы потому, что в своем бреду ты никогда не заходил слишком далеко назад. Ты никогда не возвращался в свое детство: ты говорил о сравнительно недавних вещах. Но вернемся к Акбару: он очень приятно приветствовал меня, а затем мы пошли по дороге вместе под палящим солнцем. Он шел отнюдь не легко, несмотря на кажущуюся бодрость: он сильно потел; но он говорил без умолку. Он помнил каждую деталь своего визита сюда двадцать шесть лет назад, когда он приносил благодарность за рождение Салима. Когда мы подошли к утесу, я очень беспокоился, как бы он не поскользнулся и не упал; то были тревожные моменты для всех; но он спустился благополучно. Затем он подошел к царскому ковру, который расстелили у колодца (это всегда называют колодцем: не знаю почему) и опустился на колени в христианской позе и молча помолился. В этот момент, по какой-то причине, я был глубоко тронут, и я заметил, что все присутствующие — нас там было около дюжины — были тронуты одинаково. Это была любопытная маленькая сцена; жаль, что вы ее пропустили.

— Да, — задумчиво произнес Хари. — Подумать только, что я все это время находился в твоем доме — не далее чем в двадцати ярдах!

Гуру мягко рассмеялся. — Ты был у меня на уме каждое мгновение, ибо ты был не только очень болен, но я боялся, что ты можешь устроить какое-нибудь беспокойство. Однако тем утром я дал тебе большую дозу опиума — ровно столько, сколько осмелился — чтобы заставить тебя замолчать.

После паузы Хари спросил: — Я когда-нибудь говорил об Акбаре в своей лихорадке?

— Еще как! И не очень вежливо.

Хари улыбнулся. — Что ж, что произошло дальше?

— Закончив молитвы, он встал и выпил воды из колодца. Я надеялся, что он откланяется, не ступив ногой в дом. Но нет! Он стоял, оглядываясь по сторонам — глаза его были острыми и пытливыми; и вскоре он начал расспрашивать меня о моей повседневной жизни. Наконец, он зашагал к дому и вошел внутрь.

— «И увидел меня лежащим там?»

— «Да. И он сразу тебя узнал. „Хэлло!“ — воскликнул он. — „Что этот малый здесь делает? Он болен?“ — Я ответил, что ты очень болен, и добавил, что это от раны, полученной в бою за него против отряда всадников Салима. Он внимательно выслушал, задал мне множество вопросов — на большинство из которых я не смог ответить — а затем сказал: „Тогда он лучше, чем я думал. Если он поправится, пусть придет ко мне, и я еще раз рассмотрю его дело. Правителям следует быть не менее милосердными, чем самому Богу“».

— «Боже мой!» — воскликнул Хари, который теперь сел. — Все это весьма забавно! И более того, похоже, дела оборачиваются для меня довольно хорошо». Он бросил своему хозяину тайный, улыбчивый взгляд. — А насчет той моей драки, полагаю, информацию ты получил от Джали?

— «Да». И затем, поскольку Хари больше ничего не сказал, он продолжил: «Пока Император стоял там, глядя на тебя, я благочестиво молился о том, чтобы его громоподобный голос не разбудил тебя. Проснись ты, ты бы почти наверняка пнул его в живот, как сделал со мной всего несколькими часами позже».

— «Мой дорогой Гуру! Что я могу сказать!»

— «В моем случае это не имело значения; я такой легкий, что отлетел назад, словно сухой лист; но у Акбара есть вес, а живот у него большой и мягкий».

Хари рассмеялся. «Что ж, теперь я скажу тебе то, чего не говорил никому другому: я сражался не за Акбара, а против него». И он описал свою роль в стычке.

Это доставило ему некоторое удовлетворение, и во время рассказа он пристально следил за лицом своего собеседника. Гуру слушал с легкой улыбкой, а затем сказал: «Что ж, кажется, все обернулось для тебя очень хорошо. Но едва ли можно надеяться, что такая удача выпадет снова».

Хари засмеялся, и когда он заговорил вновь, его тон был сухим. «У меня есть вопрос к задать. Во время моего долгого бреда я, должно быть, много болтал о своей личной жизни. Не так ли?»

— «Да. Были дни, когда ты говорил без умолку. Иногда ты думал, что разговариваешь с рани Ситой, иногда с Гокалом или Джали, а один-два раза сильно разволновался, приняв меня за принца Даниала. Несомненно, ты рассказал мне о себе немало, сам того не желая. Но разве это имеет значение, Хари Хан?»

Хари холодно улыбнулся. «Нет».

Наступило молчание, и вскоре он откинулся назад и закрыл глаза. Гуру продолжил писать.

Когда Хари открыл глаза в следующий раз, солнце было низко, и он понял, что спал. Красный свет падал на утес напротив; лощина была наполнена нежным розоватым светом.

Через минуту он услышал, как Гуру говорит ему: «Это обезьяна тебя разбудила?»

— «Нет. Я слышу её, не слыша. Его музыка сама вплетается в мои сны».

Некоторое время он лежал тихо, затем продолжил: «Было бы глупо с моей стороны возражать против того, что я раскрылся перед таким человеком, как ты. Я не возражаю».

— «Я рад этому». Гуру улыбнулся. — Ты выглядишь гораздо лучше после сна. Наконец-то я чувствую, что ты пошел на поправку».

— «В некотором смысле, — задумчиво произнес Хари, — ты должен знать меня лучше, чем я сам, потому что когда говоришь в бреду, погребенные части самого себя выходят на поверхность».

Другой кивнул: «Возможно».

— «Гуру, — внезапно сказал Хари. — У меня нет ни малейшего представления, что делать с собой. Моя жизнь — полный хаос».

Гуру отодвинул от себя бумаги и посмотрел в небо. «Не торопись, Хари Хан! Это первый день за долгое время, когда ты уже не совсем больной человек».

Хари вздохнул, затем приподнялся на одном локте. «Есть какие-нибудь новости, которые ты от меня скрываешь? Я достаточно здоров, чтобы услышать всё».

— «Нет. Я ничего не скрываю. Но, пока ты спал, сюда прибыл посланник с этим письмом. Я спросил человека, не от рани Ситы ли он, и непременно разбудил бы тебя, если бы он ответил да. Но он был от принцессы Лалиты, поэтому я позволил тебе спать дальше».

Хари рассмеялся, ибо в том, как были произнесены эти последние слова, был определенный юмор. Взяв письмо, которое протягивал ему собеседник, он повертел его в руках, не вскрывая. Гуру собрал свои бумаги. «Я оставлю тебя, Хари Хан. Время моих вечерних молитв».

III

На следующий день в тот же час Хари снова перебрался на свою кушетку под окном. Как только он устроился, он с улыбкой повернулся к Гуру и сказал: «Так или иначе, ты услышал обо мне немало. Разве не будет справедливо, если теперь ты расскажешь мне что-нибудь о себе?»

— «Конечно!» — рассмеялся Гуру. — Что именно ты хочешь знать?

— «Ты достиг большей простоты и честности, чем большинство людей. Как тебе это удалось?»

— «Хари Хан, моя жизнь была — и остается — похожей на чистку луковицы. Один за другим я снимаю покровы самообмана и притворства. В процессе у меня слезятся глаза и болит мое тщеславие».

— «Я бы подумал, что ты уже довольно близко подошел к честной сердцевине. Я уважаю тебя за то, что у тебя нет большого числа последователей, и ты не возглавляешь Ашрам».

Гуру хмыкнул, одновременно качая головой. «Увы, должен признаться, было время, когда я был весьма знаменит. Ты недостаточно стар, чтобы помнить это, но люди приезжали со всей Индии, чтобы увидеть меня. Больных исцеляло мое прикосновение; набожные лизали пыль там, где я ступал ногой. По мне сейчас этого не скажешь, правда?»

— «Неважно! — ответил Хари с улыбкой. — Разве Император только что не оказал тебе честь своим визитом! Кто знает, не вернется ли твоя слава? Но прошу, расскажи еще!»

— «Рассказывать особо нечего. Меня воспитывали как священника, подобно моему отцу. Мы жили в маленькой деревне недалеко от Мангалура. Когда мои родители умерли, я скитался по Индии и, научившись врачеванию, ухаживал за больными. Как только я пришел в это место, я почувствовал, что хотел бы здесь жить; а богатый купец, которому я помог излечиться, построил для меня этот дом и разнес мою славу повсюду. Он был из тех мужчин, которые любят поговорить и обладают даром делать так, чтобы все звучало чудесно. Когда эта лощина была очищена от кустарника — ибо тогда она была зарослями — показался желоб с пузырящейся водой; и тут же купец распространил историю о том, что это колодец великого святого, жившего здесь сотни лет назад. И вскоре заговорили, что я — его перевоплощение. С того момента я стал святым, что бы ни заявлял об обратном. А случилось так, что в этом году родился принц Салим, и Император, желая публично продемонстрировать благочестие, решил совершить сюда паломничество. Это место находится примерно на нужном расстоянии от Агры — расстоянии, которое он мог пройти пешком без особых затруднений. Так он и пришел: и вместе с этим моя репутация святого человека прочно утвердилась».

Хари тихо рассмеялся. «Что ж, во всяком случае, ты сам в этом не виноват».

— «Я не уверен! Есть поговорка: Репутации, болезни и жены приходят только к тем, кто их хочет. Некоторое время я определенно наслаждался своей репутацией. Но лишь некоторое время. Постепенно внутри меня нарастала тревога. Я никогда намеренно не стремился к этому, но не мог отделаться от ощущения, что должно быть что-то во мне самом, что способствует ее созданию. Это сложный вопрос. Я не хочу, чтобы ты думал, будто я косвенным образом бросаю тень на других святых мужей. Несомненно, есть много знаменитых, которым нет нужды чувствовать себя так, как я. Все, что я могу сделать — это говорить за себя самого. Мне было тревожно; но долгое время даже моя тревога была неискренней. Мне нравилось отрицать свою святость, потому что я видел, что это лишь увеличивает мою репутацию скромности. Но, — и здесь Гуру улыбнулся, — конечно же, мне совсем нетрудно было вернуться на то место, которого я заслуживал. Все, что мне нужно было сделать — это перестать позировать. Как только я сделал это, моя репутация начала падать...»

— «Позировать?» — воскликнул Хари.

— «Да. Боюсь, это подходящее слово. По мере того как я учился отказываться от своего инстинктивного позирования, мир терял ко мне интерес. Я все еще мог творить добро; но не как знаменитый человек — а как обычный человек — и только более тяжеловесным и обыденным способом».

Хари улыбнулся. «Ты больше не мог творить чудеса? Исцелять людей?»

— «Нет. Во всяком случае, ничего поразительного я сделать не мог».

Хари рассмеялся, и его собеседник присоединился к нему.

— «Но, — продолжал Гуру, — позволь мне повторить, что я ни на что не намекаю против чудотворцев или веры людей, верящих в них. Существуют разные уровни самопонимания, и у каждого уровня есть своя искренность. Что касается меня, мне пришлось думать о моей собственной особой искренности. У меня не было права творить чудеса, и это было плохо для меня».

— «Не уверен, что понимаю тебя, — отозвался Хари, — но...», — он заколебался, — «но вот в чем я уверен: обычный человек, когда сам не занимается шарлатанством, восхищается тем, кто это делает».

Гуру улыбнулся и промолчал. Наступила тишина, во время которой он задумчиво смотрел на утес. С Хари внезапно произошла перемена: он приподнялся на одном локте и посмотрел на Гуру сузившимися глазами. Наконец он сказал:

«Мне нужен совет. Я хочу спросить тебя, что мне лучше сделать».

— «Тебе следует пока остаться здесь».

— «Да, но...»

— «Было ли что-нибудь в письме принцессы Лалиты...?»

— «О, это не имеет значения. Не позволяй этому письму — или чему-либо, что я мог сказать в бреду — направить твои мысли по ложному следу».

Гуру покачал головой. «Нет, насчет природы твоих нынешних чувств к ней — в сравнении с чувствами к рани Сите — я не ошибаюсь. Если в твоей природе и есть конфликт, он гораздо глубже этого».

Хари задумался. «Моя любовь к Сите реальна — если вообще хоть что-то во мне реально. Возможно, мне стоит больше не говорить о Лалите. Это длинная история, и она ведет в никуда».

Гуру помедлил, затем ответил: «Думаю, тебе стоило бы не выбирать, а рассказать мне все, что можешь».

— «Хорошо. Когда-то у меня был неопределенный любовный роман с Лалитой. Он закончился — ох, очень давно. С тех пор я видел ее лишь однажды. Об этом я расскажу тебе чуть погодой». — Он помолчал и провел рукой по лбу. — «Но мы время от времени обменивались письмами, и теперь я вижу, что это было неразумно, не потому что это были любовные письма, а потому что они выдавали значительную близость в прошлом. Я больше не влюблен в нее, да и она в меня, хотя — до недавнего времени — ей нравилось думать обратное. Она воображала это потому что — ну, потому что она романтична, и потому что испытывает глубокую ненависть к Даниалу. Она также знает, что эту ненависть разделяю и я; правда в том, что у нас очень много общего».

Он снова умолк; и после того, как Гуру кивнул, продолжил: «Больше рассказывать нечего, пока я не дойду до моего краткого пребывания в Катхияпуре около трех месяцев назад. Именно там я впервые узнал от свояченицы Шрилаты, что жена развелась со мной, что мой удел был передан ее любовнику, и что я приговорен к изгнанию. Но и без того у меня хватало бед. Видишь ли...» Нахмурившись, он оборвал фразу.

Гуру быстро сказал: «Тебе не нужно ничего объяснять. Твой бред довольно ясно сказал мне, что ты чувствуешь по отношению к радже Амару».

— «Что ж! Шрилата — моя хорошая подруга, и одна из немногих, кто знает обо мне и Лалите; и в ходе нашего разговора она спросила меня, переписывались ли мы с Лалитой. Я был вынужден признать, что да; на что она указала, что если какое-либо из наших писем попадет в руки Даниала, он использует их, чтобы устроить такой скандал, который позволит ему расторгнуть помолвку с Лалитой. Когда я покинул ее тем вечером, у меня было довольно сильное подозрение, что одно или несколько моих писем уже попали в опасные руки, и что Шрилата об этом знает. Не составило труда догадаться, в чьи именно; ведь Лалита и ее сестры вот уже несколько недель находились под присмотром моей жены — Амбиссы. Итак, покинув Шрилату — тогда было около полуночи и стояла непроглядная тьма — я направился к дому, где остановилась Амбисса. Мой замысел заключался в том,

чтобы обыскать этот дом. Я знал, что она собрала вещи и поспешно уехала, так как прибытие нашей группы было неожиданным. У меня была смутная надежда найти что-нибудь. Дом, стоящий в парке, был темен и казался совершенно пустым. Я проник в него — без особого труда — через одно из окон; а затем зажег свет. На столе стояла лампа, которую я зажег, и сразу увидел, что попал в нужный дом, ибо комната была полна одежды Амбиссы. Я прошел в следующую комнату и начал искать бумаги, но не нашел ничего интересного. Я все еще искал, когда услышал легкий шорох и, оглянувшись через плечо, увидел, как Лалита заглядывает в дверь. Узнав, кто это, она вскрикнула от восторга, подбежала и бросилась в мои объятия. Мы оба были очень взволнованы и рады видеть друг друга. Мы много смеялись. Она спросила, что я здесь делаю, и я объяснил. Тогда она призналась, что „потеряла“ одно — или, возможно, два — моих письма; но в тот момент мы были не в настроении придавать этому большое значение». Здесь Хари посмотрел в лицо Гуру со улыбкой. «Я должен быть осторожен, — продолжил он, — чтобы не создать у тебя ложного впечатления о Лалите. Ты должен понимать, что у нее прекрасная и честная натура, хотя в чем-то, полагаю, беспринципная — и склонная к безрассудству. Ты должен помнить также, в каком ужасном положении она находится, столкнувшись с браком, который ненавидит. В тот вечер она была в безрассудном настроении; недавно она получила отвратительное письмо от Даниала. Ей отчаянно хотелось сбежать, исчезнуть в глуши — Туркестан, Монголия, куда угодно — и начать новую жизнь».

— «И она предложила тебе отправиться с ней?»

— «Да. Она сказала мне, что знает, как обстоят дела между мной и Ситой, но это не имеет значения. Я изгнан, и Сита не может последовать за мной. Что ж! Мне тоже лучше начать все сначала». Хари рассмеялся и пожал плечами. «Хотел бы я дать тебе представление о ее прямоте, простоте и очаровании. „Пойдем“, — сказала она, — „мы вместе улетим высоко в горы. Будем пробираться вперед, охотиться и рыбачить, живя как настоящие разбойники. Я жила такой жизнью; я знаю, о чем говорю. Разве ты не видишь, для этого мы и предназначены? Моя старая гадалка увидела это изображенным давным-давно. Она видела нас с тобой живущими в палатке, вокруг которой намело сугробы снега“».

Здесь Хари прервался, а затем внезапно сказал: «Возможно, ты недоумеваешь, зачем я считаю нужным рассказывать тебе все это? Причина в том, что ты не должен ошибаться относительно того, как я отношусь к Лалите. Кроме того, я не удивлюсь, если она предпримет что-нибудь...»

Он снова умолк, и в наступившей тишине Гуру сказал: «Удалось ли тебе уже обсудить свое изгнание — фактически, все свое положение — с рани Ситой?»

— «Нет. Я не сделал этого — по крайней мере, не досконально — пока мы не покинули Катхияпур — двумя днями позже. Что касается Лалиты, то я, конечно, полностью отверг ее предложения. Я прямо сказал ей, что слишком сильно люблю Ситу, чтобы поступить так, как она просит. Я также сказал, что теперь для нее слишком поздно отказываться выходить

замуж за Даниала. Дело зашло слишком далеко, и на кону стояло слишком многое. И на этой ноте мы расстались. Однако с той ночи я боялся, что она может выкинуть что-нибудь дикое; и теперь...»

Резко остановившись, Хари наклонился вперед и странно улыбнулся. «Гуру!» Его тон был резким. «Я ничего не могу с собой поделать; я собираюсь рассказать тебе больше, чем собирался. Когда я сказал, что в письме Лалиты нет ничего важного, я солгал. Ее письмо показывает, что она в больших затруднениях; и — и я хочу помочь ей».

Другой промолчал, и через минуту Хари продолжил: «Полагаю, ты слышал, что Покои Даниала сгорели дотла?»

— «Да».

— «Что ж! Заслуга в этом принадлежит Лалите. Говорил ли я об этом в своем бреду?»

— «Немного. Но невразумительно».

Хари нахмурился, затем сказал: «Беда в том, что Даниал начинает подозревать ее в причастности к поджогу. Я чувствую, что должен сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ей. То, чего она хочет — это бежать — навсегда».

— «С тобой?»

Хари рассмеялся. «Нет! Не со мной; с кем-то другим! Не улыбайся, Гуру! Я хочу, чтобы Лалита заслужила твое сочувствие. Она находится в очень опасной ситуации. Но, если она сможет сбежать с этим молодым человеком, который хочет жениться на ней, несомненно, все будет хорошо».

— «И она просит тебя помочь ей сбежать?»

— «Да».

— «Но — у тебя есть Сита, о которой нужно думать».

— «Конечно».

Гуру посмотрел в лицо Хари и мягко улыбнулся. «Не думаю, что сейчас тебе стоит позволять делам принцессы Лалиты занимать слишком большое место в твоей жизни. У тебя есть другие — и более прямые — обязанности».

Хари поднял брови. «Ты предлагаешь мне просто умыть руки?»

— «Я не знаю, чего она хочет от тебя. Но я думаю, тебе следует остерегаться уклоняться от больших обязанностей, придавая слишком большое значение малым». И когда Хари бросил на него раздраженный взгляд, он добавил: «Ты должен помнить, что вчера, когда ты сказал мне: „Моя жизнь — полный хаос!“, письмо принцессы Лалиты еще не пришло».

За этими словами последовало молчание. Хари сохранял свой пристальный, враждебный взгляд, и Гуру встретил его не дрогнув. Наконец Хари открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент подошел слуга Гуру.

— Да, Махабир?

— Махатма, тебя зовут люди из Кединара. В деревне беда.

— Это срочно?

— Махатма, да.

Гуру поднялся на ноги. — Прости меня, Хари Хан. Я должен идти.

IV

В тот день между Хари и Гуру больше не было разговоров. Днем Махабир объяснил, что его хозяин не сможет вернуться до позднего вечера. Среди крестьян царит сильное волнение, сказал он, и это очень занимает его хозяина.

— «Почему волнение? Здесь же нет голода».

— «Нет, но новые налоги Императора несправедливы. Крестьяне говорят: „Зачем нам работать, если у нас забирают всё? И все же, если мы не будем работать, мы умрем с голоду“».

— «И что делает твой хозяин?»

— «Он объясняет крестьянам то, чего они не понимают, и мешает сборщикам налогов грабить их. Он ходатайствует перед сборщиками налогов и раджой Бходжем от их имени. Он дает лекарства больным; он улаживает ссоры людей».

Хари улыбнулся. — «А когда люди глупы, он говорит им об этом».

Махабир рассмеялся. — «Мой господин, когда человек действительно глупец, это не приносит пользы».

В тот вечер Хари долго лежал на кровати полностью одетым. Атмосфера была тяжелой, он чувствовал усталость и, наблюдая за мухами, резвящимися в воздухе над головой, говорил себе, что в тяжелой атмосфере его ума его мысли так же бесцельны, как и они. Наконец со стоном он встал и подошел к открытой двери. Солнце только что зашло, и легкая туча затуманила луну. Луна и звезды мягко светили вниз в лощину. Трава была серой, глубокая, до краев наполненная водой чаша казалась темной, за исключением одного края, где на нее падал лунный свет.Картина была необъяснимо знакомой — возможно, подумал он,

потому, что Гуру, проживший в этом месте около тридцати лет, так часто смотрел на нее. Не могло ли это место приобрести какое-то свойство?..

Накинув плащ на плечи, он прошел по траве к желобу и оперся голыми руками о переполненный край. Но вода, нарушая свое плавное течение, теперь издавала беспокойный звук, поэтому он перешел на другую сторону желоба, где край был выше и вода не переливалась через него. Дом с ивой рядом теперь стоял перед ним. Звезды ярко сияли сквозь тонкую листву дерева, которая лишь создавала тонкую решетку на фоне неба. Он улыбнулся, думая, какое удовольствие получила бы Сита от этой сцены, которая так хорошо соответствовала доброте человека, жившего здесь.

Его ощущение личности Ситы становилось сильнее с каждой минутой, и наконец он с изумлением осознал, что никогда должным образом не постигал ее до этого момента. До сих пор эгоистичные желания омрачали его зрение; он никогда не был достаточно отстранен, чтобы видеть ее в ее сущности — видеть ее, то есть сказать, светом воображения. То, что он видел сейчас, было ее личным духом, раскрывающим свою вечную уникальность — словно лилия, пробивающаяся из темного болота неоформленного бытия, расправляющая лист, бутон и цветок.

Заглядывая в прошлое, он видел ее ребенком в ее доме на Кавказе, румяной и веселой; затем — стройной юной девушкой со строгостью и романтикой в глазах; затем невестой. Тот далекий роман в доме ее родителей, свадьба, долгое, медленное путешествие через Персию, и вся ее жизнь в Индии вплоть до этого — он смотрел на это так, как смотрят на облако, меняющееся прямо на глазах.

Вскоре после возвращения в свою комнату он заснул, но через некоторое время у него начался жар, и сны вернули его в замок, воздух которого он снова почувствовал — этот выжженный воздух, полный запаха вещей, выбеленных, испеченных и иссушенных солнцем. Ему угрожала какая-то опасность, от него чего-то ждали. Сита ждала... Но он ничего не сделал, какой-то смутный порыв удерживал его; он уклонялся и тайно стыдился себя.

Утром, проснувшись, он попытался вспомнить больше, но суть его снов ускользнула от него. Чуть раньше обычного вошел Гуру, и они едва успели обменяться полудюжиной слов, как внезапный страх схватил его за сердце, и он воскликнул: «У тебя для меня есть новости! Я вижу это по твоему лицу — плохие новости!»

— «Неожиданные, но не плохие». — Гуру положил руку ему на плечо. — «Пока я был прошлой ночью во Дворце, прибыл посланник от рани Ситы. У человека украли письмо, которое она дала ему, но он передал сообщение устно. Амар уехал. Он покинул замок ночью — один. Он присоединился к проходящему мимо каравану паломников, и теперь направляется на Цейлон».

Хари замер, уставившись перед собой. «Он оставил ее? Она одна?»

— «Да, он оставил ее. Но она стойко переносит удар».

— «Я должен пойти к ней», — глухо сказал Хари.

Гуру молча посмотрел на него. Через минуту Хари снова сказал: «Я должен пойти к ней — немедленно».

Другой покачал головой. «Боюсь, это невозможно. Посланнику удалось прорваться через линии Салима лишь с величайшим трудом; и он сомневается, что сможет вернуться назад. Ты в своем нынешнем состоянии наверняка потерпишь неудачу. Тебе придется подождать. Тем временем ты знаешь, что Сита в безопасности. Ей не причинят вреда в руках Салима».

— «Где посланник?»

— «Он направляется к Джали, который, как ты знаешь, сейчас гостит у принца Мохана».

Хари сел на кровать и уставился в пол. «Как только я буду достаточно здоров, я пойду к ней».

Поздно днем, лежа под ивой, Хари поднял глаза и увидел спускающегося со скалы Гуру.

— «Ты ходил в Даулатпур снова?» — окликнул он.

— «Да. Но новостей больше нет».

— «Ты выглядишь усталым».

Гуру вздохнул. — «В мире происходит много печальных вещей, Хари Хан».

— «А я лежу здесь, ничего не зная, ничего не делая».

— «Но размышляя. Я смотрел сверху со скалы, и ты был глубоко погружен в мысли».

С этими словами он повернулся и вошел в дом. Хари, заметивший, что тот покрыт пылью и потом, удивленно посмотрел ему вслед. «Это его час молитвы», — размышлял он.

Час спустя Гуру вернулся, но Хари охватило сильное нежелание говорить о себе. Он сожалел о своих недавних откровениях и решил держать разговор на отвлеченные темы.

— «Скажи мне, — сказал он, как только Гуру расстелил свой коврик, — каково твое мнение об Акбаре? Насколько, по-твоему, он ответственен за „печальные вещи, которые происходят в мире“?»

Приглашенный таким образом, Гуру начал излагать свои взгляды, но внимание Хари блуждало. С раздражением он понял, что физическая слабость обострила его природную неспособность надолго сосредотачивать ум на каком-либо одном предмете.

Довольно внезапно он прервал его, сказав: «Что касается меня, я не могу думать об Акбаре без отвращения. Он выставляет себя защитником бедных, но все, что он делает, ухудшает их положение. Он притворяется искателем Бога, а в конце концов обожествил самого себя. Его паломничество к твоему священному колодцу — какая лицемерная буффонада!» В его глазах вспыхнул горячий свет; и Гуру, посмотрев в небо, задумчиво сказал:

— «Я не думаю, что Акбар — сознательный лицемер».

Хари приподнялся на одном локте. — «Что, по-твоему, Акбар говорил в своих молитвах? Если бы я был Богом, молитвы этого старика внушили бы мне отвращение».

— «Я думаю...»

Хари перебил его. — «То, что должен был сказать Акбар, звучит так: „Бог, если моя воля не твоя, уничтожь меня. Но, предположительно, моя воля — твоя, ибо иначе я не был бы успешным чудовищем, которым являюсь. Соответственно, я благодарю тебя за то, что ты сделал меня тщеславным, хвастливым, вероломным и жестоким. Помоги мне, прошу тебя, продолжать мой нынешний путь ради приумножения моей пошлой славы“».

Гуру тихо рассмеялся. — «Ты требуешь от Акбара многого — гораздо большей способности к самокритике, чем обладает большинство из нас. И поскольку все мы неполностью осознаем самих себя, все мы — бессознательные лицемеры».

— «Акбар груб. Нужно быть грубым, чтобы быть сильным».

— «Это зависит от того, что ты понимаешь под силой».

— «Разве Акбар не силен?»

Гуру покачал головой с улыбкой. — «Он знает, как обрести власть, но не знает, как ею воспользоваться. И даже его власть над другими носит весьма неудовлетворительный характер. Подумай, насколько совершенно он провалил установление своей Новой Религии! Подумай, как он провалился со своими сыновьями! И, собственно говоря, с самим собой».

На минуту Хари замолчал, затем, после видимого колебания, сказал: «Сита не согласилась бы с тобой насчет Акбара. Она видит в нем чрезвычайно религиозного человека. Она верит, что он движется к христианству и что он еще может увлечь Индию за собой».

Гуру быстро сказал: «Значит, вы обсуждали эти вещи с ней? Я рад».

Хари снова заколебался. — «Не сильно. Проблема в том, что за спиной Акбара я вижу Даниала, а Даниал, по моему мнению...»

— «Да? Что представляет собой Даниал в твоем уме?»

— «Он олицетворяет разложение — точно так же, как Акбар олицетворяет более бессознательное зло».

— «Ты объяснил все это Сите?»

Хари пожал плечами. — «Нет».

— «Интересно почему».

— «Она не философ — впрочем, как и я».

— «Но мне кажется, что ты философ, Хари Хан. Я имею в виду, ты пытаешься объяснить мир самому себе. У тебя есть идеи об Акбаре и Даниале — и о самой рани Сите. Идеи добра и зла, правильного и неправильного, греха и возмездия глубоко вплетены в ткань твоей мысли».

— «Возможно. Но я против самоанализа. Это не приносит пользы обычному человеку. А Сита ненавидит его так же сильно, как и я».

— «Но бесполезно идти немного вперед, а затем останавливаться под предлогом того, что ты не философ. Происходит лишь то, что человек раз за разом проходит одни и те же места. Разве я неправ?»

Хари промолчал.

— «Фон твоего ума забит мифологическими фигурами — я имею в виду расплывчатые и, возможно, вводящие в заблуждение обобщения, некоторые из которых ты используешь для самооправдания, в то время как другие преследуют тебя с обвинениями».

— «У меня неспокойная совесть, если ты это имеешь в виду».

— «Почему ты не говоришь обо всем этом с Ситой?»

Хари помолчал некоторое время, затем сказал: «Сита цельна. Я восхищаюсь ею».

— «Тем не менее, ты оказываешь ей дурную услугу, не посвящая ее в свои тайны».

— «Есть очень мало такого, чего она не знает о моей жизни».

— «Я говорю о том, что происходит в твоем уме. Тебя терзают сомнения и трудности. Описывал ли ты их Сите?»

— «Нет».

— «Уверен, что тебе следует».

— «Так или иначе, это оскорбило бы мой вкус», — сказал Хари после долгой паузы.

— «Я не уверен, что всегда нужно потакать своему вкусу. Кроме того, нельзя ли точнее сказать: „Это пойдет вразрез с моим нутром“? А почему бы не пойти вразрез с нутром?»

— «У меня нет права заставлять Ситу разделять мою ответственность при принятии определенных решений».

— «Но ведь решения, которые ты имеешь в виду, жизненно важны для нее? Кроме того, вы с ней уже обсуждали ваше положение и ваши планы — просто ты утаил самые важные части своих мыслей и чувств. Ты сделал это либо чтобы пощадить ее чувства, либо чтобы пощадить собственную гордость».

— «Разве я не должен щадить ее чувства?»

— «Хари Хан, в этом есть что-то неискреннее. Она любит тебя. Думаешь ли ты, что она не сможет понять тебя?»

— «Я думаю».

— «Но есть ли у тебя основания так думать? Уверяю тебя, у тебя нет права предполагать, что она будет неспособна на сочувственное понимание?»

Хари промолчал.

Гуру вздохнул и продолжил: «Мне кажется, что половина бед, возникающих между людьми, вызвана отсутствием откровенности. Человек воображает себя выше другого — не в уме, не в тонкости чувств, не в чем-либо, что он может назвать по имени, — и все же в чем-то, что дает ему право или даже обязанность обращаться с другим как с неравным себе. Он берет на себя ответственность, которой должен был бы поделиться, он делает тайны, он не требует от другого того, чего требует от себя, не применяет к другому те же мерки. — Тот, кто говорит себе, что другой не поймет, или не вынесет столкновения с правдой, или слишком разгневается из-за нее, на самом деле защищает не другого, а себя». Здесь Гуру сделал паузу, а затем добавил со всей серьезностью: «Я был бы неверен самым принципам, которые проповедую, если бы говорил с тобой иначе».

Хари теперь смотрел в сторону. Его подбородок был приподнят, глаза сузились. «Полагаю, вы правы. Мне придется это обдумать. Но тем временем, перейдем к практическим вопросам: день уже очень близок, когда у меня больше не будет оправданий лежать здесь без дела».

— «Хари Хан! Я не хочу казаться упрямым, но должен высказаться. Бесполезно пытаться решить свои практические проблемы, пока твои основополагающие идеи остаются в смятении. Оставайся здесь, пока не окрепнешь достаточно, чтобы попытаться вернуться к Сите. А затем полностью объясни ей себя».

Хари нахмурился и сделал нетерпеливый жест.

Не обращая на это внимания, Гуру продолжал: «Я убежден, что твое сочувствие Салиму, твое недоверие к Акбару и твое осуждение Даниала выражают нечто важное в твоей натуре. Ты должен заставить Ситу понять это. Другими словами, тебе следует показать ей

себя таким, какой ты есть; ибо она непременно должна любить тебя достаточно сильно, чтобы любить тебя таким, какой ты есть».

Хари, чье лицо теперь раскраснелось, медленно поднялся на ноги. «Ты уверен в этом? Возможно, мой характер слишком неприятен».

— «Нет, он не неприятный. То, что стоит у тебя на пути, — это гордость».

— «Разве это не неприятно? Возможно, я недостаточно люблю ее?»

— «Нет, тебе недостает веры — или я мог бы назвать это моральной храбростью. Даже любви без этого недостаточно».

Хари пожал плечами и медленно пошел обратно к дому.

V

В медленном, ничем не примечательном течении следующих нескольких дней Хари чувствовал, что быстро набирается сил, но удовлетворения, которого он ожидал от этого, не наступало. Хотя теперь он жаждал покинуть лощину, мысль о возвращении в мир пугала его ничуть не меньше, чем прежде. Дальнейших разговоров с Гуру ему удавалось избегать. Он проводил большую часть времени в одиночестве, несмотря на то что находил собственное общество отвратительным.

В один темный безветренный вечер, рано улегшись спать, он лежал без сна во власти эмоции, очень похожей на отчаяние. Неспособность принять решение душила его.

Наконец он встал и остановился в дверях, глядя в темноту. Издалека доносился звук веселья, плывущий над полями, и вскоре он увидел смутную фигуру Махабира, завернувшего за угол дома.

— «Куда ты идешь?» — окликнул он.

— «Сегодня праздник, мой господин. Я иду к моему хозяину, который находится в деревне Дхар».

— «Что он там делает?»

— «Они ссорились и дрались, потому что пьяны, а мой хозяин ухаживает за теми, кто пострадал».

— «Бог вознаградит его!» — пробормотал Хари, и его глаза проследили за белой фигурой мальчика, пока та не скрылась вверх по тенистой скале.

Его беспокойство продолжалось. Пройдясь некоторое время между домом и колодцем, он поднялся дальше к концу лощины, где росло несколько деревьев в небольшой бухте. Сев на теплый песок, он прислушался к пьяному крестьянину, певшему где-то вдали. Было любопытно, какое впечатление счастливого, бездумного равнодушия передавали эти немелодичные вопли. Они вызывали тусклый, грубый мир, в котором нет ни забот, ни воспоминаний о прошлом, ни взгляда в будущее. Это был голос безвременного настоящего, переполненного одурманенным благополучием. Хари улыбнулся, желая певцу добра. Но по мере приближения человека его шум стал оскорблением тишине ночи, и наконец, когда пьяный голос раздался почти прямо над головой, он вскочил, выкрикнув слово предупреждения. Но было слишком поздно. Послышался треск среди ветвей деревьев, и темный предмет выкатился на песок. «Готов», — сказал себе Хари. — «И конец неплохой!»

Он подошел к человеку, который лежал молча и неподвижно. Однако, наклонившись над ним, он услышал хриплый смешок, и пьяная песня слабо возобновилась с того места, где прервалась.

— «Клянусь Шивой! Ты крепкий парень!» — изумленно воскликнул Хари и начал ощупывать мужчину, но вскоре был обруган за свои старания.

— «Очень хорошо! Лежи там и наслаждайся, пока выпивка еще жива в тебе».

От мужчины разило рисовой водкой; он попросил свою тыкву-горлянку.

— «Твоя тыква! О, брось! Ты требуешь слишком многого! Твоя тыква...» Он осекся, ибо вот она, целая-тыква у его ног. Он поднял ее. Пробка была на месте.

— «Друг!» — сонливо произнес пьяница, — «это был жестокий удар, который ты нанес мне только что, но он прощен. Пей! Добро пожаловать!» И с этим он захрапел.

Хари задумчиво посмотрел на тыкву, затем сел и выпил. Жар напитка был болезненным, так как он не привык к сырому спирту; но внезапно его разум и тело изменились; он наполнился безмерным счастьем. Он посмотрел на луну и звезды; ночь своей красотой привела его в восторг; его дух парил в блаженстве.

Гуру, вернувшись под утро, вошел в свою комнату и встал у окна, глядя в ночное небо. Он устал, так как прошел много миль, и жалость тяжело лежала на его сердце.

Через минуту его внимание привлек тихий звук, озадачивший его. Он донесся из темноты за фонтаном — странное кряхтение и бормотание. Несколько мгновений он слушал, а затем, убедившись, что воображение его не обманывает, вышел наружу и быстро, бесшумно двинулся через траву. В свете звезд появилась фигура, затем исчезла под деревьями, затем снова показалась. Она двигалась случайными, неуверенными шагами. К своему ужасу он узнал Хари.

Бросившись вперед, он схватил его за оба плеча. — «Хари! Что случилось?»

Ответа не последовало, и тело Хари под его руками показалось безжизненным и холодным.

— «Хари, друг мой, — проговорил он с большой нежностью, — пойдем со мной. Ты болен. Но я знаю, что делать».

Хари издал странный звук, который должен был быть смехом. — «Ты знаешь, что делать? Нет, нет! Никто не знает, никто не знает».

— «Пойдем!»

Он повел Хари немного к дому; но внезапно встретил сопротивление. Хари вырвался, шатаясь, прошел несколько ярдов и опустился на участок песка под скалой. — «Еще нет. — Подожди!»

Гуру сел рядом с ним и взял его за руку. Она была влажной от пота.

— «Расскажи мне!» — тихо сказал он.

— «Нечего рассказывать. Я знаю то, чего не знаешь ты. Ты в своем уме. Я сумасшедший». Его зубы стучали. — «Нет! Но я молю Бога, чтобы я был сумасшедшим.».

Пока он раскачивался взад и вперед, Гуру ждал.

— «Ты говоришь о Духе». Голос Хари был хриплым шепотом. — «Что ты знаешь о Духе? У тебя он есть; ты живешь им; все люди живут им. Самое ничтожное живое существо живет им — не зная о нем. Но я знаю, каково это — быть без него. Без него! Смерть-в-жизни». Он поперхнулся, его зубы стучали, и он затих.

Гуру обнял его за плечи и ждал.

— «Послушай, — сказал Гэри несколько минут спустя. Он справился с дрожью и говорил глухим, твердым голосом. — Я расскажу тебе самую ужасную вещь на свете. Дух - не хозяин, а раб. То, что не является Духом, держит его в своей власти. Ты понимаешь, что это значит? Я был там, где истина смотрит тебе в лицо. Ты думаешь, я не боролся? Но Другой — он побеждает! Он побеждает! Ничто не может помочь — ничто.».

Он продолжил: «Послушай! Люди живут Духом. Он поддерживает их мужество, рассудок. Но есть люди, которые перестают быть людьми, и я один из них. Дух иссякает, я погружаюсь в глубины, я погружаюсь во тьму, в холод, в пустыню одиночества. Я проклят — но не великолепно — нет, я мелок, презренен и пристыжен. Ради Бога, если бы я был безумен, тогда для других была бы надежда — но я даже не безумен.

— Послушай! Знаешь ли ты, что такое эта опустошенность? Не знаешь; но я скажу тебе. Представь, каково это, когда ты наполнен Духом; твое сердце расширяется, ты радуешься

славе жизни, ты познал красоту, ты познал мужество, ты познал веру, ты сияешь теплом товарищества; ты доверяешь. Так что же тогда моя опустошенность? Разве это пустота? Нет; не пустота. Сквозь нее проносится воющий ветер, ветер Страха».

Он схватил Гуру за колено. «Что ты знаешь о Страхе? Есть вещи ужасные, есть вещи жуткие; но что из того? Есть пытки и смерть; но что они такое? Ничто. Говорю тебе: существует есть Ужас за пределами Ужасного, Жуть за пределами Жуткого. Существует Страх-в-себе. Думаешь ли ты, что Страх нуждается в какой-либо опоре, в причине? Нет! Страх стоит одиноко сам по себе. То,чего следует бояться, ограничено, но Страх безграничен. Если счастье может быть невыразимым, то насколько же неизреченнее Страх? Страх — это ад, в который ты погружаешься в одиночестве. Это одинокая тьма — где все мужество, и вся любовь, и вся надежда мертвы. Они принадлежат реальности, а Страх принадлежит нереальности — у которой нет границ, нет закона. Он не знает милости безумия, в котором можно швырнуть свою жизнь прочь. В истинном, горячем безумии можно найти мужество отчаяния. Но Страх — это холодное безумие, которое держит тебя неподвижным. Страх, говорю тебе, — это Дух покоренный; это живой, живой, живой…» Его голос затих.

Долго они сидели так. Гуру продолжал обнимать Хари за плечи, и тот почувствовал, что жизнь постепенно возвращается к нему. Печально глядя перед собой во тьму, он молчал. Правда заключалась в том, что он никогда не испытывал того, что описал Хари, но его воображение рассказало ему достаточно. Страдания этого мира — физические и душевные муки, которые терпят люди, — нависли над ним подобно огромному облаку в ночном небе, и маленькие холодные пальцы неверия начали ощупывать теплое тело его веры. Он оттолкнул их, призвал величайшую из вечных сил и вновь посвятил себя (ей) слепо, но с полным осознанием своей слепоты.

На следующее утро Гуру встал рано, заглянул в окно Хари и остался очень доволен, увидев, что тот мирно спит. Чуть позже Махабир доложил, что если не считать довольно осунувшегося вида, здоровье и дух Хари нисколько не нарушены. Гуру ничего не сказал и отправился провести утро среди деревенских жителей, а после полудня присоединился к своему гостю под ивой.

— Ну, Гуру! — окликнул его Хари, едва тот появился. — Слышу, наш вчерашний пьяный друг отбыл сегодня утром, похоже, ничуть не хуже прежнего. Что до меня, я заслужил изрядную головную боль, но каким-то чудом тоже легко отделался.

Гуру тихо, мягко рассмеялся, расстилая циновку на обычном месте. — Арак, который вы пили, был самого скверного качества. От него страдают даже привычные к этому пойлу мужики. Во всех деревнях, где я побывал, много голов трещит от боли сегодня.

Наступила короткая пауза, которую прервал торопливый вопрос Хари: — Какие новости? Ты заходил в Даулатпур?

— Да. Раджа Бходж посылал за мной. — Он помедлил. — Полагаю, дела повсюду становятся хуже.

— Что хотел от тебя Бходж?

— Он хотел, чтобы я велел людям смириться со своими бедствиями.

— Каковы их бедствия?

— Холера, гражданская война, голод — а затем эти новые налоги.

Хари внезапно вскочил со своего ложа. Стоя перед Гуру, он произнес: — Я больше не могу лежать здесь. Мне нужно — идти.

Гуру поднял на него взгляд. — Куда? — тихо спросил он.

Хари промолчал. Через мгновение Гуру сказал: — Как ты знаешь, моей надеждой было то, что ты решишь вернуться к Сите и обсудить всё с ней, прежде чем делать что-либо еще, но теперь — боюсь, этого сделать нельзя. Военное положение делает это невозможным.

Никакого выражения не показалось на лице Хари. — Что ж! — ровным тоном произнес он. — Придется придерживаться моего первоначального плана: отправиться в Агру и заключить мир с Акбаром.

Наступила пауза.

— Через несколько дней я буду здоров.

— Возможно. Но что ты собираешься ему сказать?

— И правда что! — Хари негромко рассмеялся. — У тебя есть какие-нибудь предложения, Гуру?

— Ну…

Хари, наклонившийся погладить обезьяну, удивленно поднял голову. — О! Так есть?

— Видишь ли, я думал, что твое прошлое не так уж плохо — я имею в виду, ты ведь никогда действительно не строил заговоров против Акбара — так почему бы не быть с ним максимально откровенным? А покончив с этим, почему бы не описать свои чувства относительно нынешнего политического положения?

Хари уставился на Гуру с недоверием. — Ты серьезно?

— Совершенно. Не вижу причин, почему бы тебе не объяснить Акбару, что единственное твое возражение против сражения на его стороне заключается в том, что ты не одобряешь Данияла. Разумеется, об этом придется сказать тактично.

Хари начал было смеяться, но осекся. «Гуру, ты не всерьез».

«Вполне серьезно».

«Но…» — Хари остановился и покачал головой.

—Вот послушай! — серьезно сказал Гуру. — С какой стати Акбару относиться к тебе с неприязнью? Ты никогда не причинял ему вреда. Он наверняка подозревает тебя во всевозможных изменах, которых ты никогда не совершал. Что ж, разуверь его! Далее, у тебя есть веские причины не одобрять Данияла. Зачем же скрывать их от него? В глубине души он признает, что в твоих словах содержится изрядная доля истины. В любом случае, он составит себе представление о твоем характере — а это и есть самое важное.

Хари продолжал смотреть на него в упор.

— Разумеется, — продолжал Гуру, — тебе следует также сказать ему, что Салим тебе нравится — и пояснить почему. Хотя сейчас он очень зол на Салима, он быстро поймет тебя, ведь существует большое природное сочувствие между отцом и сыном.

Хари кивнул, затем медленно и серьезно произнес: — Гуру, твои предложения не так безумны, как мне показалось вначале. Но — они совершенно не применимы.

— Почему же?

Хари сделал жест нетерпения. — Ну! — его глаза беспомощно забродили. — Для начала хотя бы потому, что Акбар выйдет из себя прежде, чем я успею толком начать. А это означает немедленное заключение под стражу — за которым, вероятно, последует казнь.

Гуру улыбнулся. — Признаю, ты пошел бы на определенный риск.

— Послушай! — нахмурившись, сказал Хари. — Ты, будучи Святым Человеком и личным другом Акбара, возможно, мог бы повести такую линию, но я не могу. Я не могу начинать разговор с ним об обсуждении его сыновей.

— Нет. Тебе следует начать с того, чтобы рассказать ему о самом себе. Дай ему увидеть тебя таким, каков ты есть на самом деле. Твоя жизнь…

— Клянусь Шивой! — воскликнул Хари, не без раздражения. — То, что ты предлагаешь, сводится к тому, чтобы я посвятил этого человека в свои тайны! Говорить с ним как с другом! Но он мне не друг, и я не привык...

— Что ж, почему бы не нарушить свою привычку?

— Мне не хочется. Вот и всё. — Кроме того, то, что ты предлагаешь, невыполнимо.

— Думаю, ты хочешь сказать, что это было бы необычно.

— Было бы. — И осознаешь ли ты, что я когда-то был офицером Королевской гвардии? С высокой долей вероятности, когда у меня будет аудиенция у Акбара, вокруг будут стоять полдюжины моих старых друзей. В самом деле, знаешь, Гуру…

Наступило долгое молчание, затем собеседник вздохнул и сказал: — Тебе надлежит сопоставить эти соображения с...

Он осекся, так как показалась крестьяне, спускающиеся по обрыву. — С другими соображениями. Ведь тебе следует помнить, что на кону стоит не только твое будущее, но и будущее Ситы. — Но теперь я должен тебя оставить.

VI

Глядя из своего окна на следующий день, Гуру увидел, как Хари ходит взад-вперед у колодца, и его лицо выражало такую сосредоточенность, что Гуру сказал про себя: «Полагаю, он готов заговорить!»

Он остался стоять у окна, и вскоре Хари заметил его и подошел. Стоя на траве снаружи, он с улыбкой посмотрел в глаза Гуру; эта улыбка, хотя и слегка ироничная, была открытой и дружелюбной. — Я думал о том, что вы сказали мне вчера, — произнес он.

— Да?

— Пожалуй, это не так невыполнимо, как я думал. — Улыбка на его лице стала шире, и он продолжил: — Из этого может даже получиться нечто довольно забавное.

— О, — поспешно отозвался Гуру, — но ведь не для того…

— Знаю. Но все же… — Он рассмеялся. — Мне нужно попытаться войти в контакт с Акбаром. В этом вопросе вы правы.

Гуру ничего не ответил, но через мгновение отошел от окна и вышел из дома. Вместе они медленно прошли по траве к своему обычному месту под деревом. Хари бросился на свои подушки и начал почесывать обезьяну под подбородком. — Прошлой ночью я хорошо спал, — сказал он. — А со мной уже давно такого не было.

— Вы почувствовали — ясность ума?

— Нет. Я просто сдался.

Гуру промолчал.

— Видите ли, — беззаботно продолжал Хари, — мое положение действительно слишком запутано.

— Дело не только в вашем положении.

— Я знаю. Дело в моем внутреннем состоянии. И об этом-то я больше беспокоиться не собираюсь.

— Что ж, — сказал Гуру, — если вам удастся с этим справиться…

— Я расскажу вам сон, который видел прошлой ночью, — сказал Хари. — Это сон, который снился мне несколько раз в последнее время. Он говорит мне очень многое, а вам, возможно, скажет еще больше. Мне снится, что я стою на Великой пирамиде в Египте и хочу пробраться к центру. Я захожу внутрь узким проходом и брожу там, надеясь и ожидая, но никак не могу достичь своей цели. Иногда центральная камера кажется совсем близко, но мой коридор всегда сворачивает в неверном направлении в последний момент, и меня снова относит далеко прочь. Иногда я слышу других людей в другом проходе, я слышу их сквозь толщу стены, и они добираются до центра. Но между моей системой ходов и их, похоже, нет никакой связи. Я никого не встречаю и никуда не прихожу.

— Это хороший сон, — сказал Гуру.

Хари замялся. — Не уверен, что я действительно понимаю его. Почему я не могу добраться до центра?

Гуру вздохнул.

— Нет. Вам не обязательно говорить мне, — сказал Хари.

— Есть одна вещь, которую мне хотелось бы сказать, — тихо проговорил Гуру после паузы.

— Очень хорошо!

— Ваше истинное «я» живет слишком одиноко. Этим отчасти объясняются приступы тоски, которые вы испытываете.

— Но у меня полно друзей — да и Сита есть.

— Да. Но ваше истинное «я» изолировано — за барьером притворства.

— Я не притворяюсь. Если уж на то пошло, я слишком честен.

Гуру вздохнул. — Вы хотите жить как типаж, но вы не из тех, кто может себе это позволить. Многих людей вполне устраивает общение друг с другом просто как представителей определенного типа, но личному духу в вас требуется нечто большее. Вы не должны держать его в стороне от других личностей как личностей — ибо поступая так, вы держите его в стороне от Духа как целого.

Хари рассмеялся, но неловко. — Думаю, я не знаю, что вы имеете в виду под словом «Дух», — пробормотал он.

— Разве? Это любопытно. Ведь прошлой ночью вы говорили о Духе так, словно это слово первым сорвалось с моих уст. Но это было не так.

Хари снова умолк.

Гуру наклонился вперед, и теперь его голос и манеры были совершенно серьезны. — Под Духом я имею в виду то же, что и вы. А под верой я подразумеваю деяние — мужество Духа. Вам следует верить в свою любовь к Сите — и в ее любовь к вам. Вам следует подвергнуть эту любовь испытанию прямотой. Когда она выйдет из него невредимой, вы увидите, как прекрасна и ценна подлинная связь между человеком и человеком, и будете избавлены от своего тайного страха. Ваш страх, ваша тоска, как вы сами заметили, не имеют внешней причины. Они берут начало…

Его голос затих, так как он заметил, что внимание Хари было отвлечено, и, взглянув вверх в направлении его взгляда, увидел, что у края обрыва стоит всадник и смотрит вниз на долину. На незнакомце была форма, объявлявшая в нем офицера Императорской гвардии. Его скакун был арабских кровей. Человек и конь, очерченные на фоне неба, создавали образ великой красоты.

— Кто бы это мог быть? — пробормотал Хари. — Кажется, я его знаю. Это не Рандхир ли?

Заметив их присутствие, незнакомец махнул рукой и спешился. Пока он привязывал коня к перилам, Гуру повернулся к Хари. — Да, это Рандхир, — сказал он, и в его голосе прозвучала нотка сожаления.

— Рандхир славный малый.

— Так и есть. Но мне хотелось бы, чтобы он приехал не именно в этот момент.

Хари проводил рукой по волосам и застегивал тунику. — Мило с его стороны приехать, — рассеянно произнес он и вскочил на ноги.

— Он приехал бы раньше, только ты велел мне держать всех подальше.

— Да. Я действительно не был пригоден для человеческого общества.

Рандхир тем временем спускался по ступеням. Подоткнув меч под мышку, чтобы тот не ударялся о скалу, он двигался со спокойным изяществом. — Ну же, Хари! — окликнул он. — Вот и я, нравится тебе это или нет! И не вздумай притворяться, что слишком болен, чтобы меня видеть. В жизни не видел тебя более здоровым.

Хари, шагая навстречу через траву, дал смеющийся ответ, и несколько мгновений они стояли там. Затем, поворачиваясь к Гуру со своей очаровательной улыбкой: — Он делает вам честь, не так ли? — продолжил Рандхир. — Давайте-ка посмотрим на рану. Осталось ли там хоть что-нибудь, достойное показа Акбару? Если да, ему следует поехать со мной в Агру. Красивый шрам всегда стоит награды.

— К черту награды! — воскликнул Хари весело. — Разве вы не знаете, что меня недавно отправили в ссылку? — И он кратко и юмористически описал свои недавние злоключения.

Его голос и манеры теперь настолько отличались от того, какими были десять минут назад, что казалось, будто это другой человек. — Клянусь всеми богами! — заключил он. — У меня полумысль поехать с тобой в Агру! Когда ты отправляешься? И зачем ты едешь туда? Дэви заскучала в Даулатпуре?

— Нет. Но я бы не стал винить ее, если бы это было так. Сейчас она гостит у Сесодия.

— Сесодия! — Хари усмехнулся. — Что ж, я тоже только что был гостем Сесодия. — И его описание замка и его неудобств заставило Рандхира расхохотаться от веселья.

— Ну! Когда ты отправляешься? — снова спросил Хари.

— Завтра. Ты правда поедешь? — Он повернулся к Гуру. — Он годится для этого?

Гуру покачал головой.

— Нет?

— Боюсь, что нет.

— Гуру, — смеясь, сказал Рандхир, — полагаю, вы держите его здесь лишь затем, чтобы читать ему философию. Я довольно долго наблюдал за вами с утеса и не решался прервать — так глубоко вы оба ушли в свою беседу. О чем шла речь, Хари?

Его слова были явно сказаны в полном простодушии, но Хари густо покраснел. Тотчас же Рандхир продолжил: — Не буду пытаться уговаривать тебя, если Гуру не одобряет. И в любом случае я почти не увижу тебя в Агре.

— Почему? Какое у тебя там дело?

— Дело? — Рандхир бросил на него сардонический взгляд. — Я собираюсь вступить [в армию]! Да, клянусь Шивой, я еду на помощь своему Императору. Вы понимаете, что Салим победоносно вступит в Агру еще через неделю-другую, если ничего не предпринять? Когда Акбар был здесь в прошлом месяце, он намекнул мне, что мое надлежащее место — на поле боя, а я сделал вид, что не слышу. Теперь, однако… ну, сейчас другое дело! Не то чтобы мне была хоть капля дела до того, что станет с его жалкой Империей, или кто из его жалких сыновей сменит его. Но все-таки… — И Рандхир закончил пожатием плеч.

Хари помолчал мгновение, затем тоже пожал плечами и сказал: — Лично я предпочел бы сражаться за Салима.

— Можно по очереди, — предложил Рандхир, зевая.

Гуру внимательно смотрел на Рандхира. — Вы знаете, куда Акбар собирается вас отправить? — осведомился он.

— Что ж, я вызвался отправиться в долину Джелама. Я указал на то, что, спустившись верхом этим путем, можно обойти фланг Салима.

Гуру издал короткий, резкий возглас. Он открыл рот, чтобы заговорить, но затем, покачав головой, отвернулся.

— Что случилось? — удивленно спросил Хари.

Рандхир негромко рассмеялся, сорвал травинку и сказал: — В долине Джелама полно холеры.

— Мой дорогой Рандхир! — Гуру снова повернулся к нему лицом, и его голос был тихим и печальным. — Я не стану говорить об опасности для вашей собственной жизни, но — ради людей, которых вы поведете с собой, и из жалости к мужчинам, женщинам и детям, которые заболевают и умирают там — умоляю вас, не несите эту войну в ту несчастную страну! Умоляю вас: если вы отправитесь в долину Джелама, то поезжайте помогать людям, а не усугублять их бедствия.

Рандхир помолчал, затем улыбнулся. — Боюсь, я очень мало знаю о борьбе с холерой, Гуру. Это не мое дело. А вот другой вид борьбы, к сожалению, моё.

На это Гуру ничего не ответил, но снова отвернулся, и наступила неловкая пауза, пока Рандхир, перекатившись на траве, не посмотрел снизу вверх на Хари и небрежно не произнес: — Кстати, чуть не забыл — перед отъездом нужно передать вам послание от Лакшми. Она хочет, чтобы вы с Гуру пришли к нам на обед. Приходите в любой день, говорит она, только пусть это будет поскорее.

Последнюю минуту или две выражение лица Хари было странным. А сейчас он сделал короткий смешок и поднял глаза к небу.

— Для этого-то вы точно достаточно здоровы, — продолжал Рандхир, все еще улыбаясь, хотя и озадаченно. — Не так ли, Гуру?

— О, я вполне здоров. — Тон Хари был беспечен. — На самом деле, я также достаточно здоров, чтобы отправиться с тобой в Агру. Я поеду.

Рандхир сел. — Что вы думаете об этом, Гуру? Не слишком мудро, не так ли?

Лицо Гуру стало задумчивым. Он воздержался от того, чтобы поднять взгляд, потому что знал, что глаза Хари устремлены на него, и видел в них блеск дерзкого своеволия.

— Мне бы хотелось, чтобы Хари остался здесь еще немного, но — конечно, если он чувствует себя достаточно сильным…

— Ну же! — воскликнул Рандхир, вскакивая на ноги. — Ничего не решай сегодня вечером, Хари. Посмотрим, как ты будешь чувствовать себя завтра утром.

Хари встал и слегка встряхнулся, словно стряхивая какое-то бремя. — Все в порядке, — коротко сказал он. — Я еду с тобой завтра. Во сколько мы выезжаем?

— Я собирался выехать совсем рано, но…

— Почему нет? Так лучше избежать дневной жары.

Трое мужчин теперь прогулялись к подножию утеса, и по дороге они договорились об отъезде Хари. Паланкин должны были выслать за ним немедленно; ночь ему предстояло провести у Рандхира в Даулатпуре; а ранний выезд намечался на следующее утро.

Как только они снова остались одни, Хари повернулся к Гуру и положил руку ему на плечо. — Гуру! — Его тон выражал раскаяние и искреннюю мольбу. — Гуру, не считай меня неблагодарным! Поверь мне, это не так!

Другой заглянул ему в лицо и улыбнулся. — Друг мой, я знаю, что это не так.

Они вошли в дом, и в оставшееся время Хари всеми доступными ему способами показывал, что его последние слова были правдой.

Часть 3

I

Покинув Хари на попечение Гуру, Джали продолжил свой путь по залитой лунным светом равнине. Часа, проведенного в лощине, оказалось достаточно, чтобы убедить его в том, что для Хари нельзя было найти лучших рук. К тому же он слишком устал, чтобы думать, и был вполне доволен тем, что следует указаниям Гуру. Так, с письмом к радже Бходжу в кармане, он сонно трусил рысцой рядом с Махабиром, которого послали показать ему дорогу.

Миль десять они ехали между полей зеленых посевов, затем, миновав подворотню с тяжелыми бойницами, проехали по переулкам уже тех, какие когда-либо доводилось видеть Джали, пока в самом сердце лабиринта не остановились перед огромной дверью.

Дверь была врезана в стену — высокую, массивную и древнюю. Вокруг царили тишина и мрак. Ожидая долгого ожидания, Джали погрузился в дрему; но перешептывание Махабира со стражником принесло скорый результат. Через несколько минут его впустили во Дворец и привели к гофмейстеру двора; а этот человек без промедления проводил его к самому радже. Раджа Бходж был высоким человеком средних лет, выглядевшим аскетично, неторопливым и точным в речи, учтивым в обращении и несомненным добряком. На его любезные фразы Джали отвечал мертвенной вежливостью крайней усталости, и раджа, заметив его состояние, долго его не задержал. Не прошло и часа после его прибытия, как он уже спал в постели.

На все время своего пребывания там Дворец оставался для Джали местом сновидений — точкой, оторванной во времени и пространстве от остального материального мира. Его местоположение, для начала, казалось Джали странным; ибо оно было одновременно окружено людскими жилищами и чрезвычайно удалено от них. Он не знал другого дворца, который бы не стоял особняком, вдали от кишащей толпы людей, но это мрачное древнее здание теснили бедняки, чьи убогие лачуги лепились, словно гнезда ласточек, к его толстым хмурым стенам. Толпа, однако, хоть и находилась рядом, ничуть не давала о себе знать. Ни один звук не мог пробиться сквозь эти изолирующие каменные глубины; и если вам случалось вспомнить, что внешний мир существует, само это сознание лишь усиливало ваше чувство привилегированного уединения.

Сам Дворец, вскоре обнаружил Джали, был очень велик — настолько велик, что он так и не научился в нем ориентироваться. Сама рани признавалась, что предпочитает не отправляться в некоторые из дальних комнат без старого слуги в качестве проводника. Дворы, крытые галереи и замкнутые сады были бесчисленны, и все они были одинаково пусты, одинаково безмолвны, за исключением криков павлинов и попугаев, обитавших во многих из них.

Комнаты, отведенные Джали, были тихими и уединенными — далеко от покоев всех остальных. С раджей и рани он встречался только в назначенное время, остальное же время дня принадлежало ему одному. Однако эти одинокие часы никогда не казались ему тягостными; напротив, он наслаждался своим досугом и независимостью.

С раджой Бходжем его общение было формальным, но приятным. Формальность, собственно говоря, была главной чертой раджи; она отпечатывалась на каждом его слове, каждой мысли и даже эмоциях. Его общество отличалось умиротворяющим постоянством. Когда он велел своей любимой кошке слезть со стула, отдавал приказ слуге или обращался к жене, тон и манера всегда оставались одними и теми же. С Джали он обсуждал общественные дела, разветвленные родственные связи среди равных себе и вопросы старшинства при Императорском дворе. Мало значило то, что Джали мало что мог сказать по этим предметам, поскольку радже требовалось лишь учтивое внимание. — Эти беседы проходили в высоких залах старинного величия. Раджа предпринял серьезные попытки модернизации и указывал на них с гордостью, ибо твердо решил не быть старомодным. Моды, по его мнению, могли законно меняться — но ничто другое. Если происходило изменение иного рода, это означало, что что-то пошло не так. «История повторяется!» — говорил он, имея в виду, что так и должно быть.

Что касается рани Лакшми, то стоило Джали бросить на нее взгляд, как он был очарован. Встреча произошла в одном из прекрасных обнесенных галереями дворов. Она стояла, прислонившись к колонне, бросая крошки своим белым павлинам и белым голубям. Сама она была одета в белое, и ее сари, откинутое назад, открывало прелестную линию шеи до самых прелестных плеч. Золото ее полированной кожи и светло-голубой цвет глаз подчеркивались мертвенно-белым шелком. Обрамленное багрянцем, ее сари было

перехвачено на талии и открывало маленькие золотые сандалии на ногах. Взгляд Джали вернулся к ее глазам, небесно-голубой цвет которых был таким мечтательным, что можно было смотреть в них, не встречаясь с ней взглядом. В эти мгновения она была для него меньше личностью, чем вещью — безмятежной и прекрасной вещью, на которую естественно было уставиться. Несомненно, личность внутри нее привыкла отступать, оставляя вам эту свободу, и лишь насытившись вашим созерцанием, она постепенно возвращалась обратно. И вот теперь она вскоре вернулась, чтобы подарить ему улыбку, которая поднялась, подобно дню, осветив те голубые глаза и пробудив все лицо к нежному, удивленному удовольствию.

Джали ожидал, что смутится, но дыхание перехватило, и робость ушла вместе с ним. Она скользнула в беседу движением столь же незаметным, как и ее спуск из грез. Но в ее речах, как он вскоре обнаружил, не было никакой мечтательности; разум, который она спустила на землю, был начеку, ироничен и остр. В свое первое утро во Дворце он был поражен, обнаружив, что его комната обильно снабжена книгами. Там были тома поэзии, как старой, так и новой, а также множество других книг разных жанров. Он сразу же пришел в восторг от вкуса, вдохновившего этот отбор, недоумевая, чей он был. Теперь он знал. И каким тонким юмором обладала рани! Когда через час он вернулся в свои комнаты, он двигался в тумане легкого опьянения. Немыслимы повороты судьбы, которые жизнь готовит человеку!

Но, конечно, эти дни были лишь интерлюдией — не частью его настоящей жизни. Поначалу он остро осознавал это, чувствуя себя чужаком. Однако мало-помалу это чувство утратило свою власть. Все в его повседневной рутине способствовало его уменьшению — серьезные рассуждения раджи (который относился к нему не только как к равному по годам, но и по жизненному опыту), мудрая, остроумная беседа рани Лакшми (которая заставляла его чувствовать себя почти таким же мудрым и остроумным, как она сама), и не в последнюю очередь — часы, проведенные в собственном обществе. В своих одиноких размышлениях он видел, как быстро становится подходящим членом этого нового мира, и с этим приходил весьма приятный прирост самоуважения и самообладания. Как бы легко эти люди носили свое значение, их значимость повсюду заявляла о себе, и находиться с ними в отношениях равенства было несомненно значит обладать определенной важностью самому.

Но на самом деле Джали обдумывал это не совсем так. Он вспомнил, как однажды Гокал сказал ему, что для того, чтобы найти себя, ему нужно жить среди чужаков, которые будут судить о нем исключительно по его собственным заслугам. «Во всех твоих приключениях, — говорил Гокал, — во Дворце в Агре, в Кханхо и в Усладе Искусств тобой двигал слепой инстинкт утвердить в собственных глазах себя как человека самоопределяющегося и ответственного за себя самого. Всякий раз, когда ты восставал против своих родителей, ты на самом деле раздражался из-за собственной внутренней зависимости от них. Тем не менее цепи, которые тебя терзают, наложили на тебя не они, а выковала твоя собственная слабость. Твои отец и мать обладают сильными личностями, а сильные личности оказывают

сильное влияние, даже сами того не осознавая». — «Да, — подумал Джали, — Гокал был прав».

Его окна выходили на маленький дворик, и в вечерней прохладе он подтягивал свою плетеную из тростника штору от солнца и сидел, глядя вниз в зеленоватые сумерки, где фонтан посреди лужайки, окаймленной кипарисами, посылал вверх серебряный дождь. Другие окна, выходившие на этот дворик, были всегда закрыты ставнями, и он никогда не видел их открытыми, да и ничьих ног на траве внизу тоже никогда не появлялось. Сам он тоже ни разу не ступил на нее, хотя несколько раз искал вход.

В отдаленной части Дворца в глубоком зеленом пруду жил древний крокодил, и незадолго до полуночи, ожидая кормежки, он издавал хриплый лай. Сидя при лунном свете у своего окна, Джали научился рассчитывать на этот лай — далекое, тяжелое повторение резкого звука.

Иногда он едва мог заставить себя лечь в постель, настолько сильным, поистине изысканным было чувство, которым он был охвачен. «Луна, теперь низко стоящая и ловящая лишь самые верхние капли фонтана, звезды, ныне ярче сияющие в своем своде над головой, светлячки, все еще танцующие в темноте внизу, плеск воды, тишина, трагическое, беззвучное устремление великого мира сквозь время — это сжимало его сердце, наполняло глаза, это была мука — не быть поэтом».

В глубине его сознания в эти дни жила немалая тревога за Хари. У него вошло в привычку каждый день ездить в лощину, но Хари никогда не бывал в состоянии обменяться с ним более чем двумя-тремя словами, а отчеты Гуру становились все менее обнадеживающими. В его тревогу примешивался элемент самобичевания, и хотя он не мог найти ничего в своем прошлом или настоящем поведении, заслуживающего порицания, эти чувства упорствовали. Кроме того, угроза смерти, нависшая над Хари, пробуждала в его сердце огромную жалость к его матери. Порой он погружался в облако воспоминаний, которое отчасти отчуждало его от новых друзей; ибо хотя Бходж и Лакшми неизменно справлялись о нем, давали советы и выражали сочувствие, жизнь Дворца естественно шла своим чередом, неизменная, и он чувствовал, что его внутренние переживания здесь как-то неуместны.

В такие вечера, когда он сидел у окна при лунном свете, его мысли возвращались к ночи его прибытия в лощину. Та же самая луна сейчас светила в нее, и вода пузырилась, наполняя корыто до краев, и маленький домик белел, и обезьяна на крыше грустила — грустила потому, что ее блуждающий разум не мог сосредоточиться ни на одной вещи. Он касался осколков стекла, чтобы извлечь музыку, смотрел на звезды, вздыхал и дергал себя за мех, хватал пролетающую мимо моль. «Разве я не похож на него?» — задавался вопросом Джали.

Поздно вечером, пытаясь написать какие-то стихи, но зачеркивая слова почти сразу после того, как записывал их, он услышал стук в дверь и был поражен появлением слуги, который

объявил, что раджа Бходж стоит снаружи и спрашивает, можно ли ему войти. Такого раджа прежде никогда не делал, и Джали, немало смутившись, вскочил со своего места.

Раджа шагнул вперед с очаровательной извиняющейся улыбкой. — Мой дорогой Джали, надеюсь, я вам не помешал. У меня действительно очень мало оправданий для этого вторжения, но полчаса назад мне пришло в голову, что я допустил необыкновенную ошибку за ужином. Вы помните, я сказал, что мой двоюродный дед Самбидананда Бходж женился на дочери раджи Патнивара; но конечно же, это сделал не он, а его единокровный брат. Мой дедушка частенько говаривал… — И целых полчаса они ходили туда-сюда, пока раджа добавлял уместные сведения.

Однако перед тем, как уйти, он перешел к другой теме. Дата паломничества Акбара к Священному Колодцу Гуру приближалась, и весь город ожидал этого события с большим волнением. После посещения лощины Его Величество посвятит двадцать четыре часа медитации и молитве; затем, сменив одежды покаяния на государственные одеяния, он появится под звуки фанфар у двери своего Императорского Шатра, известного как Обитель Света. Этот шатер уже возводят за южными воротами города; и момент его появления будет исполнен великого великолепия и радости.

Это Джали уже знал. То, что радже предстояло добавить сейчас, заключалось в том, что Акбар пообещал почтить его и рани своим обществом однажды вечером. Он сделал это объявление настолько небрежно, что Джали потребовалось несколько минут, чтобы осознать, насколько это важно. На самом деле прошло несколько дней, прежде чем он пришел к полному пониманию масштаба приближающегося события. Раджа и рани продолжали говорить об этом очень легкомысленно, но безмятежный воздух Дворца был ощутимо всколыхнут дыханием ожидания.

Однако утром самого великого дня обрушился тяжелый удар. Новость об этом дошла до Джали из уст Мустафы Хассана, Хранителя Гардероба Раджи, который как раз подгонял для него особый костюм по случаю этого визита. Император отменил свой визит! Это было возмутительно! Все приготовления пошли прахом! «Не будет ни ужина! Ни развлечений! Никакого приема вообще!

— Но почему? — воскликнул Джали. — Что случилось?

Толстый перс пожал плечами. — Император таков. Он не умеет себя вести. Тьфу! откуда ему, варвару, понимать древнюю родовитость этой страны? Он…

— Но у него должна быть какая-то причина? Что говорит об этом раджа?

— Раджа, он улыбается! Разве он встревожен? Нет. Нашего раджу нельзя обеспокоить такими людьми. Он улыбается — и рани тоже, она улыбается.

Джали почувствовал негодование за своих хозяина и хозяйку, но, надавив на человека посильнее, узнал, что только что пришли серьезные новости из Агры. Официально

сообщалось, что императорские войска, противостоящие Салиму, потерпели столь катастрофическое поражение, что теперь сам город фактически находится в опасности захвата.

Услышав это, Джали уставился в большое одутловатое лицо Мустафы Хассана с откровенным изумлением. — Так вот оно что? У Акбара нет другой отговорки?

Но сарказм пропал даром для Мустафы, который лишь снова пожал плечами. — Ну, есть еще холера, конечно.

— Она пришла в Даулатпур?

— В Даулатпур? Что вы говорите, принц? Нет, нет! Это было бы ужасно.

— Но она распространяется?

Рука мужчины обвела горизонт. — Повсюду! И плохая — очень плохая, говорят.

— Дурак! — воскликнул про себя Джали, вежливо провожая его к двери.

Немного позже он спустился в маленький обнесенный галереями дворик, где в этот час привык встречаться с рани. Он знал, что она и раджа Бходж, и все их друзья были сторонниками Данияла — не восторженными сторонниками, но склонялись к мнению, что Салим станет более нежелательным Императором. Интересно, подумал он, что рани чувствует по поводу этих новостей? И что скажет раджа Бходж?

Дворик был пуст, но в его теневой части стоял стол, накрытый фруктами и сладостями, что показывало: Лакшми следует ожидать; да и ждать ее пришлось недолго. Она взяла гроздь винограда и, пока он нетерпеливо задавал свои вопросы, продолжала его есть; она слегка улыбалась, прекрасные глаза были устремлены в землю.

— Да, — кивнула она. — Это правда. Поражение имело место.

— Действительно крупное поражение?

— Более крупное, боюсь, чем рассчитывал Акбар.

— Но разве он на что-то рассчитывал?

— Ну, вряд ли он мог спокойно смотреть, как Салима, его старшего сына, разбивает в поле кто-то другой, а не он сам, не так ли?

— О, я об этом не подумал.

— Когда всех его лучших генералов разобьют — а он позаботится об этом, дав им слишком мало людей, — он сам выйдет на поле боя; и тогда Салиму придется поберечься.

Ее ровный голос веселья обладал большим очарованием. Она продолжила: — Один из его генералов как раз приходится мне братом. Он рассказывает мне, что его метод справляться с ситуацией — бежать.

Джали рассмеялся.

— Говорят, Даниял начинает бояться, что его пошлют на передовую, и заявляет, что не пойдет, если его не будет окружать отряд амазонок под командованием твоей тетушки Амбиссы. Кстати, какие последние новости о Хари-хане? Не лучше? Мне так жаль! Должно быть, он недостаточно хорошо себя чувствовал, чтобы увидеть Императора — какая жалость. Если бы он смог присоединиться к нему в молитвах, он мог бы получить помилование на месте! Гуру, должно быть, рад, что все кончилось; не думаю, что ему сильно нравится подобное, хотя это, конечно, перо в его шляпе. — Она оглянулась через плечо, поскольку подходил раджа. На его лице была улыбка, которая казалась Джали немного натянутой.

Поприветствовав юношу, он повернулся к жене. — Боюсь, у тебя выдалось тяжелое утро, дорогая. Нет ничего утомительнее, чем отменять приглашения в последний момент. Я действительно думаю…

— Все сделано — абсолютно все! И гораздо легче, чем ты можешь себе представить. — Она повернулась к Джали со смешинками в глазах. — Сегодня вечером у нас будет чудесная маленькая вечеринка — не больше восьми или девяти человек — и весь Тансен только для нас. Ты когда-нибудь слышал его? Нет? О, тогда тебя ждет трепет. Пение Тансена не похоже ни на чье другое; ведь так, Бходж?

Лицо раджи не отражало безмятежности его жены. — Эти певцы — обидчивые люди, и я могу лишь надеяться, что отсутствие манер у Императора не выбьет Тансена из колеи. Странно, что Акбар неспособен научиться. Двадцать пять лет среди нас…

Лакшми снова прервала его. — О нет! Тансен будет почти так же благодарен, как и я, возможности избежать большого официального приема. Дорогой мой, какое беспокойство — отложить прием нескольких гостей по сравнению с тревогой иметь Императора под своей крышей! — Она повернулась к Джали. — К тому же Акбар всегда пугает меня. Он слишком велик, его глаза блестят слишком сильно, его голос слишком глубок. Кажется, что мой голос становится все выше и визгливее, а мои замечания — все глупее и тоньше каждую минуту, что я нахожусь рядом с ним.

— Что ж, если тебе все равно, — вернул раджа с легкой натянутостью, — то я определенно не имею права жаловаться. Но… — сменив тон на беспристрастную заинтересованность, он снова обратился к Джали… — любопытно, не правда ли, как этим людям словно чего-то недостает, какого-то качества ума или натуры. Или, возможно, будет милосерднее списать это на недостаток традиций — отсутствие всякого культурного фона. Никто из нас никогда не повел бы себя подобным образом. Представьте меня, например, на месте Акбара —

прекрасно зная, что сделаны приготовления для моего развлечения — думаете ли вы, что я… — Он продолжал довольно долго в таком духе, но внимание Джали блуждало. Он восхищался Лакшми, чье самообладание сейчас, как и всегда, было поразительным. То, что она нетерпелива по натуре, он был уверен; что-то подсказывало ему, что она живет в состоянии постоянного напряжения, хотя никогда не подавала прямого знака этому. Никогда он не видел, чтобы она суетилась; пожалуй, именно сама неподвижность ее тела, безмятежность взгляда, безупречный расчет времени как ее движений, так и речи давали ему эту подсказку. Что она не прервет мужа в третий раз, было несомненно, да и ему, разумеется, не пристало обрывать раджу; но как только представилась возможность, он ввел тему эпидемии холеры, спросив, не преувеличил ли Мустафа Хассан.

Ответы раджи были расплывчатыми, но он продолжил успокаивать тревоги Джали, заявив, что округ, в котором оказались его родители, находится очень далеко от опасности. «Это не повлияет на их планы», — сказал он.

— А на ваши? — спросил Джали. — Изменит ли победа Салима или холера как-то ваши планы? — Он имел в виду серию визитов *, которые планировали его хозяева.

Лакшми покачала головой. — Мы выезжаем примерно через месяц, никак не раньше. И это оставляет вам предостаточно времени, чтобы осмотреться и решить, где бы вы хотели остаться после нашего отъезда. Как вы знаете, Дэви и Майя будут только в восторге, если примут вас у себя, или кто-нибудь из других… Вам решать, что вам понравится больше всего.

Джали смущенно опустил глаза. Этот вопрос уже поднимался однажды, поскольку брат раджи, Мохан, уже предложил ему гостеприимство, и тогда он сказал Лакшми, что нет другого дома, куда он хотел бы пойти больше. Действительно, среди всех его новых знакомых не было никого, кого бы он любил сильнее принца Мохана. Но сейчас она не делала прямых намеков на это; а с тех пор он заметил также, что Мохан и его жена, принцесса Дамаянти, не слишком частые гости во Дворце. На самом деле Принцессу он еще ни разу не встречал.

Словно умея читать его мысли, Лакшми продолжила: — Кстати, сегодня вечером вы тоже увидите Дамаянти, и я хочу, чтобы вы обязательно поговорили с ней, ибо уверена, что вы понравитесь друг другу. Они с Моханом живут за городом, знаешь ли, и мне редко удается уговорить их приехать к нам. — С этими словами она встала и, отходя, улыбнулась ему через плечо. — Сегодня вечером, помните! — в Дворике Серебряного Лотоса.

*Примечание переводчика: В оригинале используется слово visits, которое может означать как «визиты» (в значении поездок), так и просто «приемы». Учитывая контекст повествования о придворной жизни и дальнейшие слова героини об осмотре окрестностей перед отъездом, здесь подразумевается серия запланированных выездов или путешествий хозяев.

II

По пути в свои покои Джали был так глубоко поглощен мыслями о предстоящем приеме, что действительно заблудился. Для него было отнюдь не редкостью покидать общество Лакшми в некотором одурманивании. Она производила — подобно большой высоте — воодушевление, перехватывание дыхания и легкое, неопределимое чувство напряжения. Но на этот раз, вместо того чтобы оглядываться назад, проверяя, соответствовал ли он должному уровню, он устремлял свои мысли вперед — нетерпеливо, но не без трепета.

И тем временем он сбился с пути. Он забрел в часть Дворца, которая была ему совершенно неизвестна. Конечно, здесь там и тут стояли слуги, но от великого стыда он не мог к ним обратиться. Что они подумают о молодом человеке, который заблудился в путешествии, которое он уже совершал двадцать раз или более? Он брел дальше с напускным беззаботным видом, когда где-то совсем рядом раздался звонкий голос ребенка. Он прислушался и улыбнулся; этот голос был настолько непосредственным, таким совершенно свободным!

Свернув в темный узкий проход слева, он почти сразу же вышел в больший, но менее величественный дворик, чем те, которые остались позади. Это был, по сути дела, маленький замкнутый сад, ибо в нем были деревья, кусты и цветы, а посреди лужайки находился бассейн неправильной формы. В нескольких футах от этого бассейна стояло животное такого вида, какого он никогда прежде не видел. Его округлая форма и щедрые пропорции (оно возвышалось над землей примерно на четыре фута), его густая, тонкая шерсть, черная в одних местах и белая в других, его умная морда и добродушное выражение делали его необычайно привлекательным существом. В данный момент оно вопросительно поглядывало на хорошенькую маленькую девочку, которая толкала его изо всех сил, обеими руками упираясь в его круп. Животное простым процессом легкого отклонения назад оказывало совершенно успешное сопротивление; но время от времени — из очевидного желания угодить — оно уступало несколько шагов.

Когда девочка увидела идущего через траву Джали, она вежливо прекратила толкать и приготовилась уделить ему внимание. Издалека он принял ее за дочь одного из садовников или конюхов, так как ее платье было очень простым и далеко не чистым. Но при ближайшем рассмотрении он засомневался.

— Скажи мне, кто ты, — сказал он, улыбаясь. — Я Савитри. — А кто такая Савитри? Она посмотрела ему в лицо с очаровательной насмешливостью. — Савитри есть Савитри. — Ну, даже я могу рассказать тебе о себе немного больше. Савитри — это маленькая девочка шести лет, которая… — Почти восьми. — Которая имеет необыкновенно милое животное, которое… — Оно не мое, и хотя оно милое, оно очень упрямое. — Чего ты хочешь от него добиться? — Я хочу затащить его в бассейн, чтобы помыть. От него очень пахнет. Ему нужна ванна. — Она заколебалась. — Вы не возражаете помочь мне толкать?

Джали уже заметил, что существу требуется мытье. — Разве мы не можем выманить его к фонтану? — предложил он. — Я уже пробовала. Я положила на край побеги бамбука, а затем, когда он подошел и начал их есть, я столкнула его в воду — только задние лапы; и он тут же выбрался и ушел. — Разве мы не можем попробовать снова? Она покачала головой. — Бесполезно. Он слишком умен. Он догадывается, что произойдет.

Джали не мог оторвать глаз от ее изысканного маленького личика; она была самым очаровательным ребенком, которого он когда-либо видел. — Разве вам не хочется узнать, кто я такой? — предпринял он попытку. Она разгадала уловку и рассмеялась. — Нет, не особенно. Почему вы так сильно хотите знать, кто я? — Я правда не знаю. — Я вижу, какой вы. Вы видите, какая я. — Она сделала паузу, а затем, указывая на животное, которое повернуло голову и смотрело на них, — И оно видит, какие мы оба.

Джали рассмеялся, и тут его осенила идея. — Вот что! Если вы скажете мне, кто вы, я помогу вам толкать. — Моя мать Дамаянти, а мой отец Мохан, и я живу в Хава-Гхар. — Ах! — Он остановился, изучая ее с еще большим интересом. — А теперь толкайте! — сказала Савитри. — Сию минуту. Сначала скажите мне, хорошо ли в Хава-Гхар? — Да. Очень. — И когда вы собираетесь обратно? — Завтра, слава богу.

Джали рассмеялся. — Почему? Разве вам не нравится ваша тетушка Лакшми? Разве вам не нравится быть здесь? — Тетушка Лакшми ужасно добра. — Впервые она проявила легкую неловкость. — Она всегда придумывает что-нибудь вроде этого, — и она ткнула животное босой ногой, — чтобы развлечь меня. Но дома мне нравится гораздо больше — намного, намного больше. — А теперь толкайте!

Это нужно было сделать, и Джали постарался на славу. Он толкал изо всех своих сил, хотя втайне был убежден, что существо могло и будет — либо просто своим весом, либо хитростью — превосходить их. И, ни на мгновение не теряя своей мягкой, достойной любезности, оно так и сделало.

Вернувшись в свои покои, Джали взял книгу, но, как бы он ни старался, не мог удержать мысли от блужданий. Встреча с Савитри направила их более определенно в сторону принцессы Дамаянти. Поискав в памяти подсказки, он отметил, что в случайных упоминаниях Лакшми о ней всегда сквозил легкий намек на то, что она и Мохан забавно и эксцентрично держатся особняком. Всякий раз, когда Лакшми и ее друзья — те близкие друзья, которые постоянно входили во Дворец и выходили из него, — упоминали эту пару, мягко-ироническая нота, столь характерная для их бесед, звучала чуть отчетливее обычного. Что это значило? В компании, где избегали акцентов, это могло означать очень многое. Но, с другой стороны, здесь обращали внимание даже на самые незначительные причуды, так что это могло почти ничего не значить.

Остальной день прошел медленно. Слова Лакшми напомнили ему, что его приятное существование не будет длиться вечно. Нет! Это лишь интерлюдия. И нигде больше и никогда он не испытает именно этого чувства привилегированного уединения. С момента

входа через тяжелые дворцовые ворота он был вознесен над всей суетой, трением и заботами обычной человеческой жизни.

Он ждал вечера с нетерпением, но когда пришло время одеваться, случилось досадное происшествие: у него пошла носом кровь. Напрасно он перепробовал все средства; кровотечение было упорным, и в конце концов ему пришлось отправить записку хозяйке дома, сообщая, что он опоздает. Его раздражение по поводу этой неудачи усугублялось еще и слугами, которые расписывали чудеса вечеринки, которую он пропускал. «Тансен, величайший певец всех времен, собирался исполнить "Лунную песню", которая была сочинена десять лет назад в этот самый день Бирбалом, пока тот наблюдал восход луны в этом самом дворе».

Два часа Джали томился в постыдной бездеятельности; затем кровотечение внезапно прекратилось. Он выглянул в окно. Луна еще не взошла! Он еще успеет застать магию, вдохновившую Бирбала.

В сопровождении одного слуги впереди, показывающего дорогу, и другого позади, он тронулся в путь. Пройдя несколько коридоров и галереи одного-двух дворов, которые он уже знал, он вошел в незнакомое крыло и вскоре подошел к двери, перед которой стоял стражник. Он собирался войти в личные апартаменты рани. Эта часть Дворца была особенно роскошной; проявленный вкус казался ему очень хорошим; и тем не менее общее впечатление показалось ему скорее холодным.

К его удивлению, теперь ему пришлось подняться на несколько лестничных пролетов, и наконец его проводник остановился перед небольшой дверью, обитой листами слоновой кости, в центре которой был инкрустирован серебряный цветок лотоса. Дверь тихо открыли для него его сопровождающие, которые затем отступили в сторону, чтобы пропустить его одного. Перед ним был короткий темный проход, в конце которого мерцало ночное небо. Три-четыре шага вывели его на балкон, нависавший над большим двором. Это был двор такого рода, какого он прежде не видел: дальний конец был открыт; так что глаз, пройдя долгий отрезок мрамора, терялся в голубых пустотах за его пределами. В полумраке балкона фигуры его товарищей-гостей были едва различимы. Они сидели в молчании, и этому нашлось объяснение, когда вдруг снизу поднялся мягкий, сладкий голос, который, казалось, не принадлежал ни мужчине, ни женщине, и заполнил ночь. По его спине пробежала дрожь; он прислонился к колонне и закрыл глаза.

Какое-то время голос поднимался и падал без сопровождения; затем с предельной тихостью к нему присоединились несколько струнных инструментов и маленькие барабаны. Создавался мягкий, тонкий узор звука, сложность которого была странной и волнующей; затем певец снова продолжил один.

Когда Джали открыл глаза, он заметил, что горизонт начинает очерчиваться. Далеко за бледной террасой и темными далями, простирающимися под ней, разгорался свет. Он нарастал, открывая огромные пространства неба. Затем появился край луны. Огромный

золотой диск вставал прямо напротив, посылая свои лучи вдоль пруда с лотосами, тянувшегося по всей длине двора. Белые цветы лотоса, стоявшие над водой, отбрасывали на нее свои тени. Белизна цветов, тьма теней, блеск воды — вот тому узору, которому вторил узор музыки Тансена.

Когда песня закончилась, некоторое время длилась тишина. Затем раздался шепот, и Лакшми, повернув голову, поманила его к себе улыбкой. — Вы пришли как раз вовремя. Я так рада. Где вы сядете? Это Дэви, хотя вы можете не узнать ее в этом головном уборе. Мы все нарядились — как видите — словно Император здесь. Такой хороший план — поистине грандиозный прием, но только для нас самих.

Джали сел рядом с рани Дэви. Она сверкала драгоценностями; действительно, вся компания, мужчины и женщины, искрилась при каждом движении; но лунный свет делал все камни, кроме бриллиантов, темными, а цвета муслина и шелка тоже терялись. Лакшми сидела в серебряном кресле. Оно было древним, монгольским, редчайшим, как однажды упомянул раджа, из всех его владений. Подобным владел только Далай-лама.

После короткой паузы кто-то внизу хлопнул в ладоши, требуя тишины, и вновь зазвучал странный голос. Но на этот раз, страшась того момента, когда песня закончится и станет необходимо поддерживать разговор, Джали сдержал свой порыв и намеренно огляделся. Двор был террасирован очень широкими, мелкими ступенями, спускавшимися к длинному пруду в центре. По обеим сторонам стены были лишены окон и почти лишены украшений. Балкон, напротив, был богато вырезан. Белый мрамор и слоновая кость были сработаны вместе с инкрустацией из какого-то камня, который был темным, но имел кристаллический блеск в лунном свете.

Из восьми человек, собравшихся на балконе, двоих было трудно разглядеть, и, как назло, одной из этих была принцесса Дамаянти. На нее падала тень колонны, и вдобавок она была отвернута от него. Стройная рука, прекрасная ступня и лодыжка — вот все, что он мог видеть достаточно четко, но они помогли ему составить картину ее образа — образ быстроты, легкости и непосредственности. «Да, такой должна быть мать Савитри!» — подумал он. — «И такая же быстрая, нетерпеливая манера речи». Принцесса разговаривала с мужем Дэви, раджей Нараяном, человеком, который был склонен вызывать у Джали неприязнь. «Неужели ей может нравиться разговаривать с Нараяном?» — спросил он себя, и ему показалось чрезвычайно важным, чтобы это было не так.

Пропев еще две-три песни, Тансен встал и со своими музыкантами вышел на всеобщее обозрение. Там они мгновение постояли в тишине, затем трижды поклонились и удалились.

— Забавный маленький человечек! — заметила рани Дэви своим небрежным тоном. — Он всегда такой. Он не придет и не станет дружелюбным. Но, в конце концов, почему он должен? Если мы ему не нравимся… — И она пожала плечами.

Все согласились, что Тансен никогда не пел лучше. — Конечно, — воскликнула рани Майя, — он в лучшей форме здесь, где обстановка так совершенна.

Джали переместился к говорившей (тем самым сделав шаг ближе к Дамаянти). Это была красивая, томная молодая женщина, чей голос и манеры приятно контрастировали с манерами рани Дэви. Наклонившись к нему с легким покачиванием головы, она сказала: — Боюсь, бедняжка Лакшми мучается сегодня одной из своих мигреней. Разве это не слишком грустно!

— Разве у нее бывают головные боли? Рани Майя удивленно посмотрела на него. — Самые ужасные мигрени! Они мучают ее с тех пор, как случилась та история с ее братом. — И затем, видя его замешательство, она продолжила описывать, как принц Акаш, пристрастившийся к гашишу, временами становился очень буйным и однажды сбросил сестру с лестницы. Джали был в ужасе. — О да! Так или иначе, у нее была, знаете ли, поистине трагическая жизнь — столько несчастья. Джали вопросительно посмотрел на нее. Странно, размышлял он, насколько ему совершенно не хватает дара добывать информацию. — Пожалуйста, расскажите мне, — сказал он. — Я ничего не знаю. Рани вздохнула. — Ну, для начала, есть ее мать… — Ее мать? — Да. Рани Индрами, которая живет здесь вместе с ними, вы же знаете… — В этом Дворце? — Да. И она совсем безумна. Готова поспорить, вы слышали ее… Она подражает крикам павлинов — и крокодила. Лакшми боялась, что она может настоять на том, чтобы быть здесь сегодня вечером. Очень часто она ведет себя вполне разумно весь вечер до самого конца, а потом говорит или делает что-то ужасное. Это очень тяжело — тяжело и для бедняги Бходжа тоже. Джали потерял дар речи от изумления. «Подумать только, я все это время пробыл здесь, и тем не менее… Но пожалуйста, расскажите мне больше». — Мужество Лакшми поразительно. На ее месте я бы чувствовала, что боги затаили на меня обиду. Двое ее братьев внезапно погибли в несчастных случаях, а затем — ну что ж, ни один год не проходит без того, чтобы она не потеряла одного из своих ближайших друзей. Полагаю, следующим уйдет Ранждир. — Раджа Ранждир? — воскликнул Джали. — Но почему? Он бросил взгляд на раджу, который прислонился к колонне напротив. На его красивом лице играла улыбка, когда он наклонился вперед, разговаривая с Лакшми. Но теперь снова, как и прежде, Джали показалось, что дух раджи находится где-то далеко. Его вопрос остался без ответа, потому что в этот момент произошло общее движение. Джали приветствовал его, ибо теперь, несомненно, Лакшми не упустит возможности представить его Дамаянти. Но она ничего не сделала, и прежде чем он успел набраться смелости взять дело в свои руки, Ранждир уселся рядом с Дамаянти, и сделать было уже нечего.

Для Джали вечеринка теперь стала невыносимо утомительной. Раджа Нараян был великим болтуном с неиссякаемым запасом сплетен. Ему было неважно, что рассвет уже недалек, и что Лакшми уже довольно давно выглядела очень уставшей. Или, справедливости ради стоит отметить, он догадывался, что хозяйка дома способна вынести что угодно лучше, чем слишком раннее завершение ее приема. Как бы то ни было, поток его мелких недобрых

анекдотов продолжался и продолжался, и пока Джали слушал его, неприязнь росла и переливалась на мир, частью которого являлся этот человек. Еще в юности, размышлял он, этот крупный, дородный малый был достаточно проницателен, чтобы заподозрить: хорошее происхождение, хороший пищеварительный тракт и легкая, пусть и несколько высокомерная манера поведения могут надежно принести ему все, чего он хочет. И мир доказал его правоту.

Чуть позже, когда рани Майя предприняла робкую попытку попрощаться, сердце Джали подпрыгнуло, но он не учел Лакшми. Чудесным образом стряхнув всякие признаки усталости, она умоляла гостей еще не уходить. Это дало Нараяну новую возможность, которой он не замедлил воспользоваться.

Но вслед за Майей поднялась и Дамаянти, и теперь юноша увидел, как она направляется к узкому лестничному пролету, который, очевидно, вел вниз во двор. Эти ступени ускользнули от его внимания, и ему никогда не приходило в голову, что двор находится в пределах его досягаемости. Пруд с лотосами внизу казался принадлежащим совершенно недоступному миру. С нетерпением и восторгом он вскочил и пошел за ней; он следовал за ней прямо до края пруда.

Лилии и лотосы, тонкие травы и спокойная вода — какой чудесный, маленький, обособленный мир лежал там в трансе! Опустившись на колени, он склонился к цветам лотоса, которые, балансируя на тонких стеблях в трех дюймах над поверхностью, ловили лунный свет на восковой белизне своих чаш. Они сияли, словно лампы из алебастра, их кристаллическая текстура становилась видна там, где луна скользила по изгибам лепестков. Глядеть вдоль всей длины пруда с этого уровня означало блуждать в миниатюрном лесу огромных цветов. У него были прогалины и аллеи, по стеклянному полу которых скользящие насекомые плели замысловатый танец. Крошечными были рябь, которую они создавали, но порой глубокая волна пробегала по воде, выдавая скрытое движение рыбы.

Когда он снова встал на ноги, Дамаянти там уже не было. Он на мгновение пришел в смятение, пока не увидел ее стоящей в конце двора, где тот нависал над голубыми просторами ночи. Он последовал за ней снова и, облокотившись на балюстраду рядом с ней, посмотрел вниз на плоские крыши города, тусклые под косыми завесами молочного дыма. Она повернула голову и подарила ему улыбку, но молчание между ними осталось нерушимым, да и сам он не чувствовал необходимости говорить.

— Последний раз, когда я была здесь, — сказала она наконец, — случилось такое странное событие. Рыба вдруг выпрыгнула из пруда и билась о край бортика. Она билась, затем лежала неподвижно, затем билась снова. И через мгновение большая тяжелая птица проплыла по небу над этой крышей. Она опустилась на землю возле рыбы, подобрала ее и проглотила. Затем она снова поднялась на своих больших рваных крыльях и тяжело полетела обратно над крышей.

Пока она говорила, Джали смотрел на нее со вниманием глубоким, но отстраненным. — Да, это определенно было очень странно. Должно быть, казалось, будто рыба… — Назначила свидание птице. Именно так и казалось.

Они оба рассмеялись, и тут вдруг Джали охватила застенчивость. Они выпрямились и стояли, глядя друг на друга. Теперь молодой человек отвернул голову. Ему отчаянно хотелось увидеть, какая она на самом деле, но лунный свет, хотя и сильный, не раскрывал ничего из того, что ему больше всего хотелось видеть. Он обезличивал ее; он лишал ее всех естественных красок жизни. Выражение ее лица было неразличимо, даже черты были скрыты.

— Пора Мохану и мне идти, — сказала она и начала возвращаться через двор. — Нам нужно завтра утром пораньше выехать в Хава-Гхар.

Джали почувствовал острое разочарование. «Подождите минуту!» — хотелось ему воскликнуть; но что он сказал бы после этого, он понятия не имел. В беспомощном молчании он двинулся рядом с ней.

— Вы ведь знаете Гуру, не так ли? — Она говорила почти так, словно думала вслух. — Я надеялась, что сегодня вечером он будет здесь.

Он воспринял эти слова как открытие двери, но также чувствовал себя бессильным переступить через нее. Пока он подыскивал какой-то пустой, заикающийся ответ, они дошли до ступеней балкона. Бросив взгляд вверх, он увидел, что все уже поднимаются. Вечеринка расходилась; вечер был окончен.

III

То, что рани Майя рассказала ему о Лакшми, наполнило разум Джали удивлением и во многом увеличило его восхищение ею. То, что она очаровательная, умная и культурная женщина, мог видеть каждый, но кто бы мог догадаться, что она настолько больше [этой видимости]? Она производила впечатление человека, всегда жившего с беззаботной легкостью, и те немногие намеки на прошлые невзгоды, которые она позволяла себе обронить, были настолько легкими, что скорее маскировали, чем раскрывали масштаб ее несчастий. Он был благодарен рани Майе за то, что та пролила свет на ее злосчастную жизнь.

День или два после приема она оставалась в своем крыле Дворца, и он узнал от раджи, что она страдает от постоянной головной боли. Лишенный ежедневных бесед, он начал чувствовать, что время тянется мучительно долго.

С потрясением удовольствия он наткнулся на нее однажды утром снова на ее обычном месте. Дворик был залит прохладным, ясным солнцем, которое напомнило ему их первую встречу. Ее голубые глаза тоже были наполнены той же мечтательной пустотой, белые голуби ворковали, а фонтан журчал как прежде, и тот же аромат роз и жасмина висел в неподвижном воздухе.

Был, однако, один конкретный момент, в котором сцена была совершенно иной. В своей одежде она задала незнакомую ноту. На ней было простое сари из желтого муслина, а браслеты и сандалии отличались простотой под стать. Она могла быть любой маленькой домохозяйкой, вышедшей за утренними покупками.

— И именно это я собираюсь сделать, — сказала она, когда он отпустил свой смеющийся комментарий. — Время от времени я спускаюсь на базар и брожу там, находя новых друзей. Я просто обожаю это. — Знаете, — и она сделала маленький жест, охватывающий все вокруг, — знаете, так устаешь от своего собственного маленького уголка в жизни! Другие окрестности, другие люди иногда бывают таким облегчением.

Джали кивнул.

— Так что я иду вниз на базар, и я хочу, чтобы вы встретились со мной там. — Теперь она наклонилась вперед и весело улыбалась ему. — Мы побродим часок-другой и по-настоящему повеселимся. В этом платье я могу пойти куда угодно, и никто меня не узнает. Приходите к торговцу фруктами Раме Теджу на углу. Его жена — моя особая подруга — и до сих пор не имеет ни малейшего представления о том, кто я!

В назначенный час Джали прибыл. Он тоже надел скромную одежду по случаю, но Рама Тедж, очевидно, получил указание высматривать его, ибо он бросился вперед, улыбаясь и кланяясь, и потирая руки. — Мой господин! — воскликнул он громким, конфиденциальным шепотом: — Мой господин, рани здесь! Да, свет ее присутствия сияет в моем доме! — И он указал на свои собственные частные покои позади лавки.

— Но я думал, вы не знаете, кто она.

— О, я знаю — но не моя жена. Моя жена — инвалид; она никогда не выходит из своей комнаты. Она недоумевает: «Кто эта добрая леди, которая приходит ко мне?» Но однажды она узнает — и тогда — какой сюрприз, какая радость! Слава об этом распространится повсюду. И все, кто услышит, скажут: «Разве это не похоже на нашу рани!»

Он был очаровательным маленьким человеком, подумал Джали, такой круглый и гладкий, что выглядел как одна из его тыкв. Повсюду лежали овощи и фрукты всех видов, посылая сладкий деревенский запах в воздух. Пока они болтали вместе, вышла Лакшми. — Теперь будьте осторожны! — предостерегла она Раму Теджа, когда тот поспешил к ней. — Вы должны обращаться со мной как со всеми остальными, иначе ваши соседи начнут подозревать.

— Какие милые все эти люди! — продолжала она, пока они бродили вниз по базару. — Большая ошибка думать, что нужно выглядеть величественно, чтобы с тобой обращались любезно. Если вы показываете людям, что они вам нравятся и вы считаете их честными — что ж, тогда они становятся тем, что вы думаете. Однажды, идя вот так, я вдруг заметила, что случайно оставила на себе жемчужное ожерелье, и когда я стала его снимать, нить порвалась. Мой ювелир был на другом конце города, а я торопилась, поэтому я просто отдала жемчуг проходившему мимо водоносу и сказала: «Отнесешь это ювелиру Такху за меня? Он поймет, чье это жемчужное ожерелье, и даст тебе несколько пайс за труды». И конечно, через двадцать минут жемчуг был уже там.

Джали улыбнулся и кивнул, но в следующий момент его осенила мысль, и он сказал: — Но что случилось бы с этим человеком, если бы он не…?

Ответа не последовало, ибо в этот самый миг, дабы избежать узнавания, Лакшми пришлось нырнуть в лавку. В странном нагромождении вещей, выставленных на продажу здесь, он заметил игрушки, и его мысли обратились к Савитри. Оглянувшись на Лакшми, он воскликнул: — Кстати, я еще не рассказал вам о своем приключении во Дворце на днях. — И он описал встречу.

Она слушала с далекой улыбкой, и у него сложилось впечатление, что он говорил с оживлением, которое она считала довольно глупым. — Для девочки такого возраста, — заключил он полушутливо-полусмущенно, — она показалась мне совершенно очаровательной.

Выражение лица Лакшми внезапно полностью изменилось. — Да, разве она не восхитительна! — Ее голос вибрировал от энтузиазма. — Милая маленькая Савитри! Хотелось бы, чтобы она чаще приезжала к нам. Эта восхитительная естественность! Это отсутствие самосознания! Сердце сжимается при мысли, что мало-помалу оно сотрется. — Она вздохнула и остановилась, глядя на него широко открытыми грустными глазами. — Знаете, всем женщинам, думаю, присуща своего рода ностальгия по детству.

После этого на несколько минут ее охватила какая-то печаль, но внезапно облако рассеялось, и на обратном пути вместе в ее паланкине она стала необычайно веселой. Они болтали и смеялись в такой близости, которую он с каждым мгновением находил все более восхитительной. И когда они добрались домой, она попросила его помочь составить компанию — небольшую и интимную вечеринку по случаю дня рождения рани Майи. — Мы позовем Гуру, — сказала она. — Не знаю, отчего мы не приглашали его сюда в последнее время. Обычно он приходит довольно часто. Так, дайте подумать, мы пригласим…

Сидеть с ней над списком имен было очень забавно, потому что она могла сказать что-нибудь остроумное о каждом. Время от времени он делал предложение, но только для того, чтобы привлечь к себе взгляды, полные притворного ужаса. — Ананда Сингх с Дэви! — дорогой мой, комната превратилась бы в бойню. Разве вы не знаете…? — И история,

следовавшая за этим, всегда была невероятно смешной. Увидев, что пандит Махк Мурри значится в списке как почетный гость города, он очень хотел, чтобы Пандит был приглашен. — Нет, не на эту вечеринку, — твердо ответила Лакшми, — потому что у нас уже есть Гуру и пандит Лал Мехта. Это должна быть вечеринка, вы должны помнить, а не конференция. Фактически, если у нас будет Гуру, нам следует также, я думаю, иметь Нараяна для равновесия. Вы понимаете, что я имею в виду?

С раджой Бходжем Джали теперь тоже находился в отношениях лестной близости, и раджа, подобно Лакшми, вырос в его уважении. Тонкость натуры он всегда ему приписывал; теперь он понял, что ограничения раджи были гораздо менее сковывающими, чем он предполагал вначале. Они не мешали ему тонко разбираться в людях и проявлять немалую проницательность в отношениях с ближними своими. Иногда, действительно, Джали ловил себя на мысли, не является ли его хозяин скорее циничным. Например: — Мы, правящий класс, — однажды с улыбкой заметил раджа, — владеем искусством незаметно сохранять твердую хватку за свое. Часто возможно сохранить суть, отдав тень.

Его цинизм, однако, — если это был цинизм, — не мешал радже Бходжу быть добросовестным и, судя по всему, разумным правителем. Несомненно, у него было острое чувство ответственности, связанной с его положением. — Править, — говорил он, — это больше, чем призвание, это одаренность. — И он убеждал Джали, что он и рани проявляют одаренности, которые редки, поскольку принадлежат исключительно правящему классу.

Он настаивал на этом настолько упорно, что Джали пришлось согласиться. — Да, — говорил он, — да, я понимаю! Но он также видел (не считая нужным говорить об этом), что в обмен на то, что они делали и чем являлись, Бходж и Лакшми получали награды, которыми отнюдь не следовало пренебрегать. Он думал не о великом богатстве раджи (которое, в конце концов, было лишь удобством) и не почестях, полагающихся по рангу (ибо те оставались довольно утомительными даже когда к ним хорошо привыкаешь); у него на уме были глубокая самоценность, глубокое чувство собственной внутренней значимости, которые сопровождали образ мыслей раджи. Все это молодой человек считал поистине завидными благословениями, и дошел до того, что задумался, не мог бы и он сам стать прекрасным правителем. Впервые в жизни он предавался грезам наяву, в которых воображал себя занимающим трон своего отца и доказывающим миру, что он уступает никому — даже самому Бходжу! — в благожелательной мудрости. И его избранная рани ни в коем случае не должна была уступать в каких-либо из граций Лакшми.

В течение дня, однако, его мысли 1 от одного образа мышления к другому полдюжины раз. Ибо эти мечты шли вразрез с другим течением чувств, и чем усерднее он пытался отождествить себя с новыми друзьями, тем дальше был от обретения внутреннего покоя. Иногда, думая о доме, он представлял себе, как поражает отца и мать своим новообретенным знанием мира; но бывали и другие времена — и они становились все

чаще, — когда, мысленно перенося отца и мать в Даулатпур, он смотрел на Дворец их глазами. И результат был обескураживающим.

Да и этим не исчерпывался весь конфликт внутри него. В течение всех этих дней в глубине его сознания жило яркое воспоминание о лощине Гуру. Его визиты туда, всегда короткие, становились все реже. По правде говоря, он обнаружил, что ему некомфортно переходить от атмосферы Дворца к атмосфере лощины и обратно. Настроив свой ум на Дворец, он шел в лощину неохотно, сознавая, что собирается дать ложную картину самого себя; а вернувшись во Дворец, чувствовал себя неловко и даже чужеродно, пока действие лощины не проходило. Его раздражало, озадачивало и тревожило то, что Лакшми, питая к Гуру большую привязанность и уважение, не отводила ему никакого особого места в своем почтении. Когда он говорил с ней о Гуру (что делал редко), она склонна была проявлять легкомыслие, которое злило его. С другой стороны, в разговоре с самим Гуру он сам был склонен напускать на себя важность или демонстрировать юмористически разочарованное отношение к жизни, заимствованное у Лакшми.

Однажды утром, направляясь верхом в лощину, он заметил несколько столбов дыма, поднимавшихся от деревни примерно в трех милях отсюда. Конюх, ехавший с ним, сказал, что это поселение неприкасаемых, и согласился, что судя по всему деревню подожгли намеренно; однако добавил, что мерзкие твари, живущие там, несомненно, заслужили свое наказание сполна. Джали ничего не ответил, но, продолжая ехать, встревожился. Гуру недавно говорил о суровом обращении, которому подвергается этот народ со стороны соседей более высокого происхождения, причем последние, по-видимому, время от времени испытывали необъяснимое желание причинить боль.

Через несколько мгновений он сказал: — Я поеду посмотреть, что там делается.

Конюх удивился. Тоном человека, увещевающего ребенка, он ответил: — Мой господин! Это деревня неприкасаемых! Вид ее только оскорбит ваше сострадательное око.

Джали вспыхнул внезапным гневом. — Следуй за мной! Я еду посмотреть, что происходит.

В конюхе проснулся дух противоречия. — Я не могу ослушаться ваших приказов, мой господин, но в той деревне нас ждет осквернение. И, как говорится…

— Довольно! — воскликнул Джали. — Твое дело следовать за мной. — И с этими словами он свернул с тропы, взяв прямой курс на деревню, не обращая внимания на посевы.

— Мой господин! Мой господин! — воскликнул конюх голосом смятения.

Джали ехал вперед, но его гнев, быстро вспыхнувший, так же быстро утих. Теперь он увидел, что впереди ждут неприятности, ибо навстречу ему уже бежали несколько крестьян с протестующими криками. Заметив, однако, что перед ними лицо значительное, они остановились, и их протесты стихли. Но это ничуть не заставило Джали почувствовать

большее довольство собой; он поманил их к себе и бросил на землю несколько монет. Увидев, что ущерб их посевам щедро возмещен, люди сменили тон; теперь они подступили вперед с подобострастными улыбками. «Да, деревню подожгли. Мерзких изгоев хорошенько избили. Это послужит им уроком».

— Что они сделали, чтобы заслужить наказание?

Мужчины переглянулись. Никто не знал. Наконец представитель сказал: — Не мы, а жители Манабада были ими оскорблены. А наказанием занимались люди из Танамана.

— Почему они?

— Люди из Танамана — магометане. Их не смущает осквернение.

Джали молчал. Круг ухмыляющихся пустых лиц наполнил его чувством тщетности. Внезапно кто-то указал на одинокую фигуру, мотыжившую поле в соседнем владении. — Это Паната из Манабада. Паната знает, почему неприкасаемых били. Эй! Паната! Паната! — И из десятка глоток вырвался громкий крик.

Паната, вздрогнув, подошел с видом собаки, ожидающей палки.

— Скажи мне, — сказал Джали, — какие обиды вы, люди из Манабада, имеете против тех неприкасаемых?

Человек рассмеялся, обернулся, уставившись на горящую деревню, и снова рассмеялся.

— Разве у вас вообще есть какая-нибудь обида? — настаивал Джали.

— О да, махараджа, конечно, у нас есть обида. Зачем еще нам было бы их наказывать?

Наступила тишина. Мужчины переглядывались; они видели, что махараджа раздражён и что-то должно быть сделано. Поэтому они обступили Панату, и поднялся громкий спор. Через минуту вперёд выступил представитель с лицом, сияющим готовностью услужить. — Эти псы опять осквернили ручей. Они под покровом темноты пробираются туда за водой. Вот почему их наказывают. И поделом им!

Ответ Джали был взглядом усталого отвращения. Он почти не сомневался, что колодец в деревне пересох. Но какой смысл спорить? Ему пришло в голову повернуть обратно к тропе и продолжить путь без дальнейших проволочек.

Заметив его нерешительность, конюх теперь заговорил самодовольным голосом: — Мой господин удовлетворён, я надеюсь? Соблаговолит ли он вернуться на правильную дорогу?

Не отвечая, Джали дёрнул поводья и поехал дальше, пока не достиг деревни. Сгорели лишь несколько хижин — остальные уцелели благодаря отсутствию ветра. Но грязь, убожество и нищета были за пределами воображения. Перед этими жалкими жилищами стояли мужчины, женщины и дети, апатичные и безжизненные; было очевидно, что у них не

осталось духа продолжать жить. Проезжая мимо них, он добрался до группы людей, где, казалось, происходило нечто важное, и, заглянув поверх голов толпы, увидел маленького старика, стоявшего на коленях рядом с одним из избитых. На спине пострадавшего виднелись ужасные рваные раны, а другие в таком же положении сидели поблизости, ожидая своей очереди на лечение.

Желая помочь, но не зная, как поступить, Джали молча наблюдал и вскоре испытал потрясение — смешанное с ужасом. Когда человек, стоявший на коленях, протянул руку, его разорванная одежда соскользнула, обнажив рубцы, ещё не обработанные, которые были едва менее серьёзными, чем те, что он лечил. Только когда этот человек поднял взгляд, чтобы подозвать следующего пациента, Джали узнал в нём Гуру.

Спустя пару часов, когда с помощью Джали Гуру завершил свою работу, оба присели отдохнуть в тени одной из хижин. Джали уже обработал, что мог, раны на спине Гуру, но этого было мало; и он дивился стоицизму старика.

Стоял полдень. Со всех сторон поднимались отвратительные запахи, воздух был полон мух. Видя, что его спутник погрузился в раздумья, Джали хранил молчание; про себя он надеялся, что Гуру скоро предложит отправиться в лощину, где можно будет омыться и утолить жажду.

Затем Гуру начал объяснять, что у него на уме. Как только станет известно в окрестных деревнях, что его избили магометане Танамана, возникнут неприятности. Грозили репрессии и ответные удары; и всё это из-за того, что на самом деле было не более чем ошибкой: люди из Танамана вовсе не были настроены против него враждебно; они просто были довольно вспыльчивы.

«Что-то нужно сделать», — заключил Гуру с печальной улыбкой, — «иначе придворные снова скажут, что я приношу больше вреда, чем пользы. Думаю, вы должны одолжить мне одну из ваших лошадей. Мне придется, не теряя времени, посетить деревни и дать свои объяснения. Это единственный способ предотвратить неприятности».

«Но…» — начал Джали и замолчал, потому что тот уже с трудом поднимался на ноги.

Джали встал и посмотрел на Гуру с удивлением. «Я бы хотел поехать с вами», — сказал он.

Поездка продолжалась весь день. К счастью, деревни находились недалеко друг от друга, так что время от времени можно было укрыться от солнца; но для Гуру, который вёл беседы с жителями, остановки не приносили отдыха. Джали следовал за ним, и по мере наблюдения его изумление росло.

Когда наконец настало время прощаться, солнце уже близилось к закату. Гуру остановился неподалёку от небольшого холма, на котором росла группа деревьев — высокие тонкие акации, очень заметные на этом безлесном ландшафте — примерно в двух милях от деревни неприкасаемых и на таком же расстоянии от лощины. Спешившись, он передал поводья Джали, сказав, что отсюда пойдёт домой пешком. Сначала Джали запротестовал, не понимая, почему его спутник не желает воспользоваться лошадью до конца пути. Но Гуру был непреклонен. — Уже поздно. А во Дворце будут гадать, куда вы пропали. Когда вернётесь, постарайтесь говорить о сегодняшних событиях как можно меньше. В подобных случаях лучше поменьше болтать.

На этих словах они расстались, и Джали, оставаясь сидеть верхом на лошади, смотрел вслед маленькой фигуре, хромающей к группе деревьев. Солнце заливало равнину низким красным светом; оно окрасило грязную, рваную одежду Гуру и вытянуло его тень по насыщенно-коричневой земле. Две или три минуты Джали следил за ним взглядом, полным глубокой задумчивости. Затем он развернул коня в сторону города и двинулся. Совсем недавно Гуру говорил ему, что час заката — его час молитвы, и что некоторые места, по его мнению, обладают особенно благотворным влиянием. Так вот почему Гуру спешился, почему он желал остаться один и почему направился к этой одинокой роще.

Печально ехал Джали дальше. Во всём широком пейзаже не было видно ни одного человека, поскольку крестьяне вернулись в свои деревни. Город Даулатпур с дворцом, возвышающимся посередине, выделялся тёмным силуэтом на светящемся зелёном небе севера. Пустынный пейзаж, подумал Джали, и час, в который легко почувствовать себя покинутым; но мысленным взором он видел, как Гуру идет к месту своей молитвы, и был совершенно уверен, что он не чувствует себя покинутым.

IV

В ту ночь Джали спал плохо и проснулся с такой сильной головной болью, что был вынужден послать за дворцовым врачом, который тут же диагностировал у него легкую форму солнечного удара и приказал оставаться в затемненной комнате несколько дней. Это предписание было ему по душе, ибо он не желал общества.

За ужином накануне вечером он объяснил свое долгое отсутствие из Дворца как мог проще; но раджа, очевидно, уже что-то слышал, ибо бросил взгляд на Лакшми, а та, вместо того чтобы задавать вопросы, опустила глаза в тарелку с легкой улыбкой. Это была улыбка, которая играла так тонко в уголках ее прекрасного рта, и она часто очаровывала Джали, но в этот раз вызвала у него гнев — гнев, который ему стоило величайшего труда скрыть тогда и от которого он не мог избавиться, проснувшись с ним. Пока он лежал в постели, недобрые мысли о Бходже, Лакшми и обо всем мире Дворца продолжали занимать его ум. Очень

хорошо для Бходжа ставить себя и своих друзей столь высоко как носителей искусства жизни, столпов культуры и защитников высоких традиций в поведении и манерах; очень хорошо, но… Здесь он прервался, так как, хотя это «но» казалось ему огромным, голова болела слишком сильно, чтобы определить даже приблизительно, что оно означает.

Днем гонец, которого он отправил к матери две недели назад, вернулся с неприятной новостью, что пробиться через линии Салима оказалось невозможно. Доклад этого человека ясно давал понять, что гражданская война распространяется и причиняет ужасные страдания. Кроме того, то, что он говорил о голоде и холере, было далеко не обнадеживающим.

Он все еще мрачно размышлял над этими вестями, когда слуга объявил, что у двери стоит раджа. Его посетитель был в очень хорошем настроении. Некоторое время он любезно болтал о том о сем, а затем сообщил новость: они с Лакшми приняли приглашение Сесодиев, которое заставит их отправиться в свой объезд визитов немного раньше, чем ожидалось. «Но эта перемена планов, — добавил он, — не затрагивает договоренностей, которые Лакшми составила для вас. Майя будет в восторге принять вас в любое время».

После того как раджа ушел, Джали откинулся на кровать и задумался, насколько охотнее он бы отправился жить к Мохану и Дамаянти. Внезапная волна несчастья нахлынула на него. Ее сила была поразительна; ведь он не мог найти адекватной причины. Долгое время он лежал неподвижно, пытаясь выяснить, в чем дело. Наконец он сказал себе: «Беда в том, что у меня нет устоявшегося стандарта ценностей». И сразу за этой мыслью пришла другая — о том, что есть нечто неправильное в его нежелании изложить свои недоумения Гуру.

Его преследовали глаза Гуру. Эти глаза были примечательны — вернее, примечательным был их взгляд. Это был взгляд необыкновенной прямоты. По сравнению с ним любой другой взгляд казался скрытым и вороватым, полусмущенным и полувызывающим. Но это был не детский взгляд; за ним стояли зрелый разум, понимание.

Три дня спустя, оправившись к этому времени, он взял лошадь и отправился в лощину. Было раннее утро; поля источали влажное, сладкое дыхание; после заточения в помещении он испытывал особое удовольствие от света, воздуха, широких пространств неба.

Добравшись до лощины, он спешился, привязал лошадь к перилам и посмотрел вниз. Гуру стоял у колодца, а обезьяна сидела на траве у его ног. Он зачерпнул чашей воду, и пока пил, обезьяна заметила фигуру на вершине утеса. Она протянула руку и дернула одеяние Гуру, чтобы привлечь его внимание; затем, когда Джали начал спускаться по ступеням, юркнула прочь, чтобы занять свою позицию на крыше дома.

— Ну! — Гуру шагнул вперед с приветливой улыбкой. — Вы полностью выздоровели, я вижу. Это хорошо.

Он выглядел действительно обрадованным, и пока они вместе шли к колодцу и стояли там разговаривая, Джали чувствовал дружелюбие Гуру, действующее на его дух оживляющим теплом. Но в то же время он был полон самоотвращения, ибо в последние дни намеренно искал убежища в холодности и сухости сердца.

Подняв кубок, из которого пил Гуру, — Какая прекрасная чаша! — воскликнул он. — Я не видел ее прежде.

— Нет? Император прислал мне ее после своего визита сюда.

Джали повертел чашу в руке. Она была вырезана из цельного куска лучшего белого нефрита. Трехлапая жаба, выглядывающая через край, служила ручкой.

— Знаете ли вы легенду о трехлапой жабе? — продолжил Гуру. — Философ Пи-Фу однажды совершил проступок, и Бог, глядя вниз с Небес, рассмеялся и сказал ему: «В твоем колодце сидит трехлапая жаба. Я приказываю тебе ловить ее каждый день, пока тебе не удастся вытащить ее наверх». Философ провел много утомительных дней у колодца, пока наконец не сел подумать. «Мой проступок, — сказал он себе, — произошел от любви к деньгам; любовь к деньгам заставляет человека ходить криво; трехлапая жаба вынуждена ходить криво; возможно, она страдает так же, как и я». Тогда он спустил в колодец монету, и точно — вверх поднялась трехлапая жаба, крепко вцепившаяся в монету. Затем раскат смеха раздался с Небес, и философ снова стал свободным человеком.

— Это очень забавная история. Интересно, знает ли ее Император.

— Он не знал, но я рассказал ему.

— Я удивлен вашей смелостью рассказать ему. Хари говорит, что его алчность необычайна.

— О, Император не считает, что заботится о деньгах. Никто так не считает.

Джали рассмеялся. — Вам нравится Акбар? — спросил он.

— Да. Хотя он бывает жесток, он вполне приятный человек. Но, конечно, нелегко быть приятным императором; фактически, невозможно, я бы сказал.

Джали снова рассмеялся. — Мне было бы очень трудно быть каким-либо императором. — Он помолчал, колеблясь. — Но тогда я всегда чувствовал себя особенно непригодным для общественной жизни. Меня это беспокоило… особенно с тех пор, как мой отец потерял дееспособность… потому что теперь выглядит так, будто мне довольно скоро придется встать на его место главы Государства.

— Пойдемте присядем, — сказал Гуру, направляясь к деревьям, где под тенью были расстелены ковры. — По моему мнению, вы станете превосходным раджой… если не будете относиться к своему положению слишком серьезно.

Джали удивился. — В этой стране полно раджей, которые не относятся, и они…

— Ах, но они изначально не очень приятные люди. В этом проблема.

Джали почувствовал удовлетворение, но также легкое раздражение. Раджа Бходж, когда говорил с ним о его будущих обязанностях, использовал совсем другой тон — тон, который, будучи более серьезным, был на самом деле более лестным. Посмотрев мгновение в землю, он сказал: — Недолгое время назад я почти решил отказаться наследовать отцу. Но раджа убедил меня, что я не имею права так поступать. Он указал на то, что люди нашего положения несут серьезную ответственность — от которой не следует уклоняться.

Гуру широко улыбнулся. — Что ж, как я уже говорил, уверен, из тебя выйдет превосходный раджа — особенно если ты не будешь думать о себе как об одном из них.

Джали помолчал. Неужели Раджа Бходж всё время думал о себе именно так? Осторожно он ответил: — Интересно, что случилось бы, если бы Император перестал думать о себе как об императоре.

— Кто знает? Возможно, это сработало бы очень хорошо. И в любом случае, ты же не Император. В конце концов, Видьяпур — довольно небольшое государство. Ты можешь поступать по велению собственного духа, и никто со стороны не станет вмешиваться — хотя один или два человека могут поднять тебя на смех. Такое всегда может случиться.

— Во всяком случае, — натянуто отозвался Джали, — я сделаю всё возможное. С тех пор как я пришёл сюда, я многому научился. Раджа Бходж и Рани подают пример, которому каждый...

— О, думаю, тебе стоит делать лучше этого.

— Лучше? То есть вы хотите сказать...? И Джали осёкся, подняв брови.

Гуру рассмеялся — но его смех обезоруживал — и выставил вперёд умоляющую руку. — Не пойми меня превратно! Я питаю величайшую симпатию и уважение к радже и его жене. Но зачем тебе хотеть подражать им — или кому-либо вообще? В конце концов, ты молод. Мир меняется довольно быстро; это твою собственную жизнь тебе придётся прожить, и в своём собственном мире. Не усложняй для себя вещи, пытаясь быть или притворяясь тем, кем ты не являешься.

Джали, поражённый, мгновение молчал, а затем выпалил: — Я не знаю, кто я такой.

— Ты вполне хорошо знаешь, кем ты не являешься.

Это было настолько правдой, что Джали не нашёл ответа. На миг он нахмурился, затем, подняв глаза, встретил такую юмористичную и дружелюбную улыбку, что просто не мог не ответить на неё. Пока он колебался, не зная, что сказать, из дома вышел Махабир и направился к ним. Гуру встал. — Это значит, что Хари зовёт меня. Но меня не будет дольше нескольких минут.

Джали посмотрел вслед удаляющейся фигуре с хмурым недоумением. Он был слегка выбит из колеи, но вместе с тем чувствовал себя менее холодным и сухим. Разве нет возможностей в нём самом и в мире, которые он игнорирует? Возможностей простого товарищества, которым подвергаешься соблазну отрицать потому что ...? Он задумался, и пока он размышлял: вернулась недоверчивость к себе. Гуру призывал его следовать своим инстинктам, но знал ли Гуру, каким нестабильным характером он обладает? Нестабильным? Да, если опасную способность смотреть на жизнь с полудюжины разных углов следует называть нестабильностью. Гуру, боялся он, одержим одной идеей, однобок и совершенно не имеет реального опыта большого мира. Несомненно, в чём-то он превосходит Бходжа и Лакшми, но...

Когда Гуру вернулся, Джали не дал ему времени подхватить разговор там, где он был оставлен; он начал с расспросов о Хари, затем перешёл к обсуждению эпидемии холеры и гражданской войны, и наконец упомянул свой предстоящий визит к Рани Майе.

— О! Так ты собираешься туда! — Гуру кивнул задумчиво. — Я скорее надеялся, что ты поедешь погостить у Мохана и Дамаянти.

Джали это знал; во время их долгой совместной поездки Гуру уже говорил об этом, рассказывая, как сильно он привязан и к Принцу, и к Принцессе, и к маленькой Савитри тоже. Юноша на мгновение заколебался. — Мне хотелось бы поехать к ним, — ответил он, — но — этот другой договор уже был заключён.

— Дамаянти прислала тебе приглашение?

Джали помедлил, затем сказал: — Да, но оно пришло слишком поздно.

Наступила тишина, в которой он с неловкостью подумал, что при чуть большей смелости он легко мог бы попросить Лакшми изменить её планы. Чувствам Рани Майи определённо не было бы нанесено обиды. Проблема была в том, что по какой-то причине он не посмел сказать Лакшми, где лежат его предпочтения.

Гуру выглядел задумчивым. — Пожалуйста, не сочти меня навязчивым, — сказал он наконец, — но дело в том, что вскоре после вашей встречи в Дворце Серебряного Лотоса ко мне приходила Дамаянти, и она рассказала, как сильно они с Моханом хотели бы видеть тебя в Хава-Гхаре. Он подождал мгновение, а затем, поскольку Джали ничего не ответил, продолжил другим голосом: — Тебе разве не понравилось пение Тансена? По-моему, оно чудесно, и я очень сожалею, что пропустил его.

— Лакшми говорила мне, что приглашала тебя. Интересно, почему ты не пришёл.

— Что ж! У меня было своего рода предчувствие, которое оказалось оправданным.

— О! Как так вышло?

— Это была ночь полнолуния, ты помнишь. А когда луна полная, Император редко спит. В ту ночь он сидел допоздна — как часто делает — занимаясь делами до рассвета. Но посреди своих дел он послал за мной. Он хотел, чтобы я истолковал его сон — старый, повторяющийся сон.

— Что это был за сон?

Гуру ответил не сразу. Он задумчиво смотрел перед собой. — Затем он сказал: «Ты когда-нибудь видел Акбара?»

— Да, однажды. На Дарбаре. Образ Императора возник в памяти Джали. Он вспомнил человека среднего роста, невероятно широкоплечего и крепкого на вид. Не смуглого, но густо загорелого, с маленькими сверкающими глазами и привычкой к любопытной неподвижности, которая, однако, нарушалась быстрыми движениями головы или рук, движениями животной настороженности.

— Выглядел он той ночью совсем неважно, — продолжал Гуру. — Под глазами были мешки, и он обильно потел, хотя в шатре было довольно прохладно.

— Ты видел его в его большом шатре?

— Да. Меня разбудил его посланник — должно быть, часа через три после полуночи.

Не зная толком почему, Джали сказал: — Тансен закончил, и я спустился во двор. Я смотрел на равнину.

— Возможно, ты видел шатёр Акбара — белое пятно за южными воротами?

Джали покачал головой.

— Внутри большого шатра находится малый, а внутри него — ещё один. Самый внутренний маленький и по форме напоминает круглую кирпичную печь. Вверху у него есть отверстие, через которое видно небо. Акбар сидел как обычно, скрестив ноги на низкой платформе, но без балдахина над ним. Манса Рам, его главнокомандующий, сидел за маленьким столом напротив, который был покрыт картами и бумагами. — На заднем плане сидели несколько писцов. Никто не разговаривал, когда я вошёл; Акбар жестом пригласил меня сесть у двери, и там я стал ждать.

— Он принимал доклады. Людей вводили одного за другим, допрашивали и отпускали. Они были всех мастей — губернаторы провинций, солдаты, сборщики налогов и так далее. Некоторые вернулись из миссий в чужие земли. Часть времени старый Тодар Мал мог подремать. Когда поступали неудовлетворительные отчеты, я видел, как он опасливо поглядывает на Акбара, который определенно выглядел довольно грозно, сидя там тяжелым и неподвижным со слипающимися веками, но совершая внезапные резкие движения и рявкая неожиданные вопросы. Но даже при этом Тодар Мал был настолько

уставшим, что временами зевал. Видишь ли, Акбар очень мало спит, и в странное время. Часто он работает всю ночь напролет.

— Затем внезапно всё это дело подошло к концу. Писцы исчезли; Тодар Мал, его глаза полузакрыты, тоже шаркающей походкой вышел наружу. Акбар поманил меня к себе и, пока ел нарезанные манго, которые принесли, рассказал мне свой сон. Очевидно, он думал, что тот может иметь какое-то пророческое значение, но я указал ему, что поскольку этот сон снился ему с перерывами уже много лет, нет никаких причин, по которым ему следует придавать этому особое значение сейчас. Однако он не обратил на меня никакого внимания.

— Что же это был за сон?

— Ему приснилось, что он лежит полусонный под деревом, и что время от времени какая-нибудь ветка дерева превращалась в змею и склонялась, чтобы укусить его; но во сне и без всякого труда он наносил удар мечом и отсекал голову твари от тела. Очевидная интерпретация, казалось бы, заключалась в том, что он вполне способен справляться с предательствами и мятежами — в частности, с теми, что исходят от его сыновей.

— Ты сказал ему это?

— Нет. Меня что-то остановило, и впоследствии я был рад этому. Ибо после того, как он выпил несколько бокалов вина, он рассказал мне кое-что еще. Некоторое время назад ему приснилось продолжение его сна. Ему приснилось, что он распорядился пересадить это свое дерево во Двор своего Дворца в Лахоре; и что он им очень гордится, и хвастается им перед всеми своими друзьями, и перед послами, которые навещают его. Затем постепенно в его душу закралось подозрение, что дерево не делает ему чести; он заметил, что восхищение гостей было натянутым; он поймал их на том, что они смотрят свысока и перешептываются за его спиной. Наконец он заметил, что вместо того, чтобы расти, дерево на самом деле становится меньше с каждым днем. И насчет этого он не знал, чувствовать ли себя обескураженным или довольным. — Гуру помолчал. — Очень неприятный сон для бедного старика! Я чувствовал, что это случай, требующий большой осмотрительности. Не торопясь, я притворился, что глубоко размышляю над сном и прихожу наконец к выводу, что он совершенно незначителен.

Джали, внимательно слушавший, рассмеялся такому заключению; но его смех оборвался резко, и он ничего не сказал.

— Как ты можешь представить, — продолжал Гуру, — мне хотелось бы дать ему немного утешения. Но что тут можно было сказать? Я не могу придумать — даже сейчас. И в ту конкретную ночь я был странно взволнован им. Я был ошеломлен. Я чувствовал себя так, словно стоял у великой, безмолвной, грязной, бурлящей реки в половодье. И это чувство росло во мне каждую минуту. Мы молча смотрели друг на друга. Я не мог придумать ничего, что сказать. Наконец, вместо того чтобы отпустить меня, он жестом вернул меня на

мое место. Я снова ждал, пока он занимался делами. На этот раз дела были более важными — продвижение армий Салима, холера, тайные, подземные волнения масс — вот темы, находившиеся на рассмотрении. Во всем этом он имел дело с человеческими существами, исчисляемыми миллионами, и я стал странно осознавать колыхание и напряжение этих множеств, которые, казалось, создают огромные, полуосознанные демиургические силы, толкающие мир вперед темным, извилистым путем. Казалось, будто между Акбаром и этими коллективными существами, которыми являемся мы сами в массе, существует родство. Но, несмотря на все это, я чувствовал, что его время прошло. Я ощущал его потерянным — оставленным Временем позади; и все же, возможно, не полностью потерянным, не полностью беспомощным... Возможно, есть еще что-то, что он может сделать.

Наконец, когда он закончил и всех отправили прочь, он снова позвал меня к себе и, подождав мгновение, чтобы увидеть, не добавлю ли я чего-нибудь, сделал жест прощания.

— Я вышел на рассвете, чувствуя тяжесть — тяжесть на сердце и в уме — и в теле тоже. Но когда я шел обратно через поля в прекрасном, сияющем свете, Дух вновь потек в меня. Моя пустота наполнилась благодарностью, ибо я снова узнал, что за жизнью — ее источником и проводником — стоит Дух.

Некоторое время Гуру молча смотрел перед собой, затем встал. — Теперь я должен оставить тебя, — сказал он. — Если ты поедешь погостить к Дамаянти, ты будешь далеко, но все же поезжай к ней, если сможешь.

Проехав часть пути в сторону города, Джали остановился и послал своего грума вперед. Затем он повернул к холму, к которому, как он однажды видел, направлялся Гуру. Привязав лошадь к дереву, он опустился на колени и попытался помолиться. Но все было напрасно. В глубине его надежд и стремлений оставалось твердое ядро скептицизма и неразрешимых сомнений; и он не знал, был ли этот скептицизм искренним или проистекал из простой слабости характера.

V

Джали возвращался во Дворец в состоянии мрачного, беспросветного уныния. Он собирался сказать Лакшми, что хочет остаться у Мохана и Дамаянти вместо Майи, и сама перспектива сделать это была чрезвычайно неприятна. Но почему? Почему он придает такое большое значение делу, которое на самом деле не имеет никакого значения? Это был вопрос, который он пока еще не мог заставить себя изучить. Решение навязало себя

ему против его воли, и он впал в усугубляющуюся дурную расположенность духа, которая была направлена против самого себя, против Лакшми, против всех.

Это настроение сохранялось, и в течение следующих нескольких дней он постоянно останавливал себя от мыслей о том, что ждет его впереди. Тем не менее, однако, часть его ума все время была занята этим нежелательным предметом; и настал момент, когда ему пришлось сдаться. Он отбросил книгу, которую пытался читать, вскочил на ноги и принялся ходить взад-вперед.

Он больше не наслаждался своей жизнью во Дворце, и меньше всего — часами, которые проводил с Лакшми. На это следовало обратить внимание прежде всего, потому что было нечто постыдное в том, чтобы притворяться перед самим собой, что ты чувствуешь дружеское расположение и счастье, когда это не так. И он не мог быть уверен, что действительно вводит Лакшми в заблуждение. Он был не очень искусен в притворстве. По правде говоря, размышлял он, хорошо, что его дни во Дворце подходят к концу, ибо если его недовольство еще не было обнаружено, то скоро будет.

Недовольство? Да! Ведь спрятанным в его сердце знанием было то, что он больше не может принимать этих людей — Бходжа, Лакшми и остальных. В нем произошла какая-то перемена, из-за которой он больше не мог чувствовать себя одним из них — ни в мыслях, ни в чувствах, ни в намерениях. И вы должны были принимать их без всяких оговорок, чтобы они приняли вас самих. В этом вопросе они были абсолютно бескомпромиссны. Либо вы принимаете их, их ценности, их оценку самих себя, либо нет. А он — нет.

В любой момент эта истинная суть дел могла быть раскрыта. В любой момент Лакшми могла бросить на него ироничный взгляд, который сказал бы: «Ага! Так ты уже не с нами!» Никто из них не чуял еретика быстрее, чем она. Но каким же жалким маленьким еретиком он был! Одно дело — Гуру, стоящий безмятежно на собственной почве; у него есть убеждения, у него есть характер; и послужной список, свидетельствующий о том и другом. Он оправдывает себя даже в глазах Лакшми. «Но я, — думал Джали, — еретик не по силе воли, а вопреки ей, беспомощно. Я пытаюсь перенять их мнения, я пытаюсь отражать их чувства, и терплю неудачу».

Все еще шагая взад-вперед, он ощупью искал среди своих идей со смятением, окрашенным раздражением и даже тревогой. «Почему теперь я чувствую себя таким другим?» — был его вопрос. Он вспомнил, как мерил этот же участок пола сияющим чувством солидарности с этими людьми и собственного достоинства вследствие этого. Он воображал себя становящимся мудрым и благим деспотом в манере Бходжа. С Рани, чья элегантность соперничала с элегантностью Лакшми, он принимал блестящие компании и жил жизнью того, кто более чем человек. Какой дурак! К этому идиотизму его привела столько же собственная самонадеянность, сколько и их претензии. Почему, ну почему он давно не увидел, что во всех них есть что-то неправильное? Он пока не мог точно указать на это пальцем, но оно там было. Они вели жизни, казавшиеся справедливыми; не было ничего

вялого, грубого, безвкусного ни в Бходже, ни в Лакшми; у них были мужество, самообладание, энергия и гордость; но в них было что-то принципиально неправильное.

Что это было? Думая о дворе своего отца, ему первым делом пришло в голову, что в Видьяпуре человек дышит неизмеримо большей свободой. В Видьяпуре существовала свобода для спонтанных движений ума и сердца. Здесь — несмотря на весь этот великолепный вид самоуверенности и непринужденности — каждый трудился под гнетом непрекращающегося самосознания, самоконтроля и напряжения. Эти люди были рабами собственных общественных стандартов, и их раболепие настолько укоренилось, что никто из них не признавал его за то, чем оно является.

Женщину вроде Лакшми заботило поддержание видимости каждую секунду дня — и не только ради пользы других, но чтобы удовлетворить ее собственное частное чувство собственного достоинства. При каждом движении, каждой интонации и — насколько возможно — при каждой мысли и эмоции она наносила крошечные мазки кистью на никогда не заканчивающийся портрет самой себя. В данный момент, вероятнее всего, она лежала со своими подругами, сгруппировавшимися вокруг нее, в кажущейся небрежности и непринужденности на своем диване. Казалось бы, каждая мышца расслаблена, она говорила бы лениво и, возможно, даже зевала. Но на самом деле, никогда она не была дальше от настоящей спонтанности, чем в такие моменты. Ибо она представляла картину не того, кем она была, а того, кем она жаждала быть. Глубокая, непризнанная жажда ее сердца заключалась в том, чтобы напряжение, расчет могли исчезнуть. А ее невысказанный стыд состоял в следующем: постоянное присутствие усилия, постоянное отсутствие обычного душевного спокойствия.

Как ужасно жить так! и как глупо! Ради чего это делается? Ответить: «Ради внешних приличий» — значит не добраться до корня вопроса. Ведь оставался вопрос: почему все эти люди придают такую преувеличенную ценность внешности? Почему их жизни посвящены этому пустому культу — мужчин и женщин в равной степени — и ни одной мысли в их головах не было не омраченной озабоченностью тем, как выглядеть достойно.

Означало ли это какую-то тайную слабость личности? Едва ли. Ибо и у Бходжа, и у Лакшми были такие личности, которые нельзя было легко проигнорировать. И все же было очень трудно представить, какой была бы обнаженная личность Лакшми — ее центральное «я», лишенное всех притязаний. Было также маловероятно, что она сама знала об этом — или хотела знать. Все ее усилия в течение всей жизни были направлены на то, чтобы нарядить бедную, заброшенную субстанцию своего духа в красивые одежды. То, что она знала о себе, вероятно, утомляло ее; она, вероятно, относилась к этому с глубокой циничностью. А что касается внешнего мира, то она так долго смотрела на него глазами других, что утратила способность пользоваться своими.

Но куда всё это его ведет? В никуда! Резким движением он вернулся к более ранней точке своих размышлений. Почему теперь он чувствует такую неприязнь ко всем этим людям?

Почему изменились его чувства? Частичный ответ на вопрос представился сразу. Ему не нравился тот человек, которым он становился в их обществе. Их общество делало его неверным почти всему тому, что он действительно и по-настоящему уважал. Но опять же, почему это так? Гуру оставался верен себе в любом обществе.

В этот момент Джали начал испытывать сильный дискомфорт. Он осознал, что насилие его бунта и язвительность его неприязни были симптомами слабости. Эти люди были ему неприятны потому, что он был похож на них, или потому, что хотел быть похожим на них и терпел неудачу, или потому, что боялся стать таким же, как они — а этого он не мог сделать без большего стыда, чем они, ибо он действовал бы с большей осознанностью. В любом случае он был слаб, ибо, хотя они и не обманывали его, они навязывали себя. Его личности не хватало сил противостоять подавляющей силе той видимости, которую они создавали. «Что ж! — сказал он себе, — я могу, по крайней мере, заставить их бросить меня». И с этим он спустился во двор, чтобы найти Лакшми.

Она была там, растянувшись на своем диване, как он видел ее так много раз прежде. И она была прекрасна, и то, что она говорила, всегда было умным и часто остроумным. Так почему же тогда он осознавал лишь вечное однообразие? Ответ заключался в том, что это была не жизнь, это было разыгрывание пьесы. То, что слова всегда были свежими, не имело значения, ведь это была одна и та же пьеса, разыгрываемая снова и снова.

В этой мысли он потерялся, уставившись на нее и видя под ее прекрасной, модулированной оживленностью сокрушительную скуку. Ее величайшей храбростью была, возможно, та тайная храбрость, которая шла на сокрытие этого.

В первые дни, конечно, он с восторгом исполнял отведенную ему роль в ее пьесе. Он был начеку, чтобы уловить от нее сигнал, отвечая сообразно ее беспечности — беспечности, в которой каждый взгляд, каждый жест были произведением сознательного искусства; беспечности, в которой каждому предложению, каждой даже мысли давалась молниеносная проверка, прежде чем ей позволяли пройти. Но какая же это была нагрузка! И ради чего всё это делалось?

Он мог беспрепятственно следовать своим мыслям, потому что она не предъявляла к нему никаких требований. Она видела, что он поглощен собой, и позволяла своей беседе течь дальше. О, эта ее социальная самосознательность, которая ни на мгновение не спала! Но если он устал от этого, помилуйте, разве она нет?

Затем внезапно он заметил перемену в ней: ее глаза и губы намекнули на тайную, ироничную веселость. «Если она еще не догадалась о том, что должно произойти, то скоро догадается, — подумал он. — И она пойдет мне навстречу. Она сделает всё как можно проще».

Он сосредоточил внимание, чтобы услышать, как она говорит: — Жаль, что у нас больше не будет возможности вместе побродить по городу. Но осталось всего несколько дней, и я буду занята всё время. Я так рада думать, что ты будешь с дорогой Майей. Ее дом, как и она сама, просто восхитителен.

Юноша глубоко вздохнул. Он почувствовал, как краска приливает к щекам, когда сказал: — Есть кое-что, о чем я уже некоторое время хотел тебя спросить. Это вот что. Я получил письмо от принцессы Дамаянти, и она...

Его прервал голос. Это был Раджа, который неожиданно появился из-за угла. Голос Бходжа был немного приподнят; его выражение лица тоже было оживленным, шаг быстрым. — Мохан только что объявился! — воскликнул он, — Мохан со своими гуджарами и яками стоит у дверей! Показать их всех?

Здесь была какая-то шутка, ключа к которой у Джали не было; но в следующий момент Раджа начал объяснять. Обращать внимание было нелегко, так как бесенок веселья уже подал ему знак из голубых глаз Лакшми о том, что его незаконченное предложение никогда не нужно будет заканчивать. Его румянец стал глубже, но он продолжал смотреть вверх в аристократичное, проницательное и в то же время глупое лицо Раджи со своим лучшим видом интереса.

Три года назад, во время экспедиции в высокие горы, Мохан сбился с пути и умер бы от холода и голода, если бы не доброта группы гуджаров, которые отвезли его обратно в свою деревню и держали там до тех пор, пока он не восстановил свои силы. На это ушел месяц, так как он страдал от обморожения, и, уходя, он заставил своих новых друзей пообещать, что если у них когда-нибудь возникнут неприятности, они придут к нему и позволят ему доказать свою благодарность. Что ж, несколько месяцев назад произошел оползень, перекрывший их горную долину, которая быстро превращалась в озеро. После чего гуджары вспомнили свое обещание, и вот они здесь.

Раджа как раз заканчивал, когда в крытой галерее послышались шаги, и появился Мохан.

— Дорогой мой! — воскликнула Лакшми, протягивая обе руки, — мы просто жаждем видеть тебя! Где ты оставил свой караван?

Мохан объяснил, что караван, состоящий примерно из пятидесяти диких на вид горцев в сопровождении их женщин и детей, их коз и горных овец, разбил лагерь прямо за городом. Всегда готовый посмеяться над собой, он не пытался скрыть тот факт, что этот доверчивый народ поставил его в несколько комичное положение. Он был доволен, но и немного обеспокоен, ибо любой ценой гуджары не должны иметь повода пожалеть о том, что доверились ему. Он собирался поднять их на плато завтра.

Пока он говорил, Джали еще раз поразмыслил о том, что из всех людей, которых он встретил в Даулатпуре, именно к этому человеку его тянуло больше всего. Но визиты Мохана во Дворец были редкими и короткими, и у молодого человека до сих пор ни разу

не было возможности поговорить с ним наедине. По всем внешним признакам, и, вероятно, думал Джали, по многим внутренним, Мохан заметно отличался от своего брата. Бходж был темным и носатым, а также медлительным в движениях и речи. Он нес свое долговязое тело сутулясь, и его глаза, хотя и красивые, были настороженными. Мохан был человеком гораздо более светлого цвета лица, его глаза были широко раскрытыми и искренними, а двигался он с беспечной мальчишеской быстротой.

Джали показалось особенно удачным то, что Мохан прибыл именно в этот момент, и, решив обратить внимание Принца на себя, он присоединился к беседе настолько, насколько мог. Вскоре Раджа, который, найдя шутку, уже неохотно ее отпускал, снова вернулся к теме яков. — Мой дорогой Мохан, твои гуджары, ты говоришь, ничуть не хуже после своего путешествия; но как насчет яков? Я сильно сомневаюсь, сможешь ли ты отличить больного яка от здорового.

— Уверен, что я смогу, — вставил Джали и, повернувшись к Мохану, продолжил: — Могу я пойти и взглянуть на этот караван?

— Да. А почему бы тебе не поехать со мной завтра? Мы собираемся отправиться на рассвете. Караван движется очень медленно, и я хочу прибыть до темноты.

— Поехать с тобой? — пробормотал Джали с сомнением.

— Да. Разве ты не получал письма от Дамаянти с просьбой остаться у нас в Хава-Гхар? Мы рассчитываем на твое появление. Джали бросил взгляд на Лакшми, и Мохан продолжил: — Ты будешь моим главным пастухом. Лакшми, есть ли какая-нибудь причина, по которой Джали не может поехать со мной?

На мгновение смеющиеся глаза Лакшми встретились с глазами Джали, затем она сказала: — Бедная Майя надеялась, что Джали останется с ней; но я могу легко объяснить...

— Да. Пожалуйста, сделай это! — И затем, заметив нетерпение в глазах Джали, он продолжил: — Мне жаль Майю, но прибытие моих гуджаров решило дело, не так ли? Мне нужен пастух, а Джали признался, что является авторитетом в вопросах яков. Можешь сказать ей об этом.

Лакшми одарила Джали поистине очаровательной улыбкой. — Сказать?

Юноша покраснел, и голосом, полным неподдельной благодарности, он ответил: — Буду признателен!

Часть 4

I

Солнце только что взошло, когда Джали проскакал через темные северные ворота Даулатпура. Выехав на бодрящий солнечный свет открытых полей, он остановил лошадь и огляделся. Вид в этом направлении был новым, и его сердце подпрыгнуло, когда он разглядел вдали, поднимаясь почти отвесно над равниной, тусклое голубое плато.

В нескольких сотнях ярдов от ворот, на отведенном для караванов пространстве, стоял большой шум и суета. Это исходило от большой компании крестьянского люда, диковинного на вид, среди которого находились козы и овцы незнакомой породы. Подъехав верхом, он вскоре нашел Мохана, который наблюдал за сценой со смешанной улыбкой веселья и недоумения. — Посмотри на них! — воскликнул он. — Ни один не показывает дурного нрава! Но, все же, если они скоро не уберутся от этой жары, они умрут.

Бедным гуджарам действительно было очень жарко и пыльно, но столь же очевидно было и то, что они все еще полны энергии и находятся в самом лучшем расположении духа. Джали видел, что их вера в Мохана была полной; каждый из них был уверен, что их беды позади, и что в конце дневного перехода они будут поить свои стада в земном раю. Восхитительно было и то, как Мохан ценил простоту, добродушие и мужество своих друзей. На его горизонте было лишь одно облачко: сможет ли он сделать эту миграцию успешной?

Едя рядом с Моханом, Джали чувствовал себя необыкновенно беззаботным. Далекое плато, нереально парящее в дымке равнины, казалось, обещало новую жизнь, полную свободы и энергии; воздух, дувший с того направления, был более легким, свежим воздухом. Разговаривая и смеясь с Моханом и обмениваясь — в основном пантомимой — шутками с гуджарами, он мало думал о будущем и еще меньше о прошлом. Его последние часы во Дворце уже казались далекими. Вечер, правда, был не очень приятным, но ведь он никогда и не думал, что он будет таким. За ужином присутствовало несколько знакомых гостей, и наступил момент — как и должно было случиться — когда его выбор стал достоянием гласности. На минуту он оказался в центре внимания, пока шли шутки о Мохане, гуджарах и легендарных яках. Но Лакшми не выказала ни малейшего признака недружелюбия, так что в конце вечера, прощаясь, его выражения благодарности оказались гораздо более искренними, чем он опасался.

Поездка продолжалась до середины дня, когда компания добралась до парка Старого Летнего дворца, являвшегося официальной резиденцией Мохана. Оставив свой караван в тени возле пруда, он повел путь дальше под деревья еще примерно милю, пока впереди не показался большой каменный дом, построенный как охотничий домик. — Вот мы и приехали, — сказал он, — но на самом деле сейчас мы с Дамаянти здесь не живем. Мы предпочитаем плато, где воздух прохладнее, и есть чем заняться.

Взбежав по широким ступеням, он толкнул обожженную солнцем дверь и вошел в холл. Его приезд явно не ожидался, и пока готовилась еда, он повел гостя искупаться в бассейне позади дома. Лежа в прохладной, чистой, глубокой воде, Джали был охвачен глубоким чувством благополучия, а за следующим обедом он пил пальмовое вино, к которому не привык, так что вскоре начал чувствовать сонливость. — Пойдем наверх, — сказал Мохан. — Времени для сиесты предостаточно. Остальная часть нашего пути займет у нас не более трех часов.

В большой тенистой комнате Джали лег и быстро отключился, но проснулся довольно скоро от звука своей оконной шторы, хлопающей на ветру. В саду снаружи слышалось жужжание пчел и воркование голубей. Полежав неподвижно некоторое время, он встал и снова спустился вниз. Мягкая кожа его обуви не издавала ни звука на мраморном полу, и к его удовлетворению, вокруг никого не было, так что он смог бродить из комнаты в комнату по своему усмотрению. Повсюду глазам открывалась приятная потрепанность. Вкус, изначально вложенный в обстановку дома, был хорошим, а затем, по-видимому, со временем знакомые вещи стали настолько привычными, что никому не пришло в голову их менять. Выйдя на веранду, он наткнулся на садовника, который дремал в тени со своим ручным мангустом рядом. Застигнутый врасплох, старик поднялся с выражением оскорбленного достоинства, низко поклонился и медленно удалился. Мангуст, который рысцой последовал за ним, широко зевая, был самым старым из тех, кого Джали когда-либо видел; у него было очень мало шерсти, а усы были седыми.

Пока он стоял, опираясь на балюстраду и глядя на залитый солнцем сад, из дома вышел слуга, прислуживавший за столом. Воинственного вида мужчина лет шестидесяти, он во время еды разговаривал с Моханом так, как говорят с добродушным, но безответственным ребенком. Теперь он предостерег Джали, что Хозяин все еще спит, и нужно соблюдать осторожность, чтобы не разбудить его, поскольку его комната находится прямо над ними. С этими словами он любезно, но твердо повел Джали к другой веранде, а затем, сложив руки на груди, прислонился спиной к колонне в позе человека, готового к неторопливой беседе. Он служил Принцу уже около пятнадцати лет, сказал он — да, по меньшей мере пятнадцать! — но что такое время, как оно обычно исчисляется, когда два духа обнаруживают родство? Этот дворец, продолжал он, один из пяти летних дворцов, принадлежащих Королевской Семье; он самый маленький и самый старый, и был выбран Принцем в качестве своей резиденции, когда тот отрекся от Престола. Со своей Принцессой он прожил здесь около года. Это было до того, как они решили перебраться поближе к своим друзьям на плоскую гору Лаку.

В этой речи была одна фраза, которая заставила Джали внутренне вздрогнуть от удивления. Неужели Мохан отрекся от престола? Здесь была история, обещавшая пролить свет на многое из того, что ставило его в тупик.

— Когда Принц отрекся? — спросил он. — И почему?

Мукунд — ибо так звали этого человека — посмотрел на потолок и затем сказал: — Принц отдал Престол своему младшему брату, нашему нынешнему Радже, девять лет назад. Ему тогда было двадцать пять, и...

— Но ведь Раджа Бходж старший из двоих?

— Он выглядит старше, но на самом деле он на два года моложе. Принц Мохан отказался в его пользу, потому что такова была воля Императора. Но это также было и собственным желанием Принца, ибо ему нравится быть в отношениях истинного равенства и дружбы с другими людьми.

Это было чрезвычайно интересно! Джали уставился в серьезное и спокойное лицо Мукунда с любопытством, которое жаждало выразиться потоком вопросов, но все, что он позволил себе сказать, было: «Те друзья Принца, которые... живут на плато — кто они? И чем он там занимается?»

— Вскоре после своего отречения он построил себе дом на Лаку — простой дом, не дворец. Его друзья — это все те, кто верит в дружбу.

— Но — кто они?

Мукунд улыбнулся. — Жители округа — как и любые другие. Человек, который возделывает землю, и держит свои стада, и женится на жене, и растит детей. Юный Махараджа увидит сам. Он снова улыбнулся. — Некоторые более привлекательны, чем другие, но каждый обладает достоинством правильного мышления, и именно об этом заботятся Принц и Принцесса.

— О каком предмете они мыслят правильно? — осведомился Джали после долгого задумчивой паузы.

— О предмете денег.

— Денег!

— Да, денег — важнее этого ничего нет.

— А как насчет религии?

Мужчина улыбнулся. — Я вижу, что юный Махараджа пока еще не наставлен, но не мне его наставлять. В Хава-Гхаре он увидит сам, что дружба и религия едины, а враг дружбы — деньги — и гордость, которую приносят деньги.

В этот момент, к великому сожалению Джали, разговор был прерван появлением Мохана в дверях. Джали, слегка покраснев, смотрел на него с любопытством и интересом, которые не мог скрыть; но Мохан, зевая и потягиваясь, ничего не заметил. — Я думал о том, что нам совершенно необязательно идти шаг в шаг с нашими гуджарами остаток пути. Караван

движется так медленно, что прибудет только к полуночи. Мы поедем вперед и подготовим всё для них.

Так что несколько минут спустя они снова были в пути, и прошло совсем немного времени, прежде чем они достигли утеса — огромной стены из розовых и желтых скал, рассеченной единственной широкой расщелиной, вверх по которой шла круто уходящая дорога. Час езды вывел их на край плато, и теперь перед глазами Джали раскинулся огромный ровный простор колышущейся травы, мерцающей под ветром и солнцем. Наверху дул прохладный ветер, и воздух, пахнувший иначе, чем на равнинах, со свистом проносился сквозь высокие сухие стебли травы с одиноким звуком.

Пока он все еще осматривался, Мохан нарушил молчание: — Я не совсем доволен тем, что оставил своих гуджаров. Вы не возражаете, если я поверну назад, оставив вас проделать эти последние несколько миль в одиночку?

Джали покачал головой и, получив указания, поехал дальше. Был поздний полдень, солнце удлинило его тень перед ним на рыжеватой траве, а в ясном небе над головой стаи перепелов летели домой ночевать в зарослях падуба, которые то тут, то там поднимались вверх. Вскоре, достав из кармана флейту, которую один из гуджаров дал ему, он попытался сыграть мелодию, которую они пели во время своего марша. Направление нельзя было спутать, потому что Мохан дал ему ориентир — развалины древнего буддийского монастыря, возвышавшиеся высокими и золотыми милях в пяти-шести отсюда. Мохан сказал, что его дом находится среди деревьев, которыми окружены руины, так что, добравшись до них, Джали спешился и огляделся. Не увидев никакого человеческого жилища, он привязал лошадь к ветке и отправился пешком по узкой тенистой тропинке. Вскоре он наткнулся на древнюю кирпичную стену высотой около семи футов и шел вдоль нее, пока она не сделала поворот под прямым углом. Дикие вьюнки свисали с каменного парапета, а в углу росли бамбуки, но замкнутое пространство по другую сторону стены было в остальном без деревьев. Возможно, подумал он, это сад, поэтому он последовал за стеной в надежде найти ворота. Солнце теперь опускалось к горизонту; только верхушки деревьев и высокая, разрушенная фасадная часть монастыря ловили свет. Размышляя о том, что скоро стемнеет, он остановился, а затем заметил, что дыры, где кирпич разрушился, сделают подъем на стену несложным делом. Он сделал это и сел на парапет осмотреться.

Внизу находился продолговатый бассейн длиной около пятидесяти футов, вокруг которого шла вымощенная камнем дорожка. Большая фигура Вишну, вытянувшегося как бы во сне, лежала в воде, голова с ореолом из капюшонов кобр едва выступала над поверхностью. Спокойным и прекрасным было лицо камня, смотрящего в вечернее небо. Место дышало покоем. Ни рябь, бегущая по воде, ни качание папоротников, ни колыхание вьюнков на стене не нарушали безмятежности сцены.

В четырех углах ложа Вишну из воды поднимались маленькие квадратные каменные столбы высотой в человеческий рост, увенчанные обычными цветочными горшками, которых, очевидно, давно не касались. В них содержались лишь несколько растений базилика и те же дикие вьюнки, чьи цветы были синими, фиолетовыми и белыми. Однако место не производило впечатления заброшенности; нигде не было уродливых сорняков, да и мертвых листьев на мшистой каменной дорожке.

Все это Джали успел заметить прежде, чем увидел, что на скамейке в углу сидит молодая женщина. Ее голова была склонена над книгой, так что всё, что он видел от нее — это ее волосы, растрепанные ветром, стройное плечо, покрытое сари из бледно-зеленого муслина, голую лодыжку и обутую в сандалию ногу. «Неужели это Дамаянти?» — спросил он себя, и в следующий момент, когда она подняла голову — чтобы уставиться хмурым отсутствующим взглядом поверх воды — он больше не сомневался. Это была Дамаянти, и теперь он заметил, что она не читает, а пишет; наполовину исписанная страница лежала у нее на коленях, а другие листы — рядом.

Сидя совершенно неподвижно, он продолжал смотреть вниз, то на хрупкую человеческую фигуру, то на каменного бога. При Дворе Серебряного Лотоса он был немного запуган Дамаянти; здесь он увидел ее в ином свете. Присутствие этого спящего бога низводило ее до простого человеческого существа, очень хрупкого и очень недолговечного. И внезапно он почувствовал, как дух его поднимается в жалости к человеку — против величавой самодостаточности богов.

Он все еще был погружен в созерцание, когда она схватила лист рукописи, который порыв ветра нес прочь, и при этом заметила его. — О, — воскликнула она с улыбкой. — Это вы!

Джали спрыгнул со стены и подошел вперед. — Да, надеюсь...

— Нет, нет. Я так рада, что вы меня нашли. Но я не могу представить, как вы узнали, что я здесь, или как... — она оборвала фразу резким криком, ибо другой, более сильный порыв ветра подобрал дюжину ее разрозненных листов и бросил их на поверхность воды.

Они посмотрели друг на друга и рассмеялись, затем, сбежав по неглубоким ступеням, Джали вошел в воду бассейна и начал собирать листы. Но она вскочила и, ухватив его за рукав, настояла на том, чтобы он снова вышел. — Смотрите! Это бесполезно. Чернила расплываются. Кроме того, в бассейне есть водяные змеи, и вы их напугаете. А потом, — здесь она снова рассмеялась, — как я могла бы начать говорить, вы промокнете. На самом деле, вы уже промокли.

Когда он поднялся из воды, она задумчиво посмотрела на него. — Разве вам не следует пойти в дом переодеться?

Джали заверил ее, что торопиться некуда, и они вернулись к каменной скамье, на которой она сидела. Ее лицо, которое он теперь впервые смог ясно рассмотреть, оказалось моложе, чем он себе представлял. Он слышал, что ей почти тридцать; в этот момент она выглядела

скорее девушкой пятнадцати лет; ее быстрые движения и худоба способствовали этому впечатлению — и кое-что еще, он не мог сказать что.

— Как вы узнали, что я здесь? — спросила она снова. — Полагаю, Савитри сказала вам.

— Нет. Я не видел Савитри — никого. Когда я перелез через эту стену, у меня не было идеи, что я найду здесь вас — или Вишну.

— Вишну лежит в этом бассейне сотни лет. Он был там задолго до рождения Будды. У него когда-то был храм вон среди тех деревьев.

Джали задумался. — Разве Вишну не спал четыре месяца, плавая в море молока?

— Да. Этот бассейн — его море. Но я ничего больше не знаю о легенде. И я верю, что других таких бассейнов нет. Гуру говорит... Говорил ли он вам об этом бассейне?

Джали покачал головой. — Я пришел сюда совершенно случайно. — И он рассказал ей, как прибыл один и искал дом.

На это она наклонилась, чтобы собрать свои книги и бумаги, но он сказал: — Разве мы не можем остаться еще ненадолго? Это место так прекрасно. Вы часто приходите сюда?

Она кивнула.

— Вы приходите писать? — робко спросил он.

— Иногда.

Он заколебался, затем набрался смелости. — Что вы пишете?

Она тихо рассмеялась. — Историю своей жизни — и своего рода дневник тоже. Прошлое и настоящее смешаны — как в жизни.

Охваченный внезапным побуждением, Джали рассказал ей о долгих часах, которые он тратил, пытаясь писать стихи: как, когда на него находило настроение, он чувствовал убежденность в том, что вещь бестелесной красоты борется за воплощение в теле. Почему так трудно дать проход красоте, которая там присутствует? Почему он всегда искажает ее до банальности, условности?

Она улыбнулась, и он заметил, что она разрывает немногие страницы, которые ветер не разбросал. — Зачем вы это делаете? — спросил он. — Потому что мне тоже не удается. То, что я написала, не особенно правдиво.

— Особенно! — эхом отозвался он, улыбаясь.

— Ну, вы знаете, что я имею в виду.

Ветер стих, сгущались сумерки, но самые верхние башни монастыря все еще сияли золотом над деревьями. Бросив взгляд вбок, он заметил, что ее глаза печально устремлены на

голубоватую воду, которая у их ног казалась вторым небом. И в этом небе, подобно сверхъестественному знамению, парил лик бога.

Страх, что она может встать, желание удержать ее здесь, продлить эти мгновения навечно, наполнили его сердце настоящей страстью. Вынув флейту из кармана, он сыграл маленькую мелодию, которую наконец-то правильно исполнил — блуждающую, безутешную последовательность нот, которые в его воображении были голосом серого ветра, проносящегося над ледяными равнинами.

— Сыграй это еще раз! — сказала она, и он возрадовался, почувствовав ее глаза, большие и темные в полумраке, пристально устремленные на него. Он плел вокруг нее чары, он вносил собственную магию в эти моменты божественного очарования. С интенсивностью, неведомой ему прежде, он осознавал мир вокруг себя — переплетенные ветви, оставившие отблески ушедшего солнца, прохладный восход от низко висящей луны, негромкие птичьи звуки, лиственные тишины, запахи — то холодные, то теплые — поднимающиеся от воды и камня. Всё это он чувствовал, всем этим он был.

Тат твам аси [санскр. «Ты есть То»].

Некоторое время после того, как он закончил, они сидели там молча. Затем со вздохом она встала и повела его через узкую калитку вниз по небольшой извилистой тропинке. Через несколько минут они вышли из-под деревьев, и он оказался на лужайке с домом напротив. Луна только что показалась над его низкой крышей.

II

Немного позже, стоя у окна своей комнаты, он смотрел на лужайку — все еще во сне, но изо всех сил стараясь спустить свой разум на землю. Лунный свет был мягким; в небе над головой сияли звезды; а на траве внизу он заметил светлячков, чьи маленькие зеленые огни, казалось, отражали слабые созвездия наверху. Его захлестнула волна счастья. «Это Рай!» — прошептал он себе. «Рай!» Приготовившись к ужину, он спустился вниз; ему не терпелось снова быть с Дамаянти, и он искал ее на веранде, где для их трапезы был накрыт стол. Но ее там еще не было, поэтому он принялся ходить туда-сюда по траве снаружи. Желтое свечение лампы показывало, где находится ее комната, и, глядя вверх, он внезапно услышал, как она разговаривает и смеется с Савитри. В одно мгновение его дух упал. Час, который только что прошел — что он значил для нее? Конечно, очень мало. Его экзальтация и экстаз были глупостью, которая насмехалась над ним. У Дамаянти была жизнь, в которой он мог занять самое большее лишь крайне незначительное место. «Я люблю ее, — подумал он, — но моя любовь просто нелепа». Немного позже, вернувшись на веранду, он обнаружил ожидавшую его Дамаянти. — Я не звала тебя, — со смехом сказала она, — потому что ты выглядел так, будто глубоко задумался. Ты сочинял стихотворение? Джали покачал головой; и некоторое время ему было трудно говорить или даже слушать то, что

она говорит. Но постепенно его настроение улучшилось, и вечер пролетел очень быстро. Когда до полуночи оставалось недолго, она предложила немного прогуляться навстречу Мохану и каравану. Луна, теперь уже высоко, заливала широкую возвышенность светом; они двигались через великое серебристое море, пустое, если не считать нескольких разбросанных падубов, которые темными громадами нависали подобно погруженным в сон чудовищам. Тонкие светлые волосы Дамаянти сияли своего рода ореолом. Ее лоб был бледен, глазницы утопали в тени; более светлые тени впали в ее бледные щеки и шею. Быстро шагая в задумчивости, она наклонилась вперед, откинув голову назад, словно против ветра; и хотя ветра не было, ее тонкое платье развевалось позади нее. Вскоре впереди показалось что-то белое, и через мгновение Джали узнал большой валун, мимо которого проходил днем. Он заметил его, потому что тот стоял одиноко и был похож на жабу. Возможно, Дамаянти выбрала этот валун своим ориентиром; возможно, она остановится, когда они доберутся туда. Он надеялся, что да. Он сказал себе, что, когда они будут сидеть там в ожидании, между ними — без единого сказанного слова — что-то произойдет, так что она узнает, что он чувствует. Когда они добрались до валуна, она быстро обошла его к месту, где можно было легко забраться наверх. Он последовал за ней, и вместе они стояли, уставившись в том направлении, откуда должен был появиться караван Мохана. Но признаков не было, звуков тоже. Серебристая трава тянулась бесконечно далеко; а над ней, очень высоко и очень разреженно, слой серебристых облаков скрывал темное небо позади. В этом затихшем мире ожидание какого-либо движения жизни или даже каких-либо перемен казалось неразумным. Не наступит рассвет; эта ночь с неподвижной луной продлится до конца света. Бросив взгляд на лицо Дамаянти, он увидел там тревогу; но вскоре, повернувшись к нему, она сказала: — Мы с Моханом часто ходим к этому камню. Нам он нравится. Едва она закончила говорить, как его уши уловили стук копыт лошади. Где-то, скрытая ночью, всадница скакала во весь опор. — Слушай! — прошептал она. Она кивнула, ее лицо было сосредоточено. Минуту или больше они стояли неподвижно, пока глухой стук копыт становился громче; затем, почти сразу же, как он был замечен, всадник оказался рядом с ними и осадил лошадь у подножия скалы. Тотчас же она окликнула: — Да, Рабиндра, это я! Какие новости о Принце? — Ему не причинили вреда. Но мои новости плохие. — Подожди! Я спускаюсь. — Она быстро начала спускаться, и Джали последовал за ней. Он уже знал Рабиндру и восхищался им за то, как он помог Мохану с гуджарами. Теперь, слушая его, его восхищение и симпатия возросли. Караван подвергся внезапному и предательскому нападению. На закате, едва войдя в ущелье, раздался выстрел, и за этим сигналом последовала вспышка ружейного огня от нападавших, засевших по обеим сторонам. Совершенно неподготовленные — ибо ни у кого не было причин думать, что у гуджаров есть враги, — караван не смог немедленно ответить на нападение; но как только прозвучал ответный залп, о противнике больше ничего не было слышно; они бежали. Однако уже был нанесен тяжкий вред, поскольку идущие маршем в узком ущелье представляли собой легкую мишень. Рассказав свою историю, Рабиндра опустил глаза и отвернулся. — Сколько убито? — тихо спросила Дамаянти. — Почти половина либо ранены, либо мертвы. Она вскрикнула от ужаса. — Почти половина!

— Да. Мужчины, женщины и дети в равной степени; ведь стрельба велась совершенно беспорядочно. — Но кто были нападавшие? И почему они были так жестоки? Рабиндра горько рассмеялся. — Я поймал одного из них — простого человека, глупого человека. Его напугали ложные сообщения. Ему сказали, что чужаки намеренно распространяют холеру везде, куда бы они ни пошли. С минуту или дольше она молчала; затем она подняла голову и сказала: — А что теперь? Что собирается делать Мохан? — Он отводит гуджаров обратно в Летний дворец. Тех, кто ранен, он разместит в доме. Затем он отправится в Даулатпур, чтобы увидеть Раджу. Он ожидает вернуться сюда завтра. — Я сейчас же спущусь в Летний дворец. По крайней мере, я могу помочь позаботиться о раненых. Рабиндра покачал головой. — Принц предвидел, что вы это скажете, и умоляет вас ни в коем случае не спускаться на равнину. Он хочет, чтобы вы остались здесь с Савитри. Там внизу вы только добавите ему беспокойства. Дамаянти ничего не сказала, и после паузы Рабиндра, спешившийся, повернулся подтянуть подпругу седла. — Я должен вернуться, — пробормотал он. Несколько мгновений никто не двигался; тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием лошади, была глубокой и, в воображении Джали, полной угрозы. — Поверьте мне, — сказал наконец Рабиндра. — Принц прав, прося вас подождать здесь, он будет с вами завтрашним вечером. — И, отдав честь, он вскочил в седло и уехал. По дороге домой между Джали и Дамаянти было сказано мало слов. Джали казалось, что вся ширь земли и неба стала враждебной; в этом бессмысленном нападении на маленькую группу безобидных незнакомцев он видел действие подземных сил, которых он не мог понять. Кто распространил эти слухи о гуджарах? И зачем?

Когда он задал эти вопросы Дамаянти, она покачала головой и не ответила.

Добравшись до дома, они сразу же разошлись на ночь, но перед тем как подняться по лестнице, она остановилась, устремив на него глаза, потемневшие от невысказанной эмоции, и сказала: — Мохан смотрел на этих людей как на детей, вверенных его попечению. Какое влияние это окажет на него, я не знаю. Я только надеюсь... — Оборвав фразу, она отвернулась и быстро ушла.

Джали проснулся рано утром следующего дня и лежал в постели, размышляя о последних двадцати четырех часах. Как полностью изменился внутренний ландшафт его жизни! Дворец Даулатпура отступил еще дальше в прошлое, и он ничего так не хотел, как забыть о нем. В доме царило большое оживление, и спустившись вниз, он узнал от мальчика, принесшего ему завтрак, что оно вызвано неожиданным прибытием около двадцати крестьян из соседних деревень, которые пришли за советом в связи с внезапной чрезвычайной ситуацией. Налоговые сборщики Императора совершили свое весьма страшное появление на плато, и налоги должны были быть собраны впервые по новой системе. — И кто этим занимается? Принцесса? — Да. Она сейчас в большом зале для собраний. — Не будет ли она против, если я войду и посмотрю? Мальчик улыбнулся. — Нет. Войти может любой. Он повел Джали по коридору и распахнул дверь большого сараеподобного помещения, откуда доносился сбивающий с толку гул. Крестьяне стояли

возбужденной толпой на голом полу и перекрикивали друг друга. Дамаянти, сидевшая на подушке в углу, с двумя седобородыми старцами по бокам, даже не пыталась установить порядок. Время от времени она обращала слово к одному или другому, но ее спутники казались либо слишком глухими, либо слишком глупыми, чтобы понять, что она говорит. Она была бледна и выглядела усталой. Постояв нерешительно на пороге минуту, Джали вернулся на веранду, там сел, уставившись на залитую солнцем лужайку. Внезапно к нему вернулись дурные предчувствия. Теперь он слишком хорошо помнил легкую иронию, с которой Бходж и Лакшми намекали на определенные странности в поведении Мохана и его жены, и наконец понял, что они имели в виду. Эти двое взяли Гуру своим проводником; что это означает, он теперь мог видеть; и его новое понимание заставило его дух упасть, а сердце — болеть за них. Есть ли у них хотя бы отдаленный шанс на успех? Нет! Слишком многое было против них. Затем его размышления приняли более личный оборот. Он посмотрел на свою любовь к Дамаянти и увидел ее как нечто хлипкое, бесполезное, незрелое. Как она могла не рассматривать ее в том же свете? — как вещь невесомую в мире, где реальность тяжела и тверда. Труд, конфликт и страдание — вот что составляло основную субстанцию жизней людей. А она, зная это, вряд ли будет иметь много терпения к нему и его телячьей любви. Он все еще был погружен в эти несчастные размышления, когда Дамаянти появилась в дверях, и, хотя ее лицо было печальным, на нем не было того затравленного выражения, которого он ожидал. — Я видела, как вы заглянули, — со смехом сказала она. Одного взгляда было достаточно! Ему нечего было ответить на это, поэтому он спросил: — У вас есть еще какие-нибудь новости о гуджарах? — Да. Сейчас они разбили лагерь в Летнем дворце и вокруг него. Раненых можно хорошо устроить там. — Но умерли еще двое. Во время разговора она села в угол, и теперь наступила тишина, во время которой Джали искал слова, но тщетно: смущение его мыслей и чувств усиливалось застенчивостью. — Разве нет ничего, что я могу сделать? — запинаясь, выдавил он наконец. — Никакого способа, которым я могу помочь? Она снова улыбнулась ему, но грустно, и прежде чем ее ответ успел прозвучать, вырвались его накопившиеся чувства. — Я желаю... О, как бы я желал, чтобы вы объяснили...! — Объяснить? — Да. Я хочу понять ситуацию — всё! Я хочу помочь. Ее глаза ответили на это, и так ласково, что сердце Джали подпрыгнуло. Но она заколебалась и наконец сказала: — Кажется, вы прибыли сюда в неудачный момент. Боюсь... Он издал вздох. — Вы не собираетесь сказать мне, что я не могу остаться? — Нет. Я не собиралась говорить этого, хотя, — она отвела взгляд, — вам было бы лучше, если бы вы ушли. — Что ж! Я отказываюсь. — И он рассмеялся с облегчением. Она продолжала смотреть в сторону. — Боюсь, нас ждет трудное время. Дело идет к развязке. — Расскажите мне! — настаивал он. — Почему мне нельзя знать? Обернувшись, она долго и пристально смотрела на него. — Конечно, вы можете знать. Но с чего мне начать? — С чего угодно! Когда вы говорите о делах, идущих к развязке, что вы имеете в виду? Прибытие налоговых сборщиков? — Отчасти — Видите ли, дело обстоит так: в прошлом году Акбар разработал новую систему налогообложения, и его новые налоги, хотя внешне легче, на самом деле являются «более вымогательскими. Бходж исключительно хороший Раджа, насколько могут быть Раджахи. Чтобы справиться с ситуацией, он снизил свои собственные налоги;

но...» Она резко остановилась и вздохнула. — Если Бходж сделал это, почему тогда не все довольны? — Акбар недоволен потому, что, будучи богатым, он завидует богатству раджей и предпочел бы брать деньги у них, а не у крестьян. Но на это он не осмеливается посягнуть. Бходж недоволен потому, что ему не нравится действовать под давлением такого рода, и многие другие раджи, которые менее богаты или менее щедры, считают его штрейкбрехером. Крестьяне недовольны потому, что знают, что Бходж настолько невероятно богат, что этот небольшой отток из его дохода для него ничто. Они утверждают, что его щедрость вовсе не щедрость, потому что ему самому выгодно не давать им буквально умереть от голода. — Она сделала паузу и улыбнулась. — В некотором смысле, конечно, они правы. — А как же вы с Моханом во всем этом? — Ну, когда Мохан отрекся, у Акбара были личные причины чувствовать к нему неприязнь, и он оговорил, что Мохану следует оставить без каких-либо собственных денег. Он, конечно, не может помешать Бходжу выделять своему брату ежегодное содержание, и Бходж делает это — и делал бы еще охотнее, если бы идеи Мохана на тему денег больше походили на его собственные. К сожалению, он считает идеи Мохана не просто странными, но опасными, даже порочными. — Она снова улыбнулась. — Во Дворце это должно было стать вам ясно.

— Я не уловил, что его идеи считались порочными.

— Мне также не говорили, что дело в деньгах.

— Это потому, что придавать деньгам значение — дурной тон. Чем богаче общественный слой, тем строже табуирована тема денег.

Джали задумчиво улыбнулся. — Это правда.

— Так! Что Мохан делает с деньгами, которые ему даёт Бходж: он созывает всех крестьян этой округи на собрание, чтобы решить, как потратить эти деньги. Они решают, что нам с ним причитается столько-то — и они очень щедры в своём содержании для нас, ибо, как видишь, мы живём вполне в достатке — а остальное делят между собой по потребностям. Если возникают разногласия, их улаживают деревенские старосты. К несчастью, всё это Бходж считает крайне деморализующим. И в каком-то смысле так оно и есть; ведь все деревни за пределами маленького кольца Мохана завидуют тем, кто внутри него.

Джали задумался на мгновение, затем сказал: — Но здешние крестьяне выглядят ещё более тощими и жалкими, чем те, что в низинах вокруг Даулапура. Как же так?

— У Мохана бедный район для его эксперимента. Почва Лаку скудная и каменистая, но даже здесь люди живут не хуже, чем в большинстве частей Индии. И воодушевляет видеть, что зажиточные крестьяне внизу начинают завидовать более бедным здесь, как только понимают, что тут мы живём под другой идеей.

— Значит, деньги — это не всё; деньги — не корень дела.

— Деньги определённо не всё, но деньги — корень дела. Разве Гуру не говорил тебе об этом?

Джали покачал головой, но в этот момент на веранду вприпрыжку вбежала Савитри, и дальнейший разговор стал невозможен.

Днём он отправился кататься верхом в одиночестве, а вернувшись, узнал, что Мохан прибыл около часа назад. Из прихожей он слышал, как тот разговаривает с Дамаянти на веранде, и пока стоял там в нерешительности, присоединиться ли к ним, Мохан окликнул его. В полумраке было трудно разглядеть лица, но он был потрясён переменой, произошедшей с Моханом, который теперь выглядел измученным — почти осунувшимся…

— Садись! — И Мохан продолжил своё беспокойное хождение туда-сюда. — Я рассказывал о моём визите во Дворец сегодня утром. Он прошёл крайне неудовлетворительно. Мне не удалось выкроить у Бходжа ни минуты времени. Они с Лакшми как раз отправлялись с визитом к Сесодиям.

На мгновение он остановился перед Дамаянти, мрачно глядя на неё сверху вниз, затем продолжил: — Я ушёл почти сразу, потому что не собирался тратить время на споры с Моти Сингхом, чего от меня хотел Бходж.

Джали робко спросил, кто такой Моти Сингх.

Вопрос вызвал удивлённый взгляд. — Ты наверняка встречал его во Дворце?

— Не думаю.

— Ну! — И Мохан перевёл взгляд с Джали на Дамаянти и обратно. — Моти Сингх — государственный канцлер и фактотум Бходжа. По сути, он управляет всем государством. Неужели он ни разу не появлялся за трапезой, когда ты там был? Он живёт во Дворце, знаешь ли.

Джали задумался. — Там было столько людей, маячивших на заднем плане. Я не смогу отличить Моти Сингха, разве что это был тот крупный, толстый человек — совершенно лысый — который обычно...

— Нет-нет. Это был Мастер Тигриной Охоты. Моти Сингх гораздо моложе, ему немногим больше тридцати. Прилизанный и аккуратный, в больших очках и со спокойным взглядом; осторожный молодой человек, очень почтительный в манерах по отношению к Бходжу и Лакшми.

— Кажется, я знаю, кого вы имеете в виду. Но неужели это может быть канцлер? Он совсем не казался таким важным, как тот большой лысый человек.

— Тем не менее, это был Моти Сингх, — ответил Мохан; а затем снова устремил на Дамаянти встревоженный взгляд. — Стоило ли мне браться за этого субъекта? Стоило ли? Всё равно бы ничего хорошего не вышло.

Дамаянти вздохнула. — Полагаю, тебе придётся увидеться с ним рано или поздно; но я думаю, ты правильно сделал, что приехал сюда первым. В пылу момента ты мог легко сказать что-нибудь такое, что дало бы ему повод против тебя.

Мохан опустился на диван. С вытянутыми вперёд длинными ногами и подбородком, уткнувшимся в грудь, он уставился в сгущающиеся сумерки. Наступила тишина.

Её нарушил наконец Рабиндра, поставивший перед ним поднос с пальмовым вином. Мохан разлил вино по четырём бокалам и взял один себе. Отпив, он повернулся к Джали и сказал: — Я не уверен, стоит ли позволять тебе оставаться здесь. — Дамаянти, что ты думаешь?

Дамаянти улыбнулась и поднялась на ноги. — Джали говорит, что хочет остаться. — Она подошла к Мохану и положила руку ему на плечо. — Раз уж ты, скорее всего, проведёшь большую часть ночи в зале заседаний...

Мохан, казалось, не услышал, затем резко встал, и вместе они вошли в дом.

Джали посмотрел на Рабиндру, встретился с ним глазами и почувствовал ободрение заговорить.

— Мне здешняя жизнь нравится больше, чем жизнь во Дворце, — сказал он.

Рабиндра улыбнулся.

— Я хочу, чтобы ты рассказал мне, как это началось. Гуру в ответе за это?

— Да. Но Гуру никогда не говорит: «Ты должен сделать то, ты должен сделать это». Принц и принцесса создали эту жизнь для себя сами. — Он остановился, печально покачал головой и начал собирать бокалы, чтобы поставить их обратно на поднос.

— Почему ты качаешь головой?

— Хотел бы я, чтобы Гуру был здесь.

— И что бы он мог сделать?

Рабиндра унёс поднос в дом, и Джали последовал за ним. Затем он принёс лампу из соседней комнаты, поставил её на стол и при её свете задумчиво посмотрел в лицо Джали.

— Я боюсь за принца, — сказал он. — Эта атака на гуджаров разгневала его — и неудивительно! Боюсь, что его терпение истощится; а этого и ждут его враги.

— Кто его враги?

Рабиндра ничего не ответил, но произнёс: — Назревают неприятности.

— Неприятности уже случились, разве нет? Есть голод, война, холера, но... в этом нет ничего нового.

— Нет. В этом нет ничего нового. — Рабиндра коротко рассмеялся. — А вот кое-что новое. С каких пор у бедных, неграмотных крестьян появились мушкеты, пули и порох?

Джали уставился на него и промолчал.

— Мне неспокойно на душе. Последние два-три раза я говорил с принцем, и однажды с принцессой; но мне трудно говорить.

— Почему тебе трудно?

Рабиндра снова нахмурился. — Раджа — брат принца.

— Ну и что с того? Ты ведь не обвиняешь Раджу...?

Лицо Рабиндры стало каменным. — Это сложное дело. Раджу нельзя назвать плохим человеком.

— Нет. Конечно, нельзя.

— Ни глупым человеком.

— Нет — ни тем более этим.

— И всё же он является поборником зол и глупостей. Если бы я сказал ему, что ружья, использованные против гуджаров, прибыли из Дворца, он бы мне не поверил. И всё же это факт, и ему следовало бы об этом знать.

Через минуту Джали сказал: — Полагаю, вы уверены в том, что говорите, но я не понимаю, что получает от этой атаки на гуджаров Раджа — или кто-либо другой во Дворце — Моти Сингх, например. Вы рассказали принцу то, что сейчас сказали мне? — Нет, в каком-то смысле в этом нет необходимости, потому что в глубине души он знает то же, что знаю я. А с другой точки зрения это было бы бесполезнее бесполезного, так как может подтолкнуть его к опрометчивому поступку.

Джали беспомощно уставился на Рабиндру. На него повеяло холодом. Он искал слова — у него была дюжина вопросов, которые он хотел задать — когда Рабиндра быстро сказал: «Я слышу кого-то» — и направился к входной двери. Джали последовал за ним и увидел стоящего снаружи человека. После короткого обмена фразами Рабиндра впустил его внутрь. В прихожей горела лампа, и Джали сразу узнал этого человека. Это был один из слуг его матери.

III

Часом позже, выслушав то, что мужчина должен был ему рассказать, Джали покинул дом и, движимый желанием полного уединения, пошел по тропинке через травянистую равнину. Ночь была теплой и безветренной, небо затянули тучи, на западе всё ещё висело несколько тусклых огней. Долгое время он шел прямо, не отрывая глаз от земли; и мысли об отце настолько завладели им, словно он на время вышел за пределы потока собственной жизни. Когда он наконец остановился и огляделся вокруг, все небо было затянуто серыми облаками, но где-то позади виднелась луна, которая проливала достаточно света, чтобы разглядеть темный пейзаж.

Он думал об отце так, как думают о человеке, который только что умер, и теперь чувствовал к нему близость того рода понимания, которое ждет, пока его не призовет смерть. Теперь он смутно осознавал, что за этот последний час сделал шаг вперед, преодолев свою незрелость. Некоторое время он шел рядом с раджой Амаром не просто как сын, но как товарищ по дороге жизни. И его охватило то желание, которое настигает человека — только тогда, когда уже слишком поздно — сказать другому: «Теперь я с тобой, теперь я понимаю». Он также горячо хотел бы рассказать отцу, в чем заключается его собственная цель. «Я тоже предан этому делу, — объяснил бы он, — Я тоже отправился в путь!»

Ведь если что-то и требовалось, чтобы укрепить его решимость последовать путем Мохана и Дамаянти, то именно это. Он твердо решил сделать их вдохновение своим собственным и действовать под его влиянием так же, как они.

За этим пределом он ничего не мог разглядеть; хотя, впрочем, бредя обратно через равнину, он с величайшей тревогой всматривался в будущее. Его усилия дали лишь один результат — погрузили его в уныние. Потому что теперь, куда бы он ни посмотрел, перед ним вставали воспоминания о Дворце Даулапура, заставлявшие его холодеть. Насмешливые огоньки в глазах Лакшми, спокойные интонации голоса Бходжа казались ему теперь признаками несокрушимой силы. Он отчаялся не только за Мохана и Дамаянти здесь, но и за себя в Видьяпуре. Ведь хотя это было правдой, что условия дома будут совсем другими, враг всегда оставался одним и тем же.

Какое-то время вдали были видны отблески лагерных костров, и теперь, подходя ближе к дому, он увидел группы крестьян, собравшихся снаружи зала заседаний, дверь которого была забита людьми, проходившими туда и сюда. В свете костров маленькие темные фигурки выглядели как насекомые. Они бегали туда-сюда по траве, которая была наполовину окружена высокой грядой деревьев. Утром он заметил эту поросшую лесом бухту как место великой красоты. «Но завтра, — размышлял он, — эта красота будет обезображена. Повсюду будет валяться грязный мусор, листья на этих ветвях обгорят, в траве выжгут обугленные дыры».

Подойдя к открытой двери зала заседаний, он заглянул внутрь. Место было ярко освещено, и, сидя на корточках полукругом на полу, находились двадцать или тридцать крестьян, которых он счел старостами соседних деревень. Скрестив ноги на земле среди них сидел Мохан, и он, как и остальные, не сводил глаз с мужчины средних лет, который, казалось, произносил речь. Вот только изо рта говорящего не вырывалось никаких связных слов. Его кулак был поднят так, будто он вбивал довод, он наклонился вперед, глаза налились кровью, губы дрожали, но никакой речи не звучало. Это хрипящее, стонущее молчание было мучительно наблюдать, и слушатели зашевелились и зашептались. Затем женщина, очевидно его жена, подошла к его боку, и слова полились из её рта сплошным потоком. Мужчина попытался оттолкнуть её назад, но раздалось несколько голосов: «Пусть говорит женщина! По крайней мере, язык у неё есть».

Пока его жена держала слово, мужчина поворачивал голову то туда, то сюда, глядя глазами, которые ничего не понимали. Всё здесь было странным. Действительно, весь мир был для него странен, кроме почвы и труда по её возделыванию. Тяжесть земли читалась не только в его плечах и руках, но и в веках и обвисшей челюсти. Труд лежал на нём тяжелыми цепями; его разум не мог приподняться даже в этот момент крайности. Что он узнал за сорок лет своей жизни? Глинобитные стены и земляной пол хижины, с мотыгой, прислоненной в углу. А теперь от него потребовали поднять свой разум над землей, говорить, объяснять, спасти себя; и он не смог.

Джали завороженно смотрел на него, когда услышал голос сбоку. — Это Лалу, — прошептал Рабиндра, — из Нурабада. Налоговые инспекторы прибыли туда сегодня утром. Ему пришлось туго, и мы пытаемся выяснить у него, как работает новая система Императора. Но он не понимает ничего, кроме того, что они забрали практически всё, что у него было — запас проса, козлов, его единственный медный котелок — и говорят, что он всё еще должен им сорок пайс. Посмотри, как встревоженно слушают остальные! Скоро придет их черед; и если они окажутся такими же неподготовленными, как Лалу, их участь будет такой же.

Жена Лалу всё ещё говорила. Это была крепко сложенная, грубая на вид женщина, находившаяся на позднем сроке беременности, которая смотрела на свою аудиторию свирепым видом. Однако, несмотря на многословность, она не могла дать никакой ценной информации. Ей бросали вопросы, но она их игнорировала. Джали увидел, как на нескольких лицах собирается гримаса нетерпения, и вскоре Мохан и мужчина, сидевший справа от него на корточках, начали тихо переговариваться друг с другом. Подобные разговоры завязались повсюду, но женщина вместо того, чтобы замолчать, стала говорить только быстрее и громче.

Комната наполнилась гулом голосов, когда кто-то с силой протолкнулся сквозь толпу у двери, и в следующий миг высокий мужчина лет тридцати с мощными плечами встал в центре пола. Всякий разговор прекратился, и теплый ропот приветствовал новоприбывшего. — Теперь мы что-нибудь услышим! — с удовлетворением произнес Рабиндра. — Это Такху, староста Нурабада, а он не дурак.

Что-то в лице Такху глубоко тронуло Джали. Это было простое, энергичное, доброе лицо, а глаза светились умом. Смахнув пот со лба большой грязной рукой, Такху обвел улыбчивым взглядом справа налево всё собрание и тут же заговорил. Он дал подробное описание действий налоговых инспекторов, как наблюдал их бóльшую часть дня, но, к сожалению, то, что Такху увидел и понял, было не более чем внешними деталями, а не их значением. «Затем маленький сборщик налогов в синем тюрбане открыл „еще одну большую книгу“ и записал четыре цифры в ряд; одна была большая, одна маленькая, две другие — среднего размера. Затем он подумал минуту и сказал Мирадж Дину: „Ты должен Его Императорскому Величеству четыреста пайс“». Круг слушателей вскоре начал задавать вопросы, и они принялись качать головами. Что означают эти цифры? Налоговые инспекторы всегда были вымогателями: теперь же они казались не только вымогателями, но и безумцами. Почему Мирадж Дина, чье семейство находилось на грани голодной смерти, заставляют платить четыреста пайс, которых у него нет, тогда как Рама, сравнительно благополучный, отделался тремястами пятьюдесятью? Вопросы и взгляды мольбы бросались Мохану настойчивее прежнего. «Это тот самый случай, который он понимает», — услышал Джали чей-то голос. «Пусть объяснит». А тощий старик слева от Мохана то и дело тыкал его костлявым локтем под ребра — очень к досаде Мохана, так как он был занят тем, что перелистывал страницы копии новых указов Акбара, и выражение его лица показывало, что он разделяет общее недоумение. Тем временем Лалу и Такху принялись сверять свои записи, и Джали оказался достаточно близко, чтобы слышать, о чем они говорят. К его удивлению, Лалу не только вновь обрел дар речи, но и проявлял немалую смекалку. Джали слушал внимательно, и ему пару раз удалось уловить смысл там, где это не удавалось Такху. Поэтому он вышел вперед и стал выступать переводчиком. С этого момента он полностью погрузился в то, что делал. Атмосфера была напряженной, каждый разум работал на пределе своих возможностей. Ибо действительно, поставленные вопросы были вопросами жизни и смерти.

Время шло; и когда он пришел в себя, то осознал, что Рабиндра тянет его за руку и кивает в сторону открытой двери. Он последовал за ним, не без колебаний, и снаружи вопросительно посмотрел ему в лицо.

Рабиндра поднял руку и указал: — Принцесса вон там и хочет, чтобы ты поужинал с ней.

Джали посмотрел через открытое пространство и увидел Дамаянти и Савитри, сидящих на небольшом холмике на краю леса. Между ними и им сейчас суетилась оборванная толпа женщин и детей, занятых вечерней трапезой, наполнявшей воздух своими запахами. Мать и дочь разговаривали с большим оживлением, и они тоже ели во время разговора. Даже с такого расстояния было видно, что Савитри находится в состоянии приятного возбуждения. Сидеть допоздна далеко за пределами своего обычного времени отхода ко сну, устраивать пикник при свете костров под деревьями и, прежде всего, принимать участие в таком великом деле, как это — весь этот шум и необычность, раскинувшиеся перед её глазами — что, в самом деле, могло быть восхитительнее?

Пробираясь сквозь толпу, Джали подошел к Дамаянти и бросился на землю рядом с ней. Она начала накладывать ему рис и кардамон, но Савитри забрала деревянную тарелку из её рук. — Нет-нет! Это моя вечеринка. Вы должны позволить мне делать всё самой.

На какое-то время беседа также осталась целиком в руках Савитри, и Джали довольствовался едой и питьем — но больше для того, чтобы доставить удовольствие ребенку, чем удовлетворить настоящий голод. Его разум и сердце были переполнены, и, глядя через плечо на Дамаянти, он жаждал излить ей душу. Возможно, она это заметила, ибо вскоре сказала: — Савитри, посмотри на беднягу Рабиндру вон там! Ему отчаянно нужна твоя помощь. Почему бы тебе не...? Но Савитри уже вскочила на ноги и убежала.

Дамаянти наклонилась вперед, заглядывая ему в лицо. — Надеюсь, тот вестник не принес тебе плохих новостей?

— Нет. — И несколькими словами он рассказал ей, каким было послание. Он рассказал ей также, какие мысли сопровождали его во время одинокой прогулки, и здесь опять-таки нескольких слов оказалось достаточно. Большинство сомнений и опасений, на которых он останавливался, потеряли свое значение, ибо то, что он чувствовал сейчас, было хваткой жизненного интереса, прямым спонтанным побуждением, которому не нужно было ничего объяснять или оправдывать. Он сказал: «Теперь мне кажется вот как: если видишь человека, борющегося на дне колодца, тебя охватывает желание сделать всё возможное, чтобы вытащить его оттуда. Если человек умирает от голода, естественный порыв — поделиться с ним своей едой. Разве лишь подумав второй раз, люди не делают этих вещей? Общество представляется мне организованной системой довольно подлых, вторичных мыслей. В теории общество, несомненно, помогает людям помогать друг другу, но на деле оно предоставляет каждому человеку доводы в пользу помощи самому себе, а не другим». Он посмотрел на неё озадаченными глазами. — Я говорю чепуху? Неужели всё может быть так просто?

— Да. — Она кивнула и улыбнулась. — Полагаю, именно так всё и есть — если свести это к сути. Но...

— Но что?

— Видишь ли, простые вещи не обязательно бывают легкими.

— Кажусь ли я тебе очень инфантильным?

— Нет. Но когда ты начнешь пытаться воплотить свои идеи в жизнь...

— Я потерплю неудачу. Да, в это я вполне могу поверить.

Она улыбнулась. — Мир не изменится за один день.

— Всё равно вы с Моханом меняете его маленькую частичку.

— Даже не это! — Она покачала головой. — Я имею в виду — навсегда. Эта наша попытка неизбежно закончится провалом.

— Почему?

— Потому что она, в некотором смысле, преждевременна. Но это не значит, что попытку совершать не стоит. Люди должны продолжать попытки. Иначе вообще никогда не будет никаких перемен.

Последние слова она проговорила довольно поспешно, одновременно поднимаясь на ноги, и Джали, следуя направлению её взгляда, увидел, что в одной из освещенных огнем групп происходит нечто. Там собрались и Савитри, и Рабиндра; и теперь раздался плач, показавший, что произошла смерть.

— Это младенец, — сказала Дамаянти через плечо. — Он был очень болен. Я знала, что он должен умереть. — И она поспешила вниз с небольшого холмика навстречу стенающим женщинам.

Какое-то время Джали оставался на месте. Слова Дамаянти придали ему сил, ибо дух, которым они были проникнуты, был именно тем, что он так недавно открыл в себе самом. Как во сне, он наблюдал за сценой перед собой. То здесь, то там в костры бросали смолистые ветки, чтобы разжечь пламя, и, пока темные листья трещали и взрывались, столбы золотых искр взмывали в воздух. Свет костра румянил лица — одни улыбающиеся, другие пустые, одни нахмуренные, а другие печальные.

Когда он вернулся в зал заседаний, оказалось, что был достигнут прогресс. Выяснилось, что сборщики налогов неверно истолковывали некоторые пункты указа Акбара. Но, к сожалению, новые законы, даже при их правильном толковании, грозили оказаться не менее гнетущими, чем старые. Как только это было понято, над собранием сгустилась мрачная тень, кое-где углубившаяся до состояния, напоминающего отчаяние. Долгие периоды молчания чередовались с бормотанием в разных группах. Мохан, выглядевший очень измученным, всё еще перелистывал страницы Имперского Указа; он казался беспомощным перед лицом общего уныния.

Сердце Джали устремилось к нему. Было нетрудно заметить, что он плохо подготовлен к борьбе на этой конкретной почве. Здесь требовались хладнокровие и расчетливость, а у Мохана по всем признакам голова была далеко не самой ясной. Молодой человек уже собирался двинуться к его стороне, когда встал крестьянин средних лет, который казался сравнительно зажиточным, и попросил разрешения говорить. Его действие вызвало тихий ропот, словно некоторые из присутствующих как минимум догадывались о том, что сейчас произойдет. Говоря резким, деловым голосом, Умед Сингх — ибо так его звали — напомнил собравшимся, что из четырех тысяч золотых мухров, ежегодно выделяемых Моханy Бходжем, было решено, что Мохан должен оставлять себе двести. Это означало, что у него оставалось более половины золотого мухра, чтобы тратить каждый день в году.

Это слишком много — особенно теперь, когда всех остальных приблизили к голодной смерти больше прежнего. Он предложил сократить содержание наполовину; и даже тогда Мохан остался бы самым богатым человеком в комнате, несмотря на тот факт, что он, в отличие от других, не вынужден трудиться каждый день в поле.

С началом речи Умеда Сингха лицо Мохана залила густая краска, но она постепенно спала; и он продолжал слушать со спокойным вниманием, которое нисколько не выдавало его внутренних чувств. Все глаза были прикованы к нему, и когда Умед Сингх снова сел, воцарилось глубокое выжидательное молчание. Обводя взглядом круг нетерпеливых лиц, Джали преисполнился негодования, ибо большинство показывало слишком ясно, что надежда получить несколько лишних пайс оставляла мало места для каких-либо иных мыслей.

Подождав несколько мгновений, не захочет ли высказаться кто-нибудь еще, Мохан поднялся. Ни в тоне его голоса, ни в манерах не было ничего, что показало бы, будто он рассержен или разочарован. Суть его ответа, сделанного в нескольких коротких предложениях, заключалась в том, что семь лет назад он передал присутствующим ответственность за распределение денег, выделенных ему раджой Бходжем, и что у него нет желания изменять этот порядок. Действительно, он не считал, что имеет на это право. Итак, чтобы оставить им больше свободы для обсуждения нового распределения, он удалится. И с этими словами он повернулся и вышел из комнаты.

Несколько мгновений никто не говорил, никто не шевелился. Затем поднялся великий шум. — Почему позволили говорить этому шакалу Умеду Сингху? На нас навлекли позор. Теперь нам придется ползать, как побитым собакам. Принц разгневан, и виноват в этом Умед Сингх. Вышвырните шакала из зала! — Кто знает, чего принц в своем гневе не сделает? Нет-нет! Принц хороший человек, но ему стыдно за нас, и у нас есть причина прятать головы. Ахи! ахи! это день бедствия. Принц теперь совсем нас оставит. Поколотите Умеда Сингха! Поколотите его! и тогда принц увидит, что мы не разделяем его мысли. — Ради нескольких лишних пайс мы рискуем потерять всё. — Что такое несколько пайс по сравнению с другом? — Да, принц был другом, но теперь мы оскорбили его.

Тяжело болея душой и чувствуя, что ему здесь не место, Джали вышел в ночь. Костры теперь сильно прогорели, и те, кто сидел вокруг них, сбились в кучу, собираясь спать. Внезапно ощутив огромную усталость, молодой человек поднялся в свою комнату.

IV

На следующее утро Джали встал рано и позавтракал с Рабиндрой. От него он узнал, что Умеда изгнали с собрания и что Мохан уступил уговорам вернуться. Все присутствующие тогда в один голос заявили, что не желают уменьшать содержание Мохана. Но тот ответил

на это, что у него было именно такое намерение — только Умед Сингх опередил его — сказать, что он хочет взять на себя свою долю любого нового бремени, которое может пасть на остальных. Он попросил вновь рассмотреть этот вопрос, как только станет лучше известен эффект от новых налогов, а также пригласить Умеда Сингха вернуться, когда состоится следующее собрание. «Все они ушли, испытывая глубочайший стыд за самих себя, — заключил Рабиндра. — И их уважение к Князю теперь даже больше прежнего».

Ободренный этой новостью, Джали вышел и присоединился к Савитри для прогулки по саду и лесу позади дома. По возвращении он застал Дамаянти на веранде и не замедлил рассказать ей, как он рад тому, что крестьяне нашли в себе благодать постыдиться самих себя. Она выглядела подавленной, и пока он говорил, она качала головой. «К сожалению, нет никакого толку заставлять людей стыдиться самих себя. По крайней мере, не таким образом. Однако…» — «Но ведь вечер закончился не так уж плохо?» — «Нет, не так уж плохо». Она помедлила, затем сказала: «Давай больше не будем об этом думать». Мгновение спустя в дверях появился Мохан. На его лице было выражение веселья; вид у него был человека, которому есть что объявить. Тщательно затворив за собой дверь, он громким шепотом произнес: «Моти Сингх здесь!» — «Моти Сингх!» Мохан указал в сторону гостевой комнаты. «Да, там! Он смывает дорожную пыль». — «Но — что это значит?» С улыбкой и пожатием плеч Мохан сел и принялся есть виноград, лежавший на столе. «Дорогая моя, понятия не имею». Дамаянти повернулась к Джали. «За всю его жизнь Моти Сингх ни разу не бывал здесь. Он очень сильно недолюбливает нас обоих. — Мохан, что бы это могло значить? Какую причину своего прихода он назвал? Ведь он должен был хоть что-то сказать, чтобы объяснить это». — «Похоже, Сесодия отозвал свое приглашение Бходжу и Лакшми. Они уже выехали и находились примерно в десяти милях от города, когда им встретился посланец от Сесодии и сказал: „Нет-нет! Вы нам всё-таки не нужны“». Дамаянти на мгновение онемела, затем воскликнула: «Ты шутишь!» Мохан покачал головой. «Я передаю тебе то, что рассказал мне Моти Сингх. — Это не шутка, хотя и забавно». — «Мохан! Это не смешно. Что чувствуют из-за этого Бходж и Лакшми?» — «Легкое удивление, я полагаю». Дамаянти повернулась к Джали. «Если это действительно произошло так, как описал Мохан, я просто не могу представить, что они чувствуют. Сесодия, знаешь ли, самый влиятельный человек во всей Индии — я имею в виду в обществе. Его жена — двоюродная сестра Лакшми, и она всегда ее недолюбливала. Мадасена ухватится за любой предлог, чтобы дать отпор Лакшми, и это должно означать, что она нашла такой предлог». Здесь Дамаянти умолкла, затем снова обернулась лицом. «Мохан, прошу, обрати внимание! Тот факт, что Моти Сингх приехал сюда вот так, наводит на мысль, что мы тоже замешаны. Намекал ли он на это?» — «Нет — если только ты не считаешь намеком…» — «Что?» — «Те торжественные и укоризненные взгляды, которые он бросал на меня». — «О! Он бросил на тебя укоризненные взгляды?» — «Да. Но это могло быть потому, что я смеялся. Так или иначе, скоро мы все узнаем». Дамаянти задумалась. «Полагаю, тебе следует увидеться с ним наедине — по крайней мере, поначалу». — «Хорошо!» — «И возвращайся как можно скорее». Мохан поднялся с усмешкой. «Не ждите

меня обратно два-три часа. Мы со стариной Моти посидим над пальмовым вином и будем травить байки до бог знает какого времени. Разве вы хотите торопить нас?» После того как дверь закрылась, ненадолго повисла тишина; затем Дамаянти сказала: «Может показаться нелепым придавать такое значение отмененному визиту; но уверяю вас, возможные последствия…» Взгляд Джали оставался прикованным к ней в немом вопросе.

— «Все эти годы, — продолжала она тихим голосом, — я со страхом ждала разрыва между Моханом и Бходжем. Видишь ли, хотя они так непохожи по натуре, они очень любят друг друга. А теперь…» Подняв голову, она бросила на него долгий задумчивый взгляд. «Хочешь, я расскажу тебе об этом?» — «Пожалуйста!» — с жаром сказал Джали. — «Мы с Моханом женаты девять лет. После свадьбы мы обосновались в Летнем дворце. Бходж и Лакшми считали наш образ жизни довольно эксцентричным, но не более того. Влияние Гуру тогда было не таким сильным или распространенным, да и мы сами, и Бходж еще не осознали, что означают учения Гуры. Индия всегда была полна святых людей, проповедующих религию свободы и равенства, но без каких-либо практических результатов. Только когда мы переехали сюда и начали правильно претворять идеи Гуру в жизнь, Бходж и Лакшми поняли, что эти идеи иные — и опасные». Джали улыбнулся. «Я понимаю. Нет никакой опасности в религии до тех пор, пока она не затрагивает вопроса о деньгах». — «И все же Гуру никогда не говорит ни о деньгах, ни о политике. Он лишь указывает на то, что дружба требует дружелюбия. Если дружелюбное поведение совсем не похоже на обычное, это не его вина. Все, что мы делаем здесь, — это пытаемся относиться к нашим соседям как к друзьям. Когда Мохан получил от Бходжа четыре тысячи золотых мухуров, естественным и дружеским поступком для него было разделить эти деньги со своими друзьями здесь, которые все были на грани голодной смерти». Джали обдумывал это; и он все еще размышлял над этим, когда появился Мохан. Его лицо изменилось. На нем появилось такое выражение, что юноша быстро взглянул на Дамаянти, и увидел тревогу, если не страх, в ее глазах. Мохан снова тщательно затворил за собой дверь, затем сказал: «Моти Сингх остановился по пути сюда в Летнем дворце, и у него хватило наглости отдать приказ перенести раненых Гуджаров из дома». Дамаянти глубоко вздохнула. «Этот приказ был выполнен?» — «Нет. Не был. Наши люди позаботились о том, чтобы ничего не менялось. И Моти Сингх поскакал дальше». Мохан сел; они продолжали смотреть друг на друга. — «Он утверждает, что имеет какие-то полномочия от Бходжа?» — спросила она наконец. — «Мне кажется, он утверждает, что имел расплывчатые указания — ничего определенного. Я воздержался от слишком тщательных расспросов». Он тихо рассмеялся. «Правда заключается в том, что Бходж и Лакшми, которых только что повернул назад посланец Сесодии, думали ни о чем другом, кроме этого». — «Какой предлог привел Сесодия?» — «Он заявил, что местность, через которую им пришлось бы проезжать, находится в таком беспокойном состоянии, что путешествовать небезопасно — по крайней мере, для таких людей, как Бходж». — «Понимаю. Он целит в нас». — «Именно! Он говорит, что „подрывные влияния“, действующие в государстве Даулапур, уже настолько деморализовали его собственных крестьян, что он не может нести ответственность за их

поведение. Разумеется, это полная чепуха, и он знает, что Бходж знает, что это чепуха. Это его способ дать ему намек». Горячий свет погас в глазах Дамаянти; она закрыла их руками. «О, Мохан!» — пробормотала она. — «Он продолжает обещать Бходжу другое приглашение позднее — как только страна станет безопаснее». — «Понятно». Мохан больше ничего не сказал. Лицо его застыло; он смотрел прямо перед собой. Тишина длилась несколько минут. Наконец Дамаянти издала какой-то звук, словно собираясь заговорить, но сдержалась и одновременно остановила полу-движение в сторону Мохана. Он слабо улыбнулся и сказал: «Я поспешно оставил Моти Сингха, потому что почувствовал, что еще мгновение — и я потеряю терпение». Она глубоко вздохнула. «Да, когда ты вошел в первый раз, мое сердце упало. Я боялась…» — «Нет». Он покачал головой. «За последние семь лет я кое-чему научился». После паузы, во время которой она, казалось, ушла мыслями очень далеко, она вернулась к действительности со вздохом и, быстро обернувшись к Мохану, сказала: «Но что привело Моти Сингха сюда? Чего он на самом деле хотел?» — «А!» Мохан коротко рассмеялся. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы выяснить это. Но в конце концов я вытянул из него. Он хочет, чтобы я убедил Гуру покинуть страну. Он говорил Бходжу, что ничто не удовлетворит Сесодию, кроме изгнания Гуру». — «Или нас». Мохан поморщился, а затем процедил сквозь зубы: «Да. Или нас. — Этого могло быть достаточно. Это выглядело бы тяжелым поражением для Гуру». Снова повисла тишина. И теперь они даже не смотрели друг на друга. Взгляд Дамаянти был устремлен вдаль; Мохан, положив локти на колени, смотрел в землю. Но когда он снова заговорил, это было так, словно из единого общего забытья. «В конце концов, если случится самое худшее…» И ее губы закончили фразу. «Мы можем уехать. Да, это не будет концом всего». Немного позже, сидя у пруда Вишну, Джали невидящим взглядом уставился на спящего бога. Водную гладь не колыхало дыхание, гроздья вьюнка висели неподвижно, ничто не двигалось, кроме маленьких зеленых ящериц, которые бегали вверх-вниз по теплому камню. Он сидел там, где сидела Дамаянти в тот первый день, когда ее листы рукописи ветром занесло в воду. История ее жизни! Что ж, печально подумал он, сейчас к ней добавляется жалкая глава. По дороге обратно он остановился на краю лужайки и посмотрел через нее на дом. Дом был знакомого образца, сложенный из массивных балок некрашеного дерева, с крышей из обожженной черепицы. Ему нравилась его длинная низкая фасадная стена и то, как края крыши загибаются вверх на углах на местный лад. Со своими деревянными ставнями и деревянными ступенями, горшками с базиликом и ноготками и золотыми тыквами, стоящими то тут, то там на балконе, он обладал домашним уютом, который казался Джали очень трогательным.

Веранда была пуста, но когда он подошел к ней, появился Рабиндра и спустился по ступеням. Мохан, сказал он, решил отправиться в Даулапур этим же днем, увозя с собой Моти Сингха. «Они вместе поедут прямо во Дворец. Это единственный способ убедиться, что Раджа не получит искаженный отчет обо всем». Джали кивнул. «Они отправятся, как только немного перекусят». Джали прошел дальше в дом и был несколько обескуражен, обнаружив себя наедине в комнате с Моти Сингхом. Мужчина выглядел серьезным,

озабоченным и одновременно скучающим. Он рассеянно ответил на приветствия Джали, а затем, отвернувшись, продолжил бродить по комнате. В задумчивости он брал то один, то другой предмет, смотрел на него с полным отсутствием интереса и снова ставил на место. Джали краем глаза наблюдал за ним с глубоким любопытством. Моти Сингх имел внешность и манеры хорошо вышколенного секретаря, и Бходж с Лакшми всегда и обращались с ним как с таковым. Но его личность, теперь осознал Джали, отнюдь не была незначительной. Его твердый, настороженный взгляд, размеренные движения и спокойная уверенная речь принадлежали человеку, который от природы держится начеку со своими собратьями-людьми, а благодаря опыту уверен, что берет над ними верх. Услышав, как он говорит, можно было бы поверить, что ему пятьдесят лет; глядя на него, трудно было дать ему больше двадцати пяти. Вскоре вошли Мохан и Дамаянти, и был подан обед, во время которого Моти Сингх сохранял холодную и осмотрительную вежливость. Его манера общения с Бходжем и Лакшми всегда была осторожной, но никогда — такой холодной. У него была привычка сочетать самоуверенность с нерешительной — и даже почтительной — манерой речи. Он никогда не говорил настойчиво, да и вообще не производил впечатления человека, хоть сколько-нибудь заинтересованного в том, о чем говорит, и тем не менее ему удавалось создавать впечатление, что его замечания ценны — даже когда это было не так. Лишь однажды в его голосе проскользнуло некоторое тепло, и случилось это, когда ему пришлось упомянуть об отзыве приглашения Сесодией. Тогда, словно извиняясь за то, что вообще упоминает столь чудовищный поступок, он добавил в сторону, что действие Сесодии, разумеется, имело лишь политическое значение. В последний момент Дамаянти решила проводить Мохана до края плато и пригласила пойти с ними и Джали. Соответственно, в путь отправилась компания из пяти человек: впереди ехали Мохан и Моти Сингх, чуть позади — Дамаянти и Джали, а замыкал процессию Рабиндра. День выдался ясным и ветреным. По небу гнало большие белые облака, и пятна тени стремительно бежали по траве. Когда они достигли утеса, все остановились, и пока Дамаянти обменивалась последними словами с Моханом, Джали посмотрел вниз на равнину. У самых его ног раскинулся парк Летнего дворца, далее простирались мили возделанной зеленой земли, а в синей дымке лежал город Даулапур. Глядя на огромный Дворец раджи Бходжа посреди него, он вспомнил древний муравейник на пустыре за конюшнями у них дома. Тот муравейник действительно представлял собой величественное сооружение. Многовековое, башнеобразное и многоярусное, просторное и запутанное, оно свидетельствовало о хорошо упорядоченном усердии бесчисленных поколений. Несомненно, во всей Индии не было ни одного дворца, который мог бы сравниться с ним как памятник, подтверждающий социальную стабильность и верно соблюдаемые традиции. Возможно, подумал сейчас Джали, именно поэтому ребенком он испытывал непочтительное удовольствие, тыкая в него палкой.

V

Следующие несколько дней в Хава-ГХари прошли очень тихо. Большую часть времени Дамаянти занимали крестьяне, и пока она была этим занята, Джали проводил много часов в одиночестве, бродя по широкому лугу или в лесу позади дома.

Он обнаружил, что его мысли настойчиво обращаются в сторону Дворца; и через некоторое время он поддался этой одержимости с неким злым удовольствием. Это служило ему отвлечением от любви к Дамаянти. О ней он не мог думать без того, чтобы не впасть в уныние, которое слишком часто окрашивалось ревностью. Он ревновал ее не столько к Мохану в частности, сколько ко всему, что наполняло ее внешнюю или внутреннюю жизнь. Он видел ее жизнь полной и завершенной без него, тогда как его собственная жизнь без нее простиралась перед ним весьма тоскливо.

Каждое утро он спрашивал, какие новости пришли от Мохана, и день за днем ее ответы были обескураживающими. «Но, в конце концов, все могло быть и хуже», — обычно добавляла она. — «Попытки Моти Сингха форсировать вопрос до сих пор проваливались».

Джали слушал, хмурясь на лице. Ему стоило величайшего труда не разразиться тирадой.

Однажды утром она сказала: «Признаюсь, я становлюсь все более обеспокоенной. Бходж и Сесодия продолжают обмениваться вежливыми письмами, но никакого продвижения нет. Сесодия продолжает повторять, как сильно он желает, чтобы визит состоялся; но дата остается неопределенной. И я боюсь, теперь выглядит так, будто эта дата, скорее всего, останется неопределенной, пока Бходж не уступит». — «В каком вопросе он должен уступить?» — «Это остается довольно расплывчатым. Сесодия продолжает говорить о „подрывных влияниях“, и он создал объединение Раджей и Вельмож, в которое хочет вступить Бходж. В это объединение, по-видимому, входят и богатые купцы — фактически, любой, кто обладает богатством и властью. Моти Сингх не вполне одобряет допуск купеческого сословия, но тем не менее настаивает, чтобы Бходж вступил. Мохан категорически против этого объединения. Происходит множество маневров; а Лакшми становится очень нетерпеливой». — «Нетерпеливой из-за того, чтобы нанести этот визит?» — «Да. Я имею в виду, ей было бы очень жаль поссориться с Сесодией. Поддерживать хорошие отношения с ним и его друзьями — которые также являются и ее друзьями — для нее очень многое значит. Ей и Бходжу будет довольно тяжело, чувствует она, если их заставят страдать за мнения, которых они на самом деле не придерживаются. Но Бходж еще не склонен сдаваться. У него большая прозорливость. Он знает, что Акбар сочувствует массам и враждебен Раджам. Думаю, у Бходжа есть предчувствие, что в долгосрочной перспективе его нынешняя терпимость к Гуру может обернуться ему на пользу». — «А Лакшми? Она думает иначе?» — «Лакшми не смотрит далеко вперед. Сейчас она не видит причин рисковать потерей положения, популярности или престижа».

Джали рассмеялся. «Ее палец всегда лежит на пульсе ее маленького круга друзей. Я заметил это. И, как ты говоришь, зачем ей рисковать непопулярностью? Люди вне ее мира реально не существуют для нее. То, как они живут — или умирают, — не ее дело». — «Что ж! Она не понимает, почему должна приносить личные жертвы ради странных и неудобных идей Мохана. Она бы сказала, что если в этом вопросе есть правое и неправое, то вероятности таковы, что мир прав, а Мохан ошибается».

Дамаянти говорила прямо, но без враждебности. Джали же дышал учащенно, и кровь прилила к голове. На мгновение их взгляды встретились; затем, отвернувшись, он сказал: «Если вы способны сохранять хладнокровие, то я тоже должен суметь. В конце концов, лишь несколько дней назад я убеждал себя, как это делает Бходж, что существующий порядок вещей установлен Природой и одобрен Богом. Бходж считает, что во веки веков на вершине общества должно находиться несколько очень мудрых, богатых и культурных людей (таких, как он сам), а чем ниже спускаешься по социальной лестнице, тем меньше мудрости, богатства и культуры. Он ни за что на свете не согласился бы устроить общество иначе. А что касается Моти Сингха, это создание…» Он осекся. — «Дорогой мой, — сказала Дамаянти, — хотела бы я, чтобы ты поговорил с Гуру об этих вещах, как это сделала я». — «Хотел бы я смочь».

Она мгновение изучала его молча, затем пробормотала: «Я помню, как он однажды говорил, что лучше ненавидеть и преодолеть свою ненависть, чем вообще никогда не пробудиться к чувству ненависти».

Джали покраснел еще гуще. «Я все еще далек от преодоления своей ненависти», — ответил он.

Прошла еще неделя, и отчеты Мохана становились не лучше, а хуже. Теперь Моти Сингх настраивал зажиточных горожан, касту банья, против простого народа, и в особенности против Гуру. Был пущен слух, что Гуру сформировал тайное общество для убийства богатых и захвата их богатства.

Лицо Джали потемнело, пока он слушал эти новости. Он все еще молча обдумывал их, когда Дамаянти с легким возгласом отчаяния отложила свое письмо. «Рандхир умер!» — воскликнула она. — «Умер? — от холеры?» — «Да. От холеры». На минуту оба застыли на месте. Дамаянти смотрела прямо перед собой, и лицо ее было печальным. «Мне жаль, — сказала она наконец. — Я очень любила Рандхира — как и Мохан». Отодвинув письма от себя, она встала, подошла к краю веранды и выглянула наружу. Взгляд Джали последовал за ней и задумчиво остановился на ней. — «Я хотел бы задать тебе вопрос, — сказал он наконец. — Разве смерть Рандхира не была ожидаемой?» — «Да. Полагаю, что так». Он нахмурился, начал говорить, но осекся. Лицо Рандхира возникло в его мысленном взоре, и за его беспечной улыбкой он увидел — яснее, чем когда-либо прежде, — дух, погрязший в безнадежности. Но почему Рандхир был безнадежен? Что случилось, отравив источники жизни в нем? — «Я хочу задать тебе еще один вопрос, — внезапно выпалил он. — По-

твоему, была ли смерть Рандхира хорошей смертью? То есть, считаешь ли ты ее достойной? или необходимой?» — «Едва ли можно сказать „необходимой“». — «Но достойной?» — «Я восхищалась Рандхиром. Как и Мохан». Джали промолчал. Через мгновение она вернулась на свое место и снова взяла в руки письма. «Есть шанс, что Гуру может приехать сюда, — сказала она. — Ему нездорово, и отдых пошел бы ему на пользу. — О, послушай-ка! Это почти комично. Моти Сингх по-прежнему продолжает свои попытки выставить раненых Гуджаров из Летнего дворца!» Джали буквально заскрежетал зубами. «Клянусь всеми богами! Этот человек едва ли является человеком». Она рассмеялась. «Напротив, слишком уж человеком. Для него Бходж и Лакшми — словно боги. Защита существующего положения вещей — его религия». — «А какова религия Бходжа и Лакшми?» Дамаянти ничего не ответила. — «Мне кажется, — сказал Джали со злобной размеренностью, — что их бог — это тот, кто требует человеческих жертвоприношений. Раджа Рандхир принес себя в жертву на этом алтаре». Она бросила на него быстрый взгляд, затем сказала: «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но ты несправедлив. Рандхир воспитывался в определенных традициях. Он был раджпутом; это у него в крови». — «Я нападаю не на его рыцарство и не на его храбрость; я нападаю на то, для каких целей его приучили их использовать. Я думаю о том, что ты рассказала мне о его матери на днях». — «Что же я сказала?» — «Ты сказала, что она была одной из самых гордых и консервативных старух, которых ты когда-либо встречала. У нее была изысканная мягкость манер, но она и глазом не моргнув приказывала пороть двух или трех своих рабов до полусмерти каждый день. Ее трое сыновей все уважали и обожали ее. Двое других умерли молодыми, пока она была еще жива: один на тигровой охоте, другой на дуэли». Дамаянти кивнула. — «Что ж, как я вижу вещи, мать Рандхира — и жена — ответственны за эту его смерть. Он определенно не умирал ради Акбара, ибо питал к Акбару лично презрение и был слеп к величию в нем. И у него не было никаких предпочтений между Салимом и Даниялом. Так во имя чего тогда умер Рандхир? Ради того, чтобы сделать красивый жест. Не то чтобы он действительно верил в красивые жесты. Но его мать верила, и верит Ранни Деви. Он принес себя в жертву их богам. Он умер потому, что память о его матери и глаза жены толкнули его на это». — «Боюсь, в твоих словах есть доля правды». Дамаянти пристально посмотрела на него. «Но ты говоришь из чувства горечи и гнева». — «Полагаю, что так». Они продолжали напряженно смотреть друг на друга; затем Дамаянти улыбнулась и сказала: «Мы с Гуру много говорили о подобных вещах. Ты не должен думать, что я сама не проходила через времена великой горечи — как и Мохан. Но нет смысла гневаться на одного конкретного человека, когда виновато так много людей, да и нет смысла гневаться на целый класс; поэтому остается только вовсе не гневаться». — «Что думает Гуру о… о Дворце?» — «Одна из вещей, которую он указал мне на этот счет, — это влияние женщин там. Именно они задают тон. Там царят женские ценности. А это, говорит он, всегда плохо». — «И ты согласна?» — «Да, думаю, согласна. Женщины делают вид, что их мужья — господа и повелители, но это лишь притворство. Ты услышишь, как Лакшми говорит: „Я хотела бы прийти, но должна спросить Бходжа, сможет ли он меня отпустить“. Даже сама Ранни Деви имела обыкновение говорить: „Рандхир не позволяет мне; он считает…“» — «Да, я слышал такое!» — «У женщин, к сожалению, более

сильные характеры. Мужчин с младенчества приучают уступать женским стандартам, — чтить только престиж. И если позже некоторые из них осознают, что что-то не так, они пожимают плечами и сдаются». — «При дворе моего отца дела обстоят иначе». Она улыбнулась. «Что ж, твое воспитание сложилось удачнее, чем у Мохана — или у меня». Джали встал и принялся ходить взад-вперед. «Можно я скажу тебе, что чувствую?» И, дождавшись ее кивка, продолжил. «Мне кажется, что в Бходже, Ранджире и остальных чего-то недостает — не мужества, не совсем характера — чего-то более обычного и необходимого. Возможно, Гуру знает, что это. Я не могу это определить. Но, как говорит Гуру, когда этого не хватает, наступает духовная порча». Он остановился и вопросительно посмотрел в глаза Дамаянти. — «Продолжай!» Тихий смешок, который она издала, был совершенно обнадеживающим. «Ты меня не обидишь». — «Что ж! К чему это сводится, полагаю, вот к чему: точно так же, как мне нравится и вызывает восхищение образ мыслей и чувств Мохана, так я презираю подход Бходжа. Чтобы привести пример, моя мать, Хари и Гокал долго спорили вместе, прежде чем воспользоваться покинутым замком Сесодии, настолько им претила мысль даже о косвенном контакте с кем-то столь жестоким и порочным. Они не пошли бы туда иначе как под давлением крайней необходимости. И все же, поскольку Сесодия — это Сесодия, Бходж и Лакшми жаждут нанести ему визит и готовы пойти почти на все, чтобы сохранить с ним хорошие отношения. И чтобы оставаться слепыми к собственной мирской суете, им приходится убеждать себя, что они воплощают в себе определенные качества огромной ценности, которые исчезнут, если исчезнут они сами, или даже просто лишатся своих привилегий. Им приходится считать себя высшими существами и убеждать остальное человечество считать их таковыми. Но — являются ли они на самом деле высшими существами? И разве они не чудовищно переоценивают свою культуру, свои грации, ту ценность, которую они добавляют человеческой жизни в целом?» Дамаянти быстро ответила: «Суть в следующем: все эти грации становятся бесполезными — становятся запятнанными — в отсутствие определенной спасительной благодати, которой им не достает». — «Чего именно?» Она улыбнулась и пожала плечами. «Дорогой мой, это очень трудно определить. Иногда это выглядит как недостаток великодушия, щедрых чувств. Иногда это выглядит как слепота, заблуждение, самообман. — Видишь, я вполне откровенна с тобой! И видишь также, что я захожу так же далеко, как и ты». — «Тогда будет справедливо сказать, что Бходж виноват в том, что мыслит подобным образом. Будет справедливо сказать, что он должен знать лучше?» Она молчала, хмуро глядя перед собой. Джали сел. Его лицо теперь сильно раскраснелось, а руки дрожали. «Я должен сказать тебе, что думаю, — хрипло произнес он. — Мне кажется, что во Дворце я принадлежал к небольшой группе людей, которые, ведя внешне жизнь, полную достоинства, самодисциплины и общественного служения, на самом деле жили ради неблагородного дела. Мне кажется, что у всех у них разум сердца был задушен, так что их тайные жизни стали оборонительными, низкими и расчетливыми». Дамаянти грустно улыбнулась. «Я бы выразилась немного иначе. Я бы сказала, что самому стремлению Бходжа быть достойным своего положения нанесен ущерб коварным сознанием того, что это положение вообще не должно существовать. Вся его жизнь уходит на усилия

компенсировать добродетелями, грациями и благотворительностью нечто, на что, как он знает, у него нет права». — «А Лакшми?»

— «Я не знаю».

— «Но это очень важно знать. Женщины значат так много. Разве ты не можешь мне помочь?»

Она улыбнулась. «Правда не знаю. Если женщины в значительной степени ответственны за такой образ жизни и мысли, они не осознают этого. Они верят, что лишь принимают его таким, каков он есть. Для них это имеет внушительность чего-то такого, что существует здесь, чего-то сильного, неизбежного и реального. Я не думаю, что у многих женщин есть такая фантазия, какая есть у Гуру. Они не могут представить себе иной мир».

— «Я знаю, что прошло очень, очень много времени, прежде чем я смогла; а тогда я сделала это только потому — что была должна». — «Почему ты была должна?» — «Ах! — сказала она, глядя вдаль. — Мне пришлось бы рассказать тебе всю свою жизнь, чтобы объяснить это». — «То, что я хочу выяснить, — упрямо продолжил он, — почему все эти люди придают такое преувеличенное значение внешней стороне вещей. Почему они готовы умереть и послать на смерть тех, кого любят, ради того — как мне это назвать? — внешнего вида вещи? Почему они также согласны год за годом жить жизнями такого усилия и такой пустоты? Взгляни, к примеру, на жизнь Лакшми. Она прилагает бесконечные старания, чтобы окружить себя всем самым лучшим — не только лучшими книгами, картинами и музыкой, но и лучшими мнениями и идеями, и даже лучшими симпатиями и антипатиями. Но ни о чем из этого она не заботится ради него самого. Ей нужно это лишь для самоукрашения. Второе по качеству качество — и тем более второсортность — вот ее тайный жупел!» Внезапно он остановился и некоторое время молчал. Затем лицо его озарилось светом. — «Знаешь, мне кажется, я начинаю понимать! Несомненно, этот культ есть просто культ „первосортности“! Первосортность! Это абсурдное слово, но другого я придумать не могу, и ты понимаешь, что я под ним имею в виду. Служители Первосортного просто платят дань то здесь, то там, повсюду. Возьми, к примеру, Лакшми! Она платит дань то милой честности ребенка вроде Саврити, то успешной подлости Нараяна, то доброте Гуру, то высокому рождению гнусного Сесодии. Все это она измеряет одной и той же меркой! Все это она оценивает в одной и той же валюте». — «И это, — сказала Дамаянти, улыбаясь, — вовсе не „первосортно“!»

— «первого сорта»!» Он коротко рассмеялся. «Нет! Культ „первосортности“ нельзя признавать — или даже признаваться в нем самому себе. Человек живет по тайному плану, которого стыдится». Дамаянти продолжала изучать его задумчивым взглядом, затем отвернула лицо и внезапно сказала: «Хочешь узнать, что думает об этом Гуру?» — «Очень хочу!» — «Он согласился бы с тем, что ты сказал. Эти люди боятся показаться второсортными. Они боятся друг друга. В этом корень беды». — «Да!» — воскликнул

Джали. «Да!» — «Он говорил, что не иметь мужества отстаивать свои убеждения — дело очень серьезное. Я ответила, что у многих людей практически нет „убеждений“, либо же они утверждают, что существует множество вопросов в жизни, в которые добродетель просто не входит — вопросы, которые следует решать твердым здравым смыслом или просто своим чувством вкуса. Существовало так много жизненных стандартов, на которые можно было сослаться, что человек приходил в замешательство и пугался, и в конце концов принимал мнение мира». — «И что ответил на это Гуру?» — «Он сказал, что человек приходит в замешательство лишь после того, как поддался ложному стыду за свои подлинные мысли и чувства. Он не предполагал, что у каждого есть определенные, сформулированные убеждения. Он имел в виду нечто гораздо более простое, чем это — то, что есть у каждого. Это был голос — голос собственного спонтанного бытия: предпочтение, выбор своего личного духа — еще до того, как начинался расчет или вступал в силу страх насмешки. Неверность этому божественному принципу внутри себя развращала все существо». — «Да!» — снова воскликнул Джали. «И что еще…» Он осекся, потому что Дамаянти смотрела мимо его плеча, и, обернувшись посмотреть, что отвлекло ее внимание, он увидел стоящего в дверях Рабиндру, чье лицо выражало нетерпение. — «Князь! — сказал Рабиндра. — Князь только что прибыл!» Час спустя в дверь комнаты Джали постучали, и вошел Рабиндра. Молодой человек, который спрашивал себя, не без тревоги, чем может быть вызвано неожиданное появление Мохана, устремил на него вопрошающий взгляд. Сделав выразительную гримасу, Рабиндра сказал: «В Даулапуре дела идут неважно». Они поговорили несколько минут; но Рабиндре, пришедшему из Летнего дворца, почти нечего было сообщить, и вскоре он сказал: «Принцесса теперь снова одна. Почему бы тебе не спуститься к ней? У меня такое чувство, что она хотела бы тебя видеть». Джали тотчас же спустился вниз. Дамаянти сидела на том же месте и даже в той же позе, что и прежде, но он сразу почувствовал, что случилось нечто, встревожившее ее. — «Как там Мохан?» — спросил он отрывисто и добавил: — «Мне показалось, он выглядел обеспокоенным». — «Мохан обеспокоен».

Казалось, она собиралась сказать больше, но вместо этого подняла на него полусонный взгляд. «Я хочу попросить тебя кое-что сделать для нас», — произнесла она наконец. Лицо Джали просветлело. «Хорошо!» — «Мохан говорит, что дело идет к развязке. Он обсуждал ситуацию с Гуру поздно прошлой ночью, и Гуру решил отправиться в Агру, чтобы лично обратиться к Акбару. Но, к сожалению, как я тебе говорила, он совсем нездоров; он перенапрягал свои силы; и мне не нравится…» Джали быстро перебил: «Позвольте мне поехать с ним!» — «Правда?» Она быстро улыбнулась. «Именно это я и собиралась спросить». — «Когда он выезжает?» — «Завтра». Они помолчали; и Джали, чье лицо внезапно омрачилось, отвел взгляд. Она положила руку ему на плечо. «Если все пойдет хорошо, ты вернешься через две недели». — «А если все пойдет не так?» Она заколебалась, затем сказала: «Я не знаю». — «Что будет с тобой и Моханом здесь?» — «Я не знаю», — повторила она. Немного позже, когда он седлал лошадь для прогулки, он увидел, как она

и Мохан вышли из дома и отправились по знакомой тропинке через луг. Они не заметили его у двери конюшни, и пока они шли бок о бок, опустив глаза и говоря вполголоса, он провожал их долгим, задумчивым взглядом. Несколько минут их фигуры оставались видны на фоне багрового вечернего неба; затем, резко отвернувшись, он снова завел лошадь в конюшню и расседлал ее. У двери рос старый падуб, бросавший густую тень. На сухую, голую землю у его подножия он бросился и отдался охватившему его чувству одиночества. С ним пришел и суеверный страх. «Это мой последний день в Хава-Гхар, — сказал он себе. — Я никогда больше его не увижу». Он глубоко погрузился в эти мрачные предчувствия, когда шелест ветвей над головой заставил его встрепенуться поднять голову, и, всматриваясь сквозь темные листья, он заметил голову и плечи Саврити. — «Поднимайся сюда! — крикнула она ему. — Поднимайся и посмотри, сможешь ли ты поймать меня!» Он уже играл с ней в эту игру один или два раза раньше, но сейчас определенно не хотел играть в нее, и ответил довольно сердитым голосом: «Нет, Саврити, не могу!» — «Почему нет?» Он ничего не ответил, и несколько мгновений она оставалась неподвижной, пристально глядя на него. Затем без единого слова начала спускаться вниз. Он слышал ее шумный спуск и жаждал уйти прочь, только это показалось бы недружелюбным. Съежившись рядом с ним во мраке свисающих ветвей, «Ты грустишь, — тут же сказала она. — Я видела». Он покачал головой. — «Да, грустишь. Потому что уезжаешь. Мне только что сказали». На это он ничего не сказал. Ее глаза, изучавшие его лицо, смутили его, — словно он был не старше ее. — «Но тебя не будет недолго, — утешающе продолжила она. — Ты боишься, что будешь чувствовать себя одиноким?» Он улыбнулся и сказал: «Да». — «Но ты ведь почти взрослый». — «Разве взрослые люди никогда не чувствуют себя одинокими — или печальными?» Она задумалась. «Полагаю, да. Но когда они женаты, у них есть кто-то, кто может их утешить». — «Это правда. Но я не женат.— И я не хочу жениться». Внезапно она обняла его за шею и прижалась вплотную. На минуту он почувствовал смущение, почти гнев, а затем растрогался от ее сочувствия и принял его. Он почувствовал, что разница в их возрасте обладает — по крайней мере, в данный момент — несущественным значением.

— «Саврити, — сказал он после паузы, — думаю, я хотел бы, чтобы ты всегда была рядом, чтобы утешать меня». И с этими словами, мягко высвободившись, он встал и ушел в дом.

Дневник Джали

I

Ты предложила, Дамаянти, когда мы прощались, чтобы я вел дневник. Что ж! вот дневник, который я вел. Увидишь ли ты его когда-нибудь — не знаю. Писал ли я его для себя или для тебя — не знаю. Но я точно знаю, что все, что я видел и слышал во время своего путешествия, в моем уме относилось к тебе.

Я прибыл в Летний дворец до наступления дневной жары, но Гуру еще не было там, ибо он был слишком слаб и утомлен, чтобы выехать рано. Когда я увидел, как он поднимается по ступеням, мне стало страшно, так плохо он выглядел. Ему необходимо было отдохнуть, поэтому мы тронулись в путь лишь поздно днем, и успели добраться только до большой агрской дороги, как наступил вечер.

Мы разбили лагерь в высохшей роще у обочины. Я приказал носильщикам паланкина поставить навес из пальмовых листьев, и за этим навесом Гуру сидел в каком-то оцепенении, его глаза были устремлены на красное солнце, садившееся вниз. Горячий ветер бил по навесу, наполняя рощу шелестом сухих листьев.

Пока наши люди готовились к ночи, я смотрел во все стороны над равниной. Земля, которая в это время года должна была быть зеленой, была коричневой и бесплодной, и ее проносило облаками пыли. Это был час меланхолии. Состояние Гуру тревожило меня, и я с тоской и сожалением думал о Хава-Гхар.

Вскоре я обнаружил, что сделал плохой выбор места для нашей первой стоянки. Роща была грязной и зловонной, полной мусора, оставленного другими путниками. Сумерки опустились на нас прежде, чем ужин был готов, а затем, из-за небрежности повара, огонь вспыхнул в опавших листьях, и несколько минут казалось, что вся роща будет охвачена пламенем. «Это те моменты, которые я всегда буду помнить, ибо закат, видимый сквозь дым, был зловещим, а горящие листья падали, словно огненные птицы, сквозь воздух. Когда нам принесли рис, ни у Гуру, ни у меня не было аппетита, и вскоре после еды мы легли спать.

Я уснул сразу же, но видел беспокойные сны. Несколько раз я резко просыпался, думая, что Гуру позвал меня. По дороге непрерывно проходили путники; шумные компании болтали и перекрикивались друг с другом; и колеса их воловьих телег издавали постоянный скрип.

Через два-три часа сонливость внезапно покинула меня; я сел и осмотрелся, мой ум был ясен. Луна теперь стояла высоко, ветер утих, все движение по дороге прекратилось. Перемена была настолько велика, что место показалось другим. Обернувшись, я увидел,

что Гуру сидит прямо, скрестив ноги, как йогин; его глаза были устремлены вдаль, он погрузился в медитацию.

Я снова опустился и лежал неподвижно; и мои мысли обратились к тебе. Я думал о нашем последнем разговоре у пруда Вишну — и, хотя прошел всего один день, каким давним он казался! Я вспомнил, как мы шли через лужайку, и свернули на узкую тропинку через лес, и как лунный свет, пробиваясь сквозь ветви, падал мерцающими бликами на наши лица. Я вспомнил, как маленькие совы, сидевшие наверху молчаливыми стайками, оставались невозмутимыми, пока мы проходили мимо. Мы прошли через ворота и остановились перед прудом, более половины которого находилось в тени. Свет падал на один блестящий уголок, но лицо Вишну и вся вода вокруг его спящей фигуры были темными; и маленькая свернувшаяся змея соскользнула с его лица и подняла рябь, уплывая прочь.

О, Дамаянти, помнишь ли ты эти вещи так же, как я? Помнишь ли ты, как бесстрастно посмотрел вверх бог? И весь нечеловеческий мир вокруг него, мир деревьев и змей, казалось, был мрачно истолкован его божественностью.

Стоя там и думая о будущем, я печалился. И снова, лежа в этой высохшей роще и думая о прошлом, ко мне вернулась та же грусть. Но мне удалось побороть ее. Я сказал себе: «Разве я не нашел того, что нужно моему духу — страну, воздух и воду, которых он всегда жаждал?» Я начал думать о внутреннем духе как о рыбе, плавающей в глубине моря; иногда она оказывается в воде, которая ей подходит — не слишком холодной, не слишком соленой, но плавно и приятно обтекающей ее бока и движущиеся жабры; а иногда она находит себя в мутной и дурно пахнущей воде, а иногда в воде, которая слишком глубока и темна, воде невыносимой тяжести. Я размышлял о том, что мой дух никогда не знал покоя, пока не попал в Хава-Гхар; но там он нашел эфирную жидкость, в которой плавал в экстазе; это была рыба, скользящая над залитыми солнцем коралловыми рощами и полями белейшего песка.

Но кто, кроме истинного йогина, может управлять внутренним человеком? Я не мог пребывать в благодарности и вскоре был унесен в пустыню, полную злых призраков. Я размышлял о том, что, возможно, мне суждено никогда не вернуться в Хава-Гхар, или увидеть тебя и Мохана снова. Я боялся этого визита в Агру, и еще больше — своего окончательного возвращения домой. Я не мог лежать спокойно на своем ложе. От земли поднимались тошнотворные запахи; ночь была застойной; даже сухой, горячий ветер был бы лучше. Затем я увидел, что само небо неспокойно, оно исчерчено падающими звездами. И, некоторое время спустя, пока я смотрел вверх, произошло настоящее знамение. Появился зеленовато-желтый шар далеко на севере, мгновение зловеще висел неподвижно, а затем скользнул в направлении Агры.

Я приподнялся на одном локте, чтобы посмотреть на него, а теперь повернул голову. На фоне экрана из сухих пальмовых листьев, серебристо сиявших в лунном свете, Гуру, все еще

сидевший со скрещенными ногами и выпрямленный, был похож на фигуру бога, вырезанную из какого-то темного дерева.

Он сказал: «Если Акбар видел этот метеор, он примет его за знак с небес и попросит меня истолковать его значение».

Его голос был низким и хриплым; он начал кашлять; и движение его плеч превратило его из бога в хрупкого старика. Я встал и дал ему воды из пористого кувшина. После того как мы оба попили, я сел. «Дитя мое, — сказал он, — я думал о твоем дяде Хари. Как ты знаешь, он уехал в Агру, чтобы увидеться с Акбаром; но беспокоюсь я не об этом, хотя, конечно, их разговор может обернуться плохо; — я беспокоюсь о самом Хари». Затем он положил руку мне на колено и добавил: «Хари — не тот человек, который создает счастье для себя или для других. Сегодня вечером образ его преследовал меня, и принес с собой страхи за твою мать».

Из этого я понял, что Хари доверился Гуру; да я и не удивился. Я сказал: «Я тоже думал о своей матери». — «О чем же ты думал?» — «О том, что мне будет трудно не разочаровать ее или не расстроить; и все же…»

— «И все же?»

Я промолчал. Затем я сказал: «Она европейка и христианка».

Гуру улыбнулся. «Разве ты не думаешь, что сможешь объяснить ей, что жизнь, которую ты хочешь вести, — это не что иное, как христианская жизнь?» И так как я ничего не ответил на это, он продолжил: «Несколько лет назад отец Аквавива дал мне Новый Завет, и я прочитал его. Я был поражен, ибо он показал мне, что образ жизни, которому я пытался следовать, — это христианский путь. Когда твоя мать увидит, что ты тоже пытаешься ему следовать, разве она не обрадуется?»

Вглядываясь в мое лицо, он увидел мои сомнения и продолжил: «Ты думаешь, что особенно трудно объясниться с родителями. Но уверен ли ты, что твоя мать не захочет позволить тебе поговорить с ней как человеку с человеком? Пробовал ли ты когда-нибудь рассказать ей то, что готов рассказать мне?»

Я покачал головой.

Гуру рассмеялся. «Что ж, попробуй! Забудь, что она европейка и христианка — и твоя мать. Никогда не следует предполагать, что люди не поймут».

Он сделал еще один глоток воды, посмотрел вверх на небо и продолжил: «Когда я предстану перед Акбаром, я постараюсь забыть, что он чужеземец, головорез и Император. Я буду говорить с ним, если он позволит мне, как человек с человеком. Это мой единственный шанс на успех».

Последовало долгое молчание, во время которого я обдумывал его слова и какой у меня есть шанс быть понятым не только моей матерью и Гокалом, но — как будет необходимо — нашими главными министрами и чиновниками дома. Уверенности я чувствовал мало.

Следующие два утра мы выезжали довольно рано, и на закате второго дня цитадель Агры смутно поднялась из равнины. В нескольких милях к востоку купола и башни Фатехпур-Сикри блестели в вечернем свете. Этой ночью мы спали плохо, так как ветер переменился и принес в наш лагерь сладковатый, тошнотворный запах гниения, а утром мы узнали, что он исходил от арены на агрской дороге, где недавно произошла страшная бойня. Несколько сотен мужчин и женщин, признанных виновными в принадлежности к одной или другой из Тайных Сект, были загнаны в ограждение, обычно используемое для боев слонов, и там растоптаны насмерть. Чтобы не проходить тем путем, Гуру решил, что нам следует взять чуть более длинную дорогу через Фатехпур-Сикри.

Мы достигли Западных ворот в полдень. Было очень жарко; я едва мог узнать главную улицу, по которой мы шли, настолько пыльным, убогим и заброшенным был ее вид. Мы нашли постоялый двор и сняли комнату, чтобы переждать дневной зной. Но после того как Гуру лег, я вышел и направился к дворцовым покоям. Во всем базаре не было слышно ничего, кроме жужжания мух, и нечего было видеть, кроме нескольких бездельников и множества тощих собак. Подойдя к лестнице перед Мечетью, я сел на камень в скудной тени тамаринда и гадал, помнишь ли ты меня вообще, Дамаянти. На моем духе лежала тяжесть. Я ощущал нездоровье этого места, словно оно, подобно человеку, заболело. Великая Мечеть, такая новая, но уже заброшенная, неестественно возвышалась над пылью, в которой копались куры. Вокруг меня была голая, неухоженная земля, и не видно было ни единой живой души, кроме этих кур и козы.

Наконец я поднялся по ступеням и вошел. Мечеть была пуста, ибо там не было никого, кроме меня, но даже Аллах покинул ее. И все же в воздухе оставалась определенная суровость.

Покинув Мечеть, я бродил по большим пустынным дворам, и казалось, прошло всего несколько дней с тех пор, как я стоял здесь со своим отцом на Дарбаре. Но теперь все изменилось — изменился, впрочем, и я сам! Я вспомнил, как улицы были запружены народом; я вспомнил флаги, солдат и царских слонов. В этих дворах Князья и Вельможи теснились почти так же густо, как и люди снаружи. Воспоминания о моем отце окутали меня. Я видел его в княжеском одеянии, белом государственном тюрбане на голове, и выглядящим более по-королевски, чем остальные, потому что более серьезным и отстраненным. Я видел улыбку, с которой он смотрел вниз, подбадривая меня; а затем представил его таким, каким он должен быть сейчас. Теперь он бредет по пыли среди простых и бедных.

Через некоторое время я прошел дальше и, войдя в другой двор, совершил нежеланную встречу. Плотный, смуглый мужчина в огромном красном тюрбане сидел снаружи Залы

Частных Аудиенций, обмахиваясь веером и потея от жары. Его лицо пробудило неприятные воспоминания, но отступать было поздно, так как он заметил меня.

— «Принц Джали!» — воскликнул он. — «Ну-ну-ну!» И с дружелюбным смехом протянул руки. — «Кто бы подумал, что наша следующая встреча состоится именно здесь!»

Я изо всех сил старался скрыть свои чувства, так как помнил этого человека — звали его Чураман — как одного из наименее неприятных друзей Данияла. Более одного раза в Павильоне Искусств он был добр ко мне.

— «Ну-ну! — продолжал он, оглядывая меня с головы до ног, словно я был танцовщицей. — Я рад тебя видеть. Но почему вы приехали так рано? Вечеринка начинается только после захода солнца. Я здесь потому, что Джагашри попросила меня заняться приготовлениями. Прежде всего, мне нужно решить, где именно мы будем ужинать. Я предложил спальню Акбара» — тут он издал нечто вроде хихиканья — «но теперь сомневаюсь, достаточно ли она велика, чтобы вместить нас всех. Возможно, подойдет эта Аудиенц-зала. Давай зайдем и посмотрим!»

С этими словами он просунул руку мне под локоть и потянул за собой. Я поспешил объяснить, что я не из гостей Ранни Джагашри; но Чураман, который осматривал Зал и решал, что музыкантов следует разместить здесь, а вина и еду — там, продолжал болтать. — «Дорогой мой, это будет чрезвычайно забавный вечер, и ты непременно должен прийти. Джагашри, должно быть, не знала, что ты в Агре, иначе она бы тебя пригласила. Там будут почти все наши друзья из Павильона Искусств, и…» — тут он осекся, и по изменению его лица я увидел, что он внезапно вспомнил о том, что случилось с моим отцом в Павильоне Искусств. На мгновение он заколебался, затем продолжил: «Но расскажи мне все о себе. Что привело тебя сюда?» Я вкратце описал, как оставил своих родителей в Замке Сесодии. Об уходе отца от мира я ничего не сказал. — «Да-да! Понимаю. Это очень интересно». Он продолжал критическим взглядом осматривать Аудиенц-залу. «Ты путешествуешь один?» И затем, бросив на меня испытующий взгляд: «Возможно, ты приехал посмотреть, что можно сделать для твоего дяди Хари-хана?» Я твердо решил ничего не говорить о Гуру. Я испытывал сильнейшее нежелание говорить с Чураманом о своих делах или делах моих друзей. — «Я определенно хочу увидеть своего дядю, — ответил я. — Но у меня есть и другие дела в Агре». Чураман посмотрел на меня довольно странно на мгновение. — «Беднягу Хари-хана, знаешь ли, только что посадили в тюрьму». Я вздрогнул при этом и воскликнул от досады. Чураман сочувственно похлопал меня по плечу. — «Мне жаль приносить тебе плохие новости; но так оно и есть! И Хари-хан не единственный! Знаешь ли, Даниял сам практически в тюрьме! — во всяком случае, ему не позволено выходить за пределы дворца. Очень жаль, что он не может прийти на эту вечеринку». Здесь он снова умолк, к нему вернулось воспоминание о моем отце. — «Ты найдешь, что в Агре все вверх дном. Акбар в одном из своих худших настроений; в последнее время он стал совершенно невыносим». По крайней мере минуту мы оба молчали. Я разрывался между сильным желанием уйти прочь и чувством, что мне следует узнать все, что можно. — «Почему Акбар

бросил Хари в тюрьму?» — спросил я. — «Один Бог знает! Все это часть его дурного настроения, которое началось со времен пожара в Павильоне Искусств. Об этом ты наверняка слышал? Настоящее бедствие! Даниял собрал вместе столько прекрасных вещей — многие из них были из собственных дворцов Акбара. Собственно говоря, именно с этого и начались все неприятности. Ведь после пожара разные проныры начали обращать внимание старика на исчезновение этих вещей. Был настоящий заговор с целью навредить репутации Данияла всеми возможными способами. Его даже обвинили в принадлежности к одной из Тайных Сект; а в основе всего стоял этот ужасный маленький человечек, Мабун Дас. Однако теперь, когда он мертв, мы можем надеяться, что…» — «Мертв!» — воскликнул я. — «Да. Он погиб в огне». — «Но…» — начал я, но остановился. Чураман посмотрел на меня. — «Вижу, ты сильно отстал от времени. Разве ты не слышал, что Даниял обнаружил, что Мабун Дас — предатель на жалованье у Салима? Так вот, что он сделал: он заманил его в Павильон Искусств и заключил его там в тюрьму. Именно в темнице Мабун был сожжен заживо. Его обугленное тело нашли потом в камере». — «Как Даниял узнал, что Мабун Дас — предатель?» — «От той девушки Гуневати. В таких вещах всегда виновата женщина. Она выдала весь заговор. Ей было мало просто вырвать язык, она заслуживала большего — и в конце концов получила свое». В голосе Чурамана прозвучала такая нота, что я невольно отшатнулся. Он искоса взглянул на меня и сменил тон. — «Во всяком случае, именно она главным образом ответственна за то, что Хари-хан сидит в тюрьме в данный момент. В этом вряд ли можно сомневаться». — «Что с ней случилось?» — «Ее растоптал взбесившийся слон; — но сделано это было по приказу Акбара — а не Данияла. Сам Даниял ненавидит жестокость любого рода».

Как я наконец отделался от Чурамана, я не помню. Поспешив обратно к Гуру, я доложил о том, что услышал, и мы решили, что по прибытии в Агру нашим первым действием будет посещение Хари, если удастся получить разрешение Акбара.

Я думал, что видел Чурамана в последний раз, но тут я ошибался. Как раз в тот момент, когда мы с Гуру собирались отправиться в путь, в дверях появился большой красный тюрбан, и Чураман подошел к нам уверенным шагом. Кто-то рассказал ему, с кем я путешествую и где нас можно найти. Он остался и проболтал около часа, и когда я провожал его до уличной двери, его последними словами были следующие: «Что ж, я так рад познакомиться с Гуру! Я всегда представлял его слишком святым, чтобы понимать шутки. Но у этого славного старикашки хватает ума не притворяться более святым, чем кто-либо другой. Ну, прощай. Жаль, что вас не будет на нашей вечеринке».

О, Дамаянти, понимаю ли ты, почему я записал все это? Я и сам едва знаю. Думаю, я пишу, чтобы оправдать себя, чтобы проиллюстрировать свою ненависть к миру! Мне кажется, он так зол — так груб духом, так бессердечен, так мелок, так вульгарен. Да! мир инстинктивно ненавидит все, что обладает утонченностью, благородством или великодушием. Наше небо — это безобразное свинцовое небо, на фоне которого время от времени дух хорошего

человека сияет мгновенье, словно радуга, маленькая вспышка красоты, которая не может длиться долго.

II

Мы добрались до Агры сразу после наступления темноты. Дорога была так запружена солдатами и повозками с провизией, что нам потребовалось полчаса, чтобы пройти через городские ворота, а на базаре люди все еще покупали и продавали при свете ламп, фонарей и факелов. Пешком мы с Гуру пробирались сквозь толкающиеся толпы, и у нас возникли некоторые трудности с тем, чтобы не потеряться друг с другом. Казалось, Гуру хорошо знал город; он провел меня лабиринтом маленьких улочек и наконец остановился перед лавкой, в которой все еще горел свет, хотя вся остальная часть переулка была темна. Это была шелковая лавка, и хозяин сидел на своем месте в глубине — грузный, невозмутимый человек, чье лицо при первом взгляде не расположило меня к себе, ибо у него были пухлые щеки и хитрые, сонные глаза. Когда Гуру вошел и обратился к нему как к другу, я был удивлен. Более того, тот не поднялся сразу же и даже не выказал признаков удовольствия, но с медленной обдуманностью убрал несколько маленьких кусочков дерева, которые вырезал, и вытер свои большие, жирные руки о тряпку. Но в конце концов по его лицу скользнула улыбка, и он повел нас во внутренние покои позади лавки. Дом был светлым и чистым, совершенно лишенным бесполезного хлама, который я ожидал там увидеть.

Пока я умывался в своей комнате, до моих ушей донесся неожиданный звук — пение птиц. Я узнал голос буль-буля, а затем голоса других птиц, некоторые из которых были мне знакомы, но немногие. Слышать такое пение в сердце города было странно, и я начал думать иначе о человеке, который находит удовольствие в этой птичьей музыке. Но я не мог понять, как получилось, что все эти птицы начали так весело петь в этот час. От Гуру, когда я спросил его об этом, я получил лишь улыбку. «Поднимись наверх на крышу, — сказал он. — Птицы там, и, надеюсь, ужин тоже».

Крышу освещали большие желтые бумажные фонари, но я нигде не увидел птиц. Пение также резко прекратилось в тот момент, когда мы появились. Жена нашего хозяина и две его дочери провели нас в угол, где стол уже был накрыт для трапезы. Едва мы успели устроиться на своих подушках, как принесли рис; и никогда прежде я не ел ничего вкуснее. — «Чампа Лал, — сказал вскоре Гуру, — принц Джали горит желанием увидеть твоих птиц. Где ты их спрятал?» Жирное лицо торговца расплылось в улыбке, которая делала его глуповатым, но которая также показала мне, что он более приятный человек, чем я думал. «Вот мои птицы!» — сказал он, указывая на своих женщин, прислуживавших нам; после чего, зная, чего он хочет, они удалились в тень на другой стороне крыши, и, гляди-ка, та же

самая птичья музыка, что и раньше, вознеслась в ночное небо! Затем Чампа Лал показал мне кое-какие маленькие инструменты, которые он сам изобрел и сделал, используя дерево и металл, восковые струны и полые трубки, и даже крошечные сосуды с водой. А после ужина он вместе со своей женой и дочерьми дал концерт, в котором казалось, будто участвуют все певчие птицы мира.

Незадолго до полуночи вечеринка закончилась, но мой день еще не завершился, так как было решено, что я должен отправиться в Старый Дворец, чтобы договориться с Камергером об аудиенции у Императора на следующий день. План состоял в том, что мы с Гуру должны совместно ходатайствовать за Хари и просить разрешения посетить его в тюрьме.

Великие Ворота Старого Дворца очень темны, так как круг факелов вокруг арки поддерживается зажженным всю ночь напролет, пока Император находится внутри, и пламя закоптило камень дымом. Здесь всегда сквозняк, заставляющий пламя и дым бить о стену. Ночью стена вздымается неизмеримо высоко в небо; и когда поднимаешь голову, чтобы посмотреть на звезды, они сияют красным сквозь дым. Во время Дарбара факелы зажигались только в ночь дня рождения Императора, ибо тогда он держал Двор в Фатехпур-Сикри. Все это теперь кажется очень давним прошлым.

Стоя у Ворот Дворца, я погрузился в нахлынувшие воспоминания. Я вспомнил одно определенное маленькое жесткое растение, цеплявшееся за жизнь на северной стене, и гадал, есть ли какой-нибудь способ попасть на балкон и посмотреть, осталось ли оно там. Змея, ужалившая маленькое растение, мертва. Нарсинг мертв, Гуневати мертв, мой отец ушел от мира. Моя мать одинока, Хари в тюрьме, Амбисса и Шрилата неизменны (или они изменились? Я не знаю). Родилось много детей, и умерло много стариков. Я вырос — и вот она, Время! Время, о котором ни один человек не может сказать ничего определенного.

До Палатинского Камергера было нелегко добраться — у меня ушло на это два часа, — но когда мне наконец удалось получить к нему доступ, он оказался очень сговорчивым. «Во Дворце есть два рода людей: те, при ком имя Гуру вызывает слегка презрительное нетерпение, и те, чьи лица светлеют, когда я упоминаю его». Камергер, хотя и явно был человеком мирским, принадлежал ко вторым.

В ожидании я сидел в большом и высоком зале, через который непрерывно проходили придворные персоны, и мне ничего не оставалось делать, кроме как наблюдать за ними. Сначала я был сильно впечатлен непрерывным движением и видом важной сосредоточенности, которую видел повсюду. Некоторые мужчины несли бумаги, некоторые проходили мимо парами или тройками, оживленно беседуя вполголоса, некоторые шли в задумчивости в одиночку. Последние были в основном солдатами, и они завораживали меня, ибо для них гражданские словно были невидимы. Один, Командующий Пятидесятью тысячами, прогуливался туда-сюда сквозь толпу полчаса, по-видимому, вовсе не осознавая, что в зале вообще есть кто-то еще. Через некоторое время,

однако, я убедился, что никто из присутствующих здесь не обременен настолько весомо, чтобы чувство собственной значимости не поддерживало его дух. Человек, едущий верхом на величественном слоне в тени ховдаха, сколь бы глубоко он ни был озабочен несчастьями мира, дважды подумает, прежде чем обменяться местом с другим, который, хоть и вполне возможно, пребывает в веселом настроении, бредет пешком по жаре и пыли, теснимый каждым прохожим. Все мои спутники в этом зале ехали на слонах, и я был бы гораздо счастливее, если бы мог почувствовать, что я тоже восседаю на одном из них. Мне нужно было, чтобы один из этих знатных всадников заговорил со мной; и, к моей великой радости, это вскоре произошло. Раджа Махабал (которого я недолюбливаю, но это ничуть не имело значения) подошел, и пока мы разговаривали вместе, подо мной находился прекрасный слон. Немного позже меня также узнали друзья моего отца, и меня пригласили пройтись по залу вместе с ними.

Это было опьяняюще. В мгновение ока я делал все возможное, чтобы произвести правильное впечатление. Моей целью было казаться застенчивым без излишней неловкости; скромным, хотя и владеющим собой; наивным, но не неуклюжим или глупым; умным, но не преждевременным. На вопросы об отце я отвечал кратко и прямо, но подходящей сменой голоса и выражения показывал, что мои чувства были глубоко затронуты. Предполагалось, что мой отец обсуждал свою отставку со мной и что я серьезно подумал об обязанностях, связанных с моим будущим положением. Я не сказал ничего, чтобы исправить эти предположения. О матери я тоже говорил с сыновним теплом и покровительством, а о Гокале выразил подобающее уважение, но быстро (когда получал подсказку) показал, что не слеп к его слабостям. Через некоторое время мои спутники начали говорить о Гуре. Они не были дурными людьми; но обращались с ним с легкой снисходительностью. И как же я отреагировал? Скорее чем лишиться малейшей частицы их хорошего мнения, я ухитрился с помощью лукавых умолчаний и вида дискомфорта показаться слишком лояльным, чтобы согласиться с ними. Таким образом, в каждой точке я приносил в жертву тех, кого действительно люблю и уважаю, чтобы завоевать немного уважения тех, кого не уважаю.

О Дамаянти! Мне стыдно за себя. Встретившись с добром и признав его, почему я все еще пресмыкаюсь и льщу? Почему мне нужно раздуваться от дыхания дураков вместо того, чтобы стоять прямо в собственной силе? И почему, когда люди собираются вместе, каждый из них подвергает другого такому сильному искушению использовать всю свою скрытую низость?

Я вернусь к своему рассказу. Палатинский Камергер, который был медлителен в приеме меня, был столь же медлителен и в том, чтобы отпустить меня. Сначала это озадачило меня, ибо час был поздний, а моя беседа — далеко не развлекательной; но внезапно я понял. Этот человек тратил всю свою жизнь и находил все свое удовольствие в неторопливом проявлении очаровательных манер; и ему было совершенно безразлично, кто именно сидит напротив. Я сказал, что его лицо светлело, когда я говорил о Гуру, но оно также

светилось, как я теперь вспоминаю, с такой же приветливостью, когда я упоминал Сесодию. Для него важно лишь то, чтобы у человека было имя; почему — не представляет интереса. Откинувшись на спинку кресла, уперев кончики пальцев в кончики пальцев, он выдавал анекдот за анекдотом о моем отце и матери, Амбиссе и Лакшми, Сесодии и остальных. Я покинул его, польщенный его приветливостью и все еще довольный собой. Ибо то, что Петр сделал под страхом смерти, мы делаем ежечасно под страхом пожатия плеч или приподнятой брови, и едва ли осознаем, что делаем это.

На следующее утро мы с Гуру отправились в Лагерь Императора, который находится за городскими стенами. Именно там можно было найти Акбара, ибо он делит свое время между Старым Дворцом и этим лагерем. Окружение лагеря подходит ему больше всего, и ему нравится думать о себе как об активном солдате по сей день. Это тоже часть его политики — позволить своим подданным видеть его свободно передвигающимся среди них, видимым, доступным, человеком, как любой другой.

Пробираясь сквозь толпы, величие города, и множество его жителей, и сложная деятельность повсюду привели меня в возбуждение, которое иногда было приятным, а иногда граничило со страхом. За стенами и вокруг Лагеря толпа людей была почти так же велика, как и в самом городе. В одном месте большой отряд всадников проводил военный смотр, и зрелище действительно было великолепным.

Когда мы достигли шатра Акбара, Гуру вошел один, ибо Палатинский Камергер счел неприличным, чтобы мы вошли вместе. Мне нет нужды объяснять его различные причины, но главной из них было то, что я не принес с собой — да у меня их и не было — подобающей одежды. Так что я сидел снаружи на солнце и был вполне этим доволен. Но мой душевный покой продлился недолго, ибо тогда-то я и начал думать о вчерашнем вечере и стыдиться своей низости. Очень больно, когда видишь себя таким человеком, которого сам презираешь и недолюбливаю. Я сидел в пылу неловкости, обильно потея. Я забыл, где нахожусь, приходя в себя лишь временами, чтобы молиться о том, чтобы Гуру еще не вернулся, ибо я не смог бы скрыть своего состояния. К счастью, его долго не было, и когда он появился, он был рассеян. Ему пришлось ждать более часа, прежде чем получить аудиенцию, которая оказалась краткой и разочаровывающей. Правда, он получил заверение, что завтра нас с ним допустят к Хари, но Акбар выказал нрав, не предвещавший ничего хорошего. Со вздохом Гуру сказал: «Вижу, мне придется набраться терпения, ибо Акбар сейчас полностью поглощен делом игры в Императора». И с улыбкой он продолжил: «Но, в конце концов, это простительно, ведь армия Салима находится всего в тридцати милях от Городских ворот, и существует то, что все согласны называть критической ситуацией».

В этот момент из толпы, через которую мы пробирались домой, раздался оглушительный рев. Золотой флаг только что подняли с самой высокой башни Старого Дворца, и люди вокруг нас сказали, что это означает одержанную победу. Но другой человек заметил

позже, что этот флаг поднимали раз в день последние две недели, и тем не менее Салим продолжал продвигаться вперед.

Когда мы наконец добрались до нашего жилища, мы были очень рады вырваться из шума и жары. Гуру некоторое время сидел тихо в медитации, затем сказал: «Видишь, как обстоят дела: в каждой касте, в каждом ранге и положении горит одна и та же лихорадка. Свет ее сиял сегодня утром из глаз Акбара; и, глядя на него, меня охватило уныние. Меня охватило огромное желание сказать: „Акбар, умоляю тебя, загляни в свое сердце и скажи мне, не можешь ли ты найти во всем этом волнении вокруг тебя — в этих ликующих толпах, и скачущих всадниках, в этой военной музыке, этих торжественных собраниях, этих церемонных банкетах и этих высокопарных речах — элемент детской „игры в притворство“? Акбар, если я называю эту сцену нереальной, то потому, что ты мог бы, если бы захотел, развеять ее в пустой воздух; ты мог бы показать, что это одна из тончайших завес Майи. Тебе открыто призвать Салима к себе и поговорить с ним не как Император с мятежным подданным, и не как разгневанный отец с непослушным сыном, а как один честный человек с другим“. Ты хорошо знаешь характер Салима; и ты знаешь, что при нескольких небольших уступках ты мог бы сделать его своим другом»». — «Но мог бы?» — воскликнул я, удивленный. — «Неужели это так просто? И если так, почему эта великая проблема престолонаследия мучает нас все эти годы?» Гуру посмотрел на меня с весельем в глазах. — «Я не знаю, как говорить о политике — или религии. Я могу говорить с людьми только о них самих, и» — здесь он рассмеялся — «это единственное, о чем им, кажется, всегда хочется говорить со мной». — «И все же ты зарабатываешь себе репутацию весьма опасного рода человека». — «Должно быть, потому, что после того, как человек поговорил о себе, он обычно начинает задумываться о том, что ему следует делать с собой. А то, что делает человек, имеет в основном общественное значение. Тем не менее каждое действие лично в своих корнях. Если Акбар заговорит со мной о престолонаследии, я буду вынужден рассматривать этот великий, общественный вопрос как маленький, личный вопрос, и таковым он, впрочем, и является».

Я попросил Гуру объяснить.

— «Что ж! Акбар знает, с тех пор как утвердился в качестве Императора, что Князья и знать Индии считают его варваром. Он чувствителен к их мнению и уклоняется от всего, что дало бы им повод говорить о нем пренебрежительно. Теперь Даниял более представителен и искушен, чем Салим, и знать убеждена, что будет в большей безопасности в его руках, чем в руках его неотесанного и упрямого брата. Я не верю, как некоторые люди, что Даниялу действительно удалось обмануть своего отца относительно своего характера; но это подходило Акбару — играть Даниялом против Салима, чтобы сохранить власть над обоими. Именно так был выстроен великий вопрос престолонаследия. Но какое значение он имеет для широких масс? Никакого, если бы они только могли это увидеть! Очень немногим из великих политических конфликтов, составляющих так много „истории“, на самом деле есть дело до благополучия множества людей, которых втягивают в борьбу. Народ всегда легко

обмануть. Он подобен больному мечущемуся в лихорадке человеку, который, не понимая, в чем дело, охотно примет любое лекарство. — «Если бы я сказал это Акбару, он, вероятно, не захотел бы понять мой смысл, но он определенно вполне способен сделать это. Он увидит, как вижу я, что есть нечто глубоко неблагородное в том, чтобы пользоваться нуждой, невежеством и надеждами толпы, заставляя их помогать ему разыгрывать грандиозную фальшивку». — «Но что же ему тогда следует делать? Что бы ты посоветовал ему сделать?» — «Я бы сказал: „Акбар, загляни в свое сердце и признай то, что найдешь там. Ты найдешь там усталость — и отвращение к себе. Ты устал от своих бремен и с радостью передал бы их своему первенцу, с которым у тебя есть истинная близость. Ты знаешь, что Салим глуп и упрям, но ты также знаешь, что у него доброе сердце — и что ты любишь его. Ты знаешь также, что миллионам Индии при нем будет не хуже, чем при тебе. На самом деле эта важная и опасная политическая ситуация, на кону которой счастье и жизни миллионов, сводится к чему-то совсем маленькому и домашнему. Старая-старая история разыгрывается заново; и ничто в ней не прекрасно, кроме мужества, верности и веры сотен и тысяч людей, которых ты обманываешь“».

Я чувствовал, что Гуру прав, но, подумав минуту, возразил: — «Что ж, но разве нельзя сказать ничего хорошего о власти, доблести и славе? Разве не хорошо, что короли должны быть королями, а герои героями, и мир местом, где разыгрываются благородные трагедии?»

Гуру улыбнулся и покачал головой. — «Люди устроены так, что никогда не будут испытывать долгого восхищения чем-либо, что содержит элемент притворства. Короли и государственные деятели, да целые народы, могут сговориться вместе, чтобы разыграть сцены эффектного величия, но последующие поколения оглянутся назад с улыбкой, и от всей этой храбрости слова и дела ничто — ни в отдельном человеке, ни в массе — не вызовет восхищения если не звучит правдиво».

Некоторое время я молчал, затем сказал: — «Хотелось бы мне, чтобы вы могли поговорить так с Акбаром. Но вы не можете. Это было бы слишком многого требовать от него». — «Нет, я не могу сказать эти вещи. Но я могу — возможно — вложить их ему в голову. Ибо он уже знает их. Он чувствует, что его жизнь подходит к концу, и когда конец близок, человек возвращается к своим первым интуициям — которые у Акбара были интуициями простой истины. Он родился в исламе и инстинктивно верит, что все люди равны перед единым и единственным Богом. В исламе нет иерархии, нет священнической касты, нет эзотерических знаний — ничего, что стояло бы между человеком и человеком и Богом». — «Ты обратишься к его чувству справедливости». — «Я обращусь — к неиспорченному чувству справедливости. Акбар видит, что среди людей существует два вида неравенства — одно естественное, а другое искусственное; и он готов допустить, что созданное людьми неравенство несправедливо. Он определенно считает себя выше любого другого живого человека (и может быть, он прав), но смотрит на свое величие как на присущее ему самому,

а не дарованное извне. Человеческие условности и институты он ценит не больше их истинной стоимости. В этом моя надежда».

III

Рано утром следующего дня мы отправились навестить Хари, который заключен в одну из темниц, выдолбленных в скале цитадели. Дверь этой древней тюрьмы мала и неприметна, но от этого не менее зловеща. По мне пробежал холодок, когда я посмотрел на нее. Главный надзиратель — толстый, улыбающийся старик — встретил нас потоком дружелюбной болтовни, но я был бы счастливее, если бы он не говорил о пытках и казнях так, словно это самые обычные и необходимые вещи в мире. Не думаю, что его узники могут получать большое удовольствие от его беседы. Как раз когда он собирался провести нас вниз по холодному темному проходу, он еще раз взглянул на приказ, полученный от Акбара, и тут же остановил нас. «Боже мой! Боже мой! Что это? Я ничего не вижу здесь о допущении принца Джали. Этот приказ относится только к вам, Гуру». Писец Акбара небрежно опустил мое имя; а поскольку Надзиратель не мог выйти за рамки своего приказа, я вынужден был остаться ждать снаружи. Предпочитая не ждать в мрачной комнате Надзирателя, я вышел наружу и сел на низкую стену на солнце. Увенчивая огромную скалу, возвышавшуюся надо мной, стояли зубчатые стены Старого Дворца, и мне пришло на ум, что где-то за углом находится тот маленький балкон, с которого я однажды — не так уж давно — смотрел на равнину. Я вспомнил то, что чувствовал, стоя там, и внезапно вернулось смутное предчувствие, которое преследовало меня. Я почувствовал, что живу в мире, которым правят не разум и привязанность, а своего рода произвольное безумие. Суетливые, возбужденные толпы, пышность лагеря, самоуверенное чиновничество Дворца, а теперь вот эта традиционно мрачная тюрьма — ничто из этого, казалось, не имело никакой истинной или необходимой связи с людьми такими, какими они являются от природы. Я не видел, как Гуру может надеяться повлиять человеческим обращением на нечто нечеловеческое — огромный и сложный механизм, в котором люди перестали быть людьми. Я все еще был погружен в эти мысли, когда появился Гуру, и пока мы шли прочь, он рассказал мне о том, что случилось с Хари. Оказывается, первая встреча Хари с Акбаром состоялась пять дней назад, и их разговор, начавшийся очень бурно, закончился хорошо. Следующая беседа прошла еще лучше, и у Хари осталось впечатление, что он полностью оправдал себя. Но через двадцать четыре часа он был арестован, и с тех пор содержится в полной изоляции без малейшего понятия о том, почему Акбар изменил свое отношение к нему.

Мы спустились к реке и уселись в пятне тени. Единственными человеческими существами в поле зрения были женщины, стиравшие одежду. Одна из них пела:

«Каждая женщина — паучиха,

Ее тело — ее паутина,

Она прядет ее на фиговом дереве...»

а Гуру слушал со слабой улыбкой. На его лице было такое выражение, которое заставило меня промолчать минуту, но наконец я спросил, нашел ли он Хари сильно удрученным.

Он покачал головой. «Нет. По крайней мере, не во время разговора со мной. Кроме того, сомневаюсь, что уныние уже успело осесть на нем. Волнение от случившегося все еще поддерживает его». Затем, задумчиво глядя на меня, он продолжил: «Хари, как никто другой из известных мне людей, черпает мужество из своего внутреннего зеркала. В каждой ситуации есть картина самого себя, которую он хочет представить, и которой наслаждается представляя. Его жалкая камера стала прекрасной декорацией для легкомыслия и беспечности. Мне не удалось вытянуть из него очень многого».

— «Но это ужасно!» — воскликнул я. — «Ведь он наверняка в какой-то опасности? Разве он не понимает, что ты мог бы ему помочь?»

— «Да. И я думаю, что завтра мы справимся лучше. Его первый порыв — всегда произвести эффект. Он терпеть не может не сделать чего-либо из случая просто как из случая. Это была беда в его разговорах с Акбаром. Когда он и Акбар оказываются лицом к лицу, он забывает, что пришел туда, чтобы спасти себя от изгнания или худшего, он забывает обо всем, кроме желания обставить дело со стилем. Он хочет впечатлить Акбара, и если не может впечатлить его одним способом, пытается другим; если не может очаровать его, переходит к тому, чтобы привести его в ярость». И Гуру, посмотрев на меня сокрушенно, тихо рассмеялся. «Похоже, он последовал моему совету быть с Акбаром настолько откровенным, насколько возможно — учитывая все обстоятельства; но он также не смог устоять перед искушением разыграть большую игру своей откровенностью. Боюсь, он получил удовольствие, увидев, как далеко может зайти, и подверг Акбара значительному провоцированию».

Я промолчал. По правде говоря, я думал о себе не меньше, чем о Хари. Я не мог выбросить из головы свое собственное поведение прошлой ночью. Я сказал: «Словно в воздухе Агры есть что-то, превращающее людей в актеров. Толпа ведет себя как театральная толпа, чиновники — как сценические чиновники, Император — как сценический Император. А Хари не перестает позировать даже под угрозой жизни. Как далеко и как мал теперь кажется маленький мир Хава-Гхар! Это великий мир, который несется вперед, опьяненный собственным притворством. Он не может измениться; и я не вижу, как вы можете надеяться иметь здесь какое-либо влияние». Гуру посмотрел на меня, а затем слегка улыбнулся. «Разве у тебя нет ничего больше на уме?» Тогда я рассказал ему, как сам разыгрывал комедию. Он рассмеялся. «Что ж, это лишь показывает, что ты не очень отличаешься от других людей. Ты принял друзей своего отца за мирских людей; но откуда ты знаешь, что сам часто не являешь миру облик сурового, эгоистичного, маленького обывателя? Эти друзья твоего отца могли уйти с таким впечатлением о тебе, дремлющим в глубине их

сознания. Если ты притворялся, то, вероятнее всего, притворялись и они». Эти слова пробудили воспоминание, и после молчания я сказал: «Я помню ночь в Агре, когда мной овладел великий страх перед миром, и случилось так, что там был Хари, и он угадал, что я чувствую. Я никогда не забывал тот разговор. Он сказал: „Если снится, что за тобой гонится стая волков, нужно превратить себя в волка; и тогда все будет хорошо. Точно так же, если люди пугают тебя, преврати себя в одного из них. Притворись самому себе, что ты такой же, как другие, и они перестанут быть такими пугающими“». Гуру покачал головой. «Совет Хари был нехорош. Вместо того чтобы превращать себя в волка и тем самым добавлять к великой путанице ложных видимых образов, следует набраться мужества поверить, что другие в душе не сильно отличаются от тебя самого. По природе и инстинкту люди — друзья. Если незнакомец пренебрегает тобой, пусть боль будет недолгой. Пусть это будет так, словно ты зашел в дом друга и обнаружил, что его нет дома. В следующий раз, когда ты придешь, он может оказаться на месте. — «Странно ли, — продолжил он, — что в мире так мало доверия и понимания, когда каждый человек, напуганный волчьими масками других, хватает для себя такую же маску? Трагедия жизни Хари в том, что он сам всегда делал то, чему советовал делать тебе. От природы он чувствителен и застенчив, и легко впечатляется внешностью; поэтому, чтобы справляться с миром, он начал рано в жизни наряжаться. Он играл свою принятую роль с немалым успехом; но ценой, которую никто не может себе позволить». На лице Гуру появилось печальное выражение, но через некоторое время он рассмеялся, потянулся и окликнул продавца арбузов, разговаривавшего с женщинами у реки. Купив арбуз, мы разрезали его на ломтики моим кинжалом; и он оказался очень освежающим. — «Вот вещь, которая не перестает меня удивлять, — продолжил Гуру. — В мире существует открытая тайна — нечто, что каждый осознает в то или иное время, а затем поспешно откладывает в сторону, так что эта часть знания почти мертва. Она такова: самый сильный из аппетитов — это жажда внимания; а самый сильный из страхов — это страх потерять внимание. Было время в моей жизни, когда я был порабощен этим аппетитом и этим страхом. Это было тогда, когда я находился на вершине своей репутации Святого Человека. О Рам! Рам! каким притворством была моя жизнь тогда! И могу ли я быть уверен, что до сих пор не являюсь отчасти шарлатаном?» Несколько мгновений он молчал, хмурясь про себя, затем: — «Те воспоминания, — продолжил он, — должны быть полезны мне в моем разговоре с Акбаром. Я знаю, каково это, когда ты — хотя бы в малой степени — знаменит. Это, конечно, очень деморализует. Человеку приходится слишком много думать об образе, который он представляет миру; и внутренняя жизнь неизбежно голодает. Внутренняя жизнь Акбара истощена; но она не мертва. Будь она мертва, он был бы и более безмятежным, и более крепким здоровьем. Ибо человек, которому удается задушить свою внутреннюю жизнь, избавляется не только от внутреннего конфликта, но и может посвятить своей внешней жизни ту энергию, которая ушла бы на другую. Чаще всего человек обретает равновесие по мере продвижения в годах просто потому, что все больше отождествляет себя с фигурой, которую он представляет миру. Единственное, что отличает публичного героя, — это просто то, что выбранная фигура

настолько нелепа. Но, тем не менее, обладая небольшим воображением, можно — довольно легко — представить себя играющим эту роль».

Я рассмеялся и покачал головой. — «О да! Подумай о себе, просыпающемся однажды утром с ничегонеделанием на руках и свободном предаваться чувственной праздности. Ты зеваешь и потягиваешься и медлишь; ты полчаса колеблешься, прежде чем погрузиться в холодную воду плавательного бассейна; мелодия, сыгранная бродячим музыкантом у ворот, вызывает слезы чувствительности на твоих глазах. Весь день ты переходишь от одного самоублажения к другому; ты восприимчив, созерцателен; ты мечтаешь. — Теперь возьми другое утро, когда ты просыпаешься со знанием того, что перед тобой ждет тяжелый рабочий день. Ты призываешь энергию, напрягаешь свою волю, вскакиваешь с постели. Удар холодной воды в бассейне даже не ощущается; музыка для тебя ничего не значит, как и вид нищих у твоих ворот. Ты чувствуешь себя сильным, суровым, решительным. Затем представь, что годами ты приучал себя к этому, создавал легенду о том, что это твоя натура, убеждал других людей, что ты не таков, как они. Представь сотни и тысячи глаз поклонников-героев, устремленных на тебя постоянно, ожидающих уверенности в себе, определенности, неутомимой энергии, свершений. Через некоторое время, сын мой, тебе потребовалось бы почти сверхчеловеческое моральное мужество и сила характера, чтобы быть ленивым, нерешительным или хотя бы слегка сомневающимся в себе. — Но у Акбара есть великая сила характера: именно в этом моя мысль. Он следует своему собственному естественному складу: он пьет, он предается приступам религиозного мистицизма, он забывает о своей аудитории не просто на часы, но даже на дни подряд. В целом, он живет жизнью, определяемой его фундаментальным характером — а не той, что навязана ему тщеславием, правящим через волю». Услышав эти слова, я осознал, что до сих пор отчаялся в успехе Гуру с Акбаром; однако в этот момент меня захлестнула волна надежды. Я подумал о тебе, Дамаянти, и о Мохане, и о Хава-Гхар; я подумал, как было бы славно, если бы мы могли вернуться к вам победителями. В Гуру есть бодрость духа, которая передается другим. С этого момента я начал чувствовать большую уверенность во всем. Мы встали и медленно пошли обратно к тюрьме, ибо Надзиратель пообещал посмотреть, не сможет ли он получить разрешение на мое допущение. Гуру вошел один, а я ждал снаружи, как и прежде. Его не было дольше, чем я ожидал, и когда он появился, то сказал: «Приказ о вашем допуске еще не прибыл. Но Хари хотел снова увидеть меня, так как только что дошла тревожная новость». Я вопросительно посмотрел на Гуру, но он ответил: «Я расскажу тебе об этом, когда мы вернемся домой. Нелегко говорить на улице». Это было правдой, так как переулок, по которому мы проходили, был узким и людным; но вскоре я понял, что у него была и другая причина не говорить больше прямо сейчас. За нами следовал человек, и плотность толпы позволяла ему держаться совсем близко.

Когда мы удобно расположились на крыше дома шелкового торговца и были избавлены от подслушивающих, Гуру начал: — «Хотя предполагается, что Хари никак не сообщается с внешним миром, он получил сообщение от кого-то — он не сказал мне от кого — которое

заставляет его беспокоиться о принцессе Лалите. Когда я вошел, он ходил взад-вперед в сильном беспокойстве. Он говорит, что ее нужно предупредить немедленно покинуть Агру. Теперь я не могу передавать послания Принцессе, не привлекая внимания. Чего хочет Хари, так это чтобы ты передал послание».

— «Но я не знаю ее».

— «Это не имеет значения. План Хари состоит в том, чтобы ты навестил его сегодня вечером, и тогда он скажет тебе, что делать».

На этом он умолк, и я тоже остался молчать. Я видел, что это дело не особенно приятно ему. Однако через минуту он продолжил: «Хари рассказал мне достаточно, чтобы заставить меня почувствовать, что его просьбу едва ли можно отклонить. Твои тетки Амбисса и Шрилата устраивают вечеринку сегодня вечером; будет казаться естественным, что ты пойдешь на нее; и принцесса Лалита тоже будет там. Все, что тебе придется сделать, — это незаметно вложить послание ей в ухо».

Мои чувства были смешанными. Меня немного раздражало, что Хари сваливает на нас это дело в такой момент; перспектива снова увидеть моих тетушек была крайне неприятна; и я боялся вечеринки. Но я был рад возможности сделать что-нибудь для Хари.

IV

Одетый в свою лучшую одежду и сильно не желая того, что меня ожидало, вскоре после наступления темноты я отправился в тюрьму. На этот раз Стражник без возражений впустил меня; меня тотчас же повели по холодному, мрачному коридору к камере Хари.

Надзиратель отпер дверь, и при свете маленькой масляной лампы я увидел Хари, полулежащего на каменной скамье напротив. Вокруг была тьма; маленькое пламя делало видимым только Хари. Я стоял и смотрел, чувствуя, как сердце уходит в пятки.

Подскочив, Хари шагнул вперед, обнял меня и, усадив на скамью, начал расхаживать по камере. Он был чем-то озабочен, поначалу он, казалось, едва замечал мое присутствие; но когда я всматривался в его лицо, мое сердце теплело к нему. — Джали, — сказал он, — твое прибытие в Агру именно в этот момент — великое благо. Мне нужно сказать то, чего я не мог бы сказать никому другому. В его глазах было выражение, которого я никогда прежде там не видел. — Я думаю о твоем отце — и твоей матери. Он остановился передо мной и подыскивал слова, не зная, как выразить себя. — Полагаю, теперь мне уже никогда... у меня никогда не будет возможности...

Я ничего не мог сказать; я мог только смотреть на него и кивать головой. Через минуту он вздохнул, отвернулся и снова принялся ходить взад-вперед ссутулившись и вытянув голову вперед. Но теперь он засыпал меня вопросами о том, каким образом произошло внезапное

исчезновение моего отца. Мне нечего было ему рассказать, и вскоре мы оба замолчали. Однако, хотя нас обоих переполняло своего рода изумление, поступок моего отца едва ли казался нам странным — так же, как сама смерть не является странной, хоть это и чудо.

Вскоре он подошел и сел рядом со мной на каменную скамью. — У меня есть письмо для тебя, — сказал он, — но мы поговорим о нем позже.

При свете лампы я изучал его, и за его нахмуренным лицом видел лихорадочно работающий ум. Наконец он вышел из своих мыслей, улыбнулся мне и сказал: «Сегодня днем у меня была еще одна встреча с Акбаром».

Я вздрогнул. — Еще одна встреча! Скажи быстро: как все прошло?

— Трудно сказать. — Он пожал плечами, выбросив руку. — Старик принял меня в небольшой частной комнате во Дворце и отослал всех прочь, так что мы остались совсем одни.

— Он объяснил, почему ты был заключен в тюрьму?

— Да. Посмотрев мне в глаза около минуты, не проронив ни слова, он вдруг рявкнул: «Хари Хан! Ты принадлежишь к мерзкому обществу Вамачари; ты участвуешь в их непристойных и нечестивых обрядах; тебе прекрасно известно, что ты заслуживаешь смерти». Несколько мгновений я смотрел на него в полном изумлении, затем улыбнулся, и он, должно быть, увидел, что моя улыбка была искренней. Однако, все еще свирепо глядя на меня, он продолжил: «И как будто этого мало, ты также замешан в сожжении Павильона Искусств — то есть виновен в уничтожении моей собственности; — а за это ты опять-таки заслуживаешь смерти». Я продолжал улыбаться; мой разум сделал скачок, и мне показалось, что я понимаю свое положение. Даниял, должно быть, решил, что настал момент использовать информацию, которую он вырвал у Гунавати. Несомненно, он состряпал прекрасную историю. Но я не был встревожен. Я чувствовал, что смогу справиться с ситуацией.

Откинувшись назад со сложенными на груди руками, Хари осклабился. Теперь он получал удовольствие. — Я уже обнаружил, — продолжил он, — что политика откровенности — рекомендованная мне, кстати, мне Гуру — очень плодотворна. Когда человека подозревают в действительно тяжких преступлениях, он может признаться в менее серьезных без особого риска. Что касается Лалиты, я был уверен, что Даниял выставил меня гораздо более виновным, чем я был на самом деле. Был отличный шанс, что если я скажу правду, мне не только поверят, но и простят. Поэтому я продолжал спокойно встречаться взглядом с Акбаром, ожидая произнесения имени Лалиты. Вскоре оно прозвучало. С попыткой хитрить он сказал: «Часть доказательств против тебя исходит от принцессы Лалиты». Ну, я не собираюсь пересказывать весь разговор вкратце. Суть в том, что я дал Акбару абсолютно правдивый отчет о моих отношениях с Лалитой; и когда я закончил, он не был серьезно зол, хотя и сохранял свой самый свирепый вид. Одна из причин, по которой он так хорошо принял мое признание, заключается в том, что он больше не

придает большого значения женитьбе Данияла на Лалите. Пока все идет хорошо. Но был один пункт, в котором он остался неудовлетворен. Я совершенно не смог убедить его в том, что Лалита не принимала никакого участия в сожжении Павильона; и я теперь уверен в том, что ей следует немедленно покинуть Агру.

— Но, — сказал я, — если она внезапно покинет Агру, разве это не станет доказательством вины? И разве Акбар не станет ее преследовать?

Хари нахмурил брови. — Возможно, но она не может остаться; это слишком опасно. Кроме того, ее внезапный отъезд будет выглядеть как побегом влюбленных — и фактически станет побегом влюбленных, поскольку она сбежит с молодым Али Бегом, князем Варистана, который давно хочет на ней жениться.

С этими словами он встал. Наша маленькая масляная лампа чадила и догорала; я погасил фитиль и посмотрел в его лицо, пока он стоял надо мной. Выражение его лица было сардоническим. — Ты не должен меня неправильно понять, — пробормотал он, — вся эта часть моей жизни теперь потеряна в прошлом. Понимаешь?

Я кивнул. — Да, понимаю.

Он отвернулся и снова принялся расхаживать туда-сюда. — Все равно странно, как иногда прошлое — даже самое незначительное — выползает из пыли, словно полудохлая змея, чтобы ужалить тебя. Я нажил себе горьких врагов.

— Кого ты имеешь в виду?

— Всех тех, кто хотел видеть Лалиту замужем за Даниялом, — заколебался он, — например, двух братьев Лалиты.

Я снова кивнул.

— А также всех тех, кто подозревает, что за последние несколько дней я нанес перспективам Данияла больший ущерб, чем любой другой человек в Индии. — И он рассмеялся. — Я рассказал Акбару такое, на что никто другой не осмеливался.

Он прислонился плечом к стене. Я думал, что он погрузился в свои мысли, когда вдруг он сказал: «Один Бог знает, я желаю успеха Гуру в его миссии, но я думаю, что он совершает ошибку, веря, что все люди одного с ним склада».

Эти слова выразили мои собственные глубочайшие опасения… — Что ты имеешь в виду? — спросил я.

— Почти у каждого человека в голове есть определенные идеи, о которых он не способен думать здраво. О некоторых предметах с ним невозможно рассуждать.

— А Акбар...?

Хари рассмеялся. — Акбар кажется вполне нормальным человеком и все же... подумай о его гонениях на Тайные Секты! При упоминании Вамачариев вены на его висках набухают, руки дрожат, весь его облик меняется.

Во мне ожили определенные воспоминания, и через минуту я сказал: — Тебе удалось убедить Акбара, что Салим не был Вамачари, а Даниял был?

Хари, который теперь снова расхаживал взад и вперед, внезапно остановился, бросил на меня взгляд, а затем возобновил свою ходьбу. Я почувствовал внезапный страх — как за него, так и в какой-то мере перед ним. Но я также чувствовал некоторое восхищение.

Тишина продолжалась, и тогда, после долгого вздоха, я сказал: «Что ж! К счастью, то, о чем Гуру хочет поговорить с Акбаром, не имеет никакого отношения к сексу. Его предмет, как ты знаешь...»

Хари перебил со смехом. — Мой дорогой Джали, это касается денег; а Акбар без ума от денег точно так же, как от секса. Эти два безумия часто идут рука об руку. Разве ты этого не замечал?

Время истекало. Я чувствовал, что мне пора идти, но атмосфера изменилась, и мне не хотелось оставлять Хари в холоде, который опустился на нас. Думаю, он прочитал мои мысли, ибо, изменив тон, он начал говорить об Амбиссе и ее компании с большой долей юмора; и вскоре мы оба смеялись.

Наконец я встал.

— Подожди минуту! — сказал он, и его тон снова изменился. — Я еще не отдал тебе мое письмо.

С этими словами он вытащил письмо из-за пазухи своего камзола и протянул мне. — Оно для твоей матери. Я хочу, чтобы ты передал его ей в случае моей смерти. Ты понимаешь? Сохрани его в целости до тех пор.

Я взял письмо и спрятал его в складках одежды. «Я понимаю. Я сделаю, как ты скажешь. Но...» И я заколебался.

— Какое облегчение иметь этот разговор, — пробормотал он.

— Но, — продолжил я, — меня кое-что беспокоит. Есть ли какая-нибудь опасность, нависшая над тобой, которую ты скрываешь?

— Нет. Никакой. — И он улыбнулся.

Наступило молчание. У меня было сильное чувство, что мы имеем дело с реальностями — не фантазиями, и что Хари дал мне это письмо неспроста. Но почему-то ни он, ни я в тот момент не могли испытать никаких эмоций. Нас подхватил поток жизни, в котором эмоциям не было места.

Тем не менее, мне было трудно уйти от него без единого слова. Когда мы направлялись к двери, я нерешительно остановился.

Он похлопал меня по плечу. — Ступай — и пусть это письмо тебя не тревожит! У меня бывают свои суеверные моменты, как и у всех остальных. Полагаю, на меня повлияла смерть Ранджира.

Я забыл, что он проделал путь до Агры вместе с Ранджиром. На самом деле я совсем забыл о Ранджире. Пока я пытался придумать, что сказать, он мягко вытолкнул меня из камеры. «Удачи!» — крикнул он и закрыл за мной дверь.

Надзиратель был снаружи. Он поднялся с земли, зевая, запер дверь и пошел впереди меня по коридору.

Я вышел в жаркую ночь с тюремным холодом в костях и озябшим, дрожащим духом. Мне хотелось бежать обратно к Хари, чтобы добавить что-то, но я не знал что. Дул сильный ветер, и воздух был полон пыли. Закутавшись в плащ, я поспешил прочь, опустив голову против ветра. Звезд не было. Вдалеке звучала военная музыка, и иногда ветер доносил ее до меня, а иногда уносил прочь. В моем уме царила путаница, словно вещи, которые я мог бы знать, пытались проявить себя.

О Дамаянти! Неужели только случайно из этой путаницы возник образ Ранджира? То, о чем мы говорили с Хари, отпало от меня, и призрак Ранджира остался один, чтобы шагать рядом со мной. Я вспомнил, что Хари и Ранджир проделали путь до Агры вместе. Несомненно, они говорили лишь о внешних вещах, несомненно, они шутили вместе; но атмосфера смерти уже витала вокруг Ранджира, и Хари определенно это чувствовал. Почему они только шутили вместе? Было ли это мужеством или трусостью? Зачем Ранджир вел себя и своих людей на мучительную и бесполезную смерть? Почему Хари покорно соглашался? Оба ли они слабы — и слабы одинаково? И поэтому ли собственная смерть теперь преследует Хари?

Мои мысли зашли так далеко, но дальше продвинуться не могли. Да и призрак рядом со мной не помог бы мне, ибо мертвец, казалось, унес свою улыбку тихого безнадежного отчаяния за пределы могилы.

Вскоре я подошел к дверям дворца, занимаемого Амбиссой. Мажордом имел список имен гостей, и моего имени там, естественно, не было. Но когда я сказал ему, кто я такой, он провел меня в маленькую пустую комнату, примыкающую к вестибюлю, и пошел сообщить своей госпоже, что я жду.

Ее лицо, светящееся от любопытства, Амбисса вскоре поспешила войти. — Дорогой мой! Так это ты! А я думала, это какой-нибудь самозванец — какой-нибудь шпион из лагеря Салима! Мне пришлось отдать строжайшие приказы, потому что, хотя эта вечеринка довольно скромная, здесь есть один-два очень, очень важных человека. — Последние слова она произнесла смеясь, но ее самодовольство было очевидным. — Джали! —

продолжила она, подводя меня к свету, чтобы рассмотреть, — прошли годы, положительно годы, с тех пор как я видела тебя в последний раз! А теперь ты стал молодым человеком. Я видел, как сотни мыслей пронеслись в ее голове, когда она окинула меня взглядом. — Нам действительно нужно поговорить. Мне так много хочется услышать. Не мог бы ты зайти завтра днем?

Мое лицо, должно быть, сказало ей, что это мне не подходит, ибо в следующее мгновение она приняла другое решение. — Нет. Подожди минутку! — И, сказав несколько поспешных слов мажордому, она вернулась с совершенно другим видом. — Иди и садись сюда! — Она опустилась на диван со вздохом неторопливого довольства. — Теперь у нас будет милая, спокойная беседа. Мне не нужно думать о моих гостях; они будут вполне счастливы сами по себе. Расскажи, как ты оставил свою мать. Бедняжка Сита, как одиноко она, должно быть, себя чувствует! Конечно, она знала, что это приближается, но... — И она покачала головой.

У меня было мало желания утолять ее любопытство, которое едва ли даже притворялось имеющим хоть какую-то истинную дружественность; но я рассказал ей голые факты нашего дела. И она, бедная женщина, была вынуждена этим удовольствоваться. Ведь, видишь ли, она никак не могла спросить меня об увечье моего отца (которое он получил от ее друга Данияла), или об отношениях моей матери с Хари, или вообще о том, что привело меня к ней в этот момент. Она упомянула Павильон Искусств, и я видел, что она слышала о моих визитах туда, но эта тема опять-таки была той, которой ей следовало избегать. Итак, мы сидели здесь, якобы устроившись для «милой тихой беседы!» Вскоре, когда я заговорил о своем пребывании у Боджа и Лакшми, она ухватилась за эти имена, именно так, как я и знал, что она сделает.

— О, расскажи мне о дорогой Лакшми! Я так давно ее не видела. Я должна была нанести ей визит в прошлом месяце, но в последний момент не смогла этого устроить. Как я завидую твоему долгому пребыванию в этом очаровательном месте! Разве ты не успел полюбить его? и ее? и его тоже? Дорогой Божд! такой основательный, такой мудрый!

Из комнаты, в которой мы сидели, через широкий арочный проем была видна другая, более просторная комната. В этой комнате теперь появились две женщины, одной из которых была моя тетя Шрилата, а другая показала мне только спину. Амбисса быстро встала. — «Это рани Деви», — сказала она вполголоса. — Бедняжка, дорогая Деви! — Ты знаешь, какую ужасную потерю она только что пережила? Ее муж, Ранджир? Слишком трагично, не правда ли? И вот теперь она приехала пожить у меня на несколько дней. Я выделила ей несколько комнат в задней части дома, где она может побыть в тишине, совсем одна. Подожди минуту, дорогой мой; я должна пойти посмотреть, не нужно ли ей чего-нибудь.

Полная и благоухающая, но чрезвычайно прямая и целеустремленная в своих движениях, Амбисса подплыла к рани Деви и, схватив ее за руку, заглянула ей в лицо, которое она,

думаю, поцеловала бы, если бы оно было в пределах ее досягаемости. Но рани не склонялась к ней и отвечала на тихие ласковые бормотания Амбиссы своим обычным громким, несколько резким голосом. Она выглядела изможденной, но это ей шло, как и шли ее траурные одежды. Амбисса в своем целенаправленном наступлении оттеснила Шрилату на задний план, но та осталась готова вновь заявить о себе, и вскоре она сделала это, ибо какое бы предложение Амбисса ни выдвигала ради большего комфорта своей гостьи, у Шрилаты всегда находилось небольшое исправление, которое делало первоначальное предложение слегка недостаточным или неблагоразумным.

Рани Деви принимала эти знаки внимания с беспечной безразличностью, но я совершенно уверен, что ей нравилось их получать. Ей также доставляло удовольствие игнорировать свое трагическое положение и говорить обычным, деловым тоном, не выказывая никаких признаков горя. Полагаю, ее манера обращения с Амбиссой была немного более пренебрежительной, чем обычно, но последняя никогда не отступала. Все три женщины каким-то странным образом наслаждались собой.

Я смотрел на них с изумлением — и отвращением. А также с некоторым стыдом. Но я думаю, что у мертвеца было больше чувства юмора, чем у меня.

Через некоторое время Амбисса увела рани Деви, и Шрилата присоединилась ко мне в другой комнате. За светлой, сердечной любезностью своего поведения она скрывала, как мне показалось, легкую неловкость. И прежде чем мы обменялись многими словами, я понял почему. Некоторое время назад она полностью связала себя с миром Данияла, и поэтому у нее больше не осталось никакого настоящего сочувствия ни к моим родителям, ни к кому-либо из нас. Это стало особенно заметно в ее намеках на уход моего отца от мира: намереваясь выразить и понимание его поступка, и сочувствие моей матери, она полностью не сумела скрыть то, что чувствовала на самом деле — а это лучше всего выразилось бы пожатием плеч.

Но я был рад провести эти несколько минут наедине с ней, так как знал, что могу безопасно доверить ей послание Хари для Лалиты. Она приняла поручение; но было знаменательно, что она не спросила меня, когда, или где, или как я вошел в контакт с Хари; и, дав согласие, она проявила нервную готовность перейти к другой теме.

Выждав разумный промежуток времени, я почувствовал, что могу вполне прилично ускользнуть. Так я попрощался со Шрилатой, протолкнулся сквозь прибывающих гостей, которые теперь заполнили зал, и снова оказался на темной, жаркой, ветреной улице.

V

В ту ночь я спал мало, и мой сон был полон тревожных снов. На следующее утро я поздно вошел в комнату Гуру и был удивлен, застав его все еще в постели. Когда я спросил, не

болен ли он, он ответил нет, но признался, что ночью у него тревожно на сердце; и хотя он не придавал этому большого значения, меня охватило беспокойство, ибо он никогда бы не лежал в постели, если бы не чувствовал, что его силы иссякают.

Затем я заметил письмо, лежащее открытым на кровати, и узнал почерк Мохана. — Ты можешь прочитать его, — сказал он, и когда я сделал это, то понял, почему он выглядит не только усталым, но и печальным. О Дамаянти! Новость в письме Мохана причинила боль моему сердцу. Вскоре Гуру сказал: «Положение дел в Даулатпуре не терпит отлагательств. Я должен добиваться немедленной аудиенции у Акбара, и она должна быть долгой и частной, если у меня есть хоть какой-то шанс на успех. Но мне жаль, что небольшая отсрочка была невозможна, так как сейчас Акбар не в том настроении, чтобы уделять мне много внимания».

Я тотчас же вышел, чтобы вызвать гофмейстера и добиться для Гуру аудиенции, как только это будет устроено. Но по пути я остановился у тюрьмы, так как обещал Хари быстро доложить о своей вечерней миссии. Мое смятение было велико, когда у тюремных дверей мне сказали, что Хари уведен, будучи забранным под вооруженным конвоем рано утром. — На казнь? — воскликнул я, но человек ни знал, ни заботился об этом. Я попросил позвать Главного надзирателя, и мне ответили, что он уехал на праздники.

На мгновение я совершенно пал духом, но, собравшись с мыслями, решил, что гофмейстер столь же вероятно может оказать мне помощь, как и кто-либо другой. Поэтому я поспешил во Дворец. По счастливой случайности меня впустили почти сразу, и я нашел гофмейстера таким же добродушным, как всегда; но его добродушие сопровождалось таким полным безразличием к судьбе Хари, что мне стоило некоторого труда не выказать гнев. Кроме того, у него не было для меня никакой информации; но я убедил его отправить двух-трех посыльных разузнать обстановку в разных направлениях. Тем временем он беседовал своим обычным неторопливым образом, совершенно не обращая внимания на то, что его приемная переполнена нетерпеливыми посетителями. К своему удивлению, я узнал, что принц Даниял, вместо того чтобы быть узником в своем летнем дворце, как говорил мне Чураман, удалился туда в приступе гнева после подачи отцу официальной просьбы позволить ему навсегда уйти из общественной жизни. — Но, — добавил гофмейстер со скрытой улыбкой, — я не думаю, что нам стоит принимать слова Принца за чистую монету. Это лишь ход в игре, ход в игре! — И, потирая руки, он одобрительно хихикнул.

В этот момент вернулись все три посланца, и, поскольку никто из них ничего не обнаружил, мой визит к гофмейстеру завершился плоским и неудовлетворительным итогом.

Теперь я мог думать только о том, чтобы скорее вернуться домой и спросить у Гуру, что делать дальше. По дороге мое воображение рисовало ужасные вещи. Представь же себе мое изумление, когда, открыв дверь комнаты Гуру, я увидел там Хари: он шагал взад-вперед, веселый как павлин, в новеньком, сверкающем мундире. Полагаю, мне следовало испытать огромное облегчение — и, действительно, испытал, но я также был несколько

раздосадован — особенно когда, выслушав мой рассказ о словах младшего надзирателя, Хари расхохотался: «Солдаты, которые меня забрали, были офицерами моего нового полка. Они пришли приветствовать меня в составе Императорской личной гвардии».

Я сразу заметил, войдя, что настроение Гуру улучшилось, и теперь он рассказал мне почему. Хари принес известие, что днем Акбар примет его. Услышав это, я возрадовался, но пришел в смятение, когда Хари сообщил мне, что я тоже должен предстать перед Императором. — Мы пойдем втроем: Гуру, ты и я, — сказал он. — И тебя представят ему официально. Тебе придется принести присягу на верность в качестве нового Раджи Видьяпура. — Я посмотрел на Гуру, и он кивком с улыбкой подтвердил заявление Хари. Я запротестовал, что у меня нет придворного платья. Но Хари заявил, что упомянул об этом деле Акбару, который счел его несущественным.

Соответственно, через несколько часов мы отправились все трое. Меня огорчало видеть, что Гуру, хотя и жаждал аудиенции, все еще выглядел усталым и больным. Я тоже нервничал сам по себе; и это волнение отнюдь не улеглось, когда прямо у самых дверей Дворца чванливый придворный чин с ужасом объявил, что мне совершенно невозможно явиться перед Императором в моей нынешней одежде. Я охотно повернул бы назад, но Хари этого не допустил. А другое возражение последовало от самого гофмейстера, который, будучи задет властным тоном Хари, оказал упорное сопротивление моему дальнейшему продвижению. Разбирая мои одежды одну за другой, он потратил много времени и сил, объясняя особую непригодность каждой. Однако Хари твердо стоял на том, что имеет полномочия ввести меня в Присутствие Короля в любом костюме, какой ему заблагорассудится. Проходя мимо гофмейстера, я столкнулся не более чем с испуганными вскриками, долгими взглядами и поднятыми бровями; но уверяю вас, этого было вполне достаточно, чтобы держать мою храбрость и самоуважение на очень низком уровне.

Большая терраса, на которую мы вышли, была залита послеполуденным солнцем. В дальнем конце возвышался помост, затененный и украшенный балдахином, под которым сидел Акбар. Нам предстоял долгий путь, и в двух местах по дороге были расстелены ковры, указывающие на то, что в этих точках от нас ожидают остановки и простирания ниц. Мое представление и принесение клятвы верности заняли у нас немного времени, но после окончания этих церемоний формальная атмосфера сохранилась, и Акбар продолжал играть роль Императора с неизменным величием. Он сидел скрестив ноги на подушке из золотой ткани. На нем была шелковая туника, расписанная цветами и ярко сияющая золотыми и серебряными нитями. Его штаны из белого сарсанета были перехвачены у лодыжек шнурками из жемчуга. Маленький тюрбан плотно облегал голову в манере, находящейся на полпути между мусульманской и индуистской. Он был украшен рубинами и бриллиантами. Сидя скрестив ноги, он кажется больше, чем есть на самом деле, ибо тело его длинное, а также плотное. Мне показалось, что он выглядит старше своих лет, но хотя его лицо одутловато, глаза искрятся жизнью; чувствуется, что до тех пор, пока он остается жив, он будет полон жизненных сил.

Сбоку стоял низкий столик, заваленный бумагами. Он отпустил своих секретарей так поспешно при нашем приближении, что ничего не успели убрать. И это оказалось для меня источником нескончаемого беспокойства, ибо сильный ветер, который дул, поднимал одну бумагу за другой со стола, и мне приходилось бегать за каждой по очереди и приносить ее обратно. Во время нашей аудиенции я стоял позади Гуру, который по приглашению Акбара сидел, в то время как Хари, как офицер Императорской гвардии, занял позицию за спиной Императора. На помосте больше никого не было, да и вообще — в пределах слышимости. Разговор, однако, был совершенно неинтересным, поскольку Акбар разглагольствовал в своем публичном и официальном стиле. Он изрекал множество тяжеловесных и пустых афоризмов об искусстве управления государством, долге верности и порочности употребления в пищу мяса. Что касается меня, то все это время я находился в состоянии тревоги, ибо если бы было непочтительно не прислушиваться с вниманием, то еще более непочтительным было бы позволить его бумагам улететь прочь, не пошевелив пальцем, чтобы их подобрать.

Я был благодарен, когда этому положению дел пришел конец. Наступила тишина, после которой Акбар оглянулся через плечо на Хари и велел ему выйти вперед. Несколько мгновений он окидывал его ироничным взглядом, затем сказал: «Ты оказался поразительно быстр, Хари Хан, надев мундир преданности, остается посмотреть, носит ли внутренний человек одежды под стать».

Если Хари и почувствовал себя обескураженным (а у него были на то причины, ведь Акбар внезапно стал очень грозным), он этого не показал; он дал твердый и спокойный ответ. Однако Акбар продолжал смотреть на него угрожающе и продолжил: «У тебя хватило дерзости выдвинуть определенные обвинения против одного из моих сыновей. Человек, выдвигающий обвинения против Принца Королевской Крови, предлагает свою жизнь в качестве гарантии истинности своих слов. Разве не так?» «Именно так, Ваше Величество». «Очень хорошо. — Принц Джали, дай мне бумагу, которая была у тебя в руках минуту назад». Я вздрогнул, затем вышел вперед и протянул ему последний документ, который отлетел в сторону. Он не взял его, но сказал: «Полагаю, это письмо, адресованное мной моему сыну принцу Даниялу, не так ли?» И, когда я взглянул на него и сказал «да», он приказал: «Тогда передай его Хари Хану». А Хари он сказал: «Что в письме? Читай!»

Хари начал читать письмо вслух. Это был вызов Даниялу явиться к отцу в четвертый час пополудни следующего дня. Когда он закончил, Акбар сказал: «Ты, Хари Хан, появишься здесь в тот же самый час. Обвинитель и обвиняемый встретятся в моем присутствии».

Дрожь пробежала у меня по спине, но должен сказать, что Хари выдержал это испытание очень достойно. Он почтительно и с достоинством склонился.

Затем Акбар сказал: «Эта аудиенция окончена. Возьми это письмо, Хари Хан, и доставь его моему главному гонцу, который стоит у ворот».

С этими словами нас с Хари отпустили, но не Гуру. Ему он сказал: «Я выделил это время, чтобы выслушать тебя. Сядь снова и говори».

Как только я прошел под аркой и скрылся из виду, я вздохнул с облегчением. В коридоре стояла группа солдат и придворных чинов, которые смотрели на нас с некоторым любопытством. Один из них ухмыльнулся Хари и спросил: «Ну?» Хари ответил пожатием плеч.

Немного дальше мы вышли в небольшой дворик со скамьями вокруг. Я тронул Хари за руку и предложил подождать здесь Гуру. Он не ответил, но пошел дальше, и я увидел, что он погрузился в такую глубокую задумчивость, что не расслышал меня. Я повторил свои слова, но он все равно шел дальше. Тогда я позволил ему уйти; но не без некоторой тревоги я провожал его глазами, пока он не исчез в проходе.

В маленьком дворике было совсем тихо. Единственным звуком, который можно было услышать, было жужжание пчел на стенах, увитых жасмином. Я сел. Эта тишина была бы мирной, если бы я не тревожился. Я ждал Гуру с нетерпением.

Примерно через двадцать минут я начал задаваться вопросом, не покинул ли он террасу каким-нибудь другим путем; поэтому я вернулся и расспросил одного из солдат. — Нет. Он все еще там, — ответил мужчина. — Можешь сам посмотреть. — И он подвел меня к висящей ширме из травы кушак, из-за которой была видна вся терраса. И я увидел Гуру, сидящего именно там, где я его оставил. Акбар тоже был на том же месте, но теперь он слушал вместо того, чтобы говорить. Это была маленькая, яркая, ясная сцена, которую я никогда не забуду — очень красивая по цвету и, как мне показалось, по значению. Ибо под этим балдахином из багрянца и золота невысокая, белая, стройная фигура Гуру приковывала взгляд своей обнаженной простотой. Хотя его голос был слишком тих, чтобы его можно было расслышать, движение губ и поднятая рука говорили мне, что он говорит; но вскоре Акбар наклонился вперед, нахмурив брови и вытянув губы в гримасе, казавшейся хмурым несогласием.

С колотящимся сердцем я вернулся на свое место в тихом маленьком дворике. То, что я видел, обескуражило меня, но минуты, продолжавшие накапливаться, возродили мои ослабевшие надежды. Я рассуждал, что если бы дело Гуру было проиграно, его давно бы уже отпустили, ибо Акбар — нетерпеливый человек. Свои отказы он делает резко, тогда как согласия дает осторожно и медленно.

По прошествии еще часа мое любопытство снова взяло верх, и я убедил добродушных стражников позволить мне еще раз заглянуть сквозь висящую ширму. То, что я увидел, было настолько странным, что я отшатнулся, чтобы сказать стоящему рядом человеку: «Смотри! Смотри!» — а затем снова прильнул глазом к отверстию. Гуру стоял на коленях на земле совсем близко к Акбару, а Акбар наклонился к нему, одной рукой обняв за плечи, в позе, почти предполагающей объятие. Ухо Императора было прижато к груди Гуру; он слушал его сердце! Я отказался поначалу поверить, что это так; и не могу передать тебе,

Дамаянти, какой приступ страха пронзил меня сейчас. Трепеща от дурного предчувствия, я вернулся в маленький дворик и попытался представить себе, что произошло. Неужели у Гуру случился сердечный приступ? Опасно ли он болен? Собирается ли он умереть? Его смерть, чувствовал я, оставит меня покинутым, без руководства, нагим — жить жизнью, которая будет слишком трудной без него. Но наконец, спустя промежуток времени, о продолжительности которого я не имею понятия, я услышал его шаги в проходе. Он появился, и при виде него ко мне вернулись мужество и надежда. Я бросился вперед. Он оттянул меня обратно в маленький дворик, мы сели вместе; и улыбка, с которой он смотрел по сторонам, сказала мне, что все в порядке. Да, на его лице было выражение глубокого покоя. Но некоторые из моих страхов остались, и я начал задавать вопросы.

Он засмеялся. — Мое сердце слабо, но я знаю об этом уже много лет. Мне еще не скоро предстоит умереть.

— И ты добился успеха?

— Успеха! — Он снова засмеялся, очень мягко. — То, чего я хотел, свершилось. Но, как ты услышишь, мне особо нечем гордиться. — Он посмотрел в небо смутной, блуждающей улыбкой, в которой, как мне кажется, я увидел немного веселья — над самим собой, и великую благодарность — небесным силам.

Солнце садилось, когда мы шли домой. Гуру висел на моей руке, ибо он был определенно очень слаб и грезил наяву, как человек в опиумном тумане. Но после того как он поспал и поужинал (нам подали его, как обычно, на крыше), к нему вернулись силы, и счастье, которое было в нем, излилось на всех нас. Наш хозяин с женой и дочерьми почувствовали это не меньше, чем я. И вскоре, чтобы отпраздновать это счастье (хотя причина его была им неизвестна), они удалились в неосвещенный угол крыши, и оттуда, как и прежде, донеслось тихое щебетание, почти неразличимое пение, подобное тому, как при первом румянце зари очень молодые птицы поднимают головы, оглядываются и пробуют голоса, неуверенные, какой звук получится. Затем, подобно тому как с восходом солнца такая музыка распространяется от одного сонного гнезда к другому, так и неуверенные ноты соединились в более громкую гармонию, пока сквозь закрытые веки не открылся широкий, залитый солнцем пейзаж, наполненный радостным звуком.

Когда концерт закончился, остальные удалились, оставив меня наедине с Гуру. Некоторое время он смотрел на меня все с той же улыбкой, слегка покачал головой и снова сказал: «Я вернулся с великой добычей — это правда; но, сын мой, без малейшего повода для самодовольства. Чувствуя, что настроение Акбара неблагоприятно, я собрался, словно борец, столкнувшийся с грозным противником. Я сделал то, что считал своим лучшим, но это не было моим лучшим. Истинное чувство отсутствовало, и я пытался заменить его хитроумием. Я вспомнил все, что приготовил. Я разливался в красноречии, и постепенно во мне распространилась самоуверенная надежда. Лишь когда я закончил, возникли сомнения; а эти сомнения превратились в смятение, когда после долгого молчания Акбар

издал короткий, ироничный смех. — Гуру, — сказал он, — ты говоришь и действуешь согласно своей природе, я говорю и действую согласно своей. Думаешь ли ты, что я стоял бы там, где стою сегодня, если бы был таким, как ты? И думаешь ли ты, что я собираюсь измениться сейчас? — Это были не его точные слова, но я передал суть его суровой и презрительной речи. Он изучал меня через узкие щелки глаз и вдруг, когда я сидел там с опущенной головой, крикнул другим голосом, голосом несколько нетерпеливым, но менее резким: — Друг мой, ты устал. Иди домой и отдыхай! Ты старик, и твое тело никогда не было сильным, как мое. К тому же ты болен. Подними голову! — Да, я вижу, что ты болен». Я слабо возразил, но он отмахнулся. Теперь он наклонился вперед и рассматривал меня с новым интересом. — Это твое сердце, — сказал он. — Я могу читать тело человека так же, как читаю его разум. У меня есть этот дар. Подойди сюда и дай мне послушать твое сердце! — Он потирал руки от великого удовлетворения, и я неохотно повиновался. После чего, схватив меня добродушной грубостью, он опустил свою голову над моим сердцем и держал ее там минуту или больше. Затем он отступил, посмотрел на меня и рассмеялся. — Ну? — Мне пришлось признаться: «Ваше Величество прав». Он продолжал изучать меня, и его улыбка, хотя и самодовольная, была доброй. Затем затем, после того как я вернулся на свое место, он поднял указательный палец и принялся наставлять меня, как я должен заботиться о себе. Но пока его громкий, звучный голос звенел у меня в ушах, я почти забыл, где нахожусь; я погрузился в собственную подавленность. Ибо теперь я видел не только то, что потерпел неудачу, но и понимал почему. Я извлекал слова из своего мозга, словно фокусник; а слова, исходящие лишь из мозга, не могут достичь сердца. Вот почему Акбар побудил себя сопротивляться мне; но теперь, видя перед собой всего лишь усталого и обескураженного старика, повесившего голову, он позволял своей натуре давать себе большую волю. И вот, прописав лечение моему бедному телу, он перешел к хвастовству собственной бодростью. Он рассказывал мне истории о своих юношеских подвигах в боях и охоте, в питье и перенесении тягот. Но это привело его к воспоминанию о неумолимом времени, и вскоре его лоб нахмурился, он тяжело вздохнул и сказал: — Гуру, я моложе тебя, и мое сердце здорово, но кто знает, кто из нас двоих умрет первым! — Затем он попытался найти утешение в славе, которая будет принадлежать ему после смерти. Но это гордое слово Слава имеет эхо, а эхо — это Тщеславие. И вскоре из него вырвался своего рода стон, и он с горькой печалью заговорил о двух своих недостойных сыновьях. В конце концов он сказал: — Нет иного прибежища, кроме Бога. — И на этом он замолчал. Затем, немного погодя, раздраженным тоном он вернулся к тому, что сказал мне в самом начале. — Каждый человек, — заявил он, — должен действовать согласно своей природе. Я — Царь, а Цари — Наместники Божества. Во мне есть божественная сила, которую я сам не могу понять. Тем более ты. — Ваше Величество, — ответил я, — все люди причастны божественной силе, которую они не могут понять. Но, — добавил я печально, — признаюсь, что в данный момент я чувствую в себе очень мало этой силы. Он засмеялся и начал расспрашивать меня обо мне самом и течении моих дней; и вскоре я обнаружил, что описываю ему внешность, характер и повседневную жизнь одного Наради Даса, крестьянина, живущего со своей семьей в лачуге рядом с моим домом, человека, которого

я вижу каждый день. Я не успел зайти далеко, как он прервал меня. — Судя по твоему рассказу, — гневно воскликнул он, — этот человек очень похож на меня. — Я был озадачен, ибо внезапно понял, что Наради Дас действительно очень похож на Акбара — не только внешне, но и характером, и я задумался, не мелькнуло ли это сходство у меня в голове, пока я говорил. Акбар увидел мое замешательство, и это смягчило его. Со смехом он велел мне продолжать. Так я описал непрекращающуюся борьбу Наради с голодом. Я рассказал ему о том, что видел собственными глазами год за годом, и, говоря это, я забыл, что говорю с определенной целью. Я забыл и об Акбаре, и о себе; я забыл все обычные формы уважения. Я перебивал его, когда он говорил, и иногда, полагаю, я должен был прямо противоречить ему. Но это не имело значения, ибо он, как и я, вышел за пределы самого себя. Он вошел в жизнь Наради Даса. Человек, проживший эту жизнь, стал для него реальным. Наконец мы оба замолчали, и он глубоко задумался. Ветер хлопал балдахином над нами, тени удлинялись, солнце опускалось к западу. Тогда Акбар ударил себя по бедру и выругался великим проклятием. — В конце концов, я старый человек, — воскликнул он. — И одному Богу известно, что я заслужил право делать то, что пожелаю.

Я поднял голову, чтобы посмотреть на него. — Чего желает ваше Величество? — тупо спросил я.

«Он не ответил, но ущипнул складку жира под подбородком, а его глаза яростно уставились мимо меня. Затем вдруг, возвысив голос, он позвал писца, и из-под арки выбежал человек. Несколько минут писец сидел в ожидании с пером в руке, пока Акбар ерзал на своем сиденье и хмурил тяжелые брови. Затем он начал диктовать, время от времени прерывая себя, чтобы повернуться ко мне. — Ты слышал это? — говорил он, и — Ну что, Гуру, ты удовлетворен этим? Я был поражен точностью, с которой он помнил все, что я сказал — даже в самом начале, когда казался невнимательным; и я также заметил, что даже сейчас он проявляет большую осмотрительность и уделяет внимание деталям. Однако два новых указа, которые он издавал, поразили меня больше всего своим размахом. Они исполнили мои самые смелые надежды. И наконец, он приказал немедленно снабдить меня копиями, чтобы я смог тотчас же справиться с нынешним кризисом в Даулатпуре».

Гуру закончил свой рассказ, и мы посмотрели друг на друга в улыбчивом молчании. Мое сердце было полно. Я радовался — не только за Гуру в час его триумфа, не только за тебя и Мохана, но за великое, несчастное множество людей. Эти указы хотя бы отчасти облегчат беднякам их нищету.

Я сидел там, погрузившись в грезы, пока не вернулся к действительности из-за звука приветственных криков на улицах. Этот звук, который уже один или два раза возникал во время повествования Гуру, теперь привлек и удержал мое внимание, ибо он определенно нарастал по громкости. Теперь казалось, что он доносится и со стороны, лежащей вне города, словно вся армия в своем лагере за рекой испускает радостный крик. Гуру тоже слушал его с удивленным видом. Наконец я встал, сказав ему, что спущусь на улицу разузнать, в чем дело.

Две минуты спустя я подошел к группе мужчин, возбужденно разговаривавших вместе на углу улицы. То, что они рассказали мне, казалось невероятным; более того, я не поверил этому, но поспешил сделать расспросы в другом месте. Однако от всех новости были одинаковы: Салим предложил полную покорность; отец принял ее, и завтра должна состояться великая публичная сцена примирения. Церемония должна была пройти на площади перед дворцом Добри, напротив Южных ворот, в третий час пополудни.

VI

Мы легли спать в полном недоумении, не имея возможности не верить тому, что я слышал, и при этом совершенно не представляя, как это может быть правдой. Неужели Акбар уже некоторое время тайно общался с Салимом? Ничто не казалось менее вероятным.

Ранним следующим утром я вышел на базар в поисках дальнейших новостей и очень скоро увидел большой стяг, перекинутый через улицу, на котором официально объявлялось время и место предстоящей церемонии. Если бы я знал, где можно найти Хари, я непременно разыскал бы его, ибо он мог бы пролить некоторый свет на эту тайну; кроме того, мне было тревожно видеть, в каком состоянии духа он ожидает своей очной ставки с Даниялом. Некоторое утешение приносила мысль о том, что его испытание неизбежно отложено, и что в великой перемене, произошедшей в лице вещей, оно, возможно, будет отменено вовсе.

Незадолго до полудня мы с Гуру отправились вместе, чтобы занять свое место на площади, так как было несомненно, что толпа будет велика. Но скопление народа настолько превзошло наши ожидания, что, несмотря на ранний час, продвижение вскоре стало невозможным. Более того, шум, давка и жара быстро истощили силы Гуру, и я видел, что ему едва хватит сил добраться обратно домой. По возвращении он лег, и я остался бы с ним, если бы он не настоял, чтобы я предпринял еще одну попытку — самостоятельно — получить какой-нибудь вид на зрелище, которое войдет в историю.

Собственно говоря, у меня уже был план действий. Мне пришло в голову, что, взобравшись на скалу цитадели с ее восточной стороны, можно получить птичий глаз на всю сцену; а подъем, вероятно, будет достаточно трудным, чтобы помешать многим другим попытаться сделать это. Я оказался прав. Добравшись беспрепятственно до подножия скалы, мне удалось достичь уступа на полпути вверх, где я мог сидеть со всем удобством, созерцая все зрелище, раскинувшееся внизу. Я даже мог видеть кое-что из того, что происходило за городской стеной. Солдаты расчистили широкий проход, по которому — в тот самый момент, когда я бросил взгляд в ту сторону — приближался Салим с примерно двадцатью сопровождающими. Он ехал медленной рысью, а позади него вдалеке я видел облако пыли, поднятое — как мне сказали — огромным караваном слонов, которых он вез в дар своему отцу.

Когда он прибыл к Воротам, наступила пауза, во время которой, полагаю, он готовился к следующему этапу своего приближения. Повисла тишина, которую вскоре нарушил внезапный рев труб как внутри города, так и снаружи, и в то же время огромные двери были распахнуты. Сквозь них теперь выступила фигура Салима, выглядевшего очень маленьким в необъятности сцены. Он шел пешком вниз по широкому проходу, который держали свободным для него, а два последователя шли на небольшом расстоянии позади. Толпа, заполнившая площадь и забившая каждую улицу и переулок в окрестностях, встретила его оглушительным криком приветствия. С городской стены, вдоль которой выстроились солдаты, раздался упорядоченный возглас, и одновременно под солнцем замелькали все вымпелы, знамена и флаги всех полков Императорской Армии. В этот момент, должен признаться, я был полностью захвачен чувством и кричал изо всех сил.

По мере того как Салим приближался ко дворцу Добри, я смог увидеть, что он держится с достоинством. У подножия ступеней он остановился и, преклонив колени на ковре из золота, сверкавшем на солнце, словно щит, совершил свой первый поклон. На вершине первого марша для него расстелили еще один золотой ковер, и там он снова преклонил колени.

У дверей Дворца стоял Акбар, совсем один. До сих пор он не сделал ни одного движения. Но после того как Салим завершил свой второй поклон, он шевельнулся; он спустился на четыре ступени навстречу идущему сыну, и когда Салим оказался на ступеньке непосредственно ниже него, он поднял руки и обнял его за шею. Будучи гораздо ниже ростом, чем Салим, их две головы оказались почти на одном уровне, так что это объятие вышло замечательно эффектным. Рев толпы усилился по громкости, снова зазвучали трубы; и с одной рукой, все еще лежащей на плечах сына, Акбар развернулся и вновь поднялся по лестнице. Затем настал момент, когда, подобно всем остальным, я ожидал, что он снова повернется лицом, поскольку говорилось, что он собирается сказать народу несколько слов. Но вместо этого он пошел прямо к дверям дворца. Более того, эта огромная дверь, которую уж точно следовало распахнуть, осталась закрытой, и ему пришлось довольно сильно толкнуть ее, чтобы войти внутрь. Завершение зрелища отнюдь не было впечатляющим, и толпе потребовалось несколько минут, чтобы осознать, что все кончено.

По дороге домой я разговаривал с несколькими людьми, чтобы узнать, могут ли они дать мне какое-нибудь объяснение неудовлетворительному концу церемонии. Никто не мог этого объяснить. Ни у кого также не было ни малейшего луча света, способного пролить свет на обстоятельства, приведшие к великому событию, хотя история, призванная угодить народному воображению, уже была придумана. Рассказывали, что две ночи назад пророк Мухаммед спустился с Небес и явился перед Салимом, и сказал: «Почему ты не посоветовался со своим астрологом о значении падающей звезды, которую я недавно послал тебе в качестве знамения?» И Салим не смог ответить. Тогда Пророк нахмурился и, учуяв запах вина в дыхании Салима, сказал: «Я приказываю тебе покориться твоему отцу,

ибо знаю, что ты пьяница; а пьяница ничем не лучше ребенка. Отправляйся в Агру один и смиренно прострись ниц перед отцом. Так ты будешь прощен им и Аллахом тоже».

После ужина наш хозяин и женщины его дома вышли посмотреть на фейерверки, которые должны были запустить над рекой, осмотреть пятьсот подаренных Салимом слонов и присоединиться к общему ликованию. Что касается меня, я уже более чем достаточно побродил по улицам. Я сидел на крыше с Гуру.

Мы сидели вместе, большей частью, в молчании. Последние два дня ошеломили меня неожиданностью и важностью своих событий. Я пытался думать, но мои мысли были столь же бесцельны, как обезьяны, прыгающие по дереву. С улиц поднимался гул, громче и беспорядочнее прежнего — выкрики, пение, приветственные возгласы, музыка всякого рода — и верхний воздух тоже был наполнен мягким треском взрывающихся фейерверков.

Должно быть, было около полуночи, когда мы услышали шаги на лестнице. Я подумал, что это должен быть наш хозяин, и каково же было мое удивление, когда перед нами предстал Хари. Гуру уставился на него, не менее удивленный, чем я, ибо шаги были тяжелыми и медленными, совсем не похожими на обычную походку Хари. Сначала я подумал, что с ним должно было случиться какое-то несчастье, таким бледным и изможденным он был, но, присмотревшись внимательнее, я получил от его глаз и линии челюсти весть о тихом триумфе.

Опустившись на диван, он попросил вина, и я поспешил налить ему немного. Пока он медленно, но жадно пил его, подошел Гуру и встал, глядя на него сверху вниз. Когда он закончил, то поднял глаза и, извиняясь за отсутствие церемонии, сначала улыбнулся Гуру, а затем мне — медленной, тайной улыбкой.

Было очевидно, что у него есть нечто важное, чтобы рассказать нам, но он хотел сначала услышать наши новости. Лишь после того как мы ответили на его вопросы и приняли его поздравления, последовал его собственный рассказ. Он рассказал его так хорошо, что мне хотелось бы привести его собственные слова, но это заняло бы слишком много времени.

Вы помните, что, когда я видел его в последний раз, он шел по длинному коридору Дворца словно лунатик. В руке у него было письмо, которое Император велел ему передать Главному гонцу на выходе. Это письмо — как вы можете себе представить! — он чувствовал крайнюю нежелание доставлять; и пока он шел, в его голове вспыхнула идея. Отчаянно он боролся, чтобы придать ей форму, и к тому времени, как он добрался до Великих ворот, она прояснилась. Так что вместо того, чтобы доставить письмо Главному гонцу, он спрятал его за пазуху и поспешил в маленький дом в отдаленном квартале города, где живет писец, которого он, по случаю, хорошо знает. Этот человек, как большинство людей его профессии, искусен в искусстве подделки почерка. «И отличный малый вдобавок, — сказал Хари, — человек, который никогда не станет подделывать письмо, кроме как во благо». Что ж! Когда Хари объяснил, что нужно сделать, человек охотно взялся за работу. Да и работа

была нетрудной. Все, что требовалось — это стереть слово Даниял и поставить на его место Салим.

В этот момент план Хари, без сомнения, смутно обрисовывается перед вами в несколько фантастическом аспекте, поэтому позвольте мне поспешить объяснить его осуществимость. Мабун Дас находился в лагере Салима, и Хари знал, что может связаться с ним довольно легко. Он также знал, что Салим, опьяненный своими военными успехами, более или менее пьян восемнадцать часов из каждых двадцати четырех. Он знал, кроме того, что может рассчитывать на помощь Мабуна Даса — то есть на то, что тот приложит все усилия, чтобы письмо Акбара показалось Салиму кратким и достойным обращением прощающего отца к мятежному сыну.

Следующий шаг был простым. Полк Хари оказался расквартирован напротив стражи Салима, и между ними уже произошло немало братаний. Хари оставалось лишь подъехать верхом к этой части строя, сказать, что он выполняет особое и частное поручение, предъявить письмо с Императорской Печатью, и все были готовы ему помочь. Не прошло и трех часов с тех пор, как он покинул Акбара, как он уже был в лагере Салима и спросил Мабуна Даса. Мабуну он не стал делать тайны из того, как было получено письмо, будучи уверен, что если его план осуществим, Мабун попытается его исполнить. И тогда же Мабун приступил к этому замыслу со спокойным деловым удовлетворением. Он сказал Хари, что немедленно отнесет письмо Салиму, так как сейчас уже закатилось солнце, и Принц выпил бы две-три чаши вина — ровно столько, чтобы почувствовать себя благодушным. Но сначала он вызвал писца и составил черновик ответа, который Салим должен был отправить обратно отцу. Этот ответ был искусно составлен так, чтобы выглядеть спонтанным жестом со стороны Салима.

Затем Мабун вошел в шатер Салима, и вскоре туда вызвали Хари. Его восторг был велик, когда он обнаружил, что Салим уже принял и подписал подготовленный для него ответ. Более того, Принц, уже несколько пьяный, был очень готов принять его заверения в том, что отцовская любовь Акбара никогда не была больше, чем теперь, что он готов простить все и жаждет встретить сына с распростертыми объятиями.

Неопределенная и опасная часть дела теперь лежала перед Хари: ему предстояло отнести письмо Салима к Акбару и объяснить, как оно к нему попало. Братание, происходившее между войсками Салима и Акбара, давало ему возможность для истории, которая, как он думал, пройдет проверку, ибо он мог рассчитывать на то, что Акбар будет совершенно озадачен и более чем слегка доволен. Здесь он оказался прав. Точно так же, как он уверял Салима, что Акбар готов простить, так теперь он уверял Акбара, что Салим жаждет прощения; и при наличии письма Салима прямо перед ним в качестве доказательства Акбар мог только растерянно тереть глаза в немом изумлении. Он написал осторожный, но примирительный ответ, и с этого момента битва была выиграна. Но победа далась нелегко. Всю ночь напролет Хари ходил туда-сюда с письмами; и на каждом конце пути ему приходилось пускать в ход все свои дарования убеждения, ибо и отец, и сын были

колючими от гордости. На полпути переговоров ему в голову пришла мысль, которая во многом способствовала его успеху. Он распространил повсюду весть о полном примирении и приказал устроить музыку и фейерверки в Императорском Лагере. Эти фейерверки возбудили народ на шумные демонстрации, и это было воспринято Акбаром как свидетельство того, что примирение будет популярным, а Салимом — как неопровержимое доказательство того, что не только Акбар, но и весь город безумно рад его великодушному решению.

И все же, когда настало утро, Принц, страдавший от своей обычной головной боли, был очень склонен отменить это решение. Зачем, спрашивал он себя, ему покорно входить в город как просителю, если он может, если захочет, ворваться в него как завоеватель? Потребовалось все красноречие Мабуна Даса, чтобы удержать его на слове.

Дамаянти, разве это не необычайная история? Но я еще не закончил. Самая странная, самая фантастическая ее часть еще впереди. Хари, чье значение за эту роковую ночь возросло скачкообразно, взял на себя руководство приготовлениями, сделанными для приема Салима. Во время церемонии он и другой офицер, Рашик Сингх, находились в зале дворца Добри, глядя через окно рядом с большой дверью. На этих двоих лежала обязанность распахнуть дверь, когда придет момент войти Акбару и Салиму. Со своего места у окна он мог видеть все совершенно ясно. Его обзор охватывал всю площадь, включая лестничный пролет, на вершине которого стоял Акбар. Огромная, широкая спина Акбара была фактически прямо перед ним. В состоянии напряженного волнения он наблюдал медленное приближение Салима: он видел, как тот совершает поклон; видел, как Акбар спускается вниз и обнимает сына за шею; видел, как он поворачивается и возвращается на вершину лестницы. Но теперь, вместо того чтобы развернуться и произнести несколько слов, которые должны были завершить церемонию, Акбар зашагал прямо к дверям Дворца, и прежде чем Хари и Рашик Сингх успели оправиться от своего изумления, он уже гремел ручкой и пинал панели, словно разгневанный ребенок. Те две-три секунды, пока он приближался, его лицо было видно, и оно, по словам Хари, выражало нечто поистине необыкновенное. Хотя его рука все еще лежала на плечах Салима, его лицо, раскаленное от ярости, было лицом демона. Что случилось, чтобы пробудить эту страсть? Ничего! Она вспыхнула сама собой — ужасный взрыв чувств, требовавший немедленного выхода.

После того как они вошли и двери закрылись за ними, наступила тишина. Прошло несколько мгновений, во время которых ничего не происходило. Толпа снаружи перестала кричать приветствия в ожидании речи. Было очень тихо и снаружи, и внутри. Акбар теперь стоял напротив Салима и свирепо смотрел на него — а на лице Салима играла глупая, испуганная улыбка. Затем внезапно последовала вспышка молнии, и зал отозвался эхом оглушительной пощечины. Салим пошатнулся назад к стене, совершенно ошеломленный жгучей оплеухой. Снова наступило короткое, ужасающее молчание, а затем Акбар принялся осыпать сына потоком презрительных оскорблений. «Подумать только, — кричал он, — что мой ребенок должен играть такую дурацкую роль! Имея позади семьдесят тысяч

добрых людей, ты приполз ко мне, скулит, как голодная и избитая собака! Что ж, я собираюсь обращаться с тобой так, как ты заслуживаешь». И, схватив несчастного человека за шкирку, он приказал Хари и Рашику взять его под руки и вести вдоль. Таким образом Салима поспешно провели по короткому проходу, ведущему в турецкую баню. Маленькая нагретая камера открылась, его швырнули внутрь, и ключ повернулся в замке.

Сделав это, снова наступила другая ужасная, тихая пауза. Из ванной комнаты не доносилось ни звука, и шум толпы, которая теперь снова кричала, расходясь, казалось, доносился издалека. Хари главным образом осознавал тяжелое дыхание Акбара, и, когда он осмелился поднять глаза, блеск его вращающихся глаз. Я вполне могу поверить, что они с Рашиком дрожали всеми своими конечностями. Наконец, со последним жестом презрительной ярости Император отвернулся и стремительно удалился прочь.

VII

Я думал, что подошел к концу своего Агрского дневника, ибо мы с Гуру легли спать в уверенности, что на следующий день отправимся в обратный путь. Но ранним следующим утром явился посланник от Абула Фазла и вместо указов, которых мы ожидали, принес письмо.

Гуру задумчиво нахмурился, пока писал ответ. — Ну? — сказал я встревоженно после того, как посланник ушел; и он ответил, что Абул Фазл, заверив его, что указы будут готовы к полудню, просил его навестить отца позже днем. На мгновение я был озадачен, затем, вспомнив, кто был отцом Абул Фазла, я начал понимать смысл этой просьбы и то, почему Гуру все еще выглядел задумчивым. — Мне придется пойти, — сказал он неохотным тоном. — Шейх Мобарек — очень старый человек; много лет он занимал высший пост в Государстве; я не мог бы отказаться, не показавшись невежливым или...

— Или кем?

— Испуганным.

Я улыбнулся, но меня это обеспокоило. Все, что я когда-либо слышал от своих родителей о Мобареке, вернулось мне в голову, и я понял, что он по необходимости должен чувствовать себя крайне враждебно настроенным по отношению к Гуру. Вне всякого сомнения, он будет весьма неодобрительно относиться к новым указам Акбара. Более того, многие годы оказывая мощную поддержку Даниялу как кандидату на Трон, он не мог не воспринимать недавний поворот дел с полным отвращением.

Ровно в полдень прибыли два других посланника. Они были одеты в великолепные ливреи и держались с церемонностью людей, непосредственно состоящих на службе Императора.

Каждый нес сумку из ярко-зеленого шелка, и Гуру едва успел взглянуть на эти сумки, как поднялся на ноги, чтобы принять их в надлежащей позе уважения. Они были перевязаны толстым шнуром из плетеной серебряной нити, а на концах шнуров висели кисти, тяжелые от золота. Эти сумки передавались с соблюдением великого церемониала, а затем, после взаимных повторных приветствий, люди удалились.

Гуру передал одну из сумок мне. — Открой ее! — сказал он, открывая другую сам. Внутри находились копии двух указов.

Мы все еще радовались, когда отправились в дом Мобарека. Наш путь пролегал через старый квартал города, и мы остановились в узком, пустом переулке перед дверью в древней стене. Внутри находился двор настолько суровый, что он вполне мог быть частью монастыря. Слуга, который вел нас по прохладным, сумеречным переходам, хранил молчание и опущенные глаза. Он был облачен в монашеское одеяние покроя, которого я прежде не видел.

В комнате, где не было ничего, кроме книг, мы наткнулись на Абула Фазла, который жевал лепешку и одновременно читал. Очевидно, рассказы о его аппетите не преувеличены. Через дверной проем я уже видел остатки обильной трапезы, и действительно, во всем здании пахло жареным мясом и чесноком. Увидев нас, он встал и несколько раз поклонился — однако не изменив выражения лица, которое было серьезным и глупым. Его тело очень высокое и очень худое; он носит высокий тюрбан, и когда я смотрел на него и вспоминал нелепости в его «Жизни Акбара», мне очень хотелось рассмеяться. — Я провожу вас к моему отцу, — сказал он Гуру, а затем замолчал. Он с сомнением разглядывал меня, моргая и теребя длинную бороду. Гуру уже представил меня; теперь он добавил, что будет рад, если мне разрешат присутствовать при нем. Абул Фазл склонил голову, но угрюмо.

В следующей комнате тридцать или сорок писцов занимались копированием государственных документов. Их головы оставались склоненными над своими задачами, пока мы проходили мимо. Абул Фазл шел впереди, время от времени оглядываясь на нас, словно убеждаясь, что мы ведем себя подобающе. Было поразительно думать, что этот человек — сын гордого и светского Мобарека.

Пройдя таким образом некоторое расстояние, мы были представлены Мобареку в небольшой, светлой, воздушной комнате с большим окном, выходящим в садовый дворик. Он выглядел немного старше, чем я его помнил, но ненамного. Его серебристые волосы стали чуть реже, морщины на лице углубились, тело казалось чуть меньше и суше, но в остальном он не изменился. Однако он извинился за то, что не поднимается поприветствовать нас, и рука, которой он сделал нам знак сесть, сильно дрожала.

На короткое время воцарилась тишина, пока мы занимали свои места; затем заговорил Абул Фазл. Он сохранял торжественный, пристальный взгляд на Гуру, и его голос, монотонный, выражал лишь различные оттенки неодобрения. Когда он делал паузу, это происходило в манере школьного учителя, дающего время своим словам осесть. —

Конечно, среди разумных людей может быть только одно мнение относительно событий последних двадцати четырех часов. Я не стану оскорблять твой интеллект, Гуру, предполагая, что мы расходимся в оценке степени постоянства изменений, которые мы видели происходящими в политическом аспекте ситуации. Мой отец желал видеть тебя не потому, что полагал, будто твоя точка зрения отличается от его, а скорее для обмена информацией и, возможно, для сотрудничества в действиях, рассчитанных на возврат к более удовлетворительным условиям с минимальным трением или бедствием в любой области — даже, могу сказать, в той области, которая была главным образом ответственена за создание нынешнего положения дел или способствовала ему, которое мы оба, несомненно, порицаем.

Я ожидал, что предметом его речи станут новые указы Императора, но ошибся. Вскоре он начал упоминать «лиц, которых нельзя принимать всерьез» и «безответственную личность, влияние которой, конечно же, носит временный характер»; и тогда я понял, что он говорит о Хари. Роль, которую Хари сыграл в примирении Салима и Акбара, была для него явно самой загадочной.

Мобарек тем временем имел совершенно отстраненный вид, так что трудно было сказать, слушает он или нет. Старость, казалось, окутала его безразличием. Время от времени он поднимал одну из своих тонких рук и рассматривал ее из-под опущенных век. Ему явно было скучно. Но потом, полагаю, он хорошо привык к скуке, и, возможно, его сын не казался ему более глупым, чем большинство мужчин.

Наконец Абул Фазл закончил, поднял подбородок, полузакрыл глаза и стал ждать. Положение, к которому привела его пространная речь, заключалось просто в том, что «конечно» ни одна вещь из того, что произошло недавно, не должна была «приниматься всерьез» — меньше всего примирение Акбара и Салима.

Я посмотрел на Гуру и ждал. — Что ж, Вазир, вы можете быть правы, — ответил тот просто и мягко, — но я должен признаться, что буду удивлен, если Акбар не сохранит дружбу с Салимом.

Контраст между этим и тем, что было раньше, был необыкновенным; и необыкновенным было действие этих немногих слов на Абула Фазла. Он открыл рот один или два раза, но не издав ни звука. Все, что он мог делать, это стеклянно таращиться и теребить свою длинную бороду.

Я осторожно взглянул на Мобарека и подумал, что уловил легкую улыбку на его губах. — Гуру, — сказал он, — в какой степени Хари Хан действовал по вашему совету? Вот что мне хотелось бы знать. — Единственный совет, который я когда-либо давал Хари, заключался в том, чтобы он был совершенно откровенен с Акбаром.

Этот ответ заставил Мобарека тихо рассмеяться. Это было вполне дружелюбно, и Гуру присоединился к нему. Я почувствовал, что беседа внезапно вступила в новую фазу. — Мы

с Хари никогда не обсуждали политику, — продолжал Гуру. — Политика — не моя стезя. Но я не стану притворяться, что меня не радует это примирение. Хотел бы я, чтобы вы могли относиться к этому так же, как я.

Мобарек поджал губы, взмахнул рукой и сказал: — Ну, уже кое-что знать, что вы не разделяете ответственности Хари Хана. Они значительны. Могу я попросить вас, как его друга, дать ему слово совета — от меня? — Да, конечно! — За последние двадцать четыре часа он мстил людям, которые — по той или иной причине — вызвали его неприязнь. Он убедил Императора произвести многочисленные аресты. Гуру издал легкий звук досады. — Я был уверен, что вы будете порицать это, — продолжал Мобарек, — и это одна из причин, почему я попросил вас прийти повидаться со мной. — Благодарю вас! Я обязательно поговорю об этом с Хари. — В таком поведении он проявляет необычайную недальновидность. Когда этих людей выпустят из тюрьмы, его положение станет трудным — даже опасным.

Гуру молчал. — Жаль, что вы покидаете Агру именно в этот момент. — Я поговорю с Хари перед отъездом. Но уехать я должен. Крестьяне в Даулатпуре в большой беде. Для них эти дни критичны.

Мобарек задумчиво посмотрел в окно. — Если вы мудры, вы будете использовать эти новые указы — скупо. Давайте постараемся слышать о Даулатпуре как можно меньше в ближайшие месяцы! Император, как вам известно, не очень благосклонно настроен к принцу Мохану, и — ну, думаю, я сказал достаточно.

Гуру держал глаза опущенными минуту, затем вздохнул и сказал: — Боюсь, вам не нравятся эти указы. Это вызвало улыбку на лице Мобарека. — Ваша цель — облегчить бремя, возложенное на бедняков. Этому я сочувствую. На самом деле я готов употребить свое влияние на Акбара против отмены этих новых законов. Гуру бросил на него удивленный взгляд. — Я не думаю, что Акбар изменит решение. — Нет? — Мобарек поднял брови. — Просто вспомните, сколько раз Акбар отменял свои собственные постановления за последние несколько лет! Ваша уверенность пошатнется немного, Гуру. Но, как я уже сказал, я готов помочь вам, если вы поможете мне.

Гуру задумался на мгновение, затем сказал: — Я не могу просить вас поддерживать эти указы, если они вам не нравятся. — Их легко можно переписать в выражениях, которые были бы приемлемы для меня. Мне не нравится преамбула. — По-моему, самая важная часть! — Взгляд Гуру остановился на Мобарке серьезно и твердо. — В ней Акбар определяет то, что он считает Правами Человека. Это также исповедание веры.

Мобарек улыбнулся, но холодно. — Вы вложили эти слова в его уста, Гуру. Ответ последовал с покачиванием головы. — Нельзя вложить слова в уста Акбара. — Акбар, — возразил Мобарек с явным нетерпением, — легко пленяется теориями. И столь же быстро их оставляет. — А что касается его веры? — и здесь голос старика стал суровым — — вы забываете, что он уже провозгласил ее в Дин-и-Илахи. — Остерегайтесь создавать

путаницу, Гуру, где нет нужды в путанице! Государство определяет временные обязанности людей и заботится об их временном благополучии. Их духовное благополучие находится в надежных руках тех, кто назначен его охранять. Если в моей жизни я оказал какую-либо услугу своим собратьям, то она заключается в следующем: изучив великую религию Запада, я внедрил в эту землю идею Церкви. Церковь — это институт, посредством которого человек может удовлетворить — в религиозной сфере — свое желание порядка, свое уважение к традициям, свою жажду непрерывности. Слегка румянец выступил на впалых щеках Мобарека, а в глазах пробудился морозный свет. — Церковь и Государство! На них я основываю все здание Общества, Цивилизации, Культуры. Вам, как и всем остальным, предстоит найти свое место внутри этой рамки.

Гуру опустил взгляд и промолчал.

— Теперь, — продолжил Мобарек несколько менее дидактическим тоном, — вы понимаете, почему я не могу одобрить ваши теории. Кроме того, чисто гражданский указ никак нельзя связывать с расплывчатым и неуместным рассуждением.

— Мои теории, — возразил Гуру, — не значат ничего большего, кроме того, что каждый человек имеет право на то, чтобы с ним обращались как с личностью. — С личностью? — Да. Как с личностью — а не просто как с представителем категории или класса.

Мобарек полузакрыл глаза. — Ваши теории, если я не ошибаюсь, несут в себе определенные практические выводы. А они неприемлемы — так же, как и сами теории отвратительны и ложны. Слуга не чувствует себя равным своему господину, да и господин не чувствует себя на одном уровне со слугой. — Но, — нетерпеливо продолжил он, — я вовсе не собирался вступать с вами в обсуждение подобного рода. Между теми, кто имеет практику управления государством, и теми, кто теоретизирует о правительстве, лежит непреодолимая пропасть. Позвольте мне вернуться к тому, что я говорил ранее. В ограниченной сфере мы могли бы быть полезны друг другу. Я могу помочь вам... — Его голос затих, глаза сузились, и, оглянувшись, я понял почему. Ибо Гуру печально качал головой. — Мы не верим в одно и то же, — сказал он.

Наступили глубокие, беззвучные мгновения. Лицо Мобарека изменилось, и я вдруг почувствовал, что беседа подходит к концу. Целую минуту двое мужчин смотрели друг на друга; затем сухо и, казалось, безразлично Мобарек сказал: — Что ж, если это действительно так... — Видите ли, — продолжал Гуру тихим голосом, — прежде всего, я верю во врожденную доброту человеческой природы.

При этих словах Мобарек закрыл глаза и улыбнулся. Его лицо выглядело как посмертная маска. Затем он ответил просто: «Я вижу». И с этими словами он повернул голову и посмотрел в залитый солнцем сад.

Не знаю, сколько времени мы продолжали сидеть там в молчании. Абул Фазл мог сказать что-то, намекающее на окончание аудиенции, но я не уверен. Яркий вечерний свет

заставлял Мобарека моргать; его тонкие губы сжались и стали невидимыми, придавая ему вид усталой старой женщины. Что касается Гуру, его голова теперь опустилась на грудь, а лоб сморщился от раздумий. Он совершенно не осознавал, что Мобарек ждет, когда он уйдет.

Наконец, однако, подняв взгляд и увидев, как обстоят дела, он быстро улыбнулся и, пробормотав извинение, сделал движение, собираясь встать.

Но Мобарек теперь протянул руку. — Мне любопытно узнать, о чем вы думали. Вы готовы рассказать мне?

Гуру тихо рассмеялся. — Конечно, готов!

Тем не менее, сказав это, он заколебался.

Мобарек ждал бесстрастно.

Гуру снова поднял голову, и в его глазах был тот взгляд абсолютной честности, который ставит его слово выше всяких сомнений. — Я спрашивал себя, вполне ли я уверен, что Акбар не отменит и не изменит эти указы, и пришел к выводу, что совершенно уверен.

На минуту вновь воцарилось молчание. Затем Мобарек сказал: — Если вы правы, вы причинили великий вред. Гуру ничего не ответил. — Вы действовали безответственно, — продолжал старик, а голос его набирал резкость и силу. — Побуждаемый личным тщеславием и слепой самоуверенностью, вы вмешались в дела, в которых ничего не понимаете. Что можно сказать человеку, который с презрением отодвигает мудрость, добытую тяжким трудом его предками? Глубокую мудрость, священную мудрость, воплощенную в традициях, учреждениях и обрядах, которые он имел привилегию унаследовать? — Правда, что от наших предков мы наследуем почти все; но разве все это одинаково хорошо? — А вы различаете по свету собственного разума? — усмехнулся Мобарек. — При свете нашей общей человеческой природы, которая, полагаю, так же мудра, как и добра?

Гуру задумался. — Она определенно содержит семена мудрости. Где же им еще быть? В некотором смысле мы все рождены для мудрости: я имею в виду, как ребенок бывает мудр. Но нам нужен опыт, чтобы развить нашу мудрость. И каждый должен найти свою собственную. Мудрость другого — не моя мудрость, так же как его доброта — не моя доброта. И только моя мудрость и моя доброта будут работать над моим спасением. Ни то, ни другое нельзя навязать.

Выражение лица Абула Фазла показало, что в нем постепенно накапливалось негодование. Теперь он глубоко вздохнул. — Могу я осведомиться, — веско произнес он, — приходило ли вам когда-нибудь в голову, что вопросы, над которыми вы упражняли свой ум, уже занимали умы других до вас, и что запись их размышлений может иметь некоторую

ценность? Готовы ли вы отрицать, что их высказывания составляют некий авторитетный свод? Полностью ли вы игнорируете или отвергаете...

Гуру прервал его. — Я не отвергаю и не игнорирую — мне не под силу игнорировать — любой голос, живой или мертвый, произносящий слова, которые поражают меня как истинные. Когда кто-то из мертвых обращается ко мне и я вступаю с ним в отношения, тогда это все равно что друг идет рядом со мной. Но что это за авторитетный свод, о котором вы говорите? Это груда трупов.

Снова негодование лишило Абула Фазла дара речи, и брешь заполнил Мобарек. — Друг мой, — сказал он — и никогда эти слова не звучали менее дружелюбно, — вы не мыслитель, и ваша наивность обезоруживает меня. Но есть одно обвинение, которое я чувствую себя обязанным довести до конца — обвинение в самонадеянности. Ваши теории — лишь продолжение вашего личного тщеславия. Вы стремитесь прославить человеческую природу, потому что сами обладаете человеческой природой. Но такой индивидуализм не просто анархичен, он нечестив. Пытаясь оправдать личность за счет общества, вы забываете, что именно в Обществе — в его традициях, его учреждениях — более того, в самой его структуре — мы наиболее ясно различаем направляющую руку Бога. Если Общество несовершенно, то потому, что несовершенны его члены; но некоторые менее несовершенны, чем другие, и правильно — как и неизбежно — что высшее существо должно выполнять высшую функцию.

Гуру удрученно покачал головой. — Различия в дарованиях между людьми всегда будут существовать; но почему выбирать это для построения вместо нашего общего человечества? Там мы стоим на твердой почве, в другом месте спотыкаемся. Кто такое высшее существо? Он определенно не тот, кто думает о себе как о таком. И что такое высшая функция? Высшие из известных нам вещей в равной степени доступны всем людям.

При этих словах Мобарек обменялся взглядами с сыном. Они согласились, что дальнейший разговор будет пустой тратой времени. Гуру собрал свои одежды вокруг себя и медленно поднялся на ноги. Но прежде чем повернуться к двери, он замер, печально глядя на стоящего перед ним старика. — Разве действительно невозможно поверить в человеческую природу чуть больше? Мы пробовали другой метод так долго, и он не привел нас ни к чему хорошему.

— Думаю, я вас не понимаю, — высокомерно ответил Мобарек.

— Я имею в виду вот что: там, где нет веры в человеческую природу, правительство всегда должно зависеть, в конечном счете, от поддержания невежества и рассказывания лжи.

Мобарек холодно неприязненно посмотрел на Гуру. — Я буду с вами откровенен, — ответил он тоном отрывистой окончательности. — Цивилизация требует от своих лидеров, чтобы они рассматривали множество людей как единицы труда и усилий. Задача государственного деятеля — направить этот труд и усилия на общее благо. Он должен

оценивать способности людей, находящихся под ним, и использовать их. Его глаза устремлены на славную цель. Только человек, лишенный видения величия, желает упразднить эту формирующую власть. Ваши туманные, фанатичные теории в равной степени игнорируют суровую реальность и цель, которой можно достичь силой амбиций и воли.

— Нет! — возразил Гуру голосом, ставшим суровым. — В конце вашего пути нет величия — только отчаяние. Дух, который должен струиться через отдельного человека, если он хочет сохранить здравую и живую душу, должен струиться и через общество. Каждая цивилизация, каждая культура, которые когда-либо существовали, обязаны своей жизнью этому. Когда поток задерживается, государственное тело застывает в тюремном доме; формы и учреждения становятся кандалами, а Государство превращается в чудовищного надсмотрщика-раба. Демонические силы взяли контроль. У лидеров есть лишь видимость лидерства. Как чудовище, Государство движется к губительной судьбе. Лидеры скажут вам, что они действуют под божественным вдохновением или что они подчиняются неумолимым законам; и всегда они будут дразнить толпу вульгарными эмблемами невозможной славы. Но в их сердцах смерть. Ваши священники тоже будут притворяться, что заключают Дух в Церквях. Но эти церкви будут пусты. Дух ждет на рыночной площади — ждет пробудившегося и пробуждающегося человека.

Произнеся это, Гуру склонился, и Мобарек ответил на его приветствие. Я поклонился в свою очередь, и Абул Фазл проводил нас до двери.

Снаружи был слуга. Он повел нас обратно через те же комнаты и коридоры, но на этот раз переписывающие писцы подняли головы и захихикали и зашептались, когда мы проходили мимо.

Часть 6

I

Свет угасал. Ясное небо и неподвижный воздух делали завершение дня светлым и тихим. Насколько хватало глаз над великой равниной, ничто не двигалось — ничего, кроме далёкого столба дыма; да и уху нечего было слышать, кроме отдалённого скрипа водяного колеса и слабого лая собаки.

Для Джали, стоявшего у шатра Гуру, особенная тишина этого часа пробудила воспоминания о доме. Он вспомнил, как в детстве он обычно стоял на балконе своей комнаты прямо перед тем, как лечь спать, и ждал звуков рога, вечернего сигнала, который трубили в лагере посреди пустыни на некотором расстоянии от города. Это воспоминание обладало особой стойкостью.

Теперь его взгляд был прикован к тому месту, где в нескольких милях к северу длинная прямая линия равнины прерывалась плоскогорьем Лаку. Те скалы, озарённые заходящим солнцем, сияли таким блеском, что небо позади них казалось тёмным. Пока он смотрел, его разум наполнился мыслями о Дамаянти, и слова поэта сорвались с его губ: «Глубокие волны океана под небом без ветра. Таково моё сердце».

Вскоре из шатра вышел Гуру, но юноша всё ещё оставался погружённым в свои грёзы, пока не почувствовал руку, положенную ему на плечо; тогда, обернувшись с улыбкой, он сказал: «Завтра, примерно в этот час мы будем там».

«Да, мы будем там».

Через минуту, отведя взгляд от плоскогорья, он повернулся лицом к югу. «Смотри, Гуру!» — и он указал рукой.

Тот заслонил глаза ладонью. «Что ты видишь, сын мой?»

«Я вижу небольшой подъём с несколькими деревьями на нём. Это их стволы ловят свет».

Спустя мгновение Гуру кивнул и улыбнулся. «Полагаю, ты прав. У тебя хорошее зрение — и хорошая память тоже».

Они поужинали снаружи шатра, сидя на обожжённой солнцем земле, и пока они ели, небо над ними стало ярким от звёзд. Близилась полночь, когда Гуру поднялся, но Джали, молчавший несколько минут, протянул руку, чтобы удержать его. «Скажи мне, — сказал он, — это моя фантазия или я действительно вижу зарево вон там?» Он указывал на плоскогорье, которое теперь выступало тёмной массой на фоне звёздного неба.

Гуру постоял неподвижно минуту, затем ответил: «Нет! Ты не ошибся. Я тоже вижу это — там огонь».

«Но не — не в направлении Хава-Гхар?»

«Думаю, нет. Хава-ГХари левее. Возможно, горит деревня Нурабад».

Между ними воцарилась тревожная тишина, пока они продолжали всматриваться во тьму. Но через минуту Гуру тихо рассмеялся. «Почему я не подумал об этом раньше! Крестьяне выжигают траву. Они всегда делают это в это время года. Мы можем ложиться спать со спокойной душой».

Он шагнул в шатёр, но прошло некоторое время, прежде чем Джали растянулся на своей постели и закрыл глаза. Он спал под открытым небом, и ночь, окружавшая его, казалась его встревоженному воображению полной смутного беспокойства. В самой её тишине чувствовалось нечто предательское. Наконец он уснул, но лишь для того, чтобы проснуться через час вздрогнув. Он сел и сразу заметил, что небо над плоскогорьем всё ещё окрашено тусклым, ржаво-красным светом.

Поднявшись, он подошёл туда, где спали слуги лагеря, но ни один из них не пошевелился. Однако в ста ярдах находилась группа глинобитных хижин, поэтому он пошёл дальше, и через несколько минут при свете звёзд он увидел группу стариков, сидевших на корточках у стены. Их бормотание прекратилось, когда он приблизился.

Он спросил: «Что за свечение вон там? Они жгут траву?»

Ответ пришёл из нескольких уст одновременно. Нет, это была не трава. Горело что-то другое.

«Тогда что?»

Никто не ответил; переглядываясь, они забормотали между собой.

«Может быть, мёртвые деревья?» — предположил Джали.

Они покачали головой. Нет, это были не мёртвые деревья.

«Значит, одна из деревень?»

Это было более вероятно. Несколько плохих людей видели поднимающимися туда.

Джали развернулся и поспешил назад. Теперь он был глубоко встревожен и намеревался разбудить Гуру.

Немного погодя они собрались и были готовы тронуться в путь. При быстрой езде они надеялись достичь плато за три часа — вскоре после восхода солнца. Они не взяли с собой ничего, кроме двух драгоценных свитков пергамента. Слуги должны были последовать за ними с шатром и багажом, как только рассветёт.

Джали ехал первым по узкой тропе. Вынужденный темнотой держать зоркий дозор, он не имел возможности потакать своему воображению, но всё равно чувствовал тревогу. Ущелье было достигнуто быстрее, чем он ожидал; и отсюда дорога, хотя и крутая, стала хорошей. Не щадя лошадей, они бодро продвигались вперёд, и солнце едва успело подняться, когда они выехали на ровное нагорье.

Здесь впервые была сделана остановка, и пока их дымящиеся скакуны восстанавливали дыхание, Джали позволил своим глазам блуждать по открывшемуся виду. Миля за милей рыжеватая трава колыхалась на ветру, солнце проливало на неё розовый поток, а большие белые облака плыли высоко в небе. Ему показалось, будто само плато было захвачено движением небес; оно казалось плывущим, парящим, островом в воздухе.

Однако прошло совсем немного времени, прежде чем его внимание привлекла движущаяся точка в миле или около того. Пока он наблюдал за ней, она определилась как кто-то верхом на лошади, и минуту спустя он смог разглядеть, что всадником была

женщина. Неужели Дамаянти? Он продолжал напрягать глаза, и через несколько секунд окончательно убедился, что это так.

С криком он приподнялся в стременах и замахал рукой. Но она уже увидела и узнала обоих всадников, она уже свернула со своего пути. Куда она могла направляться в такой стремительной скачке в такой час?

Раскрасневшаяся и растрёпанная, она поравнялась с ними. «Гуру! Джали!» — её дыхание вырывалось короткими всхлипами. «Как чудесно найти вас здесь!» Никогда, подумал Джали, он не видел её более прекрасной, чем в этот момент; ему казалось, что она была самим духом этого продуваемого ветром, залитого солнцем нагорья. «И ваши добрые вести, которые я получил позавчера! О, Гуру!» Спрыгнув с лошади, она подбежала к старику и обвила его шею руками. Наблюдая за ней, Джали был вознесён на крыльях эмоции, которой никогда прежде не знал. Красота Дамаянти, красота утра, красота жизни как приключения — всё это соединилось воедино, чтобы создать фонтан радости в его сердце. «Да, это словно чудо!» — снова воскликнула она. «Я не знаю, что бы я делала совсем одна. Но с вашей помощью — и с тем, что вы везёте из Акбара...!» Её рассказ заключался в том, что ночью две или три небольшие деревни были сожжены дотла, а несколько крестьян убиты. Более того, Мохан находился в Даулатпуре, а Рабиндра уехал в Летний дворец, так что «дурные люди», решившие воспользоваться этой возможностью наилучшим образом, теперь направлялись в Нурабад, самую большую деревню на плато, где грабежи и убийства примут гораздо больший размах, если ничего не предпринять, чтобы этому помешать. Каждая минута была на счету, поэтому теперь они снова сели на лошадей и быстро поскакали в сторону Нурабада. Не сводя глаз с Дамаянти, которая ехала в нескольких ярдах впереди, Джали скакал в трансе восторга. Когда она была у него перед глазами, он не думал о жертвах ночного нападения, да: его разум не задерживался и на предстоящей встрече. Настоящего момента было достаточно; он полностью наполнял его существо. Примерно через двадцать минут деревня показалась на глаза. Она выглядела как большое, разбросанное скопление низких домов, крыши которых едва виднелись над морем травы и дикого тростника, окружавшего её. Нигде никого не было видно. Находясь ещё в нескольких сотнях ярдов от деревни, всадники придержали коней и огляделись. «Кажется, мы вовремя», — сказала Дамаянти, «или даже может быть...» — она осеклась, так как слабый, но угрожающий гул донёсся по ветру. Состоящий из дикой песни и криков, он живо вызывал зрелище пьяной толпы; и вскоре раздались два-три ружейных выстрела. Однако эти звуки исходили не от деревни, а откуда-то севернее неё. Дамаянти повернулась к Гуру. «Я не знала, что у них есть ружья. Это значит, что Моти Сингх стоит за этим». Её глаза, пока она переводила взгляд с одного своего спутника на другого, потемнели от тревоги. «Боюсь, они могут убить вас», — пробормотала она. Гуру покачал головой. «Нет, нет! Они не захотят этого делать. Когда они увидят, кто я такой, и когда я покажу им...» Он повернулся к Джали, который уже отвязал от седла два мешка, содержавшие указы Императора. «Да! когда они увидят нас приближающимися как посланников самого Акбара... Дай мне один из тех, Джали, и позволь мне поехать вперёд». Пока он говорил, отряд мужчин появился в поле

зрения примерно в полумиле отсюда. Очевидно, они продвигались вдоль какого-то углубления в земле, которое скрывало их. Если этот авангард нужно перехватить до того, как он достигнет деревни, нельзя было терять времени.

Гуру взял один из мешков, но Дамаянти, с выражением решимости на лице, схватила его поводья. «Подождите! Я женщина, и в меня не станут стрелять. Позвольте мне...» Джали больше ничего не услышал. Пришпорив лошадь, он быстрой рысью поскакал вперёд, чтобы перехватить приближающийся отряд; по дороге он размахивал над головой своим зелёным шёлковым мешком, словно знаменем. Его золотые шнуры и кисти храбро сверкали на солнце, и он закричал во весь голос: «Аллаху Акбар! Послание от Императора!» В ответ ему тут же раздались насмешливые вопли, но он всё ещё находился на таком расстоянии, что было сомнительно, поняли ли его слова или опознали его знак за то, чем он был. Он ехал дальше и уже находился на достаточно близком для разговора расстоянии от мужчин, когда грянул залп. Его лошадь вздрогнула, встала на дыбы и так резко развернулась, что едва не сбросила его. Восстановив контроль и снова повернувшись лицом к банде, он понял, что он не один. Гуру поравнялся с ним, а всего в нескольких ярдах позади была Дамаянти. «Назад!» — крикнул он в внезапном гневе. — «Какой смысл…» Его слова потонули в треске мушкетных выстрелов, и к его ужасу лошадь Гуру рухнула на землю. Он уже собирался спешиться, но Дамаянти оказалась быстрее него, и видя её рядом с Гуру, он продолжил двигаться навстречу толпе. Они остановились, и теперь наступило несколько минут глубокого безмолвия. Предводители, наблюдавшие за действием своего последнего залпа, выглядели обеспокоенными. Джали показалось, что значение его криков и значимость его знака наконец дошли до них. Всё так же спокойно продвигаясь вперёд, он призвал их именем Императора убираться прочь, и при этих словах они отступили, угрюмо рассеявшись перед ним. Неподалёку рос участок высокого тростника, и в него они скрылись, как животные, ищущие укрытия. Несколько минут он сомневался в их намерениях, но, когда увидел, как они появились на другом конце зарослей тростника и поспешно, скрытно побежали к краю плато, он понял, что больше неприятностей можно не опасаться. Два часа спустя он всё ещё сидел рядом с Дамаянти у постели Гуру. Того выбросило из седла, но оглушило падением. Ни одна кость не была сломана, да и ушиб на голове, казалось, не был тяжёлым, но поскольку бессознательное состояние сохранялось, они решили оставить его лежать спокойно там, где он есть, пока не прибудут носилки, посланные за ними из Хава-Гхара. Несколько полос хлопка, натянутых на шесты, защищали его от солнца. Из деревни также принесли воду; а куски шёлка, оторванные от тюрбана Джали, стали компрессами, которые Дамаянти время от времени прикладывала к его голове. Должен был пройти ещё час, прежде чем могли прибыть носилки. Солнце стояло уже высоко в небе, утренний ветерок стихал, и хотя длинные серебристые волны всё ещё двигались по равнине, в этом маленьком замкнутом пространстве, где длинная трава была примята, воздух казался неподвижным. Два стража сидели вместе в почти непрерывном молчании. Уже волнения утра казались очень далёкими. Скрытые высокими, толстыми стеблями травы, которые поднимались выше их голов, они были изолированы в маленьком

мире, где не было жизни, кроме жизни травы и насекомых, обитавших в ней. Воздух гудел вибрацией бесчисленных прозрачных крыльев, и этот мерцающий звук, который был повсюду, усиливался, когда подлетала пчела, превращаясь в ноту невероятной суеты. Кроме того, присутствовал и другой повсеместный звук — крошечный, многоголосый стук, похожий на капли дождя, издаваемый кузнечиками, прыгающими со стебля на стебель. В остальном всё было тихо. Тихими были и жёлтые бабочки, которые внезапно опускались облаками, порхали вдоль земли, словно что-то искали, а затем снова взлетали, чтобы исчезнуть за стеной травы. Джали, теперь лежавший в полный рост, положив голову на руку, мечтательно смотрел на Дамаянти, которая обмахивала лицо Гуру, отгоняя мух. Она тоже, казалось, была погружена в сон, её рука двигалась механически, взгляд был невидящим. Одетая для верховой езды, она носила тонкий шёлковый туник, перехвачённый широким кушаком на талии, и объёмные шаровары из более плотного шёлка, которые были схвачены вокруг щиколоток мягкой кожей её сапог для верховой езды. Тонкий шёлк облегал её грудь и плечи, влажные от пота; её голые руки блестели полировкой слоновой кости, а заплетённые волосы, туго намотанные на голову, теперь висели петлями над ушами. В этот момент она была очень похожа на Саврити. Глядя на неё, Джали позволил своему блуждающему воображению увлечь себя всё глубже и глубже в фантазию. Он сделал её ровесницей себе, а может быть, чуть моложе. Она была готова к ухаживанию, и он ухаживал за ней. И они оба были влюблены. Здесь, в этом тайном убежище, он говорил ей о том, как любит её; здесь, среди запаха раздавленной травы, поднимающегося вокруг них, и дремотного зноя солнца, проникающего в них, он заключал её в свои объятия. Брак стоял перед ними — невыразимое счастье!

Но нет! Всё это было нереально. Никакое из этих счастливых мгновений никогда не могло стать его достоянием. Ему придётся прожить свою жизнь без этого. Его боль внезапно стала настолько острой, что он, сам не зная, что делает, поднялся. Повернувшись спиной к Дамаянти, он уставился на мерцающую траву. Неподалёку стайка маленьких жёлтых птиц выпорхнула, словно косяк летучих рыб, пролетела небольшое расстояние и снова скрылась из виду. Это зрелище, казалось, сфокусировало его несчастье. Оно стало глубже всего, что он мог вообразить возможным. У него не было желания плакать, но он чувствовал, как тяжело ему дышать. Голос Дамаянти мягко донёсся до него оттуда, где она сидела: «Вы видите кого-нибудь по дороге из Хава-Гхара?» Он покачал головой и сумел выговорить: «Пока ещё нет». Зачем людям дано воображать то, что могло бы быть? Воображать счастье так ясно и знать, что его невозможно постичь? Зачем? зачем? Затем, внезапно и словно украдкой, он оглянулся назад и на мгновение увидел голову Гуру, лежащую на подушке из травы. Над лицом Гуру, таким спокойным со смежёнными веками, он видел тонкую детскую руку Дамаянти в движении; и каким-то обманом внимания он заметил то, чего сознательно не замечал прежде — её изумрудное кольцо, подарок от Мохана. В ту же секунду покорность овладела его сердцем. «Мои мысли, — сказал он себе, — были мыслями ребёнка». Но это было печально. Печально сверх всяких слов. Ибо его детские стремления казались ему частью самой его человечности; а его расширенное видение —

видение Бога в человеке — не было счастливым. Как оно может быть счастливым, размышлял он, если оно принимает разочарование и крушение надежд как необходимость, и принимает их без всякого понимания? Наконец он повернулся и вернулся на своё прежнее место. Дамаянти склонилась над Гуру и пристально смотрела на него. «Думаю, он скоро очнётся, — сказала она. — Только что у него дрогнули веки». Когда она выпрямилась, её глаза искали его взгляд, и тотчас между ними словно установилась связь. Казалось, почти угадала, что происходило в нём, пока он стоял, глядя на траву. Он твёрдо встретил её взгляд, и голосом, непохожим на свой собственный, услышал, как говорит: «Всё, чего я хочу больше всего, невозможно». Она протянула руку и взяла его за руку. «Джали, дорогой мой — не грусти так!» Её голос был тёплым и низким. Она покачала головой и сказала — наполовину сама себе: «Жизнь такова — но не всё время». «Для тебя она не была такой. Нет! у тебя есть Мохан». Она продолжала смотреть на него — но всё более мечтательно, и наконец забрала свою руку и вздохнула. «Я бы хотела, чтобы ты узнал кое-что большее о моей жизни». Её взгляд был глубоким, и в его глубине он видел движение её мыслей, но не мог составить никакого представления о том, какими они были. «Ты мне очень дорог, — продолжила она грустно, — и я думаю, тебе поможет узнать больше». «Тогда расскажи мне». «Не могу. По одной причине — сейчас нет времени». Она помедлила, словно не желая продолжать. «Дорогой Джали, очень скоро — скорее всего, завтра — я должна буду отправиться в Киштвар. Мой отец умирает, и я хочу добраться до него как можно быстрее».

Джали отвернул лицо.

Она снова протянула руку и взяла его за руку. «Я скоро вернусь — а ты будешь здесь. По крайней мере, я на это надеюсь».

Последние слова были произнесены с такой нежностью, что он вдруг почувствовал утешение. Он глубоко вдохнул, снова обернулся и кивнул. Это не будет прощанием навсегда — нет! это не будет им. Из этой малой милости он извлёк столько утешения, сколько смог.

II

Это было ранним утром следующего дня, когда они расстались. Он проехал с ней до края плато и стоял, глядя ей вслед, пока поворот дороги не скрыл её из виду. Теперь она уехала. Со страдальческой гримасой он повернул голову коня в сторону Хава-Гхара. День был солнечным, но менее ярким, чем накануне, и ветра не было. «Будет очень жарко, — подумал он, — жарко и безветренно». Он со страхом думал о часах одиночества, которые ждали его в пустом доме. Савитри и Рабиндра отсутствовали, а Гуру, вернувшийся к сознанию с сильнейшей головной болью, лежал в постели в затемнённой комнате. Медленно проезжая сквозь высокую, сладко пахнущую траву и глядя на дни, что лежали

перед ним, он чувствовал, будто рука Бога опустилась, чтобы остановить его и дать время его несчастью подействовать на него так, как должно. С каждой минутой его ужас от прибытия в Хава-ГХари усиливался, ибо воображение подсказывало ему, насколько призрачно тихим будет дом, и как образ Дамаянти возникнет в каждой комнате. Даже издалека дом казался заброшенным. Его первым делом по возвращении стал визит к Гуру. Осторожно открыв дверь, он заглянул внутрь. Гури не шевельнулся, поэтому он снова закрыл дверь и бесшумно удалился. Несколько дней жизнь проходила в той тишине и одиночестве, которых он боялся, а затем однажды вечером, когда он заглянул внутрь, он обнаружил, что Гуру сидит в постели; и голос, донёсшийся до него из полумрака, уже не был голосом больного человека, а звучал бодро и сильно. Подойдя к окну, он распахнул ставни, впуская в комнату золотой вечерний свет; и, увидев лицо Гуру, он воскликнул от восторга: «А! Вам наконец-то лучше!» И Гуру ответил тихим смехом: «Да, гораздо лучше. На самом деле я думаю, что здоров». «Но вы должны быть осторожны. Дамаянти предупреждала меня». Принеся немного молока, он сел у кровати, и они начали разговаривать. Он удивился, когда спутник рассказал ему, что беседовал с Дамаянти утром в день её отъезда. «И, — сказал Гуру с улыбкой, — мы говорили о вас».

Щёки Джали залились краской. «Когда мы вместе ехали через плато, она сказала мне, что отдала вам свой дневник, но я не думал, что вы были достаточно здоровы, чтобы поговорить с ней».

«Да. Она дала мне почитать свой дневник. И я думаю, вы знаете почему».

На это Джали ничего не ответил.

«Она хочет, чтобы вы узнали о ней больше. Она хочет, чтобы я рассказал вам всё, что знаю о ней. А этого, надо сказать, немало».

Джали снова промолчал, и спустя мгновение Гуру продолжил: «Вы ей очень дороги, и именно поэтому она этого хочет. Я был очень рад, когда она сказала, что я могу рассказать вам её историю. Это заинтересует вас».

Взгляд Джали надолго остановился на Гуру. — Когда вы начнёте? — спросил он.

— Если хотите — сейчас.

Далее следует «История Мохана и Дамаянти». *Она приводится не совсем такой, какой её рассказал Гуру, а более полной. Гуру рассказывал её, несомненно, обладая огромным запасом знаний и понимания, но автор, которому привилегия — и, возможно, долг — позволяет быть всезнающим в отношении своих созданий, желает, чтобы читатель разделил его преимущество.*

История Мохана и Дамаянти

В то время, когда начинается эта история, раджой Даулатпура был Чандра Сингх, а его сыновьям Мохану и Бходжу было двенадцать и десять лет соответственно. Однажды утром, когда мальчики совершали свою обычную верховую прогулку, на сельскую местность обрушился сильный ливень, и их наставник, оказавшись рядом с оврагом Гуру, велел ученикам спешиться и укрыться там. Ветер был настолько сильным, а дождь — яростно хлещущим, что маленькие мальчики едва могли стоять прямо. Пока их наставник привязывал лошадей, они начали спускаться по обрыву: сначала Мохан, затем Бходж. Оба были напуганы, так как этот шторм был свирепее и внезапнее любого, виденного ими прежде, а тропинка вниз по склону была узкой. Пробиваясь сквозь ветер и ослепляемые молниями, они медленно ползли вперёд и успели пройти лишь половину пути, когда Мохан почувствовал, как что-то тяжело ударило его в спину, так что он опрокинулся и упал. После этого он ничего не помнил до тех пор, пока, открыв глаза, не обнаружил, что лежит на кровати Гуру под лёгким покрывалом. Это стало для него большим сюрпризом, и он не мог представить себе, что произошло. — Где Бходж? — спросил мальчик, а затем расхохотался, хотя вряд ли смог бы сказать почему.

— Бходж ушёл домой. Как ты себя чувствуешь? Голова болит?

— Я чувствую себя очень хорошо, спасибо. — Но куда делась моя одежда? — Сказав это, он снова рассмеялся, ибо только сейчас заметил, что на нём ничего нет.

— Твоя одежда сохнет, — сказал Гуру. — Дождь промочил её насквозь.

Затем он внезапно вспомнил о буре и обо всём остальном. Но буря уже прошла; солнечный свет проникал через окно и открытую дверь. Он чувствовал себя сбитым с толку, но Гуру, положив руку на его голое плечо, со улыбкой сказал: «Не о чем беспокоиться. Бходж поскользнулся и сбил тебя с ног; и вы оба упали со скалы. Но с тобой всё в порядке, а у Бходжа всего лишь сломана ключица. Твой наставник только что отвёз его домой. Тебе придётся побыть здесь со мной час или около того. Ты не против?»

Мохан покачал головой, затем улыбнулся, и мгновение спустя, его взгляд упал на Панчи-Нура, обезьяну, которая дрожала в углу, и он вновь разразился смехом. «О, посмотрите на него! Посмотрите на его шерсть! Он хочет, чтобы я высушил его». И прежде чем Гуру успел ответить, он выскочил из постели и стал гоняться за обезьяной по комнате. Панчи-Нур выбежал на траву, но, найдя её мокрой, вернулся обратно и позволил себя поймать.

«Я принесу тебе полотенце для Панчи-Нура, — сказал Гуру, направляясь к двери. — И ожидаю, что твоя собственная одежда к этому времени уже тоже высохла».

Вернувшись мгновение спустя, он увидел мальчика, который бегал нагишом под солнцем снаружи. С ним определённо всё было в порядке. «Ты здесь!» — позвал он.

Но Мохан пытался забраться на переполненный каменный желоб. «Я собираюсь искупаться в твоём колодце. Я собираюсь нырнуть в твой колодец».

Гуру ничего не сказал, но его улыбка исчезла.

(Пропущено две страницы перевода текста по независящим от переводчика причинам. Не найден английский оригинал этих страниц.)

Невежество было их линией обороны, и они защищали своё невежество с большим мастерством. А тем временем крестьяне умирали. Но вскоре ему представилась возможность.

Его отец устроил охоту на тигра. Это должно было быть официальное мероприятие с шествием к месту охоты и обратно, которое отличалось бы крайней церемонностью. Мохан посетил старост соседних деревень и приказал, чтобы обратный путь был уставлен умирающими и мёртвыми. И так случилось, что раджа на своём слоне обнаружил себя едущим в торжественной процессии по жуткому проспекту. Мёртвые лежали окоченевшие и неподвижные; те, кто были при смерти, поднимали руки и наполняли воздух тонким, непрекращающимся воем. Раджа не мог ничего поделать, кроме как ехать дальше. Его глаза смотрели прямо перед собой, лицо было бесстрастным, он ехал вперёд; но вой проникал ему в уши.

После этого Мохана отправили в Агру, чтобы он присоединился к Императорской гвардии. К своему удивлению, он обнаружил, что солдатская жизнь была для него не совсем неприятной; а его отец получил удовлетворение, увидев, что тот стал хорошим офицером, любимцем Императора, человеком, которого хорошо принимали при Императорском дворе. Он находился в походе, когда умер старик. Раджа оставался верен себе до самого конца. За несколько минут до того, как он испустил свой последний вздох, его старый слуга, служивший ему более сорока лет, склонился над кроватью, где тот лежал в полубессознательном состоянии, и вскрикнул в муках горя: «О мой господин, это же я! Разве вы меня не узнаёте? Разве вы не знаете, кто вас умоляет?»

Умирающий собрал свои силы. «Мой слуга,» — произнёс он слабо, но с заметной чопорностью. И это были его последние слова.

Получив известие о смерти отца, Мохан взял отпуск у Акбара, чтобы вернуться в Даулатпур, и по пути домой, оценивая своё положение, он принял много благих решений. Он никого не обидит, он будет терпелив с Бходжем; реформы, которые он задумал, следует вводить медленно, тактично. Мало-помалу возникнет новый порядок, но те, кто опасался внезапных перемен, не будут ни возмущены, ни задеты.

Однако он пробыл в Даулатпуре менее двадцати четырёх часов, прежде чем начал понимать, что его способности не совсем такие, какими он их представлял. И по мере того, как проходили дни и недели, эта разница между прогнозом и реальностью становилась не меньше. Силы инерции, пассивного сопротивления и коварства полностью одолели его.

Однажды ночью, примерно через три месяца после своего возвращения, лёжа без сна в постели, он разразился долгим, громким смехом. «Да, — сказал он себе несчастно, — это действительно смешно! Завтра я должен пойти в овраг и описать всё это Гуру».

Но его речь, хотя и велась в легкомысленном тоне, имела моменты серьёзности. Он не мог скрыть тот факт, что страдает от очень мучительного чувства разочарования. Его желанием было просто творить добро. Почему это было так трудно? Почему все выступали против него?

Этим мыслям он не давал прямого выражения, но пока он ходил взад-вперёд по траве оврага, то хмурясь, то посмеиваясь над своими довольно горькими шутками, Гуру, сидевший на своей циновке, наблюдал за ним со сочувствием и привязанностью, которые иногда окрашивались нетерпением, а иногда — жалостью. Этот высокий, красивый молодой человек, который от природы был чрезвычайно — возможно, чрезмерно — внимателен, осознает ли он когда-нибудь, что не всякая чувствительность достойна внимания? Он определённо ещё не усвоил, что почти любой выбор — это выбор между двумя злами.

Когда Мохан сказал: «Ничто из этого не будет лёгким. Я знаю это!» — другой продолжал смотреть в землю и не пытался возразить. «Но ты должен помочь мне, — продолжил Мохан. — Я хочу начать заново.

«Воистину, я сделаю всё, что смогу», — ответил Гуру.

— Мне нужно завтра отправиться в Агру, чтобы принести присягу на верность как радже. И я полагаю, Акбар подумывает отправить меня с миссией в Киштвар. Но это ненадолго, а затем мы начнём всерьёз».

III

Дамайанти, одетая в яблочно-зеленое муслиновое сари с серебряной каймой, сбежала по ступеням Дворца в сад. Она смеялась и болтала, а следом за ней шла девушка примерно того же возраста, которая тоже смеялась и болтала. Ни одна из них не слушала то, что говорила другая, и ни одна не ожидала, что ее будут слушать. У подножия невысоких каменных ступеней Дамаянти остановилась, взглянула на открытое окно и окликнула. Но никто не вышел. Тогда она опустилась на камень, покрытый лишайником, и продолжила свою болтовню ровно с того места, на котором прервалась.

Стояла безоблачная осенняя погода. Солнце, хотя еще и невысоко поднявшееся, уже припекало, но в воздухе все еще держалась ночная прохлада. Легкий заморозок тронул спускавшийся к озеру сад, а длинные склоны противоположного холма были присыпаны первым в этом году снегом.

— Вода будет довольно холодной, — затараторила Дамаянти, — но мне все равно; а тебе? И затем, не дожидаясь ответа: — Кстати, насчет твоей свадьбы, Майура, душенька, конечно же, я там буду! Акбару — бедняжке старому! — придется подождать. Да и при его шести женах это вряд ли должно составить для него особую трудность. К тому же он меня никогда даже не видел, так что уж точно не исходит по мне тоской! Знаешь, я вообще не воспринимаю эту затею как брак. А с чего бы вдруг? Это просто кусок… кусок дипломатии, как любой другой. — Она помолчала. — Интересно, влюблюсь ли я когда-нибудь — и выйду замуж по-настоящему — как ты. Может быть, после смерти Акбара. И после…

Предложение осталось незаконченным, но Майура знала, какими должны были быть недостающие слова. Сколько раз Дамаянти не говорила ей: «Я никогда не смогу оставить отца — никогда! Мы слишком много значим друг для друга. Это невозможно».

Впервые наступило короткое молчание, затем Дамаянти заговорила снова: — Отец настоит на том, чтобы я проводила здесь хотя бы полгода, и я полна решимости сделать этот срок больше, если получится. — Но давай вернемся к твоей свадьбе. Тебе непременно нужно множество драгоценностей. Будь твой отец не таким фантастически честным, ты бы постоянно сверкала с головы до ног. Зачем тебе страдать из-за этой добросовестности? Самое меньшее, что я могу сделать, — это одолжить тебе кое-что из моих.

В этот момент на вершине лестницы появилась маленькая, высохшая старушка и стала спускаться к ним. — О моя голубка! — произнесла она голосом необычайно мягким и сладким. — Вазир снаружи; он желает поговорить с тобой. И Махараджа тоже послал за тобой.

Дамайанти скорчила гримасу. — Опять Вазир! Скажи ему, Ратнивара, дорогая, — скажи, что я ушла в бассейн.

Старая няня покачала головой, улыбаясь. — Но он говорит, это очень важно. — Что ж, передай ему, что я голышом в воде, но пусть приходит, если хочет.

Все с той же безмятежной улыбкой Ратнивара села на ступеньку и подставила лицо солнцу. — Я не стану оскорблять уши Ваджира такими шутками.

Дамайанти вздохнула, наклонилась поцеловать ее, затем резко встала. — Полагаю, мне надо идти. — Она повернулась к другой девушке. — Но я ненадолго; так что как только появится Суши, отведи ее вниз к бассейну. Не жди меня; я присоединюсь к вам там.

Она вошла внутрь и, пройдя через женские покои, направилась в зал, где стояло несколько человек весьма важного вида. Среди них был Вазир, тучный мужчина с крупным, умным лицом, полностью окруженным волосами. Как только он увидел Дамаянти, он низко поклонился, подошел к ней величественной походкой и вновь низко поклонился. Затем, прежде чем она успела открыть рот, он начал говорить. Он говорил быстро глубоким хриплым шепотом и время от времени указывал пальцем на какой-то отрывок в длинном документе, который он развернул. Было примечательно видеть этого серьезного чиновника, обращающегося к юной девушке так, как он обращался бы к коллеге. Закончив, он свернул свой пергамент и передал его, испустив вздох облегчения. — Твой отец не доставит тебе хлопот, принцесса, уверяю тебя. У Махараджи была хорошая ночь. Пусть Рама вознаградит тебя за твои добрые услуги.

Услышав эти слова, которые были обычной формулой Ваджира, когда он поручал ей задачу, которой сам избегал, Дамаянти улыбнулась. Кроме того, было неправдой то, что Раджа провел хорошую ночь. Она уже заходила в его комнату и нашла его крайне раздражительным. Документ, понять который было непросто, объяснить будет еще сложнее; и существовала опасность, что если Раджа в полной мере осознает его значение, он откажется его подписывать. Но и Дамаянти, и Вазир страстно желали, чтобы он подписал его, ибо, в отличие от Раджи, они считали более важным, чтобы у крестьян сохранилось достаточно зерна для весеннего сева следующей весной, чем чтобы сокровищница золота во дворцовых хранилищах получила еще одно пополнение.

Ее гордость была польщена легкомысленной неискренностью заключительных слов везиря, она ограничилась тем, что бросила на него удивленный взгляд в ответ. Везирь отвел глаза. Он резко отбросил свои деловые манеры и теперь кланялся и жестикулировал, его дородное тело раскачивалось из стороны в сторону, а с губ лился поток комплиментов. Но улыбка Дамаянти стала шире, и, оборвав его цветистые речи, она поспешила выйти из зала, чтобы пробежать по длинному коридору, ведущему в покои Раджи.

Она думала: «Мне нужно зайти и повидаться с отцом ради приличия. Но поднимать сейчас разговор об этом документе я не собираюсь. Если сделаю это, то пропущу свое купание».

В передней комнате ее встретил главный слуга Раджи, сообщивший, что Его Высочество принимает ванну. На лице девушки появилось выражение покорности; она вздохнула и ответила, что подождет.

Как только мужчина покинул комнату, она подошла к окну и сунула документ Ваджира в петлю шторы, образовавшую удобный карман. Делая это, ее рука наткнулась на другой лист пергамента; и с выражением досады она извлекла из своего тайника государственную бумагу, таинственно исчезнувшую целых три недели назад. «Мне придется незаметно подсунуть это отцу на стол, когда он не смотрит», — задумчиво решила она и спрятала документ в складку сари. Но само открытие обеспокоило ее.

Спустя несколько мгновений дверь комнаты ее отца открылась, и на пороге появился Раджа, облаченный в монашеское одеяние из желтого китайского шелка. Минуту он стоял, глядя на нее с видом расчетливой нерешительности, которая была для него не редкостью. Затем, приподняв маленькую худую руку, поманил: «Войди, дорогая; войди!» Голос его был ворчливым, и едва она вошла, он тщательно закрыл за ней дверь, словно не доверяя ей самой закрыть ее за собой.

Слуга в дальнем конце комнаты складывал одежду. Он недовольно нахмурился на мужчину и быстро отошел в противоположную сторону к большому открытому окну, перед которым стоял низкий стол, заваленный бумагами. У него были такие же быстрые, легкие движения, как у Дамаянти. Во многих отношениях отец и дочь были очень похожи. Оба имели одинаковое стройное телосложение, тонкие кости и изящные сочленения, вся фигура с головы до пят производила впечатление грации и завершенности. Но Радже, которому было пятьдесят лет, уже начали изменять силы. Его коротко остриженные волосы поседели, а гладко выбритые щеки приобрели нездоровую бледность. Под тонким острым носом он носил усы с заостренными концами, которые нервно подкручивал, когда говорил.

— Я послал за тобой, дорогая моя, потому что… — Он осекся, раздраженный приближением другого слуги, который намеревался разложить подушки прежде, чем он сядет. — Нет, нет! Уходи! — пробормотал он. — Уходите все вы прочь. — И его глаза проводили человека взглядом, полным настоящей неприязни.

Спальня Раджи была очень большой, очень просторной и отделанной в прохладных, бледных тонах. Цветы стояли повсюду; по углам находились большие ветви белой сирени, на каждом столе стояла чаша с розами, но больше всего на свете Раджа любил свои полевые цветы, множество корзин которых ежедневно присылали во Дворец из высокогорья Кашмира. На середине комнаты, в нише стояла его кровать — большая кровать, увешанная тяжелыми белыми шелковыми занавесями. Повсюду были разбросаны книги, музыкальные инструменты и архитектурные чертежи, работа его собственных рук.

Как только ее отец уселся, Дамаянти опустилась на диван рядом с ним, положила руку ему на плечо и быстро пробежала глазами бумаги на столе. — Я не вижу ничего нового, — сказала она. — А я так жажду своего купания! Неужели ты меня не отпустишь, папочка?

Раджа нахмурился и начал передвигать бумаги. — Меня беспокоит исчезновение того отчета Мирзы Хана. Ты уверена, что я не отдавал его тебе?

Дамаянти промолчала.

Раджа вздохнул и посмотрел в окно внезапно погрустневшими глазами. — Я старею. В этом вся беда. Теперь я теряю всё подряд.

— Нет, не теряешь, — решительно ответила Дамаянти и, вытащив отчет из-под платья, положила его перед ним на стол. — Милый, это я потеряла его. Прости.

Раджа отстранился, повернулся и посмотрел на нее. На мгновение показалось, что он вот-вот начнет бушевать и ругаться. Затем что-то его остановило. — Ты становишься небрежнее день ото дня, — тихо сказал он. — Но неважно. Мне недолго осталось быть с тобой. Когда ты выйдешь замуж за Акбара…

— Я все равно буду проводить здесь половину времени — с тобой.

Он пожал плечами. — Кто знает? Такие обещания редко соблюдаются. Я позвал тебя, потому что только что получил послание от посланника Акбара. Этот надоедливый молодой человек теперь заявляет, что прибудет через три-четыре часа. Прямо в жару дня.

— Какой молодой человек? — Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. — Я имею в виду: кто он? Как его зовут? — Принц Мохан. Я говорил тебе об этом уже дюжину раз.

Дамаянти рассмеялась и снова оперлась рукой о плечо отца. — Милый, я забыла. И какая разница, если он действительно приедет раньше? Тебе вовсе не обязательно видеться с ним до вечера — как и мне. Это частный, неофициальный визит. Пусть его тихонько проводят в гостевой дом. Он будет только рад иметь несколько часов для себя, прежде чем начнет произносить красивые речи.

Это было настолько разумно, что Раджу это раздосадовало. Его всегда раздражало, когда его обиды и трудности легко сглаживались. — Все это очень хорошо, — проворчал он. — Но…

— Но что, милый?

Раджа уставился прямо перед собой, а затем, будучи человеком умным, сказал правду. — Твое замужество… Я не могу с этим смириться. Мне не нравится прибытие этого молодого человека. Я не хочу с тобой расставаться.

На его лице появилось выражение глубокой печали, которое, хотя и было намеренным, тем не менее свидетельствовало об истине. И Дамаянти достаточно хорошо знала своего отца, чтобы понять это. И он знал ее достаточно хорошо, чтобы быть уверенным, что она поймет. Несколько мгновений они оба молчали. Затем они посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Отец, — сказала Дамаянти, — послушай! Мы оба должны быть благоразумны в этом вопросе. Ты же знаешь, что мне нет дела до брака с Акбаром. Ты знаешь, я делаю это только потому, что ты счел это правильным поступком. Но раз уж мы приняли решение, мы должны довести его до конца. Только прошу тебя, пожалуйста, оговори, что я смогу возвращаться сюда всякий раз, когда захочу. Даже если тебе придется уступить в каких-то других пунктах, на этом ты должен стоять твердо.

С этими словами она поднялась. — Разве я не могу пойти искупаться? Суши и Майура ждут меня внизу.

— Да, да! Иди! — Раджа раздраженно махнул рукой. — И по пути скажи Хакиму, что я отказываюсь видеться с принцем Моханом до вечера. Мало того, что нам испортят вечер.

Дамаянти на пути к двери бросила через плечо нежный, доверительный взгляд. — Возможно, нам удастся избавиться от него довольно рано. Мы могли бы даже — после того как он уйдет — немного помузицировать вдвоем, как обычно.

Купальня представляла собой небольшой естественный залив у берега озера. Над ним нависали высокие каменные дубы, придавая затененной воде под ними глубокий зеленый цвет, так что мелкие камни и песок на дне тоже казались зелеными. Дамаянти любила плавать под самой поверхностью с открытыми глазами. Она достаточно хорошо изучила этот подводный мир — его миниатюрные луга и леса и стайки крошечных рыбешек, которые разбегались, когда над ними проходила ее тень.

Когда она спустилась к купальне, то обнаружила, что Суши и Майура уже искупались и ушли. На несколько мгновений она была горько разочарована, затем внезапно ее настроение изменилось. Тишина и пустота этого места очаровали ее, и она обрадовалась тому, что осталась одна.

Скользнув из одежды, она вошла в воду так осторожно, как только могла, чтобы не поднять ни малейшей рябинки, и, лежа на спине, уставилась в кроны каменных дубов, чьи ветви скрывали небо. Затем, перевернувшись, она погрузила лицо под поверхность, чтобы заглянуть в тот другой тусклый зеленый мир внизу.

Выйдя из бассейна, она некоторое время полежала на солнце, затем оделась и пошла вдоль края озера к гостевому дому. Это был Павильон, построенный для ее матери, которая умерла четырнадцать лет назад. У Дамаянти было лишь одно воспоминание о Рани, очень смутное, которое ассоциировалось с этим изящным и довольно причудливым деревянным строением, нависающим над озером. Как только она вышла из-под деревьев, перед ней поднялся его сине-зеленый купол, усыпанный золотом и серебром. «Интересно, понравится ли это принцу Мохану», — сказала она себе. «Если нет, я буду его ненавидеть».

Гордясь тем, что она хорошая хозяйка, она намеревалась убедиться, что все будет как должно. На ступеньках веранды ей навстречу вышел старый Хаким, мажордом. — Да, Ваше Высочество, во всех комнатах есть цветы, для ванны Принца приготовлена горячая вода,

готов легкий ужин. Он не должен слишком много есть, иначе у него не будет аппетита к обеду. Но здесь предостаточно вина, щербета и фруктов, все хорошо упаковано в снег. Вы найдете, что ничего не упущено.

Побродив пару минут с Хакимом, Дамаянти сделала ему комплимент и отпустила его. Пройдя через внутреннюю комнату, она открыла дверь в маленькую круглую палату, расписные стены которой завораживали ее еще в детстве. Она помнила, как сидела на руках у матери и смотрела, смотрела в восторге на этих странных, ярких зверей, цветы и деревья. Но теперь, хотя нечто сладкое и далекое всегда возвращалось к ней здесь, этот аромат прошлого был настолько слаб, что неизменно приносил разочарование. Звери, цветы и деревья были не такими, какими она их помнила; и чем пристальнее она всматривалась, тем туманнее становилось воспоминание.

Воздух в маленькой комнате стал спертым. Она заметила, что окно не открывали, и что цветов здесь тоже не было. Внезапно она почувствовала, как глаза наполняются слезами; но думала она не о матери и не о себе; она думала о течении времени, которое само по себе казалось таким печальным. Войдя в комнатку, она закрыла за собой дверь, села на диван и замечталась.

Прошло пять, а может быть, десять минут, и она все еще сидела на диване, когда из передней залы послышались голоса. Мгновение спустя говорившие вошли в соседнюю комнату, и она вскочила со своего места в смятении, ибо незнакомые голоса ясно дали понять, что принц Мохан уже прибыл. Как ей скрыться, оставаясь незамеченной? Ее рука потянулась к волосам, которые, хоть и высохли к этому времени, пребывали в некотором беспорядке. Платье ее тоже…

Она отошла к середине комнаты и растерянно оглядывалась по сторонам, когда дверь резко распахнулась, и перед ней предстал ее гость! Прямо за ним стоял Хаким, и оба сделали движение удивления.

Лишь после того, как Хаким шагнул вперед с неопределенным объясняющим жестом, она резко заставила себя вернуться к осознанию того, что нужно делать. Обмениваясь взглядами с этим молодым человеком, она не замечала ничего, кроме него, его скромного вида, его доброй улыбки. Она видела, что он гадает, кто она такая. «Кто это хорошенькое дитя?» — казалось, говорил он про себя. Ему определенно не пришло в голову, что она — принцесса, будущая невеста Императора. Его серо-голубые глаза выражали нежность, почти сострадание, и у нее не возникло желания отвергнуть его; нет! она приняла его, она поддалась ему, он мог дать ей столько, сколько хотел. Она увидела здесь человека, который ей понравился — понравился настолько, что в ее голове не осталось места ни для чего другого. Потребовалось выступление Хакима вперед, чтобы напомнить ей, что это принц Мохан; она пришла в себя с легким, скрытым вздохом и тут же призвала на помощь всю свою выдержку, чтобы приветствовать своего гостя.

IV

В последующие дни, оглядываясь на разговор, который за этим последовал, Дамаянти могла вспомнить лишь отдельные моменты; все остальное оставалось размытым. Как только Хаким оставил их одних, они почувствовали, она помнила это, что им снова совершенно легко друг с другом. И почти сразу же эта легкость превратилась в интимность. Не то чтобы их речь была интимной, но чувство близости присутствовало, придавая всему сказанному теплоту и сияние. И хотя чуть позже ими овладела неловкость, это, как ни странно, не принесло никакого дискомфорта вовсе. Именно из-за их общей беспомощности нечто — на что они пока еще не могли смотреть — вышло на свет. Счастье? Это было не оно, но этому можно было дать такое имя.

Она бежала от этого. Она сбежала по ступеням Павильона, махнула рукой и исчезла. И через весь луг в ее сердце жило знание о том, что он там — на веранде — смотрит ей вслед. А что означал его взгляд, она знала — о да, она знала!

К своему облегчению она добралась до своей комнаты, никого не встретив, и смогла час просидеть одна, безмятежно дивясь тому, что произошло. Первой вторгшейся мыслью было: «Мне придется сказать отцу, что я уже встречалась с ним», и, хотя она была вполне уверена, что справится с этим, не выдав себя, ей претила необходимость притворяться. Затем воображение перенесло ее вперед к моменту, когда, стоя рядом с отцом, она увидит приближающегося к ним Мохана. Сможет ли он полностью скрыть свои чувства? Неразумно она надеялась, что волнение будет для него чуть-чуть слишком велико. Какое платье ей надеть. Как пройдет вечер? Найдут ли они возможность обменяться взглядом — одним-единственным взглядом, чтобы сказать: «Да, это правда! Это не сон».

Но ничего не сложилось так, как она ожидала. Вечером, когда она собиралась к ужину, пришел срочный вызов от Раджи, и едва она вошла в его комнату, он сунул ей в руку письмо — «Дорогая моя, взгляни на это!» В нем говорилось, что его младший брат получил серьёзную травму во время игры в поло и вряд ли выживет.

В моменты чрезвычайной ситуации Раджа был скор в решениях и действиях. Он сказал: — Я еду к Пателу немедленно. Я должен увидеть его, если возможно, до того, как он умрет. Что касается принца Мохана, я послал известие, что буду не в состоянии принять его, пока не вернусь: то есть четыре или пять дней. Ты и Вазир должны позаботиться о нем, дорогая моя. Позаботься о нем хорошо! Мы должны быть осторожны, чтобы не создать впечатления пренебрежения Акбаром. — Пока он говорил, он расхаживал по комнате, хмуря лицо, но в остальном оставаясь совершенно невозмутимым. Дамаянти знала, что он никогда не любил Патела; но Пател был не женат, и кому еще оставить человеку свои деньги, как не единственному брату?

За этим последовала неделя чудес и очарования. Мохан, который по натуре был застенчив и становился особенно очаровательным именно тогда, когда робел, приближался к Дамаянти с колебаниями, которые стократ усиливались всякий раз, когда он вспоминал о природе своей миссии. Но стоило ему оказаться в ее присутствии, как его охватывало своего рода опьянение. Он держался, действительно, со сдержанностью и осторожностью, но у него не было сил скрывать страсть, которая владела им. Оставшись один, он смотрел на себя в ужасе; но нельзя долго оставаться в ужасе, когда твое сердце поет от счастья.

Слов любви произнесено не было, но с каждым днем становилось все очевиднее и ему, и Дамаянти, что чувство, которое они испытали при первой встрече, было предвестием — более того, им казалось, что поистине сверхъестественным, — подобно знамению. Ведь никто из них не ждал любви — меньше всего такой любви. Дамаянти всегда верила, что мужчина, которого она полюбит, будет значительно старше ее, человек, перед весом характера и опыта которого она будет вынуждена склониться.

Для Мохана Дамаянти была человеческим существом совершенно иного рода, чем те, кого он знал прежде. Все молодые женщины, которых он встречал до сих пор, воспитывались строго в рамках индуистской традиции. У его матери действительно был характер, но характер приглушенный и скрытый под покорностью. Ее интеллект тоже действовал лишь в очень узкой области. В Дамаянти он нашел широту общения, интеллектуальное возбуждение, общность интересов — все это чудесным образом соединялось с любовью.

Раджа отсутствовал пять дней, и его возвращение, внезапное и необъявленное, застало двух влюбленных без какого-либо согласованного плана. «Но какой план мы вообще могли бы придумать?» — сказала себе Дамаянти. «Наше затруднительное положение безнадежно. Из наших трудностей нет выхода». Она находилась в своей спальне, готовясь вновь к официальному приему Мохана своим отцом, и если раньше этот случай был полон подводных камней, то теперь он стал в сто раз более грозным.

В четыре часа утра следующего дня она сидела у постели отца. Доктор, Хаким и слуги удалились, оставив ее одну. Раджа не был серьезно болен; она была в этом уверена. Возможно, впрочем, он вовсе не был болен. Лежа на спине с закрытыми глазами, он представлял собой загадочную фигуру. Как бы хорошо она его ни знала, она никогда не сможет узнать его достаточно хорошо. В этот момент она сомневалась, не наблюдает ли он за ней из-под своих якобы закрытых век. О, как он жесток! Насколько жестокой сделала его любовь к ней!

Оставив свою руку неподвижной на кровати, она отвернулась, чтобы спрятать лицо. Оно было белым и застывшим; детский взгляд исчез; оно отражало агонию в ее сердце. Комната Раджи была наполнена тусклым, ровным светом, исходившим от густо затененных ламп, расставленных тут и там. Ее взгляд устремился прямо к большому открытому окну, за которым простиралась прохладная, ясная ночь, озаренная звездами. Под этими звездами

лежал Павильон. Под этими звездами лежал целый широкий мир свободы. Но она здесь — пойманная, заключенная в тюрьму, без надежды на освобождение, пока жив ее отец.

Ее разум вернулся к вечеру, который, казалось, прошел так прекрасно. Манеры Мохана были безупречными; он и ее отец, казалось, великолепно ладили друг с другом; ни на мгновение ничто не пошло не так. И все же, когда отец пожелал ей спокойной ночи несколько раньше обычного, ее сердце пронзил страх. Этот страх прицепился к ней и не давал уснуть. Возможно ли, что он уже заметил что-то, что догадался, что знает? Когда вошла ее горничная и объявила, что у Раджи случился один из его приступов, она почувствовала тошноту от внезапного отчаяния. Удар обрушился. Он догадался. О, как она могла быть настолько глупой, чтобы предположить, что он не догадается? Его интуиция была дьявольской. И несмотря на его любовь — из-за его любви — он будет жесток.

Неужели любовь должна быть такой? Неужто она всегда будет рабством? Разве в царстве любви нет свободы? Нет пространства? Нет звездной ночи? Она отвернулась от окна, чтобы снова устремить взгляд на лицо отца. Оно было бледным, изможденным, похожим на мумию. Это было лицо стареющего, больного человека.

Но эта его болезнь — что это такое? Казалось, он держит ее под контролем. Эти приступы всегда случались кстати, когда ему нужно было уклониться от чего-то или принудить кого-нибудь — как правило, ее саму. О, он был хитер и безжалостен! Он всегда знал, как взять над ней верх. Он даже сумеет так умереть, чтобы оставить ее в замешательстве и приковать к своей памяти чувством раскаяния.

В самой своей горечи в этот момент она ощущала тонкую работу жалости. Ведь ее воображение разделилось надвое, и оно говорило ей: «Разве с ним тоже не случилось нечто ужасное? Несколько часов назад он верил, что ты все еще принадлежишь ему. Он был уверен в тебе; ведь твой намечавшийся брак с Акбаром ничего в этом не менял. Ты же не уходила от него по-настоящему — ни в каком смысле, который имел значение. Но теперь он сражен. Он потерял тебя. Единственное, чего он боялся, произошло. Ты была неверна, покинула его. Можешь ли ты вынести то, что оставишь его совсем одного? Можешь?»

Дрожь пробежала по телу Дамаянти. Ее губы задрожали. Ей хотелось броситься на кровать, обхватить Радже руки вокруг шеи и закричать: «Я не сделаю этого! Отец, я обещаю тебе, что не сделаю!»

Но она не сдвинулась с места. Какая-то сила удерживала ее. Удерживала, хотя ее радость — и даже вера — в ее любовь к Моханy покинули ее. Фигура ее возлюбленного стала туманной, его любовь к ней стала нереальной. Лишь фигура отца оставалась пугающе реальной и ясной. И той же пугающей реальностью обладала связь, которая их объединяла, связь, которая за все годы с самого младенчества загустела и окрепла, словно живая лиана.

А эта другая связь, что это такое? Какое вещество может быть в связи, которая возникла в одно мгновение и которой всего пять дней? Между ней и Моханом не было ничего —

только общий сон. Лихорадочный, обманчивый сон! Но ведь от лихорадок выздоравливают, и от этой она выздоровеет.

Она снова посмотрела на отца и, поверив, что тот наконец действительно уснула, встала и на цыпочках вышла из комнаты. Окна коридора были залиты первыми лучами солнца. Пчелы уже жужжали в жасмине снаружи, щебетали птицы, начался новый день; и она подумала: «Я отказалась от счастья!»

В ее комнате было полутемно, так как ставни все еще были закрыты. Она немного посидела у изножья кровати, затем, дрожа, поднялась и подошла к окну, чтобы впустить солнечный свет. Когда ставень распахнулся, она посмотрела вниз; а на лужайке внизу стоял Мохан. Их взгляды встретились в оцепенении изумления, ибо это показалось ей чудом.

Вся ее усталость исчезла, и вся печаль тоже. Мохан улыбнулся и поманил; она слегка кивнула и, не давая себе времени подумать, сбежала по лестнице и выбежала через садовую дверь на лужайку. Молча они вместе пересекли лужайку и пошли по тропинке под деревьями. Но прежде чем дойти до озера, они сели. Это было тихое место, наполненное запахом сосен; и там они пробыли два часа, иногда разговаривая, но чаще молча.

Когда Дамаянти вернулась во Дворец, все было сказано, и в ее сердце появилась новая уверенность. Ее внутренний конфликт, правда, не был разрешен, но Мохан стал для нее таким же реальным, как отец.

Как только Раджа проснулся, он послал за своим доверенным слугой, от которого получил полный отчет о том, что произошло в его отсутствие. К этому добавилась новость о том, что двое влюбленных только что встретились еще раз под соснами. Что! Она пошла прямо к Мохану от его постели? Это было почти невероятно. Раджа вскочил с кровати и начал расхаживать по комнате. Он жаждал принять насильственные меры, но у Дамаянти всегда был свой характер воли, и уже несколько лет он не мог обращаться с ней как с непокорным ребенком. Чем дольше он обдумывал ситуацию, тем более серьезной она ему казалась. Ни Мохан, ни Дамаянти не вели бы себя так, если бы не находились под влиянием всепоглощающей страсти. Ставки были слишком высоки.

Мохан не был безответственным молодым человеком — это он понял сразу; ну а что касается его дочери — что ж, у него было некоторое представление о том, что творилось у нее в голове, когда она сидела рядом с ним ночью. И все же она отправилась к своему возлюбленному сразу после этого!

Когда чуть позже в тот же день он получил от Мохана письмо с соболезнованиями по поводу его болезни и просьбой о встрече при первой же возможности, он решил немедленно увидеть своего гостя. Он был уверен, что увлечение молодого человека не сделало его невосприимчивым к чувствам самообвинения и даже смятения. Судя по всем обычным меркам, его поведение было отвратительным. Он предал доверие. Вполне

возможно, он чувствовал, что его первейший долг — сократить визит, поспешить обратно к Императору и сделать полное признание.

Этого Раджа был полон решимости не допустить, ибо знал, что последствия будут — с его точки зрения — катастрофическими. Истина заключалась в том, что предполагаемый союз Дамаянти с Акбаром во многом был делом его собственных рук, поскольку у Акбара не было веских дипломатических причин желать этого, а личных причин не было вовсе, так как он еще никогда не видел ее собственными глазами. Без сомнения, размышлял Раджа, он будет в крайнем гневе, но этот гнев проистечет из оскорбления, нанесенного его достоинству, а не из какого-либо другого источника; и это может заставить его тут же отказаться от брака. Основная тяжесть королевского недовольства, конечно же, падет на Мохана, но если молодой человек будет упорствовать в своих намерениях и готов будет заплатить штраф (вероятно, принудительное отречение), он вполне может в конце концов осуществить свое решение. Но Раджа не мог смириться с мыслью о том, что его дочь сделает эту — или вообще любую другую — партию по любви без ярости и отчаяния. Ее союз с Императором представлялся ему наиболее подходящим прежде всего потому, что в нем не были бы замешаны ее чувства.

Так что теперь его ближайшей целью было помешать Мохану предпринять какой-либо бесповоротный шаг. Первостепенной важности задачей было удержать его в стране в течение назначенных трех недель, в течение которых можно было многое сделать, чтобы привести в чувство его самого — и Дамаянти.

Раджа принял Мохана в своей спальне. Из тени завешенной кровати он молча слушал, пока молодой человек говорил именно то, что он ожидал от него услышать. Его большие темные укоризненные глаза неотрывно смотрели на Мохана, а ответ был кратким, достойным и разумным. Он указал на опасности опрометчивых действий. — Я имею право кое-что потребовать от вас, — сказал он, — и я требую отсрочки. Отправившись к Акбару немедленно, вы не отмените того, что сделали, но лишь сделаете это неисправимым. Я хочу, чтобы вы остались здесь немного дольше. Нам всем нужно поразмыслить. — Мохан счел себя обязанным согласиться, и хотя его ум был встревожен, сердце радовалось.

Для Дамаянти последующие дни были одновременно счастливыми и несчастными в крайней степени. Раджа обладал даром великого красноречия и пустил в ход все свои ресурсы. Зная, что ее любовь к нему и сострадание уже сражаются за его дело, он очень мало говорил о себе самом и никогда — тоном гнева или горечи. Через уста Вазира и других людей, которых она уважала, он взывал к ее тщеславию, ее честолюбию и, наконец, не в последнюю очередь, к ее чувству долга. Несмотря на свою молодость, Дамаянти уже разбиралась в государственных делах, ее сердце тронуло убожество бедняков, и под сочувственным руководством Вазира ей удалось хоть немного улучшить их участь — задача, к которой Раджа проявлял мало энтузиазма. — Принцесса! — сказал ей теперь Вазир. — Здесь вы помогли тысячам; став любимой королевой Акбара, вы поможете сотням

тысяч. Перед вами великое будущее. Пожертвуете ли вы им ради поспешного — и, возможно, преходящего — желания?

Затем, в другой день, Диван к ней подошел. — Дорогая принцесса, если бы вы знали Акбара так, как знаю его я, ваша собственная любовь к принцу Мохану заставила бы вас отказаться от ваших нынешних намерений. Если принц избежит смерти, он не избежит позора. Разве он сам не признает, что Акбар заставит его отречься? Мое твердое убеждение состоит в том, что он будет вынужден уйти в изгнание вместе с нами. Более того, негодование Акбара непременно перекинется на вашего отца. Как же ему не считать его частично ответственным за такой скандал, такое унижение, такую катастрофу? Вы навлечете гибель не только на себя, но и на двух людей, которые вам дороже всего на свете.

Дамаянти провела много ночей в мучительной бессоннице. Ее совесть и чувство долга были на стороне отца. Будь она менее умна или более самоуверенна, слова этих старых советников оказали бы мало влияния, но она обладала способностью к беспристрастному суждению, необычной для столь юного возраста. Глядя на себя их глазами, она видела свою неопытность и боялась ее.

Возможно, было странно, что в эти дни она не дала Мохану более глубокого понимания того, что происходит у нее в сердце и в уме. Но этому сдержанному поведению было несколько причин. Во-первых, привыкнув к обществу людей гораздо старше себя, она не имела привычки делиться своими сокровенными мыслями с кем-либо. Во-вторых, она уклонялась от того, чтобы обременять Мохана собственными тревогами, когда у него самого уже была тяжелая ноша. И наконец, в обществе своего возлюбленного она была слишком взволнована, чтобы думать о чем-либо, кроме счастья, которое они разделяли. Часы, проведенные с ним, были не только радостными, но и укрепляющими дух.

Да, покидая присутствие Мохана, она чувствовала себя сильной. Она чувствовала, что далеко не вся мудрость, справедливость и добродетель находятся на стороне ее отца и его рупоров. В ее сердце была совесть, которой не понимал разум, и это сердце часто говорило ей: «Если ты откажешься от Мохана, ты будешь презирать себя до конца жизни. Возможно, все, что говорит твой отец, — правда; возможно, даже любовь Мохана к тебе и твоя любовь к нему вовсе не таковы, какими вы их считаете; возможно, действительно вся страстная любовь — это заблуждение — вещь недолговечной ценности; и все же, если ты принесешь ее в жертву этим сомнениям, ты будешь презирать себя. Сделай этот отказ, и наградой тебе будет смерть твоего сердца. Под твоим самодовольством и удовольствием от похвалы мира, под миром закончившегося горького конфликта, под удовлетворением, которое ты испытаешь от облегчения и счастья твоего отца — под всем этим будет презрение к себе. А сожаления, коренящиеся в таком презрении к себе, как они горьки!»

Именно этому голосу Дамаянти внимала. Радже в конце концов пришлось согласиться на то, чтобы Акбару рассказали обо всем, но он оговорил условие, что со дня объявления помолвки должен пройти год, прежде чем состоится свадьба.

V

Прошло около двух месяцев после прощального визита Мохана, когда Гуру, читая в тени своей ивы, поднял глаза от книги и увидел молодого человека, стоящего на вершине утеса. На мгновение оба застыли, глядя друг на друга. «Интересно, как долго он там стоит, — сказал себе Гуру. — И интересно, что он хочет мне сказать». Затем Мохан махнул рукой и сбежал по ступеням.

— Я вернулся только прошлой ночью, — крикнул он. — Так что видишь, я не терял времени даром, чтобы прийти к тебе.

Гуру, который шел ему навстречу, улыбнулся, взял его за руку и усадил под дерево.

В самом веселом и дружелюбном расположении духа Мохан болтал о своем путешествии. Он выглядел хорошо, но на лице были следы усталости, а в его оживлении было что-то искусственное.

Через некоторое время наступила минутная пауза. — У меня есть для тебя небольшой сюрприз, — легкомысленно сказал Мохан. — Я собираюсь жениться.

— Жениться! — Гуру наклонился вперед и тепло сжал его руку. — Сын мой, это великая новость! Кто она?

— Принцесса Дамаянти.

— О! — Снова последовала короткая тишина, во время которой глаза Гуру вопрошали его. — Но… что Акбар говорит об этом?

— Он воспринял это довольно неплохо.

— Неужели! — Хотя это было сказано тоном облегчения, Гуру продолжал пристально смотреть на Мохана с вопросом. — Действительно хорошо?

— О да! — Юноша заколебался. — Фактически, он воспринял это настолько хорошо, что я не мог не заподозрить, что его подготовили. А на следующий день я выяснил — совершенно случайно, — что так оно и было.

— Кто подготовил его?

— Отец Дамаянти. Раджа, вполне естественно, предпочел бы видеть зятем Акбара. Так что примерно за неделю до моего отъезда из страны он отправил человека в Агру, чтобы тот изложил Акбару собственную версию этого дела.

— Понимаю.

Мохан рассмеялся. — Полагаю, этот человек сказал, что я страдаю от солнечного удара, и что Дамаянти сочла необходимым потакать мне; но Его Величеству не стоит беспокоиться, потому что в конце концов все уладится.

Гуру улыбнулся, но голос его был серьезен. — Да, думаю, я понимаю. Но что именно Акбар сказал тебе?

— Он сказал мне, что я сошел с ума. Он отказался воспринимать меня всерьез и дал мне год на то, чтобы прийти в себя.

С минуту или больше Гуру размышлял над этим. — Все же, — заметил он наконец. — Я полагаю, Акбар прекрасно видел, что ты действительно имел в виду то, что сказал.

— Что ж, надеюсь на это. — Тон молодого человека был беспечным, и в следующую минуту он уже давал юмористическое описание этой беседы. От этого он перешел к шуткам о вероятном воздействии его новостей на Бходжа, которому он еще ничего не сказал, а немного позже поднялся, чтобы уйти.

Гуру не сделал ни малейшей попытки удержать его.

Бходж многое выигрывал от позора, грозившего его брату, поскольку Акбар сказал Мохану, что если тот будет упорствовать в своем нынешнем отношении, от него потребуют отречения. Тем не менее, впервые услышав о том, что сделал его брат, он пришел в ужас и вместе со всем Дворцом осудил скандал. Сам он собирался заключить брак, который был в высшей степени «подходящим» во всех отношениях. Разве у Мохана нет чувства того, чего ожидают от человека в его положении? — Мы, — сказал он, — мы должны поддерживать определенные стандарты. Мы не должны позволять себе делать вещи, которые снижают наш престиж. В эти неспокойные времена толпа только и ждет возможности указать на нас пальцами. — И добавил: — В толпу, боюсь, я должен включить самого Акбара.

Следующие несколько месяцев выдались для Мохана нелегкими. Если раньше он чувствовал себя озадаченным и подавленным, то теперь обнаружил, что его трудности неизмеримо возросли. Все придворное мнение было против него, а его предполагаемое отречение ослабляло его авторитет. Он обсуждал свое положение с Гуру, но безрезультатно. Гуру почти нечего было сказать.

К тому же другая, более личная забота начала беспокоить его и вскоре заняла первое место в мыслях. Письма Дамаянти менялись по тону; в них звучала нота уныния, неуверенности и

даже упрека. Он тщетно пытался выяснить причину. Она либо не хотела, либо не могла рассказать ему.

Настал день, когда Гуру, сидя на циновке под ивой, вынужден был два часа кряду слушать, как Мохан шагает перед ним взад и вперед, сбивчиво говоря о замешательстве и горе. — Я не могу понять, в чем дело, — повторял он рефреном. — Кажется, что-то идет не так. Наконец, обессилев, он рухнул на землю и сказал: — Теперь я рассказал тебе все. Можешь ли ты мне помочь?

Гуру посмотрел ему прямо в глаза. — Да, думаю, могу.

— Так ради бога, сделай это!

— Я думаю, Дамаянти несчастна из-за своего отца.

— Конечно, несчастна. Я знаю это.

— Но более несчастна, чем ты себе представляешь. То, что чувствуешь глубже всего, труднее всего объяснить. Ожидаешь, что это угадают без слов. Показали ли твои письма ей, что ты понимаешь ее нынешнюю душевную агонию?

Мохан уставился на Гуру хмурым взглядом изумленного человека. — Душевная агония! В ее письмах нет ни намека на это. Разве наша любовь не является для нее счастьем — как и для меня?

— Да. Но она состоит не только из счастья — даже для тебя. Не думаешь ли ты, что мог произвести впечатление более беззаботного, более легкомысленного человека, чем есть на самом деле?

Мохан задумался над этим. Менее беззаботной жизни, чем его во Дворце в этот момент, по его мнению, нельзя было и представить.

— Ты описал ей свои собственные беды? — продолжал Гуру. — Сказал ли ты ей, что уже готовишься отречься от престола?

— Нет. Но…

— Твои письма были жизнерадостными? Любящими, несомненно, но жизнерадостными — даже веселыми?

— Что ж, естественно, я не хотел добавлять ей огорчений, зацикливаясь на своих собственных.

— Если ты не описал ни своих бед, ни показал, что должным образом ценишь ее страдания, — мягко ответил Гуру, — она вполне может неверно судить о тебе.

— И что же она должна думать?

— Что ты на самом деле не любишь ее.

— Боже правый! — воскликнул Мохан. И затем, спустя некоторое время, добавил: — Я действительно глупец!

Гуру улыбнулся. На мгновение он надеялся, что это окажется той самой возможностью высказать несколько вещей, которые он давно жаждал сказать. Но, как и всегда прежде, Мохан прервал разговор. Случалось неизменно одно и то же: когда они приближались к самой сути предмета, он либо переходил на легкомысленный тон, либо умолкал.

То, что он сделал теперь, — это объявил, что напишет Дамаянти немедленно; он напишет письмо, которое все исправит. С этим он вскочил на ноги, махнул рукой и исчез.

Письмо Мохана дошло до Дамаянти лишь несколько недель спустя, так как ее отец увез ее в Агру. Как только об этом плане было объявлено, она поняла, для чего был задуман этот визит. Целью отца было дать ей вкусить веселья и великолепия, от которых она собиралась отказаться. И он оказался достаточно умен, чтобы выбрать время, когда Акбар находился лагерем под Агрой, так что встреча могла состояться или не состояться, но при любом исходе у сплетников не было повода для пересудов. Сначала она оказала некоторое сопротивление. Ее испугало то, насколько искусно ее отцу удалось сохранить расположение Императора; временами она боялась, что его настойчивость и ловкость сломят ее волю. Но в конце концов она решила, что в этом вопросе должна уступить.

В течение последних месяцев память о Мохане стала немного тусклой. Само ежедневное присутствие отца лишало эту память реальности. Раджа стал почти частью ее самой, а мысль о том, чтобы навлечь на себя его гнев или отделиться от него, вызывала в ее уме поток детского страха. Этот страх придавал ее отцу значимость, которую она иногда путала со значимостью их любви друг к другу. В такие моменты она была несправедлива к любви между собой и Моханом просто потому, что та не была такой гнетущей и навязчивой, как любовь, связывавшая ее с Раджой.

Несколько дней в Агре оказались достаточными, чтобы вызвать у нее отвращение и разочарование. Дело было не в том, что там недоставало великолепия, или что ее приняли хуже, чем она ожидала, но атмосфера Императорского Двора была неприятной. Мужчины были приземлёнными людьми грубым и глупым образом; женщины скрывали свою приземленность чуть более тонко, но не прилагали особых усилий к тому, чтобы скрыть внутреннюю черствость своих сердец. Лучшее, что можно было сказать об Агре, — это то, что она представляла собой прекрасную арену; и, даже если бои были отвратительными, она все равно проверяла твой характер на прочность. Ее дух вступил в борьбу.

Затем однажды вечером она случайно услышала, как две женщины сплетничают о Мохане, и одна из них со смехом сказала другой, что он действительно отрекся от престола. Ее захлестнула волна дурноты; поспешно она отошла прочь.

Позже в своей комнате она исследовала боль, которую испытывала, и ее сложность сбивала ее с толку. Поступок Мохана показался ей преждевременным; он пробудил в ней чувства преданности и смятения, восхищения и гнева, мужества и страха. Большую часть ночи она пролежала без сна, то охваченная паническим чувством пойманности, то полная нежности к Мохану и стыда за свое малодушие.

На следующий день, когда она сидела одна в одной из своих парадных приемных, дверь открылась, и объявили приход Мохана.

Она замерла, глядя на него темными испуганными глазами, неспособная даже улыбнуться. Мохан улыбался, но его улыбка и непринужденная манера не обманули ее. Она увидела в его взгляде глубокую тревогу, робкую мольбу.

Сжав руки, она наконец встрепенулась и сделала несколько шагов вперед. — Мохан! Почему ты здесь? Тебе не следует быть здесь. Это небезопасно.

— Небезопасно? О, чепуха! — И он начал говорить об Акбаре шутливым тоном, но его голубые глаза, обычно такие безмятежные, были полны боли, и она знала, что он едва ли осознает, что говорит.

Они все еще стояли в нескольких футах друг от друга. Через это расстояние его глаза звали ее. Внезапно что-то внутри нее сдалось. Она бросилась к нему и оказалась в его объятиях.

Минуту или две они молчали, затем, вытерев глаза, она тихо рассмеялась и спросила: — Ты уже отрекся?

— Да.

— Зачем ты это сделал?

Он пожал плечами, слегка смущенный. — Думаю, пришло время.

Из ее груди вырвался вздох. — Мохан, мой любимый, — начала она, но осеклась.

— Я хочу прояснить свои отношения с Бходжем, — объяснил он. — Как ты знаешь, мы с ним расходимся во мнениях относительно того, как должно управляться Государство. Чем скорее он возьмет управление делами в свои руки, тем лучше будет для всех.

Она пытливо посмотрела ему в лицо. — Разве ты никогда не жалеешь…?

Он рассмеялся. — Нет.

— Значит, ты по-прежнему любишь меня?

— Люблю. — Он сделал паузу, которая бесконечно тронула ее, а затем добавил тихим голосом: — А ты? Еще не поздно, ты же знаешь…

— Я люблю тебя, — ответила она, и говорила она с абсолютной убежденностью.

Она думала: «Я осталась прежней, и он остался прежним, и наша любовь реальна. Все остальное, что я могу думать, — это слабость и заблуждение». Она вспомнила, как ей казалось в Киштваре, что они должны были знать друг друга в предыдущем воплощении. Сейчас она снова почувствовала это. Перед ней была любовь, истинность и важность которой она никогда не должна подвергать сомнению.

Перед уходом Мохан признал, что его визит в Агру был безрассудством, и пообещал, что в тот же вечер отправится обратно в Даулапур. Взгляд, который он бросил на нее, прощаясь, заставил ее повторить свои внутренние клятвы. Он был прямодушен и целеустремлен; он обладал качеством, которым она дорожила превыше всего остального.

VI

Посещение Дамаянти Агры закончилось вскоре после отъезда Мохана, но эти последние несколько дней были очень мучительными. Она была вынуждена вести всё ту же светскую жизнь — и с ещё меньшим удовольствием к ней — на глазах у отца, который не переставал следить за ней. Она никогда не входила в комнату без сознания того, что люди в ней говорили о ней, и что разговоры возобновятся после её ухода. Её отец и его друзья, как она знала, энергично отрицали слухи о том, что они встречались с Моханом, а их мотив был ей отвратителен. Она избежала встречи с Акбаром, но теперь почти желала, чтобы он послал за ней; ибо если бы встреча состоялась наедине, у неё могла быть возможность рассказать ему о своих чувствах. Она считала для себя предательством не объявить правду всему миру, но знала, что, сделав это, навлечёт гнев Акбара на своего отца, на себя и, не в последнюю очередь, на Мохана. Горько сожалела она о том, что не отказалась ехать в Агру.

По возвращении домой она собрала решимость прямо сказать отцу, что его замыслы бесполезны; она связана обещанием с Моханом и намерена выйти за него замуж. К её удивлению, раджа, казалось, смирился. С этого дня все упреки прекратились; он стал мягким и добрым, скрывая своё несчастье вместо того, чтобы выставлять его напоказ. Эта тактика имела эффект сделать её гораздо более несчастной, чем прежде. Её любовь к отцу, больше не находившаяся под давлением, поднялась во всей своей силе; её совесть, больше не подстегиваемая извне, порождала собственную боль.

В конце концов чистое сострадание взяло над ней верх; она пошла к отцу и сказала ему, что готова рассмотреть краткую отсрочку свадьбы. Раджа посмотрел на неё в полном молчании, и через минуту — сокрушённая выражением его лица — она выбежала из комнаты. Когда они встретились снова, о сказанном ею не упоминалось, но раджа стал другим человеком. Весёлость вернулась к нему; и иногда он строил планы на будущее, в которых её предполагаемый брак с Моханом полностью исключался.

Перемена в отце отразилась на всём дворе. Никто ничего не говорил напрямую, но повсюду она встречала тёплые, льстивые улыбки и одобрительные взгляды. Иногда ей казалось, что она действительно приняла благородное и жертвенное решение, но иногда — главным образом по ночам — её захлёстывала волна стыда и раскаяния. Тогда, после часов бессонного страдания, она начинала строить планы. «Они думают, что это первый шаг к капитуляции, и что мой брак с Моханом обречён. Но они ошибаются. Да! Они ошибаются». И со всей силой своего изобретательного ума она искала выход из своего затруднительного положения. Но ей всегда приходилось полагаться на судьбу. Быть может, умрёт Акбар. Быть может, умрёт её отец. Быть может, умрёт она сама. С неутомимым упорством она снова и снова повторяла одно и то же. Но никакого решения не находилось. Она не могла ничего найти, ничего спланировать, ничего решить — кроме того, что должна быть отсрочка её свадьбы. Следующей её задачей было уговорить Мохана согласиться на это.

Год ожидания подошёл к концу. В начале дня прекрасной осенней поры Мохан в сопровождении Гуру въехал в город Киштвар. Как и раньше, его проводили в Павильон на территории Дворца; и там он нашёл записку от Дамаянти, ожидавшую его. В ней говорилось, что она намеревалась быть в Павильоне, чтобы встретить его, но в последний момент её отцу стало плохо, и это помешало ей.

Мохан, горько разочарованный, пошёл в маленькую комнату, где впервые увидел её, и распахнул дверь. В его сердце теплилась фантастическая надежда вновь найти её там. Но комната была пуста. Он стоял в дверном проёме, размышляя. Прошёл год, и как многому он научился за этот год! «Быть может, — сказал он себе с грустью, — по-настоящему важные вещи в жизни познаются лишь под гнётом суровой необходимости».

Он всё ещё стоял там, когда услышал быстрые шаги позади себя и обернулся, увидев вбежавшую в комнату Дамаянти. Она остановилась, мгновение смотрела на него, затем спрятала лицо в ладонях. Он подошёл к ней, и они прижались друг к другу, пока она наконец, улыбаясь сквозь слезы, не сказала: «Я поняла, что не могу держаться подальше». А затем, отступив назад и пристально глядя ему в лицо, спросила: «Ты, когда я вошла... ты думал о прошлом годе и вспоминал?»

«Да. Я вспоминал».

«У тебя был печальный вид».

«Я чувствовал печаль».

«Мохан — почему?»

Он промолчал, а потом сказал: «Но мне уже не грустно».

Выражение боли промелькнуло на её лице, и он заметил это. Через мгновение она прошептала: «Тебе давно грустно?»

Собравшись с духом, он тихо сказал: «Твои письма тревожили меня. Я испытывал тревогу последние два месяца».

«Но что такого я написала, что встревожило тебя?»

Он отвёл взгляд. «Не знаю. Мне показалось, что ты не говоришь мне всего».

Наступила пауза. Дамаянти закусила губу. Наконец она сказала: «Мне здесь было нелегко. Но — давай не будем об этом. — Мохан! Я люблю тебя».

Она снова подошла к нему и положила голову ему на грудь. Он обнял её, но на его лице всё ещё лежала тень беспокойства, когда он спросил: «Дорогая, твой отец действительно болел в течение этих последних двух месяцев. И он правда болен сейчас?»

«Да, — ответила она. — Насколько я могу судить».

В её голос прокралась лёгкая жёсткость, но через минуту она вздохнула и сказала: «Я должна вернуться к нему. Но я не могу вынести расставания с тобой».

Мохан эхом повторил её вздох, и в этот момент в зале раздался голос Гуру.

«Кто это?» — спросила она.

«Гуру. Я привёз его с собой. Ты не против?»

«Конечно, не против. Я| знаю, что он твой самый большой друг. — Но... зачем ты его привёз?»

«Мне пришло в голову в последнюю минуту, что он — он мог бы помочь нам обоим».

Она долго и глубоко посмотрела на него и ничего не сказала. Они медленно двигались к двери, как вдруг она остановилась. «Послушай, Мохан!» — произнесла она тихим и настойчивым голосом и начала давать ему намёки относительно его встречи с её отцом, Вазиром и другими. Её намёки были полезны, но Мохан почувствовал холод. Он жаждал времени, когда они с ней будут свободны от подобных забот.

Они вошли в зал, который был пуст. «Заходи, познакомься с Гуру!» — сказал он, направляясь к двери на другой стороне.

Но она замешкалась. «О, Мохан, я нервничаю».

«Нервничаешь? Ерунда!» И он распахнул дверь, воскликнув: «Гуру, вот Дамаянти!»

Гуру, стоявший у окна, повернулся и медленно направился к ним. Он был не похож на человека, которого она ожидала увидеть, ибо, хотя Мохан много писал о нём, он никогда не описывал его внешность. Она представляла его себе крупным, внушительным человеком с развевающейся белой бородой. Этот маленький, худощавый мужчина со столь непритязательным видом совсем не походил на личность широкой известности. Вы бы не

подумали, что он способен привлекать к себе внимание за пределами собственной деревни.

Поприветствовав его так, как подобает приветствовать святого человека, она с откровенным любопытством заглянула ему в лицо, и в течение следующих нескольких минут, пока они разговаривали, у неё сложилось впечатление, что она нравится ему. Бросив взгляд на Мохана, она увидела улыбку на его лице, которая говорила: «Конечно, вы двое поладите друг с другом. Я всегда знал, что так и будет».

Несколько минут спустя, когда он снова остался один, Гуру вернулся к окну и задумчиво уставился на голубое озеро. На дальнем берегу его в косых лучах уже заходящего солнца сияла цепь заснеженных вершин. Это был прекрасный вид, но он смотрел на него невидящими глазами. «Она гораздо менее зрелая, чем я думал, — сказал он себе. — Её письма показывают лишь одну её сторону. — Бедное дитя!» И он вздохнул.

Вскоре после этого от раджи пришло сообщение. Он объявил, что будет достаточно здоров, чтобы принять своих гостей этим вечером за ужином — но только очень просто.

Через пару часов Мохана и Гуру провели в маленькую комнату, примыкающую к спальне раджи, и когда вошёл его хозяин, Мохан был поражён переменой в его внешности. Он тяжело опирался на руку слуги; его лицо было измождённым и бескровным; у него был блуждающий, смутный взгляд очень старого человека. Его приветствия были дружелюбными и достойными, но он производил впечатление поглощённого своими мыслями, и вскоре после ужина он сослался на усталость и удалился.

Один из его министров, Мирза Хан Шах, который был четвёртым за ужином, теперь повёл их вниз в комнату, где собрались Дамаянти и небольшая компания знатных особ. В ходе вечера Гуру стало ясно, что вскоре несколько этих джентльменов захотят встретиться с ним для личной беседы; и он мог догадаться, что они скажут. План действий был выработан; рука раджи чувствовалась в каждой мельчайшей детали.

Следующая неделя прошла гладко. Мохану и Дамаянти предоставили предостаточно времени побыть наедине, а тем временем министры раджи делали осторожные шаги навстречу Гуру. В эти дни последнему также была предоставлена возможность наблюдать за Дамаянти и её отцом вместе и самому увидеть, насколько крепка связывающая их связь. Но и это было ещё не всё. Ему позволили увидеть, сколь во многом раджа делегировал свои обязанности, какую значительную роль играла его дочь в управлении Государством.

Затем однажды днём он оказался сидящим на террасе Дворца наедине с раджой. Обстоятельства, которые свели их вместе без того, чтобы кто-либо находился в пределах слышимости, казались совершенно случайными, но внезапно он осознал, что наступил важный момент. Раджа говорил о своём проекте построить летний домик для Дамаянти на другой стороне озера; внезапно он оборвал себя, вздохнул и замолчал.

Спустя мгновение Гуру попытался завести другую тему, но ничего не вышло. «Мой друг, — перебил раджа, — зачем нам продолжать притворяться? Ты знаешь, что у меня на уме. Давай будем откровенны!» И с этими словами он кратко изложил множество веских доводов против предполагаемого брака — доводов, которые уже были представлены Гуру самыми влиятельными лицами в Государстве. Но у него было одно новое замечание. «Мне известно, — сказал он, — из уст самого Акбара, что если принц Мохан прислушается к голосу разума, то он, со своей стороны, не будет возражать против восстановления его в прежней должности Правителя Даулатпура».

Гуру, слушавший в молчании, которое, как было видно, было мучительным и невосприимчивым, не дал немедленного ответа, и, когда он наконец заговорил, его глаза были опущены. «Махараджа, — пробормотал он, — я не могу не признать правоту ваших слов. Приведённые вами соображения действительно весомы! Но...»

«Но что?» — резко бросил тот с ноткой нетерпения.

Гуру поднял глаза. «В течение этого года я убедился, что принц Мохан по-настоящему любит принцессу; а за последние две недели я отчётливо увидел, что она любит его. Я думаю, это было бы бедствием для них обоих, если брак не состоится».

«Это наверняка станет бедствием для них обоих, если он состоится».

«Внешне, да — возможно».

«Разве ты не становишься — сентиментальным?»

«Махараджа, я говорю о вещах духовных».

«Ты говоришь о двух молодых людях, неопытных и своенравных». Он прервался. «Но я не собираюсь спорить. Я хочу встретиться с тобой на твоей собственной почве. Я собираюсь убедить тебя, что любовь между моей дочерью и Моханом не позволит им жить вместе счастливо. Это вопрос темперамента». И он принялся объяснять свою позицию, показывая проницательность и житейскую мудрость.

Когда он закончил, Гуру снова серьёзно поднял на него глаза. «Махараджа, возможно, большая часть того, что вы предвидите, и сбудется. Но даже в этом случае каждый будет учиться у другого тому, чему не мог бы научить никто иной».

Раджа уставился на него, затем нахмурился и наконец сказал: «Возможно, но у человека есть обязанности перед другими, а не только перед самим собой. У моей дочери здесь есть долг и ответственность, которые нельзя игнорировать». И он вновь начал излагать своё дело. Но ненадолго, ибо быстро понял, что не продвигается ни на шаг. Вслед за этим он вздохнул и замолчал.

Наступила долгая пауза, во время которой он смотрел поверх лужайки глазами, в которых была глубокая усталость, глубокая меланхолия. Казалось, он погружается в безнадежность,

съёживается и стареет. Наконец, однако, сделав слабый жест покорности, он повернулся к Гуру со слабой, слегка насмешливой и совершенно жалкой улыбкой. «Мой друг, — тихо сказал он, — я старик, и здоровье моё не слишком хорошо. Моя жизнь, одним словом, стремительно близится к своему концу. Если Дамаянти покинет меня сейчас, мне придётся тяжело. Моё последнее слово вам таково: сделайте всё возможное, по крайней мере убедите принца Мохана позволить ей подождать».

Сказав это, он склонил голову. И теперь наступило молчание, которое с каждой секундой становилось всё более мучительным — ибо в нём продолжала отдаваться мольба раджи. И всё же Гуру не шевелился и не произносил ни слова.

Внезапно раджа отбросил свой веер и встал на ноги. Теперь все его движения обладали живостью юноши; именно бодрым шагом и прямой осанкой он вернулся во Дворец.

VII

Спустя мгновение Гуру вздохнул и медленно направился в сторону Павильона. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он прошёл мимо и спустился к озеру. Долгое время он смотрел поверх воды, наблюдая, как румянец заката угасает на заснеженных горах далёкого Кашмира.

Позже, проходя через зал, он заглянул в открытую дверь комнаты Мохана. На мгновение ему показалось, что там никого нет, затем он различил фигуру на диване в углу. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо отчётливо, но он был уверен, что это мог быть только Мохан, и остановился, сбитый с толку неподвижностью юноши.

Голос Мохана раздался наконец, но он был приглушённым и тусклым. «Входи!» — сказал он и добавил: «Пожалуйста, закрой дверь».

Гуру закрыл за собой дверь и подождал. Затем, поскольку от Мохана больше ничего не последовало, он сам нарушил молчание. «Я только что имел мучительный разговор с раджой. Он хотел, чтобы я убедил тебя согласиться на отсрочку вашей свадьбы. Я ответил, что не могу этого сделать».

Мохан произнес сдавленным голосом: «Дамаянти просила меня о том же самом».

Гуру поднял руку и снова уронил её со вздохом.

Через минуту Мохан коротко рассмеялся. «Всё это уже было подготовлено». Он помолчал, глубоко вздохнул и продолжил: «Ещё одна отсрочка! Нет!»

«Нет!» — тихо повторил Гуру; и затем, всё ещё стоя там, он опустил голову и подпер подбородок рукой.

«Сын мой, — сказал он наконец, — у меня есть вопрос к тебе. Разве ты, в глубине души, давно не боялся чего-то подобного? Разве ты не ожидал встретить здесь трудности? Я, во всяком случае, их ожидал. И мои опасения подтвердились в тот первый день, когда ты привёл Дамаянти ко мне повидаться со мной. За её счастьем по поводу твоего возвращения я видел страх и ужас».

«Я ожидал трудностей — да. Но не от неё».

«Не будь суров! Подумай, какое давление оказывалось на неё все эти месяцы! Здесь не было никого, кто мог бы помочь. И у неё было слишком много времени для размышлений — одиноких размышлений, которые часто заставляют терять связь со своим собственным сердцем. Голова работает сама по себе и не смеет слушать. Ты должен быть осторожен и терпелив».

Мохан резко сказал: «Ты говоришь так, будто совершенно уверен, что нам следует пожениться».

«Я не мог быть вполне уверен до встречи с Дамаянти. Но теперь я совершенно уверен».

Мохан поднял взгляд. Затем он сказал: «Что ж, теперь я не совсем уверен».

Гуру покачал головой. «Твоя гордость ополчилась против неё. Но она так же несчастна, как и ты».

За этими словами последовало молчание, затем Гуру продолжил: «Когда она попросила тебя отложить свадьбу, что ты ответил?»

«Я очень разозлился. Я отказался. Но я добавил, что если она хочет разорвать отношения окончательно...»

«А она?»

«Она ничего не сказала».

«Ничего?»

«Нет. Я не дал ей шанса. Я вышел из себя».

«И она всё равно ничего не сказала?»

«Нет. Она плакала. А потом я ушёл от неё».

Снова наступило молчание. Гуру подошёл и положил руку на плечо Мохана. «Я не думаю, что нанесён какой-то большой вред».

Юноша повернул лицо вверх, чтобы всмотреться в Гуру сквозь темноту. Он был явно озадачен, и какой-то вопрос формировался на его губах, когда дверь открылась и на пороге нерешительно застыл слуга.

«Да?» — нетерпеливо сказал Мохан.

«У меня записка для Вашего Высочества».

«Принеси её и принеси свет».

Как только он прочёл записку, Мохан взмахом руки отпустил слугу и повернулся к Гуру. «Это от Дамаянти. Она хочет, чтобы я пришёл к ней».

Гуру кивнул и улыбнулся. «Иди — и пусть небеса благословят тебя!»

Как только он появился, Дамаянти бросилась в его объятия с заверениями в любви и раскаянии; и Мохан был совершенно поражён. Он осыпал её бранью и упреками с такой яростью, которая с тех пор казалась ему, если не полностью непростительной, то во всяком случае неконтролируемой и жестокой. И вот она здесь, упрекает не его, а себя!

Сначала он лишился дара речи от восторга, затем начал защищать её от неё самой, и, наконец, принялся обвинять самого себя, в свою очередь, в эгоизме, недостатке воображения и — хуже всего! — в отвратительной склонности к недоверию. Вскоре Дамаянти начала улыбаться сквозь слёзы; но время от времени она печально качала головой, и спустя некоторое время, восстановив самообладание, она заставила его сесть рядом, положила руку на его руку и сказала: «Я хочу рассказать тебе — всё».

Это послужило началом долгого, трудного и печального изложения всего того, что было у неё на уме в последние несколько месяцев. Она говорила ясно и хорошо. Мохан видел, что она не хочет ничего скрывать; лишь когда ей приходилось говорить об отце, она колебалась, оставляя предложения незаконченными. Пока Мохан слушал, он понимал. То, что он увидел из её жизни за последнюю неделю, придавало вес её словам. Ситуация, какой она представлялась с её точки зрения, предстала перед ним в мучительно ясных очертаниях. Какое право он имел требовать таких великих жертв не только от неё, но и от её отца и от всего этого маленького мира? Глядя с несчастным смирением на себя и на жизнь, которую он мог ей предложить, ему показалось, что он был слеп. С ним её ждало суженное существование, меньшие интересы, сузившиеся возможности.

Со своей стороны, Дамаянти по мере речи укреплялась — и как нередко случалось с ней, немного увлеклась собственным красноречием. Но заметив грусть, которая опускалась на Мохана, она снова почувствовала укол презрения к себе. Её собственное дело казалось ей каким-то ничтожным; и кое-что в том, как она его представила, звучало не совсем правдиво. Не успев закончить всё, что собиралась сказать, она оборвала речь.

Наступила долгая и тоскливая пауза, в конце которой Мохан мёртвым голосом согласился на новую отсрочку свадьбы ещё на шесть месяцев. Дамаянти стоило большого труда не вскочить, не броситься ему на шею и не закричать: «Нет, нет! Я не могу, я не буду, я не прошу тебя об этом». Но в эти мучительные минуты она вспомнила свои слова отцу и

радость, с которой они были приняты. Поэтому она прикусила губу и отвернулась; и это голосом таким же безжизненным, как у Мохана, она сказала: «Прости меня! И не теряй веры в меня! Я никогда больше не попрошу ни о чём подобном».

На этом они расстались, но Дамаянти была далека от облегчения, которое рассчитывала найти. Она добилась своего — это правда; она получила шестимесячную передышку — шесть месяцев, чтобы склонить отца если не к безропотному принятию её брака, то хотя бы к состоянию покорности. Без сомнения, в прошлом она проявляла слабость, но впредь слабой не будет. Она заставит отца осознать, что он не может сломить её волю.

Она добилась своего, но меньше чем через полчаса после ухода Мохана она совершенно об этом не думала. Она думала о Мохане, о том, что происходит в его сознании. Минуту за минутой она всё полнее осознавала, что он должен чувствовать. Это было так, будто призрачные посланцы из Павильона прибывали и нашёптывали ей на ухо. Работу его смирения и его гордости — она чувствовала их, словно в собственном сердце. Она поняла также, что, соглашаясь на отсрочку, он соглашался на нечто большее. Он принёс жертву; он смирился с потерей её.

Эта последняя мысль, которая не давала ей спать ночью, наконец вызвала такие приступы жалости, любви и самообвинения, что она вскочила с постели в слепом порыве бежать в Павильон прямо сейчас. Затем, шагая взад-вперёд по своей комнате, она боролась за восстановление самоконтроля. «Я должна думать! — сказала она себе. — Моя задача — восстановить веру Мохана в меня. Как-нибудь это должно быть сделано». Но как? Она не могла нарушить своё слово отцу, потребовав немедленного брака, и не могла позволить Мохану уйти с чувством, что это конец.

Внезапно она подумала о Гуру. Ей нужно выложить ему всё дело целиком и получить его помощь.

Хотя за эти дни она очень мало видела Гуру, у неё сложилось впечатление, что он относится к ней дружелюбно. Она верила, что сможет убедить его. Однако, размышляла она, она не должна перегнуть палку и дать ему почувствовать, что её долг — навсегда остаться подле отца.

Неужели действительно возможно, что Гуру и Мохан приходят к этому выводу прямо сейчас? Что, если они готовятся уехать уже на следующий день? Когда в воображении она представила Мохана, скачущего вниз по долине в утреннем свете — уезжающего навсегда! оставляющего её здесь одну на всю оставшуюся жизнь! — кровь застыла в её жилах, ею овладела паника, и на несколько минут она лишилась всякой способности мыслить.

Затем её охватило недоумение. «Понимаю ли я саму себя вообще?? — удивилась она. — Разве я, возможно, вовсе не такой человек, каким себя считаю?» Она вспоминала, как за последний год часто представляла глубоко трогательную сцену, в которой убеждала Мохана, что их долг — разлучиться навеки. Глубокая и благородная скорбь того

воображаемого прощания, сколь малой реальностью оно обладало по сравнению с ледяным ужасом, который схватил её теперь!

Было раннее утро, роса всё ещё лежала на траве, когда она добралась до Павильона. Гуру ждал её, так как она заранее прислала записку. Он быстро подошёл к ней, как только она вошла в комнату, и, взглянув ей в лицо один раз, протянул обе руки. На глаза у неё навернулись слёзы, но она овладела собой и последовала за ним к дивану, где они сели.

Её намерением было сначала сказать мало — не больше того, что необходимо, чтобы выяснить, что он думает. Но в его реальном присутствии она почувствовала себя окутанной такой всеобъемлющей, сострадательной дружелюбностью, что из головы вылетели все её приготовления. Неожиданно она услышала собственный голос: «О, Гуру! Как вы думаете, что мне следует делать?»

Он слегка улыбнулся. «Если вы любите Мохана, выходите за него замуж».

«Сразу? Он настаивает, чтобы это произошло сразу?»

Гуру заколебался.

Она быстро сказала: «Он говорил с вами с нашей последней встречи, не так ли?»

«Да».

Из её груди вырвалось нечто похожее на рыдание. «Я думаю, я знаю, что он сказал. Он рассказал вам, что согласился на отсрочку — но чувствовал, что это конец — конец всему».

Гуру кивнул.

«И что вы сказали?»

«У меня не было времени что-либо сказать. Он пробыл со мной всего две минуты».

Она сделала долгий, трепетный вздох. «О, Гуру...! Что же мне делать?»

«Думаю, вам стоит обсудить всё с ним — чтобы выяснить, чего вы оба действительно хотите».

«Разве я не могу поговорить с вами сначала?»

«Да, конечно можете!»

Она задумалась, а он нарушил молчание, сказав: «Дитя моё, можем ли мы начать с того, что я задам тебе один-два вопроса? — Итак, прежде всего, действительно ли ты чувствуешь уверенность, что через шесть месяцев твоему отцу будет легче с тобой расстаться?»

«Да».

«Сам я не могу быть в этом уверен; но оставим это пока. Чувствуешь ли ты уверенность, что, в любом случае, тебе будет легче покинуть его?»

«Да, потому что я сделаю всё, что в моих силах».

«Снова, я не могу чувствовать уверенности в том, что ты не ошибаешься. Но оставим и это. Я хочу задать тебе ещё один вопрос — только один. Если бы Мохан стал настаивать, что брак должен состояться сейчас или никогда, что бы ты сделала?»

«Не знаю».

Гуру одарил её мягкой улыбкой. «Ты можешь доверять мне, дитя моё».

Слегка покраснев, Дамаянти сказала: «Думаю, я могла бы уступить. Я не верю, что это было бы правильно; но, вероятно, я бы так и поступила».

«Если бы ты так сделала, — решительно ответил Гуру, — это непременно привело бы к большому несчастью для вас обоих. Тебе не следует выходить замуж за Мохана сейчас — или вообще когда-либо — по какой-либо другой причине, кроме той, что ты этого хочешь. Иначе в глубине души, если не языком, ты будешь постоянно упрекать его в том, что он заставил тебя сделать то, чего ты не хотела. Те, кто делает то, чего не хочет, обычно заставляют других страдать от этого в долгосрочной перспективе, и во всяком случае они всегда чувствуют своё превосходство».

«Но в этом случае я чувствовала бы, что поступила неправильно».

«Тем не менее, что касается Мохана, ты бы чувствовала превосходство. Ты уступила бы ему скорее так, как слишком балующая мать уступает избалованному ребёнку. Всякий раз, когда жалость к отцу поднимется в твоём сердце, ты будешь испытывать соответствующую неприязнь или презрение к Мохану. И даже если тебе удастся превратить это в самообвинение, дела не станут лучше. Более того, Мохан увидит, что происходит в твоём сердце, и это причинит ему боль и вызовет гнев. Он справедливо почувствует, что поставил себя в положение моральной неполноценности. Нет, нет! Тебе никогда не следует выходить замуж за Мохана, если, приняв всё во внимание, именно этого ты сама, под свою ответственность и ради себя самой, хочешь и выбираешь».

«А если, — сказала Дамаянти после паузы, — если я откажусь от Мохана?»

«Если бы ты сделала это просто потому, что этого хотел твой отец, ты совершила бы ту же самую ошибку, и эгоизм твоего отца вечно стоял бы между вами. Некоторая часть его сознания постоянно была бы беспокойна оттого, что он использовал твою любовь к нему, чтобы испортить твою жизнь. И ты тоже поступила бы неправильно, ибо почти всегда неправильно относиться к другому как к человеку низшего сорта по сравнению с собой».

Дамаянти немного напряглась, и теперь она сказала: «Но люди различаются темпераментом и — и взглядами. Мой отец имеет право на собственную точку зрения».

«Не если она неверна. А если нет способа решить, чей взгляд лучше другого, зачем ты пришла ко мне за советом?»

Дамаянти промолчала.

«Дитя моё, разве ты никогда не слышала поговорку: „Святой человек и мы — одного рода“?» Эта поговорка выражает правильный взгляд на человеческую природу. Она подразумевает: во-первых, что существует лишь один нравственный закон, и во-вторых, что этот нравственный закон применим ко всем. Это очень важно. Ибо это означает, что неправда, будто есть некий высший сорт людей, к которым применяется один стандарт, и другой сорт людей, к которым применяется другой стандарт. Ты проявишь неуважение не только к своему отцу, но и поступишь согласно совершенно неверному взгляду на человечество, если не применишь к нему тот же высокий стандарт, который применяешь к себе».

Дамаянти пристально смотрела на Гуру, и выражение её лица показывало, что она не убеждена. После молчания она сказала: «Что ж! но, во всяком случае, Гуру, что вы хотите, чтобы я сделала?»

«Я не думаю, что тебе следует действовать самостоятельно — я имею в виду, основываясь на собственном суждении, — потому что ты не сможешь составить правильное суждение, не посоветовавшись с другими заинтересованными сторонами. Думаю, тебе следует посоветоваться с Моханом и отцом на условиях полного равенства и откровенности».

«Но, Гуру, я уже делала это».

«На условиях полного равенства и откровенности?»

Дамаянти заколебалась, а затем замолчала. Выражение её лица показывало, что она ищет какой-то другой подход. Наконец она сказала: «До сих пор мы говорили так, словно в мире есть только я, мой отец и Мохан. Но это не так. У нас у всех есть обязанности и перед другими людьми».

Гуру кивнул. «Это правда. Но я считаю, что личные вопросы стоят на первом месте. Или, вернее, делая свою личную жизнь удовлетворительной, человек автоматически делает удовлетворительной и свою общественную жизнь. Плохое состояние мира в целом, я думаю, во многом обусловлено тем фактом, что практически каждый высокопоставленный человек защищает то, что морально неправильно в его собственном конкретном образе жизни, на том основании, что каким-то образом эти конкретные условия способствуют общественному благу. Но я убеждён, что никакое реальное или долговечное благо человечеству не приносят те люди, которые рассуждают подобным образом. Поддерживая себя в положениях, в которых они обречены становиться всё более эгоистичными и обманывающими самих себя, они наносят прямой вред себе и косвенный вред всем остальным. Теперь это звучит как нападка на твоего отца и на тебя, — продолжал Гуру, наклоняясь вперёд и с улыбкой глядя в лицо слушательницы, — но, пожалуйста, не сердись

на меня! Уверяю тебя, я вовсе не хочу подразумевать, что твой отец — плохой правитель — насколько правители могут быть плохими».

Его голос был таким юмористическим и дружелюбным, что Дамаянти не могла не ответить улыбкой. «Я не совсем понимаю, — сказала она, — но хочу понять. Что ты находишь неправильного в условиях, в которых находятся мой отец и я...?»

Появление посланника из Дворца прервало её. Он вручил ей записку и удалился.

«Это от моего отца, — сказала она, подняв встревоженное лицо. — Он хочет видеть меня немедленно».

После минутного молчания они оба встали. Гуру проводил её вниз по ступеням Павильона, у подножия которых она остановилась и, стряхнув с себя задумчивость, сказала: «Могу я прийти повидаться с вами снова сегодня днём?»

«Пожалуйста!» — ответил он.

VIII

Сжимая в руке короткую, повелительную записку раджи, Дамаянти медленно двинулась в сторону Дворца. Она была уверена, что её отцу точно сообщили, в какой час она пошла к Павильону, и было вероятно, что он также знал, что её долгий разговор состоялся с Гуру.

Аудиенция оказалась примерно такой же мучительной, как она и ожидала, и когда через час она вышла из его комнаты, то чувствовала себя совершенно истощённой. Отец начал с упрёков и угроз, но они вскоре ослабли до жалоб, а в конце концов он впал в молчание беспомощного горя. Как обычно, сказала она себе горько, ему удалось воздействовать на неё не через одно чувство, а через множество. Страх — неразумный, тревожный страх, унаследованный от детских дней, — сумел самым странным образом смешаться с жалостью и любовью. Но вошло и много других чувств, породив огромное сложное волнение, которое заставило её сердце колотиться о рёбра, а разум — отказаться служить.

Она начала опасаться возобновления разговора с Гуру, ибо хотя ночью она воображала, что рисует свои отношения с отцом как нечто всецело прекрасное, теперь она видела, что это не будет честно. Но она цеплялась за мысль, что любовь между ними была прекрасна несмотря на изъяны. «Я не верю, — говорила она себе, — что любовь может быть поистине любовью, если она не похожа на нашу. Люди созданы такими; и всё остальное — чистая теория». Вспомнив слова Гуру, она боялась, что он окажется слишком академичным, слишком далёким от реальности, чтобы принести ей большую пользу. Он был проницателен, конечно, и добр; но тем не менее она содрогалась при мысли о том, чтобы говорить с ним об отце.

Соответственно, именно с умом, полным сомнений, она вернулась в Павильон. Как только она села, Гуру сказал: «Мохан заходил на несколько мгновений сегодня утром после того, как ты ушла. Он не задавал вопросов и очень мало говорил, но я видел, что его отношение не изменилось».

От этих слов её сердце упало. «Мне понадобится вся помощь, которую может дать Гуру», — подумала она. В её глазах была глубокая тревога, когда она спросила: «Он очень сердится на меня?»

«Не совсем сердится».

«И — вы тоже думаете, что у него есть для этого основания?»

Гуру улыбнулся ей. «Могу я немного поговорить с вами о вас?» И когда Дамаянти быстро кивнула в ответ, он продолжил: «Мохан, как вы знаете, очень скрытен, но за последний год он много говорил о вас и даже показал мне некоторые части ваших писем. Я был поражён зрелостью, которую они обнаружили. Кем, спросил я себя, должно было быть воспитание этой молодой женщины, чтобы сделать её настолько самодостаточной, настолько преждевременно готовой взять на себя руководство делами, настолько полной предвидения, настолько опытной в самоконтроле? Как только я прибыл сюда, я получил свой ответ, и это был тот ответ, которого я ожидал; но я продолжал изумляться, ведь ваше положение здесь ещё более необычно, чем я представлял, да и вы сами отличаетесь от образа, который я составил».

«Чем же я отличаюсь?» — заинтересовавшись, спросила Дамаянти.

Гуру рассмеялся. «Вы гораздо менее взрослая, чем можно предположить по вашим письмам. Часть вас остаётся поразительно детской».

«О?»

«И ситуация здесь более острая, чем я осознавал. День за днём моё уважение к вашему характеру росло не по дням, а по часам». Он помолчал, и теперь в его улыбке появилась доброжелательная насмешка. «Как вам удалось остаться столь неиспорченной?»

Дамаянти уставилась на него, тихо рассмеялась и быстро сказала: «Что вы имеете в виду? В каком смысле?»

Всё ещё улыбаясь, Гуру покачал головой. «Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Да стоит вам выехать за город, как крестьяне со всех полей бегут к вам, чтобы поцеловать ваши руки! Куда бы вы ни пошли, благословения призываются на вашу голову! По возвращении во Дворец министры толпятся вокруг вас с льстивыми просьбами о вашей помощи, вашем совете! А затем, ваш отец! Каждый день вы испытываете коварное удовольствие видеть, как раджа, человек большого ума и обаяния, превращается перед вами в ребёнка!»

«О, сейчас вы преувеличиваете». И Дамаянти выпрямилась. «Вы несправедливы».

«Правда? Вы уверены?»

И тогда, так как она ничего не ответила, он продолжил: «Я не могу отделаться от ощущения, что здешнее положение в Киштваре плохое — плохое для вашего отца, и для вас, и, в долгосрочной перспективе, для всех. И кем, спрашиваю я себя, стали бы вы теперь, если бы Мохан ушёл из вашей жизни? Вы наверняка требовали бы всё больше лести и власти. Чем ещё вы могли бы вознаградить себя за свою жертву? Чтобы сделать своё существование выносимым, чтобы подавить внутреннее презрение к себе, вам понадобилась бы любая ложная поддержка, какую вы только сможете найти. Вы прекрасно знаете, как и я, каким соблазном для женщины в вашем положении является идеализация себя и своей роли. Как вы можете не нести постоянно перед глазами лестную картину самой себя? Ваша тактичность и мягкость с требовательным отцом, ваша грация и обходительность принцессы, хватка и интеллект в делах государственных, ваша широта взглядов — вы скоро начнёте жить просто ради демонстрации этих качеств. А тем временем, что станет с вашей внутренней жизнью? Что станет с вашими частными отношениями с самой собой? Дитя моё, я не думаю, что вы сможете помешать своей внутренней жизни превратиться в бесконечную серию подавленных раздражений, притворных любезностей, расчётливых щедростей и вымученных восторгов. Вам несвойственен самообман, и глубоко в своём сердце вы будете знать, что являетесь маленькой полой оболочкой притворства».

Дамаянти слушала это с застывшим лицом. «Вы говорите о моём использовании терпения и такта в общении с отцом, — сухо сказала она. — Но если я их проявляю, то потому, что люблю его. Тот факт, что мы любим друг друга, кажется, вовсе не имеет для вас веса».

«Тогда я создал ложное впечатление, — ответил Гуру. — Истина в том, — и он заколебался, — истина в том, что я уклонялся от разговора об этом. Но можно мне?»

Дамаянти кивнула.

— То, что я узнал с тех пор, как приехал сюда, таково: ваша мать, которая умерла восемь лет назад, была очень нежной леди, очень покорной вашему отцу и большую часть своей жизни страдала недугом. Ваш отец никогда не мог предъявлять к ней никаких требований. Её хрупкость удерживала её в отдельном мире. В то время он был энергичным и усердным правителем. У него было хорошее здоровье, деятельный ум и светские таланты, которыми ему нравилось пользоваться. Когда ваша мать умерла, он сосредоточил свои привязанности на вас и смог установить отношения того рода, которых жаждала его слабая натура. Я имею в виду отношения, в которых каждая сторона является одновременно и господином, и подчинённым. С тех пор он постепенно превратился в вашего ребёнка, в вашего избалованного ребёнка. Он пренебрегал своими общественными обязанностями, ибо это льстило его праздности и его гордости за вас — видеть, как вы исполняете их вместо него. Он пренебрегал друзьями; ведь его отношения с вами были гораздо легче и коварнее приятнее. И, наконец, он прибегнул к мнимой болезни, чтобы ещё крепче привязать вас к себе.

— О, вы жестоки! Вы бесчеловечны! — воскликнула Дамаянти. — Во всём этом есть и другая сторона. Вы совершенно несправедливы.

— Я не чувствую себя бесчеловечным и не хочу быть несправедливым. — Тон Гуру был серьёзен. — Пожалуйста, постарайтесь не сердиться на меня.

— Гуру! — решительно возразила Дамаянти, — об этом нельзя спорить. Даже если допустить, что ваши слова о моём отце верны, это не помешает нам продолжать любить друг друга. Более того, если они верны, мне будет лишь жальче его.

Гуру целую минуту молча смотрел на неё. Затем он вздохнул и сказал: — Я не хочу, чтобы вы любили его меньше, а он — вас. Я говорю, что было бы хорошо, если бы каждый из вас любил другого больше; ибо тогда каждый из вас искал бы счастья другого.

— Но он ищет моего счастья.

— Он хочет, чтобы вы были счастливы — конечно. Но готов ли он искать ваше счастье — то есть помогать вам жить жизнью, в которой для вас будет возможно быть счастливой?

— Он думает, что для меня возможно быть счастливой при том, какие мы сейчас. И, возможно, он прав.

— Нет, он неправ. Вы взрослеете, и в вашу жизнь вошло нечто такое, что сделает невозможным продолжение того довольства тем видом счастья, которым вы до сих пор обходились. Ваш отец знает это. Он подошёл ко мне вчера по поводу вашей свадьбы, и мне не нужно было говорить с ним так, как я говорю с вами. Мои отмалчивания говорили за меня.

Он сделал паузу. Дамаянти, глядя прямо перед собой, не отвечала.

— В глубине души, — продолжал Гуру, — ваш отец знает. Он знает уже некоторое время, и с каждым днём всё лучше понимает, что вы с ним движетесь по неверному пути. Это главная причина его несчастья — ибо он глубоко несчастный человек.

Несколько мгновений после произнесения этих слов Дамаянти оставалась неподвижной, затем спрятала лицо в ладонях и разрыдалась.

IX

От Гуру донёсся тихий звук боли и сострадания; он встал, подошёл к окну и уставился через озеро. Затем, не оборачиваясь, он сказал: «Солнце как раз садится. Мне хочется спуститься к кромке воды. Вы пойдёте со мной?»

Дамаянти ничего не ответила.

Он вернулся к дивану и положил руку ей на плечо. «Моё дорогое дитя, — вкрадчиво сказал он. — Пойдёмте со мной! Мы сидели здесь слишком долго».

Через мгновение она вытерла глаза и встала. Они вышли через дверь веранды и спустились на небольшой мыс, вдававшийся в озеро. Солнце опускалось в золотую дымку; воздух был неподвижен, а на воде — ни ряби; пейзаж обладал красотой, которая казалась полной глубокой, но не безнадёжной меланхолии.

— Когда Мохан вошёл ко мне в комнату в полдень, он сказал, что собирается покататься под парусом. — Гуру поднял руку и указал. — Это должна быть его лодка, я думаю — та, что лежит в штиле у мыса.

Дамаянти посмотрела и прикусила губу; долгое время её взгляд оставался прикованным к лодке; затем, всё ещё молча, она отвернула голову.

Они немного отошли назад и сели под сосной.

— Если вы выслушаете меня ещё несколько минут, — мягко сказал Гуру, — я думаю, вы увидите, что я понимаю то, что вы чувствуете.

— Я сама едва ли знаю, — пробормотала она.

— Естественно, что нечто в вас должно восставать против меня.

Дамаянти одарила его долгим, задумчивым взглядом. — Я мыслю и чувствую двумя разными способами; и я не могу их соединить.

— Все мы мыслим и чувствуем двумя разными частями себя. Позвольте рассказать вам кое-что из моего собственного опыта. Человек, которого я любил больше всего в жизни, по воле случая оказался сестрой моей матери, поскольку мои собственные родители умерли, когда я был совсем юн. У неё не было детей, и она расточала свою любовь на меня. Но у неё был вспыльчивый характер, она была ревнива и полна мирских амбиций ради меня. Я любил её всем сердцем, но часто и часто в возрасте от восьми до восемнадцати лет я желал ей смерти. Временами меня терзали раскаяние и стыд — но не всерьёз, ибо что-то подсказывало мне, что моё желание было обратной стороной чего-то дозволенного — даже хорошего. Я уверен, что вы иногда желали смерти своему отцу.

— Желала.

— Такие желания — это грубая, неумелая, пока ещё неконструктивная составляющая стремления расшириться, объять будущее. Они проходят, когда рабство прошлому разрушено. — Но порой, — продолжил он после паузы, — у меня возникало и другое чувство — такое, которое, возможно, испытывали и вы. Определённый взгляд, или случайно брошенные слова, или незначительный акт доброты и смирения со стороны моей тёти имели (и имеют до сих пор, когда я об этом думаю) силу высвободить волну любви и

жалости настолько ошеломляющую, что сердце сжимается, и я говорю себе: «По сравнению с этим ничто другое не имеет значения». Вам знакомо это чувство?

Не в силах говорить, Дамаянти издала короткий, неуверенный смешок.

— Вот оно, человеческое сердце! — продолжил Гуру. — В нём есть страсть, сила, которая является нашей самой жизнью. Со мной очень и очень часто случалось так, что в течение одного часа я одновременно желал смерти своей тётке и жаждал умереть ради неё. Но когда моя страсть бушевала вот так свободно, я делал очень мало для того, чтобы сделать её счастливой. И точно так же, любя меня так, как она любила, моя тётка делала мало для содействия моему счастью. Лишь в последние два года нашей совместной жизни, после того как я внезапно осознал, что должен делать, наша любовь начала приносить счастье нам обоим.

— Сколько ей тогда было лет?

— Не меньше, чем вашему отцу.

Солнце уже село. С наступлением сумерек поднялся лёгкий ветерок, и Дамаянти вздрогнула. Ветер наполнил паруса лодки на озере. Она начала двигаться. Она медленно удалялась.

— Невообразимы, — сказал Гуру, — эмоции любви, жалости и раскаяния, которые поднимаются из глубин и несут тебя за собой. Есть определённые поступки моих — все они довольно мелкие и ничтожные — которые, даже спустя много лет, заставляют меня содрогаться всякий раз, когда я о них думаю. И, с другой стороны, определённые поступки, за которые, как я знаю, я должен испытывать великое и непреходящее раскаяние, вовсе на меня не действуют. Только сознательным усилием я способен пожалеть о том, что совершил те вещи — пожалеть о людях, которым причинил вред. Мне кажется совершенно очевидным, что у нас две совести: одна сильная и неразумная, другая разумная и, к сожалению, довольно слабая. Кроме того, дело не только во внезапных порывах чувств; обычное, повседневное ощущение собственной безупречности или вины в значительной степени управляется частью самого себя, находящейся вне разума или контроля. Многие годы я почти всё время страдал от крайне неприятного ощущения в центре тела, чувства, которое казалось наполовину физическим и наполовину умственным. На умственной стороне это было чувство тревоги, страха и вины. И я тщетно искал причину этого ощущения; я никогда не мог найти такую, которая удовлетворяла бы мой здравый смысл. Теперь то нечто в вас, что восстает против моих слов, — это не малая, незначительная часть вас самих; это большая, важная часть. Она сформировалась в самые ранние годы вашей жизни. Она наделена всей властью устоявшихся вещей и всей сентиментальностью, которая к ним прилипает. Я не прошу вас презирать или игнорировать эту часть себя. Я лишь прошу признать её тем, чем она является. Если посмотреть на неё со стороны и признать, что это не Высшая Власть, которой следует слепо повиноваться, вы сможете устроить свою жизнь так, чтобы сделать счастливее себя и других. Суть сводится к следующему: наши

эмоции не дают нам устойчивого руководства, и их приказы часто противоречат друг другу. Прямо сейчас, например, когда вы смотрели на парус Мохана на озере, эмоция побуждала вас в одном направлении; но если бы вы смотрели на парус вашего отца на озере, она побудила бы вас в противоположном.

Здесь Гуру умолк, и Дамаянти, подтянув колени к подбородку, продолжала хмуро смотреть на воду. Наконец она вздохнула, повернула голову и сказала: «Гуру, у меня нет ваших убеждений. Я вынуждена доверять своим эмоциям и инстинктам; и теперь, если я поступлю так, как вы считаете правильным, то это будет, вероятно, просто потому, что вы так считаете. А этого вам недостаточно. Этого мало».

Гуру рассмеялся. «Дорогое дитя, а чему еще могу довериться я или кто-либо другой, кроме как инстинкту? Разум не способен ни на что большее, кроме как распутывать наши инстинкты. И в конечном счете использовать разум для этой цели — это тоже всего лишь инстинкт. Но он кажется мудрым».

«Разум! — покачала головой Дамаянти. — Сейчас от него мне немного пользы. А мой главный инстинкт — подчиняться чувству долга. Целый год я страдаю от чувства вины и раскаяния. У меня совсем не осталось уверенности в себе. Мне нужны правила».

«Я очень хорошо это понимаю. И сейчас скажу вам, почему я тревожусь о том, чтобы вы не поддавались этим чувствам. Они во многом возникают из-за вашей усталости, и они подозрительны по другим причинам тоже. Я заметил, что те, кто делает упор на идеи долга и самопожертвования, обычно действуют из смешанных побуждений. Они упускают из виду приятное и преувеличивают неприятное в избранном ими пути во имя долга. Я подозрителен к долгу, потому что он стал ассоциироваться с повиновением правилам поведения, имеющим скорее социальную, нежели духовную санкцию. Долг, иными словами, часто служит предлогом для соблюдения буквы вместо духа закона. И люди часто принимают за удовлетворение от истинно праведного поступка удовлетворение от того, что они соответствуют общественному мнению и получают одобрение мира. К тому же те, кто мыслит категориями долга и любуется собой за его исполнение, тем самым подразумевают, что поступать неправильно всегда приятнее и выгоднее, чем правильно. Это представляется мне детски ошибочным взглядом на вселенную — и на человеческую природу. Ведь это была бы весьма убогая вселенная, в которой можно поступать правильно только ценой собственного счастья, и это был бы весьма убогий характер, который может находить удовольствие лишь в дурных поступках или в самодовольстве, проистекающем от мрачного, навязанного самому себе благочестия. Я не верю, что вселенная или человеческая природа действительно таковы».

«Но кто я такая, чтобы судить между буквой и духом? Вы просите у меня большей уверенности в себе, чем та, что у меня есть, Гуру. Не каждый обладает вашей убежденностью в том, что знает, как поступить правильно».

Гуру улыбнулся, и в его глазах блеснул злой огонек. «Мне кажется, я прошу вас быть чуть менее уверенной в себе. Мне хотелось бы, чтобы вы были меньше уверены в том, что ваш взгляд на вашу проблему верен, и что все, что вам нужно сделать — это заставить меня, Мохана и вашего отца делать то, что вы уже сами решили считать наилучшим. Мне хотелось бы, чтобы вы были меньше уверены в том, что знаете, что лучше, или даже в том, что действительно понимаете, чего хотите. Я хотел бы, чтобы вы гораздо меньше были уверены в том, что ваш прошлый образ жизни здесь с вашим отцом был хорошим. И мне хотелось бы, чтобы у вас не было никакой уверенности вовсе в вашей способности сделать его хорошим в будущем».

«Это кажется мне заходящим слишком далеко, — сказала Дамаянти.

— Почему бы мне хотя бы не научиться делать его хорошим?» «Потому что бесполезно пытаться перехитрить духовные законы, управляющие человечеством».

«Не думаю, что знаю, что вы имеете в виду под "духовными законами"».

«О да, дорогое дитя, знаете! Вы признаете их неявно каждый час дня. Все делают это. Ибо точно так же, как в материальном мире вещи происходят не как попало, но следуют определенным законам, так и в мире ума и духа проявляются определенные законы, и человек это чувствует. Но тогда как почти всякий ясно видит, что бесполезно пытаться перехитрить законы, управляющие материей (хотя некоторые немногие, конечно, пытаются сделать это с помощью магии), большинство из нас до сих пор лелеет первобытное представление о том, что мы можем перехитрить законы, властвующие над человеческим духом. В принципе мы признаем истину, но в любом конкретном случае склонны поддаться мысли, что с помощью некоторой изобретательности сможем свести духовные законы на нет. Мы делаем это вопреки принуждающей силе слов Будды, Иисуса Христа и всех великих учителей. Не говоря уже о нашем собственном многократно обновляемом опыте».

За этими словами Гуру последовало долгое молчание.

— Что ж! — внезапно сказала Дамаянти. — Я сделаю то, что вы считаете правильным.

Сумерки уже превратились в темноту. Гуру подался вперед, чтобы всмотреться в ее лицо. Через мгновение он вздохнул и положил руку на ее ладонь.

— Что мне сказать отцу? — спросила она тихим голосом.

— Думаю, вам следует рассказать ему все — все, что происходило у вас в голове до разговора со мной, почти все, что я сказал вам, и все, что вы думаете и чувствуете вследствие нашего разговора. Ваш отец — человек большой проницательности; он не сможет не понять вас, хотя может заявить обратное. Шоком для него станет не то, что вы скажете, а сам факт того, что вы это говорите. И вы, естественно, сделаете все возможное, чтобы смягчить его боль. Вы больше всего поможете ему, дорогое дитя, если позволите ему

увидеть вашу собственную боль. Позвольте ему увидеть всю вашу душевную смуту. В этом он увидит, как сильно вы его любите.

— Он мне не поверит! — и Дамаянти подавила рыдание.

— Вы не будете просить его верить во что-то такое, чего он не видит собственными глазами. Пусть он пожалеет вас.

— Он не пожалеет меня.

— Дитя мое, думаю, вы не имеете никакого права так плохо думать о Радже. В прошлом вы проявляли слишком большое самообладание, а ваш отец — слишком малое. Отбросьте всю гордость и позвольте ему увидеть в вас просто очень любящего и несчастного человека. Дайте ему шанс показать вам, что он способен на жалость — и на большее.

— Вы не учитываете его гнев.

— Лучшее средство от гнева — это жалость.

После паузы Дамаянти сказала: — Он захочет поспорить со мной.

— Конечно, захочет. И если он убедит вас в том, что прав он, а я ошибаюсь, тогда вы должны признать это — и еще раз обдумать все.

Дамаянти нетерпеливо шевельнулась. «Вы прекрасно знаете, что он не убедит меня. Но он заставит меня почувствовать, что я приношу в жертву его счастье ради своего».

— Ага! Тогда именно вам придется собрать все свои силы, чтобы сохранить верность законам духа. Боритесь с тем скептицизмом, пессимизмом и цинизмом, которые нападут на вас под личиной жалости. Сохраняйте ясным свое знание о том, что позиция вашего отца неверна, и что поскольку она неверна, и поскольку, уступив ему, вы поступили бы дурно, за этим неизбежно последуют несчастье и порча характера для вас обоих, если вы сдадитесь. Держитесь своей веры в человеческую природу! Поверьте в способность вашего отца взять себя в руки! Поверьте в него! Никогда не переставайте показывать ему, что вы верите в духовные законы, в человеческую природу и в Цель! И в конце концов между вами установятся хорошие отношения.

— Разве это не довольно высокомерная позиция по отношению к собственному отцу?

— Нет. Высокомерная позиция — это относиться к отцу так, будто он ниже вас.

Дамаянти промолчала.

— Простите меня, дитя мое, — продолжал Гуру, — если я предположу, что часть вашей трудности происходит из своего рода тщеславия. Тщеславие приковывает ваше внимание к отцу, оставляя при этом без внимания ваш собственный характер и счастье — а заодно,

кстати говоря, и Мохана. Разве нет чего-то подозрительного в этой мнимой самоустраненности?

— Да, я понимаю, что вы имеете в виду.

Гуру протянул руку, взял ее ладонь и тихо рассмеялся. «Позвольте сказать вам кое-что для вашего утешения. Выходя замуж за Мохана, вы вступаете отнюдь не на путь легкого счастья — никоим образом. Ваши беды, в некотором смысле, только начинаются».

— О! — Дамаянти в свою очередь тоже тихо рассмеялась. — И Мохана тоже, полагаю?

— В некотором смысле, да! — Что касается вас, вы откажетесь от многого весьма приятного. При нынешних обстоятельствах вы каждый день получаете восхищение, благодарность и одобрение — и малой ценой. Став женой Мохана, вы получите их очень мало. Кроме того, вы обменяете — а это самое сердце вопроса — вы обменяете отношения господства и подчинения на равные отношения; а равные отношения исследуют самые глубины сердца. Близкие и равные отношения требуют терпения, искренности и великих жертв гордостью. Ваша воля больше не сможет держать потайную комнату, из которой одиноко направлять ваши отношения с любимым человеком. — Нет! Вашей воле предстоит упражняться лишь в том, чтобы держать эту комнату открытой для него. Это внутреннее самопожертвование, которое есть смирение, вместо внешнего самопожертвования, которым является гордыня.

Сумерки теперь полностью сгустились, скрыв озеро. Луна еще не взошла, и звезды ярко сияли. С края воды, в полумиле отсюда, донесся звук спускаемого паруса, оклики людей и стук весел.

Дамаянти сказала тихим голосом: «Гуру, скажете ли вы Мохану...»

— Да. Если вы совершенно уверены?

Она встала, постояла, глядя в сторону озера, а затем ответила: «Я поступлю так, как вы сочтете наилучшим. Но как вы думаете, смогу ли я сделать Мохана счастливым?»

Гуру рассмеялся, и, вдруг развеселившись от собственной фразы, Дамаянти обернулась к нему, смеясь тоже. Однако ее смех звучал так, словно мог легко перейти в слезы. «Вы суровый учитель, — сказала она. — Я имею в виду: удастся ли нам быть счастливыми вместе? Вот что я хочу знать».

— Думаю, да. Во всяком случае, это тот риск, на который вам стоит пойти. Мохан нуждается в вас так же сильно, как вы нуждаетесь в нем. Вы дополняете друг друга.

Вместе они пошли вверх по тропинке от озера.

— Ну что ж! — вздохнула Дамаянти. — Если это будет неудачей, ответственность ляжет на вас.

— Разумеется! — Голос Гуру показал, что он следует течению собственных мыслей. — Но послушайте, дитя мое! Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Перед вами лежит тяжелое испытание. На протяжении многих лет вас будут время от времени одолевать жалость, раскаяние и долгая, болезненная, ноющая вина. Наступят времена, когда вы будете горько обвинять меня в своем сердце.

Он остановился и, взяв ее за плечо, заставил повернуть лицо к себе.

«О, Гуру, — воскликнула она, — разве нельзя найти какой-нибудь выход?»

Проведя рукой по лбу, он издал нечто вроде стона. «Нет. Потому что внутри вас есть часть, которая восстанет против этого нового образа мыслей. Она попытается наказать вас — и преуспеет. Избежать боли невозможно».

— Но в конце концов я возьму над ней верх?

Он кивнул. «В конце концов — да».

Они продолжали идти вверх по склону, и через минуту он снова заговорил. «Многие годы моей жизни мне снился повторяющийся сон. Я стоял на закате у темной глади воды, и кто-то тонул прямо у меня на глазах. Старая худая рука билась по воде; остальная часть утопающего уже скрылась под поверхностью. Я стоял на берегу неподвижно. Инстинкт броситься в воду был силен, но я знал, что утопающий должен утонуть, и что если я окажусь в пределах досягаемости той хватающей руки, я утону тоже. Меня удерживал, однако, не страх, а чувство, что у меня нет права прыгать в воду. Так я стоял неподвижно — и спустя некоторое время душевная агония всегда пробуждала меня.

Человеческий дух кажется мне разрываемым в двух противоположных направлениях. Тяга Прошлого направлена к повторению, застою и миру — миру верности традиции, повиновения авторитету, миру, который на самом деле есть упадок. Другая тяга направлена к тревоге и усилию — усилию постоянно отвергать букву закона и вновь утверждать дух. Это влечет за собой постоянную смерть, сопровождаемую постоянным возрождением. Необходимо иметь веру — веру в будущее».

X

Спустя неделю Мохан и Дамаянти поженились, и в тот же день они уехали из Киштвара. Маленький отряд выехал в середине солнечного дня, и когда Дамаянти повернулась в седле, чтобы помахать рукой отцу на повороте дороги, боль, которую она испытала, была почти невыносимой. Она была бы совершенно невыносимой без воспоминаний об одном-двух моментах, когда ей удалось пробудить жалость Раджи. В те моменты он произнес

слова, которые ей больше всего нужно было услышать. Он признался в знании того, что она действительно все еще любит его. Ярость и ревность, конечно, вскоре снова взяли верх, и он вновь удалился в ледяную, ироничную невозмутимость; но в эти немногие искупительные мгновения истина была признана, и ее уже никогда нельзя будет полностью скрыть. К ее удивлению, как только Киштвар остался позади, она впала в своего рода покой. И день за днем, пока они с Моханом ехали вместе в прохладном солнечном свете холмов, этот покой возобновлялся заново. Страдания, через которые они оба только что прошли, свели их на уровень взаимопонимания, которого они никогда не достигали прежде. Теперь у нее был спутник, с которым она могла делиться всеми своими мыслями; теперь наконец-то она открывала свое сердце другому человеческому существу без всяких оговорок. Это был новый опыт. «Полагаю, — сказала она себе, — этого Гуру хотел для меня. Полагаю, это он и имел в виду под равными отношениями. И он был прав». Через несколько дней они расстались с Гуру, который сворачивал в сторону, чтобы навестить старого друга, живущего в одиночестве отшельником-риши на одиноком горном склоне. Их собственным пунктом назначения был Летний дворец, куда они намеревались отправиться напрямую — не останавливаясь по пути в Даулатпуре. Дамаянти, во всяком случае, совсем не торопилась знакомиться с Бходжем и Лакшми. Чего она хотела, исключая все остальное, так это остаться наедине с Моханом, прожить ту жизнь, которую они спланировали для себя, свободную жизнь, незапятнанную миром. Три недели спустя они добрались до конца своего путешествия, и в тот момент, когда ее глаза упали на красивый, простой, старый дом, которому предстояло стать ее домом, она была полна восторга. Его атмосфера была благостной; казалось, он обещает ей, что ее существование здесь будет именно таким, каким она надеялась. И вот потекли дни. Мохан рассказал ей очень мало о своем отречении, и еще меньше о Бходже и Лакшми, хотя любопытство у нее было. Однажды или дважды во время пути, когда он уезжал охотиться на горалов по склонам гор, она расспрашивала Гуру, и тот, присутствовавший при том, как представитель Акбара, Бозар-хан, устраивал отречение, смог дать ей описание сцены. «Нас было пятеро за столом переговоров: Бходж, Мохан, Бозар-хан, Моти Сингх (очень влиятельный человек в Государстве) и я. Вскоре выяснилось, что указания Акбара были продиктованы духом мстительности. Мохана следовало лишить всего: чести, привилегий, денег — всего. И лишь однажды Мохан высказал возражение. Казалось, он — да так оно и было — уделял происходящему очень мало внимания. Моти Сингх смотрел свысока и молчал. Я тоже ничего не сказал. Предоставить собранию вид чего-то большего, чем формальность, выпало на долю Бходжа, и время от времени он вмешивался в защиту брата. Но никогда — с каким-либо результатом. Что ж, когда со всем этим было покончено, Мохан удалился в Летний дворец, который был передан ему вместе с участком земли, включавшим около десяти деревень. Он просил больший участок земли, но его просьбу отклонили; и в этом вопросе — единственном, по которому он подал голос, — Бходж не оказал ему существенной поддержки. Компромисс был достигнут тем, что ему позволили владеть большим, но бесплодным плато Лаку». — Все это для меня ново, — ответила Дамаянти и добавила со смехом: — Вы заметили, какой Молхан невероятно неразговорчивый — по

крайней мере, в важных вопросах? — Думаю, это часть его характера. Во всяком случае, он очаровательный собеседник. — Но разве нельзя быть и тем, и другим? — Ну а теперь расскажите мне что-нибудь о Бходже и Лакшми. Они будут добры ко мне? — Да. Без сомнения. — Расскажите мне о них немного. — Они будут очень дружелюбны, — повторил Гуру с улыбкой. — И во всяком случае, вам не придется часто их видеть. Примерно через три месяца после прибытия Мохана и Дамаянти в Летний дворец Гуру получил приглашение нанести им визит. Это был прекрасный, безветренный день, когда он подъехал к дому. Оставив лошадь на попечение Мукунда, он поднялся по ступеням и через зал направился к веранде, где, как ему сказали, находились его хозяин и хозяйка. Подходя к ней, он услышал их разговор, и никогда еще он не слышал более счастливых голосов. Они звучали беспечной самоуверенностью, которая свидетельствовала не только о нынешнем счастье, но и о полной вере в будущее. Когда несколькими мгновениями позже он появился, Мохан издал приветственный крик и вскочил на ноги. И следующие полчаса трое беседовали вместе со всем восторженным удовольствием тех, кто слишком долго был разлучен. Мохан выглядел превосходно, но то не было большой переменой; с другой стороны, перемена во внешности Дамаянти была поразительной. В Киштваре блеск ее юности был приглушен. Целенаправленное выражение лица, неподобающее ее годам, скрывало его. Теперь Гуру впервые увидел ее лицо во всей его природной мягкости. Когда через некоторое время Мохан ушел внутрь дома поговорить со своим старостой, она на мгновение замолчала, затем обратила на гостя взгляд, одновременно сияющий и глубокий. «Все это, — сказала она — и он знал, на что она ссылается, — всем этим я обязана вам». Лишь когда они втроем снова сидели вечером на террасе, всплыло имя Раджи. Дамаянти месяц назад написала отцу письмо, сообщив, что ждет ребенка, и ответ прибыл только что. «Это самое приятное письмо, которое я получала!» — сказала она. «Но все его письма приятны. Я хочу, чтобы вы знали это, Гуру». Эти слова были сказаны слегка запыхавшись, и Гуру хотел бы увидеть ее лицо; но луна была позади нее. На следующий день Мохан предложил, чтобы он и Гуру осмотрели некоторые из деревень в его поместьи. Они отправились верхом вместе в свежести раннего утра, и Мохан сразу же начал говорить о своих планах. На пути вниз из Киштвара молодая пара провела много часов, обсуждая с Гуру эти самые планы, чему тот был рад видеть, насколько полно Дамаянти разделяет интересы и увлечения своего мужа. Но ни разу с момента его прибытия в Летний дворец она не возвращалась к старым темам. «Надеюсь, — сказал сейчас Гуру со смехом, — что Дамаянти не позволит дому и младенцам поглотить ее целиком. Вы не должны этого допускать». Мохан ответил в той же небрежной манере и тут же перешел к чему-то другому. Так что Гуру был вынужден оставить эту тему, но думал, не без беспокойства, что Дамаянти нужен этот интерес как выход для ее обильной энергии, и что Мохану, столь же определенно, нужна ее помощь. Память перенесла его к нескольким случаям, когда, будучи тронутым каким-нибудь зрелищем человеческой нужды и горя или приведенным в ярость, возможно, казуистическим аргументом Бходжа, Мохан спешил в долину с поспешно набросанным проектом реформы. Каждый раз, когда это случалось, он наполнялся надеждой, что наконец-то последует надлежащий разговор — что это может

стать отправной точкой для настоящего исследования затронутых проблем. Но его всегда ждало разочарование. Каким бы серьезным тоном ни начинал Мохан, врожденная неприязнь к исследованию глубин вещей вскоре заставляла его свернуть в легкомыслие. Глубоко скрыты корни этой неприязни, которая проистекала не из обычной лени, а из какого-то более сложного инстинкта. Ведь он всегда был готов прилагать большие усилия к несущественному; нечто в нем противилось лишь тогда, когда его призывали добраться до сути предмета. Фермы, которые они посетили теперь, представляли собой приятное зрелище процветания, но к концу объезда Гуру хорошо понял, что это произошло благодаря потраченным на них деньгам. Что произойдет, когда поток денег (который, несомненно, не мог продолжаться такими темпами) уменьшится? По возвращении они нашли Дамаянти в зале, и Мохан провел всех в комнату, которую превратил в кабинет. «У меня есть кое-что показать вам! — объявил он, и с мальчишеским видом таинственности распахнул дверь. На стене висела огромная карта поместья. Это было забавное и декоративное изделие, на котором каждая деревня, каждая дорога — можно сказать, каждая коровья тропа и каждое дерево — были начертаны его собственной рукой. Использовалось множество цветов, каждый из которых, как объяснил Мохан, имел особое значение. Пока молодой человек разъяснял способы использования этой карты, Гуру воздерживался от взгляда в сторону Дамаянти.

На следующий день, уезжая из Летнего дворца верхом, он пребывал в задумчивом и беспокойном расположении духа. Он думал о том, что если Дамаянти знала, что для них обоих это время праздников (вполне законное после напряжения и стресса прошлого года), то у Мохана такого понимания вещей не было. Если он играл в работу, то оставался менее чем наполовину осознающим это; а Дамаянти, будучи по темпераменту неспособной подходить к любой задаче, какой бы тривиальной она ни была, таким образом, предоставила его самому себе. В конце концов, рассуждала она, вероятно, нужно расслабляться тем способом, который естественен для тебя самой. Ее собственным увлечением был сад, которым в последнее время пренебрегали. Прошло несколько месяцев, за которые Гуру узнал лишь то, что Дамаянти посетила Даулатпур, и что Бходж и Лакшми от нее в восторге. Это было правдой. Немного к своему удивлению и гораздо большему удовлетворению Дамаянти обнаружила, что они с Лакшми понравились друг другу. Лакшми восхищала ее живость ума, жизненная сила и очаровательная внешность, тогда как Дамаянти со своей стороны открыла в хозяйке одну из самых приятных женщин, которых когда-либо встречала. Дворец тоже доставлял удовольствия, которых совершенно не хватало в сельской местности — прежде всего, дамское общество. Когда приблизилось время рождения ребенка, она уступила уговорам Лакшми, чтобы они с Моханом перебрались во Дворец. Последний отнюдь не возражал. Он считал вполне естественным, что ей захочется иметь рядом подруг-женщин; кроме того, он и Бходж ладили между собой лучше, чем когда-либо прежде. Он никогда не входил во Дворец, не поздравив себя самого с отречением. Условности и формальности, которые были так ненавистны ему, когда он находился в центре их, теперь вызывали в нем лишь слегка презрительное веселье. Он

высмеивал дворцовую рутину перед Бходжем; и когда Бходж отвечал тем же, подшучивая над его образом жизни, Мохан был весьма далек от обиды. С Лакшми у него были легкие и ласковые отношения, скрывавшие полное отсутствие близости или даже интереса. После рождения Савитри пара вернулась в Летний дворец, и там внешне возобновилась прежняя жизнь. Но внутренне кое-что менялось. Их любовь друг к другу возрастала в страсти; и, возрастая, она становилась менее гладкой. Если их страсть приносила им экстазы, она также приносила дикие приступы гнева и отчаяния. Все чаще у них случались недопонимания и примирения; безмятежные дни, наступившие неожиданно, столь же неожиданно подошли к концу. Савитри была радостью для них обоих, но довольно часто именно из-за нее они ссорились. Иногда они ссорились и из-за работы на фермах. У Дамаянти было куда больше энергии, чем можно было потратить только на ребенка, дом и сад; но ее попытки помочь Мохану в его работе были немногочисленны и недолги.

Да Мохан и не хотел ее помощи. Он начал испытывать очень сильное беспокойство относительно своего предприятия в целом; и страх неудачи делал его скрытным и упрямым. Когда Дамаянти предлагала взять на себя часть его работы, он уклонялся, а ее предложения, зачастую хорошие, всегда раздражали его. Он просыпался утром с чувством разочарования, которое в течение дня перерастало в раздражительность.

По молчаливому согласию они воздерживались от обращения за советом к Гуру, и когда тот сам предлагал нанести визит, они находили какой-нибудь предлог, чтобы отложить его. Мохан не стал бы возражать против совета по какому-то одному конкретному пункту, но у него было тревожное подозрение, что на этот раз ему будет очень трудно заставить Гуру остановиться на этом. Гуру, вероятно, скажет ему, что что-то не так во всем его восприятии стоящих перед ним проблем.

Со своей стороны, Дамаянти неохотно приглашала Гуру потому, что в ее жизни с Моханом были определенные аспекты, которые она не хотела ему показывать. В частности, она помнила, как он говорил ей, что она должна быть готова к приступам раскаяния. Что ж, месяцами она чудесным образом была свободна от таких чувств: несомненно, ожидаемое появление Савитри помогло ей; но теперь, сопутствуя ее более бурным отношениям с Моханом (была ли она причиной или следствием, она не могла сказать), несчастливые мысли об отце начали ее преследовать. Со времени рождения ребенка тон писем Раджи изменился; они были полны горечи и упреков. Они также стали гораздо более частыми. Вскоре Мохан заметил это, и заметил также, какое тревожное действие они оказывают на нее. Несомненно, он следил за этими симптомами со скрытым, и лишь полусознательным беспокойством с момента их женитьбы. Прошло много времени, прежде чем он смог заставить себя заговорить о них с ней. Несколько недель он не делал ничего большего, кроме как кружил вокруг пугающей темы, небрежно затрагивая тему писем Раджи и тут же быстро бросая ее снова. Но однажды утром он сказал: «Полагаю, ваш отец считает, что вам пора навестить его?» И когда Дамаянти неловко ответила «да», он продолжил: «Что ж,

почему бы вам не поехать? Разве вы не помните, что мы договорились, что вы будете время от времени ездить в Киштвар? Я думаю, вам следует поехать».

На лице Дамаянти появилось выражение огромного облегчения. «О, Мохан! — воскликнула она, — ты уверен, что не возражаешь?»

В следующее мгновение она пришла в ярость на саму себя; она бы отдала все, чтобы сказать это иначе, но вред был нанесен. Она увидела, как помрачнело лицо Мохана. «Конечно, я не возражаю. Тебе следовало заговорить об этом давно».

Это было не началом ссоры; это было началом чего-то худшего — периода, когда ссоры уже не приносили облегчения напряжения. С извращенным упорством Мохан стал призывать Дамаянти признаться, что она уже долгое время страдает от чувства раскаяния и вины, и, когда она признала, что так оно и есть, он принялся утверждать, что ее чувства неоправданны. На это она никогда не соглашалась.

День накануне отъезда был особенно мучительным. Мохану было стыдно за свою прошлую сварливость, и он тревожился о том, как загладить вину. Со своей стороны, Дамаянти чувствовала вину за то, что испытывала вину, и пыталась (не очень мудро) скрыть свои истинные чувства под маской ласковой веселости. По мере того как час расставания приближался и приближался, оба отчаянно пытались пробиться сквозь барьер искусственности, стоявший между ними. И по видимости им это удалось. Но оба знали, что место спонтанности занимает воля. И хотя оба также знали, что под сфабрикованной внешностью кроется подлинное чувство, этот разрыв между видимостью и реальностью был губителен. А сам момент расставания наполнился тупым отчаянием.

Расставание произошло на большой дороге к Агре. Мохан стоял посреди дороги, махая рукой вслед, пока карета Дамаянти почти не скрылась вдали; затем внезапно его лицо полностью изменилось. Оно стало тусклым, безжизненным, почти угрюмым.

Оглядевшись, чтобы убедиться, что он совершенно один, он сел у обочины и погрузился в раздумья. Солнце скрылось в пыльной дымке, но он прикинул, что до конца дня осталось еще несколько часов. Было время посетить Тилкат, деревню, лежавшую не более чем в паре миль от его пути домой. Он только что говорил Дамаянти, что собирается осмотреть ее, и она горячо одобрила это.

Через несколько минут он заставил себя встать и поехать верхом. В его уме, притупленном несчастьем, мелькали незаконченные мысли. Он пытался не думать о Дамаянти, но ее образ вставал перед ним на каждом повороте. Он вовсе не предвкушал встречи со старостой Тилката, который находился вне досягаемости его ежедневных поездок. Эти более отдаленные деревни представляли собой, как правило, совсем иное зрелище, нежели остальные. Дамаянти знала это. Каково же ее настоящее мнение о нем теперь? Неужели она уже потеряла всю веру в него?

Проведя час за осмотром земель вокруг Тилкада, Мохан поехал дальше в настроении чернее прежнего. Он чувствовал себя действительно очень близким к отчаянию. Внезапная убежденность в прошлой, настоящей и будущей неудаче овладела им, и в этой темной, душной туче исчезло все, что ему дорого — включая саму Дамаянти. Его мысли вернулись к его последнему прибытию в Киштвар, когда, разочарованный тем, что она не вышла встретить его, он испытал предчувствие горя, сопровождавшееся мыслью: «Только под страшным принуждением человек узнает то, что ему больше всего нужно знать».

Не вынося перспективы провести вечер в одиночестве, он повернул в сторону Даулатпура. Во Дворце он наверняка найдет приятное общество за ужином, а следом наступит приятный вечер. Пусть он и неудачник, но уметь быть приятным во всяком случае в его компетенции. Скоро все будут смеяться над его рассказом о беседе со старостой Тилкада.

И все прошло именно так, как он предвидел, вот только, когда вечер уже близился к концу, дела пошли не так. Речь зашла о растущих претензиях крестьянства при поощрении Акбара; и тут кто-то процитировал замечание Дамаянти, и все, включая его самого, рассмеялись, ибо ее реплика была остроумно построена. Но капля яда упала ему на сердце. Хотя ему доставляло удовольствие высмеивать самого себя, ему не доставило удовольствия подумать, что Дамаянти в этой же компании иногда посмеивается над ним. «Боже, помоги нам!» — сказал он про себя. «Вот до чего мы дошли, она и я!»

Когда все ушли и он собирался подняться наверх, он заметил, что вошел Моти Сингх, и на мгновение задумался, почему. Затем он вспомнил, что перед ужином обратился к Бходжу с просьбой о еще пятидесяти золотых мухрах, объяснив, что два-три беспечных села остались без всякого проса для следующего посева. Он делал такие запросы и раньше, и всегда при полном отсутствии смущения. Бходж тоже всегда охотно соглашался. Заметно было, впрочем, что его просьбы о деньгах были на самом деле источником удовлетворения для Бходжа.

— Ваше Высочество, — сказал Моти Сингх, — будет ли удобно, если... — И он извлек мешочек с золотыми монетами из рукава.

— Деньги? Спасибо. Положите их вон там, хорошо? — Он размышлял о том, что хотя манеры Моти Сингха нельзя назвать более бесцветными, этот человек не может упомянуть деньги, не создав впечатления, будто чувствует себя на зыбкой почве.

Моти Сингх положил мешок на стол, и минуту двое обменивались вежливыми банальностями. Мохан ждал, когда он уйдет, но Моти Сингх медлил и вскоре достал небольшую стопку бумаг, которые протянул Мохану с извиняющейся улыбкой. — Если Вашему Высочеству угодно будет проверить эти бумаги и подписать их...

— Что? — спросил Мохан, брезгливо хмурясь на бумаги. — Что это такое?

— Расписки, — объяснил Моти Сингх, по-прежнему гладко улыбаясь. — Я не беспокоил Ваше Высочество прежде; но год подходит к концу, и необходимо...

— О, конечно! — И Мохан сел, обмакнул перо в чернильницу и начал подписывать. Он тайно изумился тому, сколько денег было выплачено ему за последний год.

Тем временем Моти Сингх продолжал говорить. Он качал головой по поводу беспечности бедняков, выражал восхищение терпением и щедростью Мохана; и заверил его, что ему нечего бояться слишком большого обременения казны Раджи, потому что существуют тысяча и один способ покрыть эти маленькие выплаты.

Мохан не дал ответа; и как только он закончил, Моти Сингх удалился.

Бледный от ярости, Мохан ходил взад-вперед по комнате. Он знал, что Моти Сингх насмехался над ним. Да, у Моти Сингха была тысяча и один способ извлечь из какого-нибудь другого слоя общества то, что он, Мохан, отдавал тем, кто находился под его особым покровительством. Этот способ раздавать милостыню был слишком прост! Кроме того, его целью была не благотворительность, а справедливость. Он дурак. Не один лишь Моти Сингх — все смеялись над ним. Работа всей его жизни вовсе не работа, а игра — хобби богача! А больнее всего ему было думать, что сама Дамаянти, вероятно, тоже не слепа к этому.

Голос Бходжа вырвал его из рассеянных размышлений. «Мохан! Я думал, ты ушел спать». На его плечо легла ласковая рука. «Ты выглядишь усталым. Ты слишком много работаешь».

Злого умысла не было, но Мохан внутренне содрогнулся и, поняв, что брат надеется на один из их долгих, безрезультатных разговоров о вопросе социальных реформ, резко отвернулся.

Он не мог, он не стал бы слушать Бходжа сегодня вечером. С мягким, неустанным упорством Бходж будет объяснять, что деньги не приносят «счастья», что бедняки не умеют пользоваться деньгами, что досуг им тоже ни к чему, что если обогатить их, они вскоре снова станут бедными, что это не просто привилегия, но долг избранных немногих сохранять культуру, прелести жизни, которые воплощены исключительно в них самих, и, наконец, что подобно тому, как Провидение предопределило существование умных людей и глупых, трудолюбивых и ленивых, так уж заложено в природе вещей, что должны быть князья и нищие.

Но не этим вечером, нет! Он развернулся к слегка обескураженному Бходжу и сказал: «Да, я устал. Я иду спать».

На мгновение двое посмотрели друг на друга. «Вот он, — подумал Мохан, — исполненный достоинства, скромный и самодовольный, исполняющий обязанности своего высокого сана! А вот я, занимающийся переустройством мира! Пара шутов — ничего более!»

XI

Более часа после расставания с Моханом Дамаянти беззвучно плакала в уединении своей занавешенной кареты. Мысль о том, что он скачет обратно в Летний дворец один, преследовала и терзала ее. Ей стоило огромных усилий сдержаться и не развернуть экипаж, чтобы поспешить домой снова. «Я люблю его, — думала она, — и любить вот так — ужасно».

Так что ее путешествие было несчастливым, и в Киштвар она прибыла с душой, все еще занятой печальными мыслями. Это ей пришлось скрывать от отца. Она хотела казаться обрадованной приездом; но вместе с тем чувствовала, что обязана перед Моханом создать впечатление, будто ее замужняя жизнь счастлива и безмятежна. Трудно было выдержать именно верную ноту, ведь отец был не только проницателен, но и обидчив. Он быстро решит, что она выставляет напоказ свое счастье перед ним. «Как невозможно, — горько размышляла она, — быть естественной! Чтобы тебя не поняли превратно, приходится постоянно играть роль».

Раджа выглядел моложе, чем когда она покидала его; на нем не было следов недомогания, на которое он жаловался в своих письмах. Его манеры были ласковы, но время от времени подземная горечь прорывалась наружу. Он находил множество мелких способов показать ей, что она потеряла то место, которое некогда занимала в его сердце, но при этом не давая ей почувствовать, что он хоть сколько-нибудь меньше обижается на ее уход от него, или даже что он смирился с этим.

Каждый день, пока он отдыхал во время сиесты, она лежала на своем диване, думая о Мохане. В том, что он несчастен, она не сомневалась ни минуты. Она прекрасно понимала, что его терзает мысль о том, что часть ее удерживается от него. Он считал ее связанной злыми чарами; а ее отказ признать это зло злым приводил его в ярость. Временами она задавалась вопросом, не может ли он оказаться прав.

Оглядываясь на период своей замужней жизни, она видела, что счастье первых месяцев убаюкало ее ложным чувством безопасности. Она также чувствовала, что каким-то образом пренебрегала Моханом. Но как? Слово «пренебрегала» казалось нелепым, учитывая, сколько любви, сколько счастья она ему дала; и все же слово «пренебрегала» возвращалось к ней снова и снова.

Разыскивая в уме нечто определенное, за что можно себя упрекнуть, она задумывалась, не совершила ли ошибку, оставшись так надолго с Лакшми в Даулатпуре. Лакшми всегда говорила о Мохане очень ласково; но действительно ли он ей нравился? И не было ли привкуса неверности в ее собственной готовности отпускать шутки по поводу той «хорошей жизни», на которую они с Моханом вступили?

Предполагалось, что она пробудет с отцом месяц, но она пробыла в Киштваре не более десяти дней, когда обнаружила, что недавно среди детей округа вспыхнула опасная

лихорадка. Было явно ее долгом увезти Савитри отсюда. Раджа, который делал вид, что ничего не знает об эпидемии, проявил сначала досаду, а затем гнев. О самом ребенке он, казалось, вовсе не заботился. Неужели он и вправду невзлюбил все, что напоминало ему о ее муже и ее замужестве? Во время их последних споров вновь проявился весь его старый собственнический, тиранический нрав. И к своему ужасу она обнаружила, что ею овладели все ее прежние детские эмоции. Страх перед его властью над ней смешивался с удовольствием от своей власти над ним. На несколько минут ее сердце забилось в странном волнении; затем, призвав всю свою независимость ума, она духовно отстранилась от его влияния. Твердо, но мягко она настояла на том, что они с Савитри должны уехать.

Раджа бросил на нее взгляд, сверкавший ненавистью, а затем, внезапно сам успокоившись, ответил, что ее добросовестность жены и матери поистине похвальна. Память об этой сцене омрачила их прощание, состоявшееся на следующий день.

Первые два дня обратного пути она чувствовала нервную дрожь; внутренне она трепетала, подобно тому, кто совершил побег. Не то чтобы она когда-либо действительно была в опасности навсегда утратить какую-либо часть своей духовной свободы, но уже достаточно плохо было испытать заново старое, сладкое, ядовитое возбуждение, память о котором, как ни странно, она утратила. «Как прав был Гуру!» — подумала она про себя. «Моя прежняя жизнь была отвратительна». И тогда же и там же она решила навестить его в его лощине, прежде чем ехать в Летний дворец.

В течение остального путешествия ее нервы постепенно успокаивались. Она начала снова смотреть на дело с точки зрения отца и решила ничего не говорить Гуру о своем визите, кроме того, что он был сокращен. В конце концов, будущее — вот о чем она хотела посоветоваться с ним. Ее долгие размышления сделали, как она чувствовала, многое для того, чтобы показать ей, где они с Моханом пошли неправильно, и ей не терпелось дать ему об этом знать. Ей страстно хотелось излить перед ним душу; да и он мог бы дать ей какой-нибудь совет.

Ранним утром прохладного солнечного дня она добралась до лощины и подошла к краю обрыва. Сердце сильно билось от волнения. Будет слишком разочарованием, подумала она, если Гуру окажется не там! Но он был там. Он стоял на коленях на траве под своей ивой, расчесывая обезьяну. Зрелище его, занятого этим домашним делом, почему-то успокоило ее, ибо за последний час она начала побаиваться его.

Она издала звонкий окрик, отчего обезьяна выпрыгнула из рук хозяина и взбежала на дерево. Гуру обернулся, и, увидев, кто это, крикнул в ответ голосом, полным удовольствия и удивления. Через несколько мгновений они уже сидели вместе под ивой, и она объясняла, зачем пришла.

Он сказал: «У меня было предчувствие, что сегодня утром кто-то придет; — но я ожидал не вас, я наполовину ждал Мохана».

— Мохана? — встрепенулась она.

— Да. Две недели назад я получил от него письмо. Он писал, что хочет видеть меня. Но на следующий день пришло другое письмо, в котором он сообщал, что решил не приезжать.

Дамаянти побледнела. — Что вы думаете, это значит?

— Ничего особо страшного. Я знаю, что об этом думать, потому что случайно встретил его в Даулатпуре несколькими днями позже, и поговорил с ним — но лишь совсем недолго, к сожалению. Его мысли работали примерно в том же направлении, что и ваши. Он хочет начать все заново.

— Что вы ему сказали?

— Не было возможности сказать много. А теперь — ну что ж, я очень рад, что вы пришли.

Дамаянти вздохнула. — О, Гуру, почему мы позволили делам пойти вкривь? Он думает, что во всем виновата я?

— Нет. Ведь Мохан не глуп. Да и в его натуре, конечно, нет недостатка в глубине; — просто, как вы знаете, он не любит надолго задерживаться в этих глубинах. На самом деле, чем глубже он чувствует что-либо, тем меньше ему нравится об этом думать. Например, в тот год, что он ждал вашей свадьбы...»

— Он думал обо мне как можно меньше.

— Да. Его любовь к вам была глубокой, и он был готов принести ради нее большие жертвы, но предпочитал держать свою любовь и свои жертвы как можно дальше от своего сознания.

Дамаянти тихо рассмеялась.

— Ваш инстинкт в тот год, — продолжал он, — заключался в том, чтобы заставить его погрузиться в собственные глубины. Вы были полны решимости, чтобы он не просто любил вас, но осознавал...

— Постоянно и мучительно осознавал!

— Факт. — И ваш инстинкт был верным. Ради самого Мохана вы поступали правильно, будучи требовательной.

Дамаянти улыбнулась. «Боюсь, я руководствовалась более личными, женскими причинами».

— Вам хотелось контакта с ним на глубоком уровне. Это было правильно.

— А с тех пор, как мы поженились, я недостаточно требовала?

— Что ж — нужно требовать правильных вещей и из правильного побуждения. Жизнь постоянно предъявляет требования к Моханy; она просит его серьезного внимания; но, к сожалению, у него есть дар затыкать уши при этом призыве. А вы после свадьбы почувствовали себя твердо владеющей Моханом и его любовью, поэтому позволили ему идти своей дорогой без возражений.

— Это звучит не очень... похвально.

— Для начала вам нужен был отдых. А затем вы поддались силе привычки.

— Я не понимаю.

Гуру помолчал, затем сказал: «Разве нет опасности в том, что ваше отношение к Моханy станет похожим на ваше отношение к отцу?» И когда Дамаянти сделала испуганный жест отрицания, он быстро продолжил: «Позвольте объяснить. Помните ли вы, как я однажды говорил вам о равных и неравных отношениях?»

— Да. Но мои отношения с Моханом равные.

Гуру покачал головой. «Они отошли от этого».

— Не думаю, что понимаю, что вы имеете в виду. На щеках Дамаянти вспыхнул румянец, и она забарабанила пальцами по колену. — Вы обвиняете меня в том, что я заняла "превосходное" отношение к Моханy? По правде говоря, я считаю себя во многих отношениях ниже его.

— Во многом вы, несомненно, выше его, особенно в исполнительной способности; и вы это знаете, и он тоже. Но дело не в этом. Дело в том, что вы отделили часть себя от Мохана и его интересов. И это привело вас к тому, что вы заняли позицию превосходства над ним — в своих мыслях.

— В моих мыслях!

— Да. А именно это действительно имеет значение. — Он помолчал, затем продолжил. — Вы перестали пытаться помогать ему. Ничего не сказав ему об этом, вы отмежевались от его работы, составили о ней частное суждение и сочли ее бесполезной. Но я не упрекаю вас за то, что вы так поступили; я упрекаю вас лишь за то, что вы сделали это, не сказав ему об этом. Это не значит обращаться с ним как с равным.

Лицо Дамаянти стало застывшим и жестким. Посмотрев Гуру прямо в глаза, она сказала: «В реальной жизни просто невозможно говорить другому человеку — сколь сильно бы вы ни любили его! — собственно, именно потому, что любите! — все свои мысли. Любая женщина скажет вам это, Гуру!»

На этот раз наступила очень долгая пауза. Гуру посмотрел на Дамаянти, а затем поднял взгляд в небо; он также нахмурился, потер подбородок и наконец беспомощно развел руками. — Дорогое дитя, боюсь, вы считаете меня довольно наивным?

Она кивнула.

— А мои советы — советами о совершенстве?

Она снова кивнула.

Он мягко рассмеялся. «Что ж! Несмотря на то, что вы женщина, вы, кажется, говорите мне довольно откровенно то, что думаете».

Она тоже рассмеялась. «Да. Но...»

— Я знаю, — сказал он.

— Не бросайте меня! — импульсивно воскликнула она.

— О нет! Я не брошу вас.

Они посмотрели друг на друга с улыбкой, затем Дамаянти внезапно вспомнила о Мохане и о предстоящей встрече, и лицо ее снова приняло тревожное выражение. «Я правда хочу стать лучше!» — сказала она.

Гуру глубоко вздохнул. «Милое мое дитя, я уже столько читал вам лекций! Мне ненавистна мысль начинать снова. Но вы подняли эту огромную и трудную тему — тему общения между людьми — и поставили ее прямо на нашем пути. Вы готовы слушать?»

Она склонила голову. «Именно за этим я пришла сюда — за вашим советом».

«Как я это вижу, — медленно произнес Гуру, — то, что неладно в ваших отношениях с Моханом, неладно и в его отношениях с крестьянами. В обоих случаях присутствует отказ иметь дело с другой стороной на равных условиях. Мохан держит себя в стороне от крестьян в попытке "управлять" ими точно так же, как держитесь в стороне вы в попытке управлять Моханом».

— Но, — вскричала Дамаянти тоном возмущенного удивления, — минуту назад вы ругали меня за то, что я оставила его слишком уж наедине с собой, теперь же вы обвиняете меня в излишнем "управлении".

— Нет. То, к чему я вас призываю, вот в чем: не принимать тайных советов с самой собой о том, как им управлять, а совещаться с ним об управлении вашими общими делами — то есть о создании вашего общего счастья. Это не то, что вы можете сделать для него, это то, что вы должны делать вместе с ним.

Дамаянти заломила руки. «Но я пыталась! Вы не понимаете, как много я пыталась!»

И тогда, поскольку Гуру не дал немедленного ответа, она вскочила на ноги. «Можно мне взять воды из вашего источника? Я так хочу пить!»

Гуру улыбнулся ей снизу вверх, и она улыбнулась в ответ, словно смеясь над собой за недавний всплеск эмоций. Его глаза задумчиво следовали за ней, пока она шла к корыту, окунула нефритовую чашку в воду и поднесла ее к губам. Наполнив ее снова, она принесла ее обратно и со вздохом опустилась на прежнее место. «Какая восхитительная прохлада!» — пробормотала она, сжимая чашку в руках.

— Бедное мое дитя! — рассмеялся Гури. «Я мог бы хотя бы предложить вам немного воды, прежде чем начать свою лекцию».

— Нет, нет! Лекция — это то, что мне сейчас нужнее всего.

— Вы серьезно?

— Вполне.

Он продолжал смотреть на нее смеющимися глазами. «Вы напоминаете мне огонь, бегущий по сухой траве. Маленький огонек здесь, потом маленький огонек там! Такая проворная и теплая, такая золотая — даже на солнце!»

— После этого, Гуру, я готова ко всему!»

— Что ж, знаете ли, это одно из моих твердых убеждений: мир стал бы гораздо лучше местом, если бы люди смогли убедить себя отказаться от сокрытия своих истинных мыслей, чувств и убеждений. Политики, священники, мужья, жены, родители, дети — все они одинаковы! И все выдумывают превосходные причины для своей неискренности. Каждый человек втайне решает, что другие слишком чувствительны или слишком бесчувственны, слишком слабы или слишком нечеловечески сильны, слишком плохи или слишком хороши, чтобы «понять». Так каждое бедное создание считает делом гордости или долга, или по крайней мере простой целесообразности скрывать свое истинное «я» от всех остальных.

— И вы думаете, что я скрываю себя от Мохана?

— Я уверен в этом.

Дамаянти промолчала.

— Если бы вы рассказывали Мохану все свои мысли, вам не нужно было бы приходить и доверять их мне. Но вы говорите себе, что Мохан не «поймет» или что вы хотите «пощадить» его.

— Ну... — неуверенно начала Дамаянти.

— Ну! — энергично перебил Гуру. — Мой ответ таков: во-первых, Мохан имеет право знать обо всем, о чем вы думаете; а во-вторых, он должен услышать это независимо от того, хочет он этого или нет.

— Почему?

— Если он не хочет, то лишь потому, что у него есть свои личные причины, которые вовсе не являются хорошими, для игнорирования истины. Человек, от которого удерживают знание или истину, почти всегда сам виноват в этом. Человека держат в неведении, «щадят» или лгут ему, потому что он сам этого хочет, потому что лучшее понимание заставило бы его делать то, чего он не хочет делать, или признавать то, чего он не хочет признавать, или отказываться от притязаний, от которых он не хочет отказываться. Дети цепляются за свою детскость, аристократы — за общепринятое представление об аристократической натуре, солдаты — за общепринятое понятие солдатского духа и так далее — все ради преимуществ, которые они получают, будучи неполноценными человеческими существами.

— Но за что же цепляется Мохан?

Гуру покачал головой со смехом. «Я оставляю это на вашу догадку».

— А я?

— За самую коварную защиту из всех! Вы цепляетесь за типичные прерогативы типичной Женщины.

И затем, поскольку она продолжала смотреть на него непонимающе, он продолжил: «Дорогая моя, я имею в виду, что хотел бы, чтобы вы никогда не думали о Мохане и о себе как о мужчине и женщине, или как о муже и жене, а просто как о двух людях, которые любят друг друга».

— Но я именно так и думаю. Мне никогда не приходит в голову думать иначе.

— И все же несколько минут назад вы говорили, что только потому, что любите Мохана, вы не можете быть с ним откровенны, и что любая женщина сказала бы мне то же самое.

Дамаянти молчала. Затем медленно и задумчиво она сказала: «Я понимаю. Думаю, вы правы».

Гуру улыбнулся, и вместе с этой улыбкой издал долгий, глубокий вздох. «Милая моя, вы снимаете тяжесть с моей души. А теперь — что касается крестьян, вы найдете...»

Его слова замерли, и Дамаянти, смотревшая в землю, не сразу поняла почему. Ее голова была опущена, пальцы теребили траву, она прятала слезы в глазах. Но через несколько мгновений, когда молчание Гуру продолжалось, она подняла голову и, проследив за направлением его взгляда, обнаружила, что смотрит прямо на Мохана, который уже

спустился со скалы и приближался к ним. С приглушенным криком радости она вскочила на ноги и побежала к нему.

XII

В течение следующих нескольких месяцев Дамаянти была очень счастлива. В обмене мыслями с Моханом — а им еще никогда не было так много что сказать друг другу — она с удивлением обнаружила, насколько схожими были их сомнения и страдания. Вместе они смеялись над собой за то, что отдалились друг от друга, чтобы втайне предаваться отчаянию, тогда как стоило лишь довериться друг другу, чтобы понять, что все хорошо.

Все было хорошо, по крайней мере, в смысле поправимости; если все еще не было действительно исправлено, они чувствовали себя достаточно сильными в своем счастье, чтобы сделать это. Дамаянти не могла понять, как она когда-либо позволила себе обмануться мыслью о том, что невозможно откровенно поговорить с Моханом, не задев его чувства или не разозлив его. Она совершила против него грубую несправедливость. Она обнаружила, как и предсказывал Гуру, что он был так же хорошо осведомлен, как и она сама, о том, что у него ничего не получается с его предприятием; и он пошел дальше нее в анализе причин своей неудачи. Он поразил ее своим проницательностью и свободой от мелкого тщеславия.

Из них двоих теперь более оптимистичной была Дамаянти. Она была полна уверенности в своей способности помочь Мохану. Она чувствовала, что может восполнить то, чего недоставало его натуре. Ему не было свойственно твердо держать цель перед глазами и делать необходимое для ее достижения, не уделяя второстепенным соображениям гораздо больше внимания, чем они того заслуживали. Его страх задеть чувства других людей, его изысканный кодекс манер, его неспособность смотреть на какую-либо цель как на стоящую таких жертв были серьезными помехами. Она могла уравновесить их. Хотя ей почти так же сильно, как и ему, претило создание неприятных ситуаций, она умела отличать существенное от несущественного и в целом ухитрялась достигать своей цели — каким-нибудь образом. Ее раннее воспитание во Дворце отца, чувствовала она теперь, сослужит ей хорошую службу.

Но ее лучезарный оптимизм поистине проистекал из счастья, а ее счастье пришло, во-первых, от вновь обретенной свободы от раскаяния в отношении отца, а во-вторых, от возобновленного контакта с Моханом. Их страсть друг к другу, которая имела склонность замыкаться в собственной сфере, теперь была вплетена в ткань их повседневной жизни. Их близость распространилась на все уровни личности.

Как только они вернулись в Летний дворец, Дамаянти подробно рассказала Мохану об их беседе в лощине; и они обсудили все, что сказал Гуру. Более одного раза Мохан погружался в задумчивость, а под конец пробормотал: «Я восхищаюсь вашей прямотой. Почему я никогда не мог говорить с ним вот так? Полагаю, мне не хватает смелости». И через несколько дней он внезапно воскликнул: «Жаль, что я приехал не чуть позже. Уверен, Гуру продолжил бы говорить о крестьянах. Не пойти ли мне спросить его...»

Дамаянти заколебалась. «Полагаю, я более или менее знаю, что бы он сказал». Затем она сделала усилие и передумала. «Да, пойди и поговори. Даже если мы не сможем последовать всему его совету, нам стоит хотя бы знать, в чем он заключается».

Так что Мохан решил поехать, но прошло некоторое время, прежде чем он действительно отправился, а по возвращении он выказал легкое смущение.

— Ну? — спросила Дамаянти.

— Ну! — И он рассмеялся. — Я побеседовал, но не очень долго. Во-первых, меня задержали во Дворце по дороге, а затем...

Оказалось, что ничего сколько-нибудь существенного сказано не было. Обстоятельства, правда, оказались неблагоприятными, разговор прерывался более одного раза крестьянами, требовавшими внимания Гуру, но Дамаянти не могла не думать, что визит вполне мог бы не остаться безрезультатным. Кроме того, она была уверена, что, отправься Мохан снова, его визит — по той или иной причине — опять окажется безуспешным. Однако она не была полностью разочарована; ибо они оба усердно трудились, и она верила, что через короткое время они смогут показать Гуру, что дела идут хорошо.

С каждой прошедшей неделей ее гордость и гордость Мохана становились все глубже вовлечены в успех их предприятия. Речь шла не только, и даже не главным образом, об оценке Гуру, которой они опасались. Они знали, что его суждение в любом случае будет дружеским. Но как насчет Дворца? Именно взгляд Дворца досаждал им. Они не могли забыть, что постоянно находятся под косым, злобным наблюдением.

Однажды вечером Гуру появился у их ворот без приглашения. Дамаянти, которая случайно оказалась у окна, вздрогнула и прикусила губу, увидев его. Но ее следующей мыслью было то, что его приход пришелся весьма кстати, ведь урожай проса выдался исключительно хорошим, а деревни в целом выглядели довольно процветающими. На следующий день, пока они с Моханом показывали ему окрестности, они не были лишены некоторого самодовольства. Но после того как он ушел, чувства Дамаянти внезапно изменились. Сознание избегаемых тем, нервных пауз и вспышек слегка искусственной беседы с ее стороны омрачило память о визите. Она осознала, что на самом деле не дала Гуру возможности высказать свое мнение. Кроме того, один или два раза она была довольно раздражительна с Моханом — и он с ней.

Мало-помалу чувство напряжения нарастало. В глубине души они спрашивали себя: «Если мы потерпим неудачу, что тогда? Где нам найти достаточно уверенности, чтобы начать заново?» В тревоге о будущем они поначалу не осознали, что их совместная жизнь уже была затронута. Их счастье стало теперь прерывистым и, в лучшем случае, несколько омраченным.

В первые месяцы после возвращения Дамаянти Мохан, гордясь ее деловитостью, не возражал против соскальзывания с позиции партнера на позицию подчиненного; но мало-помалу он стал проявлять беспокойство; и теперь наконец ее самоуправство начало пробуждать в нем дух гнева. Это выражалось в напускном равнодушии, легкомыслии и даже определенном противодействии.

Вскоре Дамаянти начала втайне страдать от приступов глубокой безнадежности. Она видела, что ее мнимые успехи достигаются слишком дорогой ценой — и деньгами (ибо по сути все сводилось к тому, что ей приходилось подкупать крестьян, чтобы те вели себя разумно), и доброй волей. С тем фактом, что они с Моханом теряют дружбу крестьян, нельзя было ничего поделать, и это несмотря на все, что они для них делали. Сначала была большая дружественность, но что-то в их отношениях создавало слишком большое напряжение. Что же не так в этих отношениях? Гуру мог бы сказать ей об этом без сомнения, но она не хотела спрашивать его.

День за днем они с Моханом становились все более отчужденными друг от друга. Им, конечно, невозможно было отдалиться друг от друга, как в прежние дни; их личности были связаны сотней разных нитей; без разрыва живой ткани им нельзя было разделиться; — но этот разрыв уже начался.

В своем отчаянии Дамаянти побуждаемая слепым инстинктом заставляла Мохана страдать в равной степени. Они ссорились гораздо яростнее, чем прежде, и искали примирения со стократно возросшей нежностью. Были признания, обещания и взаимные прощения. Но, к несчастью, всегда случалось так, что либо один, либо другой заходил слишком далеко в щедрости, признаваясь больше, или уступая больше, или обещая больше, чем он или она могли себе позволить без возгорания маленького тайного огонька обиды. И этот тлеющий под землей огонек рано или поздно выходил на поверхность, возникала новая ссора, и весь цикл эмоций запускался заново.

Теперь отец Дамаянти снова вошел в их жизнь. Первые несколько месяцев после ее визита в Киштвар он перестал писать. Теперь он писал часто. Тон его писем изменился; они стали мягкими, ласковыми и печальными. Они оживили ее любовь; а вместе с ней пробудились жалость и раскаяние. Когда она чувствовала нетерпение, разочарование и несчастье, она горько вспоминала, что ее отец тоже чувствует себя несчастным. А затем, видя Мохана, казалось, слепого ко всему происходящему и довольного тем, что позволяет их любви умереть, ее охватывали глубочайшие опасения. В ее сердце тлел гнев. Не заботясь о трате собственной жизни, разве Мохан также беспечно расточает ее? В Киштваре у нее было

ради чего жить; там ее жизнь была деятельной и богатой. Там в ней нуждались. Она не могла не возвращаться к этому как к своей настоящей обиде.

Тогда ее эмоциональные требования к Мохану становились непомерными. Она не успокаивалась, пока атмосфера не заряжалась до точки невыносимого напряжения. Разражалась буря, насилие которой было желанным для нее как доказательство силы их любви. Ей нужно было ничто меньшее, чтобы подавить свое чувство раскаяния и вины.

От этой жизни она часто испытывала сильное желание сбежать, и тогда она проводила несколько дней с Лакшми. Но теперь она ходила во Дворец не ради веселых разговоров и легкого смеха. Она хотела излить свою скорбь. Но не ценой малейшей неверности Мохану. Она была настороже против этого; и Лакшми теперь знала лучше, чем предлагать такое искушение. Если Лакшми откликалась на нее в это время, то действительно ровно столько же для того, чтобы самой довериться, сколько и для того, чтобы вызвать доверие. Симпатия и восхищение, которые она черпала в узком кругу своих друзей, давно потеряли прелесть новизны, и она была слишком умной женщиной, чтобы слишком долго пользоваться этими источниками, зная, что когда такие колодцы иссякают, они становятся ядовитыми. Ее интуиция подсказывала ей, что Дамаянти, которая сторонилась ее с момента возвращения из Киштвара, теперь готова давать и получать сочувствие. Так что однажды вечером, когда Дамаянти ужинала с ней вдвоем, она представила глазам младшей женщины картину своей жизни. Она описала, как до встречи с Бходжем была глубоко влюблена в другого человека; и как, пока она раздумывала, стоит ли ей повиноваться родителям и отказаться от желаемого брака, ее возлюбленный покончил с собой. Эта ранняя любовь оставила след, который время не могло стереть, но в браке с Бходжем и в проживании нынешней жизни — со всеми обязанностями жены и рани, принятыми и исполняемыми наилучшим образом, — она находила определенное спокойствие. Счастье? Ну что ж! — и здесь с бесконечной грустью она улыбнулась — судьба не была очень добра к ней. Она упорно била по ее привязанностям. Две ее сестры умерли, брат, которого она обожала, превратился в безнадежного алкоголика, а потом мать... Ей не нужно было говорить больше, ибо Дамаянти своими глазами видела бедную сумасшедшую женщину, обитавшую во Дворце.

Такова была история Лакшми, и искушению ответить откровенностью на откровение нельзя было сопротивляться. Да Дамаянти и не видела никакой хорошей причины, почему ей следовало бы сопротивляться. Так она описала свою прежнюю жизнь и невыносимую боль расставания с отцом, и свое стойкое горе в разлуке с ним. Этот разговор, состоявшийся во Дворе Серебряного Лотоса, продолжался далеко за полночь, и она ушла от него с чувством облегчения и утешения. Это стало началом новой дружбы с Лакшми, и пока она длилась, в ней не было ничего такого, за что она могла бы упрекнуть себя.

Однако пришел день, когда она начала смотреть на это сардоническим взглядом. После долгого разговора, в котором обе были наполнены меланхоличным, но не неприятным ощущением трагической красоты своей жизни, лежа в постели в темноте, она живо вспомнила множество случаев, когда после ссоры с Моханом ее захлестывала ярость при

мысли обо всем, что она принесла в жертву ради него. И все же, разговаривая с Лакшми, она смотрела на себя как на совершенно бескорыстную. Как обычно, она была поглощена мыслью о том, что нужда отца в ней больше, чем потребность Мохана, и представляла себя разрываемой между двумя противоречивыми преданностями. Ни слова ни о чем другом. Но как же часы, которые она проводила, горько сожалея об утраченных удовольствиях — поклонении отца ей, лестном восхищении его министров, ее чувстве деловой эффективности и власти? А как же сцены, которые она устраивала Мохану? И что подумает обо всем этом Гуру? Она криво усмехнулась, почувствовав, как кровь приливает к щекам. Что касается Лакшми — ну что ж, разве она не ловила себя на том, что, пока говорила Лакшми, испытывает крайнюю жалость к Бходжу?

В течение нескольких недель после этой ночи самоанализа дела в Летнем дворце шли гораздо лучше, несмотря на то что Мохан находился в одном из своих худших настроений. Он сочетал раздражительность с едким легкомыслием и напускным полным безразличием. То, что он несчастен, Дамаянти знала; но она тоже была несчастна, и когда она пыталась достучаться до него, он ее отталкивал.

Последовал период безжизненного страдания. Ссоры больше не приносили пользы. Хотя при примирениях они сходились в страсти раскаяния и любви, глубоко в сердце каждого было знание о том, что ничего не достигнуто. Временами Дамаянти переставала верить, что Мохан любит ее, временами она сомневалась в своей любви к нему. Более одного раза она была готова оставить его и вернуться к отцу; но пока она упаковывала одежду, что-то всегда ломало ее решимость. Иногда она сомневалась, действительно ли она любит отца, и не создавали ли ее бури жалости и раскаяния лишь гнев на Мохана. В моменты спокойствия, представляя себе, как она оставляет Мохана, чтобы возобновить жизнь с Раджей, она осознавала, что та прежняя жизнь теперь стала бы для нее совершенно отвратительной. Ей было некуда идти; и это усиливало ее ужас и смятение, когда она понимала, что точно так же, как ей часто хотелось улететь от Мохана, ему столь же часто хотелось улететь от нее.

Никогда в жизни Мохан не был так несчастен, как сейчас. У него не осталось даже работы! Она вырвала ее у него из рук. Когда он объезжал деревни, ему нечего было делать, ибо она опережала его своими собственными приказами старостам деревень и забывала рассказать ему о том, что сделала. Месяцами он боролся против ее узурпаций, но тщетно. Результат был таков, что когда он не был сильно разгневан на нее, его наполняло презрение к самому себе.

Как и она, он знал времена, когда сомневался в своей любви, и это добавляло к его чувству унижения, ведь если он не любит ее, почему он продолжает эту жизнь? Бывали также времена, когда он сомневался, любит ли она его, и это причиняло ему более острую боль. Если бы эти последние сомнения когда-нибудь стали уверенностью, он расстался бы с ней, ибо мог — в своем отчаянии — найти мужество совершить насилие над собственной любовью. Но он не мог совершить насилие над ее любовью. Нет! Этого он сделать не мог.

Хотя здесь снова примешивалась горечь, ибо он прекрасно видел, что она знает: именно проявляя любовь к нему, она подчиняет его себе.

Он осознал это, увидев, как Лакшми ведет себя точно так же с Бходжем, а у Лакшми даже не было оправдания по-настоящему любить Бходжа. Возобновившаяся дружба Дамаянти с Лакшми нанесла ей немалый ущерб в его глазах, ибо к этому времени он начал чувствовать, что в Лакшми есть нечто такое, что ему не нравится. Он подозревал, что обращение Лакшми направлено на ту часть натуры Дамаянти, которая потакалась при дворе ее отца и которая вдохновляла ее властные замашки. Его дух поднимался на бунт против тонкого пагубного влияния, которое, как он чувствовал, распространялось в его маленьком мире. Инстинкт побуждал его обратиться к своим друзьям-мужчинам как ради их общества, так и ради создания противовеса влиянию; и тогда он обнаружил, что те уже надежно пойманы в эти невидимые путы. Случай Бходжа был одним из худших. За исключением роли орудия для исполнения невысказанных приказаний Лакшми, он был совершенно ничтожен.

Эти размышления — или смутные намеки, ибо едва ли чем-то большим они были — постоянно толкали его обратно в трясину самобичевания. Иногда он говорил себе, что виноват только он один; что он мелочно ревнует к отцу Дамаянти и ее дворцовой жизни в Киштваре; что он возмущается ее эффективностью, превосходящей его собственную; что он завидует Бходжу и Лакшми за то, что они, в отличие от него, не находятся в разладе с миром. И в своем унынии он был одинок; ибо он не мог донести эти мысли до Дамаянти. Он не видел выхода из своего положения позора и бесполезности, и тем, что держало его в плену, была на самом деле любовь, которую они питали друг к другу.

Тем не менее кризис все-таки наступил. Однажды утром, возвращаясь верхом через поля, он обогнал человека, ведущего хромающую лошадь, и узнал в нем одного из гонцов, которые обычно привозили письма Дамаянти из Киштвара. «Дайте мне ваши письма!» — крикнул он. «Это сэкономит время». К его удивлению, человек заколебался, смутился и, наконец, видя, что больше ничего не остается, передал не письма, а пояс, тяжелый от золотых монет, который был обмотан вокруг его талии. «Вот что я несу принцессе», — сказал Мохан. Скрыв свое изумление, Мохан взял пояс и небрежно спросил, нет ли заодно писем. Человек ответил, что нет.

Пустив коня быстрой рысью, Мохан боролся с чувствами полнейшего замешательства и смятения. И очень скоро они превратились в самую черную ярость.

XIII

Выйдя замуж, Дамаянти покинула Киштвар без всякого приданого от отца. Она увезла с собой лишь свою одежду и драгоценности. Так что было возможно, размышлял Мохан, что раджа наконец устыдился своей скаредности и теперь посылает ей денежные подарки. Но тогда почему она ничего об этом не сказала? Объяснение могло быть только одно: она

тратила эти деньги на то, что хотела держать в тайне. Она использовала их, чтобы скрыть недостатки и неудачи в их общем деле. В этом году, например, крестьяне каким-то чудом произвели изрядный запас посевного зерна, тогда как в прошлом году у них его совсем не было. Лишь один раз за этот год он был вынужден обратиться к Бходжу за деньгами. С тех пор как она начала лично интересоваться земледелием, ее особенно беспокоило, чтобы им больше не приходилось прибегать к помощи Бходжа. Что ж! — она управляла делами — и людьми — по-своему, так, как научилась при дворе своего отца. А человеком, которым она искуснее всего управляла, которого обманывала самым бессовестным образом, был он сам. Боже правый! Неужели она не видит, что это оскорбление? Его лицо горело от стыда и ярости, но глубоко внутри, в самой глубине сердца была одна лишь боль. Он настолько растерялся, что остановил коня, не желая приближаться к дому ни на шаг. Им овладело простое желание — уехать прочь, навсегда покинуть эту нынешнюю жизнь, которая оказалась провалом, ради какого-нибудь гораздо более простого существования, где ему хотя бы не пришлось играть роль дурака и простофили. Продолжать как прежде было невозможно. Его намерением было поехать домой, переодеться, а затем отправиться верхом во дворец в Даулатпур, чтобы присоединиться к Дамаянти, находившейся там с кратким визитом. Но теперь он колебался. Он боялся собственного гнева. То, что ему предстояло сказать, положит конец их брачной жизни, и будет жаль, если их разговор окажется более бурным и мучительным, чем необходимо. Кроме того, он страшился встречи с ней во дворце, где ее настроение всегда отличалось от домашнего. Вскоре он заметил, что конь, беспокойный от мух и нетерпеливо желающий вернуться, снова тронулся вперед, и позволил ему идти своим ходом. Он чувствовал себя беспомощным что-либо изменить в своих ближайших планах. Приближалась вторая годовщина их свадьбы, и в дворцовых сокровищницах оставалось несколько украшений, которые все еще принадлежали ему, доставшись от матери. Он намеревался добраться до дворца до наступления дневной жары, посмотреть, что находится в шкатулке с драгоценностями, и выбрать подарок для Дамаянти. Но теперь? — Мысли лихорадочно и бесполезно метались в голове; он не мог придумать никакой альтернативы этому пути и покорно следовал ему, словно автомат. Четыре часа спустя он прибыл во дворец, поднялся прямо в свои комнаты и сел перед шкатулкой с драгоценностями, которую уже отправили туда. Тишина и зной полудня окутали весь город Даулатпур. Дамаянти, как и все остальные, отдыхала после обеда. Ни единого звука не проникало через открытые окна, затененные от солнца. Дворец казался стоящим в самом центре этого безмолвия, и эта тишина давила на Мохана мучительно, ибо, навевая чары, она ничуть не успокаивала смятение в глубине его сердца. Механически он перебирал драгоценные камни и безделушки, и хотя внимательно смотрел на них, половина его мыслей витала далеко. Вскоре он наткнулся на браслет, который помнил на руке своей матери, когда был еще совсем ребенком. Ощущение личности матери и аромат тех минувших дней окутали его так, что на время он полностью утратил сознание того, где находится и что делает. Это облегчение от боли настоящего было желанным, и когда он пришел в себя, гнев покинул его. Ему было очень грустно, но он не сердился. Он подумал о браслете на руке матери, а затем представил его на Дамаянти, а

после — на Савитри. Со всеми этими тремя женщинами его связывали одни и те же узы любви. Так откуда же взялся этот гнев? Ему нет места в прекрасном, жалком течении человеческой жизни. Это выглядело глупо. Он пойдет к Дамаянти без гнева. Образ ее спящего лица поплыл перед его глазами, и он улыбнулся. «Бедное дитя! — Бедные дети, все мы! О чем думают великие боги, глядя вниз?» Он встал и направился к двери. Ее комната отделялась от его собственной передней. Ей пора было просыпаться; самое время. После минутного колебания он решил войти. Он расскажет ей все. Он чувствовал, что способен на это. Ведь точно так же, как его сердце часто бывало закрыто, так что он сам не мог видеть, что внутри, сейчас оно было открыто, и он мог заглянуть в самые его глубины. Он поднял пояс с монетами и, немного подумав, взял также и браслет. Пусть сегодня еще не день их свадьбы, но что с того? Дамаянти все еще лежала на кушетке, но глаза ее были открыты. Когда он вошел, она потянулась и зевнула. Сев в ногах кушетки, он пристально посмотрел на нее, и в полумраке комнаты она показалась таинственной, темные глаза непроницаемыми. Она весело приветствовала его и тут же заговорила о своих планах по обновлению Летнего дворца. На него медленно нахлынуло глубокое чувство беспомощности. Мир духа — это еще не все; повседневная жизнь тоже имеет свою реальность. Они уже договорились между собой, что Летний дворец нуждается во внимании, но теперь, услышав, как далеко она зашла в своих консультациях с Лакшми, он почувствовал разочарование и легкую досаду. Казалось, им больше нечего решать вместе. Но какое это имело значение теперь? Все кончено, все насмешка. Он смотрел на нее, пока она говорила, со всепоглощающим отчаянием, ведь все мелкие чувства, от которых он временно освободился, возвращались вновь. Это не ее вина, и тем не менее он приходил в ярость. Еще пара минут, и он останется без защиты перед великой черной яростью, которая поджидала момента, чтобы снова овладеть им. «Что мне делать?» — спросил он себя. «Могу ли я довериться своему языку? И что мне теперь говорить? Ушла ли минута освобождения безвозвратно?» Продолжая говорить, Дамаянти вскочила с кушетки, опустилась на колени перед зеркалом и принялась наносить сурьму на ресницы. «Мне нужно торопиться, — сказала она. — Я обещала Лакшми...» Но он обнаружил, что не может слушать, что она говорит, отвечал невпопад, и через минуту она обернулась, чтобы бросить на него озадаченный и слегка встревоженный взгляд. — Мохан, что-нибудь случилось? — Да. — В этот миг он решил заговорить. — Я обеспокоен. — Чем? — Я тебе покажу. — Он протянул ей пояс. — Вот!

— Что это?

— Деньги. — И он рассказал ей о своей встрече с посланцем.

Она продолжала пристально смотреть на него, но теперь во взгляде ее появилось широко распахнутое пустое выражение, исполненное враждебности. Или, если не враждебности, то хотя бы холода. Оно держало его на расстоянии. Он знал, что за этой маской она тайно и стремительно совещается сама с собой. — И в чем же ты меня подозреваешь? — спросила она. На мгновение он был безмолвен от сумятицы своих мыслей, затем сказал: — Я

задавался вопросом, как долго ты получаешь деньги от своего отца и — на что ты их тратишь. Она тихо рассмеялась и встала. — Я вообще не получала никаких денег от отца. — Совсем! — Нет. — Тогда откуда это взялось? — И он взвесил пояс в руке. — Я продала кое-какие драгоценности в Агре. Они стояли лицом к лицу, и теперь медленно и неотвратимо — он чувствовал это и не мог сопротивляться — внутри поднялась старая ярость. — На что тебе понадобились деньги? — А у тебя есть право спрашивать? — Конечно. — Я подозреваю, что ты собиралась отдать их нашим крестьянам. И я подозреваю, что ты уже делала нечто подобное прежде. Она глубоко вздохнула. — Мохан, понимаешь ли ты, что если ты будешь продолжать в том же духе... — Она остановилась, словно боясь того, что должно было последовать. — Заканчивай свою фразу, — сказал он. — Мы не сможем... — Ее губы сомкнулись, и она отвернулась. — Продолжать нашу нынешнюю жизнь. Да. Вот что я пришел сюда сказать. При этом она тихонько ахнула, снова повернулась и устремила на него озадаченные, испуганные глаза. — О? — Когда ты вошел, ты выглядел таким мягким, таким добрым. — И именно поэтому ты начала — но нет! Боже мой, какое это имеет значение? — И он быстро вышел из комнаты. Он покинул комнату потому, что был потрясен дикостью собственных чувств. Хотя он был достаточно уверен, что не ударит ее на самом деле, само желание сделать это заставляло его стыдиться себя. Ходя взад-вперед, он говорил себе: «У нее хватает наглости угрожать! И она угрожает мне... Как будто я...» Он скрипнул зубами. «Мы должны расстаться немедленно и окончательно». Подойдя к окну, он поднял штору и уставился в ослепительный солнечный свет. «Она думает, что я готов стать еще одним Бходжем! Поработив волю своего отца в течение десяти лет, она приходит сюда и видит Лакшми... По сути, она не может представить жизнь по какому-либо иному образцу. — Она знала, что я люблю ее, и пользовалась этим. Но наступает момент, когда любовь должна уступить место — чему-то другому. Я вижу ее видение будущего — и я его отвергаю. Для меня — тщета; для нее — существование не особенно захватывающее, но вполне занятное и приятное. У нее есть Савитри, и, возможно, появятся еще дети. У нее есть дом, о котором нужно заботиться; она будет принимать гостей; у нее есть этот Дворец, который можно навещать; и у нее есть, наконец, благодарная задача быть хорошей женой своему мужу, „помогать“ ему в работе и поддерживать его репутацию перед миром. — Но, — продолжал Мохан, — этому будущему не бывать! У меня есть предложение получше. Почему бы ей не вернуться в свой родной дом? Наш брак можно расторгнуть. В конце концов, она могла бы выйти замуж за Акбара». С течением этих мыслей жар гнева оставил его. Он холодно и уныло смотрел в будущее, не видя в нем счастья ни для нее, ни для себя. Его самое острое страдание сейчас вызывала мысль о взрослении Савитри во дворце в Киштваре, однако у него не было желания разлучать ее с матерью, да и та жизнь, которую он проектировал для себя, была такой, в которой он не мог найти для девочки места. Он видел себя становящимся странником. Сменяющие друг друга пейзажи, случайные встречи, неизвестные опасности завтрашнего пути — все это, чувствовал он, удовлетворит его. Это будет жизнь, проживаемая день за днем, но никакой другой жизни он теперь не мог помыслить как терпимой. Прошел час или больше; затем, вскинув голову при каком-то легком звуке, он увидел, что Дамаянти вошла. Она двигалась иначе, чем обычно —

медленно и настороженно. Глаза ее тоже были тревожны. Пока она стояла там перед ним в молчании, его угнетало мучительное неудобство. Их несчастье — ибо она тоже была несчастна — их неудача, их поражение пристыдили его, и чтобы хоть что-то сказать, он спросил: — Ты была с Лакшми? Она покачала головой. — Мохан!.. — Дыхание давалось ей с трудом. — Насчет тех денег... Я хочу тебе сказать. Я предназначала их для крестьян, как ты и думал; но... Он сделал жест, отметающий эту тему. — Кроме того, — поспешно продолжила она, — я делала это и раньше — один или два раза. Мне ненавистно было то, что тебе приходилось доставать деньги у Моти Сингха. Но теперь я вижу, что мне следовало посоветоваться с тобой. Прости».

Мохан отвел взгляд. — Она знала, что он чувствует себя неловко. Он всегда чувствовал себя так, когда кто-нибудь перед ним извинялся. — Не стоит! — быстро сказал он. — Я хочу сказать, ничего не поделаешь. — И он встал. Она видела, как он нервно ищет другую тему для разговора. — Здесь есть несколько писем и бумаг, которые прислал Бходж; но я еще не смотрел их. Ничего, думаю, представляющего интерес. Пока он наклонялся над письмами, она закусила губу и заморгала, чтобы сдержать слезы. Как хорошо ей было знакомо, что означает его манера! А на этот раз это означало больше, чем когда-либо прежде. Это означало... В надежде, что она покинет комнату, он делал решительную видимость чтения своих писем. Пока она смотрела на него, ее дух погружался в отчаяние. Это был конец. Но сейчас он не хотел говорить с ней; а то, что его ум совершенно принял решение, давало ему самообладание выбрать подходящее время. Она решила, что ему не следует ждать. Она не могла этого вынести. Это должно произойти сейчас. Так что она продолжала стоять там, перед ним. В конце концов ему придется заговорить. — Что касается планов, — произнес он вскоре, по-прежнему не глядя на нее. — Я подумываю ненадолго уехать поохотиться в холмах. Она трепетно втянула воздух. — Понимаю. — Для работы на земле это было бы не самое плохое время. Его голос был совершенно бесцветен. Очевидно, его главным желанием в данный момент было избежать сцены. — А я? — выдавила она едва слышным шепотом. — Ты? — Я имею в виду, что мне делать? Он не отрывал глаз от земли. — Ну! Разве тебе не кажется, что это была бы прекрасная возможность навестить твоего отца? Она боролась, но не смогла ответить. Закусив губы, она подошла к окну и выглянула наружу. И вот оно происходит именно так — совсем тихо. Сцены не будет. «Мы слишком часто ссорились, — думала она. — Не осознаешь, что нечто накапливается. А потом, однажды — вот это!» Ей отчаянно хотелось обернуться, дать тихий ответ согласия и покинуть комнату; но она не могла сделать этого. Ее держало неподвижной оцепенение конечностей. За спиной он все еще возился со своими письмами — ломая печати с большим шумом, чем необходимо, шелестя бумагой. Это значило: «С этим покончено. А теперь мы будем вести себя как в повседневной жизни». Но они возвращались не к своей прежней жизни. Это была другая жизнь, в которой каждый будет одинок. Она продолжала смотреть в окно, и хотя горе оглушило и одурманило ее, она наконец осознала, что Мохан перестал суетиться и странно затих. Обернувшись через плечо, она увидела, что он стоит посреди комнаты и смотрит прямо перед собой. Он слегка вздрогнул, когда почувствовал ее взгляд.

— Посмотри на это! — сказал он и протянул письмо, почерк которого она узнала. Оно было от Гуру. «Мои дорогие друзья, — прочла она, — уже долгое время я обеспокоен вами, ибо вы избегаете меня, и я думаю, знаю почему. Во время моего последнего визита в Летний дворец я увидел, что ваша жизнь идет не так, как вы того желали, и мне показалось, что вы не хотите говорить со мной об этом. Поэтому я молчал. Но прошло уже несколько месяцев, и мысль о том, что у вас возникли неприятности, которыми вы не позволяете мне поделиться, наполняет меня тревогой и печалью. Ведь вы оба очень дороги мне. Кроме того, если вы избегаете меня, то должно быть потому, что считаете мои прошлые советы ошибочными. Но — О мои друзья! — разве вы действительно отвергаете мой взгляд на жизнь? Нет! Я цепляюсь за надежду, что вас удерживает лишь гордость. Если это так, отбросьте ее поскорее и перестаньте причинять тому, кто любит вас, столько тревоги и боли». Пока Дамаянти читала это, Мохан ходил из угла в угол. — Ну? — нетерпеливо сказал он; и затем, не дожидаясь ответа: — Завтра рано утром я поеду верхом в лощину. Я не позволю Гуру думать, что я не... — Его голос замер. — Я объясню, — добавил он. — Но я тоже... — сказала Дамаянти, задыхаясь. Он посмотрел на нее отсутствующим взглядом. — И что же ты объяснишь? — спросила она. Когда вопрос медленно дошел до его сознания, она увидела, как он нахмурил брови. Его глаза смотрели в ее, больше не пустые. Он пытался найти ответ, но слов не находилось. — Что мы можем ему сказать? — выдохнула она. Он повернул голову туда-сюда, затем сел и сказал: — Мы должны подумать. — Мы! — он сказал «мы»! Ее самообладание внезапно покинуло ее; она быстро отошла назад к окну, чтобы скрыть ослепляющие слезы. Но ее плечи начали дрожать, а это было ничуть не лучше. Но она не хотела взывать к жалости и, уверенная, что его взгляд устремлен на нее, сумела величайшим усилием удержать себя в неподвижности. Она также выровняла голос, чтобы сказать: — Во всяком случае, ты можешь дать ему почувствовать, что — что мы по-прежнему ценим его как друга. Он издал легкий звук боли, а затем она услышала, как он встал. В комнате стало очень тихо, и прошла примерно минута. «Не двигайся! — велела она себе. У тебя нет права пользоваться этим. Выбор должен сделать он». Она ждала, закрыв глаза. — Дамаянти! — позвал он. Она услышала, как он подошел к ней, и почувствовала его руку на своих плечах. Ее голова склонилась к нему, рука вцепилась в его тунику; и так они стояли. Его глаза, как и ее, были теперь закрыты. Казалось, будто их два духа, совершенно истощенные в какой-то великой битве против общего врага, оказались наконец в безопасности и, опираясь друг на друга, переводят дыхание, склоняясь вместе в благодарности за пережитый ужасный риск; и настолько объединенные общей усталостью и общим облегчением, что пока им нужно было только одно: отдыхать вместе как единое целое. Они были также озадачены. Ибо случившееся было не переходом от одного чувства к другому, а изменением самого существа, на котором играют эмоции. Как при тяжелой болезни наступает момент, когда тело говорит: «Я изменилось», так и теперь каждый чувствовал, что старое «я» умерло и что отныне жизнь будет проживаться с другим «я». И в этой перемене было что-то немного грустное. По крайней мере, здесь не было никакого ликования, никакого восторга, который сопровождал их примирения в прошлом. При этой перемене сущности кое-чем пришлось пожертвовать; но каждый пожертвовал одним и тем

же; каждого терзала одна и та же усталость, утешало одно и то же утешение, и, превыше всего, благодарило одна и та же благодарность.

Их не беспокоили планы их будущей жизни; все это было лишь деталями. Внутреннее решение было принято, внешняя форма обретет очертания сама собой. Что же касается того, что было неправильно в прошлом, не было нужды в это углубляться. Они посмотрели друг другу в глаза и улыбнулись; нескольких слов тут и там было достаточно.

Час проходил за часом, и их разговор постепенно становился более плавным. Жизнь снова звала их, и вместе они откликнулись на ее зов. Они были совершенно уверены, что должны отказаться от Летнего дворца и окрестностей Даулатпура. И это решение тотчас породило другое, которое они произнесли в один голос: — Мы отправимся на плоскогорье Лаку.

— Мы построим там небольшой дом.

— Помнишь, как там было прекрасно тогда = когда мы ехали и ехали, пока не стемнело...

— И один из крестьян приютил нас. Славный человек. Кажется, его звали Такху.

— Но завтра, прежде всего остального, мы поедем в лощину навестить Гуру.

На следующее утро, очень рано, Мохан разбудил Дамаянти. Он больше не мог держать свои мысли при себе.

— Я знаю, где мы построим наш новый дом.

— Где?

— На краю тех деревьев. Рядом с Прудом Вишну.

Дамаянти кивнула, а затем снова закрыла глаза. Она вспомнила день, когда они с Моханом впервые наткнулись на пруд вместе, и в ее блуждающем видении прошлое, настоящее и будущее сошлись воедино в целом, имеющем смысл.

Часть 7

I

Рассказ истории о Мохане и Дамаянти растянулся на многие дни. Физическая слабость не позволяла Гуру говорить подолгу за один раз. В тихие, жаркие послеполуденные часы он лежал в своей затемненной комнате в состоянии задумчивых воспоминаний; тогда, ближе к закату, приходил Джали и устраивался у его постели. Это был час, когда Гуру любил поговорить. — Я брожу по прошлому, — говорил он, — и там я нахожу воспоминания,

которые, как мне казалось, были утрачены для меня навсегда. Я смотрю, как красный солнечный свет ползет по стене, я размышляю вслух, и иногда забываю, что ты со мной.

В промежутках между беседами с Гуру ум Джали был наполнен тем, что он услышал последним. Он чувствовал, что его любовь к Дамаянти получает одновременно честь и вознаграждение. Ибо что может быть более почетным, чем этот дар доверия? «Я люблю ее, — размышлял он, — не меньше, а больше». Иногда, думая о собственном неопытности, он чувствовал себя маленьким и обескураженным, но в другие времена, после прослушивания Гуру, ему казалось, что он становится очень мудрым. Однажды он сказал со смехом: «Я начинаю чувствовать себя настоящим мудрецом!» — и таким же тоном другой ответил: «Я тоже, — как это бывает со стариками, рассуждающими перед молодыми».

Но немного позже, возвращаясь к теме, Гуру сказал: — К сожалению, то, чему человек учится через опыт других, может оказаться ловушкой. Возникает соблазн использовать чужой опыт как защиту от собственного. — И из этого он перешел к тому, чтобы убеждать Джали не держать себя в стороне от обычной жизненной суматохи и борьбы. — Ты подрастаешь, чтобы стать раджой и человеком мысли; поэтому вряд ли ты встретишь на своем пути лишения и опасности; но если среди превратностей жизни ты все же столкнешься с ними, тем лучше.

И в другой раз он сказал: — Я знаю, что это твое желание, твое намерение — не стоять ни на каком реальном или воображаемом превосходстве в общении с простым человеком, но помни, что гораздо легче отказаться от места и жизненного плана, чем от привычки ума. Об этом Мохан вскоре узнал. У человека есть определенные привычки ума — обычно отражающиеся в определенных манерах — о которых он постоянно не подозревает. Человек может отказываться от денег, комфорта, привилегий — фактически, как он думает, от всего — и все же...

— И все же, что?

— И все же он не отказывается от того, что необходимо для вступления в истинное товарищество с другими. Неизвестно для самого себя, он кое-что придерживает. И так может случиться, что после целого дня общения с простыми людьми на условиях полного равенства и дружелюбия, прощаясь, он кивнет им головой, и этим одним мгновением перечеркнет все, ибо в нем вновь заявят о себе все те притязания, от которых он отказался. Он может не осознавать, что сделал, а крестьяне могут не осознавать, что они это заметили. Однако в их сердцах этот кивок возымел действие.

— Но Мохан не такой! — быстро сказал Джали.

Гуру улыбнулся.

— Нет, Мохан не такой. Но в своих отношениях с крестьянами ему все еще трудно помешать своим привычкам ума расстраивать свои намерения. — Как? — Позвольте мне попытаться вспомнить пример! — О да! То собрание крестьян, когда Умед Сингх...

— Я помню. Но что Мохан сделал неправильно?

— Видишь ли, меня там не было. Но он рассказал мне, что устроил демонстрацию спокойного достоинства, которая заставила крестьян почувствовать себя глубоко пристыженными. Однако две минуты спустя, оставшись наедине с Дамаянти, он метался по комнате и бушевал от ярости. Я не говорю, что ему следовало вести себя точно так же перед крестьянами, поскольку именно они были настоящими обидчиками, но было бы лучше, если бы он не побоялся слишком гордого вида, чтобы раскрыть им свои истинные чувства. Вместо того чтобы отступать от него в благоговении как от высшего существа, они почувствовали бы его как одного из самих себя; и многие вскочили бы на ноги в его защиту. Невидимая преграда между ним и ими была бы ослаблена, а не укреплена.

Джали вспыхнул. — Вы очень непреклонны, Гуру.

— Ах, мой сын! — И старик вздохнул. — Именно потому, что я по собственному жизненному опыту знаю, в чем заключается эта опасность, я так тревожусь предупредить тебя о ней.

— Но в чем именно заключается опасность?

— Я расскажу тебе о себе, и тогда ты увидишь. Было время, когда я пользовался довольно большой репутацией святого человека. Тысячи людей стекались увидеть меня каждый год и уходили распевая мне хвалу. Я не отпускал ни одного человека, не выслушав его наедине, и мне крайне редко не удавалось дать ему почувствовать, что во мне он имеет друга. Но иногда приходил кто-то, кого я не мог удовлетворить. Был один человек, который приходил снова и снова и всегда уходил разочарованным. Он был менее поглощен собой, чем другие, он производил на меня впечатление доброты, это был человек, которому, как я чувствовал, нравлюсь я; и все же он всегда уходил сам опечаленный и оставляя печальным меня. Однажды ночью я проснулся, и внезапно меня охватило смятение, ибо я осознал — причина, по которой я не мог оказать этому человеку помощь, заключалась в том, что он видел, что я сам нуждаюсь в помощи и утешении. Он увидел то, чего я отказывался видеть — что моя жизнь была притворством, что я горд, одинок, несчастен и напуган. Он увидел, что чем больше я принуждал себя отдавать другим, тем меньше был способен или готов принимать от них. Он хотел взаимности, а я не желал этого признавать. Под всей моей дружелюбностью скрывалось маленькое, твердое ядро гордыни и страха. Я был полон решимости скрывать свою усталость, свое одиночество, свое недовольство собой. Я боялся истинного товарищества и всего, что оно влечет за собой. А он, обладавший истинным инстинктом дружбы, знал это сердцем.

— После этого я пытался быть другим; но поначалу без особого успеха. Толпа приходила ко мне со смирением, искренностью и мужеством обнажать передо мной свою душу, а я не

мог ответить им тем же. Моя тайная гордыня породила во мне привычки ума, которые я был совершенно неспособен сломить. В этот период я все яснее видел, что те, кого я исцелял, во многих отношениях были лучше меня. Какое-то время я пытался убедить себя, что мой долг — «творить добро», даже если ради этого мне придется стать лицедеем. Но вскоре мне показалось подозрительным то, что в качестве святого человека я мог заниматься своим делом восемнадцать часов из двадцати четырех, тогда как когда я пытался встречаться с другими на равных, я истощался за вдвое меньшее время. — В конце концов я отказался от всяких притязаний на превосходство над кем бы то ни было.

Пока Джали обдумывал это, он добавил: — Занять положение превосходства, встать на какую-либо моральную, интеллектуальную или социальную ступеньку преимущества — это вещь, которую человек часто делает сам того не осознавая: вот в чем моя мысль. — Но теперь... хочешь, я расскажу тебе о ранних днях в Хава-Гхаре?

— Да, — отозвался Джали с нетерпением. — Расскажи мне, пожалуйста, о Дамаянти. Была ли она счастлива?

Несколько мгновений Гуру молчал. Он посмотрел на юношу с улыбкой. — Здесь так много нужно сказать! Переход из Летнего дворца в Хава-ГХари дался Дамаянти гораздо тяжелее, чем Мохану. И она знала, что так оно и будет.

— Почему тяжелее?

Гуру подумал, затем ответил: — Менее умная женщина могла бы легче решиться на эту перемену и совершила бы ее ценой меньшей жертвы. Но Дамаянти взвесила полную цену и приняла ее. Мое опасение в то время заключалось в том, как бы она не заняла позицию: «Я делаю это ради Мохана. Что касается идей, лежащих в основе, я не верю в них и не не верю. Пусть останется так!»? Это была бы типично женская позиция. Но лишь однажды она к ней прибегла. Однажды она вернулась после разговора с Лакшми, чтобы сказать, что все дело лишь в точке зрения, и что посмотрев на вопрос с других точек зрения, она действительно не чувствует себя способной составить собственное мнение. Но, добавила она, она довольствуется тем, что полагается на мое.

— Что ты ответил?

— Я был очень разочарован, ибо люди, занимающие такую позицию, обычно цепляются за нее крайне упрямо. Все, что я сказал — что жить значит мыслить, чувствовать и действовать, и что поэтому невозможно жить по принципу, будто вы не знаете, как вам следует мыслить, чувствовать или действовать. Кроме того, если вы действительно ни в чем не уверены, как вы можете быть уверены в том, что вы уверены в этом?

Джали рассмеялся.

— Ты можешь смеяться, — сказал Гуру, — но такая позиция очень распространена и часто используется для оправдания дурного образа жизни или становится основой весьма

пагубной разновидности терпимости — я имею в виду отказ осуждать порочные и глупые взгляды. К моему великому облегчению, однако, Дамаянти, подобно тебе, рассмеялась и оставила эту позицию.

— Она очень честна, — сказал Джали, и его тон снова заставил Гуру улыбнуться.

— Действительно так! — согласился он. — И способна на большое беспристрастие тоже. Я помню один день в Летнем дворце, когда, повернув голову, я поймал ее взгляд, устремленный на меня с почти угрожающей пристальностью, которая иногда бывает в ее глазах. Ты понимаешь, о чем я?

Джали кивнул.

— Меня побудило воскликнуть: «Ты ненавидишь меня?» Но в следующий момент я ответил себе сам: «Нет, не ненавидишь. Это поистине замечательно».

— С чего бы мне тебя ненавидеть? — спросила она.

— Я мог бы ответить: «Потому что я преследовал тебя с самой нашей первой встречи!» — но все, что я сказал — это что заметил, как сильно она привязалась к Летнему дворцу. По правде говоря, я видел, что она считает его домом, и домом Савитри. Не слишком величественный, приятно состарившийся, прекрасный красотой достойной традиции, этот старый дом, по ее ощущениям, дышал безопасностью. Жить там давало ей, чувствовала она, место в мире, которому не нужно завидовать никому — место, также недостаточно грандиозное, чтобы сделать тебя мишенью для зависти. Кроме того, делая свой выбор, Дамаянти прекрасно понимала, что делает, точно так же, как понимал ты, покидая дворец в Даулатпуре, чтобы прийти сюда. Но для тебя цена была ничтожна; для Дамаянти поставить людей Дворца ни во что значило бесконечно больше. Я говорю не о жертве социального престижа, приятного общества или прелестей жизни; я говорю о — чем? Можешь догадаться?

Джали покачал головой.

— Что ж! — медленно произнес Гуру, — дело вот в чем. В жизни женщины сущностные человеческие ценности, социальные ценности и сексуальные ценности переплетены самым сложным образом. По сравнению с мужчиной, женщине есть гораздо больше что терять и, на первый взгляд, гораздо меньше что приобретать, будучи чуждой мирскому.

— Чувствовала ли это Дамаянти?

— Чувствовала. С самого начала она видела, какие огромные отречения здесь замешаны — жертву, фактически, определенных частей самой себя, на которые она, как женщина, считала, что имеет право.

— Я еще не понимаю.

— Я еще не закончил. Дамаянти видела, что в будущем, не имея возможности полагаться на мир в своей уверенности в себе, ей придется полагаться на саму себя. Более того, она не сможет полагаться на ту часть себя, которая принадлежит миру. Ей придется распутать ту часть себя, которая является по сути личной и учитывающей общечеловеческие ценности, от той части, которая социальна и сексуальна, и учитывает ценности мира.

— Почему ты ставишь социальное и сексуальное вместе?

— Потому что мир ожидает от женщины, что она будет торговать тем фактом, что она женщина. Кроме того, женщину вроде Дамаянти общество поощряет думать о себе как о Принцессе — великой даме — а великих дам принято поощрять проявлять множество отвратительных черт характера.

Джали рассмеялся, но внезапно остановился и нахмурился. — Мужчин тоже поощряют думать о себе таким образом.

— Да.

— Я думаю, — сказал Джали, — о Ранджире.

Гуру пристально посмотрел на него. — Ранджир? — И затем продолжил: — Я понимаю. Дамаянти рассказала мне о том разговоре, который был у вас с ней незадолго до того, как мы отправились в Агру. — Так случилось, что сегодня днем я думал о Ранджире. Я испытывал раскаяние из-за него.

— Какое основание у тебя есть для раскаяния?

— Я тебе скажу. На лице Гуру появилось выражение печали. — Я довольно хорошо знал Ранджира. Он был прекрасным человеком. Ты тоже это чувствовал. И ты чувствуешь, что его смерть не была хорошей смертью, и ты прав. Что ж, вот почему я не могу думать о нем сейчас без самоосуждения. Однажды он пришел в лощину, когда там был Хари, и рассказал нам, что собирается сделать. А я сказал очень мало. Мог ли я сказать больше? Мог ли я преодолеть чувство бессилия, которое угнетало меня? Мог ли я отвести Ранджира в сторону и сказать: «Друг мой, не делай этого! Возьми свою смелость в обе руки и поверни назад! В мире есть вещи, ради которых действительно стоит умереть, — так же, как есть вещи, ради которых действительно стоит жить. И в глубине души ты это знаешь. Жизненно важное, обнадеживающее и хорошее находится совсем рядом — в пределах досягаемости твоей руки. И именно потому, что твоя рука не осмеливается схватить их, ты проходишь по жизни без надежды. Я говорю: „Возьми свою смелость в руку!“», потому что хотя такие люди, как ты, будут идти на смерть с улыбкой, они недостаточно храбры, чтобы выбрать правильную вещь, за которую стоит умереть».

— Был бы какой-нибудь толк говорить это? Несомненно, Ранджир говорил себе, что идет на смерть ради собственной гордости и самоуважения. Должен ли я был сказать ему: «Ранджир, какова цена этой гордости и самоуважения, если, не имея корней ни в чем вне

самих себя, они не приносят живительного сока и позволяют тебе медленно увядать в тайном принятии безрадостности? Что это за гордость и самоуважение, которые ничего не дают человеку для жизни? Если они предлагают лишь пустую видимость? Если они превращают человека в актера, который проходит по жизни с изящными жестами, с господской осанкой — а за ними скрывается пустое сердце — то что тогда?»

Комната, в которой они сидели, теперь погрузилась во тьму. Джали встал, подошел к окну и распахнул ставни. Полумесяц, низко висевший на востоке, проливал слабый свет на равнину, и его разум вернулся к той жаркой, темной ночи в Агре, полной ветра и пыли, когда призрак Ранджира шел рядом с ним бок о бок. Он подумал о большом доме, где шла вечеринка Амбиссы, и о маленькой комнате, где он ждал под гул разговоров, просачивающийся сверху из переполненных комнат. А потом вошла Амбисса, пухлая, прямая, благоухающая, спешащая... «Что за мир!» — сказал он теперь сам себе. «Какие трагические обезьяны из нас получаются!»

Вернувшись к кровати, он снова сел рядом с ней. — Вы устали? — спросил он. — Мне уйти?

Гуру покачал головой.

Долгое время никто не говорил, но наконец юноша тихо рассмеялся и сказал: — Помнишь тот вечер в Агре, когда мы ждали у реки? и как пралии пели:

«Каждая женщина — паук,

Ее тело — паутина,

Она прядет ее на фиговом дереве...»

— Да, помню.

— Я думал об этом, и одновременно я думал об Амбиссе, Шрилате и Деви. — И он описал трех женщин, беседующих вместе в маленькой задней комнате Амбиссы, и то, как эта сцена на него подействовала.

В комнате было слишком темно, чтобы видеть лицо Гуру, но он мог догадаться, что тот улыбается; и все же голос, который вскоре донесся до него из сумерек, звучал грустно.

— Так уж вышло, что я могу кое-что рассказать тебе орани Рани Деви. Я разговаривал с ней через несколько часов после того, как она получила известие о смерти мужа. Я пошел во дворец в Даулатпуре, чтобы повидать Мохана, и она была там с Лакшми, когда пришла новость. Лакшми сообщила ей эту новость, и немного позже, выйдя из комнаты, описала мне то, что произошло между ними. Я — ну, я чувствовал примерно то же, что, полагаю, почувствовал бы ты. Но спустя четыре часа, в течение которых Рани Деви была одна, меня позвали войти к ней. Ее терзали сомнения. Она знала, в какой степени она была ответственна за смерть Ранджира — напрасную смерть — не говоря уже о его напрасной жизни. И теперь она спрашивала себя, были ли те чувства, которые заставили ее побудить

его пойти на эту смерть, действительно такими благородными, какими она хотела их считать. Сказать ей что-то утешительное я мог очень немногое.

Джали ничего не сказал, и через мгновение Гуру продолжил: — Почти все люди, независимо от возраста, класса и пола, любят отдыхать на уровне бытия, который едва ли вообще является личным. Это не лучший способ жить, но когда вы видите, что люди чувствуют и действуют таким образом, не придавайте этому слишком большого значения. Типичное не глубже и не могущественнее личного.

— Вы уверены? — произнес Джали тихим, неуверенным голосом. — Иногда мне кажется...

— Нет, тебе нечего бояться; хотя я должен признать, что типичное обладает огромной властью в мире. Его власть — это власть любого сплоченного множества людей. Этим множеством может быть холодное, стойкое, официальное тело, такое как коллегия юристов, или недолговечное, страстное множество, такое как голодная толпа. В любом случае разум, одушевляющий его, узок, груб и жесток. Ибо эти тела — тела искусственных чудовищ, которые меняют свою форму, свою деятельность и свои силы по мере того, как меняются людские условности и заблуждения. За этими чудовищами нет власти Духа. Дух в своем человеческом проявлении обитает в личностях, и именно поэтому личное также универсально. Только личное универсально. Популярный лидер, тонкий государственный деятель или юрист — они говорят лишь за чудовище сегодняшнего дня, и их слова умирают. Но человек, говорящий из собственных личных глубин, говорит за всех людей, слышен всем людям, и его слова не умирают. Это голос Духа, благодаря которому человечество вечно едино.

— Когда человек сдается типичному, он присоединяется к небольшому искусственному сообществу людей, вступая с ними в контакт на поверхностном уровне, чтобы вести мелкую жизнь. Он боится войти в соприкосновение с человечеством, которое можно достичь только на глубоком уровне — на уровне личной жизни.

— Почему люди боятся личной жизни?

— Думаю, ты уже знаешь — по крайней мере отчасти. Но я добавлю вот что: личность имеет дикие и ужасающие глубины. Она содержит демонические силы, которых люди боятся.

Джали молчал.

— Что должны делать человеческие существа, — тихо продолжал другой, — так это править теми демоническими силами вместо того, чтобы убегать от них и отрицать их существование — как часто поступают мужчины, или соглашаться стать их рабами, что свойственно женщинам. Долгое время Мохан убегал — от самого себя, от Дамаянти и от истинного личного контакта со своими собратьями-людьми. Долгое время Дамаянти была частично порабощена.

Он помедитировал несколько мгновений, затем продолжил: — О чем говорит нам наша мифология? О том, что из безполого и неразличимого Брахма вышел сначала мужской принцип, который был созерцательным и творческим воображением, а затем богини действия и страсти. Женщина, пожалуй, ближе к ним, чем мужчина. В душе женщины, думаю, больше конфликтов, чем в душе мужчины, потому что ее желания более разделены и само-противоречивы. Если ей удается установить настоящую внутреннюю гармонию, то ценой больших затрат — и к большей своей славе. Женщине нелегко понять или признать, что верность Духу должна предпочитаться соперничающей верности, требуемой демоническими силами, которые яростно протестуют, заявляя, что они и есть сама Жизнь. Поэтому женщине, чтобы освободиться, приходится решить быть неверной тому, что она чувствует одновременно и частью себя, и большим, чем она сама. Когда Дамаянти решила отказаться от отца ради Мохана, и снова, когда она решила отказаться от Летнего дворца ради Хава-Гхара, ей пришлось бороться с инстинктами, которые казались ей говорящими голосом совести. Ведь чем бы еще ни была жизнь, она — напряжение, и именно из напряжения семейных и сексуальных связей человеческие существа получают самые сильные ощущения того, что они живы. Вот почему женщин так крепко держит связь между родителем и ребенком, между мужем и женой. Следующими по степени напряжения идут отношения, принадлежащие миру социальной конкуренции. Ни одни отношения, которые не являются отношениями взаимного господства и подчинения, никакие отношения, то есть свободные от напряжения и муки, не будут казаться большинству женщин обладающими полной ценностью реальности. Чистая дружба, даже самая крепкая — чистая любовь, даже такая, как у Иисуса Христа — склонны казаться холодными и несущественными по контрасту.

— Но Дамаянти — замечательная женщина, и она нашла больше счастья, чем выпадает большинству женщин. С самого начала, как ты знаешь, я побуждал ее идти путем жизни, который не был путем самопожертвования — что было бы для нее легко — а путем самопреодоления. Я говорю «побуждал», но не взывая к тем эмоциям, которые женщине больше всего нужны как стимул. Ибо стимулом следовать Духу может быть только дух. Есть в женщине нечто, что легко воспламеняется пылающим сердцем святой Терезы или горящим мозгом вдохновенного человека. Но Дух, который не является ни сердцем, ни умом, обращается лишь к той части нашей человеческой природы, которая больше человеческого. Дамаянти следовала своему собственному свету, а не моему, и не мне.

После долгого молчания Джали сказал: — Можно было подумать, что после отказа от столь многого от женщины — да и от мужчины, если на то пошло — останется очень немногое.

Гуру мягко рассмеялся. — Всегда остается больше, чем было вначале.

— В моей жизни, — медленно произнес Джали, — меня будет искушать компромисс.

— Если ты говоришь о внешней жизни, — отозвался Гуру, — я посоветовал бы тебе поступать так всякий раз, когда сможешь.

— Это позволительно?

— На практике безусловно — во избежание ненужных конфликтов — не говоря уже об избегании самодовольства и догматизма. Но компромисс — это не то же самое, что подделка, а подделка недопустима даже в малейшей степени.

— Подделка чего?

— Основного намерения. Намерение никогда не должно быть поддельным; оно также не допускает степеней. От человека требуется страшная чистота намерения.

II

Его долгие послеполуденные беседы с Гуру были тем центром, вокруг которого вращалась жизнь Джали. Свои утра он проводил в полях с крестьянами и в эти часы находил предостаточно времени для размышлений. Дни проходили в счастливой деятельности как тела, так и ума, и он больше не страдал от одиночества. Савитри вернулась из Даулатпура со своей няней, и по совету Гуру он начал давать ей те уроки, которые она получала от матери. В отсутствие Дамаянти Савитри казалась более взрослой. Ее ум был вполне пробужден, хотя в работе она не была исключительно сообразительной. Дамаянти, ребенком, должно быть, соображала быстрее, подумал он; но ведь Савитри унаследовала немало от своего отца. У нее было самоироничное чувство юмора Мохана, и, будучи при этом стремящейся угодить, она отказывалась относиться к своему образованию слишком серьезно. Больше всего ей нравилось сопровождать его во время визитов на фермы, и никогда ему не удавалось лучше ладить с крестьянами, чем когда она была рядом, ибо ее бесцеремонные манеры противодействовали его собственной склонности к чрезмерной вежливости. Новые указы Императора, которые теперь приводились в действие, принесли крестьянам новую надежду. Случаи нужды рассматривались ежедневно, и многочисленные несправедливости уже были исправлены. Мохан тоже сообщал, что в Даулатпуре столы теперь полностью перевернуты, а Моти Сингх повсюду находится в обороне. «Что касается Бходжа, — писал он, — я вижу, что в целом он доволен. Он рад избавиться от давления, которое Моти Сингх, поддерживаемый Сесодией, оказывал на него». А в другом письме он объявил: «Лакшми и Бходж наконец получили свое приглашение! И забавно думать, что причиной тому стали именно новые указы. Ведь Сесодия теперь твердо убежден, что Бходж каким-то образом пронюхал об их приближении. Он приписывает Бходжу массу внутренней осведомленности и большую хитрость. Думаю, он собирается брать пример с него — по крайней мере, на какое-то время». У Джали вошло в привычку раз в неделю навещать гуджаров, которые теперь обосновались на верхних уступах плато, и Савитри упорно упрашивала взять ее с собой. Однажды он наконец согласился, хотя для нее поездка верхом обещала быть долгой. Утро,

в которое они выехали, было мрачным и жарким, низко над головой висели тяжелые тучи. Ночью ему непрерывно снилась Дамаянти, и это повергло его в глубокую подавленность. Пока он ехал, унылый ландшафт действовал на него до такой степени, что он совершенно не мог уделять внимание спутнице, разве что желал бы, чтобы ее здесь не было. Все его недавно обретенное отстранение и смирение исчезли; хотя он все еще был способен видеть вещи такими, какие они есть, он тщетно и мятежно требовал, чтобы они были иными. Так что поездка оказалась не особенно веселой и для бедной Савитри. Впрочем, ей было свойственно то, что, увидев, каково ему, она прекратила свою болтовню и философски удалилась в себя. Время от времени он бросал виноватый взгляд в ее сторону, но очень скоро ее отсутствующий вид заставил его решить, что можно оставить ее там, где она есть. Как только же они оказались в обществе гуджаров, однако, все изменилось. Этот очаровательный народ жил счастливо настоящим и приближал человека к материальному миру в самом приятном его аспекте. Их яркие, похожие на бусинки глаза всегда с интересом были устремлены на то, что лежало непосредственно под их руками, а руки их всегда были заняты. Живя в своего рода нежном общении с предметами своего повседневного обихода, они никогда не спешили покончить с задачей текущего момента. Скука была им неизвестна, и сама идея свободного времени никогда не приходила им в голову. Пасанга, молодого человека, с которым Джали подружился, нашли сидящим у входа в его палатку и мастерившим ловушку для зайцев, которых здесь водилось множество. Он демонстрировал свое рукоделие с сияющими улыбками, которые самым комичным образом морщили его пухлые щеки. Вместе с Пасангом они обошли поселение, отмечая, чего не хватает, чтобы это восполнить. Поселение было не особенно процветающим, но гуджары никогда не жаловались и, казалось, были достаточно довольны. Еда у них была хорошо приготовлена, как Джали уже успел выяснить, с интересным привкусом чужеземных специй, и он был рад, что Савитри она понравилась так же сильно, как и ему. Они ели под открытым небом, несколько капель дождя падали из грозового неба. — Скоро пойдет сильный дождь, — сказал Пасанг, — и вы промокнете насквозь. — Все подняли головы и рассмеялся; торопиться или обращать внимание на перспективу вымокнуть до нитки казалось невозможным здесь; жизнь проживается не так.

Хотя, когда они с Савитри покинули лагерь, был еще ранний послеполуденный час, день стал сумеречным — таким низким и густым было покрывало облаков. Воздух тоже был совершенно неподвижен, и это придавало особое значение не только каждому звуку, но и самому ландшафту. Каждый тростник на болотах стоял прямо и несгибаемо, словно он невосприимчив к движению и неизменен до скончания времен. Джали намеревался ехать довольно быстро, ведь до дома было далеко, но на самом деле большую часть пути они шли медленным шагом. Иногда они разговаривали, а иногда молчали; но теперь в их молчании им казалось, что они все равно вместе. В какой-то момент Савитри вывела его из задумчивости тем, что сказала о Гуру. — Ночью он иногда встает и тихо ходит при лунном свете. Я однажды видела его из своего окна. — Ты его видела! — воскликнул Джали от удивления. — Ты уверена, что это был он? — О да! К тому же я спросила его об этом на

следующий день, и он сказал, что поскольку солнце по-прежнему вызывает у него головную боль, он иногда встает и ходит ночью. О чем он так долго говорит с тобой каждый день? — О твоей матери, — сказал Джали после небольшой паузы. — Тогда ты, должно быть, уже много знаешь о ней. — Да. — Она такая же милая, как ты думал? — Еще милее. Савитри выглядела довольной. Мать и дочь, размышлял он теперь, во многом были очень похожи друг на друга. Было поразительно, сколько юности и веселья оставалось в Дамаянти вопреки всему ее тяжкому опыту. По жизненному опыту он занимал, пожалуй, промежуточное положение между ней и Савитри; но точно так же, как отсутствие опыта у Савитри ничего для него не значило, так и его опыт ничего не значил для ее матери. Он настолько глубоко погрузился в эти мысли, что Савитри пришлось повторить свое следующее замечание три раза, прежде чем она смогла привлечь его внимание. — О чем ты можешь думать! — воскликнула она. — Ты не спишь, потому что твои глаза открыты. Или ты умеешь спать с открытыми глазами, как змея? — Нет, не умею. — Так о чем ты думал? Джали подумал и сказал: — Не скажу тебе. — Почему нет? Полураздраженно он повернул голову, чтобы посмотреть на нее, и на мгновение их глаза встретились. — Какая ты нелепая! — сказал он, смеясь. — Должен ли я рассказывать тебе все свои мысли? — Почему бы и нет? — Ее лицо светилось озорством. — Почему бы и нет? Почему бы и нет?.. Тебе стыдно за свои мысли? — Мне нисколько за них не стыдно. — Тогда расскажи мне их все — каждую! — Хорошо. Расскажу — как-нибудь в другой раз. На это она стала задумчивой, и он спросил себя, не было ли чего-то в его тоне, объясняющего эту перемену. — Давай, Савитри! — сказал он, — нам лучше перейти на рысь. Начинается дождь. Они немного проскакали рысью, а затем снова перешли на шаг, так как Савитри устала. Крупные, тяжелые капли падали, оставляя темные пятна на ее шелковом кафтане. — Я потеряла свой плащ! — воскликнула она в внезапном смятении; и они вспомнили, что она оставила его в одной из палаток гуджаров. — Я одолжу тебе свой, — сказал он. Они остановились, и пока он наклонялся вперед, чтобы завязать собственный кафтан на ее плечах, ему показалось, что она, несомненно, самое изысканное маленькое создание, которое когда-либо видел этот мир. Она оставалась совершенно неподвижной и послушной, пока он устраивал кафтан, даже не пошевелившись, чтобы вытащить волосы из-под тяжелых складок. — Вот! — сказал он наконец, похлопав ее. — А теперь, — заметила она злорадно, — дождь прекратился. Он поднял голову, и действительно так оно и было. Но облака стали чернее прежнего, а солнце опустилось совсем низко. Оно разливало золотой отблеск вдоль западного горизонта. — Когда ты расскажешь мне, какими были твои мысли, они мне понравятся? — спросила она. Он опешил и почувствовал, что действительно краснеет. — Надеюсь, что да. — Резко дернув поводья, он снова пустил обеих лошадей рысью. — Пошли! Скоро станет совсем темно, а нам осталось ехать еще шесть миль. Великая равнина, освещенная светом, пробивавшимся сквозь низкие облака и горизонт, сияла диким, глубоким сиянием. На лице Савитри было выражение удовлетворения. Они ехали молча, пока он, к своему удивлению, не заметил вдали двух всадников, едущих им навстречу. — И кто бы это мог быть? — пробормотал он.

На минуту Савитри пристально вгляделась, а затем воскликнула: — Мне кажется, один из них — отец! — Твой отец! Но я понятия не имел, что он возвращается. — Я тоже. — Но это он! — сказал Джали, и он произнес это с облегчением, ведь по округе все еще бродили беззаконие люди, а Рабиндра советовал ему вернуться до наступления ночи. Несколько минут спустя встреча состоялась, и он был поражен, увидев, что спутником Мохана был Хари. Однако момент для разговоров был неподходящим, так как теперь дождь лил потоками, и вместе с ним поднялся сильный ветер. Тем не менее, пока они все вместе ехали легкой рысью, он окликнул Хари: — Что привело тебя сюда? Есть ли какие-нибудь известия о моей матери? Было трудно расслышать или заставить себя услышать, но Хари крикнул в ответ: «Да!» — и через минуту юноше удалось разобрать, что его мать и Гокал должны прибыть в Агру примерно через неделю. Что касается собственного присутствия в Даулатпуре, Хари объяснил, что Акбар послал его составить отчет о положении дел там со специальным упоминанием действия новых указов. То, что для такой миссии выбрали именно Хари, казалось странным, но юноша равнодушно пропустил это мимо ушей, поскольку его разум был полностью поглощен перспективой необходимости покинуть Хава-Гхар. Очень несчастным закончил он эту поездку, ибо ему казалось, что быть вынужденным покинуть Хава-ГХари до возвращения Дамаянти было бедствием слишком жестоким, чтобы его вынести. Разрыв происходил так внезапно к тому же. Ведь Хари собирался на следующее утро рано отправиться обратно в Агру и, естественно, ожидал, что тот поедет одновременно с ним. Вечер он провел в глубочайшем унынии. Вскоре после рассвета они отправились в путь, причем Хари был в самом лучшем настроении и очень разговорчив. Было совершенно очевидно, что он по-прежнему пользуется полной благосклонностью Императора. — Я вызвался добровольцем на эту работу, — рассказал Хари Джали, — потому что увидел способ оказать услугу Гуру; и, видит небо, я перед ним в долгу! Я собираюсь доложить, что новые указы работают безупречно, что все — включая Бходжа — в восторге от них, и что Даулатпур стал самым мирным и довольным штатом Империи. Это было приятно слышать; но правда ли это целиком? Помедлив мгновение, Джали ответил: — Полагаю, ты сказал Гуру, что собираешься говорить? Хари рассмеялся. — Не совсем. Но ответственность в любом случае моя. Юноша промолчал. Ему было точно известно, что перед отъездом из Агры у Гуру состоялся долгий разговор с Хари; и еще один разговор произошел не двенадцать часов назад. Вне всякого сомнения, Хари выслушал слова предостережения, и тем не менее его самоуверенность вряд ли могла бы быть более бурной. Весь день, пока они ехали под ярким солнцем, продолжалось его веселое описание своей жизни в Агре. Это была захватывающая, яркая и забавная картина, которую он рисовал, и к концу дня Джали почувствовал некоторое успокоение. Успокаивало то, что Мабун Дас был восстановлен в должности со всей своей прежней властью. — И, — торжествующе воскликнул Хари, — мы с Мабуном понимаем друг друга. Я могу рассчитывать на то, что этот человек будет стоять за меня горой и в горе, и в радости. Тем не менее, прежде чем они достигли конца своего путешествия, Джали снова был полон дурных предчувствий и даже немного скучал. Его интерес угасал из-за недоверия. Ничто из того, что говорил Хари, не звучало так, будто это могло быть полностью правдой. И все же

многое из того, что казалось наиболее неправдоподобным, должно было быть правдой, ибо оно было слишком неправдоподобным, чтобы его можно было выдумать. Он дивился недоумению, окрашенному отвращением. Когда были сделаны все скидки на типично «историческое» изложение сцены у Хари — изложение, в котором каждому происшествию и каждому персонажу придавалась мишурная драматическая ценность, — оставшееся выглядело достаточно кричащим. Мир общественных дел больше всего напоминал чудовищную классную комнату, где взрослые дети играют ярко раскрашенными и очень опасными игрушками. На этой сцене актерами демонстрировалась необычайная грубость чувств и вульгарность цели. Никакой чувствительности, никакого щепетильности, нигде ничего, кроме коварства! И как может быть иначе, если по правилам игры самый большой негодяй всегда получает лучший шанс? Прибыв в Агру, он направился прямиком в Старый дворец, где Хари распорядился разместить его. Ему показалось странным снова ступать по коридорам, по которым он когда-то бродил нервным и несчастным ребенком. «Слава богу! — сказал он себе, думая о Савитри, — не все дети такие, каким был я». Немного позже, в вечерней прохладе, пришла записка от Хари, вызывавшая его на террасу. Это была не та терраса, где у Гуру была аудиенция, а другая, которую он помнил по прежним временам. Это, гласил его первый взгляд, было то место, где важные придворные персоны собирались в конце дня, чтобы подышать воздухом, обменяться новостями и показать себя. Здесь царила атмосфера напряженной застенчивости, исходившая — словно зримо — от тех манер непринужденности, которые каждый прилагал такие усилия, чтобы носить на себе. Запуганный, Джали на мгновение остановился на окраине собрания, но, увидев, что повсюду носят выражение лица человека, несущего важное сообщение важному другу, он почувствовал себя равным ситуации и вскоре начал расхаживать в относительном комфорте. Хари он нигде не мог найти, но прошло совсем немного времени, прежде чем он наткнулся на Мабуна Даса. Да, вот и Мабун! В одежде, совсем не похожей на одеяние беглеца в пещере, но во всем остальном — точно такой же!

Наиболее дружелюбными и в то же время наиболее характерными были приветствия, которые Мабун дал ему. В быстрой последовательности он с насмешкой упомянул их последнюю встречу, осведомился о здоровье Гуру, выразил надежду, что Рани Сита и Гокал совершают хорошее путешествие, и спросил, вполне ли Джали удобно в отведенных ему покоях; затем, похлопав юношу по плечу с отеческой нежностью, он отвернулся. Джали уже двинулся дальше, когда почувствовал на своей руке удерживающую руку. — Еще одно слово! — Рот Мабуна теперь был совсем близко к его уху. — Я не совсем доволен твоим дядей Хари. Пожалуйста, посмотри, сможешь ли ты убедить его — прямо или косвенно — на время покинуть Агру. Я сам говорил с ним, конечно, но без особого эффекта. — Он сделал паузу, а затем с ноткой нетерпения, словно ожидая более быстрого ответа, продолжил: — Ты понимаешь? Можешь дать намек своей матери. Скажи ей, что я не могу заставить его осознать, что враги опасны. С этим он ушел. Смущенный и встревоженный, Джали хотел бы задать вопросы, но Мабун уже разговаривал с кем-то другим. А затем, к его возросшему замешательству, он заметил, что трое молодых людей уставились на него

ярдов с двадцати, и что один из них был не кто иной, как его двоюродный брат Али. Было странно, насколько неприятным было само зрелище Али. Инстинктивно он повернулся спиной, но через несколько секунд искушение бросить взгляд через плечо взяло верх, и к своему отвращению он увидел, как Али отделяется от двух других и приближается. Он стоял неподвижно, делая вид, что не видит. В следующее мгновение голос Али прозвучал у его уха. В нем была искусственная сердечность тона, которая ни к чему не обязывала говорящего, ни к чему его не выставляла, настолько она была медной от условностей. Али мог проигнорировать отпор и пройти мимо со своим неизменным видом спереди. Но Джали никогда не был готов к отпорам, и уж точно не меньше, чем сейчас, ибо Али, увиденный вблизи, привел его в изумление. Красивая внешность кузена все еще была при нем; но это лицо, хотя оно оставалось безупречным, каким-то образом стало невыразимо вероломным по отношению к тому, кто его носил. Оно так плохо выдавало Али, что тот опустил глаза. Произнеся пару пустых фраз, Али важно удалился. Провожая его взглядом, Джали продолжал дивиться, ибо в его сознании промелькнула мысль: «И это сын Хари!» Через минуту он пожал плечами. «Я ухожу!» — пробормотал он вслух и тут же начал прокладывать себе путь сквозь толпу, которая теперь стала очень густой. Он был так устремлен к бегству, что оттолкнул бы без церемоний раджу Бходжа, даже не увидев, кто это, если бы его не остановил учтивый и знакомый голос. — Раджа! — воскликнул он, и в его акценте звучала неподдельная радость. — Как приятно видеть вас снова! Но хотя личность раджи Бходжа выделялась среди прочих привкусом, который был достаточно приятен, и хотя сам раджа со своей стороны издал искренне дружескую ноту в момент их встречи, прошло немного времени, прежде чем юноша решил снова уйти. Что-то — легкое неудобство — в Бходже подсказало ему, что он не ошибся, предположив, что Лакшми и ее друзья решили оставить его; и было жаль заставлять Бходжа стоять там с этой улыбкой полувиноватой любезности на губах. Кроме того, он понял, что сколь мало Бходжу нужно было быть начеку в социальном плане, тем не менее он — даже он! — не был защищен от атмосферы этой компании. Общественная застенчивость держала его в своих тисках. Вернувшись в свою комнату, юноша глубоко вздохнул, встряхнулся и упал на диван. Но в следующий момент он снова вскочил, так как увидел, что в его отсутствие ему принесли два письма. Одно (которое было переслано из Хава-Гхара) было от Дамаянти. В нескольких строках она объявила о своем скором возвращении домой. Другое было от его матери. Он перечитал письмо несколько раз, а затем погрузился в размышления. За месяцы их разлуки любовь к матери часто заставляла его желать увидеть ее снова, но у него не было желания возвращаться к домашней жизни — ни в ее старом облике, ни в каком-либо новом. К тому же — и это приобрело первостепенную важность — ее общество никак не могло восполнить для него те общества, которые он будет терять. Так что пока он сидел неподвижно в постепенно темнеющей комнате, им овладело радостное возбуждение. Ведь если только она в своем письме или он в своем чтении не допускали какой-то необыкновенной ошибки, она никак не могла добраться до Агры еще как минимум месяц. У него предостаточно времени, чтобы вернуться в Хава-ГХари и снова увидеть Дамаянти! Он изучил дату письма, неоднократно производил расчеты времени и расстояния и всегда

приходил к одному и тому же выводу. Следовательно, Хари должен был совершить ошибку. И разве было в этом что-то особенно неправдоподобное?

III

Немного погодя слуга пришел, чтобы проводить его в новый дом Хари, где он должен был ужинать. Хотя он и ожидал значительного великолепия — ибо Хари с ухмылкой сообщил ему, что живет на широкую ногу за счет Акбара, — размер и великолепие особняка, в который его ввели, заставили его вполне искренне ахнуть от изумления. Такие огромные залы! столько огней! столько слуг! какой варварский дух величия! Он озирался по сторонам, весьма забавляясь, — и желал бы, чтобы здесь был Хари и наслаждался его весельем — как тот несомненно сделал бы. Но хотя Хари просил его прийти пораньше, он оставался недоступен, и появился лишь тогда, когда все остальные гости уже прибыли. Он появился с большим блеском, ворвавшись в залу словно вихрь, со свитой из огромного числа слуг по пятам, в то время как музыканты, расставленные снаружи, грянули праздничную музыку. В течение следующих нескольких минут все место гремело приветствиями, которые он выкрикивал во весь голос; а затем, посреди гула громких голосов и еще более громкого смеха, начался ужин. К этому времени Джали оправился от своего изумления настолько, чтобы понять, что затеял его дядя. Хари явно захватила идея принять эффектный полуварварский стиль жизни — не такая уж плохая мысль, пожалуй, ведь она определенно хорошо подходила к его новообретенной политической роли — и к его дарованиям, среди которых было довольно тонкое чувство буффонады. Его наряд для этого особого случая состоял из одежды его собственной горной страны, которая была достаточно кричащей, но сделалась еще крикливее благодаря штрихам, придуманным им самим. Все, заметил Джали, обращались с ним с уважением, хотя признаки ласкового веселья тоже не отсутствовали — особенно среди его собственных товарищей-офицеров, составлявших около трети компании. Молодой человек слева от Джали, например, не мог смотреть на хозяина без того, чтобы не разразиться громкими раскатами смеха. Время от времени он также толкал соседа в ребра, чтобы обратить внимание на какую-нибудь черту развлечения «которую он считал более богато абсурдной, чем остальные». По другую сторону от Джали сидел мужчина средних лет по имени Лал Мехта, который выглядел довольно неуместно в этой пышной, шумной ассамблее. Джали почувствовал благодарность Хари за то, что тот дал ему такого соседа. Лал Мехта, если и был немного бесцветен, был умен и, как вскоре выяснил Джали, знал обо всех всё. Стало очевидно также, что он является верным другом Хари, и через некоторое время юноша почувствовал себя вправе повторить ему то, что Мабун Дас сказал на террасе. Лал Мехта кивнул. — Мабун совершенно прав, конечно, Хари совсем не создан для такой жизни. Он слишком хорош для нее. — Слишком хорош для любой общественной жизни? — Для такой точно. —

Он пожал плечами. — Возможно, для любой вообще. Либо ты становишься фигляром и делаешь карьеру, либо добросовестно вкалываешь, как это делал я, и тупеешь. Джали одарил собеседника улыбкой, в которой были и симпатия, и уважение, а затем спросил, могут ли Шейх Мобарек и Абдул Фазл представлять опасность для Хари. Лал Мехта поджал губы. — Они не отравят его, если вы это имеете в виду. — Есть кто-то, кто может его отравить? — Что ж! — нет, если Мабун Дас сможет этому помешать. А он присматривает за ним довольно неплохо. Ужин продолжался почти всю ночь. Некоторым гостям пришлось уйти рано, другие прибыли поздно. Они различались по возрасту и роду занятий, но у них была одна общая черта: все они пребывали в самом лучшем расположении духа. Через всю группу проходил сильный ток возбуждения и удовлетворения, и впервые Джали осознал, что эти люди, один и все вместе, были победителями. Долгая ожесточенная борьба между партией Салима и Данияла закончилась их победой, и теперь они делили добычу. Их разговоры почти целиком состояли о местах и продвижениях по службе. Они были переполнены простодушным, нескрываемым упоением. Время от времени кто-нибудь упоминал «беднягу такого-то», который «отправился восвояси». Это делалось без мстительности — просто с удовлетворением. — Мобарек и Абдул Фазл среди тех, кто «отправился»? — спросил Джали. — Едва ли. Но никто не уделяет им большого внимания. — Кого имел в виду Мабун, говоря, что у Хари опасные враги? — Его бывшую жену, для начала, — незамедлительно ответил Лал Мехта. — Но я рад сообщить, что она и ее новый муж Макх-хан удалились — по крайней мере пока — в частную жизнь. Они покинули Агру. Однако есть немало других... — А как насчет сына Хари, Али? Джали помедлил мгновение, прежде чем сказать это, и Лал Мехта, скорчив гримасу, помедлил перед ответом. — Несчастное создание! — пробормотал он. — Я видел его сегодня днем на террасе. Лал Мехта удивился. — Он разговаривал с двумя молодыми людьми примерно его возраста. Они выглядели... очень иначе. — Можете описать их? Джали так и сделал. Лал Мехта нахмурился и издал звук недовольства. — Это должны быть сыновья Макх-хана. Но почему они снова спустились с севера? Мне хотелось бы знать об этом. Наступило молчание, затем Джали сказал: — Я слышал, что принцессе Лалите удалось скрыться вполне успешно. Другой улыбнулся. — О да! И теперь она счастливо замужем за молодым Али-Бегом, и все ее беды позади. Но... — Он помолчал и снова задумался. — Мне не нравится возвращение этих двух молодых людей. И зачем они были с Али, которого они наверняка презирают? Видишь ли, — и он повернулся лицом к Джали, — ни у кого в мире нет большей обиды на Хари, чем у них. Когда их сестра была помолвлена с Даниялом, а Даниял, казалось, был предназначен для Трона, они позаботились о том, чтобы у них впереди были блестящие карьеры. Но теперь… В этот момент голос Хари прогремел вдоль стола. — Наполняйте свои бокалы, все! Этот тост — за Али-Бега и его невесту! Да живут они долго и процветают! — Ура! Браво! Троекратное ура принцессе Лалите! — закричал молодой человек слева от Джали. — За девушку, которая... Кто-то хлопнул ладонью по его рту, но было ясно, что каждый может догадаться, какими были подавленные слова, и тост был выпит с энтузиазмом. К этому времени все — даже Лал Мехта — слегка перебрали спиртного, и Джали, решивший отдаться духу вечеринки, провел оставшиеся часы ночи в

восхитительном золотистом тумане. Солнце только всходило, когда последний гость отбыл. Помахав ему с порога, Хари потянулся, как кот, в теплом свете, зевнул и потер глаза. — Я ничуть не сонный, — сказал он Джали. — А ты? — Ничуть. — Тогда пойдем в сад. — И, взяв племянника под руку, он увлек его обратно в дом. — Давай насладимся утром, пока оно свежее. В конце сада, зеленевшего свежесбрызнутой травой и тенистыми деревьями, стояла беседка, в углу которой был расстелен ковер. Хари издал еще один великий зевок, бросился на груду подушек и сказал: — Ну, надеюсь, тебе не было скучно. Молодой человек справа от тебя, принц Датту Сингх, не такой дурак, каким притворяется. Ты это обнаружил? — Да, — неправдиво ответил Джали и собирался перевести разговор на Лал Мехту, как вдруг лицо Хари приняло комическое выражение ужаса, и, оглянувшись, он увидел приближающегося к ним по лужайке мажордома, несущего перед собой большой золотой поднос, доверху нагруженный письмами.

— В самом деле, мой добрый Баладжи! — воскликнул Хари со стоном. — Ты хочешь убить меня на месте? Я спал? я завтракал? Нет! И все же... Убери их, говорю тебе! Убери прочь! Я отказываюсь смотреть на что-либо до своего омовения. — А затем он обратился к Джали: — Каждый день одно и то же! Но я никогда не позволяю своим секретарям прикасаться к моим письмам, пока сам их не просмотрю. И я скажу тебе почему! Только на прошлой неделе мой друг Пертеб Рао... — И он рассказал историю, которой Джали совершенно не смог уделить внимание. Юноша сгорал от желания поднять вопрос о прибытии его матери, и как только это стало возможным, он достал ее письмо из кармана и спросил Хари как можно вежливее, не было ли какой-нибудь ошибки в датах. После того как несколько минут в смятении защищался, Хари признал ошибку. Собственно говоря, ему ничего другого и не оставалось делать, но любое раздражение, которое мог бы почувствовать Джали (ибо было очевидно, что Хари проявил крайнюю небрежность), предотвращалось тем разочарованием, которое теперь выказывал другой. — Еще четыре недели ждать! — повторял он без конца, — О Рама, Рама! еще целых четыре недели! Взгляд Джали задумчиво покоился на нем, и в эти мгновения юноша осознал, что счел бы невозможным простить Хари, если бы тот не дал этих свидетельств огорчения. — Как сильно одна любовь отличается от другой! — сказал он про себя. За последние минуты атмосфера в беседке полностью изменилась. На лице Хари появилось выражение вспоминающей грусти, слегка озадаченный вид, и когда он снова начал говорить, его голос был тихим и нерешительным. — Очень трудно заглянуть в будущее... — Подняв глаза, он бросил на Джали быстрый взгляд, а затем отвернулся. — Но все равно, следует полагать, нужно. Я имею в виду... мы должны подумать о том, какой будет жизнь твоей матери. Было ясно, что он заставляет себя сделать это из мучительного чувства долга. Смущенный в равной степени, но сочувствующий, Джали ответил как мог. И так некоторое время они обменивались отрывистыми фразами, которые, хотя и мало проливали свет на будущее, по крайней мере служили свидетельством дружеского чувства. И все же для Джали этот разговор не был особенно обнадеживающим. Он был совершенно обескуражен, например, когда Хари сказал: «Думаю, твоей матери будет приятно услышать, что я присоединился к Дин-и-

илахи. В конце концов, это практически то же самое, что стать христианином; и это также делает мое положение при Акбаре сильнее, чем когда-либо». И снова, говоря о своем политическом будущем, он добавил: «Твоя мать будет рада, что я продолжаю идти по своему нынешнему пути, я уверен в этом. Я вижу, как она проводит много времени в Агре и вполне наслаждается здешней жизнью». С какой уверенностью делал Хари эти заявления? Неужели жизнь в этом нереальном мире уже притупила его чувство реальности? И его более тонкие восприятия? Нет; скорее всего, он игнорировал их преднамеренным актом воли. Его следующая речь обладала таким очарованием, что недоумение юноши стало полным. — Послушай! — сказал он, подавшись вперед, лицо его сияло от нетерпения. — У меня есть небольшой сюрприз для твоей матери. Она наверняка прибудет довольно уставшей от путешествия — не очень склонная к жаре и суете Агры. Так вот, на днях мне пришло в голову: а почему бы не поселить ее в Павильоне на Старом Охотничьем угодье? Помнишь это место? Это там, где жил Гокал во время Дарбара — когда ты впервые приехал сюда. Я ходил и осматривал дом около недели назад. Он был ужасно пыльным и грязным и нуждался в небольшом ремонте, но все это вскоре было исправлено. По сути, место теперь готово для нее — и я хочу, чтобы ты пришел и посмотрел на него. Они отправились лишь поздно днем. За это время Джали пытался немного поспать, но волнение при мысли о возвращении в Хава-ГХари держало его бодрым. К тому же его беспокоила невозможность убедить Хари покинуть Агру. Его мать смогла бы это сделать, но больше никто. Пока он ехал верхом в мягком, пыльном свете послеполуденного солнца, его мысли уносились в прошлое, и перспектива снова увидеть Павильон одновременно привлекала и отталкивала его. Он вспомнил скрытую, приятную тревогу, с которой шел на свои первые встречи с Гуневати в спутанных зарослях; он вспомнил их долгие совещания у маленького разрушенного храма и обезьян, дремлющих на фиговом дереве... Какими жаркими и неподвижными были тогда послеполуденные часы! Вскоре они оставили город позади и приближались к лесу по узкой, пустынной дороге, которую он так хорошо знал. Она ничуть не изменилась. Эта дорога, и маленькая калитка в угодья, и тропинка, извивающаяся под деревьями — все было странно знакомым — более знакомым, чем что-либо другое в Агре. Там, где тропинка огибала озеро, он взглянул на Хари, гадая, о чем тот думает, что вспоминает — помнит ли он, например, как бесчисленные лягушки (которых здесь теперь не было) прыгали в воду при приближении человека. Все, кроме лягушек, осталось прежним. Павильон выглядел точно так же — серебристо-серого цвета и не менее прекрасный, чем сохранила его память.

На мгновение они оба остановились на краю поляны. — Затем Хари поспешил вперед, взбежал по серым каменным ступеням, пересек террасу и вошел внутрь, горя желанием увидеть, были ли его последние приказы должным образом исполнены. Медленно Джали последовал за ним, но вместо того, чтобы войти, он прошел в конец террасы и там замер, глядя на лес и озеро. Под ним продолговатый водный пласт лежал безмятежно, отражая неподвижные деревья и вечернее небо. Он покоился в тишине, которая всегда казалась ему имеющей мистическое значение, и мысли об отце пришли ему в голову. «Теперь я

понимаю его, — сказал он себе. — Я чувствую, что какая-то часть его живет во мне». Звук чьего-то выхода из Павильона заставил его повернуть голову. — Идем же, — позвал Хари. — Я хочу показать тебе все кругом. — Он выглядел очень довольным — со всем самодовольством ребенка, жаждущего показать, каким умным он был. Джали последовал за ним внутрь. Маленький дом был полностью восстановлен до своей прежней свежести и очарования. Почти все было новым, и все же казалось принадлежащим этому месту. Комнаты выглядели точно так же, как в старые дни. Там даже были цветы на их привычных местах — те самые цветы, которые особенно любила его мать. Хари провел его из комнаты в комнату и наконец отвел на кухню в задней части дома. Здесь тоже обо всем подумали, ничего не упустили. Выйдя снова на террасу, они сели на ступеньки, и Джали осознал, сильнее чем когда-либо прежде, узы сочувствия между ними. Из этого он черпал ободрение. Будущее больше не казалось ему таким трудным, таким безнадежным. Нет! Гуру был прав: нет таких трудностей, которые нельзя было бы преодолеть, если бы мужчины и женщины только обратились к узам своего общего человечества. Если заглянуть достаточно глубоко, их всегда можно найти. Вскоре, когда Хари нарушил молчание, чтобы поговорить о прибытии Ситы в Павильон, он смог присоединиться к нему в составлении мелких, повседневных планов без всякого чувства стеснения или нереальности. Минуты скользили мимо, свет угасал из неба и озера, покой вечера сгущался. Каким глубоким было это безмолвие! Нигде ни звука, кроме лошадей, которые, привязанные под террасой, били копытами и трясли головами, отгоняя мух. — Что ж! — сказал Хари наконец, — полагаю, нам пора возвращаться назад. — Он начал подниматься, но в этот момент внизу раздался шум, и внезапно лошадь Джали была замечена скачущей рысью вниз по тропе к деревьям. Юноша вскочил на ноги: — Черт возьми, что на нее нашло! Она должно быть порвала поводья. — Наверное, ее укусила слепень. Минуту они стояли прислушиваясь, прекратится ли звук рыси. Он прекратился. — Все в порядке! — улыбнулся Хари. — Если ты подойдешь к ней тихо, она позволит себя поймать. Но иди тихо. Дай ей время. Джали спустился по ступеням и осторожно двинулся по тропинке. Другая лошадь посмотрела на него прижатыми ушами, когда он проходил мимо. На первом повороте тропы он увидел свою кобылу стоящей примерно в пятидесяти ярдах. Тихо окликая, он подходил шаг за шагом. Она позволила ему подойти на расстояние нескольких шагов, затем покачала головой и неуверенно отошла прочь. Это повторилось несколько раз, пока наконец он не оставил попыток и не остановился. Внезапное беспокойство овладело им. Мертвая тишина показалась зловещей, место показалось опасным, и слова Мабуна об врагах Хари вернулись ему в память.

Резко обернувшись, он поспешил назад, глядя направо и налево в кусты по мере продвижения. Когда Павильон показался в поле зрения, все казалось тем же самым. Лошадь Хари все еще стояла там, и если самого Хари не было видно, то лишь потому, что он снова сел. Но когда юноша достиг подножия ступеней, он резко остановился. Хари распластался плашмя на спине в положении, которое было ужасно неестественным. С криком он бросился к нему. Глаза Хари были открыты и смотрели невидящим взглядом;

его губы были оттянуты от зубов. Тонкая струйка крови стекала с одной ступени на следующую, и казалось, она шла из-за спины Хари. Он просунул руку между телом и камнем и почувствовал сочащуюся теплую кровь. Хари был заколот в спину и был мертв.

Джали начал дрожать всеми конечностями. «Он умер, не зная об этом, — сказал он себе. — Он умер, не зная об этом».

Но у Хари было несколько секунд, чтобы осознать, что он встретил свою смерть. «Бедная Сита! — воскликнул он в своем сердце. — Бедная Сита — моя дорогая! Но возможно, это действительно лучший выход... меньше боли в конце концов. О жизнь, какое дело! Но я не хотел этого. Нет, это пришло ко мне. Я не хотел этого».

IV

Первой мыслью Джали после смерти Хари было попытаться присоединиться к матери. Но когда он заговорил об этом с Мабуном Дасом, тот минуту молча смотрел на него, а затем покачал головой. — Будь я на твоем месте, — тихо сказал он, — я бы немедленно отправился в Даулатпур.

Тон его голоса не меньше, чем слова, заставил Джали удивленно уставиться в ответ.

— Вот какое положение дел, — продолжил Мабун. — Раджа Бходж и Рани едут к Сесодии, у которых они пробудут около месяца, и согласно секретному донесению, которое только что поступило, Моти Сингх уже начинает использовать эту возможность по максимуму.

— Ты хочешь сказать, — воскликнул Джали, — что он собирается напасть на Мохана и Гуру?

— Да. Но Мохан покинул Даулатпур неделю назад, чтобы встретить принцессу Дамаянти на ее пути домой. Не думаю, что он уехал бы, если бы знал, что его брат тоже, вероятно, будет отсутствовать. При нынешнем положении дел у Моти Сингха нет никого, кто мог бы его сдержать, а позиция Гуру...

— Он прикажет его убить! — воскликнул Джали, вскакивая на ноги.

Мабун Дас ничего не ответил.

— Ради бога! — с яростью воскликнул юноша. — Разве ты ничего не можешь сделать?

— В Даулатпуре, — медленно ответил Мабун Дас, — я могу сделать очень мало. В конце концов, — его голос был полон печали, — я сделал для Хари все, что мог, и это здесь, в Агре, где у меня есть какая-то власть.

— Что же тогда делать мне?

Мабун глубоко вздохнул. — Поезжай в Даулатпур. Расскажи своему другу Гуру то, что я сказал. Скажи ему, что... — Он отвел взгляд, хмурясь и барабаня пальцами по столу. — Я едва ли знаю, что посоветовать.

Джали снова сел. — У меня есть предложение.

— Да?

— Я попытаюсь убедить Гуру поехать в Видьяпур вместе с моей матерью и мной. — Его глаза сияли от возбуждения во время речи.

— Это было бы превосходно, но...

— Я предложу, чтобы он оставил нас немедленно, вернулся со мной в Агру и подождал здесь, пока...

— Нет. Предпочтительно не в Агре.

— Тогда в какой-нибудь деревне поблизости, где он будет в безопасности. И как только прибудут моя мать и Гокал, мы все вместе отправимся в Видьяпур.

Мабун медленно и задумчиво кивнул; затем, внезапно снова став бодрым и веселым: — Устрой это, во что бы то ни стало, — сказал он, — если сможешь.

В тот же вечер Джали выехал из Агры. Его мысли были прикованы к будущему, которое теперь приняло в его уме совершенно иной облик. Но все зависело от того, убедит ли он Гуру согласиться. Его шансы, казалось, были не так уж плохи, ибо хотя Гуру и был беспечен в отношении своей личной безопасности, он не был безрассуден; и наверняка он придаст некоторое значение мольбам друга?

Всю ночь молодой человек продолжал свою поездку. Высоко в небе полумесяц бросал вниз жесткий, холодный свет. Дорога блестела от влаги, так как дожди наконец пришли, и воздух, который последние несколько дней был невыносимо тяжелым и пыльным, стал чистым и прохладным.

Мало-помалу более счастливое видение вещей разворачивалось перед глазами Джали. Даже час, которого он больше всего боялся, — час, в который ему придется сообщить матери новость о смерти Хари, — становился менее ужасным в свете его новых надежд. Ибо он имел безграничную уверенность в силе Гуру утешать и поддерживать.

Рассвет разлился потоком золотого света, дождь прекратился, и весь этот день он продвигался вперед почти без остановок, так как его тревога добраться до Гуру росла с каждым часом. Было не позднее полудня второго дня, когда он прибыл в Даулатпур. Он въехал в город посреди проливного дождя и направился прямиком к дому одного Гарладинну Рама, пандита, знакомого Мабуна. Дом удалось найти не без труда —

маленький опрятный дом на маленькой опрятной улице. Он постучал в дверь и, предъявив свое письмо, был допущен немедленно, хотя Пандита не было дома.

К тому времени, как он переоделся, дождь перестал, и он поспешил на улицу, чтобы узнать новости о Гуру. Почти любой, подумал он, сможет проинформировать его, ведь Гуру был настолько известной фигурой, что местонахождение его было широко известно.

Через несколько минут он случайно наткнулся на лоток торговца фруктами, друга Лакшми, и тут же маленький человечек выбежал навстречу с улыбающимся лицом, низко кланяясь и тараторя. Как он рад видеть молодого Махараджу снова. Он надеется, что вино доброго здоровья струится по его венам, а солнце процветания освещает его шаги. Случайно ли у него есть вести о божественно рожденной повелительнице Государства? Казалось, прошли годы с тех пор, как его трижды благословенная благодетельница уехала.

Джали покачал головой, объяснив, что только что прибыл из Агры, и спросил, как идут дела в Даулатпуре.

Торговец фруктами всплеснул руками. — Махараджа! Уже много месяцев дела идут все хуже и хуже. Посмотри на мой лоток! Здесь нет вещи, за которую мне не приходится платить двойную цену. Низкорожденные подонки полей отказываются работать. Нет человека настолько подлого или мерзкого, чтобы он не считал себя моим равным. Мы, люди купеческого сословия, — хотя мы ничто для Принца Земли, подобного вашей благородной особе, — тем не менее имеем свои права. И как нам жить, если эти орды дикарей...

— Вы имеете в виду крестьян?

— Я имею в виду всех тех, кто рядом со мной — собаки. Наш благородный Раджа всегда был слишком добр к ним. Он слишком возвышен, чтобы понять. Но Моти Сингх понимает. И наш Раджа в своей мудрости оставил власть в руках Моти Сингха.

Пора, почувствовал Джали, говорить прямо. — Я друг Гуру, — холодновато сказал он. — Можете ли вы подсказать, где я, скорее всего, смогу его найти?

Другой уставился на него. — Разве вы не останавливаетесь во Дворце, Милорд?

— Нет.

Глаза мужчины, становясь беглыми, показали, что он не знает, что и думать об этом. — Думаю, Гуру находится во Дворце.

— Во Дворце! Но Раджа и Рани отсутствуют! Что он там делает?

— Этого я не могу вам сказать, — последовал ответ, и слова были произнесены почти грубо. Но в следующий момент манера мужчины снова изменилась. В конце концов, безопаснее оставаться вежливым. — О Махараджа! — воскликнул он. — Смотрите! солнце светит

прямо на мои прекрасные манго. Мне нужно их передвинуть. Простите вашего недостойного слугу. Простите! Простите! — И он удалился, кланяясь.

Джали ощутил легкий, острый укол страха. Сделав еще одну-две безуспешные попытки расспросить, он быстро пошел обратно, надеясь застать вернувшимся своего хозяина. Так оно и было. Его провели в уютную комнату, полную книг и обставленную со вкусом; и Пандит был там, чтобы принять его.

Гарладинну Рам был высоким, худым, похожим на ученого человеком лет пятидесяти пяти, и Джали теперь вспомнил, что видел его однажды на вечеринке у Лакшми.

— Добро пожаловать, раджа Джали, — произнес он с чопорной формальностью. — Как друг нашей Рани, а также Мабуна Даса, вы вдвойне желанны.

Нетерпеливый в желании задать вопросы, Джали решил действовать очень осторожно. Во-первых, манеры его хозяина подсказывали ему, что церемониалом нельзя пренебрегать; а затем встреча с торговцем овощами напомнила ему, что не все в Даулатпуре мыслят так же, как он.

— Мой дом, — продолжил Гарладинну Рам, — весьма непритязателен, как вы уже обнаружили. Ваше последнее пребывание в этом городе прошло под гораздо более высокой крышей. Но отсутствие нашего почитаемого Раджи и Рани для меня по крайней мере не является чистым бедствием, поскольку это обеспечивает мне честь этого визита.

Здесь он сделал паузу, а затем, слегка изменив тон, продолжил: — На плечи такие юные, как ваши, раджа, обязанности вашего положения должны ложиться довольно тяжело. Могу ли я сказать, что наш здешний Правитель — образец, — он улыбнулся, внимательно наблюдая за Джали, — почти совершенный образец того, каким должен быть Правитель? — Возможно, вы удивляетесь, почему я вставляю даже малейшую оговорку. Что ж, должен признаться, что я прогрессивен! Несмотря на свои годы, — и он погладил свои гладкие, пастозные щеки со скромной улыбкой, — я все еще достаточно молод, чтобы приветствовать новое, если — как это иногда случается — оно оказывается хорошим.

Теперь они оба сидели. Чай и сладости были принесены, и, заглядывая поверх подноса близорукими глазами, Пандит продолжал свою речь. — Большинству моих коллег и современников я боюсь показаться — как бы это сказать? — не вполне респектабельным! — Здесь он откинулся назад, потирая руки и посмеиваясь с видом интимного веселья. — Но общественное мнение — не из тех вещей, которых я благоговею. Для меня достаточно понимания одного-двух родственных душ — и, если можно так выразиться без хвастовства, симпатии и доверия молодых. — Что ж, раджа, вот перед вами человек, отчетливый в каждой черте! И позвольте добавить в заключение, что пока вам угодно оставаться здесь, я и мой дом к вашим услугам.

Ответив на это обилием подобающих благодарностей, Джали начал окольный подход к своей теме. — Я едва ли могу ожидать, — сказал он, — найти многих из своих старых друзей в городе в это время года. Рани Деви, например, отсутствует, насколько я понимаю?

— Ах да! Слишком печально, слишком печально! Вы должно быть часто встречали Ранджира во Дворце. А теперь — никогда больше! Храбрый человек, ответивший на зов долга. Что ж! Он был раджпутом. Пусть это будет его эпитафией!

Джали склонил голову и продолжил: — Рани Мая, тоже, насколько я верю...

— Нет! Она все еще в Даулатпуре. И если вы захотите привести дорогую Рани в этот дом, она будет, как всегда, желанна. Последний раз, когда она была здесь... — И последовал анекдот.

Когда он закончился, и они оба посмеялись вдоволь, Джали продолжил: — Я непременно навещу Рани Маю. А потом, кроме того, я подумывал съездить как-нибудь в лощину, чтобы увидеть Гуру, который, — он увидел, как изменилось лицо Пандита, — который так часто бывал во Дворце — и вероятно, тоже ваш друг?

Глубоко вздохнув, Гарладинну Рам сжал губы и нахмурил лоб. — Ответ, мой дорогой раджа, — да и нет, — ответил он обдуманно. — Я уважаю Гуру как человека твердых убеждений; он нравится мне, конечно, лично — кому он не нравится? — но... — Он медленно поднял подбородок, покачал головой и улыбнулся Джали прищуренными глазами. — Что ж, многое произошло с тех пор, как вы покинули Дворец. В государстве Даулатпур не все благополучно. Нет, к моему сожалению, говорю, не все благополучно, и человек, наиболее ответственный за наши беды, — это Гуру!

Джали издал вопросительное бормотание.

— Сегодня вечером, когда у нас будет больше времени, я дам вам анализ ситуации. Пока пусть будет достаточно, если я скажу, что Гуру сейчас находится в тюрьме.

— В тюрьме?

— Да. Раджа Бходж, как вам известно, отсутствует. Но, к счастью, у нас есть в канцлере человек больших способностей и сильного характера. У него ситуация хорошо под контролем.

На несколько мгновений Джали почувствовал себя неспособным говорить; затем, с трудом контролируя голос, он выдавил: какой предлог — то есть какое основание было у Моти Сингха для...?

— Дело особенное. Может статься, что Гуру сам себя заточил. Несколько дней назад трое революционеров были — совершенно справедливо — взяты под замок за подстрекательство к мятежу. Гуру, после того как поинтересовался, что они сказали и

сделали, сообщил Моти Сингху, что намерен подражать им; и он так и сделал. У Моти Сингха не было иного выбора, кроме как подвергнуть его тому же наказанию.

— Как давно это было? — пролепетал Джали. — И это очень плохая тюрьма? Знаете, он стар и у него слабое сердце.

Пандит начал смотреть на Джали с некоторым подозрением. — Ваша забота о вашем друге делает вам честь, мой дорогой раджа, но только упорство Гуру держит его там, где он есть. Ему нужно лишь пообещать исправиться, чтобы быть освобожденным. Кроме того, я рад сообщить вам, что дворцовая тюрьма, которая была несколько старой и устаревшей, недавно была реконструирована. Этим мы обязаны нашей Рани. Одним из ее первых деяний по прибытии в Даулатпур невестой было посещение заключенных и больных; и спускаясь из-под дворца вверх из тюрьмы, она повернулась к мужу и сказала: «Все остальное здесь настолько совершенно! Мы не должны позволить нашему прекрасному Дворцу иметь глиняные ноги». Очаровательно, не правда ли? И так точно похоже на нее.

— Рани Лакшми замечательна, — согласился Джали, скрипя зубами.

— Ее любят высшие и низшие, — продолжил Пандит. — И я, как человек литературы, способен ценить ее с довольно исключительного угла.

— Ах да! — сказал Джали.

Гарладинну Рам устроился поудобнее на своих подушках. — Я объясню, что имею в виду. Раджа Бходж обладает культурой, которую никто не может не уважать; он прекрасный Правитель, проницательный, осторожный и справедливый, помимо того, что он самый любезный из людей, но... — Глаза Пандита сузились, и большим и указательным пальцами он извлек невидимую нить из воздуха. — Но в вопросах литературы и искусства инстинктивно обращаются к Рани. Какая утонченность суждений! Какой тонкий вкус! Ее — если можно использовать кажущееся противоречие в терминах — это естественное знаточество!

— Да, — сказал Джали. — Да.

Пандит задумчиво улыбнулся себе. У него была улыбка, показывающая, что он наслаждается тонким весельем, которым едва ли знал, как поделиться. — Такая остроумная женщина, к тому же! — сказал он. — У меня есть одна история о ней, которую я не рассказываю всем, но...

Внимание Джали снова рассеялось, но, от души посмеявшись, он встал, и через две минуты уже спешил вниз по улице.

— Я должен пойти к Моти Сингху, — думал он. — Больше ничего не остается делать.

Нет! хотя в городе было с десяток домов, куда он мог бы зайти, все еще рассчитывая на вежливый прием, он чувствовал столь же твердо, что ни один из его прежних друзей и пальцем не пошевелит, чтобы ему помочь. Он знал свое место; слово Лакшми разошлось; ни он сам, ни его цель не вызовут одобрения. Будь у него, однако, возможность подумать о единственном человеке, который мог бы оказать ему поддержку, он пренебрег бы личными чувствами и поспешил бы к этой двери. Но такого человека не было. Было любопытно, насколько Даулатпур стал отличаться от места, которое он знал прежде.

Чувствуя себя своего рода изгоем, он подошел к воротам Дворца. Большая, тяжелая дверь, обычно открытая в этот час, была заперта. Снаружи стояли два стража, а несколько человек слонялись на другой стороне узкой улочки. Приняв самоуверенный вид, он подошел к одному из стражей и спросил, как можно получить допуск. Человек ответил, что Раджа и Рани отсутствуют и что никто не может войти, если только у него нет особого дела к Канцлеру.

— Но оно есть, — сказал Джали.

Другой посмотрел на него с сомнением, затем постучал рукоятью меча по панели двери. Панель открылась, и Джали увидел лицо привратника, который был ему незнаком.

Кивнув человеку и улыбнувшись, он сказал: — Я буду рад, если вы впустите меня. Я хочу видеть Канцлера.

Лицо привратника приняло каменное выражение. — Его Превосходительство отсутствует.

— Тогда я войду и подожду.

— У меня приказ никого не впускать.

Заметив, что ему не оказали никакого титула уважения, Джали сказал: — Но вы знаете, кто я, и...

Не успел он закончить фразу, как панель захлопнулась перед его лицом.

Пылая гневом, он повернулся к стражнику. — Я раджа Видьяпура, который недавно был гостем Махараджи.

Стражник выглядел смущенным. Не зная, что ответить, он отдал неуклюжее военное приветствие.

— Стучи снова! — сказал Джали.

Он постучал, и Джали ждал, но панель не открылась, и через минуту молодой человек ушел прочь.

Он двигался по горячей, парной аллее в состоянии ярости и недоумения. Получил ли привратник особый приказ не впускать его? Похоже на то. Но мог ли Моти Сингх знать, что он прибыл в Даулатпур? Да, почему бы и нет? ведь у него повсюду шпионы.

Свернув на другую улицу, он подошел к водоносу и спросил, чего ждет группа людей у дверей Дворца.

— Гуру, полагаю.

— Так он выходит? Что они хотят от него? В ответ последовал подозрительный и угрюмый взгляд.

— Послушайте! — сказал Джали, — я здесь чужой. Вы можете говорить со мной без страха.

— Вы сами видели, что у них было в руках, — сказал водонос.

— У них были палки.

— Да.

— Но... — Джали был ошеломлен.

— Это баяи! — И мужчина плюнул и пошел дальше.

Встав под тень арки, Джали остановился, чтобы поразмыслить.

Мир приобретал весьма неприятный облик. Но по мере того, как росло его чувство одиночества и разочарования, навстречу ему поднималась отвечающая решимость упорствовать. Если невозможно силой пробиться к присутствию Моти Сингха, возможно, все еще в его силах получить доступ к Гуру.

С этой мыслью он вернулся назад к стене Дворца, а затем начал идти вдоль ее подножия. Великая скальная кладка, все еще влажная от недавнего дождя, блестела, словно шкура древнего левиафана. Проулок, бежавший под ней, был одним из самых убогих в городе. Подойдя ко входу в тюрьму, он обнаружил там еще одну группу праздных зевак, также вооруженных палками, и эти люди болтали со стражниками, которые показывали признаки опьянения. Джали смешался с толпой и вскоре, подобравшись к главному стражу, попытался привлечь его внимание. Его намерением было дать взятку, но человек был шумным и одурманенным выпивкой, и когда Джали попытался сунуть деньги ему в руку, тот даже не заметил этого. Наконец, игнорируя тех, кто стоял рядом, молодой человек заговорил прямо и показал золото на своей ладони. Это была мера отчаяния, ибо толпа и стражники обменивались дикими шутками насчет Гуру и приема, который его ожидает, если его выпустят. Взглянув на деньги жадными глазами и помедлив минуту, человек пришел в бешеную ярость; он объявил Джали предателем и закричал, что не за все богатства Индии он его впустит. Толпа зааплодировала, и Джали оказался в центре круга глумящихся лиц.

— Ты хочешь попасть к Гуру, да? — выкрикнул кто-то. — Ну, это проще простого! Старая женщина вошла внутрь.

Раздался общий смех. Джали оглядел жирные, маслянистые лица этих зажиточных горожан и возненавидел их всем сердцем.

— Да, сделай так, как сделала старуха! — сказал другой, подмигивая и ухмыляясь. — Она отлично справилась!

Холодный гнев овладел Джали, и тихим голосом он спросил: — Ну! и что она сделала?

— Она дала ему пощечину! — одновременно выкрикнули несколько голосов, и более чем один палец указал на стражника, который, теперь багровый от ярости, выдвинул голову вперед, бросая Джали убийственный взгляд.

Джали умышленно дал мужчине пощечину.

Раздался вой. В следующее мгновение Джали наносил удары шестерым стражникам, которые, сомкнувшись вокруг него, вскоре сбили его с ног. Но момент спустя его подняли, втолкнули за ворота тюрьмы и быстро провели по каменному коридору. Затем отперли какую-то дверь, и его швырнули вниз по крутым ступеням в зловонную темноту.

V

Возвращаясь в сознание, юноша осознал, что испытывает сильную боль. На какое-то время боль заполнила все его поле восприятия; он был без памяти и без малейшего желания что-либо вспоминать. Затем память внезапно вернулась, принеся с собой смутное представление о его нынешнем положении. Двое сидящих людей, по-видимому, на крутом лестничном пролете, поддерживали его и спасали от соприкосновения с острыми углами каменных ступеней. Один из них был Гуру, ибо когда тот пробормотал какой-то вопрос, голос Гуру прозвучал совсем рядом с ухом. Он не мог пошевелить головой, не усиливая боли, но, обведя глазами вокруг, разглядел, что эта темница — глубокий квадратный колодец без света, за исключением того немногого, что проникало откуда-то сверху. Ни верха, ни дна темницы он не видел. Дно терялось во тьме, но он слышал, как другие люди вполголоса переговариваются на ступеньках где-то чуть ниже него.

Вскоре он осознал, что страдает не только от боли: он боролся с удушьем.

— Больше воздуха! — прохрипел он. — Я не могу дышать.

И снова ему ответил голос Гура. Он был мягким и успокаивающим, а рука, которая обмахивала его лицо, начала двигаться быстрее. — Воздух плохой, я знаю, но очень скоро ты к нему привыкнешь. Просто продолжай дышать ровно и не прилагай никаких усилий.

Джали попытался повиноваться. Страх смерти от удушья так сильно овладел им, что на время он перестал ощущать боль. Затем вдруг, в панике, он попытался сесть, и это движение вызвало такую агонию, что он снова потерял сознание.

Его следующее возвращение к осознанию окружающего было лишь частичным, а за ним последовал период, который казался ему неизмеримо долгим, хотя сам по себе был вне времени. Боль вывела его за пределы времени — по крайней мере, такого времени, которое поддается измерению. Она породила своего рода экстаз, и этот экстаз не дал никакого определенного содержания, когда спустя дни Джали попытался его вспомнить. Но он помнил потом, к своему удивлению, что в этот период обладал — по крайней мере, временами — самосознанием, очень интенсивным самосознанием. Более того, если только разум не играл с ним шуток, это самосознание было чистым — оно не ведало абсолютно ничего, кроме самого себя.

Однако пришло время, когда он восстановил свои обычные способности настолько, чтобы задавать вопросы Гуру и понимать его ответы. Он узнал, что тюремщик непременно вернется скоро — на рассвете, а до рассвета, по-видимому, недалеко. И после этого освобождение будет лишь вопросом нескольких часов. Почему должно быть именно так, Джали не стал утруждать себя пониманием; для него было достаточно того, что это сказал Гуру.

Так шло время. Оно было неизмеримым, но оно шло.

Время от времени случалось нечто, оставлявшее отличительную отметину на этом длинном пути сквозь темноту. Однажды, когда он пожаловался, что сидеть на ступеньках неудобно, ему объяснили, что дожди залили дно темницы водой. «И этим спасли нам жизнь, — добавил Гуру, — ведь покрыв всю грязь на полу, вода очистила воздух. А еще она значительно охладила его. Кроме того, есть одно место, куда дождь просачивается тонкой струйкой, так что мы можем ее собирать, и этого нам хватает, чтобы пить».

— Как долго вы здесь? — спросил Джали.

— Три дня.

— А как долго здесь я?

Гуру сказал: — Не могу сказать точно. Но тюремщик определенно прибудет сюда уже очень скоро.

После этого Джали погрузился в затяжной ступор, наполненный ужасными снами. Он очнулся от него со светлым рассудком, какого у него еще не было, поскольку сводившая его с ума головная боль уменьшилась. Но теперь пришло постепенное осознание того, что

предсказание Гуру не сбылось. Он провел в этом месте гораздо больше двадцати четырех часов. В этом у него больше не было сомнений.

— Гуру! — сказал он.

— Да, сын мой?

Но он обнаружил, что не может говорить.

Гуру, однако, понял его. Он признал, что прошло более сорока восьми часов с тех пор, как в последний раз открывалась дверь темницы. — Но невозможно, чтобы они забыли о нас, — сказал он. — И столь же невозможно, чтобы они намеревались уморить нас. Мужайся! Держись духом! Мы выйдем отсюда живыми.

Джали промолчал. Его охватил великий страх смерти. Его боли стали слабее, но он воспринял это как дурной знак, ибо чувствовал, что тоже слабеет.

— Слушай! — продолжал Гуру, и вновь объяснил, что его заключение носит в некотором смысле добровольный характер. Моти Сингх приказал каждые двенадцать часов спрашивать его, не довольно ли с него. — Произошла какая-то ошибка, — настаивал он. — И вскоре она обнаружится. Первые три дня тюремщик приходил регулярно, и я уверен, что он придет снова. Когда он придет, я немедленно добьюсь собственного освобождения, а тогда — ну, увидишь! — И, поскольку Джали молчал, он продолжил: — Запомни вот что: бросив тебя сюда, они понятия не имели, кто ты такой. Как только они узнают, они придут в ужас. Не может быть намерением Моти Сингха оставлять тебя здесь. Перегнув палку, заключив меня под стражу, он — теперь же, по вине своих пьяных стражников — совершил ошибку, ставшую намного хуже. Он сделает все, что в его силах, чтобы исправить ее.

Звук его голоса был утешительным, но юноша чувствовал, что становится очень слабым. Он спросил, каковы его ранения.

— У тебя сильный ушиб головы — но череп цел. Твоя рука, к тому же, сломана.

— А плечо?

— Боюсь, твое плечо вывихнуто. Твои раны, я знаю, очень болезненны, но они не опасны для жизни. У тебя была лихорадка; но сейчас тебе лучше. Ты не умрешь.

Джали думал иначе и молча дивился тому, что с ним произошло. Ему казалось, что это выходит за рамки естественного порядка вещей. Смерть наступала таким несвоевременным образом! Он чувствовал, что Бог наверняка не замышлял подобного, и что каким-то образом произошла ошибка.

Но эти размышления были лишь мимолетными; их внезапно сменило смирение.

Темницу наполнял новый и ужасный смрад, и он знал, что это такое — запах гниющего тела. Старая женщина, чье поведение он имитировал, умерла вскоре после его прибытия. Он уже

знал об этом, так как слышал плач ее сына. «Смерть приходит ко всем», — подумал он, и больше не восставал против нее. Он больше не мог находить странным то, что могло с ним случиться.

В его сознании всплыли смутные воспоминания о Хари. Все, кого он знал и кто теперь умер, вышли толпой из прошлого. Одного или двоих он совершенно забыл, и воспоминание о них удивило его. «Уже, — подумал он, — я дрейфую в ту другую компанию».

Но фигурой, которая возвращалась снова и снова, был Хари, и внезапно он понял почему. Собравшись с силами, чтобы говорить отчетливо, он сказал Гуру, что письмо, которое Хари поручил ему передать своей матери, находится среди его вещей в доме Гарладинну Рама.

— Да, сын мой, — ответил Гуру с нежностью, — если ты умрешь, оно будет найдено и передано ей. Но ты не умрешь.

О своей матери, о Дамаянти и Савитри он старался не думать, потому что мысль о них причиняла ему слишком сильную боль; но в своем помрачении рассудка он уже считал отца мертвым и видел его в той компании, к которой приближался.

Время шло. Время от времени он приходил в себя, гадая, сколько же прошло. Но теперь измерения времени больше не было, и это перестало его заботить. Большинство вещей, которые раньше его волновали, казались ему теперь несущественными; более того, он не мог понять, зачем люди вообще занимаются подобными вещами. Лишь одна вещь имела первостепенную важность — и была таковой с того самого момента, как он очнулся и обнаружил себя в этом месте, — и это была его тесная связь с Гуру. Это делало все выносимым, казалось, объясняло все, хотя он и не знал, в чем заключается объяснение. Он был неспособен — да и не пытался — думать о себе без этого общения.

И время по-прежнему шло, но сам он едва ли находился внутри его течения. Вскоре лихорадка увлекла его в дикие фантазии, из которых он вырывался лишь на несколько мгновений то тут, то там. Но всякий раз, когда он вырывался, то погружался в необычайно глубокое и отстраненное самосознание, которым он, и Гуру, и весь мир обладали сообща.

VI

После трех дней и ночей заключения Джали освободили, а вместе с ним и его спутников. То, что они не получили свободу раньше, произошло, как и предполагал Гуру, из-за ошибки. Действительно, имели место промахи и несчастные случаи, следовавшие друг за другом катастрофической чередой. Тюремным стражам удавалось продолжать свою пьяную попойку три дня, так случилось, что двое их начальников заболели. Следующий по званию праздновал свадьбу и получил отпуск. И так продолжалось до тех пор, пока очередь не

дошла до самого Моти Сингха. Молодой правитель соседнего государства пригласил его на торжества по случаю своего совершеннолетия, и соблазн показать себя в столь выдающемся собрании оказался для Моти Сингха непреодолим.

По возвращении на него обрушился удар за ударом. Он обнаружил, во-первых, что Гуру все еще в темнице, затем — что к нему присоединился юноша знатного происхождения, и наконец, что этот юноша — не кто иной, как принц Джали, ныне раджа Видьяпура. «Моей карьере конец!» — сказал он про себя. Но он поспешил сделать все возможное, чтобы исправить бедствие.

Джали и Гуру, которые к этому моменту оба были очень близки к смерти, немедленно освободили, разместили во Дворце и передали под присмотр Придворного врача. Днем и ночью Моти Сингх тревожно дежурил над ними, и когда сочли, что опасность миновала, никто не был благодарнее его. Тем временем он отправил искусные самооправдательные послания Бходжу и своим друзьям в Агру. Больше всего он боялся — и справедливо — Мабун Даса. Мабун, быстро узнавший о случившемся, сурово осудил Моти Сингха перед Акбаром; и вскоре небольшой отряд кавалерии направлялся в Даулатпур с приказом арестовать Моти Сингха и доставить его к Императору.

Как только Джали и Гуру достаточно окрепли, чтобы их можно было перенести, их доставили в паланкинах вверх, в Хава-Гхар. Известие об аресте Моти Сингха достигло их через несколько дней, и с ним пришло письмо от Махабуна Даса, из которого стало ясно, что Моти Сингх никогда не вернется в Даулатпур. Сердце Джали наполнилось радостью, ибо этот человек был злым гением Бходжа, и с его исчезновением весь облик вещей переменился. Несомненно, неприятности и волнения будут возникать и впредь, но кризис миновал, и победа досталась Гуру.

В эти первые дни своего выздоровления Джали владело счастье, которого он не мог понять. Оно казалось ему несколько неуместным, и он бы устыдился его, если бы тот же дух не проявлялся и в Гуру. Последний удивительно мало пострадал от недавнего испытания — или, по крайней мере, так казалось. Опираясь на трость — ведь его хромота определенно усилилась — он прихрамывая входил в комнату Джали, осторожно опускался у кровати и, разделяя беззаботную веселость своего спутника, коротал время шутливыми комментариями об их прошлых переживаниях и жизнерадостными прогнозами на будущее.

— Бедный старый Бходж! — восклицал Джали более одного раза. — Что он будет делать без своего Моти Сингха!

В ходе этих бесед молодой человек затронул тему сопровождения его Гуру в Видьяпур, но другой, хотя и не отказывал прямо, оставался неизменно уклончивым.

Через неделю-другую силы Джали вернулись в достаточной степени, чтобы он смог встать с постели и побрести вниз к бассейну. Гуру почти всегда можно было найти там. Старик

проводил все больше и больше времени на скамье в том углу, где сидела Дамаянти, когда Джали впервые заглянул в ограждение. И очень часто с ним бывала Савитри. Количество часов, которые Гури праздно проводил с Савитри, вызывало у Джали некоторое удивление; прежде он никогда не видел его довольствующимся таким покоем и досугом.

К великому разочарованию молодого человека возвращение Дамаянти откладывалось несколько раз, и в конце концов он начал опасаться, что будет вынужден вернуться в Агру, так и не повидав ее. Цвет его дней постепенно менялся по мере того, как надвигалась тень их скорого завершения. Кроме того, будущее, маячившее перед ним, все настойчивее требовало мысли, которую он давать не хотел.

Часто, разговаривая с Гуру, на него нисходило молчание, и тогда тот, зная, что творится у него на уме, мягко подтрунивал над его сомнениями и унынием.

— Почему бы тебе не пригласить Моти Сингха стать твоим канцлером? — сказал он однажды. — А заодно можешь обратиться к Абу-ль-Фазлу — с целью назначить его визирем.

— Я чувствую искушение последовать этому совету, — упрекнул его в ответ Джали. — В конце концов, правительство должно быть эффективным; а ты сам указал, что оба этих человека весьма эффективны каждый по-своему.

— Ах, но ты должен помнить, что собираешься построить общество, в котором не будет никакого спроса на таланты людей подобного рода.

Джали вздохнул. — Мне кажется, что любое общество состоит из типов — ничего, кроме типов! Если превратить человека в чиновника, крестьянина или солдата, и удерживать его потомков, чиновников, крестьян или солдат на протяжении нескольких поколений, то в итоге получится...

— Совершенно верно! — прервал его Гуру. — Но точно так же, как нет чистого человека, нет и чистого типа. Личность всегда выживает — ведя скрытую, подземную жизнь — которую можно возродить.

Но Джали не желал отказываться от своего уныния. «Сделав людей глупыми, — мрачно заметил он, — общество торжествующе указывает на эту глупость как на причину сохранения нынешнего положения вещей».

— Именно поэтому необходим новый взгляд. Мы должны смотреть сквозь эти покровы на сущностное величие человеческой природы и строить именно на нем. Строить больше не на чем. Если кто-то говорит мне, что люди в массе своей эгоистичны, ленивы и глупы, я готов это ему уступить. Но я добавлю, что они обладают и всеми противоположными качествами. Всякий, кто знает жизнь простых людей, не может не изумляться и не дивиться. С какой невероятной стойкостью люди переносят затянувшиеся лишения и невзгоды! С каким поразительным героизмом и самопожертвованием они встречают любую боль и

любую опасность! И как щедры они друг к другу! Отрицать это — грех, а игнорировать — признак неблагородного сердца. Люди по природе своей предприимчивы, щедры и мягки. Это естественные дары человечества.

— Сын мой, — продолжал Гуру с легким огоньком в глазах, — никогда не забывай изречение: «Святой человек и мы — одной природы». Никогда не оскорбляй своих собратьев-людей, действуя ради них так, как не стал бы действовать ради самого себя. Помни, что если существует элита, то ты и тебе подобные к ней не принадлежите — по крайней мере, насколько тебе известно. — Он помолчал и тихо рассмеялся. — Люди назовут тебя дураком и фанатиком, но ты не будешь ни тем, ни другим. Ты сам это узнаешь.

Однажды днем, возвращаясь верхом после визита в соседнюю деревню, Джали увидел всадника, приближавшегося к Хава-Гхар. Недавние дожди сделали воздух удивительно ясным; до всадника оставалось еще полмили, когда Джали узнал его и со всей поспешностью поскакал навстречу. Этот человек, бывший одним из спутников Дамаянти в ее путешествии, сообщил ему, что она и Мохан прибудут в Даулатпур вечером, а рано утром следующего дня приедут сюда, в Хава-Гхар. У него было письмо для Гуру, которое Джали взял у него, а затем, развернув коня, галопом помчался обратно в Хава-Гхар.

Подъехав к дому, он спешился и, будучи уверенным, что Гуру находится у бассейна, поспешил вниз по лесной тропе. Не успел он сделать и нескольких шагов, как услышал вдали смех Савитри, но через минуту он прекратился, и, подходя к ограждению, он гадал, почему вокруг стало так тихо. У ворот вид, открывшийся его глазам, заставил его остановиться в изумлении. На несколько мгновений он забыл о своем поручении и мог только улыбаться и смотреть. Савитри стояла посреди бассейна. Она стояла на широкой груди Вишну — чего она никогда раньше не делала — и смотрела богу прямо в лицо. Задумчивость снизошла на нее посреди игры и удерживала там неподвижно, со склоненной головой, в позе мечтательного созерцания. Ее глаза вопрошали, но глаза бога смотрели мимо нее, и его лицо не давало ответа.

Лишь когда она пошевелилась, Гуру заговорил. Из своего угла он сказал: — Ну что, Савитри?

— Я не могу сказать, — ответила она.

— Тогда тебе не о чем беспокоиться. Ведь если бы он возражал, ты бы непременно об этом знала. Только вот будь я на твоем месте, я бы не часто...

Она повернулась, чтобы встретить его взгляд, и покачала головой. — Нет, я больше этого не сделаю — во всяком случае, не скоро.

Ни она, ни Гуру еще не заметили Джали, но когда она начала свой скользкий путь назад вдоль тела бога, доходившего ей до лодыжек, она подняла голову и едва не потеряла равновесие. — О, вот и ты! Видел ли ты, где я была?

— Да, видел. — И Джали вошел внутрь.

— Что ж, я сделала то, чего не делал никто другой: я посмотрела прямо ему в лицо.

Она замолчала; очевидно, она все еще была немного напугана содеянным.

Джали ободряюще улыбнулся. — Вишну не возражал. Гуру не позволил бы тебе этого сделать, если...

— Нет, это правда. — Она взяла его протянутую руку и выскользнула из бассейна.

— Это для Гуру! — И он показал ей письмо. — Я только что забрал его у Чамана, который говорит, что твои отец и мать вернутся завтра — вскоре после полудня.

— Завтра! — Она вскрикнула от восторга и, крутанувшись на месте, бросилась в ворота и исчезла.

VII

Пока Гуру читал письмо, Джали, вытянувшись на земле у его ног, смотрел в небо. Маленькие проплывающие облака были окрашены первым румянцем вечера; ветка, нависавшая над углом ограждения, покачивалась на ветру; время от времени с нее слетал лист и опускался на кирпичную дорожку или на воду бассейна.

— Ее отец умер, — услышал Джали голос Гуру. — Но этого, мы знали, не миновать, и смерть его была легкой.

Голос, произнесший эти слова, был мягким и тихим. Он едва ли изменил течение мыслей Джали, которые уже были с Дамаянти.

— Как я благодарен за то, что у них были эти недели вместе! — Гуру сделал долгий, глубокий вдох. — Это было время мира и понимания. Прошлое оправдало себя. Она осталась без самообвинений.

Джали приподнялся на локте, и ему пришла в голову мысль, что эти дни, которые для него были днями нетерпеливого ожидания, были иными — совсем иными! — для ее отца и для нее. И глядя в лицо Гуру, он спросил себя: «А чем были эти дни для него?»

Старик смотрел прямо перед собой, погруженный в медитацию. Если в этом добром, морщинистом лице и был ответ, Джали не мог его прочесть. Смысл и значение присутствовали там, но они были неразборчивы. И ему показалось, что истинное значение мыслей Гуру скрыто даже от самого Гуру, ибо мыслитель и его мысли составляют целое, которое мыслитель не может выставить перед своими глазами. Другой же, созерцающий

мыслителя, может строить догадки, и в его сердце могут прийти смутные намеки на пафос и красоту человеческой жизни — но дальше все тайна. «Он хороший человек!» — подумал Джали, и по какой-то причине, которой он не понимал, его глаза наполнились слезами. Он быстро отвел взгляд.

Гуру продолжал молчать, и через некоторое время Джали снова взглянул на него и спросил: — О чем вы думаете?

Гуру шевельнулся, и голосом человека, выходящего из сна, сказал: — Давай немного поговорим о твоем будущем — я имею в виду твою грядущую жизнь в Видьяпуре. Меня радует мысль о том, что твой друг Гокал непременно будет там.

Тень пробежала по лицу Джали. Он говорил себе, что если он снова попросит Гуру сопровождать его домой, то, вероятно, снова получит уклончивый ответ. Неужели возможно, чтобы Гуру не осознавал, какую разницу внес бы даже самый краткий визит?

Внезапно он сел, посмотрел Гуру прямо в глаза и сказал: — Да, Гокал очень хороший друг мне. Но он не сможет занять того места, которое заняли бы вы, — если бы только я смог убедить вас приехать.

— Джали, — и Гуру мягко улыбнулся, смягчив окончательность своего акцента, — я не смогу приехать.

За этими словами последовало молчание. Ветер шелестел в деревьях, и пригоршня листьев опустилась на воду. Юноша склонил голову, но не смог подавить вздоха.

Подавшись вперед, Гуру протянул руку и положил ее на плечо Джали. — Давай поговорим о твоем будущем, — повторил он своим кротким умоляющим голосом. — Я много думал об этом.

Его лицо было безмятежным, но ничто не могло стереть тот факт, что на них обоих сошла глубокая меланхолия. Она была подобна присутствию в маленьком дворике; она покоилась на воде; она смотрела из лица Вишну.

Отведя глаза от Гуру, Джали огляделся вокруг. Ему стоило немалого труда найти свой голос; он сказал: — Я не понимаю... Дамаянти скоро будет здесь. Я не понимаю, почему мне так грустно. — А затем, возвращая взгляд к лицу своего спутника, он пробормотал: — Ты тоже печален.

На мгновение Гуру, казалось, застали врасплох, затем он откинулся назад и слегка встряхнулся. — Дитя мое, мы всего лишь люди. Мы не можем думать о времени без грусти. Но не следует принимать свою грусть слишком всерьез.

— Значит, ты думал о времени?

— Да. О времени.

Джали нахмурил брови. — Возможно, и я тоже.

— Давайте не будем оглядываться в прошлое! Для нас, бедных человеческих существ, лучше смотреть вперед, в будущее. Нашему прошлому нечем гордиться.

— А настоящему?

— Дитя мое! — Гуру покачал головой с шутливой торжественностью, — нужно быть либо очень простым, либо очень святым, чтобы жить настоящим — а ты ни то, ни другое.

Джали молчал. Он улыбнулся словам Гуру и охотно ответил бы в том же духе, но его дух не мог подняться. Он сидел безмолвно. И вновь меланхолия прокралась во дворик и сгустилась вокруг них.

Но теперь старик пристально смотрел на него; и Джали увидел, как лицо Гуру постепенно меняется. Глубокие и темные глаза Гуру, казалось, могли пронзить сгущающиеся сумерки и заглянуть прямо ему в сердце — даже за покровы собственного неведения о себе. Но у него не было желания прятать от этого взгляда хоть один уголок своей души, и он широко открыл ей свои глаза.

Наконец Гуру заговорил.

— Ты прав, — мягко сказал он, — в этом часе есть нечто, чему мы должны покориться. — И немного погодя, после того как их уши прислушались к шелесту ветра, а глаза поблуждали в сумерках, он добавил: — Это настоящее. И вечность сейчас с нами. Нам нужно лишь покориться. Нам нужно лишь открыть дверь.

Джали ничего не сказал и был доволен тем, что не понимает. Он знал только, что внутри него что-то ослабло, и что его дух устремился наружу. Вместе с духом Гуру он вырвался на свободу — чтобы смешаться с черной листвой деревьев, вознестись к растущему свету звезд и поплыть в сумрачном, спокойном воздухе. И он посмотрел вниз на спящего бога в бассейне. В его уме была память. Ему напомнили о чем-то, что случалось с ним прежде. И когда он вернулся к своему одиночеству, то обнаружил, что сдвинулся с места, прислонил голову к коленям Гуру и держит его за руку, как делал это в темнице Даулатпура.

— Сын мой, — сказал Гуру, — вот суть тайны. Мы выходим, мы встречаемся, и во встрече мы едины. Едины также со всей жизнью. — Он остановился, а затем произнес почти шепотом: — Поверни голову и посмотри через бассейн! Видишь те два маленьких блестящих глаза, которые следят за нами?

Джали повернул голову. — Белка!

— За этими глазами таится жизнь, парящая на краю нашей собственной, — жизнь, которая смотрит на нас и говорит: «Ты — кто ты? Что ты?» Она еще не может сказать: «Что такое мы?» Но мы можем это сказать, и в этом величие и меланхолия человеческого удела. Да,

ибо хотя мы знаем, что мы — Дух, и что весь Дух един, неизменным ритмом нашего бытия мы качаемся из мира общения в мир разделенных вещей.

Он умолк. Два маленьких зеленых глаза исчезли со своего места у воды, мгновение спустя они появились на вершине стены, а затем исчезли окончательно.

— Как удержать? — пробормотал Джали. — Как — в мире разделения — удержать?

— Нужно цепляться за память. Нужно помнить и нужно действовать. Знание, обретенное в общении и созревшее в одиночестве, должно изливать свою жизнь в мир через действие. Только так будешь жить ты и мир вокруг тебя.

Джали уставился на темный силуэт Вишну и замолчал; и через некоторое время Гуру спросил: — Ты скрываешь от меня свои мысли?

Приглушенным голосом Джали ответил: — Я думаю об отце — о его уходе из мира.

Другой подался вперед, и Джали обернулся, чтобы встретить его взгляд.

— Я рад, что ты заговорил об этом, — сказал Гуру. — Из того, что ты уже рассказал мне, я знаю, что ты и твой отец очень похожи. — Дитя мое, существует два вида ухода. Если человек уходит из мира, чтобы созерцать свои чувства или идеи в одиноком самоупоении, тогда он потерян. Но если его желание — сосредоточить свои силы и достичь единства своей души, если его одиночество — место очищения, то такой человек лишь подчиняется ритму своего существа, и его уход благ. В одиночество по самой своей природе устремляется дух; и подобно тому, как человек учится только в общении и действии, так именно в одиночестве он открывает для себя то, чему научился. Тем не менее, из своего одиночества — да, и из общения! — человек должен всегда возвращаться.

— Но должен ли мой отец вернуться к жизни в миру? Должен ли он вернуться к ней?

— Нет, не к ней. Он нес свое бремя, прожил свою жизнь среди людей; и он знал, когда пробил час решения. Кто скажет, что в своем одиночестве он не находит всего, чего искал, — и большего?

От этих слов Джали испустил трепетный глубокий вздох. Откинувшись в прежнее положение, он мечтательно вглядывался в сумерки. Бассейн теперь отражал бледный свет скрытого облаками месяца; на фоне мягкого сияния неба деревья выступали темными пятнами.

— Духовное отчуждение, — сказал Гуру, — одно лишь духовное отчуждено душе следует опасаться. Иногда человек теряется в суетливой озабоченности мирскими вещами; иногда он ищет убежища в частном царстве своих чувств; иногда он держится отстраненно в цитадели теорий и идей. Но неизбежно и неотвратимо жизнь такого человека станет пустой от реальности. Мир, словно кошмарная тяжесть, нависнет над ним, внутреннее «я»

превратится в призрак. И вскоре кошмар над ним и призрак внутри будут шептать друг другу признание в своем неспасении.

Джали вздрогнул, и когда он заговорил, его голос был тихим. — Это я тоже понимаю.

— О, дитя мое! — сказал Гуру, и в его произнесении прозвучала нотка скорби, — кто из нас нет? Есть ли такой, кто не просыпался от сна с криком боли: «Жизнь там! Счастье там! Если бы только я мог до них добраться!» Но он не может. Он бродит один в каменном теле великой пирамиды и не может попасть в Центр. Он не может достичь своих собратьев-людей.

— Центр? — пробормотал Джали, и он нахмурил брови. Слова Гуру имели смысл, который он не мог полностью постичь. — Нужно ли достигать Центра?

— Нужно. Все общение происходит через Центр. Когда связь человека с человеком идет не через Центр, она развращает и уничтожает сама себя. Это ты уже знаешь.

За этой речью последовало тяжелое молчание. Джали снова слегка отстранился, чтобы всмотреться во тьме в силуэт мужчины рядом с ним. Его обостренное чувство безошибочно улавливало: какая-то сила сконцентрировалась в этом истощенном теле; собралась какая-то страсть; и затаив дыхание, он ждал того, что должно было произойти. Внезапно Гуру поднялся на ноги. С силой, неестественной для его ослабленного состояния, он зашагал к краю бассейна и встал там прямо, глядя вверх в небо.

Но вдруг его голова упала на грудь, а руки сами собой скрестились в скорби. — О, то великое множество скрыто покинутых! — Его голос был криком боли. — Почему они должны вечно прятаться в своей мнимой жизни? Здесь, в мире истины, есть слава утра и вечера, красота товарищества и благодать общения с Богом! Зачем они живут, чтобы создавать нечто ничтожное?

Прикрыв наполовину лицо рукой, он начал ходить взад-вперед по тропинке. Около минуты или двух продолжалось это стремительное движение, затем, резко остановившись, он поманил к себе Джали, который уже вскочил.

Держа юношу на расстоянии вытянутой руки, положив по одной руке на каждое плечо: — Вот печаль стариков, — сказал он, — мало — так мало! — они могут сделать, чтобы помочь тем, кто придет после них.

Вся его манера спокойствия вернулась к нему; и теперь он продолжил: — Но с тобой все будет хорошо. Не заботься о малых целях и средствах. Думай лишь о своем решении, беспрестанно обновляемом, жить в свете того, что ты знаешь.

— Что же я знаю?

— Ты знаешь, что Дух — хозяин мира. Ты знаешь, что ты не раб механической судьбы, но властелин божественного предназначения. Ты знаешь, что в жизни мира есть божественный смысл — в жизни людей, твоей и моей.

VIII

Следующий день был солнечным и свежим. Рано выглянув из окна, Джали увидел бегущую по лужайке Савитри. Она взглянула вверх, заметила его и остановилась. — Савитри, — окликнул он, — разве не было бы чудесно, если бы мы выехали верхом к краю плато встретить твою мать?

— Да, прекрасно!

— Мы отправимся около полудня.

Она кивнула и побежала дальше.

Утро он провел в зале заседаний с десятком крестьян, которым некоторые пункты новых указов Акбара казались «выходящими за пределы их понимания». На этой конкретной почве он был уверен в себе, и это стало приятной переменой, ибо в большинстве вопросов, которые их касались, они знали больше него.

Незадолго до полудня он поднялся в свою комнату переодеться. «Меньше чем через два часа, — подумал он, — я увижу ее. Теперь этому ничто не помешает. Даже если немедленно прибудет вызов от матери, я все равно буду видеть ее».

Он еще не совсем закончил одеваться, как снизу раздался неясный шум — стук сапог для верховой езды, голоса, смех и, прежде всего, восторженные вопли Савитри. «Клянусь всеми Богами!» — воскликнул он, — они, должно быть, приехали!» Запихиваясь в тунику, он бросился вниз и оказался посреди радостной компании. Там были все — Мохан и Дамаянти с Савитри, Рабиндра и Гуру.

Вскоре все они вышли на веранду, и Рабиндра принес пальмового вина. Легко положив руку на раненую руку Джали, Дамаянти отвела его в сторону. — Дай-ка мне посмотреть на тебя! — сказала она. Ее глаза серьезно и ласково изучили его лицо; затем, опустив взгляд, она спросила: — Разве твоя рука не должна быть на перевязи?

— Да, пожалуй. Но я торопился — как вам удалось приехать так рано? Вы, должно быть, выехали на рассвете.

— Так и было! — Засмеялась она. — Мы тоже очень спешили.

Они продолжали стоять там, глядя друг на друга, и сердце молодого человека расширилось от счастья. Слова были не нужны. Он стоял тихо, наслаждаясь счастьем, которое ничего большего не просило.

Рабиндра вошел с пальмовым вином, которое, как заметила Савитри, было хорошим и крепким. — Я думаю, — бесстрастно сказала она, — что если я выпью все, что у меня здесь есть...

— Савитри, не дай Бог! — воскликнул Мохан, и он попытался забрать у нее чашу, которая была определенно большой.

Но она со смехом увернулась. — Почему нет? Дай мне попробовать. Было бы так забавно посмотреть, что из этого выйдет.

Пока он гонялся за ней вокруг веранды, Гуру отошел в угол и сел. Потягивая свое вино и наблюдая с улыбкой, Джали и Дамаянти одновременно взглянули на него, и одна и та же мысль пришла им обоим в голову; они быстро обменялись взглядами. Улыбка на лице старика была очень красивой — воистину благословение.

Через минуту они подошли к нему, и некоторое время все трое болтали о том о сем; но имело очень мало значения то, что говорилось, ибо их мысли встречались в другом месте. Когда его возня с Савитри закончилась, подошел Мохан. — Гуру! — сказал он легко, — ты выглядишь хорошо, но... — и он нахмурил лоб, — но, конечно, довольно худым?

Гуру тихо рассмеялся. — Что ж, полагаю, это эффект тюрьмы. — Он запахнул свои одежды и поднялся на ноги. — Думаю, я снова спущусь к Бассейну. Пойдешь со мной?

С Моханом под руку он спустился по ступеням и двинулся через лужайку. Его маленькая фигурка, при ветре, дующем ей в спину, казалась едва более существенной, чем коричневые листья, которые гнало по траве.

Дамаянти смотрела ему вслед встревоженными глазами, затем повернулась к Джали. — Я заметила, каким худым он был, как только приехала, — сказала она.

Молодой человек нахмурился, начал говорить, но осекся. Он не хотел высказывать свои страхи, которые были смутными и недавнего происхождения.

Теперь они остались вдвоем, поскольку Савитра и Рабиндра ушли по какому-то своему делу. Взгляд Джали блуждал по Дамаянти удивленно; ему казалось, что вместо того, чтобы стать другой из-за всего того, что он узнал о ней, она теперь стала для него еще более цельным человеком, которого он всегда знал. Некоторое время они оба молча размышляли; и когда они снова начали разговаривать, он обнаружил, что рассказывает ей все, что было у него на уме: как в своем углубленном понимании ее он любит ее гораздо больше — о да, гораздо больше! — но менее мучительно. И все это давалось легко, без малейшей тени принуждения.

Затем она заговорила с ним об отце. Раджа умер, сказала она, со спокойствием, позабыв или, во всяком случае, полностью отвергнув гнев и злобу своей прошлой жизни. — Он ни разу не упомянул Гуру, и, хотя он очень мало говорил о Мохане или Савитри, я знала, что он примирился с тем, что у меня будет жизнь с ними, отдельно от него. Мы говорили главным образом о нашем собственном совместном прошлом, о ранних днях — вспоминая, сколько в них было настоящего счастья и красоты — ведь они содержали счастье и красоту — о да, немало! — Слезы навернулись ей на глаза, и она отвернула голову.

Прошло два часа или больше, когда в дверях появился Рабиндра, напомнив, что в доме их ждет трапеза. Дамаянти провела рукой по лбу, затем вздохнула и приготовилась встать.

— Где Савитри? — воскликнула она. — А Мохан? Он все еще у Бассейна с Гуру?

Прежде чем Рабиндра успел ответить, вверх по ступеням вбежала Савитри. Ее выражение лица было серьезным, а в руке она держала письмо. — Только что прибыл вестник. Он говорит, что из Агры, и дал мне вот это, — она подошла к Джали, — тебе.

Джали взял письмо и мгновение молча смотрел на него вниз. Затем, подняв глаза на Дамаянти, он сказал: — Кажется, я могу догадаться, что там внутри.

На миг никто не пошевелился, затем он сломал печать и тут же кивнул головой. — Да — я должен ехать. Моя мать прибудет совсем скоро. Мне придется выехать сегодня.

— Сегодня?

Он подумал минуту и наконец перевел дыхание. — Этим вечером. Будет луна, и я смогу скакать всю ночь.

После краткой трапезы он поднялся в свою комнату собирать вещи. Мохан и Гуру еще не появились, и их отсутствие способствовало озабоченности, которая покоилась облаком на всех. Несколько раз Джали подходил к своему окну и стоял там, надеясь увидеть возвращающегося через лужайку Мохана. Гуру часто обходился без своего риса, или ему приносили его к Бассейну; но почему Мохан оставался в отсутствии так долго?

Лужайка с деревьями за ней, эта комната с простой мебелью и несколькими книгами — эти вещи, размышлял он, создавали окружение, которое было совершенно удовлетворительным. Здесь, в Хава-Гхаре, существовало соответствие между внешними вещами и внутренним ландшафтом его ума. Покидать это место было грустно, но не настолько, насколько могло бы быть. В нем было чувство безопасности; он видел сложности мира как искусственность, нанесенную поверх истинных форм жизни. И созерцание этих форм приносило утешение. «Что бы ни случилось, — сказал он себе, — я вернусь в Хава-Гхар».

Закончив сборы, он спустился вниз и, выйдя на веранду, нашел там Дамаянти. Она сидела совершенно неподвижно в углу и даже не шелохнулась, когда он приблизился.

— Мохан вернулся? — спросил он.

— Да, некоторое время назад. — Мы только что разговаривали.

Он сел.

Ее глаза встретились с его взглядом застывшим, не отвечающим взором, который они иногда принимали в моменты напряжения, и он теперь заметил следы недавних слез. — Гуру нездоров, — сказала она. — Он болен уже последний месяц.

От этих слов страх, который он наполовину узнавал, снова выполз из своего укрытия и поднял голову. Но он отказался смотреть на него. «Нет, нет! — воскликнул он про себя. — Это не может быть чем-то серьезным!» Как это может быть серьезно, если все эти последние недели Гуру был веселее, беззаботнее, чем когда-либо прежде. Он бездельничал и смеялся с Савитри; он...

Эти невысказанные крики протеста замерли, ибо внезапно он увидел, что Дамаянти начала плакать.

— Джали! Ты здесь? — Голосом слегка неестественным Мохан звал его из зала.

Он встал и покинул веранду, не сказав больше ни слова. Другой ждал его у входной двери. Не глядя на него: — Выйди на минутку! — сказал Мохан. — Есть кое-что, что я хочу тебе сказать.

Они вышли вместе и быстро пошли по знакомой тропе через равнину. Прикрепив взгляд к земле, Джали сказал: — Речь о Гуру, да? Ему очень плохо?

— Да. Он думает, что две-три недели — это все, что ему осталось.

— Две или три недели! Но...

Мохан втянул воздух. — Я знаю. Мне было трудно в это поверить. Но он бы не сказал этого, если бы не был уверен.

— Нет, — пробормотал Джали, и больше ничего не говорил.

Каждый следуя своим мыслям, они шагали дальше, бок о бок. Дойдя до большого белого камня, они забрались на него и огляделись, туда и сюда, через равнину. Солнце, теперь низкое в небе, заливало траву золотым светом. Они смотрели перед собой, ничего не видя, затем спустились и начали возвращаться назад.

Вскоре Мохан повторил то, что сказал Гуру. Выяснилось, что во время одного из бунтов в Даулатпуре он получил удар в бок. С тех пор он чувствовал недомогание, а несколько недель назад он распознал свою болезнь и осознал, что его дни сочтены. Никакая пища,

которую он ел, теперь не могла питать его; более того, ему становилось лучше, если он вообще не ел.

Вернувшись в дом, они заглянули на веранду, но Дамаянти там больше не было.

— Она, должно быть, спустилась к Бассейну, — сказал Мохан, и он замолчал.

Взгляд Джали был прикован к опушке деревьев. — Думаю, — медленно сказал он, — думаю, я пойду к ним попрощаться; а потом — а потом я отправлюсь в путь.

Мохан бросил на него долгий, несчастный взгляд. — Ты должен поступать так, как считаешь будет лучше, — ответил он тихим голосом; и около минуты ни один из них не двигался. — Джали, — пробормотал он, — мне жаль, что ты уезжаешь.

С этим они отвернулись друг от друга, и Джали медленно пошел по лужайке к лесу.

— Думаю, я поеду верхом с тобой до края плато, — крикнул ему вслед Мохан. — Ты не против?

Джали обернулся, улыбнулся и пошел дальше. В лесу было тенисто и тихо. Он смотрел вокруг себя, и пока одна часть его ума замечала, как красный солнечный свет падает на стволы деревьев, другая была затоплена странно бессвязными воспоминаниями. Вдруг перед ним встала картина: Хари лежит на погребальном костре. На лице Хари было выражение презрительного спокойствия, которого никогда не было при жизни. Сначала ветер раздувал пламя то туда, то сюда, но через некоторое время оно набрало силу и пошло вверх — яростное и прямое — в небо. А затем хлынул дождь, который держался весь день напролет; но, к счастью, только тогда, когда все было кончено.

Дойдя до ворот, он на минуту замер и прислушался к звукам голосов. Но ни одного не было слышно. Не раздавалось ни звука, кроме слабого шелеста ветра в верхушках деревьев, и при этом звуке его захлестнула волна невыносимой грусти. Это была печаль глубже той, что он знал прежде. Но через некоторое время она иссякла; и он открыл ворота и вошел.

Там, в своем углу, сидел Гуру. Он откинулся назад, прислонившись к стене, а руки праздно лежали у него на коленях. На земле у его ног сидела Дамаянти, закинув одну руку вдоль сиденья и положив на нее голову.

Он подошел к ним. — Я пришел попрощаться, — сказал он, и они подняли на него глаза и улыбнулись так, словно понимали все, что творилось у него на сердце. Затем он простерся предписанным образом перед Гуру и получил его благословение; а после этого, повернувшись к Дамаянти, поклонился ей и попрощался. Но она, поднявшись, сняла с шеи ожерелье и надела его на Джали.

— Ты скоро вернешься, — сказала она.

— Да. Я вернусь.

Но, уходя прочь, он подумал: «Если бы только я мог быть уверен!»

У ворот он оглянулся на сцену ради последнего воспоминания. Двое теперь снова были в том же положении, что и раньше. Он посмотрел вниз на Вишну и вверх на проплывающие облака. Облака, подумал он, исчезают за один вздох, а человеческие существа — лишь за несколько вдохов больше. Только Вишну остался. Вишну определенно будет там для него, если он когда-нибудь вернется.

Три дня спустя он стоял на балконе Старого дворца в Агре, под которым простиралась великая равнина. Был час заката, и он слышал, что его мать прибудет до темноты. Дорога, по которой она должна была прийти, пролегала через те зеленые поля; это была та самая дорога, по которой он шел вместе с ней и своим отцом, впервые покидая дом ребенком.

Он повернулся, блуждая взглядом по серой стене Дворца. То тут, то там выступали маленькие балкончики, и один из них, размышлял он, должен быть балконом его бывшей комнаты, ибо этот вид был именно тем видом, который он так точно помнил. Тот же красный отблеск заката лежал внизу на реке; через воду тянулись те же темные рощи, перемежающиеся залитыми солнцем участками проса и кукурузы. А дальше простиралась пустыня.

Его мысли вернулись к матери. Он представил ее такой, какой она выглядела в тот вечер, когда вошла в его комнату пожелать ему спокойной ночи. Жизнь тогда казалась ей столь полной обещаний; и сколько же из этого осталось неисполненным! Резко втянув воздух, он думал о ударе, который должен был нанести ей.

В памяти он обратился к отцу. Где сейчас раджа Амар? Не стоит ли призрак там, где когда-то стоял человек — во мраке комнаты позади него? «Нет, призрак — это я, — подумал он, — возвращающийся дух! И вот я стою здесь вновь, подвешенный между прошлым и будущим».

Но он улыбнулся, сказав это, его мысли обратились к Гуру.